

Ск 7
99325

МИКОЛА РЯБЫЙ

**ДВА
РОМАНА
О ЛЮБВИ**

С(У)КР12

Р 98

МИКОЛА РЯБЫЙ

**ДВА
РОМАНА
О ЛЮБВИ**

*Авторизованный перевод
с украинского
ВАЛЕНТИНА ДОЛЬНИКОВА*

МОСКВА СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1981



Микола Рябий — автор нескольких романов и повестей, вышедших на Украине: «Два романа о любви» — первая книга прозаика, переведенная на русский язык.

В романе «Берег» рассказывается о человеке сложной судьбы, его возвращении в рабочую среду.

«Окна» — роман о селе на Подолье. О том, как на протяжении десятилетий складываются трудовые и родственные связи между людьми. О современных проблемах колхозной деревни.

ХУДОЖНИК ЛЮЛИЯ ЗУБАРЕВА

БЕРЕТ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

1

— Ты приехал, Андрей?

— Приехал, Парфен... Звоню тебе из гостиницы «Быстрая».

— Что же не предупредил, как прежде, телеграммой? Встретил бы... Ну ладно, Андрюха, жди меня в сквере, что против гостиницы. Часа через... часика через полтора подгребу...

Чигиринец прибыл первым утренним поездом.

Знакомый готический собор на привокзальной площади стремительно вонзался шпилями в посветлевшее небо, зеленовато-желтые облака, будто взлохмаченная пряжа, повисали на черных крестах; ветер порывисто нес через просторную, вымощенную брусчаткой площадь автобусные билеты, хрустящие обертки от мороженого. Стадо таксомоторов сбилось у сонного фонтана, от обильной утренней росы бока их, казалось, покрылись гусиной кожей.

Рейсовый автобус в Садгору ушел раньше, и Чигиринец решил взять такси.

Удобно устроился на заднем сиденье, и «Волга» рванулась с места.

За пристанционным поселком, по обе стороны трассы, словно октябрята в белых чулочках-гольфах, стояли молоденькие, известкой подведенные яблоньки.

Передняя автомашина шла в тумане на крутой вираж. Она держалась осевой линии, и казалось, что оставляет за собою реверсивный след, будто реактивный самолет. Потом и «Волга» стала выписывать крутую дугу, и на какое-то едва уловимое мгновение Чигиринец почувствовал, что «душа покидает тело», это было совсем не страшно, было забавно, он силился запомнить странное состояние невесомости, которого ни разу до сих пор не ощущал ни в воздухе, ни на воде.

— Куда? — спросил таксист, когда въехали в Садгору.

— В гостиницу...

Сонная администраторша, прикрывая ладонью зевок, молча записала его в гостиничный «гроссбух», так же молча выдала ключ от номера с тяжелой деревянной грушей и опять, теперь уже откровенно, зевнула ему вслѣд.

Чигиринец едва дотащился на пятый этаж, сонное состояние словно бы передалось и ему. Хотелось броситься на постель, не раздеваясь, и провалиться в забытие. Однако в номере стоял такой затхлый и густой запах полимеров, что Андрей тотчас настежь отворил дверь, вышел на балкон, закурил и, облокотясь на поручни, загляделся на город.

Над Садгорою, будто над Рейкьявиком, где совсем недавно их «Немиров» загружался водой и продуктами, клубился утренний туман. Солнце, в «компани» с ветром, ткало из белых клочков прозрачную кисею, и город улыбался сквозь нее лучезарно и розово, как дитя после сна. Постепенно контуры кварталов, руины старой крепости на Замковой горе приобрели такие пространственно-глубинные очертания, а краски — такую сочность, что в памяти неожиданно возник пейзаж с почтовой открытки, присланной дядьком Антоном в сорок пятом году то ли из Венгрии, то ли из Австрии.

А по левую руку расстилалась панорама каменоломен. Выгибающиеся дугой уступы походили на ярусы олимпийских стадионов, по которым, как в немом кино, бесшумно двигалась техника.

По какой-то странной ассоциации вспомнился Чигиринцу тот первый день, когда он вместе с отцом пришел в ремонтные мастерские.

Ничего особенного тогда не случилось. Подошел мастер, отцов товарищ, сказал: «Поздравляю, с этого дня вы становитесь рабочим человеком». Навсегда, однако же, врезался в память теплый дух металла и смазки, клекот станков, приветливый взгляд мастера, и пожатие его руки, и слова его...

— Квас! Свежий квас! — зазывно покрикивает рыжая молодичка под колоннадой сквера. Вдоль аллеи, в тени каштанов, на удобных скамейках дремлют пенсионеры, бессильно уронив руки на скомканные недочитанные газеты.

Чигиринец садится перед фонтаном, разворачивает «Литературку», устало просматривает полосы, взглядом выхватывая отдельные фразы, абзацы, слясь по-

нять что-нибудь. Так бывает, когда оглохнешь на мгновение. Видишь, как шевелятся губы собеседника, тебе говорят что-то, однако что именно — не понятно...

Парфен... Решение созрело мгновенно: еду к Парфону! Приехал. Через некоторое время встретимся с ним на этом месте. Вынужден буду объяснить, что произошло. Просить. А зачем? Кому это нужно?.. Я ведь никогда не умел унижаться, просить за себя...

Если рассудить, до сих пор у меня получалось, как в том анекдоте: садился не в тот поезд, ехал не в ту сторону...

Большей частью начиналось все на железнодорожных вокзалах. Там отваживался на поступки, в которых позднее горько раскаивался. Не будет ли и на сей раз точно так же? Может, я снова приехал не туда? Да, Парфен, старый дружище... Но разве я думал только о нем, когда собрался сюда? Самому себе боюсь признаться, что думал прежде всего о ней. Ведь она именно из этого города. Я отлично запомнил это еще тогда.

Кто знает, может, ничего этого и не случилось бы, если бы в тот осенний вечер решил все же сойти с корабеловского экспресса, уехать вместе с нею в Крым, на Кавказ, в Среднюю Азию — куда глаза глядят! Очевидно, она тоже искала какого-то жизненного пристанища, оба мы были в одинаковом положении, могли бы понять друг друга. Да, собственно, уже и начинали понимать. Не уехал... Что же меня останавливало? Слово, обет? Нет, тогда еще не был связан ничем, ни словом, ни обетом. Просто не решился. Слишком неожиданно все получилось. Испугала ее решительность, неожиданная привязанность ко мне. Так не бывает, думалось, только встретились, и уже: «Поедемте вместе, у меня очень славная дочурка»... А может, дочь? Возможно, дочь и помешала? Да, именно так. Стоило лишь представить себя отцом ее славной дочурки. Стала бы она моей, родной мне? Смог бы я заменить девочке настоящего отца?

Думаю теперь об этом, доискиваю мотивов той непоправимой ошибки, а тогда... А тогда, вероятно, времени не хватило. Если бы у меня была хотя бы минута на размышление, все вышло бы по-иному. Преодолею сомнения лишь после того, как поезд уже тронулся. А спрыгнуть уже не мог... Ерунда! Мог! Мог бы спрыг-

нуть, поезд едва-едва набирал скорость. Тюлень! Рохля!.. Она бежала за вагоном, кричала что-то — что же она могла кричать, кроме этого: «Прыгайте! Слышите, прыгайте!» — а я смотрел из окна и не двигался с места.. Как же мне было прыгать, если меня ждала Наталья?.. Написал ей, что еду, уже сообщил телеграммой, когда прибываю. Выйдет Наталья встречать, прибежит к шестому вагону — а меня нет. Будет спрашивать у проводника: «Скажите, в вашем вагоне ехал из Киева один летчик, высокий, чернявый?» — «Да, сидел в Киеве один летчик, высокий, чернявый, но спрыгнул, как только тронулся поезд.. Какая-то женщина его провожала, потом бежала за вагоном, звала сквозь слезы: «Прыгайте! Слышите, прыгайте!», вот летчик и выпрыгнул». Что бы подумала тогда она, Наталья, встречи с которой так жаждал, жаждал с того самого дня, когда мать спросила: «Что ж теперь будешь делать, сынок? Учиться поедешь? Ты ж всю жизнь учишься, а толку от этого — нисколько. Вот и командира из тебя не вышло. Надо тебе, сыночек, жениться..»

Андрей не в силах сидеть больше в этом сквере, он поднимается и выходит на улицу.

Никогда не знаешь наперед, как будешь чувствовать себя на новом месте, думает он, неторопливо шагая вдоль тротуара.

Здесь, за высокими белыми башнями проспекта Мира, город по-провинциальному одноэтажный. Румяно наливаются соком вишни, за дощатыми оградками, душно пахнущими живицею, стелется буйный виноград, укутывая особнячки зеленой вуалью. Именно отсюда, из-за этих оградок, ветерок и разносит по всему городу щемящие запахи лета.

Пологой улицей, затем гранитными ступенями Андрей спускается к Быстрой.

Последние ступени подмыты половодьем; полуразрушенные, они беспомощно нависают над мутной водой, из щелей упрямо выбиваются буйно-зеленые травяные чубы. Под серой скалою (на ней кто-то неумело намалевал красной краской: «Купаться запрещено — подводные камни!»), в привязанной к двум шестам плоскодонке покачивается пожилой рыбак, дремлет над веером удочек, безучастный ко всему.

Над головой рыбака, прикрытой соломенной шляпой, неумолчно грохочет арочный мост. Беспрерывной ве-

реницей катятся голубоватые тракторы, зеленоватые автопоезда — везут из каменоломен светло-желтые ракушечниковые блоки для строек.

Посидим еще и здесь, у мутной реки, покурим...

В тот день у тебя тоже была прорва времени. Можно было обойти весь Киев, осмотреть все музеи, потолкаться в очереди у прилавков книжных магазинов, прокатиться в метро из конца в конец, поскучать или же посмеяться от души в полусумрачном и прохладном зрительном зале кинотеатра «Днипро», который так любил посещать в былые времена. А ты все стоял, не трогаясь с места, на Привокзальной площади, смотрел на золотые купола Софии, подернутые печальной осенней дымкой, наблюдал за тем, как от вокзала в сторону бульвара Шевченко и от бульвара сюда, к вокзалу, двумя встречными потоками движутся нескончаемые стада машин, и думал о том, что за время твоего отсутствия с Киевом произошли трагические перемены — эти железные стада, безразличные ко всему, вытеснили не только шумные толпы пешеходов на улицах, но, пожалуй, и жителей из домов.

Ты наверняка знал, каким одиноким будешь чувствовать себя и на киевских улицах, и в киевских парках, волчья тоска замордует тебя вконец, оттого-то и не двигался с места.

Ресторан — вот где можно было убить время, переждать, не растравляя душу.

Свободных столиков было много, ты сел возле окна — отсюда было видно Софию, все-таки киевские горизонты притягивали, радовали твой взор, не так уж равнодушен ты был к этому городу, хотя и казалось, будто давно перестал им грезить.

Официантка округлила бесцветные подкрашенные глазки, когда заказал целый графинчик. «Это моя норма», — пошутил неудачно.

С тех пор, как тебя комиссовали, находил в этом хоть какое-то утешение. Мать смотрела умоляюще, со страхом: «А может, не надо больше, Андрійко?» — «Так ведь без этого зелья, мама, никакого аппетита. Знаю: вкуснее вас никто не готовит, а вот все мне травой кажется...» И тогда вроде бы вновь сходились верные друзья, оставшиеся где-то там, за Полярным кругом, и горизонты

жизни, грядущие перспективы представлялись не такими уж смутными. Вот отгуляю еще этот месяц, отъежусь на маминых харчишках, отрастут волосы — и махну к старым друзьям. Прежде всего — к Овидию.

Парфен Кошай писал стихи (пишет ли он их сейчас?), можно было окрестить его и как-то иначе, однако хлопцам почему-то нравилось называть его Овидием. А он даже гордился этим прозвищем, охотно откликался на него.

Вы познакомились на призывном пункте. Оказалось, что земляки, поэтому держались сообща. Детство твоё было не только сиротским, но и одиноким. С той самой минуты, когда грохочущий взрыв немецкой противотанковой мины надолго отгородил тебя глухой стеной от звонкого многоголосого мира, ты каждодневно испытывал унижение и оскорбление со стороны сверстников и постепенно начал привыкать к горькому одиночеству. Может быть, именно потому и потянулся к Парфену всей душой, истосковавшейся по верному другу, что почувствовал взаимную искренность. Радовались оба, что после службы в крылатой пехоте берут в летное училище. Это ведь была мечта вашего детства — небо или же море.

Но случилось непредвиденное — накануне выпуска у Парфена вдруг обнаружили косоглазие. Мечты о предстоящих совместных полетах рухнули. Парфена комиссовали, а ты уехал на Север. Летал на ракетноносцах... Летал, да отлетался... Укаталл Сивку крутые горки... Ты едва уговорил командование, чтобы разрешило ехать домой одному, без сопровождения врача. Зачем понапрасну пугать маму — жизнь предостаточно ее попугала.

А Парфен тем временем уже и политехнический институт, наверное, закончил, руководит... Он руководит, а что же ты будешь делать там, у него?... Просто погодишь. Давненько не виделась, есть о чем вспомнить. А может, и на работу где-нибудь пристроишься. Садгора — один из крупнейших промышленных городов в нашей области. Начинал-то слесарем, вспомнишь свое ремесло — пойдешь на каменоломни. А после в институт подашь, станешь со временем горным инженером. Или — на первый случай — в техникум. Мать скажет: «учился и недоучился...» — и снова будет права... Поеду! Поеду к Овидию, а там видно будет... За ваше, мама!..

«— Пора тебе, сынок, еще раз говорю, жениться.

— Кто же за меня пойдет, старого парубка?

— Сам посмотри, сколько девчат в нашем Зеленом Гаю. Только пальчиком издали помани — первая красавица вприпрыжку поскачет... Тридцать — разве ж это старость?

— Все собираюсь спросить вас, мама: а где теперь Наталка?

— Это какая же Наталка?

— Вроде в нашем классе их не густо было, Наталок... .

— А-а, та, что... . В Корабеловке... Там Дзюбенки дом купили каменный... . Говорят, Наталка на детского доктора выучилась... .»

Наталья мечтала стать педнатром. Добилась все же своего. Искренне рад за тебя, Наталья!

«— Замуж вышла, не слышали?

— Эге, Дзюбенки переборчивые! Не всякий зять им по нутру. А что это ты, сынок, так допытываешься?

— А разве ж плохая невестка Наталья?

— По мне, бери хоть и Соньку Шепелявую... . Только не советую тебе к Дзюбенкам свататься, ой не советую.

— Это почему же?

— Такая у них натура куркульская: что видят — под себя гребут. Ты думаешь, зачем они переехали в Корабеловку? Да потому, что старший Дзюбенко пригред доходное местечко и потащил за собою младшего. Держатся купно, чтобы грести побольше.

— Допустим... . Так это ж старники, а Наталья не такая.

— Эге, не такая! Яблоко от яблони... . А еще не советую тебе, сынок, Дзюбенчиху брать оттого, что чужая сторона. К кому ж прислонюсь я, когда совсем немощной стану?

— Разве ж я уже сватаюсь? Так просто спрашиваю... .

— Ну как же, я понимаю... . Школьная подружка, всегда у тебя задачки списывала... .»

Школьные подружки, симпатии ребяческие. Разбрелись по белу свету, повыходили замуж, свили свои гнездышки. Одну из вас встретил в местечковом буфете за прилавком. Удлиненное когда-то личико теперь округлилось, лоснится от самодовольства:

— На вынос пива не даем! Будь ты хоть сам министр торговли. Знай, я такая: прошла Крым, Рим и мед-

ные трубы. Нервенная, кучу детей нарожала, хотя мой и не в состоянии...

Вот какому юмору жизнь научила!

— А вам что, военный? Сто пятьдесят? Ма-а-ма родная, это ты, Андрийко?

В одном из писем мать писала, что на тронцу Тамара вышла замуж за слесаря с сахарного завода, того престарелого, что на пару с батьком работал.

— Как живешь, Тамара?

— Хорошо. Птичьего молока только не хватает!

— Счастлива со своим?

— А чего мне еще надо? Говорю ж тебе: птичьего молока только и не хватает. Приходи в гости, мой дед будет рад... Ты уж кто теперь — майор или подполковник?

Неужто и тебе, Наталья, только птичьего молока не хватает?..

В минуту невыносимого душевного смятения, волчьей тоски по всему тому, что было у тебя совсем еще недавно, ты написал Наталье письмо. И Наталья ответила: приезжай! Буквы расплывались водянистыми пятнами. «Не удивляйся, Андрийко, это слезы. Пишу тебе и реву. Вот дура! Нет, не дура. Я уже думала, что никогда тебя больше не встречу. А теперь плачу от радости, что ты нашелся. Приезжай!..»

— Вот ваша норма, военный!

— Спасибо, девушка.

Ну, будем, лейтенант. За нашу встречу, Наталья!

К Овидию не поехал — еду к Наталье. В Корабеловку. Поближе к мечте. Кто знает, может, еще и мореходом стану. А почему бы и нет? Я словно возрождаюсь — даже чуб снова отрос на материнских харчах.

«Пишу тебе и реву»... Вот видите, мама! А вы говорили: яблочко, мол, от яблонн... То ведь старики, а Наталья не такая. Она — другая. Она такая же, как я...

— У вас свободно?

Ты видел, как эта женщина остановилась в дверях, светловолосая, в черном платье, с черной сумочкой в руках. Про себя отметил: такие светловолосые, наверное, рождаются в краях не здешних.

С порога взглядом обвела зал, на мгновенье задержала взор на тебе и двинулась. Шла решительно, уверенно, под черной тканью рельефно очерчивались сильные и стройные ноги. И ты подумал, что даже поступи

женская может волновать. Такая поступь, как у нее, — решительная, быстрая, легкая и грациозная. Был бы рад, если бы она села за соседний столик, — время от времени мог бы поглядывать в ту сторону, любоваться характерным лицом (оно почему-то казалось знакомым), любоваться соломенным цветом волос, точнее, соломенной светлыню. Именно так, соломенная светлынь! Иначе и не назовешь ее чудесные волосы.

Она миновала соседний столик, шла дальше, и ты разочарованно и ревниво (Вот те раз! Откуда это во мне ревность?) отвел взгляд, уставился в окно. Садитесь за моей спиной, за тот столик? Ну и ладно! Подумаешь!.. В самом деле, только и не доставало приключений дорожных.

И вдруг этот голос, интеллигентно-извиняющийся:
— У вас свободно?

Так неожиданно, так внезапно, что напрасно было бы пытаться найти подходящее слово. По-глупому закивал головой, точно заводная игрушечная мартышка, пробормотал что-то.

Когда сидишь за одним столом с женщиной (независимо от того, молодая она или пожилая, хорошенькая или дурнушка), надо как-то развлекать ее, чтоб не скучала. А то ведь будет рассказывать своим знакомым: «Как-то обедала в ресторане с одним лейтенантом. Такая уж мамалыга, такой размазня! Словечка не сказал, только сопел да водку дудлил. А вы еще говорите: наши офицеры — джентльмены»...

Однако что бы такое сказать? Когда оказываюсь с глазу на глаз с женщиной, язык отнимается, становлюсь тугодумом и вахлаком, становлюсь бамбулой, как говорят в нашем Зеленом Гаю. Была бы музыка, оркестр играл бы, пригласил бы танцевать. «Вы удивительно легко вальсируете!..» Фраза банальная, тем не менее женщинам почему-то нравится, будто это уже признание в любви...

Есть такие женщины, в чьем обществе чувствуешь себя и счастливым и неприкаянным одновременно. Она именно из таких женщин.

Да, была бы музыка... «Танцевать с вами одно удовольствие!.. Простите, как вас зовут?» — «Отгадайте сами!..» А зачем, собственно, мне эта игра? От меня немного и требуется — проявить элементарную вежли-

вость. Надо сказать ей что-нибудь непринужденное и ни к чему не обязывающее, легкое и приятное. Сюда бы Овидия. Он бы долго не терялся, спросил бы сразу: «Откуда вы, ясноволосое и золотоглазое чудо, из какой волшебной сказки?»

Ясноволосая и золотоглазая... В самом деле, глаза ее тепло-золотистые, словно она все время смотрит на солнце... Знакомые глаза и знакомая улыбка. Но откуда? Где я видел ее раньше? Пьяным многие кажутся знакомыми. Так нет же, совсем не пьян еще.

Отчего вы так улыбаетесь? Я смешон? Разумеется, смешон. Ну так смейтесь на здоровье, а я буду приканчивать свою дневную норму. Может, посмелее стану.

— Меню? Пожалуйста.

— Благодаваю вас, меню не твебуется. Если есть, дайте мне сигавету.

Вы даже курите? А кто из нынешних молодых женщин не курит! Прошу вас, с величайшим удовольствием! Ну вот... Первый шаг сделан. Что же ты?

Пусть официантка примет заказ. Потом что-нибудь придумаем. Ну, будем, гвардии лейтенант Чигиринец! Видал, даже неудобно при ней выпить. И надо же было заказать столько!.. Норма!.. Алкоголик несчастный! Когда-нибудь эта норма боком тебе выйдет... А кто она мне? Невеста? Жена?.. Сам себе пан, сам себе хозяин!

— Что вам подать?

— Будьте добвы, чаю. И павочку яблoк.

Она опять произнесла резкое «р» как «в», и это почему-то волновало. Может, полтавчанка?

Она взбила рукой светлые волосы и улыбнулась. Бывают же такие улыбки! Увидишь ее, сам улыбнешься, и тебя внезапно охватит покой, какого давно не ощущал.

— Вот уж не ожидала, что в Киеве будет так холодно. Пока дошла от вагона до камевы хванення, посинела, как бузина.

— Вы легко одеты.

— Ничего теплого, квоме плаща, не взяла. На юг всдь еду.

— Отдыхать?

— Сама не знаю. Села и поехала. А куда и зачем — сама не знаю.

— Вы же сказали: на юг...

Хотелось, чтобы она говорила и говорила, чтобы в словах ее все время попадались «р».

— Юг большой... Может, Кавказ, может, Квым, а может, и Сведняя Азия... Сколее всего — Сведняя Азия... Давно мечтаю увидеть Самавканд, Бухаву...

— Завидую вам!

— Чему же завидовать?

— Хотя бы тому, что вы свободны в своем выборе. Куда захотелось, туда и едете.

— Это не совсем так... А вы куда, лейтенант?

— Тоже на юг, но я точно знаю конечный пункт своего путешествия.

— Вевоятно, в отпуск?

— Из отпуска... Собственно... Не знаю, как и сказать... Одним словом, отлетался сокол... Теперь ищу житейской пристани... Берег свой ищу...

Официантка принесла чай и яблоки. Ты показал ей взглядом на графин: унесите! Когда официантка ушла, снова взглянул на соседку.

Она взяла стакан двумя руками. Детские руки, детские пальчики. Именно такими они и должны быть. Иными их просто невозможно представить. Только вот золотое кольцо не к месту... Почему не к месту? Ты ревнуешь ее к кому-то, к тому, кто подарил ей это кольцо?

— Если смотреть из комнаты; то есть из этого зала, на улице как будто не так уж и холодно.

Она доверчиво шурилась, и верхние ресницы левого глаза время от времени беспомощно дрожали.

— Вот согвоюсь немножко, подамся в говод. Когда-то я здесь училась. Боже, как давно это было!.. Мой поезд отходит поздно вечером, успею кое-что увидеть...

Ты сказал, что твой поезд отправляется тоже поздним вечером, так что мог бы составить ей компанию. Если она не возражает, разумеется.

— Когда-то и я имел счастье учиться в этом городе.

— Ой, так это ж чудесно!

В гардеробе помог ей надеть плащик. Она затянула поясик и стала еще стройнее.

Шли знакомыми киевскими улицами, под сенью тополей и каштанов. К влажному тротуару прилипали опавшие листья, и казалось, будто на асфальте разлиты яркие краски. Каштаны роняли плоды прямо под ноги. Зеленовато-желтые «ежики» трескались, и школьники подбирали смуглые ядрышки, набивали ими карманы и

портфели. Ты тоже подобрал несколько каштанчиков и вдруг вспомнил, как впервые попал в этот город.

Это было за год до возвращения отца. Дядько Демид Шкребтний посоветовал матери повезти тебя в Киев и показать доктору Серошапке, вашему земляку, — может, он восстановит тебе слух. Мать отпросилась у директора совхоза, взяла в сельсовете справку, которая заменила паспорт, и вы собрались в дорогу. На ваше счастье, в Киев шла полуторка от сахарного завода, ибо денег на поезд не было и пришлось бы добираться туда и назад на попутных товарняках, а мать не решалась на это. Условившись с водителем, где и когда его ждать, мать повела тебя к доктору.

Был знойный полдень. Асфальт расплавился до того, что нечем было дышать. А вы шли по улицам босиком. В стареньких, но теплых фуфайках на случай дождя — и... босиком. Прохожие останавливались и смотрели вслед, сочувственно кивая головами...

Она предложила прокатиться в метро. Эскалатор понес вас в подземелье, туда, где пахло пресной днепровской волною и горьковатыми осенними ветрами.

Проехали из конца в конец линии, вышли на «Арсенальной» и не спеша двинулись вдоль Днепра.

Наступила та пора, когда осень зажигала в киевских парках свои золотистые светильники. Они торжественно сняли за плечами Леси Украинки, а еще дальше контрастно темнели чугунные решетки ограды стадиона. Таким был общий фон, когда внезапно перед вами предстала Леся.

Она стоит на глыбе розового лабрадора, несколько острых обломков, один меньше другого, вросло в траву, обрамлявшую каменистую дорожку.

На вершину крутого кряжа
Тяжкий камень я буду тащить
И, неся эту страшную тяжесть,
С песней радостной буду жить¹.

...На крутой каменистой тропке Леся пошатнулась под непосильною ношей и уронила глыбу. Ей, слабой и хрупкой женщине, не по силам было вновь поднять тяжелый лабрадор, она взяла кирку и отколола кусок. Однако ноша, как и прежде, была непосильною. Сделав

¹ Здесь и далее стихи в переводе Валентина Дольникова.

два шага, поэтесса опять отдыхала, опять бралась за кирку. Еще и еще останавливалась она, но все же донесла глыбу до заветной черты. После тяжелого испытания Леся взошла на камень, чтоб взглянуть на долину, с которой начинался нелегкий ее путь, обозначенный обломками лабрадора, пристально всматривается в даль, не идет ли кто в гору по проложенной ею тропе.

Идите с нами, кто за правду
Без сожаленья жизнь отдаст,
Мы примем, как родного брата,
Кто правду любит, тот нам брат.

Так она объясняла смысл этого удивительного памятника, на который вы набрали, гуляя над Днпром, и ты признался в том, что никогда прежде не думал, что Леся так женственна.

— Эта скульптура, как и остальные работы Галины Кальченко, воспевают и духовную, и физическую красоту украинской женщины... Однако взгляните, поэтесса словно бы плачет.

От левого глаза к подбородку белел тоненький след. Трудно было сказать, что именно оставило этот след, только чудилось, будто Леся и в самом деле плачет.

Отвага в сердце,
Хоть слезы в глазах...

Это еще больше растрогало вас и даже как-то сблизило. Время от времени возвращались вы к этому необыкновенному памятнику, вспоминали Лесины стихи.

А потом сидели на лавочке: наблюдали, как сгущаются сумерки над Подолом, над пустынными пляжами. Они, сумерки, наплывали оттуда, где Славутич принимает в свои объятия Десну, и воды их, прежде чем слиться в единый поток, некоторое время текут рядом: одна струя темнее, другая — светлее.

Закатное небо постепенно окрашивалось холодной и прозрачной охрой. Владимирская Горка с каменным зданием и монументом Владимиру была похожа на этом фоне на черную аппликацию.

Ты почувствовал, что ей стало холодно в «болоны».

— Вам холодно?

— Немножко.

Тогда ты расстегнул офицерский плащ, отбросил пальто, и она доверчиво нырнула под твоё крылышко, а

твоя рука оказалась на ее покато плече, и ты ощутил мягкое прикосновение волос, словно бы пушистый котенок потерся о руку. Она притихла под твоей рукою, напряглась — ожидала, что станет делать твоя рука. Тебе хотелось погрузить пальцы в это пышное золото, отсвечивающее даже в сумерках, голубить его, коснуться мочки маленького уха, потом нежного подбородка, уст. Однако рука твоя неподвижно и невесомо лежала на ее плече и все больше немела. Свободной рукой ты достал сигареты, чиркнул зажигалкой. В свете тусклого пламени увидел ее глаза — они пытливо и доверчиво смотрели на тебя, будто из дальней дали, именно той дали, которая всегда влечет и тревожит.

Кто она? Почему в ней столько доверия ко мне? Почему смотрит так, ловит каждое мое слово?

Пара, сидевшая напротив, тихо разговаривала. На каждой лавочке кто-то сидел, целовался, объяснялся в любви, делился воспоминаниями.

Она сказала, что в любое время года киевские холмы — Мекка влюбленных, и спросила чуть ревниво:

— Вы бывали здесь с девушкой?

— В те времена я был еще совсем зеленым.

— А теперь вы женаты? Простите за такой банальный вопрос.

— Нет, холостяк.

— Офицеры, как правило, женятся рано.

— Пожалуй, я исключение из правил...

— Вы никогда не влюблялись?

— Кажется, нет. Да, никогда. Увлечения — были, а настоящей любви не было. Так уж случилось...

Через некоторое время вы снова шли по Крещатику. На голубоватом влажном асфальте, будто в днепровских водах, искрились разноцветные вечерние огни.

Крещатик... Подхватит тебя его шумливый водоворот, куда и деваются твои тревоги и хлопоты! Плышет мимо тебя гомон, плывет смех, а кто-то задержит на тебе свой заинтересованный взгляд — чувствуешь себя молодым, красивым и слегка влюбленным. И уже тебе кажется, что ты рожден для этого города, только для него, и он существует только для тебя. А если в твоей руке доверчиво покоится чья-то теплая маленькая ладонь, если рядом с тобой энергично выщипывают каблочки, если на тебя из-под длинных ресниц в любое время поглядывают влюбленные глаза, ~~тогда ты и вовсе счастлив.~~

Потом вы сидели в шумном кафе, пили густой черный кофе. Она держала чашечку в маленьких пальцах и смотрела на тебя.

— Не смотрите на меня так.

— На вас приятно смотреть... Что-то в вашем лице есть... Правда, есть... Что-то такое, что не часто встречается.— Она помолчала, потом добавила:— Мне хорошо с вами.

— И мне хорошо. Легко, приятно и хорошо. Такого со мной еще не случалось... Трудно даже поверить, что такое может быть...

— Мой муж тоже был летчиком, — сказала она, погрузившись. — Он погиб. Не знаю даже, при каких обстоятельствах. Знаю только, что над степями Таврии. Я там работала в райгазете после университета, там и встретилась... А вам приходилось бывать в тех краях? Да, таврические степи... Их надо видеть! Там удивительные чувства вдруг растревоживают душу — будто тебя из двадцатого столетия переносит в глубину веков.

Слушая ее, ты увидел горизонт в серебристо-голубом мареве, увидел, как прямо с головы скифской бабы взмывает в небо орел, как парит он под самым солнцем, выслеживая добычу, а солнце висит в самом зените, изливая на степь потоки расплавленного серебра.

— Как припадешь к горячей груди степи, как вдохнешь одурманивающего ее аромата, сразу же почувствуешь себя неотъемлемой частичкою первозданной природы. А еще уловишь голос прошедших столетий. Ибо в самом деле, как раковина хранит звуки моря, так и недра степи берегут скрип колеса, бряцание сабли и посвист стрелы бесчисленных кочевников и завоевателей — одни исчезли без следа, другие оставили после себя островерхие могилы и каменных идолов.

Едешь день, едешь другой, — рассказывала она дальше, наклонившись к тебе, — а степи нет ни конца ни края. Но странное дело: степь совсем не гнетет. Наоборот, посреди степи, как, пожалуй, нигде больше, чувствуешь себя воистину человеком. В горах совсем иное ощущение. Каменные громады угнетают тебя, вдавливают в землю, и ты сам себе кажешься ничтожеством. Однако после всего, что случилось, я не смогла оставаться там. Вернулась в свою Садгору.

— В Садгору? Ту, что над Быстрой?

— Вы знаете этот город? Бывали в нем?

— Приходилось. Впервые — еще школьником. Возли туда на экскурсию. В старую крепость...

А потом настал тот самый трудный миг.

Ты забросил чемодан на верхнюю полку, вышел в коридор и открыл окно.

Она стояла на перроне. Поезд вот-вот должен был отправиться.

— Спасибо вам за все... Всего вам доброго!

Она лишь тряхнула светлыми волосами. Потом прижала маленькую ладонь к губам. А когда поезд тихо тронулся, подошла вплотную к вагону, коснулась рукой оконной рамы.

— Послушайте... едьте вместе... куда хотите... у меня очень славная дочурка... она будет любить вас... как я...

Поезд ускорил ход, и она побежала за вагоном. Бежала и кричала что-то. А ты в душевном смятении смотрел, как отстает и остается на перроне ее изящная фигурка, и не прыгал.

Кто знает, может, там, на киевском перроне, осталось твое счастье, которого ты не сумел разглядеть.

И вот в конце концов ты приехал в Садгору ради нее, приехал в надежде встретить ее здесь теперь, в такое трудное для тебя время. Однако не поздно ли?..

2

Сколько же лет прошло с тех пор, как нас, школьников, привозили сюда на экскурсию? — думает Андрей, стоя перед руинами старой крепости. — Вот отсюда, со стен восточного бастиона, любовались мы панорамой Заречья.

— Сверху наш город напоминает топографический макет, — говорил пожилой экскурсовод. — Когда японские самураи коварно готовили авантюру у озера Хасан, они сработали огромный макет местности. Мне кажется, это самурайское чудо превзошло бы нашу Садгору по своим масштабам. Однако, хотя наш городок и невелик, он имеет богатейшую историю. Пойдемте дальше.

Перешли через мостик, переброшенный над узеньким притоком Быстрой, шаги гулко отдавались под сводами надвратной башни, и оказались на крепостном дворе.

— История этого замка, — продолжал экскурсовод, — весьма любопытна. Впервые крепость упоминается в

Ипатьевской летописи за 1085 год. Под этими стенами стоял Юрий Долгорукий. Гарнизон оказал отчаянное сопротивление, и Долгорукий отступил. Побывали здесь и Северин Наливайко, и Иван Богун, и Устим Кармелюк, а во время гражданской войны — красные партизаны Трояна Бурлаки. До революции в этих башнях находились в заточении политические заключенные. На судебном процессе один из них сказал: есть города парков, садов, памятников, а Садгора — это город-тюрьма... Ну, те времена канули в прошлое...

...Послышался цокот копыт.

Прямо от крепостных ворот на взмыленном скакуне промчался гонец. Остро запахло конским потом, всадник подлетел к крыльцу, исчез за тяжелыми дубовыми дверями, лишь арабский скакун часто вздымал бока. На башнях всполошилась стража: ой, лихую, видать, весть принес этот гонец!

Так и есть. Осаждает крепость бесчисленное вражье войско. «Эй! — кричит вражий парламентар. — Сложите оружие — даруем вам жизнь, не сложите — вырубим всех до единого!» — «На вот, поцелуй нас в пани Садись!» — повернувшись задом, отвечает бравый казак-молодец. На крепостной стене хохот, свист, улюлюканье.

Картина, возникающая в моем воображении, была настолько явственной, что я невольно спросил у стоявшей рядом Натальи: «Ты слышишь? Что это позвякивает? Будто конские трензеля». — «А что такое — конские трензеля?.. А-а!.. Так это ж овцы и козы... Им колокольчики на шею подвешивают, чтоб не потерялись». — «А мне уж бог знает что показалось!»

...Грохочут пушки. Ядра высекают искры из гранитных бастионов. Падают на стены штурмовые лестницы — вражье войско двинулось на приступ...

— Сейчас перед вами, дети, одни лишь руины этой неприступной некогда крепости, а мне уже видятся эти стены и башни возрожденными. На стенах — галереи для зрителей, а посреди крепостного двора — сцена. Актеры городского народного театра ставят здесь исторические драмы. Когда-то так оно и будет!»

В тот раз и в последующие приезды город очень понравился Андрею. А сейчас, спускаясь вниз по узенькой тропинке, ведущей от руин старой крепости к Заречью, прислушиваясь к брэнчанию колокольчиков, болтающих

ся на шеях овец и коз, и время от времени зажимая нос, Андрей испытывает удручающее чувство.

Не утратил ли я ощущение времени?

Весеннее половодье наложило на Садгору печать неотвратимой обреченности.

Влажная полоса опоясывает нижние этажи домов, отовсюду доносятся затхлые запахи ила и рыбы, по обочинам вдоль тротуаров kloкочут мутные потоки — красные пожарные машины качают воду из погребов и подвалов, цветник перед современной гостиницей напоминает пустыню в миниатюре.

Со стороны Заречья плывет тополиный пух. Плывет высоко над рекой, не опускаясь на воду.

Под колоннадой сквера рыжая молодница все еще зывает: «Свежий квас! Кому квасу?» Вдоль аллеи, в тени каштанов (каштанами Садгора славится, как и Киев и Париж), все еще дремлют на удобных садовых скамейках пенсионеры.

День вялый, небо бесцветное, будто вылинявший театральный занавес.

Успокойся, сам себя уговаривает Андрей, так бывает всегда. Если ждешь чего-то, на душе неуверенность и тревога. Слабое утешение. Разве я не приезжал уже к Парфену, старому другу, чтобы поговорить обо всем откровенно, попросить совета, как быть мне дальше? Приезжал. Но о чем говорили? Рассказывал ему о последнем плавании, о том, как в Бискайском заливе на нас обрушился шторм небывалой силы, — представляешь, вал гребет из последних сил, а волны и ураганный ветер отбрасывают судно назад, а до берега миль двести, а вокруг обломки человеческого жилья, потрепанные рыбацкие суденышки; как всю дорогу сопровождали нас американские «фантомы», пикировали на теплоход, чуть ли не ломая мачты, — видны были даже лица пилотов, вытянутые, будто марсианские маски; как заходили на Джорджес-банку, охотились ради развлечения на голубых акул, — когда вытаскивали лебедками туши на палубу, самки выбрасывали из лона малышей, а их тут же с жадностью заглатывали другие акулы, что и говорить, жуткое зрелище; как в Ла-Манше чуть было не «поцеловались» — нос к носу — с западногерманским углерудовозом — такой плотный стоял туман. . .

И только перед самым отъездом сказал, что это был

последний твой рейс, потому что на море больше не вернешься.

— Вот тебе раз! — удивился Парфен. — Тебе ж все это далось нелегко. Сейчас ты достиг многого — штурман дальнего плавания, третий помощник капитана, наконец, романтик, влюбленный в море, как Джозеф Конрад, как Александр Грин, как... как Одиссей!.. Ну, пусть тебе не позволили летать, но с моря же никто не гонит.

— Ты прав, Парфен, все это мне и в самом деле досталось не так просто. Тем не менее больше туда я не вернусь.

— Теряешь зрение?

— Это лишь одна из причин. Однако не главная.

— Какая же главная?

— Не хотелось бы об этом говорить...

— Дело твое... Только я думаю...

— Не обижайся, дружище... Об этом нелегко говорить даже старому другу...

— Значит, твое решение окончательное?

— Я вроде никогда не страдал половинчатостью.

— Это точно!.. Ну ладно, а чем же ты займешься на суше?

— Была бы, как говорится, шея...

О главном так и не сказал. Почему-то не решился... А сегодня деваться некуда — вынужден буду сказать...

Глава вторая

1

Ага, вот и Парфен.

Хорошо помню те времена, когда с лица его не сходила улыбка, доверчиво-добродушная, располагающая к искренности. Кто-то даже окрестил его за эту постоянную улыбку чеширским котиком. Потом при каждой новой встрече замечал, как эту обезоруживающую улыбку постепенно вытесняет надменно-снисходительное, скупающее выражение истинного хозяина жизни.

— Ну, здорово, дружище! Давай-ка пощечочку тебя своими усницами. Что это ты такой зеленый, точно глист в обмороке?

— Чувствуется, что имеешь дело с поэтом!

— Шучу, старик!

— Я — тоже. Вот и встретились друзья-юмористы!

— Прополощем горлышки? Взбодримся кваском? Эй, чернявая, битте, две кружки!.. Ох и жарыща! Как в Сахаре.

— Помнишь нашего училищного тренера? «Внимание, внимание, говорил Горбунов, к штанге вызывается курсант Кошай. На грифе — сто кило. Приготовились, курсант Кошай? К снаряду!.. Вес взят... От лица службы выношу вам благодарность...»

— Эге, были времена! — жадно отхлебывая квасу, вздыхает Парфен. — Тогда многим из вас нос мог утереть. А кто я теперь? Сам видишь: мешок с дерьмом, скоро за этим брюхом башмаков не увижу, сейчас уже зашнуровываю с трудом. Присядем возле этого бахчисарайского фонтана?.. Теоретически я разделяю мнение медиков о том, что мясо и все скоромное сокращают нам жизнь, а она и без того куца, как вот эта сигарета, — две-три хорошеньких затяжки, и выбрасывай в мусорницу; хочешь прибавить несколько лет — балуйся штангой, гириями, бегай на длинные дистанции и все такое прочее, а практически... а практически люблю хорошенько порубать. Как-то с одним приятелем заходим в ресторан. Он у меня спрашивает, потому что угощает, что будем рубать. Да все подряд, говорю, что только есть в меню. Он растерянно хлопает гляделками: как это — все подряд? А так, отвечаю, как есть. Не справишься, говорит он. Справлюсь, отвечаю. Ну, ударилсь об заклад. И что ж ты думаешь — я выиграл коньяк и шампанское!.. Да, брат, видимо, пошел я в батька. Тот, говорят, тоже не дурак был выпить и закусить: сначала — сколько помнишь, а после — сколько дают.

Парфен удовлетворенно смеется, а Чигиринец тоскливо думает: «Я и сегодня не скажу Парфену того, что собирался сказать. Просто язык не повернется».

По аллее шагает ватага парней. Под мышками — книги, тетради, в руках — надкусанные батоны.

— Первокурсники, — кивает Парфен. — Крестьяне, не обтерлись еще. А смотри, как красуются, будто мушкетеры. Им даже в голову не придет, что задолго до них значительная часть человечества тоже протирала штаны на дубовых университетских скамьях...

— А я завидую им, — говорит Чигиринец, провожая парней взглядом. «Многое дал бы, — думает он, — за то,

чтобы только оказаться в вашем положении, ребята. Многие...»

— О-о-о, — подхватывает Парфен, — мне тоже вспоминается, как «рекламировал» я когда-то первый студенческий голод, первое приобщение к науке и цивилизации... М-да... Постепенно выработали благородные манеры, набрались культуры, одним словом, пообтесались. И вот настал фатально-торжественный момент истории: мы пополнили ряды интеллигенции, которая верой и правдой служит родному народу... Проходят и еще будут проходить годы, однако не забывается, черт побери, этот далекий первый курс. Не можем забыть его, как поэт не мог позабыть родную Третью Роту. Многие хранят об этом курсе уникальное воспоминание — стопку дневников. Они писались в сладкой надежде на то, что со временем потомки прочитают их и скажут удивленно: ты смотри, уже тогда, «на заре туманной юности», наш предок был не просто шишкой на голом месте.

— Не советовал бы тебе, Парфен, произносить такие длинные монологи.

— Отчего же, Андрюша?

— Можно ведь голос потерять.

— Прости, в самом деле разболтался. Это бывает со мной иногда.

— А стихи ты еще пишешь? Кое-что до сих пор помню:

Фатализм расцель меня стремится,
Мозг и душу надвое деля:
Здесь — оазис, чистые криницы,
Там — пустыня, мертвая земля...

— Пишу... Большой частью — любовную лирику... Так что ж там у тебя стряслось? Из телефонного разговора я ничего не понял.

— Не знаю, с чего и начинать. В вагоне подмывало исповедаться даже незнакомому, пусть даже ревизору, только бы сбросить с души эту тяжесть. Насилу сдерживался, подгонял время — скорее к Парфену. Из всех друзей выбрал тебя...

— Ну, я тебе многим обязан. Даже жизнью.

— Не об этом речь. Уверен: ты, как никто другой, поймешь меня, посоветуешь, поможешь отыскать точку

опоры. И вот сидим рядом. Мне и лукавить перед тобой не хочется и вместе с тем страшно неохота ворошить все это.

Где-то на окраине города танко просвистела электричка.

По какой-то странной ассоциации Андрей вдруг вспоминает свое первое путешествие по железной дороге.

В станционном зале, где когда-то мы с батюком уютно и долго ждали поезда, над кассовым окошком висела картина. Золотисто-зеленая лунная ночь, спеленутые туманом горы, к их склонам жмутся хатенки, тускло светятся кое-где оконца, а на переднем плане, ближе к зрителям, — разбушевавшееся море, трехмачтовый парусник. Я все смотрел и смотрел на картину, и мне чудилось, будто вижу все это наяву. Даже слышу, как яростно посвистывает в снастях свежий ветер, полоща подолами парусов, как поскрипывают тонко и жалобно палубные надстройки и борта, как волны сердито шипят под килем, как угрюмо молчит на мостике капитан.

В конце концов нам выдали билеты и мы сели в поезд. Батюка смачно похрапывал и время от времени лихо высвистывал носом (говорят, теперь и я похрапываю да высвистываю во сне, когда лягу неловко либо дерну как следует; в последний мой приезд мать, проснувшись среди ночи от свирепого храпа, начала истово молиться, пока не догадалась, что происходит в ее хате), — батюка смачно похрапывал и время от времени лихо высвистывал носом на запыленной верхней полке, а у меня не было сил отвести взгляд от окна. В те времена вагоны тоскливо поскрипывали и стучали колесами, словно дядько Демид Шкретний своей деревяшкой, заменившей ему правую ногу; внутри, особенно возле окон, спасения не было от пронизывающих сквозняков, глаза жгло от угольной пыли: утром я шмыгал носом и, по словам отца, смахивал на уркагана с одесской Пересыпи — таким был замурзанным, однако никто и ни за что не оторвал бы меня от мутного вагонного окна.

Из весенней ночи, мутно-черной как деготь, то густым созвездием, то редкими цепочками наплывали далекие зовущие огоньки. Они будоражили воображение, и я все пристальнее вглядывался в ночь. Мне все казалось, что сейчас на горизонте таинственно сверкнет море, навстречу выплывет трехмачтовый парусник.

С тех пор в моей жизни отгрохотало бог знает сколько этих поездов, и тысячи километров для меня уже не путь Магеллана, однако вот почему-то и минувшей ночью до утра просидел я у окна, почему-то в эту ночь будоражили и влекли меня далекие огни на глухом степном полустанке. Мне и теперь хочется сесть в поезд, и чтобы навстречу вновь и вновь наплывали таинственные далекие огни, которые обещают радостную надежду...

Чигиринец смотрит на серого гипсового медведя, рассевшегося на куче камней посреди сонного фонтана, и ловит себя на мысли, что его исповедь перед Парфеном такая же никчемная, как никчемен этот искусственный зверь посреди покрытых пылью кустов сирени.

— Собственно, что тут долго рассказывать, Парфен. Я ушел от Натальи.

Ох уж эти настороженные взгляды. Даже Парфен не составляет исключения. А между тем он прав: время разрушает не только крепости. Однако по крайней мере мог бы не так красноречиво показывать свое отношение к этому. Недостаток воспитания.

— О господи! От твоих новостей, Андрюха, можно дуба врезать. То с морем «завязал», теперь с Натальей развелся...

— Это звенья одной цепи.

— Что же у вас с ней «не выгорело»?

— Не будем теперь об этом. Скажу одно: я приехал сюда, чтобы на расстоянии во всем разобраться. А может, даже и новую жизнь начать. Нервы мои напряжены до предела. Необходим покой. Там у меня его не было бы... Надеюсь, ты поможешь мне где-нибудь прийтнуться.

— Правильно сделал, старик, что приехал...

2

— Милости просим, милости просим, — говорит Эра Силовна, желтоволосая, как одуванчик, насквозь пропахшая кухней. — А у нас гости. Ваща матушка, Парфен Дмитриевич. Ой, никак бифштексы подгорают!..

Бросилась на кухню, колыхая располневшим станом. Если и Галя когда-нибудь станет такой же дородной, Парфену нечего завидовать.

— Добрый день, мама. Какими судьбами?

— Доброго здоровьечка... Приехала, Парфенушка, на ярмарку.

Маленькая худощавая женщина (таких надо пятеро, чтоб вышла одна Эра Силовна) сидит на самом краешке дивана, подвернув угол тяжелого яркого ковра, угощает внука вишнями.

— Не глотай, Павлушенька, с косточками, животик разболится, выплюнь косточки бабушке в ручку.

— Я не Павлушка, я Руслан.

— То для бабушки Эвы ты Руслан, а для бабушки Марии — Павлуша.

— Не Эвы, а Эры!

— Пусть будет Эвры.

— Ну вот, вы еще, бабушка, сказать не можете.

— Не пичкайте его, мама, сейчас обедать будем... Вот, мама, тот самый Андрей Чигиринец... Знакомьтесь.

— Драстуйте.

Парфенова мать смущенно улыбнулась, мол, простите, руки подать не могу, косточки в горсти.

— А я вас, Андрюша, сразу узнала. Только порог переступили, так и поняла, что это вы. Только на той карточке вы с Парфенушкой еще совсем мальчишки.

— Так как же там, мама, в нашем Гостинном?

— Ой так славно, так славно, что и не выскажешь. Такая добрая картошка обещается. И бурячки, и фасолька. И Зорька хорошо донтеся, вот тут собрала...

— Взгляни-ка, Андрюха, какая любопытная готика.

Парфен подает альбом «Реймский собор».

— ...собрала творожку, немного продала, немного вам привезла...

— Из Парижа привез. Не только ты бывал в чужих краях, и мы кое-что видали... Не надо было нам творогу везти... Этот собор украшают две тысячи триста статуй...

— Как так не надо? Надо... Привез бы Павлушку, пусть хоть молочка парного вволю попьет...

— Какой синтез архитектуры со скульптурой!

— ...такой уж он у вас тошенький — страх господень!

— Так, говорите, мама, уже и помидоры поспели?

— Нет, помидорам еще не время. А вот огурчики...

— А как тебе эта статуя нравится? Сила!

— ...огурчики уже...

— Хорошо, мама, на той неделе привезу вам вашего внука.

— А привези, привези, пусть потешит бабушкино сердце.

— Вот такие, Андрюха, наши пенаты... Здесь наша спальня...

Парфен отворяет дверь в смежную комнату, и Чигиринцу бросается в глаза масштабный портрет над современной двуспальной кроватью. Фотомастер снял Парфена в гордом движении головы. Вождь — да и только!

— А я не поеду в село. А я не поеду, ага...

Парфен перехватывает взгляд Чигиринца и поспешно закрывает дверь в спальню.

— Рус... Павлик, перестань, бабушку надо любить... Тут — комната Эры Силовны, тут — папин кабинет.

— Ничего себе пенаты.

— Э-э, наш сосед — он тренер футбольной команды — живет в еще более шикарных апартаментах.

— А что, в Садгоре тоже процветает футбол?

— Ха! А где он хиреет? — Парфен садится рядом, он явно чем-то обеспокоен. — Эпидемия века, подкашивающая все более широкие массы... Лучше уж заразиться... сказал бы чем, да... стены белые.

— Напрасно. Футбол — любопытное зрелище.

Вот уж нашли тему для разговора. Лучше с матерью побеседуйте.

— А что, тетя Мария, сегодня ярмарочный день?

— Конечно. По вторникам в Садгоре всегда ярмарочный день.

— Это зрелище возвращает нас к обезьяне.

— Что и кого это возвращает к обезьяне? — слышится из коридора густой бас. — Обезьяньего и теперь хватает кое у кого из нас.

— Генерал прибыл, — шепотом произносит Парфен, заговорщицки подмигнув Чигиринцу.

Входит осанистый косолапый мужчина.

— Ах, пардон, — останавливается на пороге. — Не знал, что у нас гости... Добрый день, Мария Филипповна. Как ваше здоровье?

Садится рядом, диван тяжело стонет, так что Мария Филипповна испуганно вскакивает. Придержал ее за плечи, рассмеялся.

— Не бойтесь, выдержит.

— Знакомьтесь, папа, это мой друг.

— Очень приятно. Мелентий Силыч.

В таких мужчин влюбляются не только женщины, про себя отмечает Чигиринец. Смуглое лицо под копною седых волос. Седина пробилась и в черных усах, а глаза на немолодом уже лице светятся остро и пытливо. Однако прежде всего очаровывает глубокое внутреннее спокойствие, отражающееся на его лице, печать собственного достоинства. Этот человек, вероятно, никогда не теряет равновесия, не взорвется в неистовом гневе, хоть оскорбляй его, даже с кулаками на него бросайся. Собственно, и не найдется такого смельчака, который решился бы на это. Такие люди одним взглядом обезоруживают даже преступников.

— Так вы из треста?

— Папа, вы его с кем-то путаете.

— Возможно. Пардон. — И обернулся к свахе: — Так как ваше сердце, Мария Филипповна?

— Ой, Силыч, будто вновь на свет родилась. Спасибо вам за эти... таблетки...

Парфен подставляет пепельницу, вполголоса продолжает:

— Меня это беспокоит, Андрей, понимаешь — беспокоит, хотя папа и насмехается.

— Ты о чем?

— Как это о чем? Мы говорим о футболе.

«А чтоб тебе черт с твоим футболом!»

— Что же тебя беспокоит?

— Для меня футбол — та же резня гладиаторов, как... Теоретики от футбола утверждают, что футбол соединяет элементы современного спорта и искусства, а я говорю — это варварство.

— Узнайте, как там обед? — просит с дивана Мелентий Силыч.

Парфен возвращается из кухни.

— Моем руки.

В ванной, намыливая руки, он продолжает убежденно:

— Да, Андрей, варварство. И это мое убеждение не поколеблют никакие авторитеты. Хемингуэй, Пикассо, Шостакович... Все гениальные люди свихивались на чем-нибудь... Искусство... Слишком оно примитивно и убого, это искусство. Временами оно даже пугает меня. Когда я смотрю на переполненные трибуны, ревущие

в беспамятстве: «Шайбу! Шайбу!» — или же: «Судью на мыло!», мне видятся ненаписанные книги, неначатые полотна, я слышу, как под черепом шевелятся формулы еще неоткрытых законов.

— Ты напрасно донкихотствуешь, друг мой.

— Прошу, — слышится бодрый голос Эры Силовны, — прошу всех к столу.

Стены столовой увешаны картинками с импрессионистскими стогами, водяными лилиями Клода Моне.

— Это я тоже привез из Парижа, — вставляет Парфен. — Неправда ли, симпатичная серия?

Ловкими и привычными движениями, словно бы всю жизнь только этим и занимался, снимает со стола и кресел целлофановые чехлы.

Мария Филипповна несмело надкусывает тоненький ломтик хлеба, берет с тарелки только колбасу. Ветчина нарезана ломтями, с нею надо управляться ножом, однако Мария Филипповна, видать, к этому не привыкла.

— Свашенька, — говорит Мелентий Силыч, — давайте без церемоний. Кладите в тарелку все, что видите, не обращайтесь на этих господ, манерно отставляющих палец в сторону, держа вилку. А вы, хозяйшечка, — обернулся к Эре Силовне, — уберите с наших глаз эти наперстки, подайте стаканы или по крайней мере фужеры.

— Трали-вали, — Эра Силовна делает большие глаза, но все-таки заменяет «наперстки» на фужеры.

Мелентий Силыч наполнил их домашним вином, чокнулся с Марией Филипповной:

— За ваше, свашенька! Долгих вам лет! И — за всех присутствующих!

— За дружбу, Андрей! — произносит Парфен. — Как говорят русские: старый друг лучше новых двух.

Мелентий Силыч затолкал себе в рот сразу три куска ветчины, Эра Силовна осуждающе покачала головой, желтой, словно одуванчик, сказала поучающе:

— Еду надо тщательно пережевывать.

— Не еду, а пищу. Мне ненавистен сам процесс жевания!

— Трали-вали...

Мелентий Силыч вновь наполнил фужеры янтарным напитком, обратился к Чигиринцу:

— Вы что — старые друзья с моим зятем?

— Папа, это же Андрей Чигиринец.

— А, Чигиринец! Приятно познакомиться... Генрик Сенкевич сказал: «Дружба — что подорожник: хоть цветет и неярко, зато никогда не увядает». Так вот и я за такую дружбу.

Эра Силовна внесла телячьи бифштексы.

Парфен, возбужденный вином, придвигает к себе тарелку матери, начинает расправляться с этими бифштексами, жесткими, будто подошва.

— Вот так вот, мама, смотрите и учитесь, как надо.

— Стара я уже, сынок, переучиваться. Это вы, молодые, в момент все схватываете, перенимаете.

Парфен через силу рассмеялся, поднялся из-за стола.

— Магнитофон включу.

— Стравинского, Парфен Дмитриевич, Стравинского!..

Эра Силовна перестала жевать, закрыла глаза, стала раскачиваться в деланном упоении.

— Ах, какая линейная выразительность, какая игра мелодических линий, гармонических звучаний тембров и ритмов!

«Когда же наконец, — тоскливо думал Чигиринец, — закончится этот обед в честь приезда старого друга?.. Он у меня уже колом в горле стоит!»

Мелентий Силыч кладет на стол салфетку.

— Спасибо за обед и компанию... Вы к нам в командировку, товарищ Чигиринец?

— Видите ли, папа, Андрей... м-мм... как бы это объяснить?... уехал из Корабеловки. Насовсем...

— Почему уехали?

— Так сложились обстоятельства.

— Какие именно? — настораживается Мелентий Силыч.

— Семейные, — коротко отвечает Андрей и решает для себя: больше не скажу вам ни слова.

— Андрей хотел бы работать у нас, — поспешно вмешивается в разговор Парфен. — Скажем, в бюро технической информации...

— У нас?... Гм-м, кхм-м... Так-так...

— За Чигиринца я ручаюсь, папа, — не совсем уверенно говорит Парфен.

— Ручаетесь? — испытующе смотрит на него Мелентий Силыч. — Это хорошо, когда за друзей ручаются. Вы где работали?

Чигиринец расскажет.

— Ну ладно. Приходите ко мне после обеда, что-нибудь придумаем.

И направился к двери, могучий, косолапый.

— Угощайтесь вишенками, свашка, — говорит Мария Филипповна.

— Спасибо. — Эра Силовна взяла вишенку и, еще не донеся ее до рта, скривилась. — Укус!

Парфен касается рукою графина, в этот миг Чигиринец замечает осуждающий взгляд Эры Силовны.

— Ну, еще по одной, Андруха?

— Спасибо, с меня довольно.

— Все будет хорошо. Ну...

— Я же говорю: мне хватит...

— Х-ха! Ты изменяешь своим принципам.

Принципы, друг мой, для того и существуют, чтобы за ними прятать свои привычки, мысленно отвечает Чигиринец. Двое с одинаковыми принципами при этом, вероятно, стремятся к диаметрально противоположному...

— Спасибо за обед.

3

— Генерал — интересный мужик, — рассказывают Парфен по дороге на комбинат. — Горный инженер. Высшее образование получил в годы первых пятилеток. Едва ли не самый первый из садгорских хлопцев, сыновей здешних камнерезов. После института вернулся сюда же, на каменоломни. А когда в Садгоре создали МТС, взяли механиком — кадров не хватало. Призвали в армию, направили в командирскую школу. Стал артиллерийским командиром. Служил в Белоруссии. Там познакомился с учительницей литературы. Женился на ней. Из семейных преданий знаю, что и на службе не оставлял горного дела. Усовершенствовал какие-то артиллерийские приборы и одновременно конструировал машину, которая должна была бы заменить ручной труд сотен людей, короче говоря, камнерезный комбайн. Этой своей идеей увлек и жену, и она стала активно ему помогать. Да, генерал такой: сам легко увлекается и других умеет увлечь. У академика Заболотного он еще в молодости вычитал о том, что человек должен быть пытливым и всесторонним, чтобы найти свое истинное место в жизни.

не затеряться и не зачахнуть среди множества подобных ему, утвердиться в своем праве на совершенство, и эти слова стали его кредо на всю жизнь. Весной сорок первого Мелентий Силыч почти закончил рабочие чертежи. А вскоре, как ты знаешь, началась война.

Мой отец, — продолжает Парфен, — был разведчиком в его полку. Погиб на Дунае. Впрочем, это уже иная история.

С войны Мелентий Силыч вернулся полковником, но наполовину слепым. А жену в сорок седьмом разбил паралич — трагически погиб ее младший брат. Дети были еще крохами, так что все заботы легли на его плечи.

Жене удалось сохранить чертежи, он увлеченно принялся за работу. Однако все больше терял зрение. Галя рассказала мне такой случай. С войны он не привез домой никаких трофеев, кроме пишущей машинки. В один из вечеров с кухни послышался вдруг отрывистый стук машинки. Мать послала Галю посмотреть, что делает отец. Он сидел за машинкой, поставивши ее на кухонный столик, и печатал с закрытыми глазами. Нашупывал клавиши пальцами и нажимал их. Галя тогда еще не понимала, зачем он это делает, рассказала обо всем матери. Мать заплакала. А потом умоляла его поехать к Филатову в Одессу. Он отвечал, что не может оставить ее на попечении детей. После этого телеграммой вызвали его сестру Эру Силовну. Филатов вернул ему зрение. Он закончил подготовку чертежей, машину приняли. Они до сих пор работают в наших штольнях, его камнерезные комбайны, правда, усовершенствованные им же... Тогда он возвратился домой радостный, принялся готовить праздничный ужин. Надо, говорил жене, отметить нашу победу. Дети пришли помогать ему. А когда все было готово, когда вкатили тележку в комнату, она спала с тихой улыбкою на устах. Они будили ее, но так и не разбудили.

Он был в то время еще молодым. Женщины еще и теперь заглядываются на него. Однако он никем не интересуется. Весь погрузился в работу.

Парфен прерывает рассказ про Мелентия Силыча, говорит:

— Ну вот мы и пришли.

Фасад трехэтажного здания администрации комбината, выстроенного из желтых блоков ракушечника, напоминает плантацию хмеля, поставленную торчком.

В коридоре нижнего этажа вкусно пахнет борщом. — Здесь у нас рабочая столовая, — объясняет Парфен.

Запахи борща напоминают Андрею о недавнем гостевании у Кошая.

В честь прибытия старого друга был дан торжественный обед, иронически улыбается Чигиринец. Этот портрет над широченной семейной кроватью. Если бы Парфен месяцами скитался в экспедициях, разведывая золото или нефть, тогда можно было бы как-то объяснить: верная жена тоскует по любимому мужу и всматривается перед сном в дорогие черты. Или же на этом месте висел бы Галин портрет... Неужели по вечерам он смотрит на самого себя? Лежит под белым покрывалом и любуется своей парсуной...

Поднялись по лестнице на второй этаж и оказались словно бы в туннеле, стены которого облицованы керамикой цвета кофе с молоком, а по этому полю — красные и голубые лучики.

Длинная вереница нарядных табличек. Чигиринец даже не успевает читать. Наконец Парфен останавливается. Чигиринец читает:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

— Разрешите, Мелентий Силыч?

— Прошу, прошу.

Над седой копной волос колышется зонтик табачного дыма. По правую руку — три пачки «Казбека».

— Прошу, молодые люди, садитесь.

Они садятся.

— Ну что же, товарищ Чигиринец, — почему-то вздыхает, будто сожалея о чем-то, Мелентий Силыч. — Мне аттестовали вас с наилучшей стороны. К сожалению, вашего бывшего шефа не застал, однако меня полностью устраивает и характеристика его заместителя.

— Вы говорили по телефону с Олегом Васильевичем? — Чигиринец ощущает, как горячая кровь ударила ему в виски.

— Так что, — продолжает Мелентий Силыч, не обращая ни малейшего внимания на слова Чигиринца, — соберем сейчас небольшой совет и будем думать, куда вас пристроить. — Устало щелкает тумблером селекторной связи, произносит в микрофон: — Пригласите ко мне заместителей, начальников отделов, главных специалистов.

Входят несколько человек. Садятся кто где хочет, с интересом поглядывают на Чигиринца.

Мелентий Силыч давит в пепельнице окурок, зажигает еще одну папиросу. Затем знакомит присутствующих с Чигиринцем. Сжато сообщает, где он работал, почему оказался здесь, в Садгоре.

— Выговора не имеет, потому что это дело на собраниях не разбиралось. Просится к нам на работу. Хотел бы трудиться в бюро технической информации. Какие будут предложения?

Все молчат, поглядывая на Чигиринца.

Андрей решительно поднимается с места.

— Есть просьба.

— Слушаем вас, товарищ Чигиринец.

— Прошу послать меня в забой... Скажем, помощником машиниста...

4

— Ну что это ты придумал, Андрей?.. — набрасывается на Чигиринца Парфен, когда они снова остаются в коридоре с глазу на глаз. — Все уже было в полном ажуре, а ты вдруг ни с того, ни с сего — пошлите в забой.

— Я все обдумал.

— Ты всегда все решаешь с бухты-барухты.

— Еще раз повторяю: я все взвесил.

— Тебя шокировал генеральский закидон? Такой уж у него стиль: доверяй и проверяй. Не стоило обращать внимания. Я тоже на него зуб имею: не дает, старый хрыч, никакого ходу. Мои однокурсники давно уже ходят в главных инженерах, замах, а я... Ну да ничего, скоро дадим генералу полную отставку, тогда посмотрим...

— Я слышал где-то такую байку. Одному человеку, когда он родился, ошибочно записали женский пол в метрике. Всю жизнь, горемыка, стремился доказать, что он все-таки не женщина, но так ему это и не удалось. Так вот, Парфен, я думаю: не последовать ли и мне твоему примеру?

— То бишь?

— Не отпустить ли и мне бороду?

— Думаю, она пойдет тебе.

— Пойдет — не пойдет, главное, чтобы никто меня ни с кем не путал.

Глава третья

1

Под конец смены путь им преграждает жила сверхтвердых гнейсов.

Электродвигатели прямо захлебываются, прямо стонут от перегрузки. Уже остро пахнет жженой резиной, режущая цепь швыряет позади себя мощные струи песка — если б вентиляторы не высасывали каменную пыль в центральную штольню, в забое стояла бы такая густобелая тьма, что комбайнер не видел бы своего помощника.

Александр Панкратович Гайдуков заканчивает нарезку очередного отвала, а его помощник Савва Бурлака готовит нишу.

Белый, будто мельник, рукава комбинезона закатаны по локоть, длинные нервные пальцы перебирают кнопки на пульте, как пуговицы гармошки.

Постороннему глазу показалось бы: не работает — развлекается человек. Однако стоит присмотреться к нему внимательней, перехватить его взгляд — Александр Панкратович в состоянии высокого напряжения, в веселом азарте. Пускай ежеминутно «стреляют» заклепки в режущей цепи, крошатся зубья, летят ремни на шкивах — Гайдуков всегда уравновешен, ничто его не выведет из себя. Мурлыча что-то себе под нос, слезет с седласундучка, примется налаживать, исправлять и, глядишь, вновь уже играет на кнопках управления.

Савва выломал ломиком нишу, теперь стоит в стороне, наблюдает, как Александр Панкратович доканчивает нарезку отвала.

Савва сызмальства привык называть Гайдукова дядей Олесем, а став его зятем, называет теперь батьком Олесем.

Красиво работаете, батько Олесь. Не знаю, перениму ли когда-нибудь ваш почерк, но по крайней мере стремлюсь к этому. У нас каждый второй комбайнер благодарит вас за то, что вывели его в люди. Я тоже мечтал стать вашим учеником. И вот стал...

С войны вы прибыли к нам вместе с отцом. Оба усадые, с незажившими еще ранами, в орденах и медалях. Отец, обнявши вас за плечи, сказал дедушке Трояну и маме:

— Мой побратим. Прошли мы с Олесем от Москвы до Вены.

...Этот рубец на скуле, спускающийся на шею, он и теперь дает о себе знать. Особенно в морозы. Как у отца — нога.

А тогда сгоряча ничего и не почувствовали, батько Олесь. Уже после боя в глазах потемнело. Сказали: ходить можешь, дуй в тыл, в медсанбате залатают.

Заснеженное подмосковное поле. Смеркается, поземка метет, мороз щиплет, плюнешь — кровь на ветру замерзает. Замерзшие трупы немцев, ветер развеивает мертвые волосы, наметает снег на глаза, а позади погромыхивает, пылает в полнеба. Уже не обращает внимания на трупы, привыкли, думаете лишь о том, как бы дойти. Ветер толкает в грудь, надбровные дуги разламываются от мороза, кровь заливают горло, забивает дыхание. А силы убывают с каждым шагом. Сесть бы передохнуть, но вы знаете: «Сяду — не встану. Буду идти, пока не упаду, а если упаду — поползу».

А где-то на этом пути, по которому вы бредете, под снежным сугробом отец мой замерзает.

Уже совсем стемнело, только зарево освещает путь.

И вот вы приближаетесь к моему отцу. Споткнулись, чуть не упали. Наклонились — винтовка. Подумали: вот тебе и костыль, все легче будет идти. Отец слышит, как скрипит снег, будто кто-то ступает по капустным листьям. Поднимает голову и на фоне зарева видит высокую фигуру. Как будто свой.

— Эй, браток, иди-ка перекурим.

Сидите оба под сугробом, курите.

— В медсанбат? ..

— В медсанбат. . .

— А меня — в ногу. . . Ползти дальше сил нету. Жду, может, кто поедет, подберут. Всю махру искирил. Никто даже мимо не прошел ни в ту, ни в другую сторону.

Цигарка словно бы притупила боль.

— Скажешь там санитарам, мол, ждет один на дороге.

«Пока доплетусь, ты, браток, отморозишь ноги. До медсанбата еще кто знает сколько», — думаете вы и отвечаете:

— Будем добираться вместе.

— Тяжелый я, ты меня, наверно, не поднимешь.

— Ну, я тоже не из глины сработан.

«А между тем, браток, ты прав. Я потерял много крови, нести тебя вряд ли смогу. Но и бросить — тоже не могу. Будем добираться как-нибудь. Найти бы лыжи, соорудить саночки»...

— перевяжи меня, попытаюсь пройти немного...

Разодрали маскхалат, перевязали друг друга. Вы смогли отцу подняться. Отец обхватил вас за плечо, с другой стороны вы опирались на винтовку, и двинулись в путь.

Поземка перемела дорогу. Снег будто песок. Вас клонит то в одну сторону, то в другую. Однако продолжаете идти.

Восходит месяц в перламутровых окружьях. Впереди темнеет лес. Где-то там и медсанбат. И внезапно перед глазами у вас, батяню Одесь, заронились желтые мушки и что-то толкнуло назад.

Не помните, сколько пролежали в беспомощности.

Когда открыли глаза, низко над вами летели желто-рыжие облака, а выше мерцали яркие звезды. На лбу ощутили холод. Отец растирал снегом.

— Ну как, браток, ожил?

— Перекурим...

Курили и молчали.

— Дальше сам пойдешь... Скажешь санитарам... Тут подожду.

Поднялись, обняли друг друга и двинулись.

Этому пути, казалось, никогда не будет конца, его словно бы сложили из всех тех стежек-дорожек, которые довелось вам обоим исходить до сих пор.

И вдруг, точно из сновидения, белоколонным многоэтажным городом надвинулся на вас березовый лес. Вам даже почудилось, что этот город — наша Москва.

Еще несколько шагов — и перед вами медсанбатовские палатки. Тарахтит движок, в палатках горят лампы, снуют сестры, весело переговариваются. И это больше всего поражает вас — картина мирного покоя. Там, откуда вы пришли, — пекло, труп на трупе, а здесь — электричество, белые халаты, смех.

У ближайшей палатки падаете в снег.

— Ну, браток, век этого не забуду...

С тех пор и побратались...

Мечтал стать вашим учеником, и все разрешилось очень просто...

Мелентий Силыч скоренько вышел из-за стола, седой,

прямо-таки серебряный, седые волосы, брови, серые глаза. Взял легонько под локоть.

— Прошу садиться, Савва Бенедиктович, поговорим. — Усадил за низенький журнальный столик, подвинул пепельницу, подал пачку «Казбека». — Или вы — сигареты? Теперь все курят сигареты, мода такая или что? А я вот — папиросы. Солдатская привычка. — Пустил кольцо дыма, с приятною улыбнулся. — Помню вас вот таким, а сейчас вы вон какой, отца перегнали.

— Морская служба вытягивает.

— Так это правда, что вы ходили подо льдом на Северный полюс?

— Довелось.

— Вероятно, там и коммунистом стали?

— Конечно. Во время похода.

— А мы вашего отца принимали в партию перед боем... Опушка леса, утро, туман, сидим мы на пенечках, отец ваш биографию рассказывает, скупое так, будто стыдится, а из-за холмов доносится шум моторов, фашисты стягивают технику, к атаке готовятся. Отец не рассказывал?

— Отец мало рассказывает о том, как воевал.

— Истинные герои всегда скромны. — Мелентий Спыч вновь закурил. — Знаете ли, за круговертью буден не до воспоминаний, однако, бывает, временами все это предстанет перед тобою как наяву, защемиет сердце... Умирать всегда трудно, однако труднее всего тогда, когда победа близится. И умирать от своих... А они шли на верную смерть — твой отец, тесть Александр Панкратович, мой сват Дмитро Иванович Кошай...

Март сорок пятого. Вышли на Дунай. На том берегу австрийский город Коренбург. Гитлеровцы превратили его в еще один «железный вал на Дунае».

Разведчики занимали тогда заброшенный охотничий замок какого-то барона. Замок стоял посреди живописного дубового леса, на холме. На центральной башенке, а было их двенадцать, оборудовали наблюдательный пункт. Однако заладили дожди, над рекою нависли туманы, и хлопцам невозможно было никак засечь огневые точки врага. А их требовалось уничтожить артогнем, без этого нельзя было начинать готовящееся наступление.

Накануне наступления я поехал к разведчикам.

Хлопцы ужинали в зале, который когда-то служил хозяевам столовой. Твой отец сидел перед каминном, под-

брасывал дубовые дрова, ел тушенку из консервной банки и рассказывал, как они когда-то взяли «языка» — чемпиона города Дрездена по боксу. Увидев меня, подхватился, скомандовал «смирно», стал докладывать. Я махнул рукой, мол, ужинайте, хлопцы.

После ужина хлопцы попросили твоего отца спеть:

— Пусть споет, товарищ полковник.

— Ну-ка, Бенедь Троянович, вот эту:

Ой на поле озерочко,
Там плавадо ведерочко,
Сосновы клепки, тополево донце,
Не чурайся, мое сердце...

Славно пел твой отец, аккомпанируя себе на баяне. На какое-то время мы забыли о войне, словно бы дома побывали. Потом я взглянул на часы и сказал хлопцам, что есть работа, нужны добровольцы.

Вызвались все как один. Каждый из них готов был выполнить любое задание, я хорошо это знал. Но мне нужны были добровольцы — самые надежные, самые опытные разведчики. Да еще и немецкий чтоб знали. Таких было трое. Твой отец, тесть и мой сват. Наши ветераны. Наша гордость. С твоим отцом и Дмитрием Ивановичем мы работали когда-то вместе, в одной МТС. Да и Панкратовича я знал не меньше. Родом из-под Смоленска. Отец погиб в партизанах, мать расстреляли немцы. Где-то под Полтавой у него жена и две маленькие дочурки. Ютятся в землянке, бедствуют. Не хотелось посылать их. Прошли всю войну. На теле у каждого — рубец на рубце. Трое всего и осталось из тех, первых полковых разведчиков. Надо бы сберечь их. Они заслужили такое право — дожить до победы. Только так всегда выходит, что на самое ответственное дело посылаешь самых близких тебе людей, самых родных.

Старшим группы назначил твоего отца.

...Переодетые в немецкую униформу, они шли вслед за мной, а позади несколько хлопцев несли лодку, рацию и прочую амуницию.

Спускались рощей, потом логом, к плавням. Под крайними дубами остановились.

Перекур.

Они сели на борт лодки, смачно потягивали из рукавов. Вокруг молча стояли хлопцы-разведчики.

Похлопывал мелкой волною Дунай, шумели плавни,

беспреданно лил дождь. С противоположного берега — ни единого звука. Только справа, где был город, в небо время от времени взлетали ракеты.

«Пора... Ни пуха ни пера, ребята...»

Через мгновение лодка растворилась во мраке. Не слышно было ни скрипа уключин, ни плеска весел. Тихо вздыхала в камышах вода и по-прежнему лил дождь.

Они достигли противоположного берега, подали нам условный знак. Все в порядке. Можно было возвращаться. Спать, однако, я так и не смог.

Как там хлопцы? Счастливы ли миновали патрульные посты? На ветру, под дождем немецким патрулям не очень-то весело, не один задубел от холода, взять «языка» будет легко, но ведь хлопцам надо проскользнуть в город без излишнего шума, чтобы никто даже не догадался, что в городе советские разведчики... «Языка» возьмут уже там, где-нибудь в подворотне или в темном закоулке. Выследить и взять надо офицера, который наверняка знает дислокацию, многое сможет рассказать. Потом хлопцы должны убедиться в том, что «язык» не врет. А затем уже — выбрать наблюдательный пункт, чтобы оттуда во время штурма корректировать огонь.

На рассвете они сообщили по радию о том, что задание выполнено, назвали координаты разведанных огневых точек.

«Начинаем. Корректируйте огонь»...

Мелентий Силыч вынул из нагрудного кармана таблетку, проглотил ее и запил водой.

— Сердце...

Снова сел, закурил и продолжал рассказывать:

— Пехота под прикрытием артиллерии всю форсировала Дунай, ударная группа уже закрепилась на том берегу, расширяя и углубляя плацдарм, когда твой отец сообщил:

«Огонь по квадрату «два — пять»!...»

«Два — пять» — это были их координаты... Хлопцев запеленговали, я приказал им покинуть чердак, пробиваться к подвалу, скоро наши будут в районе пивзавода, где находился их НП.

Радиция смолкла, потом заработала вновь:

«Вызываю огонь на себя!.. Большое скопление живой силы и техники... Огонь на меня!..»

Случается, не спится, лежишь с открытыми глазами в темноте, смотришь, как на стене бьются вспышки автомобильных фар, думаешь о разном, вспоминаешь услышанное и увиденное, и вдруг предстает предо мною заснеженное подмосковное поле, и уже я бреду, раненый, среди задубевших на морозе немецких трупов, у них ветер шевелит мертвые волосы, намечает на остекленевшие глаза снег, бреду, задыхаясь от собственной крови, сочащейся из раны в горле, с каждым шагом теряю силы, а потом встречаю на пути одинокого бойца с перебитой ногой, сажусь с ним перекурить и думаю, как нам добираться до медсанбата, потому что не могу оставить его здесь у подножья сугроба. . . А потом вижу себя на том чердаке в чужом вражеском городе, корректирую огонь нашей артиллерии, а хлопцы, стоящие у слуховых окон, говорят, что нас запеленговали, во дворе пивзавода скапливаются бронетранспортеры, танки, и сюда уже бегут автоматчики, уже слышится топот подкованных шипами сапог на лестнице, и нет иного выхода, как вызвать огонь на себя — если уж помирать, так с музыкой. . . И тогда, растроганный вашим побратимством и отвагой, спрашиваю самого себя: а если бы все это — наяву? Если бы в самом деле оказаться на вашем месте, хватило бы у меня духу и мужества поступать так, как поступали вы? . . . Пример отцов, вероятно, всегда заставляет сыновей задуматься над собственной человеческой сущностью. . .

— Мы, — рассказывал между тем Мелентий Силыч, — разыскали их в подвале. . . Пробились они туда штыком и гранатой и продержались до нашего прихода. Александр Панкратович — контужен, а твой отец — с перебитой ногой. . . Только Дмитро Иванович не дождался. Тонелький, слово иголка, осколочек перебил сонную артерию. Вот так воевали отцы. И сыновьям надо знать об этом. . .

Потом он закурил снова и спросил у меня, куда я хотел бы идти работать.

— Уж не к отцу ли на бульдозер?

Я ответил, что бульдозер для меня уже не диковинка. Хочется на другую технику, незнакомую еще, — на камнерезный комбайн.

Мелентий Силыч подумал и ответил:

— Кажется, помощника твоего тестя призывают в армию. Согласен к Александру Панкратовичу?

— Еще бы!

— Ну так я тоже поддерживаю такую семейственность. Александр Панкратович сделает из вас толкового комбайнера.

2

Савва стоит в сторонке, мысленно приближая тот миг, когда тесть закончит нарезку, выключит электроэнергию и они вместе, одним мощным рывком, заведут головку комбайна в подготовленную нишу, потом Александр Панкратович коротко бросит: «За пульт!» Савва сядет за пульт, легонько нажмет на кнопку, едва заметный поворот рубильника — и бар плавно поползет, поползет вверх, отделенные от монолита блоки лягут столбцами, а мощный поток песка захлещет в боковую стенку забоя.

Однако она дается труднее всего, эта последняя вертикальная нарезка.

О защитный щиток ударяют слепящие искры, они целым роем выпархивают из-под стальных зубьев режущей цепи, каждый мускул Александра Панкратовича туго напряжен, в постоянной боевой готовности — едва ухо уловит что-нибудь угрожающее в гудении моторов, пальцы тотчас молниеносно переключат пускатели.

Внезапно Савва почувствовал: сзади кто-то стоит. Наверное, шеф пришел.

Но Кошай не один. Рядом с ним незнакомый мужчина, высокий и худущий, будто йог.

— Четвертый или какой? — Парфен кивает на забой.

— Бери выше, хозяин!

— Да ну?! — Кошай взглянул на часы. — Вот так молодчаги! Вот так ударники!.. Ну, дядя Олесь, завтра можете идти в отпуск. Вот привел Савве напарника, между прочим, бывшего морехода и тоже из Корабеловки. Как видишь, Савва, у вас много общего. Знакомьтесь.

— Чигиринец.

Савва чуть не присел. Смотри-ка, такая хубоба, а столько силы в руке!

— Чигиринец, — говорит Кошай, — мой старый друг. Вместе служили в крылатой пехоте, там он меня от верной смерти спас, а потом...

— Не стоит, Парфен Дмитриевич, — обрывает Чигиринец. — Я хотел бы уже сейчас узнать, что должен делать помощник комбайнера.

— Это не так уж сложно, — говорит Савва. — Снимайте свою нейлоновую робу, закатывайте рукава. . .

Помогать принимается и Кошай. Однако сразу же больно прищемил палец, отошел к монолиту — квадратной колонне со следами резательной цепи, стал дуть на него.

Через четверть часа блоки сложены в штабель.

Дядя Олесь садится к пульту.

Савва достает сигареты.

— Разве здесь можно? — Чигиринец отдувается, вытирает пот со лба.

— Здесь не угольная шахта, — отвечает Парфен. — Ракушечник метан не выделяет. . . Покажи-ка руки. Не ободрал? Это ж не ракушечник, а наждак.

— А я толстокожий. — Чигиринец жадно глотает дым, похлопывает по штабелю. — Сколько тут блоков?

— Полторы сотни, — отвечает Савва.

— Это с одного отвала, — замечает Парфен. — Они уложили уже пятый. Так что у них семь с половиной сотен. А норма — две с половиной.

Дядя Олесь включает рабочую подачу, прикикает к окошку в защитном щитке, заходит на первый ряд еще одного, шестого отвала.

Забой наполняется шорохом.

— Будто морской прибой, — удивляется Чигиринец, вслушиваясь.

— Когда-то, — говорит Парфен, — тут в самом деле было море. Живое море. Волны играли ракушками. Вода сошла, ракушки окаменели, образовали твердь, где мы теперь прокладываем эти штольни. . . Подземный способ добычи ракушечника, Андрей, пока еще самый распространенный. Он наиболее дешевый. Подготовительные работы невелики по объему, окупаются сразу же, едва комбайны вгрызутся в развороченный экскаваторами берег, добыча не зависит от капризов небесной канцелярии. . . Но штольни невыгодны тем, что мы переводим зря лучшие залежи, оставляя их на опорные столбы-цевики. Оттого у нас и готовятся так активно к переходу на открытый способ добычи. Между прочим, это тема дипломного проекта Саввы, через год он заканчивает горный институт. . . Ну что же, познакомились, а завтра уж вместе дадите класс.

Глава четвертая

1

— Вон за тем леском, — говорит Савва, — уже и наше Гостинное... Когда-то хутор называли иначе — Волячии. Название, говорит дедушка Троян, повелось не от слова «воняет», а от слова «воинячье», то есть воинское. Наш край села, скажем, до сих пор Пушкарским называется.

Поселение старинное, — продолжает Савва. — Как-то летом раскапывали валы городища, нашли казацкое оружие и разные предметы быта. «Лежу вот так ночами, — говорит дедушка, — да и думаю: под этими валами еще и не такие сокровища спрятаны. А что вы себе думаете?»

Еще в те времена, когда царица Екатерина Вторая разрушила Запорожскую Сечь, забрел в наши края казак-запорожец Софрон. На краю хутора жила вдова Марина. Вот шел тот казак шляхом да и завернул к Марине воды напиться. Как завернул, так дальше и не пошел: вода у нас сладкая.

И вот однажды переписывают в Волячине панские души:

«А кто в этой хате живет?»

«Какой-то Софрон-бурлака и вдова Марина».

Так и записали: Софрон Бурлака.

От него и пошел наш род.

Софронов сын Тарас из панов души вытряхивал, оттого и истлел в Сибири. Деда Трояна отец — Остап Бурлака — в молодости был кучером у садгорского богача Бурбезы. Однажды среди зимы отправились паны на Язуры охотиться. Набилось панов — полные сани. Был среди них какой-то генерал. Вот генерал этот и говорит:

«Смотри-ка, такой груз, а лошади даже под горку идут галопом».

Кучер Остап оборачивается к панам и отвечает:

«Разве ж это груз? Дерьмо это, а не груз!.. От если б полные сани навоза накидать, ото был бы груз...»

Бурбеза прогнал Остапа прочь.

Как раз в эту пору ходили по селам вербовщики с Садгорского сахарного завода. Увидели Остапову силу — воз под гору вытаскивал, — соблазнили. Три сезона гор-

бил на диффузии или же на выпарной станции. Заработал немного деньжонок, вздумал взяться за гречкосейство.

Возвращается лесом домой. Захватила ночь, и преграждают Остапу дорогу разбойники. Хватъ за грудки: отдай деньги!

«Подождите, люди добрые, — отвечает Остап. — Буду перед вами чист, как на исповеди. Еще в постолах кошелек спрятан».

Наклоняется, будто собрался постолы снимать. Да не постол снимает, а хватает верховоду за ноги. Ну, ухватил за ногу — как махнет им вокруг себя, словно булавою. Попадали все, сколько их там ни было. Махнул этим верховодой еще раз, швырнул в кусты, а потом спрашивает:

«А кто там еще моей кровушки хочет — выходи!»

Купил Остап несколько моргов землицы по-над самою Быстрой. Однако недолго тешился хлеборобством своим. Как-то летом понаехало на хутор ученого люда, долго что-то вынюхивали на берегу Быстрой — и пошла молва на всю Садгорщину: найден очень ценный строительный камень, будут в Вонячине закладывать каменоломни. Остаповы земли откупили под разработки, а ему пришлось идти долбить камень.

Возил тачкой песок, глину, пудовым молотом заколачивал клинья — вырабатывал кубометры материала, грузил на баржи, что везли камень до Садгоры и дальше — в большие города.

После каторжного труда направлялся к шинку. Пропивался до нитки... Дедушка Троян рассказывает: он столько той сивухи выпил, что, пусти ее на мельницу, целый год молола бы.

А после взялся за ум-разум. Дети ведь подрастали. Дедушка был третьим, оттого и звали Трояном. Пить Остап стал лишь по праздникам. Но была у него такая странность. Бывало, придет пьяный домой, ляжет посреди хаты, приказывает сыновьям: «А положите-ка батька на печь!»

Через несколько лет он уже был кузнецом на каменоломне. Добрый, говорят, из него кузнец вышел. Своему ремеслу и сыновей выучил. На дедушке Трояне это ремесло обрывается, потому что нынешние Бурлаки пошли по другой части...

Позади громыхает машина.

Мы сходим на обочину, но водитель притормаживает:
— До Гостинного?

Ореста садится в кабину, а мы с Саввой взбираемся в кузов, бросив туда же и сумки. Держимся за высокий борт, упругая струя парусами надувает наши рубахи, взъерошивает волосы. Сквозь темные очки окружающее кажется сумрачным, немного таинственным.

Грузовик ныряет в рощицу, сумерки густеют настолько, что мы снимаем очки. Упиваемся лесным бальзамом, настоящим на запахах грибов, трав, листьев, коры. Сухая, будто нейлон, паутина липнет к лицу, касание ее щекоуще и неприятно в то же время.

И уже спешат навстречу красные черепичные крыши, нацелившиеся телевизионными антеннами в небо.

Останавливаются на улице прохожие, большей частью пожилые женщины, несущие от магазина подрумяненные пшеничные караваи, на огородах распрямляются фигуры, прикладывают козырьком ладони к глазам, смотрят вслед машине. «Часом, уж не Бенедик ли Савва поехал?» — угадываю их мысли.

Часом, уж не Катрин ли Андрей прошел?

В тот, последний, раз ты приехал в Зеленый Гай под вечер. Совсем недавно отшумел ливень, и над горизонтом висели сгустившиеся борозды сизо-голубых дымов, а еще выше небесный свод как бы расцветчивали далекие пожары, похоже было на то, будто там, за горизонтом, пылает полсвета и потому так тревожно окрашиваются выси.

За башмаками тянулась грязь, ты шел по обочине, вдоль канавы, обмелевшей, заросшей бурьяном. Поглядывал через мокрые ворота на чужие подворья, чтоб своевременно и почтительно поклониться землякам, не поклонись — пойдет слава на весь Зеленый Гай: шибь, непутевый, нашил себе золотые галуны на обшлага, сразу нос задрал, нас и за людей не считает.

Однако подворья были пусты, лишь бродили по лужицам куры, да сонно позевывали в будках псы.

От ворот Демида Шкребтя — его, писала мать, похоронили в зимний мясоед — ты увидел свою маму.

Узнал рыжий вельветовый пиджак, купленный на первые заработанные деньги. Тебе, юнцу, очень хотелось иметь вельветовый пиджак, прочный и практичный. Не-

множко покрасовался в нем, а когда уходил в армию, подарил матери. С тех пор не так уж и много подарил ты матери платьев, кофточек. Еще бы, ведь она говорит каждый раз: не покупай ты мне, сынок, ничего, какое старой бабе убранство надо, думайте больше о себе; но разве ты слепой, разве не видишь, как хвалится не нахвалится мать твоими скромными гостинцами перед всей улицей. Только как-то уж так большей частью выходит, что приезжаешь ты к маме чуть ли не с пустыми руками. Как в той песне: «Повеяла в глаза мне седина, но ничего не приношу я в дом, лишь сверточек простого полотна... И вышита, И вышита, И вышита вся жизнь моя на нем...»

На выгоне перед автобусной остановкой, кирпичной будкой с лозунгом, выложенным керамикой, «Да здравствует мир во всем мире!» и расписанием движения автобусов Садгора — Гостинное, водитель тормозит. Над кузовом взвизгивается атомный гриб пыли.

— Оставь, Савва, — говорит водитель, отводя руку с деньгами.

Хлопает дверцей, и грузовик всасывает за собою серый клуб пыли.

Выгон огражден высоким валом.

— Вот тут, — произносит Савва, — было когда-то городище... А это уже наш край села, Пушкарский.

От выгона направляемся к проулку, утопающему в тени осокорей.

...Ты шел вдоль канавы и уже от ворот Демида Шкребтия увидел маму. Она не видела тебя, стояла у калитки, разговаривала с какой-то женщиной. Потом женщина ушла, мать обернулась, посмотрела вдоль улицы и продолжала стоять у калитки, вглядываясь, кто ж там идет. Вглядывалась пристально, напряженно, близоруко. И когда ты был уже в десяти шагах от нее, поравнялся с усадьбой дядька Антона и сквозь зеленое кружево слив и вишен заалела тыльная стена материной хаты, видать, узнала тебя.

Проходим мимо кучи угля у третьих ворот, из подворья выходит тетка Марня, мать Парфена.

— Добрый день, тетя:

— А доброго вам здоровьечка, — отвечает певуче. — На выходной? Вот и Парфен обещал быть.

— Он немного задержится, там какое-то совещание.

— А-а, так он, видно, шестичасовым автобусом при-

едет. А вы чем? Попутной? . . . Заберет Павлушку — страх как в город рвется.

Тетка Мария накладывает в ведро угля, а мы, не прощаясь, идем дальше.

— Вот и наша хата.

Савва отворяет калитку, пропускает Оресту, потом меня. Низко над головами нависают подсиненные гроздья винограда, тяжелые, так что даже дубовые жерди прогнулись дугами, а за этим виноградным туннелем проглянула белая каменная хата с верандой. На стене, рядом с резным окошком, нарядная табличка:

«В этом доме живет почетный труженик
Садгорского комбината строительных материалов
ТРОЯН ОСТАПОВИЧ БУРЛАКА».

Под окнами растут мальвы, над черепичной крышей распустила зеленую бороду старая липа, а из гнезда, свитого на колесе меж стволов, выглядывают аисты. В глубине подворья — погреб, повесть — здесь, видать, столарничают дед Троян или дядько Бенедь. За оградкой, среди кустов смородины — уды, в воздухе носятся густые медовые запахи.

Из садовой калитки выходит пожилая женщина, неторопливая, приветливая. Солнце подрумянило ей лицо, покрыло густым загаром руки, и вся ее фигура, дородная и сильная, источает запах овощей и зелени. Трудно определить возраст таких женщин. Почему-то кажется: такими они рождаются, такими уходят в небытие. А на их место приходят другие. И пока существует эта земля, пока светит это солнце, они вечно будут вызывать восхищение и удивление своей непреходящей красотой.

— Батюшки, какне гости дорогие!

— Добрый день, мама, — говорит Савва.

. . . Ты обнял свою маму за плечи, неловко поцеловал глаза. Теперь обнимешь и поцелуешь во второй раз, когда будешь уже прощаться, — взрослые дети слишком сдержанны в проявлении чувств к родителям. Может, это и не обобщение, может, только ты такой сдержанный?

— Тебе уже прописали очки?

— Прописали, мама.

— Рано, сынок, зрение сдало. А все эти книжки. И некому за зуб потаскать. Наталка не в силах, а я — далеко.

С тихой улыбкой на почерневших устах — насерное,

это ее последнее лето, такой болезненный цвет лица, — мать открывает калиточку, пропускает тебя во двор.

С вишен у порога каплют на стезжку тяжелые прозрачные капли, землю у завалинки вымыло напрочь («Надо водостоки навесить, — говорит мать, — но кто ж их навесит?») — над черепком с картофельной мешанкой сбились намокшие куры.

— Гайда уже на шестки, — говорит мама курам, вытирая кирзовые сапоги о посошок.

«Ко-ко-ко», — сзывает несушек рыжий петух, свесивши голову набок.

— Я тебе дам «ко-ко-ко», — незлобиво произносит мать, как будто уже позабыв о тебе. — Вон какой зоб наел, а тебе все мало.

— Один всего?

— Два. Только тот, сизый, никак двора не держится. Хорошо, что ты приехал, так зарублю на юшку, зачем мне такой петух, что по соседям поет. . .

— А где это наш батько? — спрашивает Савва.

— А ты батька не знаешь? — отвечает тетка Югина. — Ото с утра толчется по двору, как Марко пеклом, да все в одну сторону посматривает. А потом ко мне: «Чуешь, старая, пойду взгляну, как там мои хлопцы». — «Еще не насмотрелся? Еще не очумел в том грохоте? Еще не отравился той соляркою?» Бывает, задам все-таки ему добрую трепку, думается, лета уже не те, здоровье, отпуск получил, то пусть бы лучше отдохнул тот месяц, как все люди отдыхают, за пчелами походил бы, если уж до моря не поехал, как Олесь ездил; эге, только ухмыляется скаженный Бурлака на мою нотацию. Вот такой уж он, люди добрые, сколько помню его. . . Война началась, погнал наш батько тракторá на восток, даже попроститься не успели. Богданчику пять лет, Савве — годик, Любомиром ходила. Аж в сорок четвертом, как фронт через нас проходил, забежал на денечек. Богданко на выгоне играл, Бенедь мимо шел — не узнал. «Гей, Бенедь, — кричат люди, — вон где твой Богданко!» — «Где? Который? . . .» А мы дома сидим. Я штанишки латаю. Чи Саввинны, чи, может, Любомировы, когда чую: знакомые шаги под хатою. «Дети, — говорю, — наш батько идет. . .» Утром повскакивали, Савва туда-сюда зырк глазами да и спрашивает: «А где тот военный дядя?» — «То не дядя, — поучает Богданко, — то наш батько». — «А наш

батько уже ушел?» — это Любомир спрашивает. «Нет, — отвечает Савва, — видать, не ушел, вон там его палка, — показывает на автомат, — стоит». Так и простояла эта палка целехонький день. Аж поздним вечером вернулся наш батько с дедом Трояном из кузни, черные оба, что арапы.

— Не столько этих кур, как мороки, — замечает мать.

— Так зарежьте их, — говоришь сгоряча. — В самом деле: они вас по рукам и ногам связывают. Не успеете к нам в гости приехать, уже назад собираетесь: как же там мои курочки?

— Эге, зарежь, — отвечает мама. — Зарезать не штука. Уничтожишь, а потом что? .. Собрала десяток яиц, вынесла на базар, так будет у меня и на хлеб и на керосин. Да и гостинца могу иногда передать. Только вот, сыночек, стал какой-то гад травить курочек, чтоб его в синие скалы занесло. Новая забота — охранять мою ско-тинку. . .

— А где ж это Юрко, мама? — спрашивает Ореста.

— А видать, с Парфеновым играет. Или с дедом Трояном рыбу удит. Никто в хате не сидит. Только вечером и вижу своих домашних. . . А еще у нас, Ореся, такие огурчики на огороде, как из воды. Сходи, выбери себе на салат.

— Мама, — говорит Савва, — мы с Андреем пойдем искупаемся, пока вы тут. . .

— Идите, только не задерживайтесь. Может, скоро отец подойдет.

2

Издалека Быстрая синее так, словно бы в ней растворили все мировые запасы синьки. Предвечерье пышет зноем, где-то по-над берегом, в разнотравье, клепают луговые кузнечники, натягивают тонкие струны. Невидимые молоточки извлекают такие упругие, такие гулкие звуки, словно они доносятся из колодцев.

Неподалеку от развалин старой мельницы под вербою сидит старик с удочками.

— Дедусь, — говорит Савва.

Деда Трояна, кажется, ничто не трогает. Ни этот погожий день, ни окружающая красота, ни удочки. Низко склонил голову в соломенной шляпе, руки, большие руки кузнеца, свисают с острых колен. Силетенные из одних

только жил, они, вероятно, весят не меньше того железа, которое перековал дед Троян на своем веку.

— Добрый день, дедушка!

— А-а, это ты... Здорово, казаче... А того казака не знаю.

— Мой товарищ, дедусь. Работаем вместе.

— А-а... Очень приятно.

— Так как оно, дедушка, житье-бытье?

— Плохо, Савва, мне теперь живется. Где сяду, там и засыпаю. И на ухо уже тугой, как тот пень. Кричи мне, бо так не учую.

— Сколько ж вам уже, Троян Остапович?

Дед долго смотрит на меня вылинявшими глазами, спокойно отвечает:

— А имею, казаче, восемьдесят и два года. Да еще восемь ран от трех войн... Это тебе не торба пуха за плечами. Прошлый год еще хорошо себя чувствовал, была сила, а ныне уже никудышным стал. Сплю, и все тут. Видать, Савва, скоро подамся до Килыны, зажда-лась меня... Вот дождусь еще утино перелета, а там уже и подамся.

Помолчав, Савва спрашивает:

— А рыбка ловится, дедусь?

— Какая там, внучек, рыбка!... Что повень не унесла, то химкомбинат отравил. Вот несколько красноперок на юшку выудил.

Песчаной отмелью слоняется серая ворона, собирает ракушки. Она не в силах пробить своим клювом панцирь, чтобы добраться до поживы. Ворона взлетает вверх, бросает ракушку на камни старой мельницы, ракушка раскалывается, ворона пирует, следя за белогрудыми чайками. Чайки вьются низко, касаясь крылом воды, кричат.

— Это к дождю, — говорит дед Троян. — Дождя надо. Пойду я, понесу Югине расплевуху на юшку.

Вдоволь накупавшись, ложимся на солнце.

«Не торба пуха за плечами...»

«Мы, нижеподписавшиеся граждане Салгоры, выно-сим свою безграничную благодарность гражданину хуто-ра Вонячина командиру красных партизан-готовцев Сал-горского повета товарищу Бурлаке Трояну Остаповичу за то, что в то время, когда в Терновке было вырезано 240 душ, в Зеленивке — 470, а в Тростянце — 600 душ и

две тысячи петлюровцев подошло с этой же целью к Садгоре, товарищ Бурлака смелыми действиями и находчивым маневром спас город от погрома, а нас от резни.

(Подписи)».

Такой документ не так давно видел я в Садгорском краеведческом музее. Говорю об этом Савве и прошу рассказать про деда Трояна.

Он охотно соглашается. Я слушаю, мысленно стилизую его рассказ, и он разворачивается в целую повесть.

Та мельница, от которой остался лишь фундамент, в те времена славилась на весь повет, да, пожалуй, и на всю губернию. Онуфрий Бурбеца, садгорский богач, держал ее, а мельником был Семен Кошай, а по-уличному Деркач. Был он честным мельником, потому и бедствовал страшно, злыдни свои в ступке толоч, вместо хлеба. Только и радости было у него что дочь Килына да сын Иван. Жена померла при родах. Дочку родила, а сама померла.

Килына была красоты неопишуемой. Парни след ее целовали, когда шла. Но и гордой была Килына, что твоя княжна. Даже молодому Бурбезе от ворот поворот указала. Тот ей золотые горы, а она: «Голубке петух не пара».

Под эту пору вернулся на хутор Троян Бурлака. Полсвета обошел.

Бывал и в Австралиях, и в Африках, и в Америках, искал заработков. Нашел ли он их или не нашел, только взялся за кузнечное дело на камсноломнях, где братья его кузнецами были.

Вот ему, Трояну, и повязала рушник Килына.

Только недолгое счастье им сулилось. Вспыхнула империалистическая война, забрали Трояна с братьями на Черноморский флот. А через полгода родила Килына сына и назвали его Бенедом.

В восемнадцатом году, в марте, вернулся Троян Бурлака домой. Братья погибли. С Галицкого фронта вернулись Иван Кошай. Бурлака и Кошай вместе с другими фронтовиками установили на хуторе советскую власть, принялись делить имущество Бурбезово.

А тут вдруг тучей надвинулись австрийцы. Собрал Троян тех, кто имел оружие, выступили навстречу врагу. Австрийцы шли битым садгорским шляхом, а Трояновы хлопцы засели за железнодорожной насыпью.

Но силы были неравными. У австрийцев пушки, пулеметы. Троян приказал выносить раненых, отступать в горы, к пещерному монастырю.

Там пережидали, пока монахи хлопцам раны лечили. Как-то командир — Трояна уже называли командиром — принялся высекать что-то на скале. «Святого на память вам оставляю», — объяснял любопытным монахам. Когда же закончил работу, все узнали Тараса Шевченко.

Разведчики доносили, что каратели и гайдамаки все еще лютуют в селах повета.

— Выход один, хлопцы, — пробиваться к Котовскому. Знаю Григория Ивановича лично. Год назад познакомились. На съезде делегатов Шестой армии и Черноморского флота. Съезд проходил в румынском городе Галаце. Котовский прибыл делегатом от 136-го Таганрогского полка. . .

Хотя было и нелегко, однако они пробились.

Котовский узнал Трояна.

— А что, братишка Бурлака, правду я все же тебе говорил: мы еще с тобой, черноморец, встретимся, еще повоюем вместе.

Через несколько месяцев Троян вернулся на Садгоршину.

В Садгоре были петлюровцы. Ни один из них не выскользнул из города.

Пленных привели к командиру.

Вели их под веселый смех, потому что стрижены все были как тифозники, а на темени у каждого болтались оселедцы из конской гривы, из женских кос.

— Так что, панове вольные казаки, отвоевались?

Пленные хмуро отмалчивались.

— Что ж нам теперь с вами делать? . . . Будь вы на нашем месте, так уж знали б, что делать с нами. Звезды на груди вырезали бы, с круч Надбыстрианских сбрасывали. . . Разве не так?

— Мы такого не чинили.

— А кто?

— Куркули да их подголоски.

— А вы кто?

— Так кто ж. . . Гречкосей.

— Как же оказались с ними в одной компании?

— Силой заставили. Сказали: если не согласимся идти в «вольные казаки», земли не нарежут.

— И много же вам нарезали?

— Эге, зимой нарезают, а летом отбирают.

К крыльцу подскакал всадник.

— Товарищ командир, со стороны Порогов движется толпа крестьян. С вилами, косами, ружьями.

— Погромщики?

— Они.

— Коня!

Одиннадцать всадников поскакало следом.

На мосту командир поднял руку: стой!

Несколькими рукавами со стороны леса стекалась огромная масса людей. Кричали, постреливали.

— Перепились. Идут «резать большевиков и жидов».

— Не меньше двух тысяч.

— Если не больше!

— Такая силища — в порошок сотрут город.

— Прикажете выставить пулеметы, товарищ командир?

— Штука нехитрая. Только... Это вам не регулярное войско. Мужики, отравленные петлюровской пропагандой.

— Надо придумать что-нибудь... Вот что, Кошай. Бери своих орлов и что есть духу скачите к монастырю. Прикажи игумену организовать крестный ход. Пусть выйдут навстречу погромщикам. Когда смешаются с ними, пусть говорят монахи, что на станции разгружается бригада Котовского, а два эскадрона уже идут в обход, чтоб окружить погромщиков и рассчитаться с ними за резню, которую учинили они в Тростянце. А сами зайдите с тылу, выберите удобный момент и поднимите стрельбу, кричите «ура», будто и вправду атакуете.

Когда вернулись в штаб, командир приказал привести пленных.

— Вот что, «вольные казаки». Настало время искупить свои грехи перед революцией. Слышали: на город идет банда погромщиков. По-вашему — это повстанцы, а по-нашему — банда погромщиков. Они идут резать, сжигать, уничтожать. Мы в состоянии остановить их силой. Выкосить пулеметами, порубать саблями. Но... напрасно прольется человеческая кровь. Это — взбаламученные, обманутые, пьяные мужики. Мы хотим избежать кровопролития. Поэтому вы пойдете им навстречу.

В толпе пленных прошелестел ропот.

Командир усмехнулся.

— Задание ваше несложное. Бежите им навстречу и что есть духу кричите: «Котовцы! Котовцы в городе!» От того, как будете кричать, зависит ваша судьба. Выдать им оружие без боеприпасов. Кругом! Бегом — марш!

Трояновы хлопцы залегли на Замковой горе, откуда хорошо просматривался город.

Толпа уже запрудила мост. Двигалась огородами, лоямая плетни, — улицы уже стали для нее тесными. И тут навстречу толпе выскочили пленные. «Повстанцы», остановленные их криками, сбились в кучу, заколебались. А из ворот монастырских уже выступал крестный ход. Монахи несли иконы, пели. Передние «повстанцы» совсем растерялись, а между тем задние продолжали напирать; все смешалось, закрутилось. Кошаевы хлопцы учинили в тылу сумасшедшую пальбу, грохнуло «ура!», казалось, что и в самом деле в атаку пошло несколько эскадронов.

Застучали пулеметы с Замковой горы.

В толпе заметались.

— По коням! — командовал Троян. — Ур-рра!

«Повстанцы» убежали в поле, теряя оружие, шапки и сапоги. Через какой-нибудь час двухтысячная «армия» разбежалась кто куда.

Не было убитых. Ни с одной, ни с другой стороны. Теперь путь к хутору Вонячину был свободен.

Командир торопился к Килыне и сыну.

Однако застал дома лишь тестя, белого как молоко, и маленького Бенедя.

— Где Килына, батько?

У старого Коша я отнялся язык, он лишь плакал беззвучно.

Пришли соседи, рассказали.

В тот день, когда Троян с партизанами отступил в горы, австрийцы ворвались в хутор. Вражью силу привел молодой Бурбеза.

Гайдамаки выволокли Килыну из хаты, бросили под ноги Бурбезова жеребца.

— Ну, — свесился с седла Бурбеза, — так где твой орел сизокрылый?

— Черных воронов скубет.

— Гов, а ты не изменилась, пся мать. Все такая же — на язык остра. Ну-ка, хлопцы, заведите ее только в ригу. Я уж с нею поиграю, я ей припомню старую обиду!

— Побойся бога, душегуб! Я скоро матерью стану...

Старый Кошай кинулся защищать дочку, но какой-то гайдамак ударил саблей, и в глазах у него померкло.

А когда пришел в себя, бросился в ригу, увидел дочь растерзанной. Упал перед нею на колени, беззвучно рыдал и молился: «Господи, верни мне дитя! Верни мне мою последнюю опору на земле!» Несколько часов спустя вышел, заплетаясь, будто пьяный, из сарая, остановился посреди двора, затоптанного копытами, невидящим взглядом обвел все вокруг, словно обдумывал что-то, на что-то решался. Потом, обессиленный, направился в хату, сорвал со стен образа, вынес, бросил посреди двора и стал неистово рубить топором и втапывать в землю, раз за разом приговаривая: «Нет моей дочки — так и бога нет...».

Маленького Бенедя спрятали соседи.

Килыну закопали во рву: Бурбеца грозился спалить хутор дотла, если тело похоронят на кладбище...

В тот день соседи помогли Трояну перенести Килыну на кладбище.

3

Рядом с нами ложится тень и спрашивает Парфеновым голосом:

— Вылеживаетесь?

— Ложись и ты.

— Сперва искупаюсь. Айда за компанию.

Вода как парное молоко, но грязновата.

— Благодать какая, — мечтательно говорит Парфен, когда мы уже лежим на песке втроем. — Припекает солнышко, по-голубинному воркует волна, серебром взблескивает рыба, в синей вышине плывут куда-то караваны белых парусников... Благодать!

Переведя дух и пососав сигарету, продолжает:

— Знаете, братцы, когда попадаю на хутор, я будто обновляюсь, будто рождаюсь вновь... Кстати, о самом термине — хутор. Когда-то это было чем-то ругательным, а теперь звучит вполне нормально. Одну из окраин Садгоры называли — хутор Шевчейко... Так вот, на хуторе я временами переживаю сладостные мгновенья величия. Идешь вот так по улице и виззапно ощущаешь: с тобой происходит что-то фантастическое. Как будто растешь, становясь словно бы Гулливером в королевстве лили-

путов. Ногами стоишь на земле, а головой упираешься в небо. Еще немножечко выпрямишься, и небо треснет, голубые черепки упадут к твоим ногам. В душе — вся вселенная. И уже как будто идешь не по улице, а, переступая через хаты и деревья, уходишь куда-то в вечность, как пророк, осмысливший тайны бытия. С вами такого не бывает?

— Не припомню, — отвечает Савва.

— А с тобой, Андрей?

— Вероятно, это не каждому дано.

— Что?

— Ощутить свое величие.

— А со мной это часто случается, — серьезно продолжает Парфен. — И еще, когда я в селе, хочется пофилософствовать. . . Это, вероятно, оттого, что здесь другой темп жизни. Остаемся с глазу на глаз с природой, очищаемся от всяких напластований, так сказать от индустриальной грязи, и появляется время поразмышлять над разными проблемами. . . Вот и сейчас. . . Вы никогда не задумывались, братцы, над тем, почему вообще человека привлекает небо? Днем или ночью, утром или вечером — когда бы ни смотрел на него, небо всегда располагает к размышлениям. . . Для чего, собственно, ты существуешь и что ты представляешь из себя в сравнении с ним, с небом? И в самом деле? Вот мне приятно сейчас ощущать ласковое прикосновение солнца, мой слух радуется голубиное воркованье волны, взор мой пленяют караваны белых парусников. Это сейчас. Однако наступит когда-то тот фатальный час, вероятно, он уже не за горами, когда я ничего этого не смогу ощущать и воспринимать. Кости мои будут тлеть в земле, из них прорастет чахлая крапива или же разлапистые лопухи, а там, вверху, все так же будет светить солнце, журчать вода, будут проплывать белые облака. Все будет так же, как и теперь. Только меня уже не будет. Так в чем смысл моего бытия? Что вы скажете на это, хлопцы? Или вы уже позасыпали?

— Из меня, — произносит Савва, — философ никудышный, предпочитаю слушать других. Но я уже догадываюсь, чем такое философствование заканчивается. Какими выводами.

— Ну-ка, ну-ка!

— Подобная философия оправдывает потребительские лозунги: живем лишь один раз, значит, берите от

жизни все, что можно. Как говорится, живи, пока живется, лови, что попадется, лопни, но держи фасон! .

— А ты, Андрюша, что скажешь?!

— Примерно то же самое.

— Э-ээ, с вами поговоришь... Ничего я не берусь оправдывать, я только пытаюсь найти ответ... Кто-то сказал, что человек не божество небесное, он существо земное, однако обреченное жить между небом и землей. Не в этом ли и состоит трагедия? Перед величием неба и земли человек — ничто. Это резко полярные величины. Они никогда не уравниваются. Генерал любит повторять: человек, мол, не в силах дорасти до вселенной лишь физически, разумом же своим, интеллектом он уже равен ей. Может, в этом и суть: величием своим сравняться с величием вселенной?

— Это уж слишком что-то мудреное.

— Давай лучше поговорим о футболе.

— Идите вы знаете куда! . .

4

Дед Троян сидит на ступеньках веранды, попыхивает трубочкой, а дядько Бенедь и дядько Олесь управляют на пасеке. В одинаковых сетчатых забралах, белых рубашках и серых брюках — будто близнецы. Один держит алюминиевую мисочку, другой ножом вырезает соты.

— Есть что-нибудь, папа?

— По усам не потечет, а полакомимся.

Выходят из-за плетня, дядько Бенедь немного прихрамывает, петляя среди кустов смородины, сбрасывают маски.

Они несколько не похожи друг на друга.

Дядько Бенедь сдержанный, даже несколько суровый, как и все Бурлаки. Глаза щурит, кожа на скулах красноватая, в волосах игольчатая изморозь.

Лицо дядька Олеся покрыто ровным загаром, его осеняет тихая улыбка, в глазах отражается опрокинутое небо, а волосы завихрены, как пучок соломы.

Дядько Бенедь отдаст миску с медом Оресте, садится рядом с дедом Трояном, жестом приглашает и нас:

— Садитесь да перекурим, пока там что... .

— Садись, — говорит мама, — в ногах правды нет. — Сейчас яшпенку изжарю. Вот только схожу к тетке Лесе за старым салом. Тебе еще нравится старое сало?

Через мгновение возвращается с улицы.

— Что-то забыли?

— Дарка Арехтова перешла улицу.

— С пустыми ведрами?

— Нет, просто так.

— ?!

— Эге, посмейся. Это уж точно: стоит Дарке перейти дорогу, считай, удачи не будет, вертайся назад. Ладно, на подсолнечном масле нажарю. Ты, наверное, очень голоден?

— Да вроде бы не очень. . .

Мать идет в летнюю кухоньку, бренчит там посудой, и ты чувствуешь, как возвращаешься в те далекие времена, когда мать постоянно была рядом.

— В позапрошлом воскресенье, — говорит мать в открытую дверь, — ездила в Житники на ярмарку, купила новенькое курило (так называет она керогаз), то теперь так хорошо! Со старым, бывало, так наломаешься, пока раскочегаришь.

Ты сидишь на чурбаке под вишней.

Помнишь ее совсем тоненькой, беззащитной. Под нею лежал батько. Ты смастерил ему деревянную кровать, и отец все лето пролежал под этой вишенкой. Даже на ночь не хотел идти в хату. Мать потеплее укутывала его, и отец спал во дворе.

Весной его оперировали.

На всю жизнь ты запомнил ту последнюю батькову дорогу из областной больницы домой.

Сошли с автобуса и двинулись напрямик через молодую дубовую рощицу, батько — чуть впереди, согласно сельскому обычаю, а вы с матерью — позади.

На обочинах и вдоль канав проклевывалась первая травка — иногда чудилось, будто под гнездами прошлогодних листьев и бурьянов просыпаются зеленые ежики. А на огородах и в садах жгли весенние дымные костры. Сады и левады окутывались сизым прозрачным маревом. И все это напоминало какой-то языческий праздник пробуждения.

Батько устало присел передохнуть под кустом порозовевшего шиповника. Гладил рукой первую травку, наблюдал, как повсюду жгут костры.

Ты взглянул на батька, на минуту встретился с его глазами, и они показались тебе такими печальными, точ-

но осеннее небо после отлета журавлей. Сердце дрогнуло от догадки: батько прощается со всем этим миром.

Вас уверяли: он скоро поправится. Хотели верить этому и, пожалуй, верили — батько сам вселял в вас эту веру. Никогда не жаловался, старался быть веселым, хотя наверняка знал, что это последние весенние костры в его жизни.

Теперь ты хорошо понимаешь, почему он не хотел ночевать в хате, твой — тогда еще молодой — батько. Он слышал твои шаги, доносившиеся с улицы, потому что, едва ты брался за щеколду, уже тянулся к тебе навстречу, опершись на локоть, щурил глаза, всегда такие чистые, прозрачные, словно кристаллики крещенского льда, и приветствовал тебя чарующей улыбкой — именно чарующей, ибо ни у кого, кроме бати, ты не видел такой по-мужски прекрасной улыбки. Потом обжигал твое лицо седой щетиной, усаживал рядышком: «Ну, рассказывай, Андрийко»...

С улицы, хряпнув калиткой, прогарцевал верхом на палочке Юрко — вылитый Савва.

— Старик, а это что такое? — указывает Савва на пятна зеленки. — Днатез, что ли?

— Ага. Это не страшно.

На порог выходит помолодевшая тетка Югина.

— Так заходите ж, люди добрые, в хату.

— Вот и яишенка поспела, — говорит мать. — Заходи, сынок, в хату.

Наклоняешь голову, чтоб не треснуться о косяк, заходишь.

Стол, лавка, табуретки. Окна маленькие — в хате полумрак. Снимаешь плащ, вешаешь на крючок, поверх материнской кацавейки. Распаковываешь чемодан, ставишь на стол бутылочку вина, выкладываешь колбасу, сыр, селедку, масло, конфеты.

— И зачем было тратиться, — замечает мать.

— Ну какие это траты...

Мать выставляет на стол свою бутылочку, рюмки, ты открываешь вино.

— Или вы, мама, крепкого выпьете?

— Нельзя мне, сынок. Винца выпью, да и то капельку... За твой приезд. С праздников держу. А ты пей горилку. Думала, приедешь, ага... Как там твои?

— Живы-здоровы. Кланяются вам.

— Ну, слава богу. Спасибо... За твое, сынок.

— За ваше, мама.

— Будем, хлопцы, — провозглашает дядько Бенедь, поднявши фужер с виноградным напитком. — Чтоб наша доля нас не чуралась.

— Чтоб вы, папа, хорошо отдохнули.

— Спасибо, сынок.

Меня усадили между Парфеном и дядьком Олесем.

Отсюда, из красного угла, хорошо видна вся хата, которой не подобрать лучшего названия, чем светлица. Каждая вещь из домашней обстановки — кровать, диван, платяной шкаф, книжный стеллаж, телевизор — стоит именно там, где ей и надлежит стоять. Это создает покой и уют, которые располагают и к отдыху наедине с самим собой, и к дружескому застолью, и к умственному труду. Только мебель, очевидно, не в магазине куплена, а сработана мастером-любителем — в поисках совершенных форм мастер остановился на той грани, которой отмечено истинное искусство. Вполне современное городское жилье. С жильем крестьянским его роднят лишь бесчисленные фотографии в рушниках — здесь вся родословная Бурлак, от пышноусых георгиевских кавалеров до голопузого Юрка.

Парфен говорит, что все в этой хате — творчество Саввиных предков. Бурлаки никому не дадут копейки на себе заработать. Печи кладут, столярничают, плотничают, куют, слесарничают. Нет, вероятно, такого дела, которому не были бы они обучены. Словно бы родились для того, чтоб перепробовать всякую работу и сгореть в ней. Такие уж нестовые в труде. Деду Трояну пошел девятый десяток, а все никак не могут отправить его на пенсию.

Дед Троян сидит справа от Парфена, лакомится рыбой. Держит жареную рыбешку в больших плоских пальцах, побитых металлом и углем, внимательно разглядывает ее, будто не верит, что в самом деле ест рыбу. Теперь уже каждый наливает в рюмки сам себе сколько пожелает. Парфен нацеживает деду в рюмку, чокается с ним:

— За ваше здоровье, Трояне Остаповичу.

— Эге, — вытирает усы дед. — Это вже не здоровье, а черт знает что.

— А молот-то еще крепко держите?

— Пока держу — до тех пор и живу.

Парфен опрокидывает вино одним духом, а дед смакует по капельке, побряхтывает с удовольствием.

— Трояне Остаповичу, — вновь обращается к нему Парфен. — Теперь, знаете ли, мода такая пошла — все сравнивать. Вот, скажем, про доярок пишут: если бы все молоко, которое она надоила, слить в железнодорожные цистерны, вышло бы два или три эшелона. Понимаете? А вот как про вас можно было бы написать? Если бы все то железо, что вы перековали, вытянуть в одну ленту, что вышло бы?

— Никогда об этом не думал.

— Ну а если б все-таки прикинуть?

— Ну а если б прикинуть, так, верно, вышло б штуки четыре обруча на экватор.

— О, слышал? — толкает Парфен Андрея под бок. — Четыре обруча на экватор! Это тебе не что-нибудь. . .

— Ты тут, Парфен? — появляется на пороге тетка Мария.

— Заходи, Марийка, заходи. — Тетка Югина подхватывается ей навстречу. — Вот тут, рядом с Олесем садись.

Тетка Мария вынимает из-под кофты кусок сала, желтого, будто смазанного желтком, кладет на стол среди тарелок.

— Нарезь, Югинка, может, кто из хлопцев посолонцует. Бо мой Парфен любит старое сальце. Только порог хаты переступит, уже спрашивает: «А есть ли у вас, мама, старое сало?»

Парфен виновато улыбается, будто уличили его в чем-то нехорошем, наклоняется ко мне, желая что-то сказать, но в это время его мать, садясь к столу, наступает Мурке на хвост — в светлице раздается дикий кошачий визг, а вслед за ним хохот. . .

— А, чтоб тебе! — всплескивает руками Югина Тодосовна. — А ну марш ловить мышей!

Внезапно еще одно происшествие — с улицы вбегает Юрко и обращается к Бенедю:

— Деда-дедусь, а у меня зуб выпал.

— Где ж он?

— Вот.

Дядько Бенедь берет Юрка за руку, прихрамывая выводит в сени.

— Повторяй за мной: «Мышка-мышка, возьми зуб ко-
стяной, дай мне железный».

— Нет, лучше золотой, как у мамы.

— Пусть золотой. А теперь — бросай на чердак.

Вернувшись на место, дядько Бенедь предлагает выпить за тетку Марию, потом снова наклоняется к дядьку Олесю, продолжает какой-то разговор.

— Так я ему и говорю: не в том суть, при каком деле человек, а в том, каков он в этом деле.

— Что у тебя, муженек, за натура: все одно и то же. У тебя только и на уме — работа да работа.

— Кому что, жена. Курице — просо, пьянице — чарка, скупому — калита, а рабочему человеку — работа. Так не грех и поговорить об этом в доброй компании.

Тетка Югина вносит из кухни жаркое.

— Хватит вам, мама, бегать туда-сюда, — просит Савва. — Садитесь к столу, чего нам еще надо?!

— Как это там старый Бульба говорит? — оборачивается дядько Бенедь к Савве. — Мол, не надо нам, жинка, пундиков да марципанов, подавай нам целого барана, то есть... гуся.

— Ты на меня, сынок, не обращай внимания, — отвечает Югина Тодосовна. — Пейте, закусывайте, вы ж с дороги.

— Ты на меня, сынок, не обращай внимания, — говорит мать. — Я теперь и ем-то раз в день. А ты закусывай хорошеенько, ты ж с дороги... О, вроде почтарка идет. Надо позвать... Или, может, не надо?

— Почему ж, зовите!

— Ду-у-ню-уу! — закричала мать с порога. — А иди-ка сюда, что-то мне вот тут прочитаешь, я сама никак не разберу.

— Да я вам, тетка Катря, грязи нанесу, — отвечает почтальонша Дуня у порога.

— Э-ээ, то ерунда, помою. Заходи, Дуня, заходи.

Сначала в двери появляется почтовая сумка, потом и почтальон Дуня, темнолицая, с добрыми глазами женщины, входит.

— О-о, так у вас же гость дорогой, а говорите — иди прочитай.

— Так ты ж без того засмуцалась бы.

— Здравствуйте, Андрей, — говорит почтальон Ду-

ня. — С приездом вас. Вот видите, тетка Катря, дождались-таки, а говорили — не приедет.

— Садись, Дуня. Вот сюда садись. Налей-ка, сынок, Дуне чарку.

— Ой, так я ж совсем упыюсь, тетка Катря.

— А тебе куда идти? Почту разнесла. Наливай ей, сынок, наливай. Она мне письма твои читает. А как же, я сама ж уже не могу. Хоть и передал ты мне окуляры, спасибо тебе, так пока разберу. Одно — то, что не вижу как следует, а другое — что-то почерк свой ты совсем испортил. Что «т», что «ш» — одинаково. Разве ты не в состоянии грамотнее писать? . . . Пей, Дуня.

Югину Тодосовну усадили все же за стол, гостям прислуживает теперь Ореста. Савва наливает матери рюмочку, Югина Тодосовна пригубливает, утирается ладонью.

— Еще не управились с побелкой, Югинка?

— Где там, Марийка, управилась! За той побелкой света белого не видишь. Вот уж доля наша женская: в молодости бели, под старость бели. Еще кабы здоровье было, а у меня ж сердце, ревматизм и что ты хочешь. А во-вторых, для кого эта хата? Разве они в ней жить будут? Продадут кому-нибудь, вот будет дурному радость: на готовенькое сядет. Уже ж, детки мои, чую: не долго мне жить осталось. В один прекрасный день закрою глаза, да и останется Бенедь как палец один.

— Не останется, — смеется Парфен, — другую приведет.

— А что вы себе думаете, — подхватывает шутку и Югина Тодосовна. — Может, и приведет. Теперь разве долго? Вон в Порогах: поставили одну хату, бедная жинка нахайдакалась вокруг нее, паломалась, а четвертого дня после новоселья богу душу отдала; дед привел себе молодницу. Ото радовалась, ото радовалась, аж гопки скакала. Так и было ж чего от радости в ладоши хлопать: четыре кухни, чи то комнаты, пол деревянный, электрика — я сама была на похоронах, так видела: цементом кругом все залито. Такая краса, что только ах! Вот тебе и на: тянулась баба на хату весь свой век, а достался труд ее за здорово живешь чужачке. . . Был сын, правда, без клепки в голове, так перед самой материнной смертью куда-то заваялся. Чего тебе, детина, переться аж на край света? Разве ж тут негде место нагреть?

— Ну, так за ваше, тетка Катря. За ваше, Андрей.

Чтоб письма чаще матери слали, это теперь для нее все.. Как не иду, всегда перестрелет: несешь мне письмо, Дуня?.. А то было на праздник иду, а она сидит на бревнах и голосит..

— Эге, так обидно: людские дети приехали, а мои и ока не кажут.. Людям радость, а мне — плач.. Наварила, напекла — хоть собакам выбрось..

— Разве ж они слушают нашего совета? — вздыхает тетка Мария. — Живут своим разумом. Ото пока малые, Югинка, только и нашего. А вырастишь, доведешь до ума — только бы радоваться, эге ж, разве для себя растила — для чужих людей..

Лишь теперь ты заметил, что на столе у матери.. Ибо куда тебе еще смотреть? Куда глаза спрятать?..

Уголок стола весь заставлен твоими письмами и твоими фотокарточками. Это фотографировали тебя в Сингапуре, а это — на Кубе, а там вон — в Гибралтаре.. Сколько же их, этих фотокарточек! Как представишь, что вечерами мать садится к столу и перебирает твои письма, фотографии, долго-долго перебирает, и спазмы перехватывают тебе горло..

— Точно, Марийка, точно, истинную правду говоришь.

— Не голосите, — прерывает их дядько Бенедь. — Не на похоронах. Испокон веку так ведется: вырастают дети, вылетают из родного гнезда, вьют свое, живут своим разумом. И это правильно. Жизнь не останавливается только потому, что вначале родители учат своих детей, а потом сами учатся у них. Если б, к примеру, Савва не перерос меня, отца своего, движение остановилось бы лет на двадцать. Точно так же будет и в том случае, если Юрко не перерастет Савву. Такой уж закон природы: дети становятся родителями, и все начинается сначала, как по кругу. Так что нечего и голосить.

— А что там, дети, про войну слышать? — спрашивает Югина Тодосовна.

— Нам читали лекцию, — отвечает Ореста. — Приехал тут один товарищ. Так международное положение, говорит, складывается теперь благоприятно.

— Дай боже. Хоть бы вам, дети, пожить в мире. Такая жизнь настала: и хлеб есть, и к хлебу.. Эге, только и слышно: то здесь воюют, то там, только и трубят, что про бомбы да ракеты.. Добраться бы мне до этого Фа-

шистона — вот этими бы руками передушила всех тех, кто на вашу молодую жизнь зубы точит! . .

Какое-то мгновение все молчат, потом дядька Бенедь говорит:

— А подай-ка, Оресья, кобзу, да запоем нашу.

Ореста вносит кобзу.

Взяв ее в руки, дядько Бенедь посерьезнел, коснулся струн:

Собралися все Бурлаки
До родимой хаты.

Голос его, не сильный, но чистый, немного вибрирует, видать, волнуется дядько Бенедь.

Дед Троян и Савва тоже посерьезнели, слушают кобзу ревниво и задумчиво, потом вместе делают глубокий вдох, подхватывают:

Тут нам мило, тут нам любо
Тоску излить, братья. . .

Поют ладно, вкладывая в слова и в мелодию широчайший смысл, ибо песня эта — об их роде.

Что-то щекочет в глазу, а в груди как будто поднимается теплая волна светлой радости и печали.

Дядько Олесья наклоняется ко мне, жарко шепчет:

— Как поют, а? Народ, который имеет такие песни и который умеет так петь, бессмертен. Я — русский, но когда слышу украинскую песню, горжусь вашим народом так же, как и своим.

Дядько Бенедь передает кобзу Савве.

— Вот бы нам за стол еще и Богдана с Любомиром. . . Выпьем за добрую песню.

Савва касается струн.

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу. . .

Дядько Бенедь отставляет рюмку, кладет руку на плечо Олесью, и они склоняются друг к другу головами.

Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу. . .

Песню подхватывает весь стол, а дядько Бенедь неожиданно замолкает, склоняется на свободную руку, закрывает глаза большой рабочей ладонью.

— Отчего плачешь, батько? — спрашивает Югина Тодосовна.

— Потому что наломался, — отвечает ей дед Троян. Дядько Олесь поворачивается ко мне:

— А в самом деле наломались... Вот было на Дунае... Есть там такой город — Коренбург или Корнербург...

Однако это лишь минутная слабость дядька Бенедя. Резко поднимает голову, передергивает плечами, словно груз сбрасывает.

— Ну-ка, Савва, вот эту:

В огороде буркун
Ягодок не рѳдит,
Только кум до кумы
Каждый вечер ходит.

... Чем дольше длится это щедрое застолье с будничными разговорами, с песнями, способными выжать слезу и окрылить душу, тем глубже влюбляюсь в этих людей, и где-то под самым сердцем прорастает радостное ощущение кровного родства с ними.

Глава пятая

1

Ожидая ответа, Мелентий Силыч поглядывает на мою бородку, сдержанно усмехаясь, — не то осуждающе, не то с иронией. Потом выходит из-за стола, останавливается передо мной.

— До сего дня не очсьн верил в то, что о вас здесь поговаривают. Однако вчера и сам видел вечером: вы не совсем уверенно шли по улице и пивной от вас несло чуть ли не за квартал.

Глубоко затянувшись папиросой, продолжает:

— Возможно... Возможно, вам и нелегко, однако зачем распускать нюни? Вы — мужчина, у вас есть жизненный опыт, надо быть жизнелюбом. Заедает тоска, не в пивную идите, идите в библиотеку. Грызите книгу, само-совершенствуйтесь. Вам же необходимо расти. Нет-нет, я не собираюсь читать нотации. Однако меня беспокоит ваше поведение. Домой писали?

— Матери, конечно. . .

— А жене?

— А о чем мне ей писать?

— Вот тебе и на! О чем писать? Где вы? Что вы? — Это же элементарно. Ладно, я напишу за вас. Хочу спросить следующее: какие претензии имеет ваша жена к вам, как к мужу, отцу, главе семьи? На какой почве у вас неполадки? Почему вы уехали и можно ли, по ее мнению, держать вас на работе? Такое письмо я вынужден написать. Видите ли, в некоторой мере я здесь представляю и защищаю интересы государства, а государство — третье лицо в каждой семье, а как вы думали? Как вы считаете, что она ответит, ваша жена?

Что же она может ответить? . .

2

— Но почему? . . Почему ты так решил?

Слезы, тяжелые и сверкающие, будто капли ртути, выкатывались из ее глаз и, не задерживаясь на подбородке, капали на пол, и мелко дрожали губы, и рука нервно мяла намокший платочек.

Только что сказал Наталье, что я уйду из дома, что вообще уйду от нее прочь.

— Но почему? . . Почему ты так решил?

— А ты не знаешь почему? . . Ты не догадываешься? . .

О, лукавое создание! . . Так мне и надо. Не послушался материнского совета, теперь сам расхлебывай. . . А каким же трудным был тот разговор с матерью, когда ты вернулся из Корабеловки.

— Так что, видел Наталью?

— Видел, мама.

— Как она там — еще замуж не вышла?

— Собирается.

— За кого же?

— За меня, мама. . . Готовьтесь, через две недели — свадьба.

— Вот тебе и на! . . А ты хотя бы со мной посоветовался? А ты моего благословенья спрашивал?

— Мама, Наталья мне нравится. . . В конце концов, мне жить с нею, а не. . .

— А с кем же мне быть на старости? . . Ты об этом подумал?

— И что вы имеете против Натальи? Будете ж ней тянуться, так и она к вам. . .

— Эге, эта из тех, кто приласкает. . . Если ты не знаешь Дзюбенков, так я знаю. . . Свадьбы не будет.

— Будет, мама. . . Если вы даже не поедете со мной в Корабеловку, свадьба все равно будет.

— А я говорю: свадьбы не будет! Похороны будут. . .

— Это какие же такие похороны?

— А такие. . . Если только возьмешь Дзюбенкову, я руки на себя наложу, клянусь тебе.

— И не стыдно вам такое говорить?

— Если тебе мать дороже нее, так свадьбы не будет.

— Будет, мама! Я дал слово Наталье и ее родителям. И не отступлюсь от своего слова, что бы ни случилось!

Мать закрыла лицо фартучком и заголосила на всю хату. . .

Вот теперь и казись, что не послушался тогда матери, сделал наперекор ей.

В скверике, куда выходит окно нашей комнаты, горит вечный огонь, на бёрестах и зимою и летом зеленеют шары омелы — издали они похожи на гнезда аистов, длинный виноград окружает раковину летней эстрады.

Стоишь перед окном, смотришь на скверик, а думаешь о той новогодней ночи в мурманской гостинице «Север».

. . . На дальних подступах к Мурманску ты отбил Наталье радиogramму: «Приезжай, вместе отпразднуем Новый год».

Компания тогда собралась веселая. А Наталья была как бы королевой вечера.

Будут ли когда-нибудь проявлять к тебе такое внимание, как тогда? . . . «Моя голова идет кругом. . . Они все такие джентльмены, твои друзья-мореходы».

Особенно ухаживал за тобой наш механик. И за столом, и во время танцев глаз с тебя не сводил.

Когда вышли покурить, Роберт Васильев, хозяин комнаты, где веселились (после сего смыло волною в Атлантике), словно бы в шутку предостерег:

— Береги, штурман, свою подругу.

— А что, украсть могут?

— Могут отбить на эту ночь.

— Кто?

— А ты слепой?

— Брось, Боб. . . Роман такой же мне друг, как и все вы. Разве кто-нибудь из вас способен на такую подлость?

— За себя и за других парней я ручаюсь, а за механика — не могу. . . Слизняк, хоть и писанный красавец.

— Все намного проще, Боб. В море мы истосковались по женщинам. И вот снова уходим в дальнее плавание. Своей подружки под боком нет, вот Роман и ухаживает за Натальей. И если ты не можешь поручиться за механика, так я спокоен, абсолютно спокоен за свою подругу.

— Ты просто слепец, дружище. Что касается меня, я тебя предупредил.

После полуночи ты направился к администратору гостиницы — поблагодарить за гостеприимство, опрокинули с ним по бокалу шампанского. Когда возвращался, а ты немного там задержался, Васильев встретил тебя в коридоре, сказал, что Наталья уже пошла в вашу комнату.

. . . Это плавание, в которое отправились вскоре после праздника, было очень долгим. Однако, когда тебе было тяжело, ты вспоминал бессонную ночь в мурманской гостинице «Север». Уже умиротворенные любовью, вы смотрели, как дрожит на оконных стеклах полночное сияние, радугой опрокинувшись над заснеженными мурманскими холмами.

— Ты помнишь, Наталья, ту зиму, когда я учился в мореходке?

— В ту зиму стояли страшно лютые морозы. Даже в комнате вода в ведрах замерзала.

Тогда у нас не было своего жилья, мы жили у родителей на далекой корабеловской окраине. Тесть почти ежевечерне приходил с мясокомбината пьяным. Бил посуду, разгонял «дармоедов, которые сжидают его со света». А однажды побил окна и в нашей комнате. Пришлось связывать тестя веревкой, будто татарина-ордынца, отнести на кухню.

— Одевайся, Наталья.

— Где же мы будем ночевать?

— В степи под вербою.

Не так уж и поздно было, а на улице лишь кое-где встречались прохожие, засыпанные снегом. Мы шли безлюдной окраиной, сквозь метель тускло мерцали фонари, мы ежились, будто щенята, и весело смеялись.

— И когда уже у нас будет свой угол? — вздохнула Наталья, стеля кровать в холодном гостиничном номере. — В печенках сидят уже эти отцовы «погромы».

— Жизненные испытания закаляют волю, а надежда — спасательный круг в житейском море, — ответил я рассудительно. — Так что будем, родная, оптимистами.

Наталья быстро уснула, свернувшись калачиком, а тебе долго не спалось. Метель за окном улеглась, зеленоватым сиянием исходил рогатый месяц, ветви американского клена смахивали на кудлатые морды мопсов, по углам таились невыразительные тени, и было такое впечатление, будто я перенесся на много веков вперед или же, напротив, назад и что-то подобное в моей жизни уже было...

А потом, когда вы, наконец, преодолели невероятные расстояния, бросили якорь и вас отпустили на берег, все сомненья развеялись. И ты сам гнал от себя видения, которых жаждал еще совсем недавно.

Сидели с Васильевым в матросском клубе, пили коктейли. Можно уже было уходить, но на эстраде играл симфонический оркестр, которым дирижировал симпатичный горячеглазый мулат в светлом артистическом сюртуке.

Мелодии навевали чудесные воспоминания, нам виделось то, что в такой миг хочется видеть, ибо они были понятными и близкими, эти мелодии, как и все другие, которые вынашивало человеческое сердце.

Потом оркестр откланялся и ушел за занавес, на круг вышли гитаристы, саксофонист и ударник, тоже симпатичные рослые парни, по неслышимой команде приняли стойки, которые так нравятся полицейским всех этих стран, где приходилось нам бывать, особенно же американским, ударник стукнул бубном о бедро, гитаристы ударили по струнам, саксофонист дунул в саксофон — из-за занавесей с верещанием выбежали полуголые девицы...

По дороге из матросского клуба Васильев плевал и ругался.

— Послушай, Боб, почему ты их так ненавидишь?

— Потому, что слишком хорошо их знаю.

— В твоих глазах все женщины шлюхи.

— Так оно и есть... Думаешь, твоя Наталья исключение? Такая же точно... курва.

— Ты!.. Возьми свои слова обратно! Иначе я сверну тебе челюсть.

— Ну, это ты можешь.. Выслушай вначале, что было в тот вечер... В то время, как подался ты к портье, распивал там с ним шампанское, куда-то незаметно исчезли механик и твоя Наталья.. Мы нашли их в его комнате... А ты даже не поинтересовался, почему этот фрукт списался с нашего судна... Мы сказали ему, что в море выбросим за борт... Вот так оно было, слепой и наивный человек...

Ты перестал слать домой радиogramмы, а ее послания даже не читал, рвал на части и бросал в мусорную корзину. Ждал, когда возвратитесь на берег. Тогда уж я... Еще бы, клин клином вышибают... Если она могла, так почему же мне нельзя?.. Разочтемся — и все, точка...

В первый же вечер, когда хмель растекся по жилам и отравил тебе кровь, ты пошел вслед за красоткой с игривыми глазами.

Сели за стол, ты открыл бутылку коньяку, разлил в рюмки, — ну, будем! — она игриво усмехнулась, ты поднял рюмку и встретился взглядом со старым знакомым — капитан смотрел с портрета на стене.

— Слушай, а что было бы, если бы твой застал нас?

Она засмеялась.

— Ты, видно, в таких делах еще зеленый... И думаешь, что ты у меня первый... Да я наставила ему рогов больше, чем у него волос на голове.

И в тебе что-то перевернулось.

Возвращаясь на судно, ты чувствовал, как горит рука, в ушах стоял ее пронзительный визг.

Это тебе за капитана. И за всех нас.

В тот вечер ты дал себе слово никогда больше не возвращаться на море.

Почему там, вдали от родного порога, я должен казнить сомнениями и ревностью? Почему должен сжимать кулаки и зубы и испепелять свое сердце из-за одной мысли, что кто-то чужой обнимает мою жену, нашептывает ей лживые признания? Ведь могу же я жить нормальной жизнью, каждый день видеть свою жену, детей...

Ты одобрила мой шаг, на который не так легко было

решиться, мы начали новую жизнь. Снаружи все как будто бы хорошо, но рана не зарубцовывалась. Твои ласки, твое отношение ко мне неискренни. Все лживо и лукаво. Даже отдаваясь мне, ты думаешь о другом. А это невыносимо. Если б ты хотя бы развеяла мои сомнения, сказала, что тогда между вами ничего не было... Может, легче было бы. Однако ты не говоришь. А допытываться — это превыше моих сил. Не говоришь, значит — было...

— Так будет лучше, если я поеду.

— Поезжай... т-ты... ты п-п-поез-ж-жжай, — Натальин голос рвался, как пламя на ветру. — Е-е-е-з-ж-жжай, ку-уда хочешь...

Впервые видел ее такой.

В этот раз она была искренна.

Наталья поняла, что возврата нет, в самом деле нет, и уже никакой игрою, никакими сценами ничему не можешь. Горе свое встретила так, как встретила бы его каждая женщина:

Мне стало жалко ее.

И где-то в глубине души я уже каялся, что причинил Наталье такую боль. И если бы еще одна минута такого отчаяния, если бы хоть одно слово, обращенное ко мне, — не знаю, чем бы все это закончилось. Выдержали бы мои нервы?.. Не бросился бы я целовать заплаканные глаза и на коленях вымаливать прощения? Но именно в этот момент Наталья перестала плакать, успокоилась.

Утерла платочком глаза, хотела подойти к окну, раскрытому настежь. Я инстинктивно заслонил окно спиной. Посмотрела она на меня с каким-то удивлением, села к столу, достала пудреницу из сумочки.

— Собираешься куда-то?

— На люди... Так будет лучше для нас обоих... Ты сможешь спокойно собираться... Ты поедешь к матери?

— Не знаю... Поеду куда-нибудь.

Наталья щелкнула пудреницей, зашаталась, бросилась прочь.

Через минуту я вышел следом.

Кто знает, на что она сможет решиться в отчаянии. По улице нескончаемым потоком шли машины.

Догнал ее на перекрестке.

— Наталья...

Молча обошла меня и пошла дальше.

Я стоял на набережной до тех пор, пока Наталья не затерялась в толпе.

Что же ты стоишь?

Догони ее, верни домой!.. Она может наложить на себя руки. Чем ты искупишь потом такое?.. Ничего с ней не случится... Слезы, отчаяние, желание наложить на себя руки — это естественно в таких ситуациях. Однако верх в конце концов берет здравый смысл.

Вернулся домой, но укладываться не стал. Еще колебался, еще ждал чего-то. Лежал на диване, смотрел в стену.

И собственное жилье показалось уютным гостиничным номером, где всегда чувствуешь себя неуверенно, ибо приходишь сюда только переночевать. И с болью подумал я о том, что уже никогда не будет тех вечеров и ночей, когда загоралась лампа и в полусонной тишине ты с теплотой думал о своих жене и сыне, строил планы, пробовал заглянуть в завтрашний день. Какие же это были тревожные, хотя и счастливые и блаженные минуты!

Вот они спят рядом, твои жена и сын Лесик, спят безмятежно и спокойно, уверенные в твоей силе и умении решать любые проблемы. А в самом деле — ты в силах защитить их от внезапной беды, которая может свалиться неожиданно-негаданно? Ты любишь свою жену, сына, тяжело переживаешь долгие месяцы плавания, когда лишь фотографии да радиogramмы связывают тебя с семьей. Ты заботаешься о пище и крове, о том, чтобы они были обуты и одеты. Может, эти будничные заботы и есть все, на что ты способен? Выдержат ли твои плечи, если на семью свалится беды: болезнь, суровые жизненные испытания?

Ты начинаешь нервничать, встаешь, расхаживаешь по квартире, куришь одну сигарету за другой. Уже большая пепельница, смахивающая на миску, переполнена окурками, и в окна сочится утренний свет, а ты все думаешь, думаешь, думаешь... Смогу, кажется тебе, смогу сделать все, чтоб они были счастливы. Смогу! А смог ли?!

Надо увидеть Лесика... Надо попрощаться с сыном.

...Всколыхнулась занавеска, мелькнула маленькая тень. Я испуганно прыгнул за ствол яблони, приник к шершавой коре.

В окне стоял Лесик... Сын, наверное, увидел меня, узнал и вот сейчас позовет, открывши окно: «Папка, что ты там прячешься? Иди сюда».

Лесик постоял-постоял и отошел. Лишь метнулась занавеска.

— Это вы-ы? — растерялась Лена, Натальина сестра, отворив мне дверь.

Три пары глаз, настороженных, вопрошающих и обрадованных, остановили на мне свои взгляды. Тесть, видно, еще не пришел. Три пары глаз напряженно ожидали, что я скажу. А я стоял на пороге и думал, как мне быть. Положить на стол коробку с конфетами, поздороваться с тещей за руку, поцеловать сына и сесть с ним рядом или же повернуться и уйти, так ничего и не пронеся?

Наталья, в вылинявшем ситцевом сарафане, ушедшая куда-то вглубь себя, гладила детское белье, Лесева кровать была разобрана, против Натальи, положив пухлые руки на белую скатерть, сидела теща, Лена пересела на диван и взяла в руки сказки Лесика.

— Добрый вечер... Я пришел попрощаться с сыном.

Наталья как-то болезненно и принужденно улыбнулась, для чего-то расстегнула и застегнула пуговицу на сарафане, который очень ей шел, теща промолчала, лишь изменила позу. Лена предложила с дивана:

— Садитесь, Андрей... Зиновьевич.

Я сел возле Лесика, коробку с конфетами положил себе на колени и погладил сына по головке. Лесик посмотрел на меня, потом накрыл что-то ладошкой и спросил:

— Папка, ты что больше любишь — зайчика или петушка?

— Зайчика, — ответил я наобум, чувствуя непреодолимое желание припасть губами к головке сына, вдохнуть запах шелковых, недавно вымытых волос, подержать маленькую ладошку сына.

— Так на тебе зайчика, — Лесик достал откуда-то печенье. — Ешь, мне бабушка много дала. — И, скосив голубые («Вы только посмотрите, какие у него голубые глазенки! У кого ты такие взял?») — «Разве ж не видите? У папки. Мама — зеленоглазая». — «Вот уж точно — па-

пенькин сынок!») глазенки на коробку с конфетами, спросил, боясь разочароваться: — Это ты мне принес?

— Тебе, Лесик. Берн. . .

Теща поджала губы, повела бровью на Лену. Лена поднялась.

— Пойдем, Лесик, на кухню, я тебе молочка дам.

Теща кашлянула.

— Так это правда, зятек, что ты? . .

— Правда.

— Что, снюхался с лучшей?

Эта пожилая женщина, которая немало познала на своем веку, не заслужила того, чтоб ей ответить грубо. Но я уже сожалел, что пришел сюда.

— Ни с кем я не снюхался.

— Ой, голубчик, не делай из черного белое. Я знаю жизнь: вот так, ни с того ни с сего, горшки не бьют.

— Вы правы.

— Так чем же моя дочка тебе не угодила? Плохая хозяйка, варить не умеет, белье не стирает?

— Не будем говорить об этом.

— Видишь, Наталка, он уже и говорить со мной не желает!

Наталья стремилась быть спокойной, но глаза выдавали ее, покрасневшие, припухшие.

— Теперь уж разговоры ни к чему. Пусть делает как знает.

Вбежал Лесик, похвалился:

— Папка, твои конфеты такие сладкие! Ты мне всегда их приноси.

— Лесик, тебе пора спать, — произнесла Наталья, взбивая вышитую подушечку. — У тебя уже нет папки.

Идя сюда, я на что-то еще надеялся. Думал, все устроится. А теперь понял окончательно: возврата нет. . .

3

— Так что она ответит, ваша жена?

— Это уж ее дело.

— Сколько же лет вы женаты?

— Пять.

— Ничего себе. . . И за все время пребывания здесь не вспомнили о жене? Ну, хорошо, можете идти. . . Да, вот еще — дайте мне ее адрес. . .

Глава шестая

Где-то сбоку визжат автомобильные тормоза, щелкают дверцы, вслед за этим звучит знакомый голос:

— Эй, Андрей!

Удивленно оборачиваюсь — в двух шагах от меня мигает фарами «Москвич», рядом, держась за дверцу, стоит Вера.

В виски ударила кровь, стало душно.

— Вы что здесь делаете?

— Ничего... Гуляю просто так.

— Вы желтый, как будто на вас напала Эдиссонова болезнь... Садитесь в машину... Сюда! — Вера открывает правую переднюю дверцу. — Терпеть не могу, когда споят у меня за спиной.

Она переводит рычаг переключения скоростей, нажимает на акселератор, и «Москвич» трогается.

Загородные огни вытягиваются тонким серпантином, встречный ветер стряхивает звезды под колеса.

Вот и встретились с глазу на глаз.

Настороженно взглядываю на нее, однако она занята тем, что следит за дорогой. На ней серый свитер из верблюжьей шерсти и синие джинсы. Над ухом закручиваются барашки.

Неужели и я так же изменился за эти годы?

.. Мы с Парфеном поднимались на второй этаж, как вдруг услышали энергичное постукивание каблучков сверху. Взглянул я вверх и заметил стройные загорелые ноги, потом светло-серую юбку с поперечным орнаментом, затем белую нейлоновую блузку и наконец длинную косу соломенного цвета.

Это была Она.

Увидев нас, Она замедлила шаг, уже не прыгала через ступеньку, а пошла степеннее, осторожно ставя туфельку, будто боясь поскользнуться, потом прижала папку с бумагами к груди, левой рукой взялась за перила.

Только на миг глаза Ее округлились, и я заметил в них сдерживаемую муку, а лицо уже вновь стало спокойным.

Она даже не кивнула, как будто видела меня впервые, прошла мимо, высоко подняв голову, и еще я успел заметить печать усталости в Ее глазах.

Обнять бы ваши узенькие плечики, утонуть бы в ваших пушистых волосах соломенного цвета, смотреться бы в ваши глаза, пугаясь их глубины... Однако Она уже скрылась за какими-то дверьми.

— Кто это?

— А что, видная бабёнка?.. Это — Вера Александровна Гайдукова.

— Дочь дядька Олеся?

— Конечно.. Ты, я вижу, заинтригован..

— Любая хорошенькая женщина заинтриговывает..

Вера Александровна Гайдукова... Совсем не такой встречи с вами ожидал я, Вера Александровна, далеко не такой.

А после была еще одна встреча на «Голубом огоньке». Сначала со сцены выступали киевские поэты и певцы, потом начались танцы.

Савва руководил оркестром, я пригласил Оресту.

Вера стояла у окна и нервно курила. Кто-то подошел к ней, Вера отказалась танцевать. Курила и стряхивала пепел в кадку с кактусом. Я чувствовал на себе ее взгляд и сбивался с ритма. Когда же танец закончился, Вера куда-то исчезла.

И мне стало тоскливо.

Оресту приглашали другие, а я просто сидел в углу и слушал музыку.

Потом вышел в коридор.

В соседней комнате с телевизором транслировали футбольный матч.

Вера сидела в первом ряду перед самым телевизором.

Наверное, она почувствовала мой взгляд, поднялась. Путь ей преграждали стулья и те, кто сидел на них. Кто-то заворчал, чтоб не застила экрана. Вдоль стены стояли сдвинутые столы. Не успел я и глазом моргнуть, как Вера вспрыгнула на них и пошла по столам к выходу.

Шла она непринужденно и медленно, будто под ногами у нее были не столы, а самый обычный тротуар, смотрела прямо перед собой. Острые шпильки белых ее туфелек мягко утопали в зеленом сукне, шагов не было слышно совсем, только волнующе шелестела светло-серебристая парча, подчеркивавшая стройность ее фигуры и ног.

Я похолодел — сейчас разразится скандал. Однако на дерзкую ее выходку никто и внимания не обратил.

Вера спрыгнула на пол, я пропустил ее в двери, и она вышла из помещения, окутав меня тонкими ароматами духов фирмы «Мадам Роша».

Я бессмысленно смотрел на мерцающий экран телевизора — до сих пор был уверен в том, что ходить по столам могут лишь в соответствующих фильмах.

Подошла Ореста и сказала, что меня зовут к телефону.

В трубке услышал Верин голос:

— Андрей, ты не хочешь прийти ко мне?

Здесь, за кулисами сцены, на которой продолжал играть оркестр под управлением Саввы, никто, кроме меня, не мог слышать наш разговор. Однако мне казалось, что голос ее звучит из репродуктора.

Сразу пересохло в горле, как это бывает утром после выпивки.

— Куда... прийти?

— Ну, я здесь, у себя...

Представилась затемненная комната, диван в углу, обнаженные плечи Веры, острый блеск ее глаз.

— Что же ты молчишь?

— Я уже собрался домой.

Мне слышно было сдержанное Верино дыхание, я немного подержал трубку возле уха и осторожно положил на рычаги.

С тех пор не только не ищу, напротив — стремлюсь избегать встреч с ней. Однако, как видно, их не избежать. Она догнала меня за городской окраиной, под старыми липами...

«Москвич» наконец преодолевает подъем, вырывается на ровную дорогу.

Вера устало выпрямляется.

— Прикурите мне сигарету.

«Почему ты избегаешь меня, Андрей? С каких пор ты уже здесь, а мы с тобой еще даже не поговорили. Не странно ли?»

— Пожалуйста.

«Не знаю, Вера, отчего так получается. Правда...»

Она глубоко затягивается.

— Вы часто здесь прогуливаетесь?

«Ты просто забыл меня... И, вероятно, никогда уже не вспоминаешь того, что было в Киеве...»

— Теперь — каждый вечер.

«Нет, не забыл... И на меридианах далеких, на широтах ревуших, где крутые волны закрывают полнеба, а то и все небо, где абсолютно все становится ирреальным, и кажется, этому разнузданному буйству стихии нет и не будет конца, и представляется почти невероятным, что где-то существует тихое и погожее небо, нетронутый покой голубого плеса, солнечный уют лесной поляны, красные маки в густом загаре жита, мерцающие ореолы вечерних огней, бодрое позванивание трамваев; и дома, когда все это было позади и вспоминалось издали, будто сон или видение, уже и смеялся над тем, что познал, — и здесь и там, когда мне становилось горько, когда давило безнадежное одиночество, я вспоминал тот осенний вечер в Киеве.

Видел Шевченковский бульвар и Крещатик, где под ногами у нас шуршала опавшая листва, и памятник Лесе Украинке, и Владимирскую горку, за которую садилось солнце, высвечивая край неба лимонным цветом, и ту удобную скамейку на аллее Любви, где мы сидели, и то кафе, где согревались крепким черным кофе, — ты держала чашку в маленьких детских пальчиках и все смотрела на меня, смотрела... А потом видел влажный перрон — вагоны отражались в нем и словно бы казались двухэтажными, вот поезд трогает, и ты бежишь за вагоном, бежишь и зовешь: «Прыгайте! Слышите, прыгайте!»

И тогда хотелось встречи с тобой, остро хотелось встречи, и куда бы ни забрасывала судьба, я не терял надежды. Ибо не может быть, успокаивал себя, чтоб она затерялась навсегда, вот так сверкнула, будто звездочка, и, промелькнув, погасла, — не может такого быть. Мир так тесен, и я непременно встречу тебя. Не загадывал, что она может изменить в моей жизни, эта встреча с тобой, однако желал ее.

И не однажды под сердцем возникала сладкая пустота, не однажды внезапно пересыхало во рту, когда, завидев где-то впереди светловолосую головку, я говорил себе: «Это Она...»

Так было в Карпатах, когда наша группа возвращалась от Довбушевых пещер в долину, к потоку, перегороденному гатью, — в запруде водилась форель, и те, кто пришел сюда раньше, сбились в кучу на плотине, свешив-

вались с трубчатых перил, разглядывали рыбин, и внезапно кудлатая седая туча надвинулась из-за горы и густо сыпанула снегом, а из-за противоположной горы светило солнце, и в его лучах сверкал снег, как фольга, за какое-то неуловимое мгновение зеленый дол стал белым, еловые лапы и ветки папоротников упруго изогнулись под тяжестью белых крупинок, и мы уже сидели в автобусе, ожидали тех, кто задержался, слушали рассказы старого гуцула про Довбуша и Дзвинку, а тучу погнало дальше, на полонины, и елки по-над извилистой горной тропой как будто тоже снялись со своих мест, наперегонки бросились вслед ей под гору, и тогда мимо нашего автобуса прошелестел еще один ЛАЗ, забрызганный по самую крышу, и когда дверки открылись и оттуда выпорхнула стайка женщин, мне показалось, что в этой щебечущей стайке вижу твою светловолосую головку. Вы направились к запруде, где уже суетился хромой фотограф с треножником, ты шла среди этой группы, болонья развевалась, и мне виден был голубой спортивный костюм с белой окантовкой по воротнику — ты в нем такая стройная! — подруги продолжали о чем-то весело щебетать, очевидно, их поразил снегопад среди лета, а ты, наклонив голову, улыбалась и две ямочки обозначились на щеках, потом ты скользнула взглядом по окнам нашего автобуса, и я увидел, что это не ты. . .

Так было и в шумном приморском городе, откуда я приехал, на площади, где возле фонтана кормят из рук голубей, когда в тени платана — день был такой слепящий, что даже на стены зданий было больно смотреть, — когда в тени платана я листал «Огонек» и услышал, как воркуют голуби по ту сторону фонтана. Там сидела светловолосая женщина в тонкой летней вышитой блузке и короткой серой юбочке и кормила птиц, а в правой руке держала газету, заслоняясь ею от жары; в лучах солнца рука ее, изящно выгнувшись в движении, золотисто отсвечивала, и мне показалось, что из-под газеты она рассматривает меня, и я пожалел, что мои темные очки не оптические — уже тогда портилось мое зрение, — потому что издали невозможно было разглядеть черты ее лица. А когда она поднялась, я пошел за ней следом. Шла она неторопливо, и я быстро догнал ее, догоняя, убеждался, что это наверняка ты, потому что в той женщине все было твоё, и я начинал обдумывать, что тебе сказать, но эта женщина, услышав шаги, повернула голову, улыбнулась

мне, и я прошел мимо и поспешно удалился, ибо снова то была не ты. . .»

← Когда у меня плохое настроение, я беру свою машину и бегу за город. Это успокаивает: скорость, крутые повороты, ночь.

«Ты все же избегаешь меня. . . Вероятно, я стала хуже выглядеть за эти годы, и теперь ты разочарован».

— А я люблю ходить сюда слушать, «как липа шелестит».

«Нет, ты не стала хуже выглядеть. . . Напротив. . .»

— А как вам мой парадокс?

— То есть?

— Ну, мой «Москвич»?

— А почему он парадокс?

— Так окрестил эту машину английский автомобильный журнал «Мотор» . .

«Так что же удерживает тебя? Сама тебя зову, а ты даже не выслушиваешь до конца, трубку кладешь. . .»

— Говорят, «Жигули» — более надежная машина.

«Твое поведение сбивает с толку. . . Эта вот твоя экстравагантность, эксцентричность. . . Собственно, женская натура для меня всегда была загадкой. Я не в состоянии осмыслить те потаенные движения, руководящие вашими поступками, я теряюсь перед тем, что не укладывается в границы моих понятий и представлений. Ожидаю последовательности, логичности, а вы внезапно путаете все карты, вдребезги разбиваете мои ожидания. . . И тогда я стремлюсь обходить вас, женщин, десятой дорогой. . .»

— Я рада, что обманулась в вас, — Верины глаза смеются.

— Вы о чем?

— Вот только сейчас я убедилась, что вы — настоящий мужчина.

Лучше уж промолчать. От нее можно всего ожидать. Я тоже закуриваю.

— Не каждый ведь согласится сесть в машину, которую ведет женщина, да еще и посреди ночи.

— Статистика и эксперты утверждают, будто в дорожные происшествия попадает вдвое меньше водителей-женщин, чем мужчин. Женщины, дескать, управляют машиной осторожнее. Так что риск мой невелик.

Шоссе петляет серпантином. Справа густо наставлены побеленные столбики, они отделяют шоссе от пропасти, откуда дышит густая прохлада.

— Хочешь... можно называть вас на «ты»?

— Пожалуйста... Это приятнее.

— Хочешь, я проеду впрыток с этими столбиками и не собью ни одного? Только крылом буфера легонько коснусь. Знаешь, как, бывало, палочкой по штaketинам: трах-трах-трах-тарарах... Хочешь?

— Говорят, лишь водителю-мужчине свойственны за рулем агрессивность, честолюбие и лихачество. А женщина инстинктивно сдерживает свои эмоции, желания и импульсивные поползновения; она глубже чувствует ответственность за жизнь пассажира... Однако, по мне, — езда, как тебе хочется...

...И для чего было выдумывать этот внутренний диалог? Все намного проще, чем тебе кажется, седеющий романтик. Кто ты для нее? Что ты ей дал и почему она должна тянуться к тебе? Оттого, что не забыл, что вспоминал ее, когда чувствовал себя одиноким, — это не так уж и много. Наверное, после она смеялась над этим мгновенным движением души, над этим неожиданным движением навстречу чужому человеку, который, возможно, окажется немного не таким, как те, встречавшиеся прежде, над тем поступком неразумным, который должен был — неизвестно еще каким образом! — изменить ее жизнь... Разумеется, после она раскаялась в этом, забыла обо всем и теперь вспоминать даже не хочет... Так что надо воспринимать жизнь, мир и людей такими, какие они есть на самом деле, а не выдумывать их себе... Именно так, потому что ты уже стал забывать ее характерное произношение — это волнующее округление звуков.

Вера сворачивает с большака на полевою дорогу. Машину начинает раскачивать на ухабах, время от времени мы касаемся друг друга плечами.

— Чем хуже дорога, — смеется Вера, — тем лучше ведет себя «Москвич», — к такому выводу пришел английский «Мотор», оттого и назвал его «руеским парадоксом».

— Где ты выучилась так лихо водить машину?

— В степях Таврии... Закури мне еще одну сигарету.

— Ты злоупотребляешь.

— А я и не собираюсь долго жить... Там, в Таврии, сначала ездила на лошаденке. Была такая рыжая-пре-рыжая кобыленка, точно как я. Может, потому мы и нра-

вились друг другу. Моя Рыжка никого, кроме меня, не хотела признавать. Только кто-нибудь подходит к брчке — хватает зубами за что угодно. Особенно терпеть не могла пьяных. Хорошая была лошадка. Сколько ж мы с нею этой степи объездили! Потом пришлось пересаживаться на мотоцикл. А управлять научили парни-механизаторы. У меня среди них было много добрых, понастоящему добрых друзей. Пропахла вся бензином, смазками, даже волосы были в тавоте, зато уж скорость — только ветер в ушах свистит... Если бы можно было и умереть вот так: сесть за руль и превратиться в скорость, — наверное, я была бы счастлива... А когда муж купил вот этот «парадокс», я уже умела управлять машиной... Мои настаивают, чтоб продала, мол, не женское это дело, но я привыкла и не смогу жить без машины.

Начинает раскачивать сильнее, Вера умолкает. Когда же мы выбираемся из ухабов, неожиданно спрашивает:

— Ты дружишь с Кошаем?

— А что, собственно?..

— Вы неразлучны, как Робинзон с Пятницей.

— Это плохо? Или Парфен тебе не нравится?

— Теперь он просто напоминает голого, который поскользнулся на льдине и никак не найдет опоры, чтобы подняться.

— Почему теперь?

Вера молчит.

Проселок приводит нас к берегу Быстрой, под вербы, смахивающие в темноте на стожки сена.

— Приехали.

— Куда и зачем?

«Бесмысленная фраза. Разве мне не все равно?»

— На мое излюбленное место. Покурим, побеседуем.

— Про Парфена?

— Вначале про... твою бороду.

— Она мешает тебе?

«Это уже похоже на ссору. Нет, скорее на войну нервов».

Воздух здесь удивительно сухой и теплый. Это пышат нагретые за день каменные кручи. Клокочат и плещут пороги, медвяно пахнет зверобоем, желтыми пятнами покрывающим склоны.

— О, твоя борода!.. С бородой ты напоминаешь мне Иисуса Христа... Иисус Христос из Садгорских ката-

комб — неплохо звучит, не правда ли? Кошай — тот слово апостол, чью бороду выдрали неопиты, а ты — мес-
сия...

— Ну и язычок у тебя...

— Жизнь наточила... Что ж ты стоишь как телебаш-
ня?! Садись, не съем... хотя и голодная.

За крутым изгибом Быстрой Садгора перемигивается с каменоломнями, огни отражаются в реке, а впечатленне такое, будто на дне горят длинные золотистые свечи.

Боюсь коснуться ее плеча. А она молча отнимает от губ сигарету и, медленно выпуская дым, спрашивает:

— Знаешь ли ты, Чигиринец, что такое голод?

— Конечно, я помню сорок седьмой год.

— Слушай, ты что — в самом деле табуля раза?

— В каком смысле?

— Разве тебе не знаком этот термин?

— Знаком. Однако все зависит от того, какой смысл в него вкладывать.

— По-моему, тут один смысл, вложенный еще Ари-
стотелем, — чистая, непорочная душа.

— У Аристотеля так, а у Толстого, например, иначе. В «Анне Карениной» он употребляет этот термин как определение пустого места.

Совсем близко красновато очерчивается телевизион-
ная башня, на фоне электрического зарева угольно чека-
нятся стены старой крепости. Не так уж и далеко забра-
лись, просто дали доброго кругая. Однако стоило ли ре-
шаться на эту поездку, чтобы сейчас разглагольствовать
про бороду и табуля раза?..

Вера поджимает под себя ноги, обнимает их руками,
кладет на колени голову и молчит... И нет уже той Веры,
что была до сих пор, — опытной, экстравагантной жен-
щины, которая кого угодно собьет с толку, кого угодно
загонит в угол. Есть девочка, беззащитная и беспомощ-
ная. Она затерялась в этом огромном и сложном мире,
и ей так не хватает тепла и ласки. И хочется обнять эту
девчонку за плечи, прижать к себе и целовать ее глаза,
едва касаясь их губами.

— Я очень люблю это место, — Вера словно бы очну-
лась ото сна. — Эти печальные вербы, так похожие на
вдов с распущенными волосами, эти тихие воды и ясные
звезды, эту убаюкивающую тишину. Часами могу сидеть
неподвижно и не отрываясь смотреть на крепостные сте-
ны. Временами мне даже видится казацкая стража на

них, блеск луны на острие пикн, слышится перекличка голосов, перезвон конской сбруи. Хочется подойти поближе, однако не могу решиться: а вдруг внезапно прозвучит грозный окрик: «Стой! Кто идет?» Это ж умереть можно со страху, я такая трусиха... А еще, сидя над Быстрой, думаю: ведь когда-то, много-много веков назад, когда на башнях этих и в самом деле казацкая стража стояла, и в те времена кто-то выходил на эти тихие воды и ясные звезды, ожидал кого-то, кого-то или что-то оплакивал, тосковал по ком-то... Проходят столетия, гаснут звезды, мелеют реки, рушатся крепостные стены, одно остается неизменным — надежда...

Меня охватывает странное ощущение: перед глазами медленно проворачивается земной шар — мелеют, пересыхают реки, черный горизонт перечеркивают погасшие звезды, падают неприступные крепости, а по берегам обмелевших рек, мимо крепостных руин, под густым звездопадом устало бредет женщина в белом бурнусе, бредет Надежда...

Мистика какая-то, чтоб тебе черт!

— Говорят, ты оставил семью?

«Однако, это уметь надо — вот так быстро переходить от одного настроения к другому. Да нет, это уж натура, видать, такая: усыпить бдительность, а потом ужалить исподтишка».

— Не я первый, не я последний.

— Зачем эта бравада?

— А что я тебе отвечу?.. Все как будто сговорились — лезут в душу. Надоело!..

— А ты в каждом видишь любопытствующего обывателя?.. А может, тебе помочь хотят?

— У тебя есть в этом опыт?

— Только не надо оскорблять... Чтобы помочь, надо знать, что у тебя случилось...

«Вероятно, ты подстерегла меня в тот момент, когда исповедь — единственная возможность сбросить тяжесть с души. Однако я не смогу решиться на это. Удовлетворю твое любопытство, а себя оборвую, оборву последнюю нить, связывающую меня с прошлым. Так мне кажется почему-то».

— Есть вещи, Вера, о которых невозможно рассказать.

— Это хорошо.

— Что хорошо?

— Сколько, бывает, слышишь в таких случаях: а как мне было жить дальше с такой-перетакой? Унижают друг друга, обливают грязью... Словно и не было между ними ничего чистого, светлого... Ненавижу таких... Не знаю, что там у вас случилось. Но вижу: то, что случилось, не посеяло меж вами зла. Вы остались друг для друга людьми. И это хорошо.

Она встает и направляется к реке. Поднимает камушек, бросает в воду. Я тоже поднимаю камушек и бросаю. Против света видно, как по темной маслянистой воде расходятся круги...

Глава седьмая

1

Река стремительно несет кору, отаву, разный мусор, на быстрине время от времени закручиваются воронки водоворотов. В сухое время Быстрая мелкая и такая прозрачная, что со дна светятся отполированные каменные пятаки, а сейчас вода будто густой кофе, процедишь сквозь пальцы — на ладони останутся крупинки песка, глины, чернозема.

Пáрит. В неподвижном воздухе рассеяна пыль близких каменоломен, все окружающие предметы размыты, подернуты туманом, над Замковой горой фиолетово сгущаются тучи.

Наконец приходит и Мелентий Силыч.

— Все на месте? Ну, полный вперед!

Берега снимаются с места, вращаются, будто глобус. Садгора удаляется за кормой, и в то же время становится выше, будто вырастает из крутого крыла волны.

На руле Савва.

Оказывается, морскую службу Савва проходил в Корабеловке, некоторое время даже жил там, работал на судоремонтном заводе, пока Ореста училась в мединституте.

Оба берега покатые, поросли рошицами, виноградниками, в сильный бинокль — Мелентий Силыч бережет его с времен войны — видно, как под кустом умывается заяц, косулька пощипывает на полянке траву. Ореста, сидящая рядом, говорит: в этих зарослях водятся и хищни-

ки — волки, лисицы. Макушки холмов побиты оспой каменоломен, пещер.

Оставляем позади уже знакомый мне хутор Гостинный — он пылает в зелени садов красной черепицею, потом село Пороги — здесь председателем колхоза Парфенов брат Захар Дмитриевич.

Из прибрежных яруг выныривают луковицы старинных монастырей — теперь это детские санатории, нередко зацепишься взглядом за исполинскую земляную подкову — вероятно, это остатки генуэзских факторий, а чаще всего — за развороченные панцири дотов и дзотов.

— Гляди, Андрей, — говорит Савва, — вон там пещерный монастырь. В нем скрывался со своим отрядом дед Троян. Монастырь уже не действует, а бюст Шевченко сохранился.

Прибрежные низины хранят следы весеннего половодья. Сады немощно склонились к югу, увязли в глинистом иле. От тех же деревьев, что стояли близко к воде, остались одни пеньки.

— Любим говорить: природа — это храм. Но, к сожалению, забываем о мелочи — вытацишь из фундамента кирпичик, и этот храм может похоронить тебя под своими руинами.

— От этого, Савва Бенедиктович, — говорит Мелентий Силыч, — предостерегал еще Энгельс в «Диалектике природы». Но, видите ли, в свое время пренебрегли предостережением, стали вырубать водоохранные леса, нарушился благоприятный кругооборот влаги, вот и получаем то обмеление рек, то катастрофические наводнения. С конъюнктурой надо бороться беспощадно.

Внезапно захватывает дождь.

Едва успеваем натянуть над катером крышу, брезент лопочет, будто осина. Савва выключает мотор. Катер несет то килем вперед, то кормой, но довольно быстро. Сразу же наступает ночь, берега теряются во мгле, в нескольких метрах от борта видно, как беспрестанно дождь гвоздит речную гладь.

— Столько воды вокруг, а ученые пророчат к концу столетия водный голод. Невероятно!

Произношение у Оресты чистое, без характерного округления звуков, присущего Вере. И вообще не скажешь, что они сестры. Вера пошла в отца, а Ореста, вероятно, в мать.

— Американцы, — продолжает Мелентий Силыч, —

уже сегодня ощущают водный голод. Собираются импортировать пресную воду из Канады и с Аляски или приводить в свои порты айсберги.

Говорят, каждый семейный мбдус вивэнди накладывает характерный отпечаток на внешность, манеру поведения и так далее. Если так, то они по-настоящему счастливы. Ореста прямо светится спокойствием, уверенностью в прочности своего счастья. Углубленная в себя, она словно бы и теперь все еще удивляется тому чуду, которое вошло когда-то в ее жизнь вместе с Саввой, напроочь изменило ее, наполнило новым смыслом и содержанием.

В чем же они нашли его, счастье свое? Какими критериями измеряют?

— А меня, Мелентий Силыч, знаете, что беспокоит?

— Что, Савва Бенедиктович?

— Вот пишут: не так давно в низовьях Сены выводилось до полусотни видов рыб. Теперь же — одни больные угри, купаться опасно. Не хочу, чтобы судьба французской Сены постигла и нашу Быструю.

А может, тот, кто счастлив, никогда не ищет ответа, откуда оно берется и что из себя представляет — счастье?

— До этого у нас не дойдет, — убежденно говорит Мелентий Силыч. — Уверяю тебя.

Тогда, в Гостинном я сфотографировал аистов в гнезде, свитом на колесе среди ветвей старой липы. Снимок мне удался, а Савва с Орестой были прямо в восторге.

Савва пристроил снимок над своим столом, и Ореста сказала:

— Смотри-ка, этот уголок сразу стал уютнее.

Мне нравится их квартира. На стенах не увидишь водяных лилий и стожков сена импрессиониста Клода Моне, на шкафу — словников. Только самые необходимые вещи, а все свободное пространство вдоль стен заставлено книгами. Стеллажи мастерил Савва. Трубочатые металлические стойки упираются в пол и потолок, на стойки насажены полированные полки, снизу их поддерживают шайбы.

Книги стоят так плотно, что полки прогибаются. Парфен тоже гордится своим «книгохранилищем». А между тем к его книгам боязно прикасаться. Они выставлены под стеклом, будто в каком-нибудь музее, недостает лишь таблички «Руками трогать запрещено!». Небось с тех

пор, как купили, ни одна рука не коснулась их. А здесь — пожалуйста, бери какую хочешь, читай.

И никто из них не спешит заводить при мне слишком заумных разговоров. Я уже знаю, что Савва — неплохой музыкант, даже сам пишет песни, однако он не спешит садиться за пианино, чтобы сыграть что-нибудь модное или показать свою новую вещь. Сперва они угощают меня, и за столом мы говорим о самых будничных вещах, потом садимся за шахматы и молчим, и тем не менее я всегда ухожу от них умиротворенным, уравновешенным. Дорогой припоминаю, что сказал каждый из них, как они смотрели друг на друга, как шутили, иронизировали, скрывая за этим свои истинные чувства. И тогда я думаю, что самое главное в их семейной жизни то, что каждый из них нашел друга: он — в ней, она — в нем. . . Как это легко и как же трудно!

После дождя прибрежные рощи закурились испарениями, на Быструю опустился туман. Плыдем будто в сказке.

— Разве нужны нам южные берега Крыма или Кавказа? — восхищенно говорит Савва. — Ну чем не курорт? Настрой только санаториев, домов отдыха, пансионатов или даже таких охотничьих домиков, как на Язурах, — народ поперет со всего света. Таких мест поискать надо! Скажи, Андрей, ты видел где-нибудь что-нибудь подобное?

— Нет, не видел.

Быстрая становится заметно шире, здесь волны ходят тяжело, будто на море. Там, впереди, плотина электростанции, и вот уже начинается водохранилище.

— Язуры, — говорит Мелентий Силыч.

Савва кладет руль влево, направляя «Сокола» в залив.

— Аисты! — кричит Ореста. — Аисты!

2

Царственной осанки белые птицы важно расхаживают среди чубатых болотных кочек, время от времени неподвижно замирают на месте, попеременно поджимая под брюшко тонкие ноги, словно в красные сапожки обутые, а потом принимаются долбить мелководье длинными клювами, жадно выхватывая рыбешку и лягушек.

Вдруг что-то вспугивает их, одни за другим аисты

отяжелело взлетают, часто, будто нащупывая более надежную точку опоры, взмахивают широкими крыльями, образуют карусель и кружатся, — кружатся над раздольным логом, взмывают все выше и выше, штопором ввинчиваясь в небо с белыми волнистыми облаками, близкую перемену погоды предвещающими.

Машины, мотоциклы, пестрые палатки — издали охотничье стойбище смахивает на цыганский цивилизованный табор. На пригорке, меж дорическими колоннами берез, золотисто отсвечивает свежим лемехом охотничий домик с островерхой крышей.

— Добрый день, дедусь! Давно тут?

— Эге, ныне у нас, охотников, считай, страдная пора, так я, Савва, еще с пятницы тут. Запасаю на зиму сенца для Любомировых козочек. Зима, по всем моим приметам, будет обвальная — не сладко придется обитателям Дубового гая. Уже поставил восемь копен сена да навязал полторы тысячи веников из кленовых веток — это для зайчишек.

«...Прошлым летом еще молодцом себя чувствовал, а ныне уже не гожусь ни в бой, ни в строй. Где сяду, там и сплю, точно отсыпаюсь за все бывшее. Видать, скоро подамся до Килыны... Вот отпраздную еще утиный перелет — и подамся...»

Так он, помнится, сказал, спокойно, безучастно, при первой встрече, и тогда Андрей посочувствовал старику, а сегодня деда Трояна будто подменили — оживлен, подвижен, словоохотлив, гладко выбрит. Открытие охотничьего сезона для него, чувствуется, и в самом деле праздник.

Тут, на Язурах, собрались ныне, пожалуй, все садгорские охотники и рыбаки. Спускают на воду лодки — деревянные, дюралевые, резиновые, чистят шомполами ружья, переодеваются да переобуваются. Наблюдаешь со стороны за всей этой возбужденной суетней и вдруг ловишь себя на мысли: вправду ли это охотнички?.. уж не партизаны ли это готовятся к форсированию водной преграды?

Мелентий Силыч помогает Парфену влезть в лоснящуюся резиновую робу.

— Вот не знаешь, охотничек, как утопиться! — добродушно предостерегает дед Троян. — Зачерпнешь же пазухой ведер с десять — булькнешь на дно, прости господи, раков кормить.

— Впервой мне, что ли? — бесшабашно ухмыляется Парфен, в лоснящейся резиновой робе смахивающий на водолаза.

А вооруженного народа скопляется все гуще.

Вокруг Мелентия Силыча, деда Трояна и Парфена собирается кучка охотников.

— Это у вас какой же фирмы, Силыч?

— Бельгийской, «Леже».

— А у вас, Трояне Остаповичу?

— Тулка. Такую подружку еще поискать надо! Что прикладистость, что баланс, что посадистость — все на ять!

— Да, видать, и вправду неплохое ружьишко.

— Как-то с Остапом Вишней в этих местах охотились. Все предлагал: «Давайте, Трояне Остаповичу, мяться. В придачу я о вас юмореску сочиню, вроде «Зенитки». Идет?» «Эге, — отвечаю, — небось слышали: меняйло без порток ходит!..» М-да... Идем дальше. Летят три утки. Спрашиваю: «Товарищ юморист, а которую вам сшить — левую, правую или среднюю?» Какую Остап Вишня загадает, ту и шибаяю... Да, справная тулочка, ничего не скажешь!.. А то еще было у меня одно ружьишко — во такое во: сажень и три вершка! Засыпал котелок пороха, столько же дробы, а запыжевывал целой газетой. Стрелял с «козла». Как ба-бах-ну — так словно гаубица рывкнет! С перепугу все охотнички вокруг немели на весь сезон — только на мигах и разговаривали друг с другом.

Когда улегся хохот, Парфен спрашивает:

— Как считаете, Трояне Остаповичу, добрый будет ныне утиный перелет?

— Что ж тут, казаче, гадать... Утка, она ведь чистое небо любит, а как только насупится — в камыши прячется...

— Вот в Сибири охота так охота! — восхищенно щелкает языком один из молодых охотников. — Я как-то пошел...

— Думаешь, голубь сизокрыл, я там не был? — живо подхватывает дед Троян. — Эге, в молодости исколесил тайгу-матушку от Хабаровска до Владивостока...

— Интересно!

— В одной деревушке на Уссури познакомился с братьями-тигрятниками.

— Неужели и на тигра ходили?

— Само собой...

— Расскажите, как было дело.

— Да как было дело? Обыкновенно. Решили они устроить засаду, братья-тигрятники решили, значит, засаду устроить. Поехали двуколкой, засели над тропинкой, один из братьев и говорит мне: «Он придет во-он оттуда!» Почему именно оттуда, а не с другой стороны — не объяснил. М-да-а... Сидим, значит, в засаде, зыркаю на все стороны, чуть вязы себе не свернул. Треснет ветка либо шишка стукнется — душа в пятки западает. Братья рассказывали, что был то хитрый и коварный тигр. Житья от него не было. Не только скотинку разрывал, даже на людей нападал. Они уже давно выслеживали этого людоеда... Вдруг впереди что-то блеснуло, вроде кто две свечки зажег. Конь зафыркал, братья и я вкупе с ними вскинули ружья... Ба-ба-бах! — ударило залпом три выстрела. Свечки погасли, и оно шмякнулось о землю... «Готов! — говорит один из братьев. — Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

— Тигр-то хоть большой был?

— Довелось, между прочим, — продолжает дед Троян, не отвечая на ехидный вопрос, — и в Африке поохотиться...

— Уж не с Хемингуэем ли? — снова подначивает тот самый охотник, что побывал в Сибири. — Тут — с Остапом Вишней, там — с Хемингуэем...

— Представьте себе, — даже усом не ведет дед Троян, — большую клетку из толстых прутів железных, а в середине меньшую. В меньшей — мы, охотники, а в большей — порося. Нас вывозят в саванну и оставляют. Кто-нибудь из нас, кто похрабрее, вот вроде бы тебя, Кулик, — тычет дед Троян в грудь иронически ухмыляющемуся охотнику из молодых да ранних, — штыкает порося шилом в казенное место, порося визжит — и зверье сбегается со всей Африки... Тут уж, хлопцы, не зевай!

— Ну и заливаете же вы! Похлеще Остапа Вишни.
— Почему же, Кулик, заливаю? Я ведь не твоего батька сын.

— Так с какого же года вы охотитесь-то? — любопытствуют из толпы.

— С одна тысяча девятьсот шестого.

— Ого! Ничего себе!

— Вижу, опять не верите. Вот вам мой тогдашний

охотничий билет. Читай, Кулик, если недаром штаны протирал в школе.

По рукам идет лоскуток шелка. Кто-то читает вслух:

— «Охотничье свидетельство. Номер 15380. Бурлака Троян Остапович. Выдано Садгорским уездным исправником 14 марта 1906 года...» Все правильно, без брехш...

На пригорке у охотничьего домика живописная, до зубов вооруженная компания наблюдает утиный перелет.

Утки выпархивают из камышей, будто кто-то швыряет их из пращи. Набирают высоту и летят через плотину классическим клином. «Тю-тю-тю» — слышится повсист с неба.

До открытия охотничьего сезона остается полчаса.

— Посоветуй, старик, — обращается Парфен к Кулику, — где лучше засаду делать: в камышах или в поле? Ты ведь егерь.

— В поле. Среди буряков, — отвечает Кулик, не моргнув оком, и направляется к охотничьему домику.

Парфен растерянно и смущенно чешет в затылке.

— Не слушай, казаче, ты этих горе-егерей, — говорит дед Троян. — Ото как-то примазался этот Кулик к нам. Хотите, мол, поведу вас на одно озерцо? Там этих уток — шляпы с охотников сбивают! Веди, говорю. Ну, он и повел, как Иван Сусанин. Сам впереди, а мы цепочкою — следом. Тащимся час, другой, третий. Ярами, перелесками, потом — лесом. Темно, хоть глаза выколи. Ведь вышли, когда черти еще и на кулачки не бьются. Кулик раз за разом на нас рявкает: «Тише! Уже близко, уток переполошите!» Среди деревьев и правда что-то засерело. «Озерко, — говорит Кулик. — Смотрите, какой туман, что молоко!» Подходим ближе и очам своим не верим: перед нами гречишное поле, уже отцветающее... Привык, понимаешь, этот Кулик в гречку скакать¹, как бывший уездный исправник, так и нас привел... — Дед Троян берет Парфена под руку, отводит в сторону. — Вот послушай, что я тебе скажу...

Савва уходит готовить снасти, Андрей же остается на плотине — сделать несколько снимков.

Перед ним неоглядная ширь камышей и воды.

¹ Украинская поговорка, означающая: любит заглядывать к чужим делам.

Против течения выгребают охотники — по одному, по двое в лодке. Там, куда направляются Мелентий Силыч и дядько Олесь, теперь солнце, и фигуры их очерчены выразительным контражуром, точно на фотоснимке.

На темной от планктона воде — медно-зеленоватые копытца кувшинок, а на них — нейлоново-белые короны лилий.

Все это, думает Андрей, запечатлится в памяти не хуже, чем на фото пленке.

Язуры постепенно пустеют.

Где-то у леса грохает выстрел. Если бы не клуб дыма над камышами, можно было бы подумать: в лесу треснул дуб-исполин.

— Ну, началось! — возбужденно говорит дед Троян, остановившись рядом с Андреем. — Переведут не меньше трех вагонов пороха и столько же дрови. Закоптят небо и распугают всю дичь.

Вновь слышны выстрелы над камышами. Бабахают один за другим — Андрею начинает даже казаться, что где-то вблизи установили пневматическую «бабу» и она, разудало ухаю, принялась заколачивать сваи.

Дроби возвращается на землю. «Ляп-ляп-ляп!» — смачно булькает в густых камышах.

С десятков охотников залегли сбоку от плотины.

— Идет! Идет! — передают по цепочке один другому.

Утки летят высоко. Чьи-то нервы не выдерживают — ба-бах! Утки, точно по команде, размыкают строй, пролетают над головами, а миновав опасную зону, вновь смыкают строй и исчезают за пригорками — мнится, навсегда. Еще стайка — и еще залп. Одна из уток словно бы на глухую стену наткнулась, остановилась в полете, завадилась набок и камнем шлепается в мелководье.

— Охота — это не только развлечение, — задумчиво, как бы вспоминая что-то, говорит дед Троян. — Это сама жизнь. Мои лета дают право утверждать это. Но и вы, казаче, тоже правы, — кивает на фотоаппарат. — И правда, что там ружье: пальнул — ни заряда, ни утки. А снимок — трофей вечный. . .

— Не пора ли, Трояне Остаповичу, в засаду и вам?

— А сколько мне, казаче, тех уток надо?.. Пофортунит — так и отсюда, с плотины, добуду. Я ведь стреляю лишь тогда, когда уверен на все сто процентов, что возьму. А если нет, так и не берусь даже. Зачем? Пора-нишь — упадет в камыши, и, прошу прощения, там ее,

горемычную, черви сточат... Подранок не делает чести настоящему охотнику... А впрочем, может, и вправду прогуляться вдоль бережка, га?

— Прогуляйтесь, Трояне Остаповичу, прогуляйтесь, — подбадривает старика Андрей, чувствуя, как тот томится. — Уверен: вам непременно пофортунит. Непременно... Ну, а мне пора к Савве — порыбачим за милую душу.

Предвечерние тени исполосовывают прибрежные склоны, пестрое разнотравье постепенно впитывает в себя бодрящую прохладу.

Савва сосредоточенно «расфасовывает» наживку.

— Мальки — для окуней, пескарь — для голавля, личинки миноги, кузнечики, хлебные жуки — для язей... Двинулись, Андрей, что ли?..

Они сталкивают в воду дедову плоскодонку и выгребают на чистый плес.

3

Интересно, где же она пригнанлась? А может, почудилось? Да нет же — заметил эту парочку еще издали. Должны быть где-то здесь, поблизости.

Поразмыслив, дед Троян собирается повернуть к едва приметной тропинке, как вдруг отчетливо различает их головки на том берегу, среди травы.

Речушка мелкая, прикидывает про себя дед Троян, ощущая в груди знакомый холодок, воробью по колено, можно смело форсировать вброд... Только не шлепай так, будто старая кляча, не шлепай — вспугнешь ведь. Тихонько подкрадывайся, тихонько.

Неожиданно на том берегу раздается суетливо-испуганный шум — одна из уток выпархивает из высокой травы и взлетает кверху, однако не улетает прочь, а начинает кружить над дедом Трояном.

Вздвигнув от неожиданности, дед Троян останавливается в нескольких шагах от берега, ловко вскидывает тулку и, не особенно тщательно целясь, полагаясь, как и прежде, на многолетний опыт, с лету бьет, удовлетворенно подумав: «Сейчас сшибу!»

Грохочет выстрел, утка, однако же, не падает. Судя по всему, она даже не испугалась, кружит, как и до выстрела кружила, и просто-таки захлебывается тревогой, душу бередящим криком: «кыр, кыр, кыр...»

Матерь божия, что за наважденье?

Дед Троян растерянно опускает ружье.

Неужто промазал?! Вот мазило!.. А еще бахвалился: «Сейчас сшибу»!.. Сшиб... Позор на всю Европу... Хорошо, хоть никто не видел... Глаз мне запорошило, что ли?.. А где же та, другая?.. Может, хоть с этой справлюсь — пятно смою... А-а, вот и она, моя фортуна, плывет навстречу!.. Ну, птица, взлетай, пожалуйста!.. Почему же ты не взлетаешь? Не хочешь? Ладно, эдак сподручнее даже — уложу наверняка.

Увидев деда Трояна, утка выгибает шею и резко вскрикивает. В этот момент старик разряжает первый ствол. Утка замирает на месте.

Вот и реабилитировался, борода, удовлетворенно откашливается дед Троян. Иначе и быть не может!

Закинув тулку на плечо, шлепает к утке.

И вдруг, еще и не приблизившись к ней, в изумленье, даже в ужасе замечает, что уложил-то он вовсе и не утку, а... гусыню... В самом деле, это ведь гусыня, вот и шестеро гусят. Видимо, последнего выводка... Сбились в кучу у берега, жалобно пищат, испуганно поглядывают на мать. Гусыня покачивается на мелких волнах, то кладет голову на воду, то тянется к гусятам. А те пищат пуще прежнего. Вот гусыня опять положила голову на воду, и птицу относит к берегу. Ткнулась клювом в измочаленную травяную бороду, замирает. Все. Конец.

Дед Троян, едва переставляя ослабевшие в коленях ноги, выбредает на берег, устало усаживается под кустом.

Зачем?.. Ну зачем же я, старый хрыч, погубил живое существо, которому, как и человеку, природа материнство даровала?.. Ослеп я, что ли?.. Сперва не отличил утку от запретного гуся, а потом не заметил гусят... Глух, точно пень трухлявый, и слеп, словно крот... Не переморгать теперь перед обществом.

Так тебе, бахвалу, и надо!.. Вместо того чтоб подарить тулочку Савве, а самому охотиться в... миске, все еще считаешь себя первым охотником во всей округе... Был первым охотником, стал же последним браконьером.

Да, Бурлака, видать, вышло твое времечко, отстрелялся. А раз так, раз твое время вышло, так нечего и шататься по охотничьим угодыям, путаться у кого-то под ногами, становиться кому-то поперек пути — командируйся к Килыне. Заждалась небось, а ты все еще кани-

телишься, вроде еще чего-то ждешь от жизни. Хватит с тебя!.. Пережил три революции, четыре войны, столько же, если не больше, голодовок, схоронил жену, сына в люди вывел, дождался внуков, погулял на их свадьбах, вот уже и правнуки посыпались — нет и не будет перевода нашему казацкому роду!.. так чего же ты, борода, волнушку тянешь, до сих пор греешься у чужого костра?

Вот Прокоп, старый дружище, не волынил. Почувствовал, что не годится больше ни в бой, ни в строй, сделался в тягость Лизавете и прочим родичам, взял ружьишко, с которым, жаловалась Лизавета, даже во сне не расставался, подался в лес, вроде на вепря, и... не вернулся домой своим ходом.

Говорят, рак у Прокопа обнаружили. А какая разница, рак иль не рак? Вышел твой срок, пора и честь знать: шагом марш к праотцам!

Да, Прокоп Середа. Старый дружище, боевой побратим по партизанскому отряду, годок... Небось и последние твои косточки давно уже истлели, а я, видишь, все еще ряст топчу, все еще трепыхаюсь, точно глухарь в сети. Вот и дотоптался, браток, вот и дотрепыхался... Не последовать ли твоему примеру, га?.. Как скажешь, так и будет...

И вдруг опять раздается тревожное: «кыр, кыр...» Уже с того берега, откуда старик их заметил. Должно быть, потому, что оттуда ветерок, дед Троян и различает так явственно встревоженный и тоскующий зов гуся.

Вот в чем тут дело! Это ведь самец. Намеренно подставлял себя под выстрел, отводил опасность от семьи.

Так что с гусыней?.. Насмерть или только ранил?..

Наклоняется над птицей, а она вдруг вздрагивает и поспешно плывет прочь.

Вот как? Хитрила, значит, притворялась мертвой?

Старик проворно шлепает вслед за гусыней и настигает ее.

Она лежит на траве и смотрит на него. И старику становится не по себе — в птичьих глазах он замечает не страх смерти, а почти человеческую материнскую печаль. Птица будто говорит: «Ты можешь прикончить меня, старик, но пожалей хоть малышей...»

Дед Троян берет гусыню в руки. Внимательно осматривает. Крови — нигде ни пятнышка. Одна из дробинок прошила крыло. Только и всего. Это не страшно. Ладно, плыви к ним. И прости, будь добра, прости, птица...

Понаблюдав за выводком, дед Троян уходит прочь. А знаешь ли, брат Прокоп, я с тобой не согласен. Хотя и уважаю тебя, поступка твоего, однако, одобрить не могу. Пожалуй, ты просто смалодушничал. Ну и что, ежели мы на склоне лет у чужого костра старые кости греем? Вроде ж мы с тобой не куркульской натуры — с кем-то нянчились, о ком-то заботились, кого-то в люди выводили. Теперь пусть о нас позаботятся, ничего страшного. Ну а руки на себя наложить — знаешь, брат, это ведь все равно что совершить насилие над природой. Она, матушка, небось думала, и хорошо думала, кому сколько и для какой надобности отмерить, зачем же нарушать извечный закон?.. Нет, ты живи, человек, ровно столько, сколько тебе назначено, все вытерпи, все испыттай, передай свой опыт другим, только после этого можешь уверенно сказать: я прожил жизнь...

4

— Знаешь, Андрей, — задумчиво отзывается Савва, — вот сижу над удочками, смотрю на поплавки и ощущаю, как душа отряхивает тревоги, хлопоты, разную будничную накипь и становится словно бы чище, чутче, в ней даже музыка начинает звучать... Каждый раз это со мной происходит, каждый раз...

Тихо шумят камыши, Андрею же после этих Саввиных слов о музыке души чудится, будто где-то вблизи настраивается симфонический оркестр, а настроившись, торжественно грянет «Времена года» Петра Ильича Чайковского.

Плесы кипят, рыба ищет поживы, пузыри лопаются, медленно расходятся круги, разбиваются на блестящие, и слепящая водная гладь покрывается рябью.

Среди камышей замерли лодочки с рыбаками.

Вот на чистый плес выдвигаются трое, сошлись борт о борт, закрепились длинными шестами, углубив их концами в дно. Достали торбы, один из них открыл бутылку, плеснул в подставленные стаканы, все трое дружно подняли стаканы кверху, однако выпить не успели — вдруг одна из надувных лодок оглушительно взрывается, и вся компания уже барахтается в водорослях, напоминая очумевших водяных.

Андрей нервно курит, наблюдая за поплавками, в голове — обрывки воспоминаний, какие-то легкие и свет-

лые мысли, скорее всего, он не думает ни о чем, разве что о рыбе, которую должен поймать во что бы то ни стало.

Вода удивительно прозрачная, видны колеблющиеся зеленоватые тени. Вот там, под затонувшей и уже успевшей оплесневеть корягой, притаилась щука. Глаза посажены узко и высоко над хищной пастью, спина пятнистая. Не рыба, а речной леопард. Среди листьев кувшинок удивленно тарашится жаба.

— Пошла прочь, пучеглазая!

Жаба, точно аквалангист, бултыхается в воду, и в тот же миг щука торпедой устремляется к ней из-под коряги. Задние жабы лапки беспомощно мелькают в зубастой щучьей пасти.

Заметно вечереет.

На берегу раскладывают первые костры, к плотине причаливают первые лодки с охотниками.

Одно из бамбуковых удилищ соскакивает с борта лодки и прытко уплывает в камыши.

Андрей ощущает, как сердце, радостно вздрогнув, мячиком подпрыгнуло кверху и теперь колотится где-то под самым горлом, и запоздало плюхается в воду — вслед за удилищем.

И вдруг из-за густых камышей замечает такую сценку, что сразу же забывает обо всем.

С противоположной стороны осевшей земляной плотины появляется Парфен, издали хвастается перед дедом Трояном своими охотничьими трофеями, потрясая целой связкой уток. Дед Троян останавливает Парфена, завистливо ощупывает добычу, взвешивает на ладони, потом, обеспокоенно, даже пугливо осматриваясь по сторонам и заслоня удачливого охотника широкой спиной, торопливо выторговывает у Парфена двух уток, цепляет их на ягдташ, униженно о чем-то просит. Парфен, ухмыляясь во весь рот, театрально прикладывает к груди правую руку, согласно кивает: будьте спокойны, Трояне Остаповичу, бог не выдаст, свинья не съест!..

Андрей оглядывается на Савву.

Слава богу! Занятый удочками, Савва ничего не замечает вокруг себя. Он поднимает голову лишь тогда, когда с плотины доносится дедово покашливание.

— Как дела, дедуся? Эге, я вижу, вам и сегодня пофортунило!.. Поздравляю, дедуся!

— Есть еще порох в пороховницах, еще не гнется

казак! — удовлетворенно отвечает дед Троян. — Я их достал с того бугорка. Одна шлепнулась прямо под ноги, а другая — трошки дальше. Ничего ныне утиный перелет, ничего... Ну а как, внучек, твои дела?.. Юшечка будет?

5

Подбросили в костер хворосту, сушняк вспыхнул порохом — ночь ошалело заморгала обожженными ресницами, отшатнулась от огня и залегла за лодками.

— Ну вот, — говорит Мелентий Силыч, — картошечка уварилась, пора запускать рыбку.

Выгребает окуней и щук из большой алюминиевой миски деревянной ложкой. Ведро на перекладине запаровало сильнее, но уже не булькает.

— Бросайте, Мелентий Силыч, специи, — советует дядько Олесь, растроганно щурясь на огонь.

— Еще рано, — отвечает Мелентий Силыч, прикуривая папироску от уголька, — мы ведь договорились: не по вкусу придется — выльете мне за воротник.

Сначала собирались бросить жребий. Однако после того, как перетряхнули торбы, договорились: уху варить будет Мелентий Силыч — кроме всего прочего он выложил на газету петрушку, укроп, лавровый лист, перец.

— А вы, батя, видать, и в самом деле заправский юшковар! — снисходительно похвалил тестя Парфен. — Охотник из вас не очень удачливый, как и дядько Олесь, а юшковар — заправский.

Мелентий Силыч только усмехнулся.

Они с дядьком Олесем возвратились без трофеев. Парфен над ними стал подшучивать, а Мелентий Силыч спросил:

— Разве на охоте главное — убить?

Он милостиво разрешил всем помогать ему: вымыть картошку, почистить рыбу, принести воды.

— А теперь ваше дело — наблюдать.

В роли стороннего наблюдателя всегда кажется: и делается не так, как следовало бы, и кладется не то, что надо. Мелентий Силыч только добродушно улыбался, молча выслушивая противоречивые советы.

Петрушка и укроп у Мелентия Силыча связаны в один тугой снопик. Деревянной ложкой погружает его в юшку, следом бросает лавровый лист, сыплет из баночки молотый перец.

— Зовите Трояна Остаповича.

— Эгей, я уже марширую!

Словно раздвинув звездный занавес августовской ночи, из-за кустов выходит дед Троян, высокий сутуловатый, с тулкой на плече. Целый вечер он молча прогуливался вдоль берега, всматривался в небо, к чему-то прислушивался, о чем-то грустно размышлял. Никто не решался потревожить его, только Парфен, загадочно ухмыляясь, время от времени приглашал его к обществу. Андрей не выдержал, отозвал Парфена в сторону, сграбастал за грудки: «Если ты посмеешь хоть намекнуть на то, что между вами было, я набью тебе морду, приятель! Понял?»

Дед Троян присаживается поближе к костру, положив у ног зачехленную тулку.

— Ото пахнет! По всем Язурам варят юшку, а ваша, Мелентий Силыч, пахнет вкуснее всех. Учужал еще в курене. Ну, говорю сам себе, пора, борода, на юшечку.

Первая миска ему, Трояну Остаповичу.

Зачерпнул деревянной ложкой неторопливо, степенно и надежно, будто бы и не юшку пробует, а священнодействует. И снова смачно так причмокивает:

— Ото огонь! Так по старым жилам и разливается...

Мелентий Силыч и в самом деле превзошел все ожидания, но помалкивает.

— Щуки да окуни, — рассудительно говорит дед Троян, — ныне должны брать хорошо. Жара спала, а погода ясная. Туда дальше начнется «жор», так удить надо будет на глубоких местах, с мелководья рыба перекочет в зимовочные ямы... Ну, завтра и я порыбачу в свое удовольствие!.. А ты, Савва... А тебе, казаче, я дарю свою тулочку...

6

Догорают на Язурах костры, и так же постепенно умолкают задушевные разговоры у огня. Лишь неумолчно трещат кузнечики, гулко падают яблоки в колхозном саду, таинственно шуршит вода в камышах.

Откуда-то накатывается гул самолетов. Отдаляясь, самолеты мурлыкают, словно котята. Потом с неба падают иные звуки — щемяще тревожные, призывные.

— Снялись наши ансты... Завтра уже не увидим...

— Разве днем им не легче было бы?

— В хорошую погоду им все равно когда лететь. Птицы — великолепные навигаторы. Днем ориентируются по солнцу, ночью — по звездам...

— Откуда вы так много знаете, Мелентий Силыч?

— Жизнь, Андрей Зиновьевич, жизнь... Самый лучший учитель.

Завтра утром, думает Андрей, мысленным взором провожая аистов, завтра утром встретим здесь, на берегу, восход солнца. В шесть его еще не видно. Горизонт обложен плотными облаками, будто прозрачными меловыми горами. Но вскоре ветер перепашет их, и эти меловые горы станут похожими на белую пахоту. Посреди неба висит бледный месяц — настоящий парашютик одуванчика. Но вот уже солнце поднялось над верхушками деревьев — длинные влажные тени исполосовывают прибрежные склоны, широкий лог. А после, когда солнышко пригреет, мы увидим, как распускаются лилии.

Наступит новый день. А пока что ты лежишь лицом кверху на мягком духмяном сене, припасенном дедом Трояном для Любомировых козочек, мысленно провожаешь в теплые края аистов, думаешь о жизни и вдруг приходишь к заключению, что каждый день, каждый час нашей жизни словно бы соткан из двух цветов — алого и голубого, ибо не только отцы, но и мы, дети, помним алое зарево войны и мечтаем о вечном голубом небе.

Замолкают кузнечики, и западает такая тишина, будто очутился ты где-то на полпути между землей и голубой планетой грез...

Глава восьмая

1

Удобно примостившись на штабеле блоков, Парфен закуривает душистую сигарету «Филипп Моррис», лукаво и заговорщически щурится, потом широко улыбается.

— Что с тобой, хозяин? — присматривается к нему Савва. — У тебя такой вид, будто ты хочешь похвастать: ага, а у меня что-то есть!

— С вас магарыч, стахановцы! — Парфен отгибает полу модной нейлоновой куртки со звездами и полосами, лезет в карман темно-синих джинсов с яркой нашлепкой «Левис», вынимает вчетверо сложенную газету, развора-

чивается на коленях. — Вот послушайте: «На прошедшей неделе экипаж камнерезной машины номер тринадцать — комбайнера Савву Бенедиктовича Бурлаку, и его помощника Андрея Зиновьевича Чигиринца — на Садгорском комбинате строительных материалов встречали с цветами и музыкой. Их сменная трудовая вахта завершилась новым рекордом предприятия — на-гора выдана тысяча блоков. Это четыре сменных задания...» И далее — как вы дошли до жизни такой... Так пишет о вас областная газета. На мой взгляд — здорово и верно. А то все Гайдуков да Гайдуков! Будто на одном Гайдукове свет клином сошелся. Теперь, мальчишки, пойдут и очерки. Конечно!.. Под рубрикой «Герои пятилетки».

— Помоги-ка лучше передвинуть комбайн. Или боишься запачкать свои шикарные ковбойские штаны?

— А что мне от того перепадет, Андриуша, если помогу? Славой вы со мной не поделитесь, хоть мы, как говорится, и свои люди... Ну ладно, на кружку пива, надеюсь, заработаю?

— Заработаешь... На «Белую лошадь».

— Правда, с вас и так причитается. Вы сегодня именинники. А пан Юзеф давно жалуется, что обходим его стороной... Кстати о «Белой лошади». Не отказался бы. Только где же найдешь ее в нашей глуши?

— Ладно, мы с Саввой поставим тебе пива. Сколько выпьешь.

— За неимением зайца... Между прочим, вы знаете, сколько я пью? — острит Парфен. — Сначала — сколько помню, а после — сколько подносят. Значит, договорились: после смены — в «Криничку».

2

Впереди двое несут портрет покойника, за ними медленно движется машина, кузов с опущенными бортами пестрит цветами, из-за венков желтеет лицо, вслед за машиной плывет густая толпа, позади рыдает духовой оркестр, басист напоминает обвитого змеем Лаокоона.

— Мрут люди как мухи, — говорит Парфен, пощипывая жидкую бороденку. — У кого рак, у кого язва желудка, у кого инфаркт миокарда...

Похоронная процессия завернула за угол почтамта, и Парфен вздыхает сокрушенно и безнадежно:

— Наверное, скоро и меня, ребята, понесете.

— А ты здесь при чем? — пораженный, останавливается Чигиринец. — Тебя ж и механической лопатой не убьешь.

— Э-э, нет, — грустно отвечает Парфен. — Так было. А теперь... Помните, как мы купались однажды на хуторе? Так еще тогда после купания нащупал у себя на груди справа какой-то твердый комок. Я не придал ему никакого значения. А сегодня утром опять нащупал — комок стал побольше. Я уже догадываюсь, к чему идет дело. Думаете, буду ждать, пока положат под нож? Только подтвердится мой диагноз, сам себе петлю накину.

Савва берет Парфена под руку:

— Ну-ка пойдем.

— Куда? — упирается Парфен.

— Вон туда, в скверик. Покажешь свой комок.

Они останавливаются за пыльным кустом сирени. На осокорях воробьи подняли возню.

— Показывай.

Парфен оглядывается, прислоняется спиной к стволу дерева, расстегивает ярко-красную приталенную рубашку «Гонконг» и дрожащим пальцем тычет выше правого, заросшего рыжими волосами соска.

Савва принимается пальпировать.

Парфен стоит с видом обреченного.

— Одевайся, — Савва отворачивается, закуривает сигарету.

— Ну что? — подступает к нему Парфен. — Это он?

— Конечно, — отвечает Савва, сплевывая. — Он. Фурункул!

— Много ты знаешь! — Презрительно морщится Парфен, застегивая медные кнопки на рубашке.

— Нет, это не фурункул, — говорит Чигиринец.

— А что? — округляет глаза Парфен.

— В Нью-Йорке есть так называемая деревня Гринич-Виллидж. Кажется, бывшее поместье президента Вашингтона. Там теперь страшное количество лотков, на которых продаются пластмассовые пуговицы. Они популярны тем, что на каждой из них отчеканен лозунг, ну, нечто вроде такого: «Любовь — превыше всего!», «Свободе гомосексуализму!», «Ничто ничего не стоит». Нью-Йоркские интеллектуалы цепляют эти пуговицы на грудь или на воротник и таким образом рекламируют себя и свой богатый внутренний мир... Так этот твой фурункул

или жировик — кто его знает! — напоминает мне одну из пластмассовых пуговиц Гринич-Виллидж.

Парфен краснеет до слез, до непристойности.

— Ну вас! Сами провоцируют, а потом еще и издеваются... Будто они и в самом деле понимают что-то в этих вещах... Тьфу! — сплевывает с отвращением. — А это что еще такое?

— Воробей капнул на бороду, — смеется Савва.

Парфен вынимает шелковый платок и, гадливо морщась, вытирает бороду.

— Развелось этих воробьев... Некому их уничтожить, паскуд...

— Возблагодарим же господа бога, — поднимает глаза к небу Чигиринец, — что коровы не летают...

3

Барельефы на стенах воспроизводят сцены из жизни запорожского казачества. Казаки в походе, в бою, казаки на отдыхе. Вот трое чокаются, двое играют на кобзах, четверо, взявшись за руки, чешут гопака, так что чубы-оселедцы мотаются.

Парфен, Савва и Чигиринец сидят на чурбаках вокруг дубового бочонка, перед каждым — кружка пива. Пан Юзеф — так Парфен называет хозяина «Кринички», — наливая пива, похвалился:

— Высшего сорта! Придержал специально для вас, пан инженер. Знал, что заглянете.

— Не лукавьте, пан Юзеф, — грозит Парфен пальцем. — Разбавляете водичкой, знаю я вас. Слышали анекдот? Спрашивают: «Паслушай, кацо, пачему пиво такой теплый?» А он возмущается: «Как теплый? Только сичас ведро халоднай вады вилил, а ты говоришь — теплый!»

— Га-га-га, — показывает хозяин свои желтые, будто кукурузные зерна, зубы. — Каждый хочет как-то жить, пан инженер, — вздыхает он, ставя кружки.

«Думают, наверное, что это очень остроумно: подражать героям телевизионного театра миниатюр. Тоже мне — «Тринадцать чурбаков»!» — будто от оскомины морщится Чигиринец.

— Закуривай моих, — Парфен протягивает золотую пачку «Филипп Моррис», — «Ява» вредна.

— Чем же?

— Снижает нашу мужскую потенцию.

— Пока что не ощущаю этого, — отвечает Савва.
— Под старость ощутить.
— Тогда уж не о чем будет жалеть.
— Ты плохо разбираешься в таких делах.
— Может быть, у меня только домашняя практика.
Парфен смеется, выпивает полкружки пива, обращается к Чигиринцу:

— Так послушаешь новые стихи, старик?
— Охотно. Давно не слушал новых твоих стихов.
— Потому что я их давно не писал. А вчера, представляешь, что-то нашло. Вымыл руки, надел чистую сорочку, говорю себе: «Либо сегодня я напишу нечто гениальное, либо перережу себе вены». Теперь всегда буду надевать чистую рубаху, когда сажусь за письменный стол.

— Глупости, коллега. Истинный поэт может писать и в туалете. Там даже думается лучше.

— Ну вы и даете сегодня... Так слушайте.

— Сначала закажи еще по кружечке, а потом уж послушаем.

Парфен берет пустые кружки и направляется к прилавку.

Чигиринец смотрит ему вслед и почему-то вспоминает недавний разговор с Галей.

А был ли, в самом деле, этот разговор?

Мы бродили в парке, Галя рассказывала про свою последнюю геологическую экспедицию. Потом Парфен увидел кучу шахматистов.

— Пойду сыграю партийку. А ты поухаживай за моей женой.

Мы с Галей устроились на скамеечке рядом с фонтаном.

— Ты не увлекаешься шахматами?

— Не могу же я оставить тебя одну... Как тебя, кстати, называть Рена или Галя?

— Конечно, Галя... Это все тетя Эра. Такое уж у нее хобби. Сначала себя перекрестила, теперь за нас взялась... А я тоже люблю шахматы. Отец научил. Еще в детстве. Играла в институте. Там, за шахматной доской, и Парфена встретила... До того момента о нем я не слыхала. Слышала только об его отце. От своего. Они вместе воевали. Тебе интересно?

— Естественно. Парфен — мой друг.

— А как ты его спас?

— Ну, это долгая история. И разве сам Парфен тебе не рассказывал?

— Рассказывал.

— Ну так мне добавить нечего... Значит, вы познакомились за шахматной доской?

— Мы встретились как победители турнира между парнями и девушками. И нам пришлось с ним посоревноваться. Он принес с собой какую-то книжку. Она меня заинтересовала.

«Это про этрусков», — сказал Парфен.

«А кто такие этруски?»

По дороге к общежитию Парфен рассказал, что это был гордый и могущественный народ. Свыше двух тысячелетий назад этруски основали свое государство в северо-западной части Апеннинского полуострова. Те памятники, которые дошли до нас, свидетельствуют: этот народ в совершенстве владел секретами обработки камня и металла, имел высокую культуру, короче — заложил фундамент европейской цивилизации. Однако этим, собственно, и исчерпываются наши познания о стране Этрурии, позднее поглощенной Римом. И вот филологи уже три столетия бьются над расшифровкой этрусских писем, а письма до сих пор молчат.

Шутя спросила его, уж, случайно, не собирается ли он расшифровать этрусские письма.

«Собираюсь, — ответил Парфен серьезно. — Есть такой метод — математический. В школе я увлекался математикой, и в институте тоже люблю ее. Математика мне и поможет. Конечно, на это уйдет не один год, но все же я добьюсь своего. Письмена заговорят».

И ты знаешь, я поверила, что он в самом деле добьется своего.

Не спала ночами. Были на то причины. Я ведь росла в такой семье, где уже с детства в нас воспитывали собственные взгляды на жизнь и на людей. Я была уверена в том, что все должны быть такими же, как мой отец и мать.

Формируя свое кредо и дальше, я пришла к такому выводу: человек, в самом глубоком, исчерпывающем понимании этого слова, никогда не найдет себя, не выделится и не поднимется над другими существами, если замкнется в одной личности. Человека как такового мо-

гут составить по крайней мере двое. Один, отдельно взятый индивид еще не человек, лишь часть его.

Так вот и рассудила для себя: когда вырасту, стану девушкой, без малейших колебаний полюблю слепого, хромого, горбатого, зато такого, с которым можно утвердить свой идеал.

А тут — настоящий красавец. И такая благородная цель, и такая вера в собственные силы. Было от чего потерять сон. Какой-то голос упорно нашептывал: «Это он, тот, кого ты ищешь. С ним сообща ты составишь человека, который утвердится в своем праве на совершенство».

Он был уже на последнем курсе, и мы поженились. Отец одобрил мой выбор.

Вначале Парфен и в самом деле был таким, каким мне хотелось его видеть. Все свои силы я отдала его этрускам. О нем даже газеты стали писать. С помощью своего метода он все-таки расшифровал одну надпись на стеле из Перуджии.

Потом он уехал на преддипломную практику, и там с ним что-то случилось. Вернулся надломленный и равнодушный. А теперь это равнодушие к людям, к делу приобрело...

Галя, вероятно, почувствовала мое настроение, преврала исповедь и спросила:

— Тебя шокирует этот разговор?

— Откровенно говоря, да... Почему-то мне кажется, будто меня заставляют заглянуть в чужую спальню. А это, согласишься, не всегда интересно.

— Я не стала бы начинать этот разговор, если бы не одно обстоятельство. Видишь ли, Чигиринец, несмотря ни на что, я все еще люблю твоего друга. Уверена: он еще может стать самим собой. По размышлении, долгом и болезненным, я пришла к выводу: сама в огромной мере виновата в том, что Парфен так изменился... С малолетства во всем ему потакала мать, а потом я расхваливала, и он поверил в то, что его миссия на этом свете исключительна. Пора ему, наконец, показать, кто он есть на самом деле. Однако бороться одной трудно. Временами в бессилии руки опускаются. Внешне у нас как будто все хорошо, и отец не вмешивается. На работе держит его в шорах, не спешит выдвигать, к Парфеновым друзьям относится не очень доверчиво, однако дома — молчит. Так

что одной трудно, а Парфена подбадривает твой пример.

— Мой пример?

— Ну, может, не пример, может, я не так выразилась, ну, эта твоя история... ну, что ты оставил свою семью...

— Ты боишься, что и Парфен...

— Этого я не боюсь. Меня Парфен не оставит... Пугает другое: с твоим приездом его равнодушие приобрело, так сказать, новое качество.

— Мне надо уехать?

— Этого от тебя никто не требует. Я хочу сказать вот что: ты друг Парфена, а Парфен всегда ищет себе таких друзей, которые были бы по крайней мере хоть бледной его тенью... Так неужто и ты ему станешь потакать?

Ответить я не успел. Подошел Парфен и похвалился:

— Выиграл! Мат за десять ходов!..

Парфен приносит три кружки пива.

— Теперь читай, — говорит Чигиринец.

Парфен отчего-то вдруг побледнел и, глядя куда-то поверх их голов, стал читать:

Твои руки на плечи взлетали,
И перрон ускользал, как змея...
— Привези мне яблок с Полтавы! —
Ты просила, родная моя.
— Привези из осеннего сада, —
Мне кричишь без печали и слез.
— Не забудь яснокошую Ладу, —
Нес мне ветер под стук колес.

...Вот зима умирает в проталинах...
Зачеркнуть расставанье пером?!
— Я привез тебе яблок с Полтавы!..
Но навстречу — безлюдный перрон.

Дочитав, Парфен ревнивым взглядом обводит бар: слышит ли его кто-нибудь еще, кроме Чигиринца и Саввы.

За соседним бочонком, заставленным добрым десятком пустых кружек, среди которых сиротливо жметесь бутылка «Экстры», беседуют двое, близко наклоняясь друг к другу.

— Ты меня ув-важаешь?

— Ув-важ-жжа-ю! Я теввя знаешь, как ув-вваж-жаю?

— Н-ну, если ты мм-меня ув-вва-жжаешь, подар-рри м-мне ссобач-ччку...

— К-как это — пп-подар-рри? Две сотни на бочку, ссоббак-ка твоя.

— Не, так не пойд-дет... задар-рром подари. Ну, подар-рри мм-мне соб-ббач-ччку!.. И — все. Будешшшь ему луч-шшим другом! Лучшшш-им другом, понял? Слышь, нет? Будешь лучш-шшим другом мм-моей собач-ке!..

Услышав веселый смех, один из приятелей, тот, который выпрашивал собачку, медленно поворачивается в их сторону, долго разглядывает Парфенову бороду, потом салютует рукой:

— П-пр-ривет, с-сспанн-ик! — ниел-ли!

Парфен отхлебывает из кружки, потому что у него тоже начинается икота, принимает серьезный вид, говорит:

— Еще одно.

Из твоих объятий вырвусь на рассвете,
Побреду по росным молодым садам.
«Ой люли» — качает колыбельку ветер,
И на каждой ветке — синие глаза.

Радужно спокойный, пьяный и порожний,
В новый день несу я жажду милых губ,
А навстречу первый утренний прохожий —
Эй, братишка, знал бы, от кого иду!..

Не пересекутся стежки и дороги,
Временем сотрутся в памяти черты,
Только вновь и вновь я через все тревоги
Голос твой услышу: «Ну, иди же ты!»..

Парфен умолкает, закуривает сигарету и, маскируясь дымом, выжидающе смотрит на Чигиринца.

Чигиринец ставит пустую кружку на бочку, протирает стекла очков. На улице с каштанов опадают золотистые листья, кружась, время от времени опускаются на подоконник пивной. Чигиринец прослеживает полет листьев, потом произносит:

— Помнишь, Парфен, как-то в такую же пору наша часть стояла лагерем на опушке леса? На досуге жгли костры, пекли картошку...

— Естественно, помню, старик!

— Хорошая была осень. Тогда ты написал эти строки:

Паутина, как дыханье, невесома,
На висках у осени осела.
Рыжая, с улыбкой невеселой,
Руки у костров погреть присела.

Обернувшись к Савве, Чигиринец спрашивает:

— Хорошие стихи, ведь правда ж?

— Хорошие... Так об осени еще не писали. По крайней мере я не читал.

— Да, это в самом деле хорошие стихи.

— А эти, выходит, плохие? — ревниво спрашивает Парфен.

— Если по мне, коллега, — улыбается Чигиринец, — ты допустил ошибку. Надо все-таки было перерезать себе вены — наша поэзия облегченно вздохнула бы.

— Шутишь, Магеллан?

— Поэзия — это такая вещь, что с нею шутить опасно.

— Ну, знаешь, друг мой, я этого от тебя не ожидал.

— Если перефразировать известную пословицу, то в ответ можно сказать лишь так: дружба дружбой, а поэзия поэзией... Вспомни, Парфен, как нравились нашим парням твои стихи. Они брали за душу, потому что шли от самой души. Я могу их цитировать часами. И не только отдельные строки, но и целые куски из первой твоей поэмы «Крылья». В них ты отображал все, чем жили тогда наши парни: атаки, марш-броски, любовь, твою неосуществленную мечту о небе и мою — о море, краски рассветов и разговор травы... А главное — в них были мысли, свои, а не заимствованные, взятые напрокат у покойных циников. Ты неплохо, дружище, начинал, в то время ты тянулся к мировой культуре... Почему же теперь так оскудел духом? Почему теперь в мировой культуре тебя интересуют лишь тряпки, разные там...

— Э-э, брось, Колумб, эту мировую культуру! — резко перебивает Парфен. — Аполлинеры, Пикассо, Хемингуэй... Все начисто посвихивались на чужеземных образцах, подражают, закрывая глаза на собственные истоки... Тоже мне — модернисты! А кто же будет печься о национальном колорите?

— Ты! — Чигиринец побелел, как стена. — Ты!.. Не принижай нашу нацию! Не ориентируй ее на мотню!..

Вот уж засел в печенках этот «национальный колорит»... Его нет и в помине, а он ратует за колорит. Творить, создавать такую культуру, такую литературу, чтоб весь мир за голову хватался: «Что это за нация? Откуда в ней столько силы?» — вот тебе и будет колорит. Национальный!.. Русский, украинский, белорусский — какой хочешь!.. «Радужно-спокойный, пьяный и порожний», — это, по-твоему, колорит?.. Порожний, знаешь ли, колорит.

Уже спокойнее Чигиринец продолжает:

— Истинные художники во все времена добивались главного — правды. Тонкие наблюдения с течением времени линяют. В плоскости подсознательного происходят иные процессы, и все исследования этнографического человека становятся пресловутой познавательной ценностью. Такое понимание художественности только во вред. Тем паче, что один имел намерение сказать о той или иной примете одной строкой, второй писал сонет или новеллу, третий же — поэму или роман. Нечего и думать обойтись без обстоятельных предпосылок к произведению. Теперь, как никогда, человек — явление общественно-политическое. В произведении требует общественных обстоятельств, деталей и характеристик. Не довольно ли? Достаточно, например, сказать, что человеку угрожает смерть, и писать о том, как он спасается от смерти. О том же, как текут слезы из глаз, какими бывают муки голода, нет необходимости распространяться — вряд ли откроешь здесь что-либо существенное. Есть иная возможность сделать чувства явлением общественно-историческим. Это — рафинирование чувств в общественно-историческом аспекте. Интересное дело. К сожалению, кое-кто до необходимой глубины не понимает этого, а во-вторых... во-вторых, я, вероятно, слишком увлекся.

— Спасибо, что вовремя спохватился. Однако из твоих сентенций, Чигиринец, так и не поймешь, нравятся тебе мои стихи или нет?

— Пожалуй, я уже в том возрасте, когда графоманские упражнения с затхлым душком алькова не привлекают...

— Ов-ва, какой ты целомудренный! Затхлый душок алькова... Видели мы таких чистоплюев!.. И теперь видим... Насквозь...

— Что же ты видишь? — спокойно спрашивает Чигиринец.

— А ты будто не знаешь? — Голос Парфена внезапно сел, а лицо покрывается синими и малиновыми пятнами. — Знает кошка, чье сало съела. . .

— Ты хвостом не виляй. Говори прямо.

— И скажу. . . Думаешь, никто не знает про твои шуры-муры с этой Гайдуковой?.. Оттого, наверное, и от жены сбежал. А еще берешься поучать. Ханжа!..

Савва видит, как смуглое лицо Чигиринца постепенно заливают смертельная белизна, как устало надламываются его широкие плечи, как медленно снимает он очки, как, торжествуя, Парфен презрительно смотрит на Андрея. И тогда, опередив Чигиринца, сжав зубы и не поднимаясь с места, он коротко и резко бросает:

— Сволочь!..

4

— А я, знаете ли, получил письмо от Натальи Васильевны.

— Какой Натальи Васильевны?

— Ну какой же. . . Жены вашей. Хотите почитать?

— Если дадите. . .

— Пожалуйста.

Разворачиваю сложенный вчетверо листок и читаю:

«Уважаемый Мелентий Силыч!

Спасибо за письмо.

Это хорошо, что у Андрея такой внимательный руководитель. Теперь по сути затронутых вами вопросов.

Андрей ни в чем не виноват ни передо мной, ни перед семьей. Это хороший, это лучший из людей. С ним я познала, что такое счастье, любовь. Пусть даже и была она трудной, наша любовь, я буду вспоминать ее как подарок судьбы. Мне кажется, Андрей точно так же казнится, как и я.

Никаких претензий у меня к нему нет.

На работу примите его непременно. Дело он любит превыше всего.

С уважением Наталья Чигиринец».

— А теперь признайтесь, только искренне: вы не ожидали такого ответа?

Мне просто нечего было сказать.

— Вот видите, я еще тогда заметил: плохо вы знаете свою жену. Нет-нет, я не собираюсь вас агитировать. Знаю, как это раздражает, когда кто-то набивается с со-

витами. Хочу сказать лишь следующее: когда судьба бьет по семье, а семья эта из куска гранита, от удара остается след, щербина, но гранит не перестает быть гранитом. Если же семья смахивает на, прошу прощения, коровье дерьмо, — только брызги разлетятся... И еще одно, добытое собственным опытом. Брак — это, грубо говоря, сберегательная книжка. Сколько положите любви, добра, тепла, столько же сможете и снять с нее. А если захочется взять больше, чем вложено, счет исчерпается.

... На берегу Быстрой я сажусь на перевернутую лодку, закуриваю. Какая-то молодая чета прогуливается вдоль опустевшего пляжа. Будто дети, взялись за руки, шлепают по колену в воде, беззаботно смеются. Долго смотрю им вслед.

Мы ищем необыкновенного и непреходящего. Отрываемся от земли, где нам суждено, кроме всего прочего, казниться вечными вопросами, рвемся в заоблачные выси — пристанище самых дерзких и радужных иллюзий. А между тем оглянемся вокруг. Не есть ли это счастье — босиком бродить по воде, размахивать руками, смеяться над милыми пустяками, с трепетом относиться к тому, что соприкоснулись плечами, что тебе легонько сжали пальцы, и идти все дальше и дальше — от людей, от луны, чтобы потом где-то в тени прибрежной вербы остановиться, глубоко и значительно заглянуть в глаза, положить руки на плечи, прильнуть друг к другу устами и упиться сладким целебным изнеможением, а поутру — подана в кровать чашка крепкого кофе, шелест накрахмаленной сорочки, веселая суетня на кухне, когда четыре руки не столько помогают друг другу, сколько мешают, — не есть ли это счастье, земное, каждодневное?.. Ты знаешь сладкие мгновенья счастья в работе, однако, если ты не познал всего этого в семейной жизни, ты никогда не был счастлив по-настоящему. Не оттого ли с такой тоской смотришь вслед каждому, кто кажется тебе счастливым?

Но всегда ли мы честны с самими собой, когда беспощадно обвиняем близких в измене и отступничестве? Не сами ли толкаем их на это, а после чувствуем себя обворованными?..

Еще один вечный вопрос, еще один горький укор самому себе...

Глава девятая

1

— Знаешь ли ты, Андрей, как называются эти цветы?

— Которые, Вера? Здесь их так много — сплошь вся канава устлана.

— Ну, скажем, эти — красноватые сочные лепестки, белые тычинки, красные пестики?

— Кто же не знает их. Иван-чай, или кипрей.

— А эти синие бутоны? Не правда ли, они похожи на лебедей в полете или на парусники? Скорее всего — парусники. Вот парус, загнутый кверху нос, корма.

— Это сокирки.

— Сокирки?! Наверное, этот цветок впервые встретил лесоруб, цветок почему-то напомнил ему топорик-сокирку, вот и пристало название — сокирки. . . Белый султан на длинной и тонкой ножке — бабка, это я помню. Из батогов подорожников в детстве плели «брички», а лист прикладывали к ранке, когда поранишь ногу. . . Голубые кувшинчики — ну, они так и называются, из них мед высасывали. . . Удивительно, как много воспоминаний могут пробудить цветы. Забытые названия словно приходят из детства. Так вот сидел бы и сидел на канаве. Однако пора и грибы собирать. Засмеют, если вернемся с пустыми лукошками.

Опушка леса обдала парным теплом.

Прыгали по скрученным в трубочки листьям солнечные зайчики, громко постреливали под ногами сухие ветки, цепкие кусты глота, оплетенные паутиной, рвали одежду.

— Вот посмотри, Вера, паутинка в росе. Бусы — да и только! . . . Прямо из ювелирного магазина!

Присели перед паутинкой, наши лица склонились так близко друг к другу, что я ощутила твое дыхание. . . Повернул ко мне голову, и я вблизи увидела твои чистые и доверчивые глаза, и сразу же мне стало стыдно за те мои выходки и тот разговор, в машине и на берегу.

Лесные просеки высыхают после дождя медленно, а грязь стала плотнее, хранит след колеса.

— Наверное, Любомир недавно проехал. . . Очень интересный он человек. В тридцатые годы датский профессор Ларссен прибег к такому эксперименту. Срезал почки с лучших плюсовых деревьев пихты европейской и

японской и привил на молодые саженцы. Получил потомство с ускоренным ростом. А Любомир экспериментирует с дубом... Смотри-ка, Андрей, солнце поднялось высоко-высоко, а в лесу сумерки, даже как-то неуверенно чувствуешь себя, озираешься на каждый шорох.

Поперек едва приметной тропинки — длинная ореховая палка.

— Возьми. С таким посохом будешь чувствовать себя увереннее. И еще одна выгода: не надо раз за разом кланяться каждой кочке — уж не гриб ли под нею? — можно разгрести палкой... Или в ваших краях тоже пренебрегают этим грибом, что так ловко прячется в палой листве? А напрасно, соленый подгруздок мало чем уступает белому грибу.

Лес поредел, стал веселее. Пошли осокори, грабы, липы.

— Из всех деревьев мне почему-то милее всего липа.

Знаете, как липа шелестит
Лунными весенними ночами?..

А еще, Вера, у меня такое впечатление, будто из темного погреба мы с тобой попали в двухэтажный дворец. Посмотри-ка: нижний этаж декорирован густой, почти синей, верхний — насквозь прозрачной зеленью.

Где-то далеко переаукивались Савва с Орестой, другие грибники. Верно, набрали уже полнехонькие корзинки.

— Ага, вот и первый наш грибок! Какая тугая сыроежка — бабка в красной шляпке! Ты знаешь, Вера, в наших краях этих бабок почему-то больше всего, мы называем их голубинками... Однажды попался мне на глаза справочник по грибам, так я прочитал в нем такое: «Грибы — ценный, вкусный и питательный продукт. В белых грибах содержится до сорока процентов белка, около пятнадцати — крахмала и некоторое количество жиров. Съедобные шляпочные грибы имеют также особенные ароматические вещества, возбуждающие аппетит. Кроме того, сам сбор грибов — приятное занятие во время отдыха в лесу».

Белки, крахмал, ароматические вещества... Ребенком я не знал всех этих премудростей, но именно в детстве познал цену грибам. Они тогда заменяли нам хлеб.

Зимним вечером, укладывая меня полуголодного спать, мама утешала: «Вот переберемся до тепла, пойдут

шампиньоны, а там — голубинки, а дальше и белые грибы, вот тогда разговеемся».

Грибная пора, наконец, наступала. Приходил отец с сахарного завода, из ночной смены, завтракал борщом из крапивы, мать бежала в поле, на совхозные бураки, а мы с отцом отправлялись в лес. С тех пор и врезалась в память отцовская наука о грибах, о лесах, о природе.

«Грибы надо знать, — говорил отец. — Насобираешь дурных — дурными он называл ядовитые, — на стенку полезешь, как наши соседи. Вот ты нашел подберезовик. Видишь, снизу шляпка — будто губка или пчелиные соты. А попробуй разрезать ножом — шляпка делится на маленькие трубочки, через которые высеваются семена. Поэтому такие грибы называются трубчатыми. Теперь рассмотрим сыроежку. Шляпка снизу — точно веер из тонких пластинок, правда ведь? Сыроежка — из пластинчатых грибов. Их больше, чем трубчатых, и дурные грибы попадают чаще среди них: бледная поганка, мухомор. . . Про волка речь, а он навстречь — вот она, бледная поганка. Сидит себе в глечике, на шее воротничок, шляпка бледно-желтая, а может быть и желто-зеленой или просто бледной. Мухомор распознать куда легче: шляпка красная, по ней белые пятнышки, а под шляпкой — тоже воротничок. Внешне очень красив, но — мухомор. . . Ну а это уже настоящий белый гриб. Это вроде царь грибной, что ли. . .»

Насобирав грибов, мы отдыхали где-нибудь на поляне.

Отец сидел на пеньке, покуривал и рассказывал уже про лес. «Деревья, Андрійко, — говорил он, — как и люди. Рождаются, живут и умирают. И дружба у них своя. Лес надо любить, беречь его. Что такое лес? В давние времена он охранял нас от лихих разбойников, кормил, согревал. Да и не только в давние времена. В нынешние тоже ведь без него не прожить. Когда деревьев много, тогда и реки глубоки и полноводны, и поле лучше родит — никакая засуха ему не страшна. А не стаёт леса — земля превратится в пустыню. . .»

Он говорит, а я стараюсь не пропустить ни одного слова, все запомнить из этой науки. . .

— Это и в самом деле, Андрей, целая наука. . . Хороший был у тебя отец. . .

— Да, хороший. . .

— Чувствуется, у тебя было трудное детство.

— Знаешь, Вера, когда я задумываюсь о своей жнз-

ни, то прихожу к выводу, что она была, так сказать, смоделирована еще тогда, в детстве... Может, перекурим на этой полянке? Здесь, кажется, сухо...

Садимся на траву, ты закуриваешь и ложишься лицом кверху, жуешь стебелек и смотришь в небо.

— Заметила: в лесу небо выше, чем в поле?

— Высоты добавляют деревья.

— Знаешь, давно уже хотел сказать тебе...

— Что?

— У тебя не волосы, а соломенная светлынь!

— Соломенная светлынь?!

— Вот именно! Особенно сейчас, когда на тебя падает солнечный лучик...

— Ой, кровь!

— Где?

— Вот, на листочке... Нет, это не кровь, это земляника. Хочешь попробовать?

Солнце плавится в верхушках деревьев, просвечивает каждую жилку на листьях, в косых дымчатых лучах висят золотистые точки мошкеры.

— Скоро и лес зазолотится... У нас во дворе растет дуб, старый, раскидистый. Утром, когда солнце поднимается над Заречьем, прохладная тень дуба заливает весь двор, будто половодье. Не каждый день и замечаешь его, потому что свыклась. А как насыдут, бывает, на тебя заботы, взгляд невольно бежит за окно. Запутались в зеленой кроне солнечные гребешки, ослепительно стреляют всполохами, едва-едва заметно дрожит узорчатый лист. А после, когда от задумчивого созерцания восстановится душевное равновесие, заметишь еще одну перемену в жизни дуба. Еще вчера он стоял зеленый, словно рута, а сегодня, смотри-ка ты, каким золотистым костром пылает! Тихо-тихо, воздух неподвижен, а с ветки внезапно срывается лист — дуб как будто даже передернулся от боли, кап — горючей слезой капает лист на влажную от росы крышу... Неужели наступил листопад?.. Представляешь себе, как степенным пономарем входит он, листопад, в леса, торжественно колдует над огнем — и это уже не лес, а языческий храм!.. И вдруг, Андрей, так захочется в лес, так захочется тепла перед долгой и холодной зимой, что решаешь завтра же непременно съездить на Любомиров кордои, однако не всегда это получается, к сожалению... Не поедешь, а после — локти кусаешь...

— Да, Вера, ты права: наше приобщение к природе носит чисто эпизодический характер. Не часто заглядываем мы в самих себя. И здесь некого винить... Скажи мне, Вера, ты счастлива?.. Ты бываешь счастлива?

— Гм-м... Да, конечно же, бываю. Вот и в эту минуту я счастлива. Счастлива оттого, что ты — рядом... А если бы имела возможность постоянно о тебе заботиться — готовить тебе, стирать твои рубашки... Смешно?.. Вы, мужчины, к сожалению, не всегда понимаете эту нашу слабость. Собственно, вы считаете ее чисто женской слабостью, а на самом-то деле это отнюдь не слабость, а естественная потребность женской души... Вот не раз наблюдала: мать стирает отцу сорочку — возьмет ее в руки, прижмет к груди, даже понюхает украдкой и расчувствуется до слез... Мне тоже хочется переживать вот такие счастливые мгновения, когда запах сорочки любимого и дорогого человека перехватывает дыхание и вышибает слезу...

— Неужели за эти годы... послушай, Вера, неужели за эти годы не встретился тебе человек, с которым?..

— Увы, не встретился... Ведь большинство мужчин ищет в одинокой женщине такую подругу, которая была бы одновременно и любовницей, и утешительницей и ничегошеньки не требовала взамен. А я для такой роли не гожусь. Да и любая женщина вряд ли согласится на такую роль. Создать крепкую семью, продолжить род, постоянно оберегать домашний очаг — вот истинное призвание женщины, предопределенное ей самой природой!.. Но ведь и мы, женщины, — не домашние роботы, а живые существа, мы тоже требуем внимания, заботы, ласки... Вот прибегает как-то Ореста, сияет вся, точно новая копейка, хвалится: «Сегодня мой Савва подал мне в кровать кофе!» — «Приятно было?» — «И не спрашивай!» — «Тогда вот что: я лягу в кровать, а ты подай мне кофе. Представлю себе на миг, будто это вовсе и не ты, сестра, подаешь мне кофе, а любимый...» Ну, разыграли эту сценку, похотели от души, а все равно — приятно!.. Но с тобой, Андрей, я согласна... с тобой я согласна на любые отношения, лишь бы ты был... где-то рядом...

— Но почему, Вера?.. Почему ради меня?..

— Ты честный человек, Андрей... Я почувствовала это еще там, в Киеве... У тебя такие глаза, которые не лгут... Я более чем уверена: если я буду страдать оттого, что ты не со мной, так ты не останешься равнодушным —

тоже будешь страдать. Не так ли, мой любимый?.. Однако зачем нам страдать? Ты лучше полюби меня, Андрей, полюби так, как я тебя полюбила...

— Полюбил, Вера... Я полюбил тебя еще тогда и любил все эти годы... Я не рассказывал тебе о своем детстве — не успел еще рассказать, и все же ты почувствовала, что мое детство было не из легких... Да, это так... Всю жизнь тянулся я к добру, и вот встретил тебя, и мне показалось, что ты, Веронька, — само воплощение этого добра. А теперь убедился в этом окончательно. Много есть достоинств в человеке, но для меня самое главное достоинство — доброта, ибо она предопределяет и порядочность, и все прочие достоинства. Если человек добр, тогда он и красив, тогда он и порядочен. Я так считаю... Душа моя истосковалась по доброте, особенно по женской доброте, и потому рядом с тобою я чувствую себя таким, каким всегда хотелось мне быть, но, к сожалению, не всегда удавалось... Если бы ты жила в Элладе, древние греки поклонялись бы тебе, принимая за богиню доброты, как, например, они принимали Каллирою за Афродиту...

— Не целуй меня, Андрей... Ты такой... такой необыкновенно нежный, а я ведь живая — из плоти и крови... Я теряю голову, а тут... мне стыдно, Андрей... Не целуй меня... Нет, целуй... целуй... целуй...

— Ты знаешь, Веронька, когда я целую тебя, обнимаю, когда ты меня целуешь и обнимаешь, одним словом, когда я ощущаю тебя, тогда я уверен, что ты действительно со мной, существуешь на самом деле, а стоит лишь отпустить тебя, как сразу же начинает казаться, что теряю тебя, теряю навсегда и вообще тебя не существует... Не пойму, отчего так происходит...

— Единственный мой!.. Если бы ты даже и не любил меня, если бы ты даже был равнодушен ко мне, я все равно была бы счастлива. Да-да, счастлива оттого, что люблю тебя... Конечно же, я страдала бы, любя тебя безответно, но даже в этом страдании была бы счастлива...

— Спасибо тебе, любимая... Я хорошо осознаю, что ради меня ты пойдешь на любые жертвы, и, откровенно говоря, мне становится совестно: стою ли я того, достоин ли я вообще твоей любви?.. Веришь, мне даже плакать хочется... Ба! Мы себе целуемся, а вокруг нас — грибы! Да еще какие симпатяги! Особенно молоденькие — буд-

то шахматные пешечки. Они все твой, Веронька, а я — перекурю тем временем.

— Не будем их трогать.

— Почему?

— А разве ты забыл, что белый гриб созревает лишь на шестой день? Взрослым он считается лишь тогда, когда достигает не менее четверти килограмма веса. Только взрослый гриб способен дать потомство. Эти же вылупились прошлой ночью.

— Хорошо, пусть подрастают.

Едва приметная тропинка выводит нас в молодой дубняк, просвеченный насквозь косыми солнечными лучами.

Весело переключаясь, шагает навстречу целая ватага мальчишек. В руках корзинки, полнехонькие грибов, через плечо — на шнурках — ботинки.

— Тетя, который час?

— Ой, часы остановились! .. Андрей, скажи им.

— Сейчас... Смотри-ка, и мои остановились. Вот чудеса!

2

«Добрый день или вечер, мой дорогой сыночек Андрейко!

В первых строках своего письма сообщаю тебе, что письмо твое, отправленное из Садгоры, я получила. Не отвечала так долго потому, что очки разбились, а новые пока выписали да выходила, а просить кого-то не хотелось.

Сначала, как всегда, очень обрадовалась твоей долгожданной весточке — спасибо, что не забываешь родную мать. А села читать — и заревела на всю хату. Вот тогда и очки разбились.

Что же ты наделал, сынок? Как ты мог оставить их на произвол судьбы? Совесть свою пропил, что ли? Пускай с Наталкой ты не сладил — ну, надавал бы ей чертей, проучил как следует! Но ведь Лесик-то ни в чем не провинился перед тобой. Почему же он должен страдать из-за того, что кто-то из вас взбесился? Я не понимаю этого и никогда не пойму.

Сынок! Ты ж так любил его, Лесика своего, ты души в нем не чаял, как твой тато покойный не чаял души в тебе. И ты, и Наталка — каждый из вас найдет себе под-

ходящую пару или новое ярмо на шею, в этом я не сомневаюсь, а кто ж заменит Лесику родного батька? Ты хоть подумал об этом, бесстыжие твои глаза, подумал, га?

А может, сынок, ты решил пожить трошки сам? Если так, то это даже и хорошо — пускай она там попробует, сладко ли одинокой бабе, такая наука лишь на пользу ей должна пойти. Но если ты не думаешь сходитья с Наталкой, думаешь обзаводиться новой семьей, так моего благословения не жди, я вообще откажусь от такого сына.

Сыночек мой, единственная моя надежда и опора! Опомнись, прошу тебя, умоляю! Вернись к семье. Если не вернешься, так я не знаю, что с собой сделаю!.. Больше писать не могу — даже в новых очках ничего не вижу.

Отпиши мне сейчас же, что собираешься делать. Жду ответа, как соловей лета. Целую тебя крепко-крепко, мой сыночек. Твоя мать Катря Чигиринец. Писано в Зеленом Гаю во вторник двадцать пятого сентября».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Кровля опять глухо загудела. Значит, над нами снова люфт.

Это уже не новость. Иссякают полноценные залежи ракушечника, комбайнеров раз за разом подстерегают неожиданности. То стена забоя внезапно загремит в провал, где когда-то бесновались воды, и потусторонний холод дохнет в лицо, остудит разгоряченные мышцы и душу, то на вертикальную раму оседет кровля и из пролома водопадом ударит пльвун.

Однажды мы напоролись на такую трещину, что четыре смены подряд выкачивали лопатами жирный ил и, когда расчистили трещину, в ней можно было развернуться на Верином «Москвиче».

Где-то в середине четвертой смены лезвие моей лопаты лязгнуло о какой-то предмет. Очистили находку от ила — на нас глянуло каменное подобие человека.

— Это скифский божок, — сказал Парфен с видом знатока. — Очень ценная находка. Не улыбайся, Бурлака, так скептически, я немного разбираюсь в этом деле.

— Еще бы тебе не разбираться, — произнес Чигиринец, — в свое время ты даже увлекался этрускологией.

После того случая в «Криничке» между ними сложились странные взаимоотношения. Парфен извинился перед Чигиринцем, однако, кажется, Чигиринец не простил ему, держит Парфена на расстоянии.

— Конечно, это не прошло бесследно. Я убежден в том, что если мы освоим археологию, антропологию, топонимику, другие родственные науки, то научимся управлять обществом так же, как йог своим телом... Так что надо сообщить об этой находке куда следует. Вам просто повезло.

— Дарим этого божка тебе. Правда, Савва? А ты уж делай с ним что хочешь. А между тем, знаешь что? Вот смотрю я на него, смотрю и думаю, кого же мне этот божок напоминает? А тут ты повернулся ко мне в профиль...

— Ты хочешь сказать, Чигиринец, что я похож на этого идола?

— Если бы кто-нибудь поработал над ним с резцом... Слышишь, Савва, а почему бы тебе не попробовать? Ведь это ж ваше семейное увлечение — резьба по камню. Так вот, я и говорю, если бы кто-то поработал над божком с резцом, сделал, так сказать, небольшую пластическую операцию, было бы точь-в-точь.

— Ну, Чигиринец, ты и даешь!

— Я абсолютно серьезно, Парфен Дмитриевич. Будешь иметь оригинальный сувенир — собственный бюст. Ну что музей? Там от таких идолов полки ломаются. А будет стоять у тебя дома или даже в служебном кабинете — каждый обратит внимание.

Парфен не согласился на «пластическую операцию», однако божка оставил в конторе участка. А потом, став главным, перетащил в новый кабинет.

А вообще-то немного было веселого в том, что мы каждый раз натыкались на такие вот трещины. Кляли их последними словами. Потому что это все-таки сизифов труд — ворочать горы песка и ила, чтобы через три-четыре отвала нас подстерегала новая трещина шире прежней.

На Лысой Горе усилили темпы вскрышных работ, однако новых забоев не хватало, машины выводили на гора одну за другой, и кто знает, когда очередь дойдет до нас. А может, с нами волюнили, потому что мы молчали, не хватало начальство за грудки, выбирали под землю все, что еще можно было взять, как и тесть, Александр Панкратович, выбирал.

Андрей все еще выстукивал кровлю, когда подошел мастер смены, недавний выпускник техникума.

— Гудит?

— Послушайте, — Андрей постучал снова.

Лампита послушал и сказал:

— Гудит, проклятая... Что ж будем делать, товарищи?

— Вам лучше знать.

— Надо посоветоваться с Парфеном Дмитриевичем. Кошай по совместительству выполнял и обязанности начальника участка. Он не заставил себя долго ждать.

Взял ломик, долго выстукивал кровлю, прислушиваясь к гулу.

— Ничего страшного, ребята.

— А если садиться будет? — засомневался Лампита.

— Не будет! — уверенно ответил Парфен. — Интуиция меня еще никогда не подводила. — Перехватив Андреев взгляд, поправился: — Я хотел сказать — опыт... Но на всякий случай поставьте крепь... Хватит одной рамы... Скажи, Лампита, пусть привезут лесу.

Лампита отправился выполнять распоряжение, а Кошай сел с нами перекурить.

— Да, ребята, нелегко наш труд... Однако в любом деле человек должен познавать себя, отображаться в нем, а работа, в свою очередь, должна преобразовывать человека по образу и подобию своему... Ну что ты, Бурлака, всегда усмехаешься, что бы я ни сказал? Ты думаешь иначе? Ну-ну, интересно будет послушать.

...Несколько дней назад мы были у Парфена в гостях — отмечали день рождения Павлика. Почти все гости уже собрались, ожидали только «крестного отца» — начальника городского отдела милиции. Наконец пришел и он, в новеньком, наверное только что от портного, мундире. Когда он произнес несколько тостов, а в паузах между тостами рассказал кучу анекдотов, к нему подбежал Павлик.

— Дядя Володя, давай поиграем с тобой.

— Давай, малыш, давай.

Вытер салфеткой жирный рот, вытаращил глаза и приставил к груди мальчика толстый указательный палец.

— Руки вверх! Ты — арестован!

Павлик зашелся в истеричном смехе — на дядю, с перепуга.

Припомнив эту историю, я сказал Парфену:

— Если наша работа должна преобразовать меня таким же образом, как одного из наших общих знакомых, того, из милиции, так я желал бы остаться недоделанным.

— Ну что вы за люди? — раздраженно произнес Парфен. — Все иронизируете, оплевываете даже святые вещи.

— Иронизирование и оплевывание — это, как говорят одесситы, две большие разницы.

Откатчики привезли лес. Парфен встал.

— Ну, счастливо. Если что, звони, Лампита, я буду дома.

Откатчики принялись помогать нам.

Выбрали три елки покрепче, две на стояки, третью — на верхняк. Зазвенел топор.

— Запахло Карпатами, — сказал Пугач, раздувая ноздри от запаха живицы.

— Ты бывал в Карпатах? — спросил Чигиринец.

— Спросите лучше, где я не бывал.

— Эти елки, скорее, из вологодской тайги.

— Вот уж где не был, там не был.

— Так зачем же пижонить?

— Старая привычка.

— От старых привычек, если они несимпатичные, надо избавляться.

— Стараюсь.

Клим Пугач — Верин «крестник».

В один из вечеров Вера зашла к нам и рассказала, как это было.

— Вначале он спросил, который час. Я ответила и двинулась дальше. А он стал поперек дороги. «В чем дело?» — спрашиваю. Он хрипло произнес: «Снимай!» В его ломком голосе чувствовалась нерешительность, однако для большей убедительности он подбросил на ладони финку. Я усмехнулась про себя и протянула ему руку с часами. «Сам снимай, у меня сумка». Опытный грабитель сказал бы: «И сумку давай!», а он так доверчиво склонился над моими часами, будто хотел внимательно рассмотреть их. Откуда ему было знать, что его жертва — общественный инспектор детской комнаты милиции, зли, несей с приемами самозащиты. Когда он расстегнул рюкзак, я и применила один из этих приемов... Посветил фонариком — он лежит на спине и смотрит на меня не столько испуганно, сколько удивленно. Помогла ему встать.

— Как твоя фамилия?

— Ну, Пугач.

— Ты во второй школе учился?

— Ну, учился.

— Перестань «нукать»! В футбольной команде играл?

— Ну, играл...

— Это ты не смог забить пенальти, когда я стояла на воротах?

— ?

— Так ты не узнал меня?

— Вера Александровна!.. Вы... наша пионервожата!.. Я тогда в пятом был... Простите, не узнал вас,

Вера Александровна! Темно было... Отпустите... не надо в милицию! Больше не буду!.. Гад буду — не буду!

— Ну вот что: проводи меня домой. Понял?

— Отпустите?

— Подумаю... Сам-то где живешь?

— На Подзамче... У бабушки.

— А родные?

— Папка умер... Мать вышла замуж... Он бил меня.

Я к бабушке убежал.

— Бабушка старая?

— На пенсии.

— И она тебя, такого бугая здорового, кормит?

— Ну...

— Что «ну»? Не стыдно?

— Я тоже подрабатываю иногда...

— Так же, как сейчас?

— Не... На железной дороге. Надо что-то срочно погрузить, собираем компанию... А сейчас калымить трудно, я хлопцам задолжал. Если б не долги, я никогда, ни за что! В первый и последний раз!.. Отпустите?

— Что ж ты не устроишься на постоянную работу?

— А кто меня возьмет?.. Влип в одну историю, теперь слава ходит...

— Работать хотел бы?

— Вера Александровна! На какую угодно!..

— Попытаюсь тебе помочь. Приходи ко мне завтра.

Была как раз пересменка, я сидел у Парфена, когда пришел Пугач. Протянул бумажку, отошел в угол, смотрит исподлобья.

— Меня к вам направили.

Парфен заглянул в бумажку, сморщил лоб.

— Пугач? Знакомая фамилия... Ага, так это тебя в городском «Перце» расписали? Из тех, специалистов по чужим «Явам»? Насмотрелись американских вестернов.

Пугач шмыгнул носом, переступил с ноги на ногу.

— У меня на фамилии память хорошая... Что, решил на собственную «Яву» подкалымить?.. И кем же тебя к нам? Смотри ты, помощником комбайнера? А ты хоть знаешь, что наш комбайн — не радиокомбайн? У него стереофонических колонок нет — поп-музыку не поймаеть!.. Что ты на меня выверился, шнурок...

Пугач ринулся к столу, вырвал из Парфеновых рук

направление и, стиснув до боли хрустнувшие кулаки, бросился вон.

Я догнал его уже за порогом.

— Вот что, парень... Сейчас у меня с хозяином неотложное дело. Подожди немного, он тебя вызовет... Обязательно!

Вернувшись, я сказал Парфену:

— Этого парня надо взять.

— Это что — ультиматум?

— Просьба.

— Блатышей мне только и не хватало. Мой участок — не исправительная колония.

— Человеку не всегда надо напоминать о прошлом. Пойми! Он хочет исправиться, ему это позарез необходимо, иначе не пришел бы!.. Надо дать ему такую возможность.

— Тебе легко философствовать... Выкинет этот Пугач фокус, не с тебя — с меня спросят... Что это ты, Бурлака, так на меня смотришь?

— И что тебе, Парфен, всегда кажется, будто на тебя так смотрят?

— Потому что ты и в самом деле смотришь как-то так, будто перед тобой... сфинкс... Хочешь разгадать мою загадочную улыбку?

— Нет. Душу.

— И что ж ты в ней хочешь узреть?

— Корень, от которого прорастает это неутолимое стремление во что бы то ни стало унижить человека, выставить его в смешном, жалком свете...

— Ну, знаешь ли, Бурлака, за такие слова могу и обидеться.

— На правду не обижаются. Правду признают. Если, конечно, хватает мужества... И благодарят за нее!

— Ну что ж, — принужденно улыбнулся Парфен, — если рабочий класс режет правду-матку в глаза, ее в самом деле надо признавать. И мне остается лишь поблагодарить за дружескую критику. С нашим братом руководителем такое бывает. Потеряешь контроль над собой, зазнаешься, потому нас почаще надо вот так пропесочивать. И все же ты ошибаешься, в главном ошибась. Не хуже тебя я знаю, что равнодушие — самое большое зло, от равнодушия один шаг до предательства, а может, даже и меньше. Потому я не могу быть равнодушным... Я люблю людей...

— Люди, народ — понятия обобщенные, а вот, к примеру, Пугач — вполне конкретное.

— И против конкретного Пугача ничего не имею... Черт с ним, пусть вкальвает...

И все-таки помощником комбайнера не взял... Послал в откатчики... «Покатаешь вагонетки, а там посмотрим».

В верхних концах елей вырубил замки, нижние застрогали «под карандаш», в третьей, что шла на верхняк, с двух сторон тоже вырубил замки. Потом баром прижали верхняк к кровле, завели под него стояки, ударами обуха подали стояки впритык к боковым стенам.

— Может, я начну? — спросил Чигиринец.

— Пока что перекури.

Чигиринец, откатчики и мастер сели на платформу «лесовоза», закурили. Я тоже закурил и сел к пультам.

В тех случаях, когда кровля угрожала обвалом, я всегда начинал резать с верхней вертикальной линии. По этому разрезу можно было увидеть, как поведет себя кровля.

Все обошлось хорошо.

— Вот видите, — обрадовался Лампита, — Парфен Дмитриевич все-таки был прав: ничего страшного. — Повернулся к откатчикам: — Ну, поехали, товарищи, пусть они работают.

Начал новую резь и, уже когда выводил бар, услышал за спиной.

— Савва, берегись!

Кровля осела и заклинила бар.

В забой прибежал Лампита.

— Так я и знал! Ну, что теперь будем делать? Побегу позвоню Парфену Дмитриевичу.

— Я думаю, Савва, надо как-то расклинить бар, усилить крепь, демонтировать машину — пусть нас выводят на-гора.

— Другого выхода и нет. Но попробуй расклинить!

Через четверть часа прибежал Лампита, запыхавшийся и растерянный.

— Нету дома... Говорят, в кино пошел... Ну, что теперь нам делать?

— Не паникуйте! — резко сказал Чигиринец.

— Двадцать лет не знал этих кротовых нор, не знать бы их всю жизнь!

— Уходите отсюда, мастер, не мешайте!

— А что вы собираетесь делать?

Я объяснил ему, Лампита приободрился.

— Правильно... Надо во что бы то ни стало выручать машину! Искорежит — целый год буду работать на бугая! Вам-то что, а я — материально ответственное лицо...

— Ну и начальник у нас, — подмигнул мне Чигиринец. — Вселяет веру в собственные силы.

Я подошел к мастеру, взял его под руку.

— Знаете что? Будет лучше и для вас и для нас, если вы уйдете отсюда. Очень просим — уходите!

Лампита ушел.

Чигиринец закурил.

— Рискнем?

— Рискнем. Машину все-таки надо спасать.

— Может, я попробую, а?

— Нет, Андрюха, это должен делать комбайнер. Торговаться не будем...

Электродвигатели надсадно заревели, бар едва подался...

Я услышал удар упругой волны воздуха и пыли, потом все потемнело.

...Уже в больнице Чигиринец рассказывал: он и не сообразил, что произошло, потому что случилось все в мгновение ока.

Андрей все время старался спрятать под халат руки.

Меня, оказывается, спасла вертикальная рама. Она все же выдержала давление «коржа», а привалила меня более мелкая порода, ринувшаяся в пролом.

Сгоряча боли даже не почувствовал. Откуда-то издадека донесся голос:

— Савва, где ты? Савва, ты жив?

Это кричал Андрей. Радостно сознавая, что все-таки жив, я ответил:

— Живой. Вот только нога...

Попробовал пошевелиться — боль так резко кольнула меня, что перед глазами зароились золотые мухи.

— Сейчас я тебя вытащу... Вот сейчас, потерпи немного, Савва, потерпи, сейчас я тебя вытащу...

Откапывая меня, Чигиринец побил о камни руки. Недели две не сможет работать.

Глава вторая

Снаружи это хата с четырьмя окнами на улицу, с пошатнувшейся верандой, крытая обветшалым лемехом. В нескольких шагах — стайка, поветь, земляной погреб, посреди двора — криничка под дощатой крышей. Со всех сторон курень обступают старые дубы, ветви их густо увешаны скворешниками.

И в Карпатах, и в Полесье, и в Приморской тайге, и в крымских лесах — повсюду, где приходится бывать в моих путешествиях, меня почему-то влекут жилища на кордонах и их обитатели.

Не так уж трудно представить себе лесника среди деревьев, на лесной тропе, на двуколке, верхом или пешком, с ружьем на плече. Однако почему-то наше воображение не проникает туда, за стены, где живут они, лесники. Каково же на самом деле домашнее жите-бытье лесных людей? Такое же, как и наше, или чем-либо отличается? Как они себя чувствуют, когда ветрище рвет окна и двери, гудит в трубе, когда трещит и стонет лес, или просто тихое и зеленоватое лунное сияние за окном, голубые длинные тени, делающие лес гуще, серебристый иней на ветвях? Разумеется, домашние вещи бывают обманчивы, стоит, однако, переступить порог, хватануть домашнего духа, окинуть глазом углы — и уже можно составить некоторое представление о лесном модус вивенди и характере хозяина.

Сейчас же меня занимает другое — то, как чувствуешь здесь себя ты, Андрей, не скучаешь ли, не томнишься ли одиночеством?

В знакомой просторной комнате — крепкий дух сушеных трав, листы, травы пучками лежат на лавках, подоконниках, а листья шуршат под сапожками. Книжные полки, стол, печка, деревянная резная кровать, а на стене два Тараса — Шевченко и Бульба.

Ты поворачиваешься от стола, куртка сползает с твоих плеч, против света слепяще вспыхивают стекла очков. — Это ты?! Вера... Веронька...

Быстро поднимаешься со стула, куртка сваливается на спинку, стоишь в белой сорочке с расстегнутым воротником, в забинтованной руке книжка, потом кладешь ее на стол, эту книжку, пытаешься застегнуть ворот рубахи, но пальцы не могут поймать пуговцу, поправляешь очки, отталкиваешь кресло и шагаешь мне навстречу.

— Неужели это ты?

Смуглая кожа, мягкие черные волосы и — таким неожиданным контрастом — чистые голубые глаза... Зеркало души. Часами можно в них смотреть, читать твои мысли, ощущения... Сейчас — радость и смятение.

— Как видишь... Собственной персоной... Здравствуй!

«А мне, думаешь, было легко?.. Побороть сомненья, колебания... Зачем же ты к нему поедешь?.. Удрал вдруг из города, не сказал даже куда... Если бы случайно не встретила Любомира... Разве он ждет меня?.. Просто — проведу... Вот именно, визит вежливости... Как твои руки, заживают?.. Ну как же, визит вежливости!.. Тебе хотелось услышать глуховатый его голос, побыть с ним несколько часов, позаботиться о нем...»

— Здравствуй... Ты на чем приехала?.. В конце концов, какое это имеет значение?.. Глухие вопросы... Самое главное — ты приехала!..

«Приехала... Оставила машину у кафе «Олень», обошла чуть ли не весь кордон, прежде чем решилась... В сапожках сразу же захлопало. Наступила большая оттепель... Деревья словно бы в прозрачных бусинках. А может, просто вернулась осень?..»

— Покажи свои руки. Болят?

— Пустяки... А как там Савва?

— Не сегодня-завтра снимут гипс.

Стол забросан книгами, кресло с курткой на спинке, широкое окно, в его раме черные ветви с прозрачными капельками оттепели — словно графика.

— Ну, как ты тут, затворник?

«Стоишь рядом, протираешь платком очки... Без очков такой беспомощный и... родной. Розоватая влажная полоска на переносье, а брови густые, черные... Широкие подвижные крылья прямого носа, по-детски пухлые губы... Дотронуться бы до тебя... Хотя бы дотронуться...»

— Вроде ничего... Живем!

«Почему так неловки движения, почему так трудно поднять глаза, отчего так неестественно звучит голос?.. Так близко. Можно положить руки на твои плечи, погрузить пальцы в мягкие черные волосы или взять твоё лицо в свои ладони... Милый, любимый, ты рад моему приезду?.. Нет, в самом деле?»

- Вижу, читаешь много... Поберег бы глаза...
- Почему же ты не садишься?... Садись, будь добра... Но сперва разденься... Видишь, какой я непутевый хозяин... Давай помогу... Садись на стул или на кровать... Где тебе удобнее.
- Погреюсь возле печки... Такая слякоть на улице — бр-р-р.
- Не хочешь ли кофе?
- Спасибо, не хочется что-то...
- Белые полосы... У тебя на сапожках белые полосы... Промочила ноги?
- Да не очень...
- Сейчас же снимай сапожки, будем сушить... Давай помогу.
- Я сама... У тебя же — руки...
- Ничего... Вот надевай Любомировы валенки... А сапожки поставим на стул — пусть сушатся себе у печки...
- Я не смешная в этих валенках?
- Что ты! Наоборот. Ты сразу стала какой-то домашней... Мне хочется...
- Подхватываешь меня на руки и наклоняешься над моим лицом, целуя глаза.
- Мне вдруг страшно захотелось поносить тебя на руках... Я соскучился по тебе. Даже представить себе не можешь, как я по тебе соскучился... А тебе хорошо вот так?..
- Не спрашивай... Это... по ведь руки...
- Пустяки... Я могу... Спасибо, что приехала... Чем же тебя угостить? Грибков хочешь? Любомир сказал, чтоб я тут не особенно стеснялся...
- А сам-то ты сегодня обедал?
- Сказать правду?
- Сама догадываюсь... Отпусти меня, Андрийко, сейчас что-нибудь соображу... Хочешь, я приготовлю картошку по-венгерски?
- По-венгерски?
- Отец освобождал Венгрию... Между прочим, там их, дядька Бенедя и моего отца, до сих пор зовут первыми советскими кумовьями... Понимаешь, выкуривали, как рассказывает теперь отец, фашистов из какого-то селения. В разгар боя вбегают в какой-то двор. Посреди двора грит немецкий бронетранспортер, а из винного по-

греба доносится душераздирающий женский крик. Какая-то женщина зовет на помощь маму. Не раздумывая, бросаются к винному погребу, скатываются по ступенькам в подzemелье, присвечивают фонариками вокруг и вдруг видят такую картину: между огромными винными бочками лежит на тряпье молодая женщина и собирается... рожать! Растерялись оба в первую минуту, надо бы доктора позвать, да где же его искать, когда бой идет... Пришлось самим стать бабками-повитухами. К счастью, в их вещмешках нашлись чистые портянки из синей байки — пошли малышу на пеленки... Потом в этой деревне их часть отдыхала несколько дней... Венгры, запуганные накануне фашистской пропагандой, повыводили из своих убежищ, и каждый считал своим долгом пригласить дядька Бенедя с отцом и угостить от души. В каждом доме подавали к вину картошку, очень вкусно приготовленную. Вот отец и привез рецепт... Сейчас ты у меня пальчики оближешь... Надеюсь, у вас тут найдется сало, чеснок?

— Конечно, как же без сала и чеснока?.. А я умею печь картошку по-казацки... Как-то вычитал рецепт в журнале «Україна». Растопим печку или на керогазе?.. Лучше растопим печку... Я люблю, когда в печке гогочет огонь... Вот сало, чеснок... А я растоплю печку...

В сенцах слышны мелкие легкие шажки, потом кто-то толкает дверь.

— Найдик.

Ты открываешь дверь, впускаешь в комнату маленького козлика.

— А у нас, Найдик, гости!

Козлик стоит за порогом, светит на меня большими глазами, склонив набок безрогую еще головку.

— Входи же, Найдик, входи. Наша гостья — хороший человек.

— Ты, Андрийко, все одно что моя Наталочка... Вот выпал этот ранний снег, пошли мы с ней в парк — белочек кормить орешками. Наталочка увидела белочку и давай уговаривать: «Иди, белочка, к маме, иди. Моя мама очень добрая, она из общества охраны природы».

Козлик тычется мордочкой в твою ладонь, входит в комнату, мелко перебирая тонкими ножками. Перед зеркалом (оно висит невысоко от пола) останавливается,

вытягивает головку, будто собирается лизнуть свое отражение.

— Очень любит глядеться в зеркало, — говоришь ты, растапливая печку. — Думает, поди, что там — его братец.

— Тот самый найденыш, чью мать убили браконьеры?

— Тот самый. Любомир рассказывает: нашел под кустом едва тепленького. Выпаивал из соски, как ребенка... Да, ты знаешь, Веронька, почему я тут один-одинешенек?

— Встретила в городе Любомира. Чисто случайно. Думала, приехал, как всегда, в книжный магазин; оказалось же...

— Да... Кто мог ожидать?.. Возвращаемся вчера из лесу, к вечеру уже, примерно в это же время. Входим в курень, а тут — ни Лиды, ни Марички... Только записка на столе... Любомир так и не смог уснуть, всю ночь ворочался, вздыхал. Утром говорю ему: «Вот что, старик, запрягай Карего и поезжай...» Как думаешь, Веронька, удастся ему уломать Лиду?

— Трудно отвечать за чужие поступки...

— Вот дура набитая!.. Если уж не устраивают такие мужья, как Любомир, с кем же тогда вообще жить?

— Нужно ведь и ее понять, Лиду...

— Пытаюсь, но не могу. Нельзя предавать тех, кто очень предан своему делу. Это — самое страшное преступление... Отказываюсь понимать таких баб!..

— Ты очень резкий сейчас.

— А вот представь себе на минутку: я — это Любомир, а ты — Лида. Разве ушла бы ты от меня, поставив вопрос ребром: или я, или Дубовый Гай?

— Я-то не ушла бы...

— Вот видишь! А она — ушла...

— Так ведь...

— Не защищай, пожалуйста, не защищай... Хотя... Да, пожалуй, так оно и есть...

— Что именно? Что ты хотел сказать?

— А то, что все вы, женщины, странные и загадочные создания...

— Почему так считаешь?.. Вот уж не думала...

— Есть на то основания.

— Какие же?

— Не хотелось бы говорить об этом.

— И все же?.. Я ведь откровенна с тобой во всем, не так ли? Почему же ты?..

— Видишь ли, Веронька, дело в том, что... что даже родную мать не пойму до сих пор...

— Что же именно тебя смущает?

— Сейчас попытаюсь объяснить... Понимаешь, когда я собирался жениться, мать выступила против. Категорически! Угрожала даже руки на себя наложить... Все же я женился. Вопреки ее увещаниям, мольбам, угрозам... Потом я ушел. Да... Написал ей об этом в полной уверенности в том, что мать поймет меня, поддержит, встанет на мою сторону. Однако мать — совершенно для меня неожиданно! — встала на сторону... той самой женщины, против которой враждебно настроена была все эти годы... И я просто-напросто растерялся...

— Иначе, Андрийко, она и не могла поступить, твоя мать... Я так рассуждаю: все эти годы она считала себя только твоей матерью; она, как могла, защищала своего сына от чужой женщины, полагая, что эта женщина не имеет на ее сына никаких прав, ибо не родила его, не вскормила своей грудью. Матерям женатых сыновей, мне кажется, вообще трудно примириться с мыслью о том, что вдруг приходит чужая женщина, отнимает сына, безраздельно завладевает его чувствами, лишает мать сыновней любви и заботы. Особенно трудно примириться с этим в первые годы, тем паче что молодожены в это время преступно эгоистичны, родителей забывают совершенно, живут только для себя. Но время проходит, матери постепенно привыкают к новому своему положению, из свекровей, ненавидящих невесток, превращаются в любящих матерей, и вот уже свекровь и невестка заключают между собой нечто вроде негласного союза, направленного против мужчины, попирающего права женщин. И нет ничего удивительного в этой метаморфозе. Женщине ведь всегда легче понять другую женщину. Ну а если невестка подарит внука, тут уж и говорить нечего. Обе они — и свекровь, и невестка — во всем неотступно следуют извечному инстинкту — сберечь домашний очаг, продлить род... Таким образом, Андрийко, понять твою мать не так уж и сложно...

— Подсознательно, кажется, я тоже все это понимаю, но ведь от этого мне ничуть не легче...

— Ничего, Андрей, все устроится... Вот и картошечка поспела...

— Пахнет-то как!

— Говорю тебе: пальчики оближешь!

— На тебя падает лучик...

— Соломенная светлынь?

— Ага!.. В тебе много солнца!.. Ты — будто дочь солнца...

— Все мы — дети солнца, все... Ну, будем обедать. Или это ужин? Пожалуй, ужин. Садись напротив. И, пожалуйста, снимь очки. Твоих глаз не видно, а мне почему-то неловко, когда ты смотришь на меня так...

— Надо бы покормить Найдяка... Найдяк, вот возьми картошки. Отказываешься? Ну и дурак!.. Ага, ты погрелся у печки и снова просишься на улицу? Ладно, ступай. Смотри, только далеко не уходи — Любомир говорит, волки объявились.

— В самом деле?

— Да, представь себе, целая стая... Очень вкусно!

— Рада, что угодила тебе...

— Ублажить меня не так уж сложно — я не привередлив. Что подадут — и на том спасибо... А знаешь, что я больше всего люблю? Деруны!.. Когда-то в детстве, еще в первую послевоенную весну, мы пошли с матерью на картофельное поле. Насобирали ведро мерзлой картошки, мать испекла деруны на... тавоте, жиров ведь никаких не было... До сих пор помню вкус этих дерунов. Кажется, в жизни не пробовал ничего вкуснее... Кофе будем пить?

— Как тогда в Киеве?

— Вот именно, как тогда...

— Подай, пожалуйста, мою сумочку, хочу закурить.

— Что это за книжка?

— Йожа Хорват, югославский писатель. Взгляни.

— «Ни сон, ни явь»... Судя по обложке, это о природе. Вот и олень...

— Ты прав, о природе... Главный герой, урбанист, ищет среди природы забвения и счастья.

— И находит?

— Знакомый лесничий поучает его: «Жить следует разумно, спокойно. Годами бродите по лесу, а мало чему научились. В лесу абсолютно все живет разумно, спокойно, тихо, рассудительно. Медленно растут деревья, развиваются и опадают листья, неторопливо ходит зверь. А вы все в напряжении. Кричите, шумите, клянетесь, проклинаете, угрожаете...» И герой начинает понимать,

что человек не может оставаться одиноким, он так или иначе связан с тем, что окружает его, отвечает за все, за каждый свой шаг и поступок. И от этой ответственности не убежать ни в далекие лесные дебри, ни в воспоминания и сны. И в глухом лесу человек непременно должен оставаться человеком, а сны непременно превращаются в явь или напоминают о том, что было и что есть...

— Да, это именно так, он прав тысячу раз, этот Йожа Хорват...

— А ты что читаешь тут?.. Тычина... Ты, видно, очень любишь Тычину?

— Гениальный поэт был нашим современником, — знаешь, только теперь я это осознал... Мне всегда почему-то казалось, что Тычина тоскует по какой-то трагически оборвавшейся любви... И вообще у этого поэта всегда находишь что-то такое... созвучное твоим мыслям и твоему настроению...

— Ты почему не закуливаешь?

— Решил бросить. Советую и тебе...

— Молодчина!.. Я тоже бросаю. Все, больше не курю... Послушай, Андрей, а тебе не приходило в голову писать самому?

— Писать?! О чем?

— Ну, большинство начинают с описания собственной жизни...

— Прожить бы ее сначала так, чтоб о ней можно было написать что-то стоящее, а писатели... писатели нашлись бы. А почему ты, Веронька, вдруг спросила об этом? Ведь неспроста же ты спросила об этом, не так ли?

— Подумала вдруг: непрактичные в жизни и обиженные жизнью стремятся уйти от действительности в иной мир, в частности, в мир писательства... Не обо мне речь, но все же... Помнишь, ты спросил меня тогда в лесу, бываю ли я счастлива... Я ответила: да, бываю... Я бываю счастлива не только в такие вот минуты, когда ты рядом, но и тогда, когда зажигаю ночник и в мягкой зеленовато-золотистой полутьме сажусь к столу... Постепенно засыпает город за окном, затихает шелест авто, лишь время от времени засвистит милицейский свисток в соседнем скверике. И уже где-то за полночь наступает полнейшая тишина. Причмокивает во сне дочурка в соседней комнате, часы ритмично отсчитывают время, а ты полностью отключаешься от всего тебя окружающего. Стремись переложить на бумагу сложную и загадоч-

ную гамму чувств. Желтый световой круг, зажатая в руках авторучка, лист бумаги, — все, что перед глазами, — это действительность, будничная и ничуть не упрощенная, тебе же кажется, что вот сейчас, именно в это мгновение ты живешь в разных временах, во многих личностях, в разных краях. Усилием воли стремишься охватить все это, проникнуть в лабиринт подсознательного, предугадать ход событий и так далее и, когда тебе это удастся хоть в какой-то мере, чувствуешь себя по-настоящему счастливой...

— Мне, Веронька, это знакомо. Ты почти буквально выразила то, о чем я думал раньше. Теперь у меня тоже бывают такие упонительные минуты, хотя мою работу, казалось бы, нечего и сравнивать с твоей.

В продолжение всего этого разговора ты — по привычке — крутишь в руках спичечный коробок. Время от времени зажигаешь спичку и задумчиво смотришь на трепещущий огонек. Потом вдруг втыкаешь зажженную спичку в коробок — и коробок сразу же взрывается в твоих руках шипящим пламенем и дымом.

— А, чтоб тебе пусто было!.. Так ведь недолго и ослепнуть.

— Обжег пальцы?

— Пустяки.

— Обжег. Подушечки побелели, вавочки будут... Дай мне свою руку...

— Зачем?

— Я пожалею ее — и вавочки не будет.

— С детства нас предостерегают: будьте осторожны с огнем! А видишь ты...

— Бедная моя рученька... Жжет? Сейчас перестанет...

— Вера, не надо... не целуй... уже перестало...

— Пусть скорее заживает. Я хочу, чтобы она была сильная, как прежде, чтобы она...

— Веронька... с ума сойти можно...

— Милый мой... мой родной... мой любимый... в мечтах выношенный...

Закрываю глаза и ощущаю стыдливую упругость и мужскую требовательность твоих губ...

...А после этого охватывает такое чувство, будто я только что пережила вечность — сначала погрузилась в слепящую тьму веков, к самым истокам зарождения жизни, приобщилась к тайнам бытия, потом перенеслась

куда-то за оранжевую грань грядущего и лишь после этого возвратилась в день нынешний.

Все еще не могу различить твоего лица, сложенного над моим. Я точно ослеплена ярким сиянием первого снега, вылившего на рассвете, едва взошло солнце... Такого со мной еще не бывало... Как же благодарить тебя, мой любимый, за все это?.. Сейчас зареву от счастья и... умру.

Ты целуешь меня, нежно и благодарно... Целуешь глаза, уста, шею, грудь, зарываешься лицом в мои волосы, обнимая меня и привлекая к себе, будто боишься потерять.

— Андрейко... тебе хорошо?.. тебе все еще хорошо со мной?.. я тебе еще не...

— О чем ты спрашиваешь, Веронька?.. Разве ты сама не чувствуешь этого?.. Даже твой голос... веришь ли?.. даже твой голос... когда услышу твой голос по телефону, весь трепещу... Когда же ты рядом, когда совсем близко, тогда вообще... спрашиваешь, хорошо ли? Это не то слово — хорошо, совсем не то слово, Веронька... Да и вряд ли найдутся такие слова... С тобой я испытываю то, о чем мужчина может только мечтать... Это и потрясение, и изумление, и самосожжение, и возрождение... Вместе с тем это минуты какого-то озарения, когда все вдруг постигаешь: и вечную тайну женщины, и высшую истину бытия, и весь порядок вещей в природе. Сам себя невольно спрашиваешь: кто ты?.. Уже бог или еще человек?.. Я убежден: мы с тобой, Веронька, созданы друг для друга... Я поверю об этом так много потому, что никогда прежде ничего подобного не испытывал...

— Ты откровенен со мной до конца? Откровенен, Андрейко?

— Вновь ты говоришь об этом... Что тебя тревожит?

— Что-то ты недосказываешь, что-то утаиваешь от меня... Я это чувствую... Да, Андрей, я хорошо это чувствую...

— Ты очень чуткий человек, Веронька. В самом деле, в последнее время меня постоянно угнетают всякие мысли. Я никогда не был суверен, не придавал ни малейшего значения сновидениям, предчувствиям. Теперь же... Вот ты говорила об этой книге, где пишется о том, что сны, мол, непременно превращаются в явь или напоминают о том, что было и что есть... Сказано точно обо мне.

Вернешь ли, не проходит и ночи, когда бы все то, что было со мной прежде, не повторялось в сновидениях. И ко всему этому приплетаются еще какие-то символические или пророческие события, которых и в действительности-то не было. Например. Я переправляюсь в лодке на какой-то берег. На этом берегу я должен встретиться с самим собой, собственно, я, нынешний, должен встретиться с тем, прежним Андрийкой, каким я был в ту пору, когда вернулся отец. . . Вдруг на реку обрушивается гроза. Я все же успеваю переплыть, выскочить из лодки на берег. И в этот миг молния ударяет в мою лодочку и поджигает ее. . . Вот приснится такое — целый день ходишь, точно пришибленный. . . Понимаешь, Веронька, меня везде и всюду преследует предчувствие какой-то неотвратимой потери. Это угнетает меня. Я боюсь потерять тебя. Мне хочется постоянно чувствовать тебя рядом и в то же время что-то принуждает меня избегать тебя, держаться в стороне, вроде бы таким образом я смогу сохранить тебя для себя. Не могу даже толком объяснить всего того, что со мной происходит. Нам давно пора как-то узаконить наши отношения, я рад бы и сегодня перейти к тебе навсегда, однако что-то удерживает меня от этого шага, что-то будто нашептывает постоянно: не торопись, погоди, все устроится само собой. А я не могу ждать и в то же время не знаю, как разрубить этот проклятый гордиев узел. . . Пожалуй, теперь я сказал все. . . Может, посоветуешь что-нибудь, а, Веронька?

— Знаешь, Андрийко, я часто думаю: счастье. . . все счастливы — это было бы хорошо; все, однако, счастливыми быть не могут, кому-то надо и страдать; но за что же? . . . Я еще такая молодая! . . . Хочу простого женского счастья, хочу любить и быть любимой, хочу рожать и кричать от боли не своим голосом. . . Кто же осудит меня за это? . . . Иногда говорят: за счастье свое нужно бороться. Интересно, каким же образом? . . . Я не покушаюсь на чужое счастье, я никому не завидую, хотя лучшие-то годы проходят, увядает красота, а ночи одиночества становятся все длиннее. . . Я тебе, Андрийко, не советчик, пойми меня правильно. Сам должен все решить, решить так, как подсказывает тебе твоя совесть. Не разум, не сердце, а именно она, совесть. . . А я могу лишь любить тебя. Бороться за тебя, Андрей, я могу лишь своей любовью.

Глава третья

1

Снегопад, вероятно, начался после полуночи — деревья под окном стоят пушисто-белые, точно под Новый год.

Соседние дома — этот квартал заселен горняками — высятся размытыми силуэтами. То там, то здесь тепло светятся окна. Сквозь красочные занавески видны женские фигуры, склонившиеся над кухонными газовыми плитами.

Наверное, Ореста тоже приготовила завтрак, думает Савва, а я еще не побрился. Интересно все-таки смотреть на утренние огоньки. Вон их целое созвездие. Будто живые существа, замерзшие на морозце, выплясывают. А те параллельные гирлянды бледно-голубых огней в радужных ореолах — фонари на Центральном проспекте. Горячие угольки, чуть присыпанные пеплом, — предупреждающие знаки для самолетов на телебашне. А дальше мерцает реклама кинотеатра.

Савва открывает форточку.

Пахнет талой водой и горьковатым дымком. Еще пролетают «белые мухи», однако уже пахнет весной. Будет много воды. Быстрая, наверное, опять выйдет из берегов, затопит Садгору.

Со стороны железной дороги доносится сухой раздражающий стук вагонных колес, по-утреннему бодрый по свист тепловоза.

Порожняк покати́л на каменоломни. Пора собираться.

Дверь в смежную комнату приоткрыта, и Савва, разматывая шнур электробритвы, видит, как сын в своем уголке возится с портфелем.

Что-то с замком. Надо будет посмотреть. Ореста бренчит на кухне посудой. Оттуда доносится запах подгоревшей гречневой каши. Гладила нам с Юрком сорочки и не уследила. Возьму у отца рубанок да подгоню поплотнее кухонную дверь.

— Старик, что там у тебя с замком?

— Не закрывается.

— Дай-ка посмотрю.

Юрко приносит портфель.

— Носом шморгаешь?

— Кто, я?

— Да уж не я... А жара нет?

— Какого жара?

Савва улыбается про себя: другие времена — другие понятия. Мать, бывало, никогда не спрашивала, есть ли температура, спрашивала, нет ли жара.

— Температуры нет?

— Откуда же она возьмется?

— А сапоги высохли?

— Уже и ваксой начистил.

— Молодец! Что, сегодня опять хоккей?

Юрко зажмуривает глаза. С малолетства такая привычка. Отец с матерью говорят, что в глазах все написано, по глазам читают, что он натворил или собирается натворить. Однако через мгновение Юрко спрашивает:

— А ты разве не был таким? Ты шайбу не гонял? Гонял. Вон бабушка Югина маме рассказывала, как ты однажды даже провалился под лед. Домой идти побоялся, сушился на вербе. — Представив отца мокрым на вербе, сын весело рассмеялся. — Разве тебе не было холодно?

— Дома «согрели» ремешком. А потом на печку отправили, в горячее просо... Тебя так не «греют», однако помни об этом. Кто ж это стукнул коньком по замку?

— Кошай. Он, папа, неповоротливый, как тот медведь. Не можешь исправить?

— Попытаюсь.

— Папа, ты проводишь меня до школы?

— Конечно. Ну, держи свой портфель. И смотри, больше не промачивай так ног.

— Ладно, папа. Мама уже выгладила твою сорочку. И галстук. Тот, в полоску, что подарили тебе на День Военно-Морского Флота. Ты знаешь, когда наша мама сегодня встала?

— Когда?

— Ещё даже радио не говорило.

— А ты что, не спал?

— Когда оно заиграло, я проснулся, а мама уже тихонько напевала на кухне. Она совсем мало спит. Ты скажи ей.

— Непременно. Но теперь нашей маме будет легче.

— Будем помогать ей вдвоём! Как и раньше. А то какой же я мужчина?

— Ты у нас настоящий мужчина! Мама очень до-

вольна тобой. Если б не ты, ей совсем плохо было бы этот месяц. Ну ладно, мне надо побриться.

Не так уж много требуется детям, думает Савва, глядя вслед Юрку — сын выбегает из комнаты, весело подпрыгивая, — довольно одного теплого слова, и энергия их бьет ключом... Да разве только детям?

Включает электробритву.

Уже стрекочет, будто косилка. Тогда Оресту испугала моя борода, отращенная в «ледовом походе», она и подарила мне этот «Харьков». Хотя и стрекочет, однако электробритва лучше, чем лезвия: кожа не раздражается и воротник рубашки не натирает на шее красивых рубцов.

Не мешало бы и патлы немного пообкорнать, вон какими кольцами закрутились за ушами. Правда, такая прическа нравится тетке Марии. «Ты, Саввочка, как долго не стрижешься, то будто министр». Где это она видела патлатых министров? Короткая прическа мне в самом деле не идет. Это Парфен стрижется коротко, волосы начесывает наперед и смахивает на римского патриция. Катудл, Тибул, Проперций!

В трельяже Савва видит на стене, за спиной у себя, большой фотоснимок. Когда его повесили здесь, комната стала еще уютнее. Теперь за Саввиным столом, вмонтированным в книжный стеллаж, любят работать и жена, и сын. Савва прогоняет Юрка на его место, потому что он не столько уроки готовит, сколько разглядывает фотографию.

На Савву смотрит троица аистов. Клювастые головки поднимаются над гнездом, свитым на колесе в ветвях старой липы.

— Поешь?

Неслышными шагами, как всегда, входит Ореста. Даже дома от нее пахнет больницей. Становится перед трельяжем, поправляет пышную прическу. Полы домашнего халатика, старательно отглаженного, немного разошлись, и Савве видны смуплые стройные ноги.

— Пою.

— Радуюешься?

— Еще бы! Твоя сорочка выглажена.

— Спасибо, Ореста. Юрко уже похвалился. Еще говорил, что сегодня ты очень рано встала.

— Готовила праздничный завтрак.

Свободной рукою Савва обнимает Оресту за теплые плечи, а она прижимается к нему шкской.

— Ой, аисты смотрят...

— Пусть смотрят.

Савва отпускает Оресту, вновь напевает:

Аисты, аисты, возвращайтесь, аисты, назад...

— Почему про них столько песен сложено? Даже о соловьях поют меньше.

— Не знаю... Может, потому, что аисты живут рядом с людьми.

— А ты знаешь, старик, о чем мне всегда напоминает этот снимок Андрея?

— Знаю, старушка... Он и мне напоминает о том же... Даже сегодня.

— Ну ладно. Докашивай свою мужественную щетину да будем завтракать.

Да, удачный снимок сделал Андрей в начале прошлого лета, думает Савва под жужжание электробритвы. Наверное, даже не предполагал, насколько символичным окажется этот снимок. Он всегда напоминает нам тот день.

...Светлица в духмяных запахах мяты и чабреца. Травы сорваны еще бог весть когда, связаны в пучки и хранились где-то матерью. Под окнами — кленовые столы, их сносили со всего Пушкинского. На покутье — каравай, будто модель причудливого храма. Сверху лежит ветка калины, стебелек барвинка, пара ложек, деревянных, расписных, купленных еще в те времена, когда в Садгоре под Замковой горой буйствовали ярмарки, на которые съезжалось полсвета, и пара вылок, тоже старинных или, как говорит дедушка Троян, старорежимных.

— Савва, что это все символизирует?

— Даже и мне знаю наверняка, Оресья. Вот тетя Мария объяснит.

Без тетки Марии, Парфеновой материц, невозможно представить никакой затен в нашем Гостином — все она умеет и все знает, во всем присмотрит и все поставит на место. Румяная от печного жара, будто каравай — ох, сколько же вложено в тот каравай ее опыта, а особенно приговорок! — тетя Мария способна удовлетворить самое шпринудливое наше желание.

— А это, полубятки мой, — слова в лексыконе тет-

ки Марии преимущественно ласкательно-уменьшительные, — такой у нас обычай ведется. Чтоб вы, моя Ореся, весь свой век цвели калинонькой, не увядали, а Саввочка стелился перед вами барвиночком хрещатым, а утварь та — чтоб богатели.

... Чем дольше живешь, тем больше удивляешься вещам, прежде простым и понятным. Натолкнет что-то на размышления, и, смотри-ка, простые и понятные вещи приобретают новый смысл и ценность.

Скажем, свадьба. Твой слух ловит звуки кларнета, сердце так сладко занает от воспоминаний — торопишься туда же, куда и весь народ.

Стоишь, бывало, в толпе где-то за плетнем или в палисаднике, ожидаешь, когда молодой выведет из светлицы молодую, и, обогащенный кое-каким опытом, размышляешь.

Вот двое соединяют свои сердца. Начинают новую жизнь, новое поколение рода. Только и всего? Нет. Создают первооснову, на которой держится большое и сложное сооружение — государство...

Свершается великое таинство познания жизни. Свершается ответственный акт создания перводержавы. И этот торжественнейший момент с давних времен у всех народов освящался символами.

Сколько благородства, сколько человечности в этом обычае — приходите всем родом, всей околицей, всем поселком к отцовской хате, где ты родился и вырос, а завтра отправишься от ее порога в новую жизнь уже в паре со своей суженой. Люди приходят приветствовать молодых хотя бы издали, пожелать счастья-здоровья, напутствовать добрым словом.

А между тем об этом ты можешь думать лишь теперь, когда сам уже отец, а когда ты жених, когда тебе нынче справляют свадьбу, тогда об этом не думается.

Комбинатовские оркестранты сдвинулись уже за угол, под самую липу, а во дворе все равно тесновато. Гости сидят на веранде, на завалинке, на бревнах, а кто полегче, помоложе, по-казацки равнодушный к своим праздничным одеждам — на верхних жердях садового плетня.

Ожидают нашего выхода.

Кто ж тебя не знает, ведь ты вырос у них на глазах, а все эти предсвадебные дни угощал земляков пивом в буфете, уже и суженую твою видело все Гостинное, ви-

дело и одобрило твой выбор — тетка Мария пересказывала: «А ничего будет невесточка у Бурлак. Это Олесева такая? Видать, порядочная, не вертихвостка, уважительная, почтительная, и с лица — хоть воду пей. Это старые люди поговаривают, такой была и Троянова Килына». А все же ожидают нашего выхода, потому что хотят увидеть в свадебных нарядах.

И вот он наступает, тот миг, когда мы выходим на подворье, на подметенную и обрызганную водой площадку. Переступаем порог, и в глазах темнеет от слепящего солнца, меди, надраенной кирпичом, сочных цветов на женских платочках. Шум утихает, гаснет, как пламя на ветру, сотни глаз берут нас в полон и уже не отпускают. Капельмейстер прикладывает к припухшим губам кларнет, подает знак, и хлопцы, с которыми когда-то и сам наяривал, бывало, на сельских и городских свадьбах, вдохновенно играют вальс.

А потом на пороге появляется отец — обалдевший от свадебных хлопот, с порезанным при бритье подбородком, в праздничной рубашке, из-под расстегнутого воротника которой выглядывает уголок матросского тельника, — а пусть все видят, как Бенедь Бурлака гордится подарком сына, которому нынче справляют свадьбу!

— Гости наши доробенькие, просим вас в светлицу! Здесь уже иной дух — дух свадебных блюд.

На столах — бигус, жаркое, котлеты, холодец, всеми красками сверкает винегрет. А тетка Мария, которая с радостью взяла на себя все хлопоты домашней хозяйки, потому что мать от счастья совсем растерялась, уже выглядывает из-за широких плеч тестя (как-то неловко называть Александра Панкратовича тестем, он всегда был для меня дядьком Одесем) и, приложив палец к помолодевшим устам — чужая радость для нее своя радость, — размышляет, что бы еще такое выставить на стол для гостей дорогих.

• А над рядами мисок глиняных, тарелок фарфоровых — пузатенькие бутылки, граненые графины. Сквозь стекло янтарно отсвечивает виноградное вино. Дедусь Троян колдовал. Лет десять выдерживал в погребке. Еще бы, это первый урожай с нашего виноградника. Тогда, помнится, дед Троян забил чопом три бочонка. «Это хлопцам на свадьбы». Богданов и Любомиров бочонки давно уже опустели, теперь настала очередь моего. Гости при-

чмокивают, хвалят-расхваливают, а дедусь лишь молча улыбается сквозь прокуренные усы, поглядывая на всех.

Поднимается отец, заслоняя собою окно, откуда ко-
сые лучи падают на стол. Отцова лица не видно, оно по-
темнело, а над высоким, с ранними залысинами лбом
сияет солнечный нимб волос — хоть сейчас пиши с отца
икону.

Что он скажет?

Я не слышал его напутственных слов на свадьбах
братьев. И вообще отец у нас не очень разговорчив. При-
глядываясь к нему, к тому, как он относится к матери,
я не раз жалел мать: не сладко ей, наверное, жить с та-
ким молчуном и нелюдимом. Обнял ли когда-нибудь,
сказал ли ласковое слово? Всегда ворчит, всегда подна-
чивает. И как это вы, мама, пошли замуж за такого отца?
Уж не привлек ли он вас своей недюжинной силою?

А вчера мать искала в сундуке какую-то там ленту,
в девичьем своем сундуке доброй работы, в котором при-
везла когда-то свое приданое, и вытащила из потайного
укрытия перевязанную тетрадь.

— Это отцовы письма с фронта. Тебе уже можно и
почитать.

«... Дороги здесь развезло, связь прервана. Ждем пи-
сем, но почтари не приносят. Ни мне, ни Олесю, ни дру-
гим хлопцам. Мокнем в окнах, слякоть замучила до
смерти. Никак не дождемся настоящей весны. Ночами
мне снится запах твоих волос.

Рассказываю про тебя Олесю, а он мне — про свою
Мавру. О детях толкуем. У Олеса две дочери. Говорю
ему: «Когда-нибудь сватами будем». «Будем, — отвеча-
ет, — девчонки у меня славные, одна — вылитая Мавра,
а вторая на меня похожа». «А у меня, — говорю, —
сыны — вылитые. Так будем сватами...» Вот так и живем
надеждами, и не хочется думать о плохом. Хочется уви-
деть детей счастливыми. За это и воюем...»

«... Лежим вместе с Олесем в госпитале. Чувствуем
себя уже получше, так что не очень убивайся из-за меня.
Еще не отлита, видать, на меня пуля.

Пишешь, что вспоминала наше десятое апреля.
И у меня тот день стоит перед глазами. Сколько ж было
тогда неизвестного! На могилке матери поклялся я тебе
в верности, а ты небожь, думала: не все на веку так скла-
дывается, как хочется. Теперь же мне радостно думать,

что мы честно и в согласии прожили столько лет и не обманулись друг в друге.

Перебираю в памяти нашу совместную жизнь, перебираю день за днем и не нахожу ни единого ущербного дня.

А ведь всякое бывало. Бывало, что и черная кошка пробежала меж вами. Да как-то оно так всегда поворачивалось, что довольно было одного твоего слова, одного взгляда, как тут же над нами опять кружил белый голубь согласия. Рассерженный и злой стою, бывало, возле окна, смотрю на улицу, а ты неслышно подходишь ко мне из-за спины, кладешь на плечи свои руки... Я не помню свою мать, гайдамаки замучили ее, когда я был совсем еще маленьким, таким, может, как наш Савва, но руки твои всегда напоминают мне материнские... Ты кладешь мне на плечи руки, склоняешь головку и тихо произносишь: Бенедюшка... И я не знаю, что происходит тогда со мною. Сразу же чешу себя последними словами, хотя, может, на сей раз и не виноват ни в чем.

Твоя любовь трогает меня до слез и налагает высокое чувство ответственности перед тобою и сыновьями нашими...»

Эти потертые, пожелтевшие листочки, пропахшие землянками и госпиталями, заботливо сбереженные мамой, словно бы смыли с глаз пелену, и я увидел отца другим.

— Дорогие гости! — начинает отец. — Дорогие дети! Вот и снова в нашей хате радость. Благословляем в добрый путь еще одну молодую семью. Твои братья, Савва, не позорят нашего рода, не роняют его чести. Верю, что и ты не подведешь. Твоя суженая — дочь моего боевого побратима. Там, на фронтах, мы с Олесем мечтали об этом дне. И мы счастливы, что все-таки дожили до него. — Отцов голос становится глуше. — Когда в ЗАГСе заключали брак, вам говорили: крепкая семья — крепкая держава. Так и я скажу. И еще помните, дети: родители счастливы тогда, тогда покойно у них на сердце, когда дети живут в любви и согласии... Любовь. Нет нужды ежедневно клясться в любви. Слово — половина. О любви говорят отношением, вниманием, поступками. Не растеряйте свое чувство на жизненных путях. Пронесите через всю жизнь. Не станьте равнодушными друг к другу. Помните об этом. Такое мое слово. Будьте счастливы, дети!

Отцовское слово. Выверенное жизненным опытом,

умом и сердцем, оттого-то и западает оно так глубоко в душу, напутственное отцово слово. И хочется прижаться к надежной отцовой груди и поклясться, что и ты не опозоришь отцовых седин, что и ты будешь делать жизнь свою с отца.

— Горько! Горько!

И уже надо подсластить вино в бокалах, поднятых над столами, потому что гости жалуются:

— Горько! Горько!

Стыдливо вздрагивают густые длинные ресницы под серпами бровей, и головка клонится все ниже, и из-под венка волнами льются пушистые волосы, черные на белое свадебное платье.

Ты такая же, как и тогда, в первые наши дни. Недостает только твоих косичек, наивных школярских косичек с белыми бантами, на которые время от времени бросала свой насмешливый взгляд та лахудра, та раскормленная подруга корабеловского композитора.

...Вскоре после подъема флага вызвал командир.

— Собирайтесь на берег, старшина. Приехал ваш брат.

— Брат? Который, товарищ капитан второго ранга?

— Богдан. Даю вам сутки увольнения на берег. Можете сходить в театр, послушать брата. Богдану Бенедиктовичу — мой флотский привет.

За обедом Богдан предложил:

— Можешь пригласить на спектакль свою подружку. Надеюсь, у тебя уже есть здесь девушка?

— Как тебе сказать... И да, и нет...

— То есть?

— Корабеловские девчата меня пугают.

— Вот тебе раз! Да ты позоришь не только наш казачий род, но даже и доблестный Черноморский флот... Чем же они тебя отпугивают?

— Не знаю... Они такие заносчивые, такие гордые.

— Ну, знаешь ли, девушки и не должны быть легкодоступными... И что же ты делаешь на берегу?

— Нас не так уж часто пускают.

— Знаю. Сам служил.

— Так, болтаюсь... Где людей поменьше.

— Уединяешься, чтоб сочинять песни?

— Большею частью просто размышляю.

— О чем же?

— О разном.

— Пора душевного смятенья, невыразимых желаний и стремлений, необходимости уединяться: Понимаю тебя, братишка, очень даже хорошо понимаю, что это такое. Однако, на мой взгляд, пора эта у тебя слишком затягивается.

— Возможно.

— Значит, подружки у тебя нет?

— Тут Ореста приехала. Буду, говорит, поступать в медицинский.

— Какая Ореста?

— Как это какая? Дядька Олеся.

— А-а... Ты с ней встречаешься?

— Иногда... Тетка у нее живет тут поблизости, на Приморском бульваре.

— Ореста... Давно ее не видал... Красивая дивчина стала?

— Да ничего.

— Так приходи вечером с Орестой.

...Договорились, что я буду ждать тебя у центрального входа. Я курил сигарету, поглядывая на часы, висевшие на углу ресторана, в котором мы обедали с Богданом.

Наконец увидел тебя на той стороне, под часами. Переходя улицу, ты покачивалась, будто пьяная, время от времени поправляя то одну, то другую туфельку. Теткины лодочки с высокими и тонкими каблучками-шпильками, как раз тогда входившими в моду, были для тебя великоваты, платьишко тоже с чужого плеча, это можно было заметить даже неискушенным глазом.

— Ну, как я тебе нравлюсь? — спросила ты смущенно и в то же время игриво, хватая меня за руку — есть у тебя такая привычка.

— О, да тебя просто не узнать!

— Еще бы, на собаку мало, на кошку велико. — Ты засмеялась, имея в виду свой наряд. — Не могла ж я прийти в школьном платье!

Все было бы хорошо, если б не косички.

Вошли в театр, и ты опять схватила меня за руку.

— Батюшки! Как у Пушкина:

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит...

Сидели в четвертом ряду партера, ты время от времени поддергивала теткин платье, сползавшее с ху-денького плеча, хватала меня за руки и шептала:

— Какая красота! Мама моя, какая красота!

.. Музыка нарастала, музыка лилась, накатывалась, как море на берег. Уже угадывалась мелодия арии Богуна. Краем глаза Богдан наблюдает за дирижерской палочкой. Собственно, Богдана Бурлаки, моего старшего брата, уже не существует, на сцене живет Иван Богун, отважный казацкий полковник. Враги решили погубить Богуна подлым оговором в измене. В руки гетмана Хмельницкого попадает письмо, которое как будто бы писал Иван Богун палачу Яреме Вишневецкому. Сцена допроса... Вот сейчас. Время вступать. Жесты дирижера становятся широкими, плавными, как будто он стремится охватить весь необъятный мир музыки. А с ним — и певец. Момент наивысшего напряжения, момент слияния воедино музыки и голосов... Богуну дают прочитать письмо. Полковник знает, что письмо подделано, но как доказать это? Безысходность разрывает ему сердце. Вот сейчас за спиной Богуна раздадутся басы: «Согласны!» — и смерть. «Смерть, но без допроса», — рокочет голос гетмана Хмельницкого.

— Неужели это твой брат? — рука у тебя была горячей-горячей. — Мамочка, какой голос!

В антракте мы утоляли жажду крем-содой, попивая из бумажных стаканчиков.

— Разве ты никогда не слышала Богдана?

— Только по радио... Он пел «Чернобривцы», так моя мама плакала... Его из матросской самодеятельности взяли в консерваторию?

— Да, Богдан служил в этом городе. Пел в матросской самодеятельности. Услышал кто-то из руководителей ансамбля песни и пляски, и это определило его судьбу, стал солистом. А когда отслужил срок, опять подал документы в консерваторию. И на этот раз уже прошел.

— Почему — опять?

— Ну, первый раз он поступал, когда слесарил на комбинате. Мелентий Силыч настоял. Однако перед экзаменами неожиданно «сел» голос — тогда его оставила девушка, и он очень переживал.

— Вот глупая. Теперь, наверное, локти себе грызет. Извини, что перебила.

За соседним столиком, в уютной нише, сидела пара:

толстый лысый мужик — в черном вечернем костюме с глубоким вырезом и белой рубашке с бабочкой, смахивавший на откормленного пингвина — и пышная, холеная дама с напудренными плечами и крашеными волосами. Они пили шампанское. С доннышек бокалов поднимались кверху серебристые пузырьки; когда пара чокалась, а чокалась она часто, бокалы, казалось, вызванивали многозначительно и торжественно.

— Ты знаешь, Ореста, кто этот пингвин?

— Кто? — наклонилась ты ко мне.

— Известный композитор.

— Подумать только: ведь и мы когда-то вот так же разжиреем, будем пить шампанское.

Подруга композитора раз за разом поглядывала на твои ученические косы и иронически улыбалась полными румяными устами. «Чего ты скалишься, лахудра?» — произнес я мысленно в ее адрес, и она оскорбленно отвернулась.

— Ореста, ты хотела бы иметь такую прическу?

— Такую рыжую паклю? Нет, уфаси боже!

— После спектакля пошли за кулисы. Богдан уже переоделся.

— А я думала, вы не такой.

— А что вы думаете теперь?

— Теперь мне не страшно с вами разговаривать, потому что вы такой же, как и Савва. Но ваш голос... Это просто... сверхъестественный голос!

— Спасибо, Ореста.

— Вы только не смейтесь.

— Ну что вы! Даже и не думаю.

— Скажите, оперным певцом стать трудно?

— Нелегко, конечно.

— А вы очень верили, что непременно станете певцом?

— Очень!

— И боролись с трудностями?

— Ну, победа без борьбы не дается.

— Когда очень веришь, тогда легче преодолевать трудности, правда?

— Конечно. Вы правы, Ореста.

— Я тоже верю, что стану врачом. И обязательно стану, вот увидите.

— Уверен: вы добьетесь своего. И примите, пожалуйста, эти цветы.

- Все эти? Так их же вам подарили.
- Теперь они — ваши.
- Ой, спасибо. Мне никто еще не дарил цветов.
- Тогда это — начало. От меня и от Саввы.

На улице Богдан рассказывал, как ему страшно повезло с партией Богуна в опере «Богдан Хмельницкий». Когда его пригласили из консерватории, театр как раз готовил эту оперу. Дали партию Калиновского и второго беглеца. Он старательно готовил свои роли, не надеясь на что-то большее. Однажды на репетиции к нему подошла концертмейстер. «Богдан, а почему бы тебе не попробовать арию Богуна? Мне кажется, это твоя партия». — «Да что вы, Александра Сергеевна, нечего и думать об этом». — «А ты не дрейфь. Если согласен, будем готовить тайком». В день премьеры, за несколько часов до начала, его неожиданно вызвали в театр. «Будете петь Богуна». Выяснилось, что «настоящий» Богун задерживается в Одессе, куда накануне выехал петь в «Трубадуре» партию Манрико. Гримировался Богдан вместе с народным артистом Союза Николаем Ворвулевым, который пел Богдана Хмельницкого. «Не журись, казаче, — убеждал его Ворвулев. — Голос будет. Главное — правда чувств, проникновение в характер, настроение». Смотрел Богдан на себя в зеркало и думал о том, как через несколько минут выйдет на столичную сцену. Хорошо было бы, если бы в зале, в первом ряду партера, рядом с женой сидели дед, мать и отец, братья, все земляки из Гостинного. Может, и не так переживал бы.

Мы проводили тебя домой и, когда возвращались назад, Богдан сказал:

— Будешь последним дураком, если потеряешь Оресту или у тебя ее отобьют... Мне было бы приятно спеть на вашей свадьбе...

И вот он уже начинает:

Ой хмелю, мій хмелю,
Хмелю зелененький...

— Богданко, слышишь, Богданко, вот объясни ты мне темному, что ты там в опере делаешь?

— Пою, дед Архип, пою.

— Э-ээ, петь и я мастак. Так грошей же мне не дают,

а тебе, наверно, платят, как на хорошей службе, так кем ты служишь там?

— Тост за родителей! За родителей тост!

— Горь-ко-о!

— Цыть, Парфен! За родителей пьем.

— Так что? Пусть целуются, как молодые целовались, бо даже не приголу... пригублю. Горько!

Раздвигайтесь, стены,
Там, где свахи сели.

— Свашенька, вам чего налить? Наливочки чи горилочки?

— Наливочки, свашка, наливочки.

— Вот слушай, как под Яссами было дело... А ты был под Яссами? А не был; так слушай... Взял я в плен эсэсовца-пулеметчика. Связал, веду в штаб, потому что знаю: надо языка. Вижу, идут минометчики, совсем мальчишки, двадцать пятого года, шеи — как спички. Говорю: ну-ка, хлопцы, грузи свой «самовар» на этого бугая, нечего ему порожняком переть. Эсэсовец уклоняется, показывает на ноги, мол, босой, пообносился. Давай-давай, говорю, дерьмо собачье, столько наших положил, а теперь еще сопротивляешься? Взвалили ему «самовар» на закорки, а он, гад, ни с места. Взял я у ездового арапник, как ушкварю по гузну — бежал с минометом на спине аж до самого штаба!..

Собралися все Бурлаки
До родимой хаты... .

— Ходили мы с бабой в Садгору на ярмарку... Купили поросенок — кабанчика и свинку, такие, чуετε, славные подсвиночки, будем на рождество с салцем.

— Та шо нам те американцы! Та мы их как попрем, аж перья полетят! У нас теперь такая техника! Савва не даст сбрехать. Савва, слышь, Савва, вот скажи ты этому Хоме неверующему... .

— Кум, выпейте сливяночки... .

— Больше не хо... . Вона раком заряжена.

— Тю на тебя! Каким раком?

— А ты смыкни еще чарочку, тогда узнаешь, когда поставит тебя на карачки.

— А я, знаете ли, всю войну голодным провоевал.

— Как это так, сват?

— А так... . Говорят хлопцы: сходи-ка, мол, к военвра-

чу, тебе при такой комплекции три порции положено. Ну, я и послушался. «А на каком основании, — говорит военврач, — вам положены три порции?» «А на том — отвечаю, — что у меня рост метр и восемьдесят пять сантиметров, вот померьте». Военврач смерил и говорит: «У вас, голубчик, полная пропорция. Рост — метр восемьдесят пять, вес — девяносто кило, объем груди — девяносто сантиметров. Так что вам положена только одна порция, как и всем бойцам...» Вот так и провоевал всю войну голодным.

— То выпьем, сват, да закусим как следует.

— Горько!

Светлица гудит, будто улей.

... На ночь стелют нам под поветью.

Тут пахнет зерном, сеном, старыми овчинами и паутиной. В углу — деревянная кровать, просторная, с резными быльцами. На ней встречало свою первую брачную ночь не одно поколение Бурлак.

Рассвет проник в поветь тоненькими солнечными колыями.

— Савва, нам отсюда не выйти. Они все уже сидят на завалинке... Вера, Богдан, Любомир, Парфен... Вот посмотри-ка в шелку... Ну почему они такие все любопытные?.. Давай разберем заднюю стенку!.. Вот уже тетка Мария идет. Зачем она идет сюда?

— Будить.

— Так мы ж уже давно не спим.

Тетка Мария сообщила новость:

— До вас аисты прилетели.

— Аисты?

— Ага, черногузы... Вон там, на липе, вьют себе гнездо... То добрая примета, дети... Аисты приносят счастье.

— Как же, принесут, будьте уверены, — поддержал Парфен и подмигнул Вере. — Или хлопца носатого, или девку косатую... Через девять месяцев.

— Аисты никогда не селятся у плохих людей, — молвила тетка Мария.

Они вили себе гнездо среди ветвей, на верхушке липы.

Однако все их старания были напрасны. Принесут в клюве веточку, положат между стволов, а она с шорохом падает вниз.

Отец посмотрел-посмотрел, потом сказал:

— Надо подсобить горемыкам.

Принесли из повети старое колесо от тачки.

— Подайте-ка, хлопцы, лестницу.

Черногузы насторожились, потом перелетели на крышу повети и оттуда наблюдали за тем, что делал отец.

Отец приспособил колесо между стволов, слез на землю.

Один из аистов наконец отважился, перелетел на липу. Внимательно обследовал колесо, благодарственно затрещал.

— Чего уж там, — ответил отец, — свои люди.

А ты радостно схватила меня за руку — эта твоя детская привычка осталась и сейчас.

— Савва, может, это те самые, что летели тогда над нами? Не забыл? Тогда ты возвратился из этого долгого плавания. Мы бродили с тобой по парку. Была уже осень, пахло дымами. В тот вечер ты впервые поцеловал меня. Мы забрели в березы, и ты поцеловал меня. Когда я открыла глаза, показалось, что березы, будто девочки, кружатся в хороводе. Они и до сих пор кружатся в моем воображении, те сестрицы-березки. А потом мы услышали, как трубят аисты. В вечернем небе их не было видно, мы только слышали, как они трубят... Может, это те самые?

— Может... Все может быть.

2

— Мужчины, пора завтракать.

— Идем.

Савва выдергивает штепсель, сматывает шнур.

— А я не хочу завтракать, — отказывается Юрко.

— Старик, — говорит Савва, повязывая галстук, — ты сегодня вроде собираешься в хоккей играть?

Сын выжидательно смотрит на отца.

— Ну и что?

— А то, что из тебя выйдет никудышный форвард.

— Почему?

— Не позавтракаешь — не будет калорий, выбьешься из сил, и твоя команда проиграет с разгромным счетом.

— Хитрый ты.

Руки Оресты, не слишком худощавые и не слишком полные, споро летают над чистой накрахмаленной скатертью.

Завтракая, Юрко посматривает на родителей.

Стоит Савве или Оресте улыбнуться ему сейчас, и он заерзает на стуле, задрывает ногами, начнет забивать баки сказками и неожиданными вопросами.

— Налегай на кашу, — говорит Савва, — налегай, налегай.

— Дедушка Олесь говорит, что я — как шайба, а вы наталкиваете меня кашей.

Завтрак для него хуже наказания, и тут его изобретательность, как избежать этой неприятной операции, не знает границ.

— Вот уж натура — вылитый папочка, — улыбается Ореста.

В уголках глаз набегают морщинки. Савва смотрит на эти морщинки, на первую серебряную паутинку в висках, где пульсирует бледно-голубая жилка, и на мгновение горячая волна жалости и умиления перехватывает ему дыхание. «Когда она успела поседеть? Ну конечно, в тот день, когда нас привалило...»

А Юрко, заметив улыбку матери, живо поворачивается к отцу, но Савва останавливает его на полуслове:

— Поговорим по дороге, старик. А сейчас расправляйся с кашей.

— Что с тобой, Савва? — спрашивает Ореста. — Ты светишься, будто фосфором завтракаешь.

— Иду на работу! Хватит вылеживаться.

Юрко в хорошем настроении, ерзает на стуле, украдкой подергивает Джима за хвост, даже декламирует:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду...

Юрко с Джимом — ровесники. Ореста подобрала щенка под больничным забором. «Вышла за ворота, — рассказывала дома, — вдруг слышу: где-то сбоку что-то пищит, жалобно так, просительно, прямо душа разрывается. Присмотрелась — щенок. Увидел меня, забарахтался в снегу, а встать на ножки не может». Дома дали ему молочка, потом Ореста принялась оперировать его — у щенка была перебита лапа. Савва помогал жене накладывать шину, бинтовать. Выздоровев, щенок привязался к Оресте, а сейчас вот Юрко и Джим — неразлучные друзья.

В окно струится утренняя синева, густая, как бы тропическая. На фоне этой синевы разлапистый фикус —

словно обугленный. За окном на ветру раскачивается верхушка клена, похожая на рожки антилопы. На этих рожках каждое утро усаживаются синички, потому что Савва пристроил для них кормушку на своем балконе.

«Если бы ты только знал, штурман, какая удивительная буря посвистывает в такелаже моей души! Весенняя, свежая, неустержимая».

— Савва, это святотатство: читать и есть.

— А может, экономия времени?

— Что это ты теперь только про море и читаешь?

— Юхан Смуул мне нравится.

Ореста собирает посуду.

— Вот вычитала где-то. За двадцать пять лет семейной жизни женщины перемывают такую гору посуды, что Эльбрус в сравнении с ней — холмик. Труд Данаид. Ну, пусть дочери царя Даная были наказаны, а мы-то за что?

— Утешайся тем, что живем мы с тобой только десять. А за пятнадцать лет прогресс в быту уйдет далеко вперед... Одевайся, капитан, да будем выходить... Смотри, не забудь ничего.

— Вот хорошо, что напомнил! Надо взять ножницы, сегодня мы делаем аппликации.

— Ну, счастливо, — говорит Ореста, провожая их до двери. — Встретимся на работе. А ты, Юрко, после школы иди к бабушке Мавре.

— До свидания, мама!

Глава четвертая

1

Утренний туман размывает очертания и границы города... Сейчас Садгору узнать невозможно. Небо и вода одного цвета. Река не отражает ни берега, ни деревьев, ни зданий. Заречье как будто зависло в просторах антимиров, где туманам ни конца ни края, да нет — скорее, оно плывет куда-то в просторы этих антимиров.

— Папа, а ты любишь наш город?

— Не думал над этим, старик.

— А тот город, где я родился, красивый?

— Красивый. Каждый город красив по-своему.

— А зачем мы сюда переехали?

— Здесь наша родина.

В самом деле, когда идешь вот так по улице, осматриваешься вокруг себя, тебе даже и в голову не приходит, любишь ли ты свой город. Но стоит лишь отлучиться куда-нибудь хотя бы на день-другой, и уже тебе снятся в чужой стороне и длинная шеренга тополей на Заречье, когда замедленно, будто на невидимых парашютах, садится вечернее солнце, когда закачается оно на волнах Быстрой огромным малиновым бакеном и все Заречье сразу запылает тревожно-пурпурным цветом, и тогда тополя походят на ракеты, напрягшиеся перед стартом, и шахматные клетки площадей с зелеными чубами, выбившимися из-под плит, и легкокрылые мосты над спокойной или вспененной ширью вод, и вечный покой Замковой горы, и даже эти утренние туманы.

В какие бы неизвестные края ни водила жизнь, наступает время, когда тебя, как птицу теплые страны, зовет родная земля и ты возвращаешься на свои пороги.

Юрко дергает Савву за рукав:

— Папа, ты не в настроении?

— В настроении, старик, в настроении.

— А почему ж ты молчишь?

— Потому что ветер.

— А я ветра не боюсь... Накупался летом, позагорал, и теперь меня никакой холод не берет... А что раньше было в этом доме?

— Доминиканский монастырь.

— Смотри, как он облупился. Это, наверное, от непогоды?

Летом под стенами монастыря продают арбузы, крепкобокие и здоровенные, будто музейные ядра. А когда за стенами цветут липы, в Садгоре пахнет будто на пасеке.

Здесь Центральный проспект растекается по нескольким рукавам, и они с сыном сворачивают на Дачную.

Когда Савва первого сентября вел этой улицей Юрка в школу, сын сказал:

— Мне эта улица нравится больше всех. А тебе?

— Мне тоже.

— Плющ и виноград перед каждым домом. А почему в центре дома высокие, а здесь низенькие?

— Эти построены раньше.

— Тогда же, когда и пирамида Хеопса?

— Нет, намного позже.

Идут по тихой Дачной — в это время легковые маши-

ны кое-где только вырывают из гаражей. — Савва старается поменьше налегать на трость, пора уже привыкать обходиться без нее.

Из окон многих домов еще насупленно смотрит ночной полумрак. Кое-где, будто головешки костра, тлеют торшеры. И только в отдельных квартирах, как, например, у Парфена, окна сияют во всю мощь современных люстр. Видны подвижные тени, угол лакированного шкафа или секретера, какая-то картина в позолоченной раме, ковры — пестрые, как на полотнах Верещагина или Врубеля.

Мелентий Силыч еще до сих пор в больнице.

Это случилось в канун Нового года.

Ореста возвратилась со второй смены и сообщила:

— Только что Мелентия Силыча отвезли в больницу.

— Что с ним?

— Уже домой шел. Вдруг покачнулся на ступеньках, схватился за сердце. . .

— Инфаркт?

— Инфаркт.

Галя опять уехала в экспедицию.

Парфен, наверное, сидит в столовой, уминает утренние сэндвичи, запивая их кофе, который никто так не сварит, как Эра Силловна.

«Советую и тебе, приятель, завтракать сэндвичами, — Парфен очень любит это словечко, говорит, что оно пахнет лондонскими пекарнями и кофейнями на Бауэри-стрит, — видишь, — показывает на сигарету, — смалю не меньше тебя, однако не кашляю и не отхаркиваюсь, как верблюды. Сыр «пармезан» и масло фирмы «Валлио» — это ж как фильтр. Да посильнее двойного сигаретного».

Уминая сэндвичи, Парфен философствует с Эрой Силловной: «Вы знаете, Эра Силловна, вот Ортега-и-Гассет утверждает, что музыка, мол, это автобиография в звуках. Вездь верно, а?»

— Папа, а что ты больше любишь: зиму или лето?

— Наверное, зиму.

В самом деле, зиму люблю больше всех других времен года.

Весной в душу на первых порах рвется чрезмерный оптимизм, оттого везде и всюду тебе представляются какие-то лица, слышится таинственный шепот, щекочат будоражащие запахи, все это словно бы по атомам раскра-

дывает тебя, становишься пустым, как футбольный мяч; лето словно бы для того и наступает, чтобы еще раз убедить: лень родилась раньше нас; осенью на журавлиный клич отзывается в тебе цыганская кровь; только зима уравнивает душу, и начинаешь смотреть на мир прищуренным глазом.

Но я люблю настоящую зиму. Когда морозы обжигают, как кипяток, когда снега по пояс. Нынешняя зима какая-то коварная: гнилая и черная.

Даже на коньках покататься негде. Был лишь один настоящий вечер. Розовые ореолы огней отражались в зеркально чистом льду. «Савва, а эти огни — будто ландыши, правда?» ... Розовые ореолы на голубом льду, мягкая и решительная пластика фигуры жены... Вечер, породивший «Белую фантазию»... Соль-соль, ля-бемоль... Вначале это был просто ритм, потом закружилась и мелодия.

«Белую фантазию» ввел в свой репертуар вокальный женский ансамбль Дворца культуры. Девчата выступали на областном фестивале, песню записали на пленку. Услышал ее в утренней радиопередаче. Ореста хлопотала на кухне, Юрко умывался.

Слушая радио, я подошел к окну.

Перекрестно сновали снежинки, катили первые машины, деревья выглядели угловатыми подростками, а дворники скалывали с тротуаров лед.

...Первую свою песню я сочинил на службе. Где-то недели две спустя после того, как ее напечатала флотская газета, я шел по улице. Навстречу рота морских пехотинцев. Чеканный шаг, грудь колесом, четкий взмах руки. Бодрая походная песня. Она показалась мне знакомой. Прислушался. Да, морские пехотинцы пели мою песню. Вмиг забыл обо всем на свете. Пошел за строем еслед... На лодку опоздал. Где меня черти носили, в каких краях, до сих пор не могу вспомнить. Еще и боцмана отругал. Казалось: с этой поры ко мне не имеет права придирааться ни командующий флотом, ни даже сам министр обороны, не то что... Боцман объявил мне наряд вне очереди, отправил чистить галюон.

Улыбался воспоминаниям, слушая «Белую фантазию».

Тут вышла Ореста.

— Сходи-ка, старина, за молоком.

Стоял в очереди, постукивая ногой об ногу, выдыхал

ртом пар, и внезапно на меня будто просветление снизошло: высшая награда за судорожные муки творчества — это, вероятно, и есть они, сами муки.

Проходят мимо раскопанной канализационной шахты, и Юрко предостерегает:

— Смотри, старик, под ноги и покрепче налегай на трость, не то опять в гипсе лежать придется.

— Ну, в тот раз я попал под обвал...

— Все равно смотри... Ты знаешь, я даже плакал по ночам, чтоб мама не слышала...

— Зря ты плакал.

— Ага, я так жалел тебя.

— Мне совсем не было больно... А потом — разве мало мы с тобой книжек прочитали, пока я лежал?

— Немало... Смотри, папа, — Юрко останавливается перед рекламным щитом кукольного театра и читает вслух: «Премьера. Приключения в подводном царстве. Сказка в трех действиях». — Потом, пытливо заглянув отцу в глаза, спрашивает: — Старик, а ты смог бы написать сказку в трех действиях?

— Нет, я не смог бы написать такой сказки.

— А хочешь, старик, я сегодня на уроках сочиню сказку про... про деда Трояна?

— Это хорошо, что ты хочешь сочинить сказку про деда Трояна, но только не на уроках. На уроках надо слушать учителя.

— То, что он нам рассказывает, я уже знаю.

— Все равно слушать надо.

— Я слушаю, когда он читает из моего «Мудрого рассказчика» или из «Мифов Древней Греции».

— Давай договоримся так: слушай учителя, готовь уроки, а потом можешь садиться за мой стол и сочинять сказки.

— Договорились. Послушай, старик, а когда придет дядя Андрей?

— Кто его знает. Может, даже сегодня.

— У него что, мать заболела? Она, наверное, уже старенькая. Все старенькие люди болеют. Когда я вырасту, изобрету такие лекарства, чтоб люди всегда были молодыми.

Среди черносплетенный каштанов засерел угол Юрковой школы.

— Ну, пока, папка... Вон твой автобус.

Здесь должен бы сесть Чигиринец. Высокий, худущий, углубленный в самого себя. Под мышкой — пачка утренних газет или свежих журналов. Автобус прямо трещит от набившихся в него людей, всем, кого он подбирает на этой остановке, приходится до конца маршрута стоять, терпеть толчки, горячее дыхание в затылок, но Чигиринцу все это хоть бы что. Лишь бы ухватиться за блестящую металлическую жердь и тут же уткнуться носом в газету либо журнал. Заметит тебя лишь в том случае, когда подойдешь вплотную, коснешься локтя. «А, это ты, коллега, — сверкнет очками, согреет приветливой улыбкой. — Чест праце!.. Ты читал?.. Ну, слушай, коллега, это позор! Такие вещи надо читать».

Под колесами стонет мост. За окном мерцают огни Подзамче, из тумана, словно летучий голландец, выплывает Фестивальный остров.

Значит, Чигиринец еще не вернулся.

Что там стряслось с его матерью?

Приятно было бы встретить сейчас и Веру, выкурить с ней первую сигарету.

Наверное, встречу. Она тоже любит приходить на работу пораньше. И часто застает меня в своем кабинете.

Верин стол доверху набит туристскими маршрутами, справочниками, природоведческой литературой. На стене экзотические снимки и лозунг — набранные крупным шрифтом слова Пржевальского: «А еще жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать». Каждое лето она выезжает куда-то, привозит кипы записных книжек, рулоны фотопленки. На снимках — вода, деревья, горы, небо. Все такое как будто обычное, будничное, однако вновь и вновь хочется взять эти снимки в руки, проникнуться настроением природы, то печально-задумчивым, то умиротворенным. Больше всего мне нравятся снимки Студеного моря. С одной стороны — взъерошившиеся пеной волны, с другой — крутобокне дюны, покрытые лишайниками, одинокие, возносящиеся в небо ели, облизанные шершавым языком свирепых норд-остов, — они смахивают на мачты затонувших корветов, — узенькая прибрежная полоска и чеканная колея, уходящая к самому горизонту.

Сижу за Вериним столом, рассматриваю снимки, жду, когда она придет, чтобы вместе выкурить по сигарете.

— Привет.

Ставит на пол хозяйственную сумку — успела уже побывать на колхозном рынке, — садится у окна, подобрав под себя стройные ноги, натягивает на колени подол юбки.

— Давай закурим.

Курит, смотрит тебе в лицо огромными золотистыми глазами, но можешь быть уверен: она тебя не видит.

Мы однолетки. И мне нетрудно понять Веру. Сам становлюсь ничего не видящим, если куда-то на долгое время отлучается Ореста, когда ночью недостает теплой руки на груди и некуда девать свои, когда не слышишь горячего шепота у себя на плече, стыдливых и ласковых слов, на которые не всегда решаешься при свете дня. . .

Муж ее был летчиком-перехватчиком. Погиб во время воздушных маневров. Наталочка родилась уже без отца.

— Почему ты не выйдешь замуж, Вера?

Из Вериного окна хорошо видно Садгору.

Над геометрическим хаосом крыш низко стелется белый клоч дима из трубы цементного завода, одиноко высятся башенный кран — там возводится первый в городе небоскреб из стекла и бетона, — а по левую сторону видна панорама нашего участка — Лысая гора, террасы которого похожи на трибуны олимпийских стадионов.

Не поворачиваясь ко мне, Вера отвечает:

— Разве такое уж великое счастье — лишь бы выйти? . . . Такого счастья мне не надо! . . .

3

— Доброе утро, Савва Бенедиктович! . . . Едва пробился к вам — такая толкучка. . . Уже на работу?

— А-а, Клим! Чест праца! . . . Конечно, на работу. . .

— А как же нога?

— Да вот, видишь, еще опираюсь на отцовскую клюшку. . . Ну, а ты? Кем ты теперь?

— Теперь я, — улыбается Пугач, — в бригаде вашего отца. . . Должность очень ответственная — старший куда пошлют.

— А конкретнее?

— Конкретнее — учетчик.

Перед трехэтажным зданием административного управления автобус останавливается, водитель объявляет:

— Конечная остановка — Комбинат стройматериалов.

Глава пятая

1

Мне слышно, как разгонисто лопочут пускатели, басовито режут двигатели. Отцовы парни первыми на комбинате извещают о новом трудовом дне.

Отец уже там, на завале.

— А что из меня за бригадир был бы, — говорит отец, — если б я здоровался со своими хлопцами в затылок? Пусть лучше они меня застают на работе, а я тем временем разберусь, что к чему...

В поселке еще и дымами горькими не пахнет, не скрипят набухшие за ночь двери, только кое-где цветут в окнах первые подсолнухи огней, а отец уже, прихрамывая, идет по-над берегом к каменоломням. И мне не трудно представить себе его путь.

2

...Из густой предрассветной белесости — в этом молоке становишься абсолютно беспомощным, потому что теряешь представление о времени и пространстве, — выткалась навстречу ему размытая тень обелиска.

Когда за надбыстрыми холмами всплывет солнце, когда засияют на прибрежных вербах туманно-розовые нимбы, когда до самых заберегов простелются сочные тени, отчего берега станут объемнее, красноватый обелиск будет похож на ракету, которая вот-вот взмоет в холодные кобальтовые выси.

А пока обелиск напоминает фигуру путника.

Среди руин старой мельницы, будто ребенок во сне, всхлипывает река, разбухшая от половодья, предусмотрительно-осторожная в движении, в стремлении своем донести к морю нерасплесканной темную и мощную силу.

Отец неторопливо прихрамывает вдоль берега.

Завал преградил путь, автобусное сообщение меж Садгорой и Гостинным прервано, на смену теперь ходит пешком по берегу Быстрой. Так удобней всего.

Пройдя руины старой мельницы, отец замедляет шаг, потом останавливается — перед ним обелиск. Стаскивает с головы кудлатый малахай из рыжей лисы — ветер вздыбливает короткие пордевшие волосы, отец ссутуливает широкие плечи, как будто враз ему становится хо-

лодно под черным дубленным полушубком, и стоит так минуту, другую, третью. И сердце отца разрывается от щемящей боли — потому что это все, что осталось после дедушки Трояна. Под обелиском даже прах не покоится, обелиском обозначено то место, откуда дедушка отправился в последний свой путь. . .

3

Снеговые папахи — такие безукоризненно белые и такие безукоризненно округлые — расплзались на части. Раскатисто-весело трескался на Быстрой лед, и эхо упруго несло до самого лимана. В жестяных водостоках пели ручьи, пенные, будто молодое пиво, над шляхами дымилась прозрачные и зыбкие испарения.

Даже в подземелье, даже в душных штольнях ощущалось, как задорная весна побеждает ворчливую зиму, — вентиляторы выдували из грохочущих резиновых труб запахи талых вод и березового сока, от этих запахов сладостно ныло сердце и хотелось бог знает чего и бог знает куда.

Договорились с Чпгиринцем: после работы идем в лес, на Любомиров кордон, за березовым соком. Но посреди смены прибежал запыхавшийся Парфен:

— Говорят, дед Троян утоп. . .

Наверное, таких похорон не помнит наш поселок с тех пор, как существует.

Все, кто должен был проводить нашего дедуся в последний путь, кто хотел бы отдать ему последние почести, сказать последнее прощанье, — все стояли на берегу Быстрой, на том месте, где стоит сейчас отец. Мужчины — простоволосые и молчаливо-суровые, женщины — в черных платках, заплаканные и растроганные.

Весь поселок от мала до велика стоял на берегу.

А река, переполненная половодьем, несла мимо нас бесчисленное количество льдин. Никого и ничего не было на этих льдинах, огромных и неуклюжих, будто плоты, но четко и ясно были видны сквозь соленую пелену испуганные, охрипшие ребятишки — их несло от самых Порогов — и наш дедусь. С длинной лестницей в руках по-стариковски тяжело спешит он на помощь маленьким утопающим.

Эту затажнюю зиму дедусь пропал на Быстрой. То

удил рыбу, то рубил во льду отдушины, то просто сидел на фундаменте старой мельницы, посасывая трубочку.

Он и услышал первым отчаянный крик ребятишек на льдине.

Вот уже подал детям лестницу, уже замерзшие ручки судорожно уцепились за спасительные перекладыны, уже в руках дедуся напряглась веревка — конец ее был петлею наброшен на прибрежный вербовый пенек, уже две льдины, соединенные лестницей, будто мостом, двинулись к берегу наперерез другим, и вдруг передняя, набухшая водой, не выдерживает веса дедусева тела, раскалывается... И лишь дедушкина рука на миг поднялась над ледоходом, будто в прощальном взмахе...

Что ощущали, о чем думали вы, дедушка, в тот момент, когда над вашей седой головой сомкнулась темная вода? Когда уходили в небытие — сверкнуло ли в этой тьме какое-нибудь воспоминание, пожалели ль о чем-либо, произнесли ль мысленно спокойно и без сожаления: «Вот и все...»?

— Сижу это да и думаю себе: как это так бывает в жизни? Один все за чинами из кожи лезет, а растрянжирит жизнь, как батоном свистнет, другой, гляди-ка...

— Эге, был и у меня разговор на эту тему с Трояном Остаповичем. «Вот, — говорю, — вы, Троян Остапович, революцию делали? Делали. А каких чинов добились? Кузнецом были, кузнецом и остались...» «Если б все, кто делал революцию, — это уже он мне отвечает, — чины захватывали, некому было бы и коня подковать...»

Прислушиваясь к разговорам за поминальным столом, почему-то вспомнил я, как летом Парфец затеял спор о смысле жизни. Тогда я не поддержал его. Но это не означает, что меня никогда не мучит стремление докопаться до сути собственной личности, осмыслить цель жизни. В самом деле, кто ты? Для чего живешь? Тут можно воспользоваться разумными словами умных людей, найти ответ, который удовлетворял бы полностью или частично. Однако, когда начинаю размышлять над этим; невольно спрашиваю себя: а задумывались ли когда-нибудь над этим дедусь, отец?

Сколько помню, никогда не слышал от них вопроса: для чего? Для чего жить, для чего работать? Слышал

другое: надо жить, надо работать! Так, как живут и работают люди.

Родителей начинаешь понимать, когда сам становишься отцом.

Теперь, когда у меня подрастает сын, я уверен: ни дедусь, ни отец никогда не сомневались в целесообразности своего появления на свет. Они всегда ощущали ответственность за то, что им дана жизнь. . .

4

Обелиск остается позади.

Отец, прихрамывая больше прежнего, идет по берегу, покуривая из рукава.

Если бы я шел за ним следом, отец сказал бы, не оборачиваясь и не сбавляя шаг:

— Надо весной цветы посеять.

— Посеем, отец.

Помолчал бы, потом:

— Ты не замерз?

— Нет, батько.

— Через день-другой разберем завал, пустят автобус.

— А тебе не холодно, батько?

— В таком кожухе?.. И металлическую оградку надо выковать, чтоб как настоящая могила.

— Выкуем, батько. . .

Теперь он умолкает, уже надолго.

5

Где-то через неделю после дедушевой гибели рано утром отец наведлся к нам.

— Вернулась зима. Опять намело этой ночью. Такие сугробы. Семь потов сошло, пока разбросал стезжку к воротам.

— Осень была сухая. Пусть снег идет, влаги станет больше на полях.

— Конечно, больше. . . А иди-ка, Юрко, к деду, дед гостинцев даст.

— Позавтракаешь с нами, батя?

— Спасибо, Оресья. . . Мать наказывала не задерживаться, — тоже ж напекла и нажарила — было б кому есть.

— Поддай нам, Ореся, винца. Выпьем с отцом ради праздничка, воскресения.

Ореста внесла кувшин, покрывшийся с морозца влагой, и отец присел к столу. Чокались, говорили о том о сем.

Уже перед самым уходом отец сказал:

— Слышишь, Савва, а мне снова те кони приснились.

— Какие, батя?

— Ну те, красные... Столько лет не снились, а тут на тебе. Наверное, старею, сынок... Старею.

И подался домой.

Я включил телевизор, показывали какой-то спектакль, видел, как по сцене движутся люди, слышал, как разговаривают, но не мог понять, что происходит — из головы не выходили отцовы слова.

6

С войны отец вернулся искалеченным. Собственно, внешне человек как человек, только вот ногу приволакивал при ходьбе. Шел, рукою придерживая бедро. Пока не было на каменоломнях никакой техники, отец как будто не замечал своего увечья.

Придут с дедусем из кузницы, мастерят что-то под поветью, пока не стемнеет. А когда пришли первые бульдозеры, экскаваторы, заметно стал сдавать с лица. Ночами ворочался с боку на бок, вздыхал.

— Что с тобой, Бенедь? — тревожилась мать. — Может, тебя заговорили, так пойду к ворожке обращаться.

— Ну, скажешь... Заговорили... К ворожке...

Как-то вечером, прибежав с выгона, где играл с ребятами в чижику, застал я в хате незнакомого седого человека.

Перед ними зеленовато высвечивала бутылка — отец сжимал рюмку в руке, в другой дымилась папироса — и что-то говорил тому человеку. Мать подала нам ужин на припечке, мы с Любомиром уплетали картошку с чесноком, я делал вид, что меня вовсе не касается беседа взрослых, а тем временем ловил каждое слово.

— Сил нет дальше, Мелентий Силыч, — говорил отец. — Недолго так и разума лишиться. Снятся и снятся. Все, как было, вижу. А вы ж знаете, как было. Это хорошо, что вернулись в Садгору, к нам идете. Уж вы мне поможете. Кто-кто, а вы, товарищ командир, точно мне

поможете. Клянусь, я поведу! Нога — мелочь. Вон Маресьев летал. А тут же легче. Смогу, Мелентий Силыч, вот увидите, смогу.

— Хорошо, Бенедь Троянович, что-нибудь придумаем.

Среди лета, как раз в жнивá, отец сообщил, что ему дали бульдозер. Правда, старый, подштопанный, но все-таки — машина.

— Ну, Савва, пойдешь ко мне в помощники?

— Так он же маленький, — сказала мать.

— То Любомир маленький, — вмешался дедусь, — а Савва Богдана догоняет.

Бульдозер стоял у дедусевой кузницы.

Отец завел его, обошел вокруг раз, потом второй, третий. Машина мелко трясла латаным боком, будто пугливый конь. Отец делал вид, что осматривает крепления деталей — над ними колдовали с дедусем недели две, — но я уже давно сообразил: он примеряется, как преодолеть высоту от земли до кабины.

— Может, подсобить, Бенедь? — спросил дедусь от кузницы.

— Я сам, батько...

Поднялся на руках и оторвал тяжелое тело от земли.

— Ну вот... Говорил же, что смогу...

Долго сидел в кабине, не трогая бульдозер с места. И пот струился по его лицу. Почему-то колебался.

— Ну, в добрый час, — тихо произнес дедусь.

Бульдозер взревел, тронулся с места.

— Посхали на работу.

...Бесчисленное количество раз бульдозер нырял в глубокие земляные траншеи, строгал ножом глинистое дно, зачерпывал целый бурт земли и выныривал на поверхность, толкая вперед себя этот груз.

Обедали под скирдой.

Отец вынимал из сумки и раскладывал на белой тряпиче хлеб, яйца, лук, помидоры.

Стлались впереди знойные августовские дали, здесь и там в золотое литье стерни врезались глубокие борозды, вырытые отцом, а по валам важно расхаживали черногузы.

— Так как оно?

— Хорошо...

Отец улыбнулся, облупил для меня яйцо.

— И мне хорошо... А с кем-нибудь чужим было бы плохо...

У меня перехватило дыхание.

— Папа, а как вы трактористом стали?

— А также, как и все становились в те времена... Посылали хлопцев-комсомольцев в МТС на курсы, ну и я согласился. Трбе поехало от нас. Главным механиком был Мелентий Силыч... Не раз, бывало, вытаскивал нас вот из-под такой скирды!.. Работы было — гибель. Пахали даже, когда вода в колее покрывалась льдом. Рубили землю топором, чтоб заглубить плуг. Неделями не выезжали с поля. Как только выдерживали, сам теперь удивляюсь. Молодые были. Ночью прицепишь коптилку к передней оси, пашешь, а перед тобою кони красные табуны, даже как будто пофыркивают.

Как-то Дмитро Кошай говорит мне:

— Ты паши, Бенедь, а я пойду полежу под скирдой, что-то занедужил.

Ушел Кошай, а я до рассвета из-за этих красных коней боялся с седла слезть.

А когда уж до конца измучишься, лишь бы до соломы добраться, — спишь как убитый. Вот нас Мелентий Силыч и шпынял за это. Что ж это вы, мол, такие-сякие сами себя губите, на холоде спите?! Ну-ка, сейчас же марш на стан!..

Я слушал простуженный отцов голос и видел его совсем молодым.

Митинги в селах. Столпотворение народа. Чуть тебе трактор не перевернут. А после митинга отец перепахивает межи. Такие твердые, заросшие пыреем — трактор надсаживается.

А вот отец посреди осенней степи рубит топором землю, чтобы заглубить лемехи... А ночью пристально вглядывается: что там за кони красные вытанцовывают впереди?..

Кто знает, может, именно с тех пор, с ночей тех осенних, и шурит отец глаза, так что теперь трудно понять: карие они у него или голубые...

Сквозь густой утренний туман далекими звездами светится цепочка огней. Уже и каменоломни близко. Ветер

с той стороны. Доносит теплый запах масел со стойбища железных роботов.

Отец шагает торопливее, раздувая крылатые ноздри.

Если бы я шел рядом, отец мог бы неожиданно сказать:

— Старею все-таки, сынок...

— Такое скажете, батько...

— Этой ночью опять красные кони снились.

И не нашел бы, что ответить своему отцу, хотя и понимал бы: ответить надо...

Глава шестая

1

— Смотрю в окно, вижу — ковыляешь от автобуса... Ну, с выходом тебя, что ли!

Парфен направляется к столу, широкому, будто космодром, одна рука в кармане жилетки, в другой — сигарета. Темно-серый, в вертикальную полосу костюм-тройка маскирует его преждевременную полноту. Воротник белой сорочки, небрежно стянутый галстуком, красиво оттеняет смуглое, тщательно выбритое лицо.

— Закуривай.

С дивана хорошо виден весь кабинет. Знакомая обстановка. Вот и каменный божок в углу.

На второй день после того, как он здесь обосновался, попросил помочь переставить мебель.

— Знаешь, свояк, я прирожденный реформатор... Давай передвинем шкаф в тот угол... Не люблю застоя...

Затем угостил сигаретой «Филипп Моррис», стал рассказывать, как его «сватал».

— Ну, вызвали в трест. Так, мол, и так, хотим рекомендовать вас главным, как вы на это смотрите?.. Интересный вопрос, правда? Мои однокурсники уже давно в этом ранге, да и перед братом стыдно. Герой Труда, депутат республиканского парламента, а я кто? Ноль без палочки! Как я могу на это смотреть? Отвечаю скромно: «Благодарю за доверие, постараюсь оправдать его».

Однако он все еще исполняет обязанности главного, где-то там не спешат утверждать.

Ага, на маленьком столике появились шахматы. Улаживает дела за игрой? Новый стиль руководства?

А ту партию мы с ним так и не доиграли. И он никогда не предложит доиграть ее. Почему?

...Играли тесть и Парфен.

Парфен раз за разом подергивал головой, будто на затылке у него разладились какие-то шарниры, на высоком лбу напряженно пульсировала жилка.

— Ваши дела, Александр Панкратович, дубль-пусто.

— Разве уже мат?

— Сейчас будет. Через два хода. И вот таким кандидатом. Вам ничего не остается, как ходить этой пешечкой. Правильно я сказал? Правильно! Теперь берем вас конем в вилку. Чем вы закроетесь? А чем бы то ни было, бросаю вперед королеву, и... Вот и вся музыка.

Кошай довольный откинулся на спинку скамейки — он был в парусиновом пиджаке, на лацкане — институтский ромбик (носят его, как французы орден Почетного легиона), забарабанил пальцами по столешнице.

— Возьмите себя в руки, дядько Олесь! У вас еще не все потеряно. Немножко почерпнете теории, и выйдет из вас человек... Ну, кто еще? Нет добровольцев? Может, ты попробуешь, Бурлака? С тобой мы еще не скрещивали оружия. Садись. Ну что ты — корову проиграешь?

— Садись, Савва, — подтолкнул тесть, — дай хозяину перца!

Вокруг нас столпились болельщики.

Сделав первый ход, Парфен сказал многозначительно:

— Вот эту пешку Макс Эйве называет курочкой, которая несет золотые яйца.

Однажды на пляже я побился с Орестой об заклад: прыгну с самого верха вышки или нет. Красная шапочка Оресты сверху была похожа на лепесток розы. И все-таки я прыгнул. Сейчас, за шахматной доской, у меня было то же ощущение, что и там, на вышке. Однако тогда было ради чего рисковать.

Раздражала Парфенова самоуверенность, раздражал снисходительный тон. На подводной лодке меня считали неплохим шахматистом. Не раз я принимал участие в дивизионных турнирах. Но там было спокойнее. А здесь почему-то казалось, будто от этого матча зависит что-то невероятно важное.

Наконец, я разгадал Парфеновы намерения: он готовит мне западню, стремится оглушить каскадом коварных жертв. Давай-давай, приятель, твой авантюризм меня

полностью устраивает. Я уже нашупал твою слабинку — не зря же часами выстаивал у тебя за плечами, когда ты радовался победам над другими.

После десятого хода Парфен вынул сигареты. Долго щелкал «Ронсоном», лоб покрылся испариной.

— Ну что, хозяин, заварил кашу? — пустил шпильку мой тесть.

— Не мешайте, дедусь!

Сигарета, видно, подействовала на него успокаивающе. Кошай стал играть осторожнее.

— Тебе не кажется, патрон, что ты в глубоком цейтноте?

— Поспешность, Бурлака, нужна при ловле блох, как известно! — хорохорился Парфен.

Во дворе ударили в рельс — до начала смены оставалось четверть часа.

— Вы, Парфен Дмитриевич, — сказал кто-то из болельщиков, — наверное, в сорочке родились. Если бы не время идти на работу, ваша репутация была б здорово подмочена.

— Да, — произнес Парфен сдержанно, — интересная партия. Ты, выходит, неплохо играешь. Я немного недооценил твои способности. А между тем здесь гарантированная нпчья.

— Вот это уж черта с два, Парфен Дмитриевич, ничьей у вас с Бурлакой не выйдет!

— А ты знаешь, старик, клюшка тебе очень идет. С нею ты напоминаешь мне Костя Данкевича. На третьем, кажется, курсе я случайно встретил его на улице. Накануне видел на премьере «Тараса Бульбы», но издали. А на улице чуть ли не лбами стукнулись. Осанистый такой казачина, а в руках увесистая палка. Шел, размахивал ею, и прохожие на бульваре Шевченко шарахались во все стороны. У меня даже из головы выпало, что мне куда-то идти надо было, подался следом за ним — так меня поразил он, автор одной из лучших наших опер — «Тараса Бульбы».

После того случая в «Криничке» Парфен стал слишком уж разговорчивым со мною. Однако эта его говорливость почему-то действует мне на пищеварение. Говорю ему абсолютно недвусмысленно:

— Ты уже рассказывал мне о своей встрече с Данкевичем...

Он даже бровью не повел.

— Часто почему-то путаю две оперы — «Тарас Бульба» и «Богдан Хмельницкий» и авторов музыки... Тогда мне казалось, что это вершина оперного искусства. А это всего-навсего — обыкновенный холмик. Из Европы уже и не видать... Вот вчера передавали Стравинского, слушал? Разве же поставишь в один ряд? Я знаю, ты недооцениваешь Стравинского, как и все наши ортодоксы.

Главное в жизни — иметь твердые убеждения. А кто-то, освоивши условный жаргон, арендовавши две-три расхожие идеи, тем самым стремится приобрести славу столичного сноба.

Уж не после той ли стычки с Чигиринцем, когда я немного подрисовал Кошаю парсуну, он переориентировался на Европу?

Не все мне нравится из Чигиринцевских сентенций. Временами даже кажется, что он прислушивается к собственному голосу и словно бы любит себя со стороны: ах, какой я мудрый! Он резкий и бескомпромиссный, это так, но убеждения у него твердые и глубокие.

— Однако ты, свояк, меня вовсе не слушаешь!

«Речь была выслушана с неослабевающим вниманием и не раз прерывалась бурными, долго не смолкающими аплодисментами».

— Что-то у меня голова чумает в твоём кабинете.

— Уборщица, лентяйка, проветривает плохо... Итак, перейдем к делу.

Давно пора.

Парфен понадежнее устраивается в кресле.

— Взрыв планируем на сегодня. В шестнадцать ноль-ноль. Из треста — инспектор по технике безопасности Глеб Софронович Важничий...

— Красноречивая фамилия.

— Ага, солидная... Так имей в виду.

— Что именно мне иметь в виду?

— Сейчас, свояк, тебе все станет ясно.

При случае Парфен любит рассказать о своем детском увлечении кролиководством.

— Я очень их любил, ушастеньких. Бывало, что и спал в крольчатнике. Постелю под бок люцерны, обниму ушастого и сплю. Тепло — как на печи. Было их у нас — пропасть, свежина на столе не переводилась. Мать боялась забивать их, так я это делал сам. Схвачу вот так за уши и молоточком — р-рраз!

Ой, не приведи господь, оказаться в положении одного из этих ушастых, думаю про себя, глядя на Парфенову улыбку. От того, что тебя согреют на груди, смерть не станет более привлекательной...

— Речь идет о начальнике участка Лысая гора. При такой ситуации тянуть дальше нельзя. Я вновь настойчиво рекомендовал тебя. Шеф долго ломался, однако я его убедил. Ну, что скажешь теперь?

Слух о вероятном моем назначении был пущен сразу же, как только Парфен поднялся на более высокую ступень служебной лестницы.

Дома тетка Мария хвалилась родителям:

— Теперь, говорил Парфенушка, и ваш Саввочка пойдет вверх, бо Парфен поддерживает его. А как же, так оно и должно быть.

Мать стала учить меня уму-разуму:

— Смотри ж там, сынок, с начальством не заедайся.

Отец насупился:

— Без необходимости заедаться не надо. Но помни и такое: кто становится медом, того мухи слижут. Если за дело, так можно и душу потрясти, чтоб аж пух полетел. А главное — никому не позволяй обижать людей, стой за них горой.

Чигиринец прокомментировал эти слухи так:

— Вполне логично. Кому же становится командиром производства? Ты прошел все ступеньки профессии, получил настоящую рабочую закалку, которой так не хватает кбе-кому из наших «хозяев»...

Потом произошел тот случай с обвалом.

Наедине с самим собой имел возможность обо всем подумать.

Как раз в те дни попала мне в руки книжка Норберта Виннера «Творец и робот». В ней я вычитал такое: власть и жажда власти — это, к сожалению, реальные силы, выступающие под всевозможными личинами. Среди фанатичных жрецов силы встречаем таких, которые нетерпимо относятся к ограничениям возможностей, особенно к ограничениям, связанным с ненадежностью и непредвиденностью человеческого поведения. Эти, в общем-то скрываемые, склонности руководителя можно выявить по внешности подчиненных, которых он себе подбирает. Они смиренны, способны удовлетворить любую его волю; именно потому что оказываются абсолютно беспомощными, если внезапно перестают быть лишь ме-

ханическими исполнителями его воли. Способные проявить недюжинное старание и в то же время почти полностью лишенные собственной инициативы, они походят на евнухов в гареме идей, с которыми повенчан их султан.

Размышляя над всем этим, я поймал себя на том, что до сих пор не чувствовал ни малейшей тяги к власти. Я и в институт поступил не ради того, чтобы после занять какой-либо руководящий пост. Готовлю себя к научно-исследовательской работе. Меня полностью устраивает такое положение вещей, при котором руководят мною, а не я кем-нибудь. Поэтому твердо постановил себе: коль скоро дойдет дело до «сватовства», вежливо, но решительно отказаться.

Теперь я излагаю эти свои соображения Парфену.

— Э, брось! Все это метафизика, кузен. А надо учиться диалектике. Всеми нашими поступками должен руководить здоровый эгоизм. Не улыбайся так скептически, это не я выдумал, к этому призывал еще Чернышевский. Человек поступает так, как ему приятнее поступать, руководствуется расчетом, который заставляет отказываться от мизерного удовлетворения ради получения большой выгоды. Так что возьми себя в руки.

Переведа дух, Парфен подытоживает:

— Приказ о твоём назначении уже подписан. Иди на участок. Только что я послал за Важничим машину. Скоро должен прибыть. Так мы приедем тебя «сватать», то есть — представлять коллективу.

2

На улице постепенно тает туман.

В темно-голубых сумерках смутно белеют берега Быстрой.

Между берегов мощно и тяжело движется темная масса половодья. Первого весеннего половодья, принесшего столько событий.

Савва некоторое время стоит в задумчивости, наблюдая сверху движение воды, потом отправляется на участок.

Наверное, мудрым был тот человек, который придумал такой лозунг и повесил его над своей дверью:

«День начинается, надо жить...»

В нарядной участка Савва застаёт сменного мастера. Тот сидит за столом, съжившись, вобрав голову в плечи, смахивая на старого ворона.

— Чест праце!

— Првт...

— Как оно?

— Дтк...

— У вас что, зубы болят?

Мастер смотрит исподлобья — мол, а тебе-то что?

— Что вы рычите и вид у вас какой-то кислый?

— Э-ээ...

Ночью сторож не пожалел угля, накочегарил так, что штукатурка поружела и потрескалась. Тепло еще не успели выпустить за дверь, и Савва чувствует, как тяжело ударила в голову, запульсировала в висках волна крови.

— Вам не жарко?

Мастер угрюмо наблюдает, как Савва раздевается, ставит в угол клюшку, потом открывает форточку, и опять втягивает голову в воротник нейлоновой куртки, вновь становясь похожим на старого ворона.

— Не угостите ли сигаретой?

Мастер лезет в карман, молча кладет перед Саввой смятую пачку «Тракий». Стол застлан плотной розовой бумагой. Каждый, кто садится к столу, считает своим долгом оставить на бумаге автограф. Здесь уж наверняка вы, мастер, пробовали перо. Никто кроме вас, однако, и не поймет ничего — такой затейливый почерк, что написанное вами годится разве что в коллекцию пана Повондры, героя-романа Чапека «Война с саламандрами».

— Итак, сегодня взрыв...

— Угу.

Ну и натура у тебя, человек. Надо было идти не в горные техники, а в лесники. Хотя и среди лесников не густо таких молчунов. Про Любомира и его коллег не скажешь, что они нелюдимы. Нелегко тебе будет в семейной жизни. Какая женщина станет терпеть мужа, из которого слово надо клещами тащить? Пришел не особенно разговорчивым, а теперь и совсем замкнулся.

В окне промелькнули две фигуры, потом застучали шаги в коридоре, из-за двери послышался чуть хрипловатый голос Парфена:

— Сюда, Глеб Софронович, прошу сюда.

Порог переступает высокий, спортивного вида мужчина. Он в элегантном темно-сером пальто с седым смушковым воротником, отвороты и полы которого сплошь усыпаны пеплом от сигареты, в смушковой шапке пирожком, в руках черный кожаный портфель с двумя ремнями.

«Важничий», — догадывается Савва и поднимается навстречу. Следом входит Парфен, небрежно приклеив сигарету к нижней губе. Закрыв за собой дверь, осматривается в комнате, где не так давно был хозяином, замечает, что здесь не произошло никаких перемен, разве что каменного божка нет на полке, где он стоял. Сокрушенно вздохнув, поворачивается к Важничему.

— Это, Глеб Софронович, он и есть, так сказать, герой дня. Ну не знаменне ли времени, а? Вчера — рядовой рабочий, правда, передовик, стахановец, студент-заочник и так далее, а сегодня — руководитель самого большого участка... Знакомьтесь.

— Глеб Софронович.

Глаза влажно поблескивают, видать, хлебнул за завтраком чарку.

— Бурлака.

— Савва Бенедиктович, — добавляет Парфен.

Важничий кладет портфель перед мастером, даже не взглянув на него, усаживается на стул, вынимает сигарету, вставляет в мундштук.

— Наслышан, Савва Бенедиктович, наслышан про вас. И про отца вашего слышал, и про вас. Значит, вы и есть автор идеи взрыва?

— Нет, автор не я.

— А кто же?

— Чигиринец.

— Не скромничайте, Савва Бенедиктович, — улыбается Парфен, — не прибедняйтесь... Чигиринцу — это, Глеб Софронович, один из наших рабочих — Чигиринцу лишь идея пришла в голову, а вы ее развили.

— Готовую идею развить легче всего.

— Ох, — разводит руками Парфен, — скромность нас погубит.

— Но это и в самом деле идея Чигиринца.

...Прошлым летом на Лысой горе начали активную подготовку к переходу на открытый способ добычи ракушечника.

На вскрышные работы была брошена вся землерой-

ная техника. Не хватало только автотранспорта. В пригородных колхозах началась уборка, и надо было срочно спасать хлеб — метеорологи обещали затяжные дожди. Чтобы продуктивнее использовать несколько оставшихся самосвалов, им разрешили разгружать грунт из-под экскаватора над яром.

Когда началось половодье, Быстрая поднялась на семь метров, залила все овраги, и отвал — огромная гора грунта — сполз в реку, перерезав дорогу, идущую вдоль берега.

В директорском кабинете без умолку звонили телефоны. Очумевший от угроз новый руководитель спрашивал, что делать, как выходить из сложного положения. Вся землеройная техника и автотранспорт разбирают завал, когда они с ним управятся, сказать трудно, потому что грунт ползет, Лысая гора заморожена, срываются все сроки ввода ее в эксплуатацию, горит план, речники и дорожники предъявляют умопомрачительные штрафы.

Было решено созвать расширенное производственное совещание, послушать, что предложат люди.

После совещания Чигиринец пришел к Савве домой.

— Не знаю, как ты на это смотришь... Я не специалист в этом деле. Понимаешь, иду, значит, мимо склада взрывчатых веществ. Зачем-то остановился, и вдруг меня осенило: а если взрыв? Если на вскрышных работах использовать мощный взрыв? Верхний замерзший слой грунта снесет взрывом, а то, что останется, снимут бульдозеры. Как ты на это смотришь?

— Гениальная идея, Андрей! И, как любая гениальная идея, она до банальности проста, остается только расчитать силу взрыва.

— Ну, это уж твое дело.

Идею одобрили.

Так это было на самом деле.

— А это, — Парфен вполкорпуса повернулся к мастеру, — сменный мастер. Хотя по профессии он и горный техник, однако по призванию далек от нашего дела, товарищ Лампита — датский поэт.

Важничий небрежно кивает мастеру, весело переспрашивает:

— Как вы сказали, Парфен Дмитриевич? Датский поэт?

— Именно так, Глеб Софронович, датский поэт.

— А почему, скажем, не шведский?

— Видите ли, Глеб Софронович, стихи Миколы Лампиты печатают преимущественно к большим и малым датам, потому он и не... шведский.

На запавших щеках Важничего розовеют склеротические жилки, пепел сыплется на полы пальто, и в этот миг он напоминает Савве старого алкоголика. Насмеявшись, Важничий подбирает полы пальто, не стравивая с них пепла, и сообщает интимно-доверительно:

— А знаете, в молодости и у меня был такой грех. Баловался стихами, да.

— Ну и что же? — спрашивает Парфен, щурясь больше, чем надо. — Чем же оно закончилось, ваше стихотворчество?

— Финал был печальный и в то же время веселый... На втором, кажется, курсе понес свои сочинения в институтскую многотиражку. Редактор, он теперь в классиках ходит, почитал, повертел в руках, потом спрашивает: «Слушай, ты случайно не хочешь до ветру?» Ну, с тех пор — как отрезало.

Парфен чуть не захлебнулся в смехе.

— Такого бы редактора тебе, а, Лампита? Тогда бы наша бумажная промышленность вышла из тяжелого положения.

Лампита еще глубже вбирает голову в плечи, по-вольчьему смотрит на Парфена. Парфен хмурит брови и приказывает:

— Давай, Лампита, зови народ.

Мастер выходит.

Важничий выбивает из мундштука окурок, вставляет новую сигарету, обломав предварительно фильтр, закуривает и спрашивает Савву:

— А вы, Савва... как вас по отчеству? тоже сочиняешь?

— Савва Бенедиктович имеет другое хобби, Глеб Софронович. Он — композитор.

— Ну? Вы сочиняешь песни? И давно вы начал их сочинять?

Савва чувствует, как под глазом у него начинает дергаться жилка. Так всегда было, с самого детства, когда он вмешивался в драку, защищая свою честь.

— Немного позднее, чем вы, товарищ Важничий, заблудился человеческий язык и перешел на скотский.

Парфен белеет, а у Важничего склеротические жилки на висках становятся синими.

— Ов-ва! — деланно смеется Важничий. — А ваши приятели, Парфен Дмитриевич, не дают наплевать себе в кашу! Молодчаги! Уважаю таких!

Парфен отвечает совсем некстати:

— С такими хлопцами, Глеб Софронович, можно смело идти в разведку!

4

Заходят бригадиры. Садятся на лавках, вынимают папиросы. Маскируясь дымовой завесой, выжидательно и заинтересованно смотрят в сторону начальства. Через какое-то зремя нарядная становится похожей на азиатскую курильню опиума. Последними приходят Александр Панкратович и Бенедь Троянович.

Парфен встает из-за стола.

— Все собралось?.. Ну, тогда начнем. На нашем собрании присутствует представитель треста Глеб Софронович Важничий. — Парфен делает жест рукой в сторону Важничего, а Важничий церемонно кивает головой, и пепел сыплется на полы пальто. — Сегодня у нас не обычное собрание. Мне выпала приятная миссия представить вам нового начальника центрального участка. Он всем вам хорошо знаком, ибо до недавнего времени ходил в вашем ранге. Сами знаете, специалисты у нас не задерживаются, горное дело слабых духом не любит. Ставка на «варягов» себя не оправдывает. Надо выдвигать проверенные кадры. Так что представляю вам Савву Бенедиктовича Бурлаку. Савва Бенедиктович достоин должности, на которую его рекомендовало руководство предприятия, ибо имеет значительный практический опыт и теоретические знания — доказательством тому идея взрыва, который мы произведем сегодня, ведь Савва Бенедиктович — без пяти минут инженер. Призываю вас, товарищи бригадиры, любить и жаловать Савву Бенедиктовича как родного отца.

— За нами дело не станет, — отзывается со своей скамьи Бенедь Троянович. — Лишь бы этот отец уважал нас, детей.

От хохота звенят стекла в окне, космы табачного дыма качаются, будто медузы...

Савва помнит, как центральной штольной, бывало, одна за другой катились на-гора платформы с блоками, откатчики время от времени покрикивали: «Эй, поберегись!», колеса бодро выстукивали на стыках рельсов, прогоны выгибались упруго и податливо, на поворотах из-под колес летели искры, рельсы не успевали остывать, работали день за днем, потому и жили, а теперь стальные артерии подземелья словно бы умерли, покрываются влажной ржавчиной и не вспыхивают на свету остро и слепяще, до рези в глазах.

Потом луч фонарика скользит по набухшим, пораженным грибок стоякам сосновой крепи, по черному электрокабелю, бессильно свисающему с ржавых крюков.

Это печальное зрелище и дух запустения глубоко потрясают Савву.

И здесь, в подземелье, ему сразу вспоминается, как должны были они переселяться в новую хату.

Каменный дом, в котором сейчас живут родители, строили года два, просторный, пятикомнатный, и пока строили, в семье только и разговоров было что о переселении, о том дне, когда в этих комнатах запахнет людским духом. Да вот уже и стены оштукатурены и побелены — просохшие и умножающие голоса, они напоминают своды храма, — и краска на полу не рвется вслед за каблуками, а отец с матерью и дед тянут да тянут с переселением, не покидают старую хату, по самые окна освещую в землю под тяжестью лет, а может, зеленого мха на крыше.

Однажды за ужином отец сказал:

— Так, может, завтра и перейдем, а эту ломать начнем?

Дедусь подумал-подумал, потом произнес:

— Пусть постоит... До новой пока привыкнем...

Вот так же, вероятно, думает Савва, нелегко будет нам отвыкать от этих штолен и привыкать к открытым уступам. Как бы ни ругали это тесное, жаркое и душное подземелье, особенно в последнее время, когда участились обвалы в забоях, как ни рвались на-гора, под высокое и безопасное небо, все же грустно теперь прощаться с выработками, вобравшими в себя тепло твоих рук. В самом деле, тепло твоих рук.

Тихо-тихо, даже странно. Не грохочут резательные цепи, не стонут надсадно двигатели.

Когда-то, еще школьниками мы были, учитель водил нас в крепостные казематы, где в давние времена скрывались наши предки. Тогда нам трудно было поверить, что там действительно жили люди. А разве когда-нибудь кто-то поверит, что вот здесь...

Луч фонарика падает на кучу породы, из-под «коржей» и песка торчат искореженные стояки да верхняки креплений.

Савва останавливается.

Тот самый забой... Да, именно здесь нас и привалило... Почему же я пришел сюда? Что меня привело в этот забой? Сам знаешь: старая привычка. Что же еще, кроме старой привычки, могло привести тебя в этот заброшенный забой?..

На угольных шахтах есть такой термин: горизонт. Первый горизонт, второй горизонт, третий... А ведь эти штольни, что мы прокладывали изо дня в день, — тоже горизонты. Один-единственный, но все же — горизонт.

Ну, что же. Прощай, наш подземный горизонт!.. Наступило время выходить на солнышко.

6

Впереди смутно мерцают огни, слышится говор.

Несколько человек из ночной смены возятся у «забурившейся» платформы. На платформе — размонтированный камнерезный комбайн.

«Тесть», — узнает Савва голос Александра Панкратовича. Его машину вывозят на-гора. Александр Панкратович первым пробивал эти штольни, центральные выработки поручали нарезать только ему, потому что никто не умел так правильно повести выработку. Теперь Александр Панкратович последним покидает подземные забои. Видать, и ему жаль покидать их, выходить на поверхность.

Гайдуков налегает на шпалу, служащую рычагом, покрикивает:

— Ну-ка, ребятки, дружно!

Савва протискивается между крутых плеч откатчиков, берется руками за холодный металл платформы.

— Гей, раз! Оп-па!

И платформа уже на рельсах.

Откатчики гонят ее на-гора.

— Что ни комар, то сила, — говорит Гайдуков, вытирая вспотевшее лицо широкой ладонью. — Хо, так это ж Савва Бенедиктович! Ну что, батя, принимаете хозяйство?

— Бросьте, отец.

Гайдуков подходит поближе, трогает Савву за рукав.

— Курточка на вас новенькая, а уже где-то запачкали.

— Что с вами, Александр Панкратович? При чем тут курточка?

— Конечно, — отвечает Гайдуков, — курточка — ерунда... А только не привыкли мы к такому... Сам был в нашей шкуре, так знаешь: начальство больше словом, чем плечами помогает. Это Парфен Дмитриевич сказали бы: «Разгрузите детали машины, а потом поднимайте платформу». — «Так слишком долгая история, Парфен Дмитриевич!» — «Давайте без дискуссий. Делайте, что сказано».

— За кого же вы меня принимаете? Мы ж вместе работали, отец...

— Конечно, зятек, конечно... Потому и хочу сказать тебе: не перенимай чужих замашек, будь таким же, как раньше, тогда и полюбят тебя, как родного отца. И призывать к тому не надо будет.

— Постараюсь, отец. Что там у вас новенького?

— Э-ээ, зятек, у нас радость — новоселье. — Новую кату дали.

— Ну, поздравляю, отец... Но почему ж мы об этом не знаем?

— Об этом знаю только я... Сегодня-завтра вручать будут. Думаешь, не хочется похвастать? Еще и как! А я даже дома никому не говорю. Сам себя испытываю, насколько терпения хватит.

— Чудной вы, отец.

— Да уж какой есть... Что-то Вера рано-ранехонько поехала к Любомиру на кордон.

— Наверное, писать что-нибудь.

— Передал, чтоб приехала... Так прошу завтра на новоселье... Говорят, из радио ребята придут.

— Из какого радио?

— Так какого же... Говорил преселатель горисполкома, что меня на пленку записывать будут.

— Так даже?

— Еще бы... Мол, ты первым получаешь такую квартиру — новая планировка, все удобства, три комнаты.

— Так подготовьтесь, отец, чтоб выступить как следует.

— Да, наверное, придется говорить по бумажке.

— А-а, ну тогда все в порядке... С бумажки не собьетесь... А из кинохроники никого не будет? Не говорил председатель горисполкома?

— Ты многого хочешь, Савва.

— Кашу маслом не испортишь... Разве ж вам, отец, не хочется увидеть себя в кинохронике?

Они пристально смотрят друг другу в глаза, потом, стукнув друг друга кулаком по спине, весело хохочут.

— Вчера от Анатолия письмо получили, — говорит Гайдуков.

— Что пишет? Дома скоро будет?

— Весной... Пишет, что опять пойдет ко мне в помощники... А что, через месяц-другой станет хорошим комбайнером, как и ты... Пишет, что собирается в горный поступать. Со временем горным инженером станет... И правильно, отписал я сыну, не всем быть космонавтами, кибернетиками, атомщиками, кому-то надо и камень долбить.

Кому-то надо и камень долбить.

Уж тесть скажет — как завяжет.

Осенью наша делегация — Александр Панкратович ее возглавлял — ездил в подшефный колхоз в Пороги. Тесть произнес там целую речь о союзе серпа и молота. И закончил так:

— Вы — хлеборобы, мы — горняки. А делаем мы с вами одно общее дело. Мы добываем материал на новую хату, а вы заботитесь, чтоб в этой хате был хлеб и к хлебу было.

Они вместе выходят на-гора.

Знакомое настроение, думает Савва, знакомое с давних времен. Принимаюсь за работу, и оно наполняет мышцы силой, а душа полнится от обостренного восприятия жизни. Сразу это невозможно было осознать. Потом пришло само. Неожиданно, в разгар жаркой работы, именно в тот миг, когда напряжение достигло своего апогея, что-то шепнуло, да нет, скорее вспыхнуло у меня в мозгу: то, что переполняет душу, — и есть обостренное восприятие жизни.

День начинается, надо жить.

Глава седьмая

1

Оставляю машину у шлагбаума и направляюсь к куреню.

Вот и прехала. Вот и Любомиров кордон.

Вокруг — непуганая тишина, и в ней дразняще пахнет далекими дымами, пробудившимся березовым соком, первыми подснежниками, линялым мехом здешних рогатых и безрогих обитателей.

У крыльца меня встречает Найдик и провожает в комнату.

Любомир лежит на кровати, поверх одеяла — дубленый полушубок, губы — спекшиеся.

— Простите, Вера Александровна, что так встречаю. То ли этот гонконгский грипп вконец скрутил, то ли чересчур разнервничался вчера. Чувствую, отпустило как будто, сейчас поедем.

— А вы хоть завтракали?

— Потом, когда вернемся.

— Не бережете вы себя, Любомир Бенедиктович. Как, впрочем, и все Бурлаки.

— Иначе, — смеется, — не был бы я Бурлакой.

Запрягает Карего в залубни, подбрасывает в кузов сена, и мы трогаемся.

По обе стороны лесной дороги залегают снеговые холмы. Верхушки слепяще искрятся, а склоны курятся голубым маревом. Карий довольно пофыркивает, вспугнутое эхо отряхивает с ближайших дубов мелкую крупчатку.

— Ничего себе дубки, а, Вера Александровна? — показывает Любомир кнутовищем в сторону придорожной канавы.

— Еще бы!

Может быть, потому, что они по самый пояс увязли в сугробах, а на разлапистых ветвях еще держатся прошлогодние листья, дубы напоминают мне деревенских стариков, когда те ранней весной сидят на завалинке и, накинув на плечи латаные кожухи, греют под солнышком старые ноющие кости.

— Дуб любит расти в кожухе, но без шляпы, — не так ли говорят об этом дереве?

— Да, Вера Александровна, вы правы.

— Интересно, по скольку же лет этим исполинам?

— Минувшей осенью у меня гостил один известный киевский поэт, он написал про них так:

Гетман седой Богдан
Эти дубы сажал.

— Я так и подумала, что им не меньше трехсот.

— Смотрите, Вера Александровна, след! Прямо к ку-
реню.

Следы причудливо петляют среди стволов, кажется, будто это воробьи попрятались в сугробы, вот-вот выпорхнут, потревоженные нашими голосами. А вот цепочка синеватых отпечатков выбегает из-под кустарников, направляется к просеке. Видимо, целый табунчик вспахал копытцами свежий снег.

— Н-но, Карий! . . . Вот они, смотрите!

Двое изящных рыжеватых существ — козел и самочка — голова к голове подбирают на снегу сено.

— Зима нынешняя засиделась в лесу, точно кума в гостях, и крепко дает им жизни, — говорит Любомир. — Такой снег — разве доберешься до травы? Дедусь Троян — земля ему пухом! — немного сенца заготовил, немножко я, если б еще и лесничество малость подбросило, так, может, и хватило бы. . . Вынужден подкармливать их пайком Карего.

Козы наставляя уши радарами, повернули в нашу сторону влажные белые мордочки. Самочка еще похрустывает сеном, а козел беспокойно перебирает передними ножками.

Навожу на них фотокамеру. Щелкает затвор.

За козами еще долго трещат кусты.

— Испугались вашей штучки, — смеется Любомир. — А когда один, бывает, еду, у самой просеки лежат, рукой дотянуться можно. Угощаешь их сенцом, а они тебе пальцы лижут. . . Любую дичь можно приручить, если по-человечески к ней отнестись.

Любомир придерживает Карего.

— Вот разбойник, опять нашкодил!

— О ком вы?

— Да о секаче. Пришел откуда-то, одиночкой бродит. Хороший такой поросенок — так где-то на четверть тонны.

— Ничего себе поросенок!

— Несколько раз встречались. Расходился пока что мирно. Только вот повадился спать на муравейниках.

Разроет кучу, уляжется и спит, никак не отвядишь. Секачу и невдомек, что муравьи — первые друзья лесника. Да что там секач! Цивилизованный дикарь иногда причиняет куда больший вред. Замечаю, Вера Александровна: когда человек в лесу один, он и любознателен, и внимателен, и осторожен. Все ему интересно: и как листья шелестят, и как трава растет, и как соки играют, и как муравьи делают свое дело... Когда же врываются в лес капеллой — перестают быть людьми... Я очень внимательно читаю ваши очерки, статьи в защиту природы. И полностью согласен с вами: на браконьеров ни в чем нельзя положиться. Это ненадежные, даже опасные люди.

Будто собравшись с новыми мыслями, Любомир продолжает:

— Природа мстит за жестокое отношение к себе. Возьмите, к примеру, известного вам Гната Кульбеду. Был закоренелый браконьер, истреблял все, что видел. Было с ним хлопот — во!.. Как вы знаете, Вера Александровна, многие из птиц и животных в результате того, что их систематически преследовали, выработали защитный рефлекс. Нечто подобное произошло и с браконьерами. Им не дают спуска, наказывают, а они выработали свой «рефлекс» — как перехитрить лесника или же инспектора. За прошедшее столетие браконьеры уничтожили на нашей планете семьдесят представителей фауны, а за первую половину нынешнего — полсотни видов. Перевелись напрочь, к примеру, тарпаны, зебры хвагга, стеллерова корова. В первые годы советской власти на многих угодьях был уничтожен соболь, лось, сайгак, косяля... Об этих и других фактах вы знаете не хуже меня. Полуистребленный животный мир на совести таких, как наш общий знакомый Гнат Кульбеда. Этот Кульбеда в ненасытном своем азарте дошел до того, что не брезговал ничем. Раздобыл где-то взрывчатки, подался глушить судаков. Пакет взорвался у него в руках... «Бежал домой, — рассказывал мне потом Кульбеда, — и все десять километров клялся про себя: если не изйду кровью, десятому закажу — не губи природы!.. А как-то попросил внучку прочитать что-нибудь про охоту. Внучка прочитала мне про бумеранг. С тех пор точно кто гвоздь в голову вколотил: бумеранг да бумеранг! Лежу ночью под копешкой сена, звезды считаю, и вдруг даже оторопь взяла: бумеранг — это ведь именно то, что произошло со мной!..» Вот таким образом отплатила природа Гнату Кульбеде

за жестокость — сделала его безруким. Но, к сожалению, бумеранг мести временами запаздывает.

Еще несколько раз перебегают просеку косули, даже целое стадо, потом мы натолкнулись на волчий след, а некоторое время спустя Любомир придержал Карего у круглой поляны.

— Здесь было дело?

— Ага, то самое место.

Выбираюсь из саней следом за Любомиром, оглядываюсь вокруг. Ночной снегопад скрыл все следы.

— Как же это было?

— Дело было так. Объехал я кордон, возвращаюсь к куреню. Уже стемнело, а меня знобит. Кутаюсь в тулуп, покуриваю и мечтаю о том, как приеду домой, заведу Карего в стайку, разожжем с Найдиком печку, будем смотреть на огонь, а как потеплеет в курене, почитаю что-нибудь. Вдруг Карий фыркнул испуганно, остановился. Приглядываюсь: на просеке человек с ружьем. Косуль поджидает, не иначе. Тут и он меня увидел. И сразу же — драпать. Если бы убежал в кустарники, может, и не поймал бы, а он в поле рванул. Я — следом. Зацепился за пенек, потерял галоши с валенок, разозлился, ну, думаю, разуюсь, а все же догоню. А он меж деревьев петляет, только пятки сверкают. «Стой! — кричу. — Стрелять буду!» И саданул в воздух. Он куда-то исчез. Ну, будто сквозь землю провалился. Подхожу к канаве, а он сидит на дне, зубами выстукивает. Присмотрелся — родственник, Парфен Кошай. Ну, говорю, родич, вставай, примерзнешь, не дай бог. А после спрашиваю, как он здесь оказался. Заблудился, отвечает. Только успел это промырнить, как бабахнул выстрел со стороны поляны. Потом еще один. Эге, говорю, так вас здесь целая банда! Кто там еще с тобой? Тебя они загонщиком поставили? А он хватает меня за руки: «Послушай, Любомир, не надо поднимать шум, давай похорошему, понимаешь, инспектор приехал, будет разбирать этот случай с Саввой, ну, с обвалом... Тебе что, паршивой козы жалко?.. все равно волки загрызут, давай лучше завернем к тебе, выпьем по доброй чарке, добычу разделим, да и все... я уж в долгу не останусь, будь уверен!.. Я ж Савву не только выгородил, но и на руководящую должность выдвинул... только не надо этого шума...» А от поляны — снова выстрел. Бросил я Парфена — и туда. Как раз и захватил на горячем...

Слушаю Любомира и представляю себе ситуацию. Перед убитыми косулями — стреляли из машины — два враждебных лагеря: лесник и трое браконьеров.

— Кто такие? Ваши охотничьи билеты!

Браконьеры от неожиданности теряются. Один из них, хлопнув дверцей, исчезает в машине, словно хорек в норе.

Но вот первый испуг проходит, и к леснику подступает высокий мужчина в кожанке.

— Убери гаубицу, приятель. Своих не узнаешь, что ли? Я ведь Кулик, егерь районного общества охотников и рыболовов.

— Нет у меня приятелей среди браконьеров.

— Ой, к чему эта демагогия, Любомир?.. Лес, ночь, свидетелей нет... Ну ладно, мы нарушили правила. Так разве ж мы первые или последние? Каждому ведь хочется свежей шкварки до доброй чарки. Тебе она каждый день перепадает — думаешь, я не знаю о твоих грешках? Мы все знаем!.. А нам — время от времени, да и то крохи... Так давай чтобы, как говорится, и волки сыты, и козы целы... Айда, поедем к тебе в курень, посидим в дружной компании, может, когда-нибудь эти люди пригодятся тебе, потому что лишь гора с горой не сходится, а человек с человеком — всегда... И ты нас не видел, а мы — тебя... Начинается снегопад — скроет все следы... Ну, по рукам, что ли?

Подходит запыхавшийся Кошай.

— Любомир, тебе дело предлагают. Не набивай себе цены.

— Тут вам не торжище.

— Ах так! — взрывается Кошай и кивает Кулику. — Ну-ка, ребята, вяжи его! Бросай косуль в машину!

— Еще один шаг — и ляжете рядом с косулями!

На обратном пути Любомир досказывает:

— Косуль я отвез в детский санаторий, акт передал в лесничество... Не знаю, что и как там решат... Помоему, ни одного случая браконьерства нельзя замалчивать, надо выносить на суд общественности, привлекать к уголовной ответственности... Наказываем воров, рецидивистов. И справедливо наказываем. Когда вор или рецидивист идет на преступление, он решается даже на убийство. Точно так же и браконьер. Какая же между ними разница?.. Потому и побеспокоил вас вчера поздней ночью, зная, как вы...

— Хорошо сделали, Любомир Бенедиктович, что позвонили. Я непременно напишу. Непременно!

— Напишите, может, зашевелятся... А если даже не напишете ни строчки, все равно ваш приезд для меня праздник... Да-да, Вера Александровна, именно так... Хоть поговорим. С Найдиком какой же разговор? Вечером разожгу печку, Найдик лежит в ногах, смотрим в огонь, я с ним беседую, а он — молчит. Да-а... Видите, как оно получилось. Пока дочь была маленькой, все было хорошо. А как подросла, как настало время в школу идти, Лида и предъявила ультиматум: либо мы, либо Дубовый Гай!.. Теперь в любом селе, даже в самом глухом, — электричество, радио, телевидение и все, что хотите. А мы вот с Найдиком вечерами при керосиновой лампе сидим. Цивилизация, она до сих пор не проникла в быт лесников. Не скажу, что так везде. Но именно так у нас. А из проблемы быта вытекает проблема кадров. Вот в Порогах по три лесника в год меняется. Разумеется, лесная красота очаровывает, да не всякого привязывает к кордону... Что там говорить, Вера Александровна, в лесу столько же проблем, как и всюду.

2

А теперь мои мысли с тобой, Андрей. Может, оттого, что между тобой и Любомиром есть что-то общее. Да, очень много общего. Только что попрощалась с Любомиром. Отъехав на порядочное расстояние, я остановила машину и оглянулась назад. Любомир все еще стоял у шлагбаума и держал Карего под уздцы.

Хорошо было бы вернуться в город и встретить тебя. Если бы ты знал, Андрей, как я жду твоего возвращения!

Вчера ты позвонил и сказал: принесли телеграмму — мать заболела.

По дороге на вокзал старалась ни о чем тебя не спрашивать. Сам сказал:

— Ты знаешь, Веронька, о чем я сейчас думаю?

— О чем, Андрійко?

— Почему-то вот припомнилось, как приходил с работы отец. Смолоду он кочегарил на сахарном заводе, а потом слесарил. Батько гордился тем, что он рабочий. На рабочем человеке, говорил, мир держится. Ну, точно так же, как и ты и дядько Бенедь говорите. Как покойный дед Троян говорил. Так вот. Когда батько приходил

со смены, мать выносила ему глечик теплой воды, мыло и чистый рушник. Батяко раздевался до пояса, и мать поливала из глечика. Сперва на руки, потом на спину, теплая вода лилась глубоким желобком между лопаток, тато нарочито сердито фыркало, мать счастливо смеялась, а потом подавала отцу чистый рушник. . . И вот, Веронька, представь себе на мгновение: я возвращаюсь с работы — и мне выносят глечик теплой воды, мыло и чистый рушник. Раздеваюсь до пояса, подставляю спину: «Лей, Веронька! . . .» И ты сливаешь мне на спину. Дурачась, выливаешь сразу полглечика, я деланно сердито фыркаю, ты счастливо смеешься, а потом подаешь мне рушник, чистый и пахучий.

— Возвращайся, Андрійко. . . Я буду ждать тебя. . .

Ты обнял меня, привлек к себе, и я вдруг припомнила наше летнее путешествие к морю.

. . . Дорога убаюкала, и я уснула на твоём плече. И мне снилось, что мы уже бежим к волнам, взявшись за руки, волна накатывается, и мы уже не чувствуем под ногами дна, плывем туда, где покачиваются красные буйки. . . Потом ты разбудил меня и сказал: «Веронька, море!»

С холма мы увидели, как утреннее солнце просвечивает море чуть ли не до дна, окрашивая в теплый изумруд, и угадываются глубины — на глубоких местах вода иного цвета, ультрамаринового, густого и холодного.

А на горизонте увидели белый приморский город, на рейде едва угадывались танкеры, похожие на уснувших селезней.

А когда мы добежали до пенной полосы прибоя и остановились там, запыхавшиеся, море вдруг стало выше, словно бы нависло над нами — я испуганно ухватилась за твою руку.

«Страшно?» — «А тебе?» — «С тобой — нет!» — «Оно словно бы хочет поглотить нас». — «Скорее всего оно хочет поиграть с нами». — «Часто вспоминаешь его теперь?» — «Бывает». — «А тебе не хотелось бы вернуться?» — «Тому, что переболело, возврата нет».

На какое-то мгновение мне вдруг почудилось, будто мы снова едем с тобой к морю. Но такси везло нас на вокзал.

— Приехали, — сказал таксист.

— Я провожу тебя к поезду, хорошо?

— Нет, Веронька, не надо. . . Жди меня. . .

Ждала тебя еще вчера. Лишь проводила — и сразу же стала ждать.

Сижу за секретером и жду. Сквознячок от окна колеблет занавеску, прохлада, будто бархат, обволакивает плечи, шею, и ожидание трепетом охватывает все мое существо. Закрываю глаза и, словно бы наяву, ощущаю стыдливую упругость и мужскую требовательность твоих уст. Потом ты целуешь мне руки, пальцы — каждый отдельно.

Ты непременно должен прийти, говорю сама себе, ведь с той минуты, как мы расстались, прошла целая вечность; так вот неожиданно встанешь на пороге — высокий, стройный, с гордо и независимо посаженной головой, бородатый, заснеженный, как дед Мороз; я тихонько ойкаю от неожиданности и немею от счастья.

Вот и твоя поступь. Идешь неслышно, словно на цыпочках. Открываешь дверь... и входит заспанная Наталочка, дочь.

— Все еще сидишь, мама?

— Работаю, дочь... Но сегодня у меня ничего не выходит.

— Я понимаю: ты думаешь о дяде Андрее.

— Да, дочь, я все время думаю о нем...

Раздается телефонный звонок. Я вздрагиваю: ты!

Нет, это звонит Любомир, просит утречком прехать.

Мягкий баритон радиодиктора желает: «Спокойной ночи, товарищи радиослушатели!» Постепенно все умолкает — и движение на железной дороге, и шорохи улицы, и покашливание соседа за стеной. За окном начинает тихо падать снег. Такой пушистый-пушистый. Город словно бы погружается в молочную пену.

Слышно лишь, как бьется собственное сердце да неутомимый будильник отсчитывает время, и наступает длинная ночь — без сна, с множеством вопросов, воспоминаний и надежд...

Глава восьмая

1

За пушистыми от снега кустами по ту сторону Лысой горы, на солнечном пригорке, где Быстрая круто изгибает свое русло и весеннее половодье подмыло отвал,

краснеет теплушка, из трубы которой в небо струится прозрачный дымок.

Теплушка — ровесница тех первых камнерезных машин, которые давно уже переплавлены в мартенах, и теперь их не увидишь даже в музеях. И хотя нынешние механизаторы имеют на каменоломнях хорошо оборудованный стан, однако, когда переезжают на новый участок, по давней традиции перевозят и этот красный дощаной вагончик на резиновых колесах. В нем обогреваются, сушат одежду, хранят инструмент, запасные части, получают от Бенедя Трояновича наряды. На столе лежит толстенная конторская книга — сюда бригадир твердым почерком записывает все, что делают его хлопцы.

Теперь эта теплушка стоит над обрывом.

Савва открывает дверь — перед раскаленной буржуйкой сидит на корточках Клим Пугач.

— Грешься?

— Ага, у нас как раз пауза, перегоняют экскаватор. . . В откатчиках было куда веселее. Там хоть не замерзал. А тут зубами выстукиваю.

Удовольствия и в самом деле мало, думает Савва. Ни удовольствия, ни заработка. А парень молодой, крепкий, горы своротить может.

— Нарезем новые забои, пустим комбайны. Помощники комбайнеров нужны будут — пойдешь?

— Спрашиваете!

— Значит, договорились.

Чтобы не кувыряться по крутому склону, механизаторы смастерили из горбыля трап с перилами. По этому трапу Савва с Пугачом и спускаются к Быстрой, в едкую завесу солярового дыма, грохот и рев. Экскаватор уже перегнали в новый забой, поближе к воде. Он стоит, опустивши хобот трехкубового ковша, а экскаваторщик, высунувшись из кабины, слушает Бенедя Трояновича, стоящего на гусенице. Савва ловит конец фразы: «. . . с этой стороны, понял?»

В очередь выстраиваются самосвалы.

— Начинай! — кричит отец уже издали.

Увесистая челюсть ковша жадно щелкает, напряженные натягиваются тросы, тяжелый корпус с размаху выплывает полдуги — и самосвал приседает под водопадом глины, ринувшейся из ковша. Пугач вынимает записную книжку, карандаш, ставит галочку.

Бендь Троянович, в расстегнутом полушубке, забрызганный выше колен, подходит к Савве.

— Прибывает вода в Быстрой, — говорит озабоченно, будто возвращаясь к прерванной беседе. — Чего доброго, опять может подмыть оползень. Думаю, надо своевременно подобрать вон тот язык. А ты как считаешь?

— Мне кажется, правильно.

Отец тяжело усаживается на залитый валун — половодье вынесло на берег, — осторожно вытягивает покалеченную ногу, закуривает, несколько раз со вкусом глотает дым, выпуская его из ноздрей.

— Уж не за бульдозерами пришел, а, начальникек?

Когда отец улыбается, левая бровь его хмурится, а правая, еще более лохматая и седая, взлетает кверху, и тогда лицо его приобретает лукаво-хитроватое выражение.

— И за бульдозерами...

— А я уж было думал, что к отцу и носа не покажешь, младших будешь посылать.

— Почему ж это вы так думаете?

— А что-то такое утром померещилось...

— Померещилось... Вон и свату вашему померещилось что-то такое...

— Эге, слава и власть — что твой хмель... Вечером должны были прийти трезвлять тебя...

— Отец, оставьте ваши шуточки...

— А то что? Будешь со мною на кулачки биться, как тот Бульбенко?

Отец весело смеется, за ним и Савва, потом спрашивает о матери.

— Спит плохо, — хмурится отец. — Говорит, что и в эту ночь ни разу глаз не сомкнула... А так как будто бегае еще...

— Бессонница — от чего бы она?

— Не знаешь, от чего?.. Думает... Про всех про вас думает... Про тебя, Любомира, про Богдана...

— На этой неделе приеду в гости. Принесу маме зупокни. Это венгерские таблетки от бессонницы. Очень помогают.

Отец задумчиво смотрит сыну под ноги, потом говорит:

— Пробьем этот завал, пойдут автобусы, тогда и приедешь. А пешком и не пытайся. По-над берегом скользко.

- Вы ведь ходите как-то...
- То я... А тебе надо побережться, если уж дома не сиделось... Вон мастер идет, уж не за тобой ли?
- Лампита подходит и здоровается.
- Так мы ж, сынок, уже здоровались.
- Лампита смущается.
- Савву опять неприятно поражает его затрапезный вид. Не брился, наверное, дня три, жиденькая щетина рыжеет на подбородке.
- Сначала был опрятнее. Видать, что-то с ним происходит.
- Звонил Кошай. Требуется к себе.
- Сейчас приду, — кивает Савва.
- Лампита втягивает голову в плечи и возвращается назад.
- Ну и кадр! — говорит Савва, глядя ему вслед. — Ни рыба ни мясо. Шагу самостоятельно не ступит. «Надо посоветоваться, надо спросить»... Легко так жить — чужим умом и за чужой спиной.
- А ты не спеши судить... Затуркали бедолагу. Молодо — зелено... Ни друзей, ни товарищей — думаешь, легко ему? Вот то-то и оно... Тебе с ним работать. Сам его не дергай да другим не давай.
- А как там Любомир, приходит домой?
- Приходит, как же... А лес на кого оставит?.. Передал, чтоб приготовили ему керосина, соли, сахару, крупы да передали на кордон с оказией.
- Сегодня Вера к нему поехала.
- Говорил Олесь... Наверное, лоси прибились...
- А где это твоя подпорка?
- Забыл в нарядной.
- Забыл... Ходи мне с клюшкой. Нечего стесняться.
- Хорошо, отец, буду...
- Ходи... Это и будет лекарством для матери — эвноктин или как там его?
- А снятся ли вам, отец, красные кони?
- Так сколько тебе бульдозеров прислать?
- Присылайте всю бригаду. Скорей управимся. Через день-другой и комбайны пустим.
- Так думаешь?
- Надо...
- А твой Чигиринец еще не приехал?
- Должен был бы уже приехать.
- Кем же он теперь пойдет?

— Не знаю.

— Ну ладно, пришло.

Тем же дощатым трапом Савва взобрался наверх, мимо теплушки, мимо отвесных скал и мимо кустов ельничка, узкой тропинкой возвращается на участок.

Вновь начинается густой снегопад.

Зима из последних сил спорит с весной.

Пушистые снежинки садятся на ресницы, дубняк, и кусты над берегом теряют свою корявость, наст тихонько поскрипывает под резиновыми подошвами, Савва думает о матери, об отце, Любомире и Чигиринце, о Лампите — вон его фигура невыразительно темнеет сквозь снегопад.

Датский поэт...

Хватит и этого, чтоб испортить настроение на целую неделю, если ты не толстокожий... Может, Кошай разглядел в нем поэтического соперника, оттого и глумится, черная зависть точит его душу, отравляет кровь?

А между тем оставь Кошай в покое, посмотри на себя, чем ты лучше? Не глумишься, не подтруниваешь — это так, однако не портишь ли ты ему настроение тем, что просто не замечаешь его?.. Откровенное глумление и скрытое равнодушие — какая между ними разница?.. Отец прав... Никто даже не поинтересуется: как живешь, человеке, чем тревожишься, за что болеешь?.. Разве что Вера? Конечно же, Вера — добрая фея... О каждом думает, каждому стремится уделить частичку своего душевного тепла, каждого стремится сделать счастливым, находя в этом и свое счастье.

Тебе с ним работать.

Нелегкая это наука — человековедение. А между тем надо осваивать ее, постигать.

Зачем же вызывает Кошай, для чего я ему понадобился? Руководящие указания давать будет, не иначе...

2

Кошай приоткрывает дверь в приемную, с порога бросает секретарше:

— Ко мне никого не пускать! Готовлюсь к совещанию. Придет Савва Бурлака — немедленно доложить.

— Хорошо, Парфен Дмитриевич.

Парфен возвращается к столу, потягивается до хруста в суставах...

Видеть никого не хочется!.. Рвануть бы куда-нибудь, забраться куда-нибудь подальше от всего этого... Съездить бы к матери, хоть на несколько деньков... Попить парного молочка, выспаться на удобных материнских подушках.

До чего же он мерзок, этот привкус печени на зубах! Мерзкий и тоскливый. Опять придется ехать в Трускавец, в эту вонючую яму... Мечтаешь о золотом песке, чистом и высоком небе, морском озоне, а тебя ожидают беспрестанные дожди, вечно мокрые ноги, тяжелый запах нефти.

Наливает минеральной воды, выпивает двумя глотками. Ну ничем не перебьешь. Ни сигаретой, ни конфеткой, ни «Региной»... За обедом откажусь. Скажу: не могу! Запретили! Печень... Вот такая вот, с кулак величиной. Так ведь и дуба врезать можно. Ну да, откажешься... Вчера — мог, вчера — не было печени, а сегодня... Ну, разве что символически. За здоровье Саввы Бенедиктовича!

Еще неизвестно, как этот Бурлака себя поставит, как поведет. Все они чокнутые... А, чтоб тебе черт, еще и с этой передрягой! Можно было бы обойтись. Теперь сам выпутывайся как знаешь, и этого... жука колорадского Важничего — откуда только этот ихтиозавр свалился на мою голову? — выпутывай... Иначе — скандал. Оно, на трезвую голову, ничего страшного... Подумаешь, большое преступление — подстрелили двух косуль... Ведь их могли бы и волки сожрать... И если уж на то пошло, так не мы первые, не мы и последние... Кое у кого куда большие аппетиты... Однако ж — ничего, за решеткой не сидят... Ну, придется возместить «убытки»... Ну, боже ж мой, кто против? Пожалуйста, только оставьте нас в покое... Так не дадут же, не оставят, стоит только этому Бурлаке повсюду раззвонить. Общество охраны природы — эти фанатики, эти пенсионеры, которым делать нечего, общественность...

Будут обсуждать, позора не оберешься. Черт бы тебя побрал! А тут еще и дома... Тьфу ты, с Эрой Силовой погрязся. Как все это переморгать?..

Он проснулся поутру вот с этим самым привкусом печени на зубах.

Сплеывая на ковер, — увидала бы Эра Силовна, вот

было б шуму! — всунул ноги в тапочки с заломленными носами и, поддерживая на животе пижамные штаны, пошел умываться.

В прихожей зацепился за Павлушкин ракетносец, чуть не шмякнулся.

Балбес! Никакого порядка знать не хочет! Поразбрасывает игрушки по всей квартире... Ну, я уж тебе вломлю ремня такого, что и не сядешь.

В серванте на двух верхних полочках тонко звенели от сотрясения бокалы, чашки, блюда.

Кошай остановился, с ненавистью глянул на сервант.

Не квартира, а ломбард! Сейчас вытряхну всю эту утварь на пол, в черепки побью... Вот так вам, вот так!

«Соседи тоже держат посуду в секрете. Теперь это модно».

Пропадите вы пропадом со своей модой!

Тихо застонал — эту привычку тихо стонать по утрам он заметил за собою давно и теперь с горечью подумал, что это уже старость дает о себе знать — и двинулся дальше. Шаркал тапочками и щупал себя в межреберье — где ж она там, черт возьми! — эта печень?.. Ну заплыл салом, не прощупаешь, ага, вот она, зараза... батюшки, увеличенная!.. так я и знал... на целых пять пальцев, не меньше... опять придется ехать в этот Трускавец, в эту вонючую яму... больше так пить не буду — все, крест! — и обжираться тоже... можно ж ни за понюшку табаку дуба врезать, а мне туда еще рано... С нынешнего дня — диета... выпью кофе и на работу, а там...

В прихожей навстречу ему попался сын.

— Гляди-ка, ты уже встал? Ну, молодец!

— Ты видел, вчера я нарисовал море?

— Нет, не видел.

— Показать?

— За завтраком. Пойдем умоемся.

Эра Силовна варила на кухне кофе.

Они поздоровались, и Эра Силовна сообщила:

— Вы так жутко храпели этой ночью.

— Наверное, неудобно лег.

— Аж стены содрогались... До утра я так и не смогла уснуть.

Дернул вчера сверх меры... Невелика беда, днем выплещись, что тебе делать еще?

— Надо было разбудить, чтоб на другой бок перевернулся, перестал бы...

Из крана ударила тугая струя — в ванной остро запахло гнилью. Когда трогается Быстрая, водопровод всегда пахнет гнилью.

Вылил на ладонь полсклянки одеколona, стал растирать грудь, шею, приглаживать волосы.

— Павлик, я тобой недоволен.

Павлик чистил зубы.

— Почему?

— Какой-то ты неорганизованный, растрепанный.

— Я ж еще не оделся.

— Да я не об этом... Нет у тебя никакого порядка. Игрушки поразбрасывал по всей квартире, за твой самолет зацепился — чуть не упал...

— Это мальчишки ко мне приходили вчера. Юрко Бурлака...

— Ты мне смотри. А как в школе?

— Да так.

— Смотри мне... Вечером покажешь дневник.

— Ладно... Папка, а мы поедem летом на море?

— Посмотрим.

— Все трое: ты, мама, я?

— Доживем — увидим.

Черт возьми! Как я разговариваю с сыном... Надо поласковее с ним... И вообще, надо мне им заняться... Но этот привкус печени на зубах!.. Всю душу выворачивает... Надо закурить, может, сигарета перебьет.

Однако от сигареты на душе у него стало еще гаже.

Прибежал сын с рисунком.

— Это я вчера нарисовал. Бабушка играла с теткой Гарнессой...

— Агнессой...

— ...теткой Агнессой в карты, а я рисовал.

На листке — сплошной хаос линий и пятен.

Вот вам и домашний абстракционист.

— И что же ты изобразил?

— Море.

— Море?

— Конечно... Голубое — вода и небо, желтое — песок, зеленое — пальмы, розовое — солнце, оно как раз восходит... А разве море не такое?

— Ну, почему же... Очень даже похоже...

Надо будет свозить малыша на море. Пусть увидит его. Потом будет всем рассказывать... Но ведь — печень.

— Ты молодец, Павлуха... Больше рисуи, станешь Айвазовским.

Взьерошил сыну чубчик и направился на кухню.

Эра Силовна была в роскошном халате.

Молодишься, а на что надеешься? Взяла от жизни все, что должна была взять. Даже чужого прихватила.

— Только кофе, Эра Силовна.

— А может, чарочку, а, Феня?.. Вчера вы как будто бы...

Он тихонько застонал.

Еще только раз назови меня бабским именем, я тебе глаза...

— Грамм пятьдесят... И огурчик...

Это называется перехожу на диету... Да ну, черт с ним!.. Никакой силы воли...

— Заказала Рене кофту... Такую, Феня...

— Кака-я я вам Х... Х-веня? — подпрыгнул он на стуле и замахал на Эру Силовну руками, как беркут крыльями, когда падает сверху на лису. — Ч-что за идол... иди... идиотские прозвища? До каких пор это будет продолжаться? А? До каких пор?

— Трали-вали...

Эра Силовна испуганно попятилась, заслоняя пухлыми руками голову. Она еще никогда не видела его в состоянии такого бешенства. Показалось: схватит за шиворот, бросит под ноги и затопчет. Ноги у нее подкосились, руки затряслись.

Но вот она заметила, что огоньки бешенства угасли в его глазах, кровь отлила от лица, а плечи виновато поникли. Эра Силовна опомнилась. Уперлась руками в крутые бедра и двинулась на него.

— Трали-вали... Ты чего расхулиганился?.. Ты на кого замахиваешься?.. Ты забыл, в чьем ты доме?.. Ты — жуть с ружьем!

— Пардон, нервы...

— Трали-вали, нервы... Кто-то портит ему настроение, а он будет сгонять зло на домашних... А дудки! А цур вам, а пек вам!

— Простите, Эра Силовна...

— Трали-вали... Нервы... У него, видите ли, нервы... А у меня — нет?.. Так лечитесь, если у вас нервы... В психиатрику ложитесь...

Пришел Павлик, внимательно посмотрел на обоих, спросил:

— Баба Эра, показать вам море?.. Вы играли с теткой Гарнессой в дурака, а я нарисовал..

— Трали-вали, в дурака играла..

— Показать?

— Русланчик, не мешай. У нас с твоим папой серьезный разговор.

— А я хочу..

— Трали-вали... Ради бога, сударь, скажите, что-нибудь вашему сыну!

— Павлик!

— Ты, папка, как попугай.

— Что-что? Как ты сказал? Ну-ка, повтори!

— Пусть баба Эра повторит. Это она..

— Трали-вали... Что? Ах ты негодник! Когда это я?.. Вот я тебе дам!

Павлик стремительно бросился наутек. Эра Спловна громко вздохнула.

— Наплодят детей, а сами руки умывают. Пусть, мол, старики их до ума-разума доводят... Рена в вечных экспедициях, они так ей нужны, как не знаю что, все золото ищет. Где оно у нас, на Украине, то золото?.. Мелентий Силыч до сих пор в санатории, так разве ж я сама в состоянии справиться с этим сорвиголовой?

А на что ты способна вообще — идиотские прозвища придумывать?

— У вас, случайно, не найдется адомопирина?

— Трали-вали... Амидопирин? Меньше смалили бы... Протрет балахи — уже сигарета в зубах. Ведь вы же безвольный.., Лоскутное одеяло, а не мужчина. Хочешь — под ноги стели, хочешь — на стенку вешай. Никакого стержня. Будь я на месте Рены, ни единого дня не стала бы жить с вами... Сейчас поищу.

Дожил: жуть с ружьем, попугай, лоскутное одеяло, а еще как?

3

На столе перед ним внезапно зазвонил телефон. Испуганно бросился к аппарату, быстро снял трубку:

— Кошай слушает.

— Это Бурлака.

— Какой Бурлака?

— А ты которого вызывал?

— А-а, Савва Бенедиктович! Богатым будешь, старик, не узнал твоего сочного баритона.

— Ты зачем вызывал?

— Не вызывал — зайти просил. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

— А в чем дело?

— Хочу, старик, посоветоваться с тобой по одному делу.

— Ладно, сейчас приду.

Кошай кладет трубку, закуривает сигарету.

А чтоб тебе, как нервы развинтились. Уже телефонных звонков пугаюсь.

Трали-вали, нервы... Так лечитесь, если у вас нервы... Ложитесь в психиатричку, в восемнадцатое отделение.

Может, и в самом деле лечь?

«Так, говорите, даже телефонных звонков пугаетесь? И давно это у вас началось?» — «Не помню... не могу припомнить».

Память временами делает нам плохую услугу... Насколько легче и проще стало бы жить, если бы можно было перечеркнуть прошлое. Так нет же, оно напоминает о себе даже тогда, когда меньше всего тебе этого хочется... И воспринимаешь это прошлое как горький укор за то, что все могло быть иначе.

...Тогда точно так же внезапно взорвался телефон и хриплый голос спросил, а потом приказал:

— Дипломант Кошай? Важничий говорит. Немедленно явитесь ко мне!

Кошай уже три месяца отбывал преддипломную практику на новоселовских гранитных каменоломнях, руководителем у него был главный инженер, директор же никогда не интересовался им, и вдруг этот вызов.

Когда переступил порог директорского кабинета, почувствовал, что колени у него подгибаются.

Важничий ощупал его колючим взглядом, молча указал на стул, а сам отошел к окну и стал спиной к Кошаю, коротконогий, вислопелый.

За окном густо цвели каштаны.

Они зацвели вчера. Кошай заметил это, когда под вечер стоял у киоска, где договорился встретиться, чтобы пойти в кино,пил теплый лимонад, потом почувствовал знакомый запах, поднял голову и улыбнулся белым свечкам,

И когда Она пришла на свидание — в индийских бононожках, в бело-розовом платье, загорелая, с открытыми руками и шеей, красивая и возбужденная, близкая и в то же время далекая, недоступная, так что его даже охватило сомнение, не приснилось ли, случайно, все то, что было между ними, — он несмело взял ее за руку и сказал:

— Сегодня расцвели каштаны.

— К сожалению, они скоро осыплются, — ответила Она. — И уже ни липовый цвет, ни тополиный пух не возвратят утраченного ожерелья весны... Мне всегда грустно наблюдать за тем, как утром подметают осыпавшийся каштановый цвет... Смешно, не правда ли?.. А мне очень хочется встретить рассвет среди цветущих каштанов.

— И мне тоже...

Важничий все молчал у окна, и Кошай тихо произнес:

— Слушаю вас, Глеб Софронович.

Важничий обернулся, вынул сигарету, закурил, и пепел густо посыпался на клапан кармана его габардинового френча.

— Хорошо, что готов слушать, — разговор будет долгий и не весьма приятный.

Кошай почувствовал лишь теперь, как заныли у него пятки.

Разговор будет долгий и не весьма приятный... О чем?

Заложив руки за спину и шевеля пальцами, Важничий мерил шагами ковровую дорожку, время от времени пытливо поглядывая на Кошая.

— Насколько мне известно, вы женаты?

— Да, женат.

— Давно?

— Почти полтора года.

— Кто ваша жена?

— Студентка нашего института.

Важничий опять остановился у окна.

— Три месяца без женщины — как мужчина, я мог бы это понять... Все мы были молоды, г-мм, м-да... И мне было бы наплевать на то, с кем вы там шуры-муры крутите... Однако я не только мужчина, прежде всего я — руководитель большого предприятия, которое поставляет гранит даже для столичных монументов. И мне далеко не все равно, если марают честь коллектива.

— О чем вы говорите?

— А ты не догадываешься?.. Какие же у вас отношения с нашей плановичкой?

...В кинотеатре они смотрели итало-французский фильм «Дни любви». В зале было тихо и темно. Решился взять ее руку в свою и до боли закусил нижнюю губу — Она сжала ему пальцы.

Любит... Она его любит...

— А какие у нас могут быть отношения?

— Не прикидывайтесь ягненком. — Важничий закачался перед Кошаем на носках хромовых сапог. — Думаєте, если шляетесь за городом, вылеживаетесь в копнах, так все што-крыто?.. Ай-яй-яй, святая простота. Новоселовка не Киев, где народу как тех муравьев и никому нет дела никакого до тебя. Тут каждый на виду.

...После сеанса, по дороге к Шумавке, рассказывал ей про этрусков.

— Ты так много знаешь...

Шумавка пахла парным молоком.

Над осокой стлался вечерний туман, впереди чеканился четкий силуэт лодки с рыбаком.

— Лебеди, — сказала Она. — Ты видишь лебедей?

— Вижу.

Провожал взглядом белые облачка, и ему в самом деле казалось, что видит лебедей.

— Куда же они плывут?

— Не знаю... Только мне хочется за ними следом.

Она умоляюще посмотрела ему в глаза:

— Ты не будешь сердиться на меня?

— Сердиться? За что?

— Нет, ты пообещай.

— Хорошо, обещаю.

— Сегодня я купила тебе вышитую рубашку... Привезли в универмаг. Случайно зашла в обед, женщины, девчата брали нарасхват, ну и я...

— Но ведь, дорогая моя...

— Молчи! — закрыла ему рот теплой ладошкой. — Имею я право подарить тебе рубашку? Имею! Она пойдет тебе...

Они приблизились к лодке с рыбаком.

Вроде Важничий...

Помятая, будто в ней просо толкли, шляпа, куцый

парусиновый пиджачок, сигарета в длинном мудштуке, — конечно же он.

Кошай собирался повернуть назад, однако было уже поздно.

Важничий кашлянул, наживляя червяка на крючок.

— Гуляете, молодые люди?

— Гуляем... Рыбка ловится?

— Раки.

Когда прошли мимо него, Она спросила:

— Тебе неприятно, вижу, было встретить нашего Пипина Короткого? ..

— А-аа, пошел он подальше...

Неожиданная встреча с Важничим все-таки портила вечер, но вскоре все это позабылось. Забылись дневные хлопоты и неприятности, исчезло ощущение времени и пространства, абсолютно все стало аконстантным. Ему вновь казалось, что в этом мире только и существует, что терпкие уста, темно-лучистые глаза, молодое, налитое силой и желанием тело, дурманящий запах сена первого укуса, кваканье лягушек, месяц над лугом, разливший спокойное и ласковое сияние.

— Почитай мне свои стихи.

— Хочешь, я напишу стихи про этот вечер?

— Что же ты напишешь?

— Напишу, как люблю тебя.

— За что меня любить?.. Я — посредственность...

— Нет, ты необыкновенная... Я счастлив с тобой.

Ему было удивительно легко и спокойно. Лежал на ее коленях, смотрел снизу вверх на ее лицо, освещенное луной, родное и дорогое, и был по-настоящему счастлив, как никогда в жизни...

Важничий вернулся на свое место, уперся локтями в столешницу, нагнул коротко стриженную голову и смотрел исподлобья на Кошай.

— Вам, голубчик, никоим образом не удастся убедить меня в том, что между вами платоническая любовь... Не на того попал... Вы хоть сказали ей, что женаты? Она знает об этом?

...Она перебирала тонкими пальцами его волосы и улыбалась:

— Самой даже странно... Вначале ты был для меня загадочным, будто сфинкс. Кто ты, думала я, великий актер или обиженное судьбою дитя? Теперь уже не-

много узнала тебя. И все же, по существу, ты для меня не совсем понятен. Мое воображение лепит твой образ, дополняя, шлифуя разгаданные черты... Не знаю, узнал бы ты себя в этом образе или нет?

— Но почему же, дорогая моя?..

— Наделяю тебя благородным рыцарством, чистотою души и окрыленностью помыслов, отбрасывая эгоизм и самовлюбленность. Мне кажется, ты не до конца искренен со мной, ты словно бы что-то скрываешь от меня.

Самое время, подумал Кошай, обо всем сказать.

Ладно, родная моя, собирался он начать свою исповедь, я долго не решался, а теперь скажу тебе правду... Да, к сожалению, я не свободен. Но семейная жизнь моя сложилась неудачно. Мы совсем чужие друг другу. Нас не соединяют ни любовь, ни уважение. А для нее я вообще ничто. Хотя бы раз за эти полтора года она приготовила мне завтрак или выстирала сорочку? Ничего подобного!

Со стороны Кошай увидел себя таким обездоленным, таким обманутым, что даже слезы навернулись ему на глаза. Но внезапно он трезво подумал, что исповедь его покажется ей неубедительной, банальной, и тогда — всему конец, он потеряет все.

— Что же ты молчишь? — спросила Она.

— Ты говорила, что тебе очень хочется встретить рассвет среди цветущих каштанов... Можно прийти к тебе, и мы вместе встретим утро?..

— Если бы ты был послушным...

— Я буду очень послушным... И я тебе скажу что-то... Что-то очень важное... Что-то такое, что должно решить мое «быть или не быть»...

— Хорошо... Приходи...

Когда он возвращался в общежитие, на него бросались бездомные поселковые псы, а Кошай хотел бы, чтоб это были тигры или львы — он бы им показал!

Утром проснулся с невыразимой щемящей тревогой в душе.

«Сегодня... Сегодня я все ей скажу. Сегодня все должно решиться... Она моя первая настоящая любовь, и я готов пойти за нею в огонь и в воду...»

— Ишь, — продолжал между тем Важничий, играя красным карандашом, — подстилка ему дорожке карье-

ры! Стыд и срам! Еще раз говорю: мне было бы начхать на ваши шуры-муры, если бы вы оба были поосмотрительнее. Сделали свое дело где-нибудь под кустиком, ну и будьте здоровы, разоидеьтесь, как в море корабли, я тебя не знаю, а ты меня... А вы ж разгуливаете поселком и за его пределами, будто только что поженились...

— Послушайте, кто дал вам право...

— Сядь мне и ни звука! Я тебе дам «право»! Вы еще под себя мочился, когда я проходил Рим, Крым и медные трубы... Я сегодня же вышвырну вас с «волчьим билетом», я тебе такую характеристику нарисую, что тебя и в тюрьму не примут, не то что диплом... Молчи и слушай!

В пивной, куда Кошай забрел после этого разговора, знакомый буфетчик спросил его:

— Вы как будто поминки по ком-то справляете или что?

— Поминки?.. Да, вы правы.

Сам себя похоронил... Какой великий актер погиб!

В облаках табачного дыма перед ним двоились и трюились красные лоснящиеся лица.

«Надо стучаться во все двери: когда, наконец, создадите институт профорientации?.. Три жребия в шапке. Сунул руку и вытащил — политехнический институт. Наш Вонячин еще не давал горных инженеров... Понимаете: камнерезов, кузнецов давал, а вот инженеров еще нет. Буду первым!.. Честь и слава Парфену Дмитриевичу, нашему первому горному инженеру!.. Актный зал... Из-за стола поднимается декан факультета, розовый, будто младенец... «Товарищи, есть предложение: за моральное разложение студента Кошай исключить...» А потом что?.. А потом — куда?

Так хочется спать... Постелите мне, мама, я буду спать».

— Мамы здесь нет... Спать идите домой.

— А?.. Что вы сказали?

— Спать, говорю, домой идите...

Час тому назад прошел дождь... На тротуарах тускло блестели лужи.

А после дождя прохладно. Вот уже и в сон не клонит. Куда же идти?

А-аа, пройдуь немного. Подышу озоном.

Днем окна похожи на бойницы оставленных крепостей. Вечером же они оживают, потому что освещены. Огни влекут, будто лампа бабочек. И еще любопытно: один я люблю пастись в чужих окнах или таких много?

Превратиться бы в лунатика-невидимку, пойти по карнизам от окна к окну — эй, как вы тут, за цветными занавесками?.. Однако мой дом — моя крепость...

Никто не идет?

Чего доброго, подумают: грабитель, высматривает, как обчистить чужой дом.

Там, за цветными занавесками, — свои тайны.

Время от времени мелькнет невыразительная тень.

Как в театре теней. А разве есть такой театр?

Еще, наверное, бездомные заглядывают в чужие окна.

Это был не дождь, а настоящая гроза. Стряхнула с каштанов весь цвет.

Уже не встречать нам утро среди расцветших каштанов.

Неужели это ее дом? Действительно, тот самый! Зайду и все скажу. Собирайся, родная моя, поедem хоть на край света.

Лишь бы с тобой.

Исполненный решимости, Кошай открывал калитку. — Гав! Гав, гав!

Под ноги ему подкатился щенок, и он испуганно попятился на улицу...

...Вычеркнуть бы из памяти прошлое... Насколько легче и проще было бы жить. Однако — нельзя... Оно напоминает о себе даже тогда, когда тебе меньше всего этого хочется... И тогда воспринимаешь его как горький укор за то, что все могло бы быть иначе, не так, как теперь.

Сегодня же вызову Гаю телеграммой.

«Галя, я вызвал тебя, потому что нам надо поговорить... Так, как жили мы до сих пор, дальше жить нельзя... Сын совсем отбился от рук... Давай начнем все заново... я люблю тебя, Галя... И нам надо быть вместе».

Ох, опять этот привкус печени на зубах!

Наливает минеральной воды, стакан тихо позванивает о бутылку...

— Парфен Дмитриевич, — с порога докладывает секретарша, — пришел Савва Бурлака.

— Немедленно просите... И больше никого ко мне не впускать.

Кошай выходит из-за стола, встречает Савву посреди кабинета.

— Принял хозяйство?

Ишь, как встречает, усмехается про себя Савва, будто старого приятеля. Руку на плечо кладет, в глаза заглядывает так преданно. За что же такие почести?

— Принял.

— Садись вот сюда, поближе... Где нынче обедать думаешь?

— Напекаешь на магарыч?

— С тебя причитается. Но сегодня я угощаю.

— По какому случаю?

— У меня же высокий гость.

— Ну конечно же, этот... Важничий.

— Кстати, старик, ты произвел на Глеба Софроновича наилучшее впечатление. — Кошай уже вернулся на свое место, раскачивается в кресле, серые его глаза не мигая смотрят на Савву. («Не загипнотизировать ли меня хочешь», — думает Савва). — Говорит, это, мол, беспрецедентный случай — еще не дипломированного, хотя и опытного работника-практика выдвигают на такую высокую руководящую должность. Однако он активно поддерживает мою рекомендацию. В скобках замечу: Важничий мой первый руководитель, когда-то он был директором Новоселовского карьероуправления, — еще бы! Известные новоселовские граниты! — и у Глеба Софроновича я отбывал преддипломную практику, он наставлял меня на путь истинный, учил уму-разуму. — Кошай на мгновение задумывается, словно вспоминает что-то. Потом продолжает: — Так вот, Глеб Софронович пророчит тебе блестящую карьеру. С такой биографией, говорит, Савва Бенедиктович далеко пойдет. Знаешь, дружище, я даже не сомневаюсь, через год-другой ты будешь сидеть в этом кресле, а может, и повыше поднимешься... Ну вот, опять ты улыбаешься, как Мефисто... Смотришь на меня и думаешь: ну и карьерист же этот Кошай, спит и видит высокое кресло. Разве не так? Так.

Вижу тебя насквозь. Ну да, если уж пошло на откровенность, должен глубоко тебя разочаровать. Я не карьерист, даже и не приспособленец. Просто трезво смотрю на жизнь... На Замковой горе памятник жертвам первой мировой войны. Ты его знаешь, конечно. А что написано на плите — обратил внимание? Напомню. «Здесь похоронены полковник Обносов и триста низших чинов». Смекаешь, в чем весь фокус?

— Хочется выбиться в полковники?

— В крайнем случае, если не суждено в генералы... Подумаешь, что вот так можно и затеряться в жизни, как один из этих трехсот нижних чинов, и становится, мягко говоря, не по себе... Это, старик, очень сложная проблема...

Звезды, большие и малые, образуются из разреженной космической пыли, газа. И чем большая рождается звезда, тем короче ее век... У звезды средней величины больше шансов на бессмертие...

А в институте Макса Планка однажды в аквариум с рыбками поместили часовой механизм. Заставили его тикать то чаще, то медленнее, чем дышат рыбы. Несчастные существа задыхались. Нечто подобное творится и со мной, — думает Савва, — когда слушаю Кошю».

— Надеюсь, — не выдерживает Бурлака, — ты вызвал меня не для того, чтобы разрешать эту проблему? Давай ближе к делу.

Кошай долго хлопает себя по карманам.

— Склеротиком становлюсь. Забываю, куда кладу зажигалку. Ага, вот она!

Ты чем-то взволнован, Кошай, отмечает про себя Савва. Сидишь, будто мышь под венником.

Кошай некоторое время смотрит на каменного идола, потом несмело поднимает глаза на Савву.

— Хочу, старик, — говорит глухо, — попросить тебя оказать небольшую услугу... Понимаешь... — кладет карандаш, хрустит пальцами, — понимаешь, старик, неожиданно-негаданно влип в одну историю... Приехал этот инспектор, ну, Глеб Софронович. Свалился как снег на голову. А вчера и говорит мне: хорошо б, мол, куда-нибудь на природу выскочить, какую-нибудь дичинку убить, душу, так сказать, отвести. Ну, как ты ему откажешь? На комбинате, как назло, приключение за приключением. Наловит блох, сварганит докладную, такая

заварится каша, что... Сам понимаешь ситуацию... Ну, договорились с Куликом; он и повез нас на Любомиров кордон.

— На Любомиров кордон?

Саввина клюшка с грохотом падает на пол.

Кошай съезживается.

— Ну да... Не мог, жук колорадский, на другой кордон повезти.

«...А лес на кого оставит?.. Вот и передал, чтоб запасли ему для кордона керосина, соли, сахара, крупы да и переправили ему с какой-нибудь оказией... Один как перст в хате... Только Найдик... Теперь косулям туго приходится, вынужден их подкармливать...»

— Подстрелили двух косуль...

— Отвели душу?

— Ну какие это косули. Одни мумии. Волки все равно загрызли бы... К сожалению, не смогли найти с Любомиром общий язык... Может, ты, а, Савва? Я дам машину, подскочи на кордон, попроси за милую душу...

В приемной скучающая секретарша прислушивается к доносящемуся из-за двери разговору, однако, к великому своему огорчению, ничего не разбирает. Вдруг в кабинете шефа раздается какой-то грохот, потом истошный вопль Парфена Кошай:

— Помогите! Спасите!

Секретарша испуганно открывает дверь. Посреди кабинета валяется разбитый вдребезги каменный божок. А самого шефа разъяренный Савва Бурлака колотит о стенку:

— Ах ты, мумня!..

Глава девятая

1

— Андрийко, выйди-ка, сынок, на улицу — начнем уже обрядать ее. Пора...

Устало поднимаешься с низенькой колченогой скамеечки. Цепляешься в сенях за порог, отворяешь дверь в седую тьму. Шел бы сейчас куда глаза глядят, но путь твой преграждают ворота. Старые ветхие доски прогибаются под локтями.

Улица — будто высохшее русло. Меловыми холмами на берегах этой мертвой реки застыли хаты. Ни огонька, ни звука. Только где-то высоко-высоко над твоей головой обвально грохочут реактивные самолеты. Сейчас то самое время, когда повсюду таятся смутные тени.

Просила, чтоб ты простил ее. . .

2

— Глухой! Глушмак! Сожрал дохлых семь собак! Видишь их раскрытые пасти и, хотя не слышно голо-сов, догадываешься, что выкрикивают они именно это. Стоишь перед немойтой и нечесаной ордою — ровесника-ми с вашей околицы, с которыми еще совсем недавно играл в войну, лупил варягов с соседней улицы, забирался в чужие сады, — стоишь и немо вопрошаешь: за что ж вы теперь ненавидите меня, почему чураетесь, гоните прочь? Неужели только за то, что не слышу ваших голосов?

— Что гляделки вылупил?

— Бей его!

— Дай ему под дых!

Много позднее поймешь: то был отзвук войны — нена-висть и злость в детских сердцах. Отцов взяли на фронт, матери от зари до зари в полях, на фермах, дети броше-ны на произвол судьбы, инстинкты, в обычных условиях сдерживаемые родительским словом, взглядом или ру-кою, без надзора расцвели буйным чертополохом. А еще свежи были воспоминания о том, как на майдане перед сельской управой пытали и казнили односельчан, вылов-ленных партизан, пленных красноармейцев, местечковых евреев. Маленькие сердца обливались кровью, перепол-нялись лютой ненавистью к оккупантам и предателям, жаждали мести. Над кем же вершить теперь суд пра-ведный? Оккупантов и предателей изгнали, фронты от-катились на запад, и, наверное, тебя уже не возьмут, пока подрастешь, войне придет конец. Потому и били пришлых с чужих улиц, из чужого села, не миловали и своих соседей: рыжих, рябых, кривоногих, горбатых, глу-хих и немых — одним словом, всех, кто хоть чем-нибудь вызывал отвращение. А возможно, вы, дети, просто под-дражали взрослым, играли в ту же страшную и жестокую игру, что и они.

Тебе было до слез обидно, горько.

И ты в тоскливом одиночестве бредешь в степь, густо поросшую белыми ромашками, красными маками и седой полынью.

Над древним Чумацким шляхом — островерхий курган — «могила». Теперь эта «могила» стала пониже, будто в землю вошла, а в то время приходилось задирать вверх голову, чтобы увидеть ее вершину.

На склонах островками кустятся щавель и дикий чеснок.

Жадно уплетаешь и щавель, и чеснок и, немного утолив голод или, как говорит мать, заморив червячка, на четвереньках карабкаешься вверх, откуда хорошо видно извилистую ленту Буга, Волчий лес, железную дорогу. Лицо щекочет ковыль, из-под ладоней испуганно шарахаются зеленые ящерицы — зеленые они, наверное, оттого, что тоже перебиваются на щавеле да диком чесноке.

Вот и река, и лес, а вот и железная дорога. Говорят, по этой чугунке можно удрать на фронт. Туда непрерывным потоком грохочут военные эшелоны. Сейчас по насыпи катятся черные бочонки, а паровоз курчавит горизонт седыми смушками дыма.

«Бочкарь» ныряет в Волчий лес, будто прячется от немецких самолетов, которые неожиданно могут спикировать со стороны солнца, только дым еще долго курчавится следом.

Где-то в той стороне, куда укатил «бочкарь», за тем далеким Волчьим лесом, тающем в сиреневом дымке, — уже фронт, война. Там мой тато. А может, и не там. Кто его знает.

Ложись лицом к небу. Высоко-высоко над тобой плывут облака. Собственно, они не плывут, а неподвижно висят над пропастью, которую тебе напоминает и небесный свод, и весь мир.

Вот если б можно было долететь каким-то чудом до того облачка, что смахивает на копешку сена, лечь на него животом и, подперев лицо ладонями, смотреть оттуда на землю! Какая она сверху, наша земля? Можно ли оттуда увидеть нашу хату, трубу сожженного румынами сахарного завода, где когда-то работал батько, казачку «могилу»?.. Вот вырасту и пойду в летчики. Прилечу на самолете и сяду здесь, за курганом, на поскотину. Сбежится весь Зеленый Гай, и все мне станут

завидовать... Только возьмут ли меня в летчики? Да нет, пожалуй, не возьмут. Таких не берут. Да, таких, как я, не берут.

В глазах у тебя туманится, небо становится ниже, а облачка будто кто-то на рождественскую карусель посадил — кружатся, кружатся. Это уже голод себя знать дает. Пора домой. Мать уже возвратилась со скотного двора и наварила борща из крапивы. А может, и молоденькой картошки нажарила.

— Это ты, Андрийко?

Постепенно забываешь, каков он, голос матери, научился угадывать, что она говорит. Чужих тоже можно понять, только бы губы были видны.

На покутье, под иконкой распятого Христа, сидит чужой.

Со временем узнаешь: звали его Романом Алексеевичем.

А тогда он был для тебя просто чужой.

Глаза у него такие васильковые, будто вышивки на маминой сорочке. Эту сорочку мать надевает по большим праздникам. Какой же праздник сегодня? Может, троица? Почему же хата не украшена зеленью и пол не устлан татарником?

Высокий, крутоплечий, Роман Алексеевич откладывает в сторону раскрашенную деревянную ложку (мать говорит, что это отцова ложка), подает тебе широкую ладонь, а на гимнастерке из доброго сукна всколыхнулся «иконостас» — ваш сосед Демид Шкретный так называет свои ордена и медали, которых у него тоже — будь-будь.

Подает руку и что-то произносит.

Что же он мог сказать тебе? Ты пристально смотрел на его сочные губы, однако не мог понять ни слова. Догадывался о содержании по ответам матери. Пожалуй, он мог сказать тебе:

— Ну, казаче, будем друзьями! Как тебя зовут?

— Он же не слышит, — горестно вздыхает мать.

— Что, он врожденный глухонемой?

— Не глухонемой, а глухой... Несчастный случай...

Слава богу, хоть жив остался...

Она права, мать. Могло быть и хуже.

Это произошло вскоре после того, как в село вошли наши.

Едва мартовские снега разлились мутными прудами, затопили канавы (деревья в канавах, особенно березы, напоминали молодич, вошедших в воду мочить коноплю), как все выходили в поле, выкапывали мерзлую картошку — из нее пекли на тавоте деруны.

Из-под сожженного немецкого танка, беспомощно уткнувшегося длинным хоботом в землю, вдруг выскочил заяц, вылинявший и тощий, запрыгал впереди. Сделал несколько неуклюжих прыжков — и земля встала на дыбы в грохоте и пламени. Мать заслонила тебя всем телом, и ты почувствовал, как она дрожит.

На краю картофелища стояло двое военных с длинными металлическими палками в руках. Когда вы приблизились к ним (дорогой мать говорила тебе: «Смотри под ноги, видишь, я и забыла, что тут заминировано», она могла и не говорить этого, ты все равно ничего не слышал), те двое военных были белее известки, а один из них сказал: «Считайте, вы родились в сорочке»... Ты лишь догадываться мог, что именно так он сказал, ибо с того самого мгновенья, когда в грохоте и пламени исчез ушастый, мир для тебя онемел...

— До кого только не водила, — снова горестно вздыхает мать, закончив свой рассказ. — Только последнее из хаты отнесла...

— М-гм-хм... Ничего страшного, когда-нибудь заговорит. Наверное заторможен какой-то там нерв. На фронте и не такое бывает... Что ж подарить тебе, казаче? Гармошку хочешь? Трофейная... Учись, будешь когда-нибудь музыкантом.

— Как же он будет учиться, если ничего не слышит?

— М-гм-хм... Ну, все равно бери. И не падай духом.

— Садись, Андрюша, ужинать.

Пужинав, бежишь на улицу.

— Ага-ага, а у меня что-то есть!

Твои одногодки прекращают игру в чижика, подходят с недоверием, обступают тесным кольцом.

— Покажи!

— А примете играть?

— Там видно будет. Показывай, что у тебя там!

Вынимаешь руку из кармана, разжимаешь крепко стиснутый кулак.

— Гляди-ка, гармошка!.. Где взял?

— А какое вам дело?

— Дай поиграть!

— Мне не жалко, играйте.

Играют по кругу. Когда дуешь в гармошку, почему-то скоро начинает кружиться голова. Вот и у них глаза посоловели. Но возвращать гармошку не спешат. Ты уже начинаешь опасаться, вернут ли вообще. А им что? Попробуй отними! Они и от матери убегут.

— А это правда твоя?

— А то чья же?

— А где взял?

— Ну...

Тебе не хочется говорить, кто подарил гармошку.

— Вот тебе и «ну»... Наверное, украл... А ну-ка, говори, у кого украл?

— Я не крал.

— А брешешь, глухарь! Хлопцы, бей вора! Бей глушмака!

Тебе удалось вырвать гармошку из их рук, ты убегаешь на свое подворье, они швыряют комьями земли вслед.

Сидишь в канаве. Еще дед выкопал, чтоб скотина огород не потравила да какой-нибудь пьяный возом не захал. Здесь, в чашах лебеды и паслена, тебя уже никто не найдет. Сидишь в гнезде из сухих листьев и сена, дуешь в гармошку, и тебе даже кажется, что ты слышишь, как она ладно наигрывает.

Поют ли теперь на селе девчата? Раньше пели.

Ой да в чистом поле
Батько ров копал,
Издали увидал,
Как боец упал...

И очень выразительно виделось то чистое поле, старый батько копает ров — и зачем он ему, этот ров, в чистом поле? — а вон там бегут в атаку бойцы, и один из них падает. Батько подходит ближе, а это лежит его сын.

Я, отец, не ранен,
Я убит лежу,
Сбей четыре доски,
Сделай мне труну...

И почему-то представлялось, что это ты и лежишь убитый, а над тобою на коленях стоит батько и слезы

катятся по его небритым щекам, а ты просишь батька сделать гроб, чтобы похоронить тебя по-человечески... И начинал плакать, и, плача горько и безутешно, думал о своем отце. Ты совсем ведь не помнишь его. Когда пытаешься вспомнить, перед тобой словно бы в раме окна мелькнет профиль молодого усатого мужчины в военной фуражке. Так вот мелькнет, и ты даже рассмотреть не успеешь, какой же он, твой тато. Не сбереглось ни единой фотографии отца: мать говорит, что батько был командиром, а когда пришли немцы с румынами, она спрятала все фотографии, а после забыла, где именно. Ты, конечно же, гордишься, что твой тато — командир, однако не знаешь, жив он или нет, столько лет — ни одной весточки. Ты просто веришь, твердо веришь, что тато твой непременно вернется, и тогда уже они, твои ровесники, будут подглядывать в шелку в вашем заборе, как теперь подглядываешь ты, когда возвращается чей-нибудь отец. Да, тато еще подаст о себе весточку, война ведь еще не закончилась, вон и дядько Антон еще воюет где-то под какими-то Яссами.

На том краю, где живет тетка Леся, на вечерницы собираются девчата-перестарки и парни-сопляки, вдовы и молодые мужчины-инвалиды, пришедшие с войны.

Пьют самогон, лузгают подсолнухи, играют в подкидного, обнимаются по углам да в сенях, поют тоскливые песни — что они тоскливы, видишь по лицам поющих. Туда же ходит и наш сосед Демид Шкребтий. Пойду, наверное, и я. Покажу дядьке Шкребтию гармошку, он музыкант, умеет и на кларнете, и на басу, и на барабане, так, верно, и на гармошке сможет.

Карты одни, поэтому играют по очереди. Для Панты Варгатого, хозяина колоды, делают исключение — Пантя играет, пока ему не надоест.

Тетка Дарка (все они для меня дядьки и тетки, даже Пантя Варгатый — дядько) угощает меня семечками, что-то спрашивает, уж не про маму ли. Пантя выпускает кольцо едкого дыма, прищуривает рябой, будто сорочье яйцо, глаз, шлепает толстыми губами-варгами (за губошлепство его и прозвали Варгатым). Тетка Дарка смеется, толкает Пантю кулаком в бок.

Дядько Шкребтий насупливает брови, что-то сердито им говорит. Может, даже, свою любимую поговорку: — Чем бочка налита, тем она и смердит.

В ответ на эти слова Пантя ущипнул тетку Дарку за бедро, тетка Дарка вскидывается, будто рыбина из воды; Пантя говорит что-то такое, от чего все катаются со смеху.

Становится тоскливо и неуютно в этой хате, просторной, как рига, затянутой паутиной табачного дыма, пропахшей самогоном, подсолнечным маслом и человеческим потом. Сердцем чувствуешь: тут перебивают косточки твоей матери. Однако домой идти тоже не хочется. Пошел бы к тетке Лесе, да на дверях у нее колдочка, куда-то уехала тетка Леся, уж не к дядьке ли Антону на фронт?

Чья-то рука ложится тебе на плечо. Это дядько Демид Шкребтий, оставшийся в дураках, уступил место следующему игроку, пересел к тебе. Дядько Шкребтий относится к тебе как к ровне, как к своему товарищу. Вот и сейчас говорит о чем-то.

Был ваш сосед прирожденным философом, и тебе нетрудно сейчас представить, какими словами утешал он тебя.

— Не держи на них сердца, брат. Это сейчас они такие, а когда-то были другими. Скажем, Дарка Арехтова. За Арехтой была тише воды, ниже травы, а не стало Арехты, будто сатана в нее вселился. Так и другие, кто не дождался своих. Они, видишь ли, уже не в силах носить под сердцем свое невыплаканное горе, становятся им легче, если допекут кого-нибудь. После и совесть их грызть будет, а все же злое утешение есть, мол, не только меня судьба побила... Кого тут винить?.. Война, будь она проклята. Одному искалечила тело, а другим — душу.

Домой идете вместе с дядькой Шкребтием.

Пахнет пылью, молоком — прогнали стадо, и молоко у некоторых коров брызгало из вымени в пыль, пробивая маленькие воронки. Теперь ведь весь мир для тебя состоит из запахов... Где-то варят запоздалый ужин у погребца, кто-то печет лепешки из желудей...

Особенно чудно бывает тебе по вечерам. Идешь по улице, а тебе кажется, что бредешь по глубокому яру, куда не доносится ни единого звука, откуда только звезды видны.

Дядько Демид Шкребтий вдруг придерживает тебя за локоть.

У ваших ворот что-то белесет.

Эге, видно, мать ожидает меня.

От этого белого отделяется что-то темное и высокое, быстро удаляется по улице.

Хорошо, что темно, и дядько Шкребтий не видит, как на глаза наворачиваются слезы.

Дядько Шкребтий легонько подталкивает тебя в плечо, мол, иди теперь сам, вон мать встречает, и поворачивает на свою усадьбу.

Мать берет тебя за руку, ладонь у нее горячая, прямо пышет, ты и не помнишь таких горячих ладоней у матери, ведет в хату.

Коптилку не зажигает, в потемках укладывает тебя спать, а сама еще долго возится в хате, потом садится у окна, в свете луны, взошедшей и словно бы повисшей на верхушке тополя, видна ее голова, подпертая кулачком.

Ой возьму я креселко,
Сяду под оконце,
Еще очи не дремали —
Уже всходит солнце. . .

Любимая песня матери. Она часто пела ее по вечерам, сидя вот так у окна. . . А если твоя мать заводила песню где-то на людях, все умолкали. Когда ты еще мог слышать, как поет мать, что-то непонятное творилось в твоей душе. К горлу подкатывал давящий комок, на глаза наворачивались слезы, и тебе хотелось в тот миг всех любить. . . Это брала тебя не осознанная еще гордость за голос матери, за ее песни.

Поет мать или просто сидит у окна, смотрит на луну, думает? . .

Пахнет крепким табаком, чужим духом, и тебе так сиротливо в запечье.

Наконец мать ложится рядом, но не обнимает тебя, как бывало раньше, не ласкает, лежит лицом к потолку, закинув руки под голову, и ты чувствуешь, как вздымается ее грудь, а потом ощущаешь, как что-то холодное заползает тебе в душу, стискивает сердце, стискивает так, чтобы никогда уже не отпустить. . .

Верхняя доска ворот не выдержала веса твоего тела, сухо треснула, острые края больно уперлись под сердце.

Нет, это не те ворота...

Те ворота исчезли неизвестно куда.

А эти смастерил отец недели через две после того, как вернулся.

Наверное, ты вспомнишь эту встречу даже в тот последний миг, когда отчетливо поймешь, что уже все, что возврата нет, остается одно: медленно закрыть глаза и испустить дух... Люди не многое берут с собой, уходя в небытие. Одно-два лица, одно-два слова, одну-две встречи. Именно эту встречу ты и возьмешь с собой...

Пройдя мимо раскорячившегося куста терна, замечашь: на срубе кринички сидит кто-то чужой. Худуший, заросший. Фуфайка, сапоги, а на земле, возле ног, грязный вещмешок. Опять нищий забрался к нам в сад, опять будет просить хлеба, а где его взять, разве что вынести последнюю горбушку, а матери сказать, что очень хотелось есть?

Он устало поднимается со сруба.

Видишь, как зашевелились борода и усы.

Ну уж так и быть: вынесу вам ту горбушку, а там будь что будет. У вас, наверное, несколько дней подряд маковой росинки во рту не было...

А мать уже бежит с подворья — простоволосая, в растегнутой фуфайке. Бежит, шатаясь, держа руку на сердце, и стрекучая крапива больно жалит ей колени, бело поблескивающие из-под ветхой юбочки.

Подбежав, мать прижимает тебя к груди, словно ищет защиты, потом присаживается на корточки.

— Куда ж ты, Андрюша?.. Вон батько наш вернулся... Понимаешь, батько!

«Этот нищий старик — мой отец?»

В одном шаге от отца мать остановилась; оторвала руки от груди и бросила их отцу на плечи, обвинив его шею...

Русая коса забилась под черной отцовской бородой.

А вскоре ты сидел на худущих отцовых коленях, и отец уже пахнул мылом, чистым полотняным бельем и чем-то еще, тревожно далеким и чужим.

Со временем, когда ты подрастешь, отец расскажет тебе о чужом и далеком студеное море, холодное дыхание которого он принес тогда с собой. А еще позднее оно предстанет перед твоим взором наяву, и его расходящиеся валы оставят на твоих губах солоноватый привкус. Третий помощник капитана, стоявший рядом, скажет:

— На этом острове был фашистский концлагерь.

— Я знаю...

И ты увидишь тот проклятый остров в сильный морской бинокль, только там уже не будет одинокой елки, под которой заключенные иногда отдыхали, смотрели на чаек и тихо, чтоб не услышала охрана, напевали:

Ой горе той чайке,
Ой горе убогой,
Что вывела деток
При битой дороге...

И хотя ты не увидишь одинокой елки, в твоем растрогаанном воображении сухо треснет выстрел, чайки с криком взлетят вверх, одна же камнем упадет в пенные волны, и холеный арнец ткнет парабеллумом:

— Эй, рус Иван, подай мне эту чайку! Лезь в воду и достань мне чайку!..

Ты сидел на костлявых отцовых коленях, мать хлопотала у печи и что-то рассказывала.

...Настанет последняя отцова осень. Ты приедешь в отпуск, будешь сидеть за столом в лейтенантских погонах, и отец, уже безнадежно больной, только об этом никто еще не догадывался, влюбленными глазами будет поглядывать на две маленькие звезды, поглаживая седые усы, а мать, подавая на стол, скажет:

— Хоть ты и не дал телеграммы, я чувствовала, что должен приехать. И ласточка в стекло стучала, а уж когда ласточка стучит в стекло, так жди гостей.

И в ту волнующую минуту твои родители возобновят в памяти и эту встречу и эту беседу.

— Сели утром с Андришкой завтракать. Мешаем ложками в миске, чтоб юшка скорее остыла, когда вдруг стук в окошко. Оборачиваюсь — ласточка. У меня сердце так и екнуло — ты должен сегодня прийти... Вот и не верь после этого приметам.

— А я все представлял себе, как приеду. Доберусь до дому поздно, когда вы уже спать будете. Подойду к окну и тихо, чтоб не испугать вас, постучу три раза. Но случилась оказия — встретил на станции Демида Шкребтя. Подвез до казацкой «могилы», а там уж я напрямик подался... Дошел до кринички — и такую жажду почувствовал, будто не пил воды все эти годы. Сбросил вещмешок, лег грудью на сруб, хотел шапкой зачерпнуть, вода была прозрачная, подумалось, что сейчас увижу звезды, которые искал в детстве, а увидел на дне рогатую немецкую каску. И пить мне сразу расхотелось. Присел опять на сруб, закурил. Сад только почки завязал, только-только зеленым дымком покрылся, и почки кажутся похожими на клейкую мошку, и мне захотелось плакать от счастья, что я снова вижу все это.

Подумалось: первое, что сделаю дома, — это выкошу на межах крапиву и бурьяны. И уже засвистела в моем воображении хорошо отбитая коса — и вот чертово зелье зеленой юшкой сбегает, ложится в покосы. Цигарка дотлела, присмалила пальцы, и тогда я увидел Андрея, он шел в сад, разводя крапиву посошком...

Вскоре после этого разговора сошлись гости — со всей околицы, из каждой хаты, откуда ушли хозяева или сыновья, ушли да так и не вернулись до сих пор. — Может, Зинько, где-нибудь и нашего встречал?

Отец рассказывал много. Рассказывал и пил. Потом обнял дядька Шкребтя за плечи, пел.

Опьяневши, отец любил петь:

Ревела буря, гром гремел...

Бывало, начнет об этом, до конца не допоеет, сначала начинает. Тетка Леся, отцова сестра, сидя за столом, дергает его за рукав:

— Да хватит уже, Зиня, эту ревелу... Другой не знаешь?

Отец взглянет на сестру задумчиво, отчужденно, склонится на руки и снова выводит:

Ревела буря, гром гремел...

Наверное, и в тот вечер отец пел про Ермака.

А на следующее утро ты смело бежишь на улицу.

Теперь они не посмеют тебя обидеть. Отец уж тебя защитит.

А они толкутся перед вашими воротами, смеются, что-то выкрикивают, показывают пальцами на доски. Ты глянул — и сердце твое оборвалось: все ворота вымазаны дегтем! Тогда ты еще не знал, какой это pozor, если кому-то вымазывают дегтем ворота. На твоей памяти это был первый случай в Зеленом Гаю.

Отец бреется, а мать катает рубелем его вышнюю сорочку.

— Кто-то наши ворота дегтем вымазал.

Мать становится белее отцовой сорочки, медленно садится на скамеечку. Отец смотрит на маму, потом на тебя, вытирает мыло с лица ладонью и с недобритым подбородком выходит из хаты.

За ордой только пыль клубится.

Тато задумчиво стоит перед воротами, потом не спеша направляется по улице прочь от вашего двора, и плечи его жалко сутулятся, и долго слышен хлипкий кашель.

Домой возвращается лишь под вечер.

Возникает в дверях, будто распятие, вороной с проседью чуб взъерошен (уж не подрался ли с кем?), всегда ясные, по-детски чистые, наивные и доверчивые, необыкновенно выразительные, словно бы живущие своей, отличной от всего лица жизнью, глаза грязно и дико помутнели, на губах запеклась пена.

И у тебя сразу же похолодели ноги, точно ступил в рождественскую купель, и холод поднимается все выше и выше, и хочется куда-то исчезнуть — провалиться сквозь землю, либо вылететь вместе с дымом через печную трубу, чтобы не видеть того, что должно сейчас произойти, непременно должно случиться.

Мать поднимается из-за стола, будто к молитве готовится, складывает перед собою руки, на лице ни кровиночки, одни карие очи светятся измученно и умоляюще.

Тато что-то произнес. Наверное, выматерился. Убрал руки с косяка, качнулся к посудной полке, потом ухватился за припсчек, совладал со своим дремучим хмелем, выпрямился, зажал в кулаке кофтенку на груди у матери, а правый кулак отвел далеко назад. И ты не сводил взгляда с этого кулака, он показался тебе больше и тяжелее гири. ударит раз — и матери нет...

— Не бей! Не бей маму! Ты!..

И ты повис на этом кулаке, потянул к земле.

Отец оттолкнул тебя в грудь, и ты отлетел в закут, под посудную полку. Падая, ударился об угол. И зажмурился — не так от боли, как от половодья звуков, ринувшегося тебе в мозг.

— Бей меня, бей! — стонала мать, упав грудью на стол, словно большая чайка. — Хоть совсем убей, но разве я виновата?.. Это война, будь она проклята!

— Мама ни в чем не виновата, — сказал ты с полу сквозь слезы, сясь подняться. — Если ты посмеешь тронуть ее еще хоть раз, то я... я убью тебя, когда вырасту!

Отец обернулся, изумленно посмотрел на тебя.

А мать подхватила со стола, упала перед тобой на колени, прижала к груди, целовала в лоб, в глаза, в губы.

— Андриечку!.. Сыночек!.. Ты слышишь?! Ты услышал, да?

— Услышал...

Тато, склонив голову, сидел у края стола, и плечи его мелко вздрагивали.

— Катя, — голос был ломким и хриплым, — прости меня, Катя... Во мне долго убивали все человеческое, а дома — такой позор... Как это мне переносить? Потому и... Прости, Катя, что руку поднял... Это в первый и последний раз... Будем жить, как и раньше жили... Сын ведь растет. Сынок...

5

Теперь у тебя нет никого. Ни отца, ни матери. Один как перст. К кому будешь приезжать в Зеленый Гай?

Будешь приезжать к опустевшей и осиротевшей хате, к обрушившейся криннице и заглохшему саду, на запавшие могилы отца и матери — самых дорогих для тебя в этом мире людей.

А еще будут встречать тебя тетка Леся и дядько Антон — они тоже осиротели на склоне лет своих.

Дядько Антон будет выезжать за тобой в Житники, на станцию, ждать терпеливо на перроне, потом будет бежать за вагонами, словно бы опасаясь, что ты можешь просохать свою станцию.

Будет выезжать, пока сможет, так же, как выехал в этот раз.

... Молча, по-мужски обнялись. Дядько Антон долго не отпускал твои плечи, и в этом ты почувствовал беду.

— Что с мамой, дядько Антон?

— Очень плоха... Застанешь ли еще... Сердце.

«Все вокруг ставят новые хаты. Только наша оседает в землю, ветшает, вот-вот рухнет и меня под собой похоронит. А ты все на чужой стороне. Как же не болеть моему сердцу, сынок?»

«Переезжайте к нам, мама. Будем жить вместе».

«Не хочется мне стеснять вас. Разве если большую квартиру дадут, где и для меня каморка найдется. А так...»

Вы переехали бы, мама, непременно переехали бы, если б невесткой вашей была другая, не Наталья.

Из поселковых улиц, слабо освещенных, выбрались в поле.

Здесь, посреди тихого и седого простора, на жгучих ветрах, под монотонное и тоскливое поскрипывание полозьев и тревожное пофыркивание коней, пугающихся то заснеженного куста шиповника, то придорожного столба, тебе припоминается та далекая зима, когда мать вызвала тебя телеграммой, — тяжело заболел отец, надо было везти его в Винницу, в областную больницу. Дядька Антона в селе не было — вызвали на какие-то курсы, за тобой выехала мать. Где-то здесь, между этих холмов, на полпути между Житниками и Зеленым Гаем, захватила метель. Исчезли куда-то все дорожные приметы, дрозды утонули в снегу по самый короб, кони захрапели, забились.

— Не заблудимся, мама?

— Будь спокоен!

Мать слезла с саней, уперлась плечом в рожон.

— Н-но, вороны!

Ты спрыгнул следом, но мать на тебя накричала:

— Куда в этих туфельках? Простудиться хочешь?

— Я закаленный, мама.

— Закаленный... Сейчас же мне садись в сани!

Коня потеряли шлях. Тогда мать взяла коренника за уздечку и, заслоня конские головы от метели своей грудью, пошла вперед...

И теперь ты видишь, как идет она впереди сквозь

густую метель. Вот так она и будет идти через всю твою жизнь...

— Когда же она слегла, дядько Антон?

— Постой, когда ж это было?.. Ну да, в среду. Пришел я с работы, тетка поставила передо мной миску борща, обедаю, вдруг вижу в окно: почтарка Дуня бежит! Вбежала в хату, лица на ней нет. «Ой, посылайте за фершалом, бо там тетка Катря!.. Письмо ей принесла, она как раз молочко вскипятила, так налила мне чашку. На, говорит, Дуня, погрей душу с холоду, а сама надела окуляры, взялась письмо читать. Спрашиваю ее: может, вам почитать, тетка Катря? А она говорит: сама почтаю, ты молочко пей, пока горячее. Прочитала или нет, только враз побелела, покачнулась на стуле... Едва я успела подхватить ее, довела до кровати, уложила, а она — как неживая... Я испугалась — и к вам...» Побежал я за фершалом, привел, он послушал да и говорит: вызывайте сына...

Что ж ты написал в том письме, что написал такого, чего не выдержало сердце твоей матери?

Когда ты ушел от Натальи, был уверен: мать встанет на твою сторону. Даже предугадывал, какое письмо напишет она в ответ: «Вот видишь, сынок! А ведь я еще тогда, когда ты жениться собирался, говорила: она тебе не пара! А ты не послушал. Так слава богу, что хоть теперь за ум взялся, иначе всю жизнь казнил бы... Конечно, Лесика жаль, да разве ж ты чураешься сына? Ну, теперь смотри в оба, чтоб не обжегся снова! Выбирай себе такую пару чтоб...»

Мать, однако, написала иное письмо. А потом в каждом письме уговаривала тебя опомниться, вернуться к Наталье и Лесику. А в последнем заявила категорически: «Если не вернешься к семье, откажусь от такого сына! Зачем мне этот позор?»

Объясняя матери, почему ты ушел, писал, что разлюбил Наталью, а без любви — какая жизнь?

Что ж написать ей после этого? Открыть ей правду? Но она слишком жестока. Рука не поднимается писать то, что было на самом деле.

Ты надеялся: расстояние и время притупят ту боль, что жгла тебя, испепеляла твои дни и ночи там, на далеких широтах Мирового океана, и здесь, на берегу. Увы! Не притупили, не успокоили. Напротив, разбере-

дили. Стоит остаться одному, как все это наплывает, как со всех сторон обступают воспоминания.

И в тот раз, когда надо было написать матери ответ, прошлое вновь стиснуло твое сердце, и ты спрашивал в смятенье: «Что это — фатум? Проклятие нашего рода? Чудовищное, невероятное стечение обстоятельств? Или же такова она, жизнь?!»

Отец и ты.

Мать и Роман Алексеевич. Наталья и Роман-механик. Слишком жестокая правда.

«Дорогая мама! Хотя мне и нелегко это писать, все же скажу еще раз: к Наталье — не вернусь. Никогда! И не уговаривайте больше меня. Уже ничего не изменишь. У меня есть женщина, которую я очень люблю...»

Для матери, для ее сердца этого оказалось достаточно...

6

Обрядили уже или нет?

Позовут...

Войдешь и увидишь свою мать уже в сосновом гробу — темное шерстяное платье (ты подарил ей это платье, чтоб было на праздники, мать примерила и сказала: «Эге, славное! В жизни такого не надевала, даже страшно... Спасибо тебе, сынок. Сохраню на смерть, в нем меня и похоронишь», — и спрятала в сундук), руки сложены на груди, в руках — обернутая платочком восковая свечка, глаза закрыты — никогда больше не посмотрят они на тебя с любовью или укоризной...

...Услышав, как подъехали сани к воротам, тетка Леся вышла на порог.

— Как там, тетя?.. Как мать?..

Тетка Леся припала к твоей груди, и ты почувствовал на холодной своей щеке ее теплые слезы и содрогнулся: отныне ты — сирота...

— Ждала тебя, дождалась, все спрашивала, не приехал ли, потом повела глазами по хате, остановила взгляд на твоей морской карточке, потом увидела меня и говорит: «Видно, Леся, не дожидаться мне сына... Буду помирать...» Если б хоть часа на полтора раньше, может, попрощались бы...

И ты уже не помнишь, как шел от ворот к порогу, кого там застал, в хате, но навсегда запомнишь холод воскового материнского лица, умытого последними слезами, успокоившегося и даже помолодевшего.

Кто-то подал тебе низенькую колченогую скамеечку, и ты сел перед мамой.

— Она что-нибудь сказала перед тем, как?.. Что-нибудь для меня передавала?..

— Просила, чтоб ты простил ее...

Просила, чтоб ты простил ее...

Отец! Родной мой!

Если б вы только знали, как мне сейчас тяжело! Если б вы только знали, как вы нужны мне сейчас! Да, я уже не маленький, сам батько, но вы необходимы мне и теперь, чтобы помочь распутать этот трагический клубок.

Умирая, вы наказывали мне: «Андрей, заклинаю тебя: жалею нашу маму, она — одна. Прежде чем совершить какой-то поступок, прежде чем решиться на что-то бесповоротное, подумай о матери, подумай о том, как все это отзовется в ее сердце, не ранит ли его... Жалею и береги, сынок, нашу маму!»

Стремился, тато. Стремился любить, жалеть и беречь нашу маму, как сын, сердце, однако, разрывалось надвое, потому что до сих пор не могу забыть, как страдали когда-то вы; потому что до сих пор стоит перед глазами тот, кто ел за нашим столом вашей ложкой, а потом ласкал нашу маму... Как же вместить в маленьком сердце все это: любовь и ненависть, сочувствие и презрение, жалость и отчужденность?

Теперь вот я виноват в смерти матери. Взял на душу грех, которому нет искупления. Ох, тяжело мне, тато!..

Просила, чтоб ты простил ее...

Мама!

Дорогая моя!

Великомученица и страдальца моя!

Что же я должен прощать вам?

Простите вы меня, своего жестокого сына, что не мог уделить вам ни минуты внимания, что не задавил в себе ту гадину, которая отравляла мою любовь к вам.

Мама моя, незабвенная няня!

Падаю перед вами на колени, целую закрытые ваши очи, умиротворенные руки ваши и говорю:

Сыновьям нечего прощать матерям своим!

Сыновья не вольны судить матерей своих, вольны лишь благословлять их!

Матери для сыновей остаются Великими и Святыми. В величии своем и в паденье своем.

И горе тому сыну, который осквернит святую память матери своей!

Простите меня, сына своего. Я не уберег вас. Простите, мама, если можете простить...

7

Обхватив голову руками, сидит Андрей на лавке у старых покосившихся ворот.

За воротами — улица. Будто пересохшее русло. Меловыми холмами застыли хаты по берегам этой мертвой реки. Ни огонька, ни звука. Только где-то высоко в небе, где-то там, под холодными и безразличными звездами, обвально грохочут реактивные самолеты, и гулкое эхо долго катится над забывшимся миром...

*Памяти отца,
Александра Захаровича*

ОЮНА



КНИГА ПЕРВАЯ

Чи всі ж тії та сади цвітуть,
Що зарані розвиваються?
Чи всі тії та вінчаються,
Що любляться та кохаються?

Из украинской народной песни

Глава первая. ПРОЩАНИЕ

1

Неуверенно, словно бы советуясь, кто-то шепотом спрашивает, не пора ли тушить свечи.

Гасить принимается Христя Заворитня. Общипывает огоньки щепоткой, точно уцелевшие лепестки осенних георгин. Цедятся кверху синевато-белесые дымки, легко прошивая золотистые подвижные солнечные полосы, косо падающие из бокового окна, извиваясь, тянутся все выше, к темноликим иконам Георгия Победоносца и Варвары Великомученицы, — в светлице к сладковато-дразнящему запаху горячего воска примешивается угарный дух жженого фитиля, а углы наполняются густеющими сумерками, надвигаются вплотную на гроб.

Немного постояв над гробом, Христя отходит в сторону, едва слышно роняет:

— Прощайтесь...

2

В глубине двора под старым развесистым орехом, отбрасывающим пятнистую тень через всю улицу, вплоть до плетня Знатьковой усадьбы, томятся сельские музыканты.

Ничипор Грузд, самый старый из них, оцепенело и грузно ссутулился на иссеченной топором дубовой колоде. Кларнет положил поперек острых хулущих колен, отрешенно смотрит в распахнутую дверь — оттуда будут выносить его. В сенях толпится множество народа: одни входят, другие, уже простившись с покойником, выходят; мужчины торопливо скручивают сигарки, но,

вспомнив, что они на похоронах, растерянно прячут курево; женщины жалостливо, краешками темных платков утирают повлажневшие глаза, горестно вздыхают, смекаются.

Другие музыканты, в большинстве молодые хлопцы — среди них и Груздов сын Максим, — закинув картузы в карман или за пазуху, столпились чуть поодаль: кто оперся на плотницкий верстак, кто прислонился к шершавому стволу ореха.

— И-и, со-кол ты мой ясный, и на ко-го ж ты нас по-кида-ешь?.. Свет без тебя померкнет...

«Прощаюся, — догадывается Грузд, заслышав полный отчаяния вскрик Варьки. — Шас выносить будут. — Груздово лицо, обожженное летним зноем и зимней стужей, искажает нервная (след фронтальной контузии) судорога — со стороны может почудиться даже, будто Грузд не к месту ухмыляется. — Эх, жизнь, в роги мать! Жизнь — что хвост у ящерицы: вчера еще болтался, а нынче — глядь, оборвался... Не верится. Еще ж весной вот тут, под орехом, калякали, а отошло лето — хороним...»

...В тот день как раз дубовые пни корчевал на леваде, по-над Бугом. Собрался перекурить, устало выпрямил ноющую спину и тут увидел Христю. Она неторопливо спускалась в леваду по склону Звенигоры. Сперва решил было уйти за кусты орешника, однако передумал. Спрятав кисет, старательно завозился в яме, выдолбленной вокруг пня, подсекая топором жилистые корни.

Христя остановилась на кладке:

— Помогай бог!

Угрюмо молчал. Махал топором и настороженно прислушивался: ушла или стоит?

— Кифор!

Матерясь про себя, нехотя повернулся лицом и обжегся об ее взгляд. Тоже фасон изобрела: повязывается платком так, вроде каждый день у нее похороны, — только глазища и светятся. Монашка — да и только. И говорит тихо, вкрадливо, заискивающе. На селе уже словию бы и забыли, что она — Заворитня, Монашкой зовут.

Стояла на кладке. На бледном осунувшемся лице мерцали большущие глаза — влажно и лихорадочно. Уж не возвращается ли из Житников, подумал, из районной больницы? Говорят, вроде прихварывала в последнее время... Они, глазища Христины, смотрели упорно, не

мигая, будто допытывались: «Не забыл?..» Удивляясь самому себе, ответил, тоже глазами: «Да нет, паринь, не позабыл...» Зажмурился так, что заняли веки, резко мотнул головой, как бы прогоняя наваждение.

— Чего тебе, паринь?

Даже не удивилась этому его «паринь» — слово стало для всех привычным еще с тех времен, как пришел с войны.

— Кифор, ты слышал новость?

Все еще чувствовал себя во власти ее цепкого горящего взгляда, нервные судороги чаще обычного передергивали лицо, затвердевшими негнушимися пальцами принялся застегивать ворот добела пропотевшей гимнастерки, угрюмо бросил:

— Ну?

— Земледух Корней Родионович, твой годок, слег... Опять раны открылись. — Стояла на кладке, смотрела и ждала. Потом добавила: — Собираются в Винницу везти. — Закрыла пол-лица темным платком, потуже стянула на подбородке концы и, тихо с ним простившись, заторопилась вдоль левады домой.

Все так же горбясь, бессмысленно глядел ей вслед, потом, будто разозлившись на кого-то, сплеча тюкнул топором в пень, присел на край ямы, подставив вспотевшую ноющую спину полуденному солнцу.

В Волчьем лесу закуковала кукушка — звонко и чисто. Вот уж и май разгулялся, а кукушку слышит в этом году впервые. Присвистнул: ишь, в роги мать, как славно кукует!.. Внезапно расчувствовавшись, загадал, как, бывало, подпаском еще загадывал: «Кукушка-кукушка, долго ли мне еще небо коптить?» Насчитал до двадцати и мысленно остановил: хватит, паринь, с меня и этого, было б здоровье.

По-над Бугом вдоль левады расцветали черешни. Высокие и торжественные, они напоминали церковные колокольни в ясный пасхальный день. Грузд задумчиво вглядывался в них, потом устало прикрыл глаза, и ему вновь явилось давешнее видение: огненные островки маков на зеленом склоне Звенигоры, лоснящиеся, выкупанные в чистой бужской воде конские крупы в высокой седой траве; Христя па вербовой кладке над потоком — стоит в белой сорочке, такой белой, что глаза слепит, широкие рукава, расшитые васильковыми крестиками, мягкими складками спадают к тонкому стану, стоит и любитесь,

как трое неразлучных друзей — он, Ниципор Грузд, Корней Земледух и Евдоким Заворитный — гарцуют на горячих жеребцах, и огромные терновые глаза ее светятся озорством и вызовом... Когда это было?

«Земледух Корней Родионович, твой годок, слег... Опять раны открылись... Собираются в Винницу везти...» Опять, в роги мать!.. Надо сходить проведать годка...

Земледух лежал под орехом, рядом с верстаком, на широком — из семи досок — лежаке. Под спину подткнул сенной матрас из дерюжки, укрылся брезентовым дождевиком с капюшоном. В капюшоне под Корнеевой ладонью крендельком свернулся серый кот. Корней Родионович щекотал его за ухом, кот в сладкой истоме щурил глаза, желтоватые, как и Корнеева рука, а на земле валялась скомканная газета, наверное прочитанная давно.

Грузд поискал взглядом, на что бы присесть, хотел было пододвинуть к лежаку незаконченный оконный косяк, прислоненный к плотницкому верстаку, однако не решился — косяк светился так ядрено и золотисто, что на нем лишь глазу отдыхать. Приспособил под сиденье старое ведро, стоявшее у курятника.

— Закурим, паринь? — достал кисет.

— А табак с буркуном? — Земледух шевельнул обкусанным усом, прогнал кота из капюшона. — Гайда, Пенсионер, мышей ловить.

— А то как же!.. Другого не признаю... Э-гм, кхм... Да-а... Не признаю — и кошка не ходи!

— Давай, брат, с удовольствием... Мои девчата посадили меня на домашний карантин — все карманы повыворачивали, повытряхивали. А курить хочется — аж мычу, веришь?

— По себе знаю: бывает, хлеба в хате ни крошки — перебыюсь, не привыкать, а табачок переведется — так не жизнь, одна канитель... Не забыл, небось, как Красножон, бывший наш комбат, говаривал: в обороне, мол, первое дело — махорка, а в наступлении — сало... Ну а мы теперь вроде как в обороне...

Скручивал сигарку и задумчиво разглядывал усадьбу.

Хата под сенью черешен за эту зиму еще больше состарилась, еще глубже вросла в землю, стреха позеленела от мха, окна и двери облупились. Только и красоты

что диковенные птицы — не то павлины, не то кукушки, не то горлицы, которыми Варька расписала сплошь все стены.

Грузд вспомнил: перед самой коллективизацией поехали братья Земледухи — Гервасий, Корней и Лаврин — на ярмарку в Гайсин да и присмотрели для Корнея невесту из-за Буга, откуда-то аж из-под Стражгорода.

Вместе с приданым привезла Варька не только неслыханные в этих краях песни, но и невиданный обычай разрисовывать хату — внутри и снаружи — причудливыми цветами, виноградом, птицами и конями. Поначалу этому в Окнах лишь изумлялись, даже посмеивались над Варькой, а через год-другой попривыкли, пригляделись и уже наперебой приглашали, чтобы их научила тоже. Так и повелось с тех пор: Корней всему селу мастерит окна, а Варька рушники вышивает да печи и стены расписывает...

У порога на врытом в землю мельничном жернове лежал пес Мудрик, досадливо отбивался хвостом от назойливых мух. Пес даже не гавкнул, когда Грузд с огорода ступил на подворье, лишь обнюхал его старые драные чуни, заглянул в руку — в руке не было ничего, кроме стебля татарского зелья.

Возле хаты, в расчищенном, подрезанном малиннике, меж порозовевших понизу и зазеленевших поверху стеблей копошились в земле куры, на крыше будки ласково ворковали голуби.

Голубей Корней развел сразу же, только выписался из ситковецкого госпиталя, — здесь его снова латали после ранения на реке Соб. Как-то на досуге рассказывал: «Госпиталь был в запустевшем парке. А под нашим окном старая липа. Однажды утром сосед кивает за окно: «Гнездо на липе. Голубь, голубка и три птенца. Голубок улетел куда-то, а она как раз кормит их...» В нашей палате он один лишь и мог подойти к окну, поэтому видел, что в гнезде творится. Мы в один голос просили его каждое утро и вечер рассказывать, как там наши голуби. Он подойдет к окошку, рассказывает, а мы слушаем, как детвора дедову сказку. Вот тогда и надумал: выпишусь домой, разведу голубей, пусть радуют слух... Птица, животное — они как человек, только по-нашему говорить не умеют...»

Свернув сигарку, отдал ее Корнею, принялся сворачивать себе.

— Окна новые ставить собираешься? — кивнул на рамы. — Материал, скажу тебе, будь здоров!

— У меня, годок, как у того сапожника, что всем шьет, а сам — босым ходит... А материалец и вправду добрячий. Лет триста прослужит. Якиму Якимычу сделал. Себе сработаю, наверное, после всех. — Корней, видно, глотнул чересчур много дыма — худое тело его судорожно дернулось от кашля. — А, чтоб ему черт, какой деручий! — Попытался улыбнуться, улыбка вышла страдальческая.

Украдкой всматривался в землистое Корнеево лицо, плохо выбритое, с кустиками сивой щетины на заострившемся подбородке. Опять, наверное, много крови потерял. Встретившись с отрешенным Корнеевым взглядом, подумал: эге, он сейчас далеко отсюда, от этого уютного двора, от теплого майского дня. Не видит ли себя там, на берегу той далекой, морозами скованной Зуши, маленькой русской речушки?

...Речушка-то хоть и небольшая, однако толклись на ней долго — с января по май сорок второго. Тронулся весной лед — поплыли трупы, будто плоты. Немцы окопались на правом — высоком — берегу. Заранее, еще до зазимков, подвезли помпы и в морозы залили водой склоны. Берег сковало льдом — не подступиться. Но больше всего донимали их дзоты. Не один удалец вызывался подорвать вражье гнездо, не один поплатился головой. А наши зарылись в землю в березовой роще, у самой воды, как раз против дзота, прикрывавшего лощину с правого фланга. Этой лощиной, тянувшейся к хутору Красному, можно было обойти немцев с тыла, поэтому они и цеплялись за нее зубами. Целыми днями с утра до ночи взахлеб лаяли крупнокалиберные пулеметы, поливая наши позиции свинцом, а ночью немцы раз за разом пускали над речкой ракеты.

И вот однажды, вспомнил Грузд, Корней говорит: «А знаешь, годок, кажись, я докумекал, как этот чирей, — будь он проклят! — сколупнуть». — «В самом деле, паринь?» — «Да чтоб я так здоров был!» — «Так что ж ты придумал?» — «А вот увидишь. Схожу сначала к Красножону». Возвратился от комбата поздним вечером и сказал буднично: «Завтра утром».

Утро настало морозное, туманное. Все вокруг оцетнилось инеем. Белесый туман рассеивался медленно-медленно. Томился в траншее, покуривали, Корней тихо по-

ко пересказывал сон: «Поставили новую хату, я окна сработал, с резными наличниками, а Варька стены разукрасила цветами, птицами, конями. Ушла в хату, а я со двора гукаю: «Ну-ка, Варька, выглянь в окошко, да повяжи платок терновый, что в Брацлаве купил на твои именины». — «Шас-шас», — весело отвечает Варька из хаты... И проснулся».

Туман совсем рассеялся. Уже прорезался тот берег. Немчура еще молчит, видать, не очухалась от ночного морозца. Красножон зыркает на часы. Корней оборачивается к комбату: «Так я пошел, Галактионович?» — «Счастливо, Родионович. Удачи тебе!»

Корней по-юношески легко вымахивает за бруствер, высоко подняв руки, прытко бежит к тому берегу. Немного выждав, Красножон бабахнул из нагана. По этому сигналу вдоль наших позиций поднимается яростная пальба. А Корней бежит все дальше и дальше, петляя между заснеженными трупами... Шинель пузырится на спине, длинные полы хлещут по голенищам.

Немцы молчат. Дзот их подает свой голос лишь тогда, когда Корней уже достигает мертвой зоны. Шкварят длинными очередями, прикрывая «перебежчика». Пули клюют бруствер, фонтанчиками разбрызгивая снег. На это никто не обращает внимания. Прикипели взглядами к Корнею, готовые по сигналу Красножона броситься вперед.

Вот Корней достигает неприятельского берега, бежит вверх по склону, уже поравнялся с дзотом...

Именно это мгновение особенно остро врезалось в память.

Корней приостанавливается и, соскакивая в траншею перед дзотом, коротко замахивается, сперва правой, потом левой, швыряет в амбразуру гранаты, спрятанные в рукавах шинели...

— Ты откуда это, годок? — спросил Корней.

— Из левады, ларинь... Пни корчевал...

Наклонился, поднял с земли газету. Хотел было спросить: «А что там, в политике новенького?..»

Долгое время никто не мог придумать Корнею уличного прозвища. Братьям его давно придумали: Гервасию — Работило, за то, что как дорвется до работы, так сатанест; Лаврину — Суфлер, за то, что уж больно охоч давать советы да подлизываться к начальству. А вот Корнею — не могли, как ни ломали головы, как ни изошрялись

сельские острословы. Придумали лишь в сорок седьмом, когда выписал сразу три газеты: районную, областную и центральную. «В хате хлеба ни крохи, а он в политику ударился. По-ли-тик!»

С тех пор и стал Корней Политиком. Теперь из самых дальних уголков села приходят к нему не так попросить «бамаги» на курево, как расспросить, что новенького в политике.

Однако, подумал Грузд, сейчас Корнею Родионовичу не до политики. Помолчал, сказал:

— Корчую, значит, на леваде пеньки, а тут Монашка откуда ни возьмись... Так и так, говорит, Корней Родионович слег... Вот те на, думаю. Завтра ж праздник такой — День Победы. — Сдержанно улыбнулся. — Так это что ж выходит, паринь: мы с тобой и по чарочке не дернем?

— Завтра, годок, наверное, не смогу. Не так не смогу, как не дадут... там. А сегодня — дернем за нашу Победу. Грех не помянуть всех тех хлопцев, кто был с нами и кого уже нет... Вот только Варька придет. Сам ведь знаешь про наш общий с ней изъян: она спрячет горилку, а я не найду. — Потушил в пальцах сигарку, прислушался к воркованию голубей. — Даже не верится, что уже на второй десяток повернуло... Тихо, не гремит, только эхо все еще катится над миром. Думаю, годок, оно отзовется в судьбах еще не одного поколения... Правду говоришь, не вовремя меня уложило... Сеяли под Звенигорою. Оставалось пройти еще один загон. Думаю, управимся сегодня пораньше, так до вечера успею Якимов заказ выполнить, сам знаешь, не люблю в должниках ходить. А на последнем загоне — и кровь горлом... До смерти деда Знатька напугал... Задал ему забот... Хорошо, хоть дома никого не было, когда привез меня, — Варька на ферме, Марта в школе, а то было бы слез да слез...

Слушал его и опять припомнил то утро на Зуше.

...Грохнуло два взрыва, сливаясь в один. «Вперед!» — крикнул Красножон. Через какую-то секунду были уже под развороченным дзотом... Корней лежал ничком на дне траншеи, лежал, неловко загребая руками, и снег под ним расцветал калиновым цветом...

А в последний раз пробило ему грудь уже под Дашевом, в нескольких десятках километров от родной хаты. Немцы чуть ли не в последнюю секунду взорвали мост через Соб. Люди, кони, техника сгрудились на топком

берегу. На переправу прибыл генерал Жмаченко. «Гвардейцы! Неужто вы забыли, как с ходу форсировали Днипро, что перед какой-то зас. . . лужей остановились?»

Кроша позеленевший лед кирзачами, потом — грудью, под шквальным огнем немцев двинулись вброд. В нескольких шагах от берега Корней схватился за грудь, пошатнулся и плашмя рухнул в воду, выбросив вперед правую руку с автоматом.

Почти всю войну — от Днепра до этой самой Зуши, от Зуши до Соба — прошагали плечом к плечу, а здесь, под Дашевом, расстались. . . Дважды крестило Корнея огнем, и оба раза — в грудь. Потому что не прятался за чужие спины, многих своей грудью заслонял.

— Ты, паринь, это самое. . . не сдавайся. . . Нам еще рано, в роги мать!

— Конечно, годок, рано. . . Да я не очень-то туда и тороплюсь. . . Что люди скажут? А скажут так: брался Земледух всему селу окна обновить, да и умыл руки. . . Рано. . . Подсунь-ка мне подушку под голову.

Поднялся Грузд с ведра, наклонился над Земледухом, подсунул под спину руку. . . Раненого несли его от взорванного дзота вдвоем с Красножоном. Тело было тяжелое, как бревно. А сейчас легенькое, почти невесомое, будто эта подушка.

— Спасибо, годок. . . Глянь, как славно нынче сады цветут! Будто и не цветут, а огнями, розовыми и белыми, горят и не сгорают. Едем, значит, с дедом Знатьком домой. На Звенигоре прошу его приостановиться. Глянул сверху: а над селом — серебристое зарево в полнеба полыхает. . .

— Эге, паринь, рано медом запахло. . . Так же, помню, в сорок пятом цвело под Прагой. Ох и цвело — мы все точно шальные ходили, в роги маты!

— И в пятьдесят шестом, когда Настю замуж отдавали. Вон там, под черешнями, свадебные столы стояли. Прислонишься к стволу плечом — белый цвет летел прямо в тарелки. А вы, музыканты, под этим орехом ох и наяривали! Не забыл?

— Такое спросишь. . . Все свадьбы, где только играть приходилось, до смерти помнить буду. . . Еще бы! . . В нашем теперешнем положении только и радости.

— Славно вы тогда играли. Третье лето подворье спорышем не зарастает — будто выжгли каблуками.

— Будешь, паринь, отдавать Марту или Радивона же-

нить, еще не такую тебе кадрили ушкварим — сами ноги понесут...

— О-о, годок! Мы с тобой еще спляшем, таким канди-бобером пройдем, аж чертям тошно станет, еще запоем ой-да-лю-лей. — Умолкнув, Корней Родионович засмотрелся на цветущие черешни. — Мне бы сына дожидаться, Родиона, Марту вывести в люди... Только этим и живу... Да...

Сказал так, как никогда прежде не говорил. Грузд почувствовал, что стынут руки и колени, немеет все тело. Осознал со всей неотвратимостью: вот эта их неторопливая, обстоятельная беседа — последняя. Больше так говорить им не придется.

Два дня назад, к вечеру уже, когда опустевшая левада окутывалась текущими дымами осенних садов, удил по-над Бугом. В огороде среди не выкопанной еще кормовой свеклы что-то зашлепало. Оглянулся — Максим. «Чего тебе, паринь?» — спросил сына взглядом. «Там Настин Михайло пришел. Говорит, тестя, Корнея Родионовича, привезли из Винницы. В воскресенье — похороны... Так спрашивает, придем ли играть». — «Скажи: придем...»

Максим заторопился домой, а Грузд-старший загляделся на Буг. Вдруг изумленно отметил, что «божья река» обмелела. Вода, по-осеннему тяжелая, всей своей плотной массой как бы отхлынула от берегов к стрежню, оставив на заливанных волной порогах зеленовато-рыжую тину и ряску, пожухлые вербовые листья. Татарское зелье вдоль берега поблекло и жалко сникло. Речная гладь время от времени мелко вздрагивала, будто в немом рыдании. Груздов взор словно бы просветлел — со страхом и удивлением огляделся он окрест. И на земле, и на небе — всюду на белом свете внезапно запала холодная жуткая пустота. Захотелось как-то предотвратить надвигающуюся катастрофу, грудью закрыть эту холодную и жуткую пустоту. От этого острого желания даже перехватило дух.

— Тато, выносят, — голос сына возвращает Ничипора к действительности.

3

Сначала выносят крышку — она застлана белой скатертью; посреди крышки темнеет калач. На кладбище скатерть и калач согласно обычаю отдадут деду Знатьку, ибо он — самый старый человек на селе.

Потом осторожно поднимают гроб.

— Ногами вперед, — робко подсказывает Христя. — Выносите ногами вперед, бо если головою, так будет приходить по ночам...

Варька гортанно всхлипывает, порывается к гробу и отяжелело надламывается в коленях. Настя с Мартой подхватывают мать под мышки, выводят вслед за гробом.

Ничипор Грузд видит: гроб выплывает из хаты, будто красный челн. Посуровевшим взглядом обводит своих музыкантов: внимание, хлопцы, играем марш!

Сначала глухо и тревожно рокошет барабан, потом горестно всхлипывают литавры, вслед за ними раскатиисто рыдает бас, а уже потом высоко и печально поют кларнеты...

*

Глава вторая. НЕБЫТИЕ

1

Закрыв ставни, плотно занавешивает окна — передние и боковое — темными платками, чтобы не процедилось наружу ни полоски света, зажигает коптилку, ставит на стол. И все это время чувствует на себе неотрывный, упорный взгляд Олены, калачиком свернувшейся на узенькой койке в запечье. «Не спит. Молчит и смотрит. Лучше бы уж душу вынула, чем так смотреть».

Возвратившись в кухню, останавливается на пороге, притворно изумляется:

— О-о, ты еще не спишь?

— Не сплю, — отвечает Олена, не сводя с матери огромных, не по-девичьи печальных глаз.

— А чего бы тебе не спать? — избегая ее взгляда, начинает хлопотать у печи. — Тебе давно б спать пора...

— А вам?..

— У меня еще забот полон рот. — Нырнет с ухватом в печное устье, выдвигает горшки. — Вот ужин надо собрать... Мы ж сыты, а он...

Олена решительно отворачивается к стене, натягивает на голову старенькое одеяло.

«Да пойми ж ты, доченька, — будто оправдываясь перед Оленой, мысленно заговорила Христя, — скотину и ту жалеют, а ты все примириться не можешь, не хочешь»

простить ни его, ни меня. Молчишь все, но я ж вижу, я ж понимаю, что у тебя на душе. Каждый твой взгляд, каждый вздох — укор и осуждение... Может, у тебя и есть право осуждать свою мать, ну а мне как быть? Ты ж не подскажешь, и никто на всем свете не подскажет...»

Ужин собирает рассеянно, глядя на колеблющееся пламя коптилки. От резких ее движений пламя беспокойно вздрагивает и опадает, отчего по стенам расплескиваются мятущиеся тени. «Да пропади все оно пропадом! — отчаянно думает Христя. — Упасть бы пластом на кровать да и не вставать больше». Но сразу же представляет, как он там, на чердаке, ждет не дожидается условного сигнала, и, подавив минутное колебание, она выходит в сени.

Дергает дверной засов, проверяя, надежно ли заперто, потом берет клюку, с которой каждое утро бредет на скотный двор, и два раза легонько стучит в крышку чердачного проруба. «Слезай уже».

Торопливо возвратившись в хату, усаживается в изнеможении на кровати под жердью, складывает руки в подоле и тупо прислушивается к тому, как он тяжело сползает с чердака. Немного погодя из темных сеней выныривает серая тень, останавливается на пороге, привыкая к неяркому свету коптилки. Смотрит заискивающе: взаправду ли его здесь ждут?

— Добрый вечер, — судорожно глотает слюну и, не дождавшись ответа, бросается к столу, к давно остывшим борщу и картошке.

Христе сегодня не хочется ни смотреть на него, ни говорить с ним. Да он и не нуждается ни в ее взглядах, ни в ответах. Молча истребляет все, на чем только глаз остановится, а она, возмущаясь жадным чавканьем, пугливо прислушивается, спокойно ли там, за плотно занавешенными окнами. Ей кажется, что это голодное чавканье можно услышать на улице.

За окнами тихо, разве что Монах звякнет цепью, глубоко и громко зевнет, нехотя зарычит на кого-то. А в хате воровато скребутся в запечье мыши да ветер, окрепший к ночи, воев в трубе, нагоняя безысходную тоску.

Над кладбищем звенело чистое, не по-осеннему высокое небо, и там, в гулкой вышине, парил орел. Увидев орла, распластавшего исполинские крылья над кладбищенским вавилоном, невольно подумала, что это душа Корнеева прощается с телом, возносится к небесам.

А над могилой меж двух холмиков рыжей глины под знаменем стоял Красножон, зажав в правой руке серую фетровую шляпу: сиверко, доносивший из прибужских степей жгучее дыхание близких заморозков, трепал его седеющие волосы. Низкий, всегда уравновешенный голос Красножона часто и надрывно ломался. «О многом думается, Корней Родионович, над вашим печальным пристанищем. Никто не вечен под солнцем. Все мы смертны. Смертен человек, но дела его не умирают. Вы были, Корней Родионович, честным тружеником и мужественным воином. Таким и останетесь в нашей памяти. Бесследно уходит в небытие лишь тот, кто живет для себя...» Эти слова лишили покоя не только ее, но и Олену. Потому и не спят.

— Похоронили? — подает голос Евдоким.

Вздрыгнув от его сиплого голоса и будто очнувшись, Христя поднимает глаза, пылливо смотрит на Евдокима.

Он сидит в красном углу, укутанный полумраком, под свадебной фотографией в вишневой рамке. До сих пор Христя как-то не обращала внимания, как и где он сидит. А теперь вдруг подумала, что кто-то умышленно посадил его под фотографией, чтобы она могла сравнить его нынешнего с тем, прежним.

Молодой, буйночубый, иконописно красивый, Евдоким довольно ухмыляется, по-хозяйски положив на плечо ей, тоже молодой и красивой, тяжелую руку... Тогда, в те страшно далекие годы, ей нравились все трое: Корней, Евдоким, Никифор. Может, она любила даже всех троих. Поется ведь в народной песне про казака, полюбившего троих дивчин — чернявую, белаявую, третью рыжую, некрасивую. Почему ж не могло быть наоборот? Пожалуй, рыжего Грузда она любила чуточку больше. Почему же выбрала чернявого Евдокима? Неужто все решил тот случай над Бугом, когда Евдоким, опередив Грузда и Земледуха, поднял на скаку оброненный невзначай вышитый рушник и, наклонясь с седла, подал ей со словами: «Отдаю с условием: осенью повяжешь этим рушником моих сватов...»

В кухне громко всхлипывает Олена.

Теперь испуганно вздрагивает Евдоким. Уронив ложку, хватается за угол столешницы, рывком придвигает к себе коптилку — сейчас задует слабый огонек и опрометью бросится от стола.

Чуть погодя догадывается, что всхлинули в хате, а

не под окнами. Успокоившись, расстегивает на груди, по-бабьи пухлой, замызганную рубаху, утирает пот (вспотел то ли от испуга, то ли от работы челюстями), опять хватается за ложку.

Христя молча наблюдает за ним. Проголодался, как пес. Целый день она хлопотала на похоронах, а если и забегала в дом на минутку, так следом за ней шли от Земледухов что-нибудь одолжить — не было возможности чем-нибудь накормить его, сам же он редко решался сползти с чердака (похолодает — опять залезет в погреб), чтобы в хате поесть.

Молча наблюдая, как он торопливо, будто опасаясь, что и борщ и картошку вот-вот умыкнут из-под носа, работает челюстями, так что за ушами трещит, Христя вдруг почувствовала, как к горлу подступает жалость. Сколько раз за эти годы, особенно в последние, она хватается за сердце, вышибает слезу. Такое уж, видать, оно, бабье сердце. То глаза бы на него не смотрели, то через минуту до того жалко станет, что готова сама себя казнить. — живая все же душа.

Евдоким сыто отрыгивает, потягивается до хруста в суставах. Наелся по самое некуда. Теперь и закурить можно. Щупает свои карманы, вынимает курево.

— Да, каждому свой срок... Смерть не перехитришь, — изрекает философски. — А Радивона так и не было на похоронах?

— Не было, — кивает Христя, будто сожалея. — Вернулся телеграм из Севастополя...

Евдоким вынимает из-за свадебной фотографии «Колхозные вести» и, расслабившись, поудобнее усаживается на скамье.

— Не телеграм, а телеграмма, — по давней привычке, однако мягко поправляет Христю. — Надо говорить: те-ле-грам-ма... — Смачно затянувшись цигаркой, разворачивает газету. — Что там сегодня пишут?..

— Ты бы, грамотей, бросил курить! — снова неизвестно отчего ставшая вдруг чужой, Христя принимает сердито убирать со стола. — Того и гляди, еще спалишь нас ко всему...

— Так и ж курю только в хате.

— А я говорю: бросай! — тихо, но властно роняет Христя. — Доврастай и с огнем!

— Гей, Христя, а как же тебе ужалила? — робко и

настороженно поглядывает на нее из-за газеты. — Ты вроде не с той ноги нынче встала...

— Молчи!.. Уткнись носом в газету и читай... Может, что вычитаешь...

К чтению газет Евдоким пристрастился лет десять тому назад. До того корпел над библией и псалтырем — эти книжки достались Христе от деда, церковного старосты. Когда Олена пошла в школу, тайком листал ее учебники, библиотечные книги. И вот как-то сказал Христе, что неплохо бы газетку выписать. «Тоже в политику лезешь? — изумилась и вместе с тем возмутилась Христя. — Хватит на нашей улице и одного политика — Земледуха». — «Никуда я не лезу... Одиноко мне, тоскливо... Недолго и одичать... Смотри вот, лысеть стал...» Это ее не убедило: «Ну и лысей, тебя все равно никто не видит». Тогда он вспомнил, что до войны газеты печатали всякие законы, указы. Может, когда-нибудь будет указ о помиловании... Она подумала и подписалась на «Колхозные вести».

Районную газету приносят трижды в неделю. Наверное, более внимательного читателя, чем Евдоким, не найти во всем районе. Эти вечера, когда он, плотно поужинав и закурив, вынимает газету из-за свадебной фотографии и прочитывает от передовицы до объявлений о разводах, как бы возвращают его к прежней жизни.

По всему видно, сегодня у него такого праздника не будет.

Обиженно шмыгая носом, прячет газету, встает из-за стола, останавливается посреди хаты, понурился головой, тупо о чем-то размышляет. Христя угрюмо моет посуду, на него даже не смотрит. Евдоким сдергивает с жердочки над кроватью ее старую юбку с оборками, такую же кацавейку и платок, торопливо, стыдясь самого себя, напяливает поверх штанов и сорочки.

Почувствовав, что он вышел, Христя наконец-то распрямляет спину. Некоторое время смотрит на дверь, представляет, как выходил: пригнувшись, опустив руки ниже колен, в серых лохмотьях, как оборотень. Устало опустившись на табурет, она еще долго смотрит на двери, за которыми исчез Евдоким, потом переводит взгляд на свадебную фотографию в вишневой рамке. Вздыхает... Был первым на селе парнем, а стал привидением...

Прижимаясь спиной к стене хаты, точно вращая в нее, Евдоким чутко ловит ночные звуки, запахи. Где-то на шляху, у Волчьего леса, прошумела, будто просо рассыпалось, машина; через несколько дворов, на усадьбе Суфлера, сонно вздохнула корова; у дома Корнея устало скрипит журавль над кринницей. С Варькой, догадывается Евдоким, остались самые ближайшие родственники — помогают убираться после похорон и поминок. Пахнет поздними яблоками, пахотой, туманами. . .

«Чудно, — чешет в затылок Евдоким, — он умер, а я все еще думаю о нем как о живом. . . Да, был Корней и не стало Корнея. Закопали. . .»

Вспомнил: после полудня дремал, что-то даже снилось, как всегда, омерзительное — будто превратился в чудовищную летучую мышь, которую всегда видит над собой. Как вдруг грянул оркестр. Разгреб сено, смахнул с лица труху, она щекотала ноздри, хотелось громко чихнуть, прильнул к щели в стрехе. Через некоторое время увидел: по улице вслед за красным гробом плотной массой — от плетня к плетню — шла похоронная процессия. «Ого! — позавидовал в душе, — Корнея, гляди ты, все село провожает».

Процессия прошла мимо, он снова вытянулся в своем логове, стал с отвращением наблюдать, как со стропил, почти над ним, головой вниз свисает летучая мышь. И вдруг припомнился ему тот день, когда шагал он по этой улице с Корнеем Родионовичем. Евдоким не любит вспоминать этот день. А если когда и видится он ему, то словно бы в бреду. И вот — к его изумлению — память будто прояснилась, и день этот предстал перед ним так отчетливо, точно Евдоким пережил его вновь.

. . . Над улицей роятся пчелы, в хлебах по-над Бугом знойно бьют перепелки. Со всех сторон к выгону тянутся новобранцы. Очумевший от жары и горилки, Евдоким плетется в гурьбе соседей. Повиснув на плечах Корнея Земледуха и Ничипора Грузда, хрипло распевает:

— А я еду, моя милая,
На клятую войну.
— Переночуй, мой хороший,
Дома почку хоть одну.

Время от времени, вытаращив глаза, он выкрикивает на всю улицу: «Забросаем германа шапками!» Сры-

вает с Корнея Земледуха соломенную шляпу, подбрасывает высоко над толпой: «Если завтра война, если завтра выкрикивает: «Будем бить врага на его территории!» — и, размахнувшись, пускает Ничипору Грузду красную юшку.

Куражась, он как бы подбадривает сам себя. Его урезонивают, стыдят, заламывают назад руки. На какое-то время он утихает, потом начинает рыдать, мотая головой и скрипя зубами.

Вдруг от конюшни доносится лошадиное ржание. Услышав его, Евдоким замирает, потом разбрасывает всех, сноровисто перепрыгивает через тыны, выводит из конюшни племенного жеребца Валета, взваливается на него охлябь и с диким воплем «Даешь Берлин!» вскачь несет к выгону. Толпа испуганно шарахается в стороны...

Опомнился лишь тогда, когда услышал насмешливое: «Слезай, Явдошка... Там, на фронте, погеройствуешь».

Смутный и пышноусый, в белой вышитой сорочке и золотистой соломенной шляпе, Корней Земледух крепко держит Валета за уздечку и смотрит на Евдокима снизу.

Рванув из кобуры наган, на Евдокима с руганью набрасывается милиционер:

— Под трибунал захотел, в душу мать?!

— Так он же ж меня позвал, — ухмыляется Евдоким. — Говорит: бери с собой, со мной не пропадешь...

— Кто позвал? Кто говорит?

— Так Валет, — Евдоким похлопывает жеребца по холке. — Я ж его... когда он еще...

— Уже заговариваться стал? Симулируешь, шкура? Я тебе, в душу мать, посимулирую!

— Отойди, землячок, в сторонку, — спокойно отстраняет Земледух взбешенного милиционера. — Да пушку свою спрячь... Раз говорит человек — позвал, значит — позвал. Вот и решил попрощаться... Понимать надо...

Помогает Евдокиму спешиться, передает повод кому-то из мальчишек, приказав отвести Валета на конюшню, подталкивает Евдокима к столу, где корпит над списками Красножон, вчера еще директор школы, а сегодня — младший лейтенант.

— Пишите нас, Сергей Галактионович, вместе: Земледух, Заворитный, Грузд...

Вспомнив все это, Евдоким осознает окончательно: да, умер Корней. Еще два дня назад, когда Христа со-

общила за ужином эту новость, воспринял ее безразлично, будто речь шла о ком-то другом: умер, так умер, мало ли народу умирает. А теперь вот осознал по-настоящему: умер ведь Корней Родионович, с которым в сорок первом дошел до Днепра, тот самый Корней, что уже после войны не раз навещался к Христе, спрашивал, чем помочь, даже не подозревая, что хозяин — живой. Этот Земледух два дня назад помер, а сегодня его хоронят.

Монах, узнав Евдокима, звякнул удлинённой на ночь цепью, по-пластунски подполз, заискивающе жметесь к ногам. Евдоким дает ему с руки кусок хлеба. Так вот и приучил кобеля признавать за хозяина.

Подождав, пока Монах управится с подачкой, тихо, но властно приказывает:

— Сторожи, Монах!

Кобель отползает к воротам, встает на задние лапы, передние кладет на верхнюю доску, выглядывает на улицу, принюхивается и прислушивается. Так и будет сторожить, пока Евдоким не прикажет: «На место, Монах!» В темноте пес напоминает человека, облокотившегося на ворота. Как-то поздним вечером шла мимо Настя и поздоровалась с Монахом: «Добрый вечер, тетка Христя! Кого это поджидаете?»

Евдоким крадется за угол хаты, откуда хорошо видны и выгон, и поле, и шлях под тополями, прилегающий к выгону и сельскому кладбищу. Прошлой зимой дед Знатько привозил Христе хворосту из Волчьего леса. Во дворе разворачивался, зацепил бортом за сруб криницы, кони испуганно дернули — сани рассыпались. Дед Знатько так и оставил их тут, на углу хаты, отремонтировать было нечего. Христя теперь сушит на саях сено. Удобно устроившись, Евдоким осматривает сад, прислушивается.

Дразняще тянет вишневым дымом — дед Знатько до сих пор вялит в сушилке сливы. За садом, в поле, перемигиваются огоньки — трактора вышли на зябь, — а туда, дальше, будто зарево. Там — Житники. С каждым годом веселых трепетных огоньков становится все больше. Евдокима так и подмывает двинуться по ночному полю на их манящий свет. Разрастаются, расстраиваются Житники, а в его, Евдокимовом, представлении они остались такими же, какими видел их тогда, в июне сорок первого: здесь новобранцев разделили, одних повезли на Вапнярку, других, в том числе Корнея и Лаврица Земледу-

хов, Ничипора Грузда и его, Заворитного, повели через Шпиков, Рахны, Джурин, Шаргород в яблоневые Носковцы... Прогуляться бы теперь спокойно по уютным улочкам, зайти в чайную, усесться за стол, заказать пива и неторопливо отхлебывать, присыпая пенку солью. Как-то слышал с чердака: Михайло посреди улицы хвастался перед Лаврином, как после базара завернул в чайную и выдул там шестнадцать кружек пива. У Евдокима слюнки так и потекли: живут же люди!

«Да, так что ж делать? — размышляет Евдоким. — Огород копать или по дрова пойти? Пожалуй, надо отправляться по дрова. Зима на носу. Но куда? В Волчьем лесу сухостоя побольше. Да и дорога короче, безопаснее — через кладбище. Сколько хожу, никого не встречал на кладбищенской тропке. И всегда успевал вернуться к восходу луны».

Вспомнив о кладбище, Евдоким поеживается. Нет, Волчий лес сегодня отпадает. Евдоким, конечно, не Христа, он не верит во всякие там предрассудки, вроде они, мертвецы, из могил встают. Если б в самом деле вставали, хоть раз бы да увидел собственными глазами. Корней Земледух не встретит его на узенькой кладбищенской тропке, весь в белом, будто призрак, не спросит замогильным голосом: «Это ты, Явдоха?» Евдоким не боится и все-таки идти сегодня в Волчий лес через кладбище не решается.

Со стороны погоста доносится тарахтенье подводы. Дед Знатько, догадывается Евдоким, возвращается со скотного двора... Дня для тебя мало, старый пень, еще и ночью толчешься!.. Для колхоза стараешься? Ну-ну, смотри, как бы пуп не развязался.

Злобно ругая Знатька, Евдоким прислушивается, как подвода заворачивает к конюшне. Остановилась, слышно, как дед Знатько распрягает лошадей. Подошел сторож, завели разговор. Вот так битый час будут болтать о всякой хреновине, покуривая махорку. Потом, кашляя на всю околицу, дед Знатько двинется домой. На выгоне остановится, окликнет сторожа: «Гей, друже, ты за мной конями добре приглядывай!» Потом наведается еще к сушилке, подбросит в печку вишневых сучьев и лишь потом поллетится в хату; вместе с дедом Знатьком, считай, и село заснет.

Лишь тогда настанет его, Евдокимова, время...

Стоит ей только закрыть глаза, как тотчас же летит она в бездну, темную и влажную. Вскрикивает и судорожно, из последних сил пытается избавиться от кошмара; застав дыхание, широко раскрытыми глазами всматривается в потолок, а мысли только и ждут этой минуты, накатывают со всех сторон.

Умирали и прежде те, кто возвратился с войны, — Юстим Гаман, Иван Знатькив, Прокоп Неборенчик. Но ни одна чужая смерть не потрясла ее так, как эта, Корнева.

Там, на кладбище, внимательно слушая Красножона, внезапно подумала, впервые за все эти годы: «А если и он?.. Ведь и в самом деле никто не вечен на этом свете... Как же его придется? Пойдет ли кто за гробом, помянет ли над могилой словом, бросит ли горсть земли на заколоченный гроб?» Неподалеку, рядом с Мартой, стояла Олена, в ту минуту, вероятно, она тоже подумала об этом, потому что оглянулась и как-то странно посмотрела. Христю точно в жар бросило, даже растерялась, торопливо отвернулась, притворилась, будто сморкается в уголок платка.

Околою первой, утешает себя, а там — будь что будет. Настанет его черед, похоронят и без меня... Как бы не так! Я умру, а с ним кому оставаться — Оленке? Подумать даже страшно. Скажут: вишь, сама согрешила, а дочка должна грех искупать... От этих мыслей даже волосы на голове дыбом встают.

Где-то на селе поскуливают собаки, высоко над хатой в ночном небе устало грохочут самолеты. Если б сейчас в хате вдруг запахло малиной, Христя подумала бы: вернулась та далекая августовская ночь накануне спаса, душная и тревожная, с тоскливым собачьим лаем, гнетущим гулом самолетов (они все летели и летели на Умань), запахом малины, хотя малина давно перевелась, — ночь, когда он нежданно-негаданно вернулся домой, осунувшийся, обросший, пропахший речными плавнями, лесными чащами, соломой, — не мужик, а так, одна тень.

Накормленный уже и выкупанный, переодетый в чистое, лежал навзничь, робко перебирал скрюченными пальцами ее волосы и торопливо, сбивчиво рассказывал — ей, себе, тишине, пахнувшей малиной: как привел их Красножон в яблоневые Носиковцы; как там на за-

Брошенном аэродроме, поросшем пылью и чабрецом, неподалеку от совхозного сада, стали лагерем; как выдали каждому гимнастерку, галифе, яловые ботинки без обмоток, шинели, оружие — тридцать винтовок на всех; как целую неделю учились военному делу: стрелять из винтовок, метать гранаты, колоть штыком, ползать попластунски, бегать с полной выкладкой; как третьего июля, только передали выступление Сталина по радио, Красножон построил роту в походную колонну, и они двинулись на восток; как за Погребищем соединились с какой-то отступающей потрепанной частью и у Днепра, на полях совхоза имени Буденного, приняли первый бой; как ринулась вперед конница, а они, пехота, оставались еще в окопах; как услышали из-за холмов громовое «ура» и возликовали: наша берет! Конники погнали немца от Днепра и теперь будут преследовать до самой границы; как повысовывали из окопов головы, с минуты на минуту ожидая приказа в атаку; как увидели вдруг, что конница врасыпную возвращается назад, а кони — без всадников и будто озверели, а за конями танки немецкие движутся, туча тучей. . .

Он умолк, странно всхлипывая, повернулся к ней и беззащитно уткнулся лицом ей под мышку, зашелся рыданин.

Пренсполненная острой жалости, она нежно, будто успокаивая, провела ладонью по его волосам, хотя и вымытым, но все еще жестким, как лошадиная грива, потом — по лбу, по глазам, по всему лицу.

Сначала он притих, как ребенок, а потом она почувствовала, как большое и длинное тело его начало выпрямляться, наливаясь тяжелой мужской силой.

Казалось: в иступленной любви, какой у них еще не было, в таких отчаянных и нежных ласках, которых она до сих пор не испытывала, ищет он забвения всему тому, что уже выпало, и защиты от того, что еще выпадет на его долю.

«Я никуда не уйду от тебя, не уйду, я — боюсь. . . Ты даже представить себе не можешь, как это страшно, когда танки. . .» — горячо шептал он ей в уста, глаза, косы, грудь, обнимая большими и тяжелыми руками ее тело, прижимая к себе, растворяясь в нем. «Не пойдешь, родной, не пойдешь, — благодарно шептала в ответ, оглушенная его ласками, его желанием, чувствуя, что в ней

пробуждается женщина. — Не отдам тебя никому. Не отдам!..»

С той сумасшедшей ночи и понесла она под сердцем Олену. Все предвоенные годы оба мечтали о детях, но они все не появлялись. Однажды она затяжелела, но во время жатвы надорвалась на гумне, по-мужски ворочая мешки с зерном, и случился выкидыш. С той поры почему-то не беременела. . .

Убедившись по безошибочным признакам, что и в самом деле понесла, спустилась к нему в погреб (выкопали на большой половине хаты, копали по ночам) — посоветоваться.

«Не знаю, что и сказать, — вздохнув, не сразу ответил Евдоким. — Тут хоть самому бы выжить. Такое времечко наступило: прожил день — перекрестись, а завтра — как бог даст. . .»

«Вот как-ты заговорил! . . О себе думаешь?»

«Почему — о себе только? О нас думаю. . . Сама посуды: люди спросят, с кем прижила. . . Может, скажешь, с немцем? . . Оно ж, дите, не по-немецки лепетать будет. . . Ну а вдруг в меня пойдет — тут клубочек и начнет распутываться. Придут к тебе не эти, так те, спросят: где прячешь? И себя погубишь, и меня, и дите. . .»

«Разве ж ты все время собираешься вот так. . . прятаться?»

«Кто знает, как оно повернется. . . Сейчас каждый спасется как может».

«Для кого ж тогда и жить? . . Может, это — последняя моя надежда. . . Да и боюсь грех брать на душу. . .»

«Ну, смотри сама. . .»

Собиралась было резко выдернуть руку из-под его вспотевшего загривка, наклонясь над ним, гневно выдохнуть в лицо, заросшее жесткой щетиной: «Сволочь ты!» Но даже не шевельнулась.

Прежде она никогда не давала ему спуску. Умела не только за себя постоять, но и Евдокима приструнить. А он не раз говорил ей, ухмыляясь: «Вижу, ты из тех баб, кому сам черт на вилах сапоги в окно подает — поближе подступить боится». Теперь же все переменилось. Еще той ночью, когда он все-таки уснул под утро, почувствовала: отныне душой и телом — в его власти. О многом хотелось его порасспросить: о том, что случилось с остальными — Корнеем Земледухом, Ничипором Груздом, одному ли ему

удалось уцелеть в этом аду и как именно? Откладывала эти расспросы на потом, а теперь и вовсе не решалась.

Иногда ей начинало казаться, будто это не он, а она была в том бою, где танки, и нервы ее не выдержали, бросила всех на произвол судьбы и, спасая собственную шкуру, кинулась прочь, домой, нища защиты у него, Евдокима. Он ее принял такой, какая есть, и в благодарность за это стала она ниже травы, тише воды.

Позже, уже родив, опять пыталась высвободиться из-под его гнетущей, разлагающей власти, переименовать как-то свою и его участь.

Убаюкав Оленку и сев к жерновам, сказала ему, ужинавшему за столом: «Слышал, партизаны в село наведывались».

«Партизаны? — изумился Евдоким. — Откуда они у нас взялись?»

«Откуда, откуда... Да уж не с неба свалились... С теми, что наведывались в село, и наши есть: Тодос Кныш, Земледухи — Гервасий, Лаврин... Был митинг на площади, у сельской управы... Выступал Гервасий — он у них за командира, — говорил, что Красная Армия, мол, скоро погонит немцев назад... Люди плачут, обнимаются... Многие в партизаны записались, даже дед Знатько... Двух полицаев поймали...»

«Ну, теперь жди гостей, — бросил он ложку. — Придут эсэсовцы — всем хана... Не может этот Гервасий подальше партизанить».

«Выходит, по-твоему, не надо было их трогать, этих холуев немецких, что над людьми измываются? — Тяжело вздохнув, добавила: — Вот уж не ждала».

«Ты, видно, думала, я следом побегу за теми Земледухами? Что я, сумасшедший — добровольно в петлю лезть?»

«Какую петлю?»

«А ты что — думаешь: они там меня по головке погладят, когда пристану к ним? Как бы не так! Тут же распнут, как Иисуса...»

«За что? Разве ж ты?..»

«Там у них разговор короткий, — убежденно сказал Евдоким, подсаживаясь к ней. — Ага, дома отсиживался, — значит, предатель, марш под трибунал!.. Мне трибунал, а тебе...»

«Господь с тобой, — перекрестилась она. — Разве я

тебя принуждаю? Пусть будет так, как есть... Буду молчать...»

«И правильно сделаешь. Хочешь жить — молчи... Сопи и молчи».

Взялся за ручку чуть повыше, и они молча стали вращать тяжелые жернова вдвоем...

Начала подрастать Оленка, Христа только об одном и заботилась: как бы злые языки не изувечили чувствительную детскую душу. Не доглядела — изувечили все-таки. Как раз исполнилось Оленке тринадцать — так был ей подарочек на именины. В тот день пришла из школы заплаканная, чего никогда прежде не было. Ей надо было бы парнем родиться. Росла бедовой, задиристой, всегда во всем умела за себя постоять. Как-то, ну совсем еще крохой, погналась за увальнем Иваном Земледухом, чтобы отплатить за какую-то обиду, и вдребезги разбила Суфлерам боковое окно. Палажка сказала тогда Христе: «Это у тебя не девка, а доподлинно Выбейокно». С тех пор и пристало: Олена Выбейокно. И вот тебе раз — слезы. А как тут не заплачешь, когда тебя байстрючкой обзывают?

Как могла, утешила Олену. А та, вроде бы уже и успокоившись, неожиданно спросила: «Мама, а кто был мой тато?» — «Твой тато, Оленочка, может, еще и вернется». — «Вернется?.. Так он же без вести...» — «Не ему одному досталась такая доля. Но бог милостлив, многие уже нашлись. Вон и в Терновке, рассказывают...»

Чувствовала, как трудно ей врать под пытливым взглядом дочери, но и правды сказать не могла.

«Даст бог, и наш объявится. Ты только не принимай это близко к сердцу. Злые языки чего хочешь наплетут».

Не прошло после того разговора и двух недель, как Олена прибежала на скотный двор сама не своя и еще с порога вскрикнула: «Мамка, в нашей хате вор!»

Зашикала, испуганно озираясь по сторонам, не слышал ли кто. А дома вынуждена была открыть ей правду.

С той поры и не стало Олены Выбейокно. С той поры и мечется, вскрикивает во сне. А Евдокима страшится, как оборотня, отцом так и не решается назвать.

Снаружи, вдоль тыльной стены, слышатся вкрадчивые шаги, потом что-то глухо падает на землю.

Пришел, догадывается Христа, дрова принес. Сейчас войдет в хату, выпьет воды, закурит сигарку и отправится огород копать, пока луна не взошла... Хозяин... Ноч-

ной хозяйни... Четырнадцать лет, как кончилась война, а тебя до сих пор страх в осаде держит. И тебя, и меня, а теперь еще и Олену. Для тебя только и света белого что сквозь щель. Да и то изредка. Так и околеешь — если не в погребке, так на чердаке, — и тогда уже навсегда уйдешь в небытие...

В кухне опять всхлипывает Олена. Христя горестно некоторое время прислушивается. Всклипывание повторяется. Христя вскакивает с кровати, бросается к дочери. Уткнувшись лицом в подушку, Олена плачет. Тяжело вздыхая, Христя присаживается на краешек койки, кладет руку Оленке на голову.

— Что ты, Оленочка?

— Стыдно, мама.

— Чего ж тебе стыдно?

— Всего... И всех... И стыдно, и жалко, и горько...

Не знаю, что и делать...

— А что ж делать? Спи, детка, время позднее, тебе утром в школу.

— Не пойду я больше в школу...

— Как это — не пойдешь?.. Бедная моя головушка, а куда ж ты пойдешь?

— Да хоть и на край света, только не в школу... Не могу я больше туда ходить!..

Глава третья. ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

И все это осталось уже там, позади.

Остались позади и железнодорожный переезд с полосатым, забрызганным грязью шлагбаумом, у которого Родион сошел с автобуса Винница — Житники, сошел и сразу же обратил внимание на подновленную надпись на жестяном листе, свисающем с поперечины, — «Нормальное положение шлагбаума — закрытое»; и по-сиротски одинокий аист у степного озера, образовавшегося после весеннего половодья; и древний Слезный шлях, нагоняющий тоску и уныние своим безлюдьем, с двух сторон обкопанный канавой, засыпанный выгоревшими кукурузными листьями, — свежий ветерок лихо сметал их с проезжей части, швырял в канаву, на пыльные съезжившиеся кусты шиповника; и Волчий лес, поначалу синееющий

далеко впереди в мгlistой дымке; и Звенигора, откуда увидел свое село, раскинувшееся по-над Бугом, свои родные Окна; и кладбище, куда завернул поклониться отцово́й могиле.

И вот он уже пересекает выгон, сворачивает в родную улицу — Стельмахивку, издали высматривая сквозь чернеющие ветви вишен и слив отчий дом.

После недавнего дождика, внезапного и обильного, но на удивление тихого, без грома, едва ли не первого нынешней весной, и земля, и река, и деревья, — все в природе притихло и затаилось в радостном и счастливом ожидании близкого ликующего обновления. Так женщина на сносях чутко и трепетно-тревожно замирает в ожидании предстоящих родов, близких и еще не изведанных сю.

С выгона, где впервые вот так, по-взрослому подумал о предстоящем пробуждении природы, Родион замечает, как впереди, может в полусотне шагов, выходит со своего двора, обнесенного высоким дощатым забором, дядько Лаврин. Выходит, по своему обыкновению, осанисто, даже надменно, раскачивая от избытка сил необъятными плечищами — до того необъятными, что, кажется, взвалит на них улицу да и потащит, словно невод рыбацкий. Сделав шаг-другой, приостанавливается, закрывает рот пятерней-лопатой, оглушительно — на всю околицу — чихает, постанывая от удовольствия. Это его оглушительное чиханье напоминает Родиону что-то среднее между «гэх» и «гарья» — точно дядько Лаврин одновременно и дрова рубит, и блудливых овец пугает.

В один из послевоенных годов в разгар жатвы дядька Лаврина сбросило ветром со скирды — он, пренебрегая советом деда Знатька держаться середины, полез на край. Свернул себе вязы и с полгода носил забубенную головушку набекрень, пока на крещенские праздники кто-то в потасовке не восстановил ее на прежнем — законном — месте. Наука, видимо, пошла впрок — с тех пор дядько Лаврин держится середины-улицы даже в такую гибельную непогоду, в такую непролазную распутицу, когда и сапоги недолго в грязи оставить.

Заметив Родиона, дядько Лаврин останавливается по середине улицы, тяжело попирает набухший чернозем плотными кирзачами с растопыренными голенищами (справив новые сапоги, он всегда распарывает голенища сзади, иначе не обует даже с помощью тетки Палажки,

своей жены) — ни сдвинуть дядька, ни выдернуть, молодецкато подбоченивается, будто вызывает соперника на кулачный бой.

Давешний дождик где-то щедро покропил и дядька Лаврина, а дважды на дню менять одежду не в его правилах, так что гимнастерка, куцая и тесная, будто с чужого плеча, клубится паром — дядько вроде бы горит со спины.

Пристально вглядываясь в приближающегося Родиона, куражливо затягивает:

Г-ты-ы, мо-ра-а-ак, красивый сам собою,
Ти-бе-э-э от ро-о-ду двад-цать лет...

Ну, после этого он непременно загадку мне загадает, улыбается про себя Родион. И удивляться тут нечему: дядьковы фанаберни, как говорил покойный отец.

Заквасили дядька Лаврина на тех же крутых дрожжах, что и остальных Земледухов, да, видать, кто-то еще и ядреного хмеля тайком подсыпал нескую горсть, вот и вышел дядько Лаврин горазд на всякие фанаберни.

Родион хорошо помнит те времена, когда дядько Лаврин устраивал домашние гастроли. Вернувшись с гулянки изрядно навеселе глубокой ночью, а случалось, что и под утро, тормозил своих домочадцев; если кто не сразу просыпался, брызгал из кружки в лицо студеной водой. После, поднявши всех на ноги, хватал печную заслонку, деревянную ложку или макогон, усаживался верхом на лавку, точно на коня, и, яростно вращая разномастными глазами, бухал в заслонку, распевал:

Гоп, мон гречаники,
Держи, кума, подштанипки!
Подштанипки опадут —
Гречаники пропадут.

Домочадцам же приказывал: «Гей вы, наследнички, и ты, старуха, поддайте гастроля! Пляшите, а я погляжу, в меня ли пошли, моей ли стати!» Утром тетка Палажка прибежала к матери, жаловалась сквозь смех и слезы: «Слышь, Варька, ох и нагастролировались мы, душа моя, ночью! Я барыню отплясывала, а Иван с Петром — гопакка. А он, матяр, макогоном по заслонке лупит и лупит да на гембе тех своих «Гречаников» — чтоб им черт! — наяривает. Ну наградила судьба домашним скоморохом — не надо и Штепселя с Тарапунькой!..»

С годами, став постарше, наследники научились давать отцу-скомороху отпор, и дядько Лаврин поневоле вынужден был выделывать коленца сам или в паре с ухватою либо с кочергой, наигрывая любимые «Гречаники» на губах, поскольку руки были заняты.

Постепенно это увлечение полуночными плясками наскучило и самому дядьке Лаврину, ударился он в иную блажь — загадки загадывать. Остановит на улице первого встречного, пусть и незнакомого, хватает за пуговицу и, выпучив глаза, точно карась, которого сдавили за жабры, ошарашивает хриплым дискантом: «А ну-ка, молодец-гвардеец, отгадай: на што барану роги, ежели он баран?.. Не знаешь?.. Эх ты, турок загранишный!»

Дядькино лицо, замечает Роднон, расплывается в плутоватой ухмылке, на нижней губе отчетливо белесет бумажная заплатка.

Давным-давно в зимний морозный вечер дядько Лаврин внес в хату, где Роднон с Иваном готовил уроки, обросший колючим искристым инеем топор. «А поглядите-ка, цвейлики, сколько сахару за день наросло! — Подмигнул плутовато. — Кто слижет? Ты, сынок?» — «Не-е, — отстранился Иван, — сначала вы, тато, слижите. Потом и мы попробуем». — «Ото чудак! — вроде бы даже обиделся дядько Лаврин. — От сладкого откажетсяя. Ладно, слижу сам, а вам шиш с маслом останется!» — «На здоровье, тато!» — пожелал Иван. Дядько Лаврин поднес топор к губам, еще и подмигнуть успел — смотрите, мол, цвейлики, да завидуйте, — и в тот же миг истошно замычал, замотал головой, подавая Ивану какие-то знаки. Догадавшись, Иван зачерпнул кружкой воды из ведра и, давясь от смеха, стал лить на топор, пока не оттаяли отцовы язык и губы:

С тех пор вроде сглазил кто дядьку Лаврина — нижняя губа никогда не заживает. То прыщ выскочит, то лихорадкой обкидает, то бритвой порежется, то треснетса о дверной косяк или на гулянке кто-нибудь расквасит. Так и ходит все время с бумажной заплаткой. И не сразу поймешь, глядя на его лицо: то ли морщится дядько от боли, то ли ухмыляется.

— Ты красивый, а я свый, — ухмыляясь, дядько Лаврин шлепает себя по щеке, шлепает так, будто муху или комара давит. Он и в самом деле заметно поседел за эти годы. Густая щетина ежится на окаменело-твердых скулах, словно корешки осотого пуха. — Ничо, што рожа

небрита, лишь бы душа умыта, — заметив Родионова взгляд, прибауткой отделяется дядько Лаврин. — Недельки две назад, как раз накануне вербного воскресенья, побрился утречком, хвалюсь своей: «Смотри-ка, Палажка, помолодел твой Лавруха годков на десять!» И сам не рад был, моряче, что похвалился. Знаешь, што моя Палажка на то пропела? «Так, может, ты, Лавруша, с вечера брился б?..» А ты говоришь, молодец-гвардеец, у бабы ум куций. Га?.. Ну я тоже отпаял ей по-кавалерийски: «А тебе, моя Палажечка, и дух святой не угодит!» Ну так с тех пор не бреюсь — товарищу бабе назло. О!

Дядько прищуривает рябой глаз, хитро и лукаво, хватается за пуговицу Родионова бушлата, рывкает в лицо:

— Гей, моряк, красивый сам собою! Угадай, как сей шлях, на котором стоим, называется.

— Что ж тут гадать, дядько Лаврин? Когда-то называли его Слезным, потом — Житническим. . .

— Так-то так, да не совсем так. Житническим он был, когда жито сеяли. А шас у него новый титул.

— Какой же?

— Сам догадывайся. . . Пораскинь умишком. Может, нечем? Мало вас, значит, пороли, когда учились. Две школы (агрономический техникум, в понимании дядьки Лаврина, тоже школа!) и третий коридор кончил, целнину поднимал, моря-окияны исходил, по разным Египтам, говорят, побывал, всяких заморских чудес навидался, а ума-разума не нажил? Как и мой Иван? Худо, выходит, твое дело, молодец-гвардеец. Шас самое главное што?.. Курить есть? Это ж какие у тебя? А-а, флочкие. Ничо-о, курить можно. . . за неизменением лучших. . . Самое главное шас, слышь, штоб вот тут, — согнув палец вопросительным знаком, дядько Лаврин стучит им по лбу, — соображенье, што к чему, было. Есть соображение — зер гут, ты — человек, а когда тут ветер свищет — нихт зер гут, не человек ты, а, считай, гаврило. . . Я правильно говорю? Правильно!.. Так вот, вернемся к нашим прениям нашет шляха-то. Когда-то, рассказывают, Житники свой герб имели — три житних снопа. Ну а теперь заместо житних три кукурузных початка намалюют. Житники уже Кукурузниками называют. Слышал, небось, в своих Египтах, в какой шас моде кукуруза? Так што шлях наш уже не Житницкий, а Кукурузный. . . Смикитил, што к чему?

— Смикитил, дядько Лаврин!

— Ну так — здорово, Земледух! — подает Родиону ру-

ку, потом рывком дергает на себя, будто Роднон собирается удрать, жалит лицо щетинной, точно крапивой. — С возвращеньцем тебя, чи што ли? Га?

— Здравствуйте, дядько Лаврин, здравствуйте! — растроганно отвечает Роднон. — Как живете-можете?

— А вот так во! — Выпустив Роднона из объятий, дядько Лаврин стыдливо отводит глаза, оглушительно — на всю околицу! — чихает. — Живу — неможу, а чарку удержать — сможу!

— Еще сможете?

— Ого-го-го! — весело хохочет дядько Лаврин. — Лишь бы меня этот шлях держал. Так не держит же, молодец-гвардеец. Ото провожал Настинного Михайла — вместе в Брацлав на ярмарку ездили. Не так ярмарковать, как до того кравчика, што военные картузы шьет. Раньше в них одни номенклатурные единицы форсили, а ныне среди нашего брата они крепко в моде, как эта королева-кукуруза. Гервасий уже справил, всем очн мозолит, сам Кныш предлагал меняться на юхтовые чоботы. Ну так мы с Михайлом ездили до того кравчика. На обратном пути зашли ко мне. Сидели не сидели, только я за ворота — как шлепнуть! Так задний мост отшиб — с неделю на лисапета не сяду.

— А тетка Палажка как?

— А што тетка? Как отлигулирую ей карбюратор да промою свечи, то не чихает. . . Давай-ка еще твоих флорских — ха-ра-шо, понимаешь, продирают. До печенок!

Выдернув папирску из пачки, тычет ею в сторону кладбища, отгороженного от шляха и поскотинны обмелевшей канавой, поросшей шиповником и акацией; после дождя акация влажно и зеленовато поблескивает.

— Вижу со двора: кто-то по кладбищу бродит, ищет чего-то. Кто ж это, думаю. Когда присмотрелся — ты. . . До батька навевывался? . . . Гм-м. . . Не дождался Корней. . . А ты, говорят, в то время на маневрах был — телеграмма из Севастополя вернулась. . .

— Далско я был, дядько Лаврин, очень далеко. . .

— С музыкой хоронили. . . Ниципор Грузд со своими хлопцами играл. . . Знамя несли. . . Красножон, Сергей Галактионович (он уже у нас не директором, забрали в райком), доброе слово над могилой сказал. . . Славные были похороны, всем селом провожали. Ладно, сынок, шагай домой. . . Вечером с Гервасием нагрянем. Скажи матери, пусть петуха рубит — есть о чем потолковать. . .

Чувствуя, как дрогнуло и защемило сердце, притворяет за собой калитку, внимательно осматривает подворье. Вздыхает удрученно: и калитка, и ворота, и плетень обветшали, пошли вкривь и вкось, тронь посильнее — рухнут; стреха на хлеве расшита ветрами, угол стены со стороны сада скалится повлажневшими досками.

С кучи давно пересохшего навоза равнодушно смотрит помутневшими глазами Мудрик. С улицы через покосившийся тын продрался кот, пошатываясь, подошел к порогу, потерся о чемодан, понюхал вещевой мешок, чихнул, потом жалобно мяукнул, заглядывая в глаза снизу вверх.

Сколько же им обоим, думает Родион, собаке и коту? Сразу и не вспомнишь... Еще в школу бегал, когда батя принес сначала щенка, потом котенка.

Дверь в сени — настезь, значит, мать где-то здесь, во дворе. Родион оставляет чемодан и вещмешок на истертом мельничном жернове, уложенном у порога в то лето, когда строили хату, озирается по сторонам, надеясь увидеть мать. Нигде не видно.

Не так уж часто и курил дорогой, а в груди почему-то покалывает и жжет. Расстегнув бушлат, пригнувшись, чтобы не удариться лбом о косяк, Родион входит в сени. Здесь, на старом сундуке, помнится, всегда стояло ведро с водой. «Напьюсь домашней воды, может, и полегчает», — думает Родион.

В углу, над сундуком, висит на гвозде отцов брезентовый дождевик с капюшоном, а ведра на старом сундуке нет.

Родион дергает дверь в хату, хотя наперед знает, что матери там не застать.

Расставшись с дядьком Лаврином, шагал домой и представлял свою встречу с матерью, такую долгожданную и такую щемяще близкую. Надеясь, что мать встретит на пороге, обцелует, омоет слезами, словно живой водой, избавляющей от всех недугов и напастей, придумывал для матери слова самые ласковые, самые нежные. Раньше все именно так и было, как себе представлял. А сейчас вот чувствует: мать не встретит его у порога, не бросится к нему от печки либо от стола, матери вообще нет в хате.

— А кто там?

Голос падает на Родиона откуда-то сверху. Задрав голову, видит в темном проеме чердака (к нему приставлена лесенка) материню лицо, до того испачканное сажей, что даже трудно узнать, взаправду ли это мать.

— Уж не ты ли, сынок? Га?

— Я, мама... Добрый день вам... А вы что там?..

— Ой, уже и не рада этой затее. Не знала баба хлопот, так полезла сажу трусить. Закоптился дымоход — дальше некуда. Каждое утро дрожу: а вдруг вспыхнет!.. Так это и вправду ты, Родя, или мне все это мерещится?.. Ой, сыночек ты мой дорогой, здравствуй!.. Потерпи чуток, я шас... Тут немного... .

— Ладно, мама... Я тем временем... дров наколю.

— Еще успеешь, родной ты мой. Отдыхай — устал небось.

— Скажете такое... Да я...

— Устал, устал, дорога ж неблизкая... Ну, там смотри сам... Дрова-то и вправду нужны — как раз квашню замесила... Там, под орехом, пенек увидишь. Ничипор Грузд корчевал на леваде, так привез с дядьком Гервасием фуру. Зима теперешняя засиделась, как кума в гостях у дальней родственницы. Один пень всего и остался. У него небось все мозги высохли, хорошо гореть будет! Так разве ж бабе с ним управиться? Не пень — одни чертовы жилы. Смотри, может, и расколешь, только не дюже надсаживайся, прах с ним!.. А я шас, сынок, шас... От недаром же утречком котик умывался у порога — есть гость!.. Ты извиняй, сынок, вконец баба наломалась — все сама да сама, разве ж меня одной на все хватит? Хочешь жить — вертись как можешь...

Родион тут же, в сенях, раздевается до полосатого тельника, потом идет к поленнице, под орех.

В старом стволе образовалось дупло, а оттуда гриб растет. Родиону кажется, будто кто-то, спрятавшийся там, высунув наружу чудовищный язык, дразнит его.

Дубовый пень, тяжелый, корчеватый, напоминающий чугунного спрута, и в самом деле требует мужского обращения. Выкатив его из-под ореха, Родион берет колун, пробует пальцем острие и, поплевавши в ладони, круто, со всего плеча, замахивается. Дзинь — сталь тонко и жалобно, вроде даже виновато, звенит и упруго отскакивает, оставив на срезе пня едва заметный шрам.

Ого! Родион с уважением рассматривает пень. С таким спрутом придется повозиться, И как только старый

Грузд выкорчевал его да на телегу взвалил?.. Так вот оно что: у этого пня два узла или, как сказал бы отец, два вихреня. Да пусть хоть и чертова дюжина, все равно разворочу. Для того я и домой вернулся.

3

Материна светлица отличается от обычного крестьянского жилья разве что разрисованной печкой (алые маки, синий виноград, пестрые птицы и зеленые кони) да еще резной мебелью, добротной и удобной, — отцовской работы. Ничего вроде не изменилось за эти годы, все на своих привычных местах, разве что попросторнее стало, попривольнее.

Мать с сыном сидят за столом. Родион, как и положено хозяину, — в красном углу, мать — у окна, заставленного вазонами, под темными ликами икон святой Варвары и Георгия Победоносца. Как и в прежние годы, с гвоздиков, на которых держатся иконы, свисают на белых нитках крылатые кони, вырезанные матерью из зеленой бумаги. Когда кто-то входит в хату, со двора врываются сквознячки — кони будто оживают, пускаются вскачь. Вот-вот вылетят за окно, разбив копытами стекла. Удивительно даже, что до сих пор не приходило в голову спросить у матери, почему она вырезает именно зеленых коней.

— Вот так, сынок, и живу, — закончив свой рассказ, вздыхает мать. — Как говорится, абы считалось.

Слушая мать, Родион разглядывает ее руки. Как у любой доярки, не знают они покоя ни днем, ни ночью — пальцы все сжимаются и разжимаются, будто доят. Сейчас материны руки (запястье правой перевито красной шерстяной ниткой, «чтобы жилы не расходились») теребят концы подаренного Родионом тернового платка — повязавшись платком, мать сразу помолодела лет на десять, расцвела былой красотой, по-славянски кроткой, мягкой и приветливой.

— Угощайся, сынок, угощайся, — спохватившись, спрашивает мать. — Ты на меня не смотри. Я теперь, считай, пошусь — с желудком вот маюсь... А ты кушай, в дороге проголодался, кушай и не обессудь за такое угощенье. Что поделаешь — ни поросенка, ни коровы. Как говорится, только и рогатой скотины что хват да курица. Откуда ей взяться, корове, когда подчистую перепахав

ли под эту королеву — ну, кукурузу, по-нашему, по-просто-му — все пастбища, все поскотины? А во-вторых, некому и пасти. На улице нашей только дядько Лаврин и держит буренку. Оба они на хлебной должности: Лаврин — бригадиром, Иван — агрономом, оба в правлении, сам Кныш за них руку тянет, потому и Палажка чувствует себя как у Христа за пазухой: отсиживается дома, корову пасет в левадах.

— Ну а Настя-то как с Михаилом — все еще дерутся?

— Та всяко бывает. Иной раз такой бубны ей за-даст — ко мне ночевать бежит. Не скажу, что зря, быва-ет, и за дело всыплет. Под Новый год справили ему кожан-ку, он ведь трактористый (мать, как и прежде, говорит не «тракторист», а «трактористый»), так зарабатывает, не то что мы, а она, Настя, возьми и подложи обновку в люль-ку под дите. А Василько возьми да и напишай... Прав-да, шас и Настя научилась давать сдачи, Михайло и сел, что рак на мели. Одна беда — причащается. Вот как-то, ну да, на Восьмое марта, — смеется мать, — так прича-стились с дядьком Лаврином, так отметили женский праздник, что мыло стиральное съели, думали — сало. А с похмелья и взбрело в голову себя со свету сжить, а может, Настю вздумал постращать, кто знает. Вывнитил, чуешь, Родя, лампочку над столом и пальцы в патрон су-нул. Смех и грех. Вот уж зятек попался. Недаром гово-рят: нет черта в доме — прими зятя. Хорошо, хоть в свою хату перешли. Да... Останавливаю Михайла на улице, зазываю в хату, слово за слово, потом и говорю: коли те-бе, зятек мой ненаглядный, жизнь опостылела, так не ва-ляй дурака, послушай меня, глупую свою тещу, подскажу верный способ: ты в патрон-то пальцы не суй, они у те-тя точно стопки, в глечик не впихнешь, ты залезь на столб электрический, можешь и лесенку приставить, я одолжу, хватайся за провода руками — сразу богу душу отдашь, моргнуть не успеешь. А то срам один...

— Настя до сих пор на ферму с вами бегает?

— Нет, отбегала. Сразу после Восьмого марта броси-ла. Очень уж трудно было этой зимой с кормами, до того тяжело, что думали — не дотянем. Ну, а Кнышу кто-то — уж не наш ли Суфлер? — шепнул, будто ворует, по домам последнее растаскиваем. Начал он доярок подкараули-вать. Решил расквитаться за тот конфуз с Христей Заво-ритней. Ты ж знаешь, все эти годы он за ней ухаживал, а в последнее время совсем голову потерял — проходу не

дает. Так под Новый год назначает ей свидание в старом овине. Христя вроде согласилась. Приходит Кныш на это свидание, а навстречу ему — Горпина, жена его, с ухватом. . . Что было — не перескажешь! . . . С тех пор и затанц Кныш на нас злобу. Стал, значит, доярок подкарауливать. Остановит: «Ну-ка, девка, покажи, что в торбе!» Перед Восьмым мартом остановил и Настю нашу — шла с сумкой из коперации, а Кныш подумал — с фермы. «Ну, покажи, что несешь!» Настя, не долго думая, задрала подол и. . .

С уйицы доносятся чьи-то гулкие шаги, мать, оборвав свой рассказ, выглянула в окошко.

— О-о, вот и гости! Земледухи идут — дядько Гервасий и дядько Лаврин. . .

4

— Ну-ка, Варька, — горланит дядько Лаврин еще с порога, — приглашай нас любезненько к столу — замочим возвращение нашего Корнеевича! Я правильно говорю? Правильно!

Не снимая картуза, не ожидая приглашения, прет прямо к столу, еще издали обшаривая его взглядом истосковавшегося выпивохи, прочно усаживается на скамье.

А дядько Гервасий, будто вовсе не замечая Родиона, неторопливо снимает картуз, вешает на вбитый в матицу гвоздь, достает из кармана гимнастерки алюминиевый гребешок, опрятно расчесывает на пробор седые волосы.

Крепкий, могучий, как и Лаврин, — из земли не выдернуть, с места не сдвинуть, — однако не грузный. Хотя сам о себе иного мнения: «Это я нынче тучноват стал, а вот когда, по ходу пьесы, в кавдивизионе служил, был вот такой, как щепка, можно было меня в стане пальцами перехватить». Походка у него неторопливая, твердая, уверенная. Никуда не торопится, не летит стремглав, не суется, но если уж выбрал путь, двинулся с места, никакая сила не остановит и с пути не собьет. Лицо, обожженное летним зноем и зимней стужей, кажется суровым, но лишь на первый взгляд. Стоит дядьке Гервасию услышать удачную шутку, меткое слово, как тотчас наспуленные кустистые брови взмстнутся кверху и на тебя взглянут беспомощно-наивные, голубые, как и у отца, глаза. Принаряди дядька Гервасия вместо гимнастерки и вельветовых штанов в наимоднейший костюм, все

равно любой скажет: этот человек — от земли. Именно он, дядько Гервасий, как никто другой, соответствует этой фамилии — Земледух.

Одним лишь дядько Гервасий доставляет всем хлопот — манерой говорить. Если дядько Лаврин сыплет слова как просо, то дядько Гервасий вытягивает их из себя, будто жилы. Паузы порой настолько затягиваются, что можно анекдот рассказать или песню спеть.

В довосиные годы оба работали на тракторе «НАТИ», который, говорят, не так-то просто было завести; уж если завел, так гляди в оба, чтоб не заглох; Лаврин был трактористом, а Гервасий прицепщиком. Тогда и произошел случай, навсегда разлучивший братьев в работе.

«Дело было так, — любит рассказывать на досуге дядько Лаврин. — Пашем как-то в урочище Довги Гоны. Где-то около полудня так приспичило закурить — хоть мычи, хоть рохкай. А табачок давно вышел. Ну, повыворачивали мы с ним карманы, еле-еле насобирали трухи на сигарочку. Закурили. Затянулся я разок-другой, продрал горло, продул ноздри, передаю старшему братану — он, вижу, аж трясется весь, а сам возвращаюсь к «натикку». Пашем дальше. Вечереет уже. Вдруг, слышу, позади кто-то как рывкнет: «Стой!» Я обмер с перепугу: Гервасий, уснув на плугах, сорвался под лемеха. Мой «натик» чмых-чмых и подавился. Стоит как укопанный. Оглядываюсь назад — слава богу, сидит мой Гервасий на плугах, будто сыч на стрехе, жив-здоров! «Што случилось? — гукаю ему. — Чего ты орал?» Молчит. Думаю, не слышит. Выбираюсь из кабины, подхожу поближе. «Так што стряслось?» Молчит, только губами шлепает. Такая меня злота разобрала — на месте прикончил бы этого бирюка. «Так скажешь што-нибудь, ты, турок загранишный?» В конце концов, когда и солнце за Волчий лес закатилось, разродился: «Сигарку потерял. Как дернул ты «натиком», сигарка изо рта и выпала. Всего один раз и затянулся». Ну што ты ему скажешь? Говори не говори, все без толку. А надо ж заводить заглохшего «натика». Заводили-заводили, два дня кантелились, а он только чихает, вроде насморк подхватил. Уж я ему и дули под радиатор сую — не помогает. Ну, раз так, тогда я сунул четыре дули, поядреней прежних, под нос Гервасию: «Хватит с меня, бирюк, твоей гоп-компании! Поищи других дураков».

Расчесав волосы, а потом еще и усики ворошиловские

потеребив, дядько Гервасий выходит на середину светлицы, сурово всматривается в Родиона. Родион поднимается с лавки, идет навстречу. Дядько Гервасий кладет ему на плечо тяжелую, точно чугунную, руку, мучительно долго выкатывает из-под языка слова, которые хочет сказать, и наконец-то ему все же это удается:

— Ну, то как оно там, на той стороне?

У каждого из Земледухов своя манера говорить, свои устоявшиеся слова и образы, в которые они умеют, однако, вложить именно тот смысл, который соответствует обстоятельствам. Родион улыбается, догадавшись, что именно дядько Гервасий имеет в виду.

— На той стороне, дядько Гервасий, теперь полный порядок!.. Морской порядок.

— Так оно, по ходу пьесы, и должно быть... Значит, и тебе пришлось пороху понюхать? — Обнимает Родиона, трижды целует мягкими губами. — С возвращением тебя, Земледух!

— Варька! — нетерпеливо потирая руки, орет дядько Лаврин. — Ставь-ка нам бутылочку зверобоя або иного зелья, для восстановления равновесия это не имеет принципиального значения. Я тут прихватил той воды, што в очи скачет, — достает из кармана рыжих вельветовых штанов бутылку минеральной воды «Регина».

— Ты б лучше сала прихватил, — смеется мать.

Достает из посудного шкафа бутылек, прячет под полу жилетки, выходит из хаты. Теперь, представляет Родион, постоит на пороге, посмотрит на улицу, на огород, прислушается, а уж потом быстренько засеменит к погребу, озираясь еще и дорогой.

Дядько Гервасий берет табуретку и усаживается у расписанной цветами и птицами печки. Не спеша скручивает сигарку, прячет сложенную книжечкой газету обратно в нагрудный карман гимнастерки, такой же как и у младшего брата, застиранной и выгоревшей, но более опрятной, из кармана достает зажигалку — единственный трофей, привезенный из Германии, прикуривает. Пускает дым в печку и все приглаживает широкой ладонью седые волосы, коротко подстриженные, с безупречным пробором на левую сторону, пошипывает ворошиловские усики, поглядывает на Родиона, взглядом расспрашивая, как ему служилось вдали от Родины, ибо словами — трудно.

А дядько Лаврин тем временем уже принял свою излюбленную позу — сидит на лавке, будто в седле.

В молодости Земледухи отбывали кадровую в кавдивизине, расквартированном в Виннице. Те времена, пожалуй, самые памятные в их жизни, особенно для дядька Лаврина. Про службу, учебные кавалерийские атаки в Пятишчанском лесу и в степи под Якушинцами, про рубку лозы он может рассказывать часами. Будет непременно рассказывать и сегодня, пусть только опрокинет чарку-другую. С тех давних времен и осталась у дядька Лаврина эта поза: садится на лавку, точно на коня, откинувшись чуть назад и набок, правой рукой как будто повод натягивает, а левой сжимает эфес сабли!

— Слышал, старшина, — плутовато подмигивает Родиону дядько Лаврин, — наша-то «Регина» золотой мэндал на всемирной выставке минеральных вод заполучила?

— Неужели? — оживляется Родион. — А за что?

— А вот, читай, — дядько Лаврин берет со стола бутылку, вертит в руках. — Тут, где про химический состав... Глянь: натрий и калий есть, кальций — есть, магний — тоже есть, железа — нету. Вся, считай, химия есть, а железа — нету!.. Вот за это и дали нашей «Регине» золотой мэндал. Смекаешь?

— Ну, а железо при чем? — улыбается Родион, ожидая подвоха. — При чем тут железо, дядько Лаврин?

— А при том, старшина, — дядько Лаврин едва сдерживает смех, — а при том, черноморец, што можешь смело употреблять эту водичку в любом количестве: канализация не заржавеет; когда до ветру пойдешь...

От хохота дребезжат стекла.

— Уже заливаешь? — с улыбкой спрашивает мать, возвратившись в хату. — Вот уж натура: хлебом не корми, дай сбрехнуть. — Ставит бутылек посреди стола, кивает Родиону. — Налливай-ка, сынок. Присаживайтесь, Гервасий Радивонович, к столу, еще накуритесь той заразы.

— Ну, моряк, красивый сам собою, — многозначительно прокашливается дядько Лаврин, вожделению вращая глазами, — за твое! Как говорится, будь здоров и не кашляй! — Опрокидывает чарку, пятерней, пренебрегая вилкой, загребает квашеной капусты, как итальянец — спагетти. Громко чавкая, снова подмигивает Родиону. — Ты ведь один тут среди нас такой, как это сказать... водоплавающий, что ли... Все мы, Земледухи, служили в ка-

валерии либо в пехоте, а тебе, вишь, досталось по морям-океанам. Как это поется:

По морям, по волнам,
Нынче здесь, а завтра там!..

А только я так скажу: служба, она всюду служба!.. Я правильно говорю? Правильно!.. Вот мы с ним, — кивает в сторону дядька Гервасия, — да еще с батеи твоим кантовались в кавдивизионе. Там у меня был рысак. Такой серый, в темных яблоках. Ветер — такая была у него кличка. Сам Виталий Маркович Примаков, которого теперь, как ты знаешь, реабилитировали вместе с другими героями гражданской войны, на нем ездил. Конь, старшина, — я тебе передать не могу! Стоит этот Ветерок, значит, в конюшне, стоит, надоест ему стоять — сбрасывает с себя уздечку, ну, вроде у него заместо передних ног — руки, выходит на плац — и ну барьеры брать, ну барьеры брать, аж пыль столбом! Все двадцать четыре барьера возьмет, потом возвращается в конюшню и сам на себя уздечку надевает. Так я за этим Ветерком присматривал, Гервасий не даст сбрехать. Ин-те-рес-ная служба!.. А помнишь, братуха, как в Пятничанском лесу пошли мы в атаку, Кныш вывалился из седла, повис в стремях, а кобыла, ошалев, как понесет его, как понесет!.. С тех пор у Тодоса Иосиповича и гриб... или как его... горб растет.

Дядько Гервасий, почокавшись с Родионом и закусив капустой, снова уселся у печки, покуривает. Сколько Родион помнит, никогда не лезет наперед, всегда старается оставаться в тени, будто вовсе его и нет. Таким же был отец.

— Э-э, ни хрена ты не помнишь! — пренебрежительно машет рукой дядько Лаврин на старшего брата. — Ты ж кавалеристом не был. — Обняв Родиона, запеваает:

Мы — красные кавалеристы,
И про нас
Былинники плечистые
Ведуть рассказ...

— Кавалеристом не был, — прерывает песню дядько Гервасий, — но, по ходу пьесы, пулеметчиком пришлось бывать.

— Х-ха! — привстав, будто на стремях, дядько Лаврин ловко опрокидывает вторую чарку, не дожидаясь при-

глашения и ни с кем не чокаясь. — Он был пулимнетчиком!.. А ты хоть пули.. пулимнятис.. или как его... ты хоть понятне имеешь, што такое пулимнет системы... системы... подсажи-ка, Радивон, ты ж на флоте, тоже небось изучал их...

— Давайте лучше споем, — предлагает мать. — Возьми-ка, сынок, отцову гармонь.

— Во-во, — оживленно поворачивается к ней дядько Лаврин, — начинай, Варька, ту, Кнышеву:

Гей, за Бугом-рекой,
Там казак молодой
Ковыль-травушку косил
И коням своим носил...

Прервав песню, дядько Лаврин бросает в рот щепотку капусты. Воспользовавшись паузой, Родион спрашивает:

— А как там ваш Иван, дядько Лаврин?

— Иван? — молодецки подбоченясь, переспрашивает дядько Лаврин. — Ну, Иван Лавринович пошел в гору, что и требовалось доказать. Спервоначально была у него должность анто... энтимолога, ну, проще говоря, агронома по защите растений. Кто-то даже окрестил его Главным Дустом. Голь, она ж, знаешь, на выдумки хитра. А теперь — главный агроном. Вчера откомандировали в Винницу, толкачом на химкомбинат, супер выбивать под королеву — посевная ж на носу. Вот такая нонче у него должность. Был Главным Дустом, стал Главным Толкачом. Видать, где-то подзадержался, а то был бы уже тут как штык. Ничо, вы с ним еще залимоннте за братскую встречу...

— Ну а Петро? — допытывается Родион.

— А-а! — пренебрежительно отмахивается дядько Лаврин. — Энтот в Заболотном, в училище механизации. А куда его, турка загранишного, иначе определишь? Баран бараном!.. Кстати, ты слышал анекдот про барана? Вот послушай. Садятся в самолет. А один барана с собой тащит. Ну, та, что билеты проверяет, спрашивает: «Гражданнин, а вы куда с бараном?» А он отвечает: «Это, гражданочка, не баран, а калым. Баран учится в институте!..» Га-га-га!.. Ну, ничого: одевают, обувают, а чаю, хвастается, — от пуза! Так то ж ему роскошь, он сызмальства на сладкое падок. Окончит училище...

— Так чья это, Суфлер, песня? — неожиданно перебивает его дядько Гервасий, молча куривший у печки.

— Чего? — даже опешил дядько Лаврин. — Какая песня?

— Ну, та, что, по ходу пьесы, пели?

— Здравствуйте вам у шляпу!.. Видал деятеля?.. Ты, братуха, еще б прошлогодний снег вспомнил.. Ладно, ответчу... Эта песня, что про Буг-реку, — Кнышева... А в чем дело?

— А в том, что это хорошая, человеческая песня, и потому Кнышевой, по ходу пьесы, быть не может!

— Х-ха! Эн-то почему — не может? — снисходительно улыбается дядько Лаврин. — Потому, что тебе так хочется? А я говорю: это песня Тодоса Иосиповича, нашего приседателя. Он ее, если хочешь знать, от самого Котовского Григория Ивановича перенял. Панят-но-о? — порывисто вскочив, дядько Лаврин так же резко садится, буд-то приколачивает сказанное.

— От Котовского — как бы не так!.. Он, по ходу пьесы, еще сопляком был, когда Котовский воевал...

— А я и не утверждаю, что Кныш вместе с Котовским рубился. Я другое имею в виду. Котовский в гражданскую войну наше село от Петлюры освобождал? Освобождал! Сам тому свидетель! А штаб его где стоял? У Кнышей! Соображаешь, ты, турок загранишный?

— Кныш, Кныш... Заладил, как тот попугай... Во подхалим — на расстоянии задницу лижет!..

— Что-о? — угрожающе медленно привстает дядько Лаврин. — Эй, братуха, повтори, что сказал, пока я тебя не спешил!

Склонившись на гармонь, Родион с улыбкой наблюдает за внезапной стычкой братьев.

— Да будет вам! — пытается мать их урезонить. — Вот уж поистине: два медведя в одной берлоге не уживутся. Лучше по чарке выпейте да еще споем:

Запою я, заиграю:
Ой, не шуми, луже!
Чтобы люди не сказали,
Что одну и ту же.

Наливай им, сынок, наливай.

— Варька, умница ты моя! — возбужденно орет дядько Лаврин. — Ты вроде моим языком заговорила. Дай я за это тебя расцелую... куда прикажешь. — Хохотнув,

обращается к дядьку Гервасию: — В самом деле, Гервасий батькович, ну какого хрена нам с тобой цапаться? Что нам делить — отцово наследство? Все мы — Земледухи, на нас земля держится, и нету рода спол... как его... сплченнее нашего!.. Скажи, Радивон, я правильно говорю? Правильно!.. Варька, у тебя не найдется двухствольной стопки?

— Вот именно, Земледухи, — вроде бы соглашается дядько Гервасий, а чуть погода добавляет: — Да только не одним духом с тобой дышим... .

— Ну, ты выдал зануду? — заерзав, дядько Лаврин толкает Родиона локтем, ища у него сочувствия. Опрокинув стопку, тяжело сопит, выверяясь на дядьку Гервасия. — Ты... ты... пулимнетчик!.. И что ты все роешь под меня да роешь? До каких пор будешь подрывать мой авторитет? Завидуешь? Попридержи язык, будешь и ты человеком.

— Ну как же! Вроде Гервасий Радивонович — не человек, — заступает мать. — Один ты — шишка на голом месте... .

— А ты, Варька, сиди и не варнячай! — прикрикивает на мать дядько Лаврин.

— Ну-ну, — откладывая гармонь в сторону, предупреждает Родион. — Полегче на поворотах!

— Что ты, пшено, еще и на братову рывкаешь? — не повышая голоса, медленно растягивая слова, произносит дядько Гервасий. — Чего ты дерешь двухствольную глотку? Ты что — на правлении?..

— Что-о?! . Я — пшено?.. А ты... ты... ты в плену был!..

5

У порога Христа с Оленой вновь заколебались — из хаты доносятся возбужденные голоса, похоже — там ссорятся.

Внезапно наружная дверь распахивается настежь — из сеней, зацепившись кирзачами за высокий порог, пробкой вылетает ошалелый Лаврин Суфлер. Вслед за ним летит и полувоенный картуз.

Олена, не сдержавшись, прыскает в кулак. Растерявшаяся Христа, как всегда, шикает на нее, и тут Родион замечает их за полоской света, льющейся из сеней.

— А-а, соседушки! Добрый вечер!

Он уже видел сегодня обеих. Шел мимо ворот, а тетка Христя воду несла от криницы. Вся в темном, закутанная в платок, как монашка. Поздоровался, но ответа не услышал, хотя хорошо видел: тетка ответила. Говорят, вспомнил Родион, она когда-то была самой красивой в селе девушкой, а потом и молодницей. Следы былой красоты сохранились и доныне, однако тетка Христя словно бы прячет ее от постороннего глаза темным платком. Была красивой и голосистой, как и его мать. Вместе ходили они на посиделки, пели в клубе. А после войны, когда сообщили, что Евдоким, муж ее, пропал без вести, стала какой-то тихой, боязливой. Потому, наверное, и прозвали ее Монашкой. Тетка поставила ведро у порога, что-то промолвила в сени, оттуда выглянула девушка. Неужто Олена?

— Милости просим в нашу светлицу, — приглашает Родион, отходя в сторону.

— Ноги моей больше не будет в этой хате! — горланит от ворот взъерошенный дядько Лаврин. — Знать вас больше не знаю!

— Скатертью дорога! — отвечает Родион и захлопывает дверь.

— Добрый вечер в вашей хате, — тихо здоровается Христя в светлице. — Будьте здоровы, Миллиановна, с дорогим гостем. — Достает из-под полы сверток, подает матери. — Примите от нас гостинца. — Повернувшись к Родиону, остановившемуся у порога, улыбается одними глазами, необычайно выразительными и печальными. — Будешь, Радивон, богатым. Сразу-то я тебя и не узнала. Спрашиваю ее, — кивает на Олену, держащуюся смущенно и неуверенно, — что это за матрос прошел мимо наших ворот? Олена глянула да и говорит: так это ж Радивон! . . Ну да, сказывай, говорю ей, вроде я Радивона не узнала б. Теперь вижу: и в самом деле ты. . . С возвращением тебя, Радивон.

— Спасибо, тетка Христя. — Родион склоняется к ее черной натруженной руке, целует в запястье, как с детства учила мать привечать пожилых женщин.

— Ой, — теряется Христя, — будешь еще бабе руку целовать. — Однако, польщенная его вниманием, наклоняется над Родионом и целует в лоб. — Будь счастлив, сынок.

— Проходите к столу, — приглашает мать. — Милости просим.

Теперь перед Родионом остается только Олена.

Она робко поднимает голову, глаза их встречаются, и Родион чувствует, как под сердцем будто иголка кольнула, — такую глубокую печаль увидел в терновых девичьих глазах.

Первым подает ей руку.

— Здравствуй, Оленка...

Глава четвертая. ВЫБОР

1

Этот обычай ведется издавна, еще со времен коллективизации, — каждый вечер, после работы, собираться на крыльце колхозной конторы, все еще размещающейся в просторном доме попа Сморжевского.

Яростно дымят самосадом, дотошно обсуждают день минувший, пророчески загадывают, каким будет завтрашний, со знанием дела переминают косточки колхозному начальству.

Наговорившись всласть, долго и значительно молчат, устало вздыхая. Лишь когда совсем заведереет, запахнет из дымоходов ужином, нехотя, не прощаясь друг с другом, будто через час опять встретятся, ездовые, механизаторы, скотники расходятся по домам.

Сколько Родион помнит, ни одна ассамблея (так его отец назвал эти посиделки на крыльце колхозной конторы) не обходится без Горика, сельского дурачка, самого старшего из внуков деда Знатька. Если не находится подходящего случая посудачить, позубоскалить, Горик всегда выручит: на то ведь и дурачок, чтобы развлекать да потешать умников.

Заметив Родиона, Горик (в изрядно поношенном офицерском кителе, доставшемся ему от покойного дядька Ивана, председателя сельского Совета, и такой же фуражке) делает испуганно-услужливое лицо, лихо козыряет полосатым милицейским жезлом, неизвестно где добытым:

— Разрешите доложить, товарищ приставитель: идет заседание правления колхоза!

Заседание длится уже третий час. Ведет его Тодос Осипович Кныш. Открывает и подытоживает прения по каждому вопросу повестки дня.

— Коллектив — это вам, товарищи члены правления, не мешок с картошкой. С коллективом нужно работать засучив рукава. Я правильно говорю? Правильно! Только девственными и решительными мерами укрепим мы расшатавшуюся трудовую дисциплину накануне такой ответственной массово-политической кампании, как весенне-полевой сев. — Поддернув едва уловимым движением локтей сквозь полы габардинового френча галифе из тонкого синего сукна, Тодос Осипович пытливо оглядывает присутствующих. — Я правильно говорю, товарищи члены правления? Правильно!

— Совершенно верно! — подобострастно кивает Лаврин Земледух, сидящий по правую руку. — Не в бровь, а в глаз!.. Недаром же ж говорится: клин клином вышибают... Урезать этой шайке-лейке огороды — куда она денется!.. Надо принимать крутые девственные меры, вы правильно...

— Значит, — не дослушав своего постоянного суфлера, продолжает Тодос Осипович, — с этим — решено. Переходим к следующему пункту повестки дня. — Опускается в председательское кресло, устало отваливаясь к спинке, останавливает взгляд на Иване Земледухе, который ведет сегодня протокол заседания, — мол, напомника, товарищ главный агроном, какой там у нас следующий вопрос.

— Как это, знать, решено? — в наступившей тишине раздается удивленно-возмущенный возглас деда Знатька. — А ты, голова, на голосование ставил?

— А вам, Захар Демьянович, то есть Демьян Захарович, пренебреженно надо голосовать? — снисходительно улыбается Тодос Осипович. — Ох и формалист же вы, Захар Демьянович, ох и формалист!..

— Еще неизвестно, голова, кто из нас формалист. — Весь в белом, босой, с неизменным кнутом в руках, дед Знатько сидит у порога. — Раз собрал правление — ставь на голосование, и кошка не ходи!.. Может, лично я против этих ваших девственных клиньев...

— Х-ха-а, он, видите ли, против! — саркастически хмыкает Лаврин Земледух, потом с тем же сарказмом

впрошает: — Выходит, цацкаться с ними? Так, что ли, дед?.. Вечно он против, оппортунист местного масштаба!..

Не удостоив Лаврица Земледуха даже взглядом, дед Знатько рассудительно продолжает, обращаясь непосредственно к Тодосу Осиповичу:

— Вот ведь систему изобрели: чуть что не так, чуть что не по-вашему — сплеча рубите. Ты, голова, будь добр, не пыхти, как тесто на опаре, слушай, что толкую, да на ус мотай, против меня ты, знать, еще в три ряда зеленый... Мотай, Тодос Осипович, пока не поздно. Сегодня ты еще голова, а завтра можем и понизить...

— Ну ты, Скворода! — прикрикивает Лаврин Земледух. — Не пори чепухи! Не то за дверь выставим, будешь перед ассамблеей выступать!

— Тю, вышибала нашелся! — басит Гервасий Земледух.

Устроившись, как обычно, в самом дальнем углу, он уже давно собирался что-то сказать в поддержку деда Знатька, да все не мог подыскать нужных слов. Теперь же, видать, нашел и, скрипнув стулом, решительно поднимается с места.

— Демьян Захарович тут правильно говорит. То, про что он толкует, беспокоит многих. Может, не все решаются сказать прямо. А это тоже кое о чем свидетельствует. Да, Тодос Иосипович, есть иные методы укрепления трудовой дисциплины, иные формы работы с коллективом, а ты, по ходу пьесы, всё гайки зажимаешь. До каких пор, спрашивается?

3

С крыльца колхозной конторы Родиону хорошо виден обширный колхозный двор: конюшню, двухэтажный амбар, кузницу. Конюшню и амбар (по-местному — магазин) построили из красного, хорошо обожженного кирпича еще в тридцатые годы, когда в Окнах основали колхоз «Улей и пчела», а председателем выбрали Галактиона Ильича Красножона. Стенам еще стоять да стоять, а вот крышу надо бы подновить.

У конюшни, нацелившись дышлами в небо, выстроились в длинный ряд телеги; отощавшие, обросшие за зиму грязью, рыжим навозом лошади мотают над кормушками мордами, будто с чем-то соглашаются и одновременно

менно же отрицают. У кузницы застрял в подсыхающей грязи «разутый» трактор.

А туда дальше, за конюшней и амбаром, белеют постройки животноводческих ферм. Тодос Осипович по специальности строитель, до войны окончил в Немирове курсы десятников, и за время его председательства фермы совершенно преобразились. Особенно, слышал от матери Родион, Кныш гордится «гайкой» — свинарником на сто голов и коровником с беспривязным содержанием скота.

— Что-то долго они там заседают, — сплевывает на замусоренный окурками пол Михайло. Он успел уже где-то изрядно хлебнуть и теперь внимательно, даже любовно рассматривает свои пудовые кулаки, словно ища им применения.

— Как всегда, — устало зевнув, Максим Грузд опять тянется к Родиону за папиросой. — У нас это любят. Тодоса Осиповича хлебом не корми, дай позаседать.

— Интересно, что они там решают? — Михайло нюхает кулаки. Вдруг оживившись, обращается к Родиону: — Ты вот, Радивон, поученее нас, может, растолкуешь: почему я, тракторист, человек, можно сказать, от земли, должен кормиться из города? Мясо — из города, сало — из города, молоко — из города и хлеб — тоже из города. Почему это так, мы ж все это производим здесь, в деревне? Вот раньше, к примеру, я кормил двух кабанчиков. Одного — себе на харчишки, другого — на базар, копейка тоже в хате нужна. И мне хорошо, и рабочему в городе хорошо. Почему теперь зажимают этот частный сектор, а?

— Ну что пристал к человеку? — вступается Максим Грузд. — Кого-нибудь другого попроси.

— Кого именно?

— Сам знаешь...

— И спрошу! — храбрится Михайло, потирая кулаки, видать, они у него здорово чешутся.

На крыльцо выходит возмущенный дед Знатько.

— Ну как, дедушка? — спрашивает Родион. — Кончились прения?

— Ну их к лешему! — стегает дед Знатько кнутом по заплеванному, окурками забросанному полу. — Пусть хоть и до утра преют, я выписываюсь с того Кнышева правления.

Следом за дедом Знатьком выходит и Гервасий Земледух.

Оставшись вдвоем, Кныш и Лаврин некоторое время угрюмо молчат, жадно курят.

— Да-а, брат, — тяжело вздыхает Тодос Осипович, — вот нашли беду на свою голову, выбрали этого Сковороду в правление. Труха из него сыпется, а туда же... Да и родственничек твой хорош.

— Вот именно, Тодос Осипович, — услужливо соглашается Лаврин Земледух, — одна шайка-лейка...

— Чуть заседание не сорвали... Ну, ничего! Не таким рога обламывали, обломаем и этим. — Кныш придвигает к себе счеты, звучно цокает костяшками, вроде баланс подводит. — Нас-то побольше...

— Разрешите? — приоткрывается дверь кабинета.

— Ну-ну, попробуй, — то ли разрешает, то ли угрожает Тодос Осипович, не отрываясь от счетов. — Так вот: побольше...

— Вечер добрый в вашей хате!

Увидев Родиона, Лаврин Земледух изумленно таращит глаза, нервно ерзает на стуле, обидчиво супится — дает понять, что все еще не простил и никогда не простит Родиону того случая.

Тодос Осипович медленно поднимает голову, над которой нимбом светится мягкий рыжеватый пушок, и брови его, такие же мягкие и рыжеватые, как и пушок вокруг темени, изламываются острыми углами. Берет со стола очки, суетливо водружает на переносице, с нескрываемым любопытством разглядывает Родиона, потом беспомощно разводит руками.

— И знакомая рожа, а чья — хоть убей! — не припомню.

Горячая кровь, чувствует Родион, тяжело бухает в виски, перед глазами плывет туман, на скулах упруго взбухают желваки — это закипает ярость.

— А я, гражданин Кныш, вашу рожу сразу припомнил! — Круто, на каблуках поворачивается кругом, дергает дверь. — Флотский привет!

— Да погоди ты, чудак! — окликает Тодос Осипович, жарко зардевшись, будто младенец, расторопно выбегает из-за стола. — Не будь таким вспыльчивым. — Подхватив Родиона под руку, подобострастно тараторит: — Если б не эти ленты-якоря, можно было бы, пожалуй, принять тебя, служба, за приставателя с центра. Слу-

чаем, не Корнеев отпрыск? — оглядывается на подавленного, молчаливого Лаврина Земледуха. — А?

— А то чей же? — кивает Лаврин, на всякий случай нащупывая позади себя картуз. — Как видите, яблочко от яблони... — Встретив Родионов взгляд, прикусывает язык, беспокойно ерзает.

— Я так и подумал, едва он характер свой показал. — Остановившись посреди кабинета, раскачиваясь с носков на пятки, раздражающе скрипя при этом половицами, Тодос Осипович пытливо всматривается в Родиона. — Признаюсь, я сперва даже оторопел, подумал: неужто Корней, покойник, воскрес?.. Ну, здравствуй, служба, и не взыщи — мы ведь тут, в селе, привыкли к простому обращению. — Едва уловимым движением подпернув галфе, сует Родиону сухую, как вобла, ладонь, жмет вяло, равнодушно — ради приличия. — Будь ласка, присаживайся. А за смелость хвалю! Сам из таковских. — Колобком закатывается за председательский стол, ныряет в мягкое кресло, устало отваливается на спинку. — Присаживайся где удобнее: хоть на стул, хоть на диван.

— Благодарю.

Сдержанно кивнув, Родион усаживается на кожаный диван, устланный ворсистым туркменским ковром, рассматривает кабинет.

Кабинет производит сильное впечатление своей внушительной обстановкой. Добротная лакированная мебель, разлапистый, словно пальма, фикус в кадке, аспрагус над окнами, на стенах — политическая карта мира, чертежи коровников, свинарников, портрет Мичурина, а под ним — транспарант (белыми буквами на красном сатине) с известным изречением о том, что мы не можем ждать милости от природы, зная в углу (Родион догадывается, что это за успехи в животноводстве) и ковры — на диване и на полу.

Да, обстановочка парадная, думает Родион, но откуда этот несносный запах плесени?

— Ну, как мы живем? — перехватив Родионов взгляд, ревниво вопрошает Тодос Осипович. Не дожидаясь ответа, как бы между прочим, сообщает: — К нам отовсюду, даже с Рязанщины, приезжают — заимствуют опыт, как производить большое молоко и большое мясо, чего ж нам приbedняться-то? — Выдвигает ящик письменного стола, достает нераспечатанную пачку «Беломора», над*

рывает уголок. — Закуривай, служба... Ну и ну!.. Помню тебя, Корней...

— Родион...

— Да-да, Родион... Родион... Извини, будь ласка... Помню тебя, то есть, Родион, вот таким голопузым босячком, когда с баштана вас гонял... А теперь ты вон как возмужал!.. Всем взял — и статью, и характером! Да, летит времечко, скажи, комбриг! — подмигивает Лаврину. — Кажись, совсем недавно сами женихались, калитки и ворота некоторым гордячкам на хаты закидывали — в назидание другим, оглянуться не успели, как и у нас парни повыврастали. И какие парни — пальца в рот не ложил... Вот это ж и у меня дуб, такой как ты, пудов на шесть весом... Однако чего это ты, служба, все время морщишься — зубы ноют, что ли?

— Плесенью пахнет.

— Плесенью? — подозрительно приоткрывается Тодос Осипович. — Не должно бы: в прошлом году половницы обновили — на дубовые. Ты что-нибудь чувствуешь, комбриг?

— Это все его выбрыки... Нам — ничего, а ему, видите ли, пахнет...

Прищурившись, Тодос Осипович некоторое время укоризненно смотрит на Родиона, будто хочет сказать: вот как ты, парень, себя ведешь! Мы к тебе — с открытой душой, а ты? Вздохнув, опять водружает очки на переносицу и уже совершенно иным, официальным тоном говорит:

— Так, значит, отслужил Родине, вернулся домой? Отъелся на мамных варениках, теперь в город — уж не в Винницу ли лыжи наострил? Я правильно говорю? Правильно! Ладно, все разбегайтесь к чертовой матери, держать за хвалды не буду! Вы там, в городе, шаркайте по тротуарам, а мы тут как-нибудь без вас будем догонять и опережать Соединенные Штаты... За справкой пришел? — Жадно затянувшись папиросой, Тодос Осипович устало отворачивается к окну, потеряв к Родиону всякий интерес.

— Я к вам как раз не за справкой.

— А за чем же еще? — настораживается Кыш. — Что ж молчишь?

— Пока что вас слушал, Осип Тодосович, то есть, Тодос Осипович.

— Выписать чего-нибудь надо: сахара, крупы, масла? Пусть мать подаст заявление, я рассмотрю...

— Надо будет — подаст... Я — насчет работы...
— Серьезно? — недоверчиво косится Тодос Осипович. — Какой работы?
— По специальности я агроном...
— До службы где-нибудь работал?
— Да, пришлось... На целине, в Атбасарской степи, в совхозе имени Николая Островского...

— Зер гут! — хлопывает Тодос Осипович по столу ладонью и вдруг, бросив взгляд на угрюмого, вроде чем-то недовольного Лаврина Земледуха, испуганно хватается за телефонную трубку. — Пора докладывать хозяину. Не то сам брякнет — солоно придется.

Суетливо подвинув к себе какую-то сводку, накручивает телефонный диск.

— Аль-о! Михайло Стратонович! Добрый вечер! Докладывает Кныш из «Красной нивы». Значит, так: техника, люди, как говорится, в полной боевой! Ждем вашей команды. Что вы говорите: Хитрик уже сеет? Хочет, значит, всех перехитрить? А дудки! Кныша не перехитрит, хоть он и Хитрик. Он раньше начал, я раньше отчитаюсь, будьте уверены, Михайло Стратонович! Только что провел заседание правления. Очень активно прошло заседание, обстоятельно обсудили этот вопрос со всех углов зрения, единодушно наметили девственные, да-да, девственные меры...

Не очень прислушиваясь к телефонному разговору, Родион с интересом разглядывает Тодоса Осиповича.

За эти годы Кныш внешне почти не изменился, разве что горб между лопатками стал заметнее. Дядько Лаврин, судя по всему, и в самом деле правая рука Тодоса Осиповича. А вот чего не поделил с Кнышем дядько Гервасий? Говорят, Кныш в последнее время начал чваниться. Был Красножон в селе директором школы и одновременно секретарем партийной организации, не раз на заседаниях партбюро сбивали с Тодоса Осиповича спесь. Забрали Красножона в райком, уехал из села, так Кныш и вовсе разъякался, а Соловьев, Яким Якимович, в партийной работе, дескать, новичок да и характер не тот, что у Сергея Галактионовича, — твердости не хватает. А может, дядько Гервасий просто-напросто завидует нынешней славе Тодоса Осиповича? Уж не раскаивается ли, что отказался когда-то возглавить объединенный колхоз?

Тодос Осипович уточняет по телефону какие-то цифры, исправляя их в сводке, потом горячо заверяет:

— Да-да, с мясом тоже будет полный ажур, разобьюсь, а к Первомайским праздникам вполне годовой план! Можете не сомневаться, Михайло Стратонович, Кныш слов на ветер не бросает! До свидания, Михайло Стратонович, спокойной ночи!

«В самом деле, откуда ж, — думает Родион, — этот несносный запах плесени?»

Кныш опускает трубку на рычаги, облегченно вздыхает под сочувственным взглядом Лаврина Земледуха, достает из кармана галифе скомканный носовой платок величиной с косынку, тщательно вытирает взмокший затылок.

— Фу-у!.. Легче гектар пшеницы выкосить, чем с хозяином пять минут поговорить. Ох и дотошный мужик, ох дотошный! Помнит, что ты ему два года тому назад обещал. Я вот не помню, завтракал ли сегодня, а он все в памяти держит. . . Ты слышал, комбриг: Хитрик, не дожидаясь общей команды, сеет королеву. Завтра и мы начнем. Да, завтра! — протягивает Лаврину сводку. — Тащи к главбуху, пусть включает эти цифры в декадную сводку для ЦСУ — апломбированы на высшем уровне.

Повернувшись к Родиону, долго смотрит на него отсутствующим взглядом. Морщит лоб, что-то вспоминая.

— Так об чем, бишь, служба, мы с тобой, толковали? Ага, о твоей работе. . . Сложная проблема. Скажу почему. Видишь ли, у нас еще зимой освободилась должность агронома по защите растений, Иван Лавринович освободил. Мы держали ее, держали, а недавно нам из района одного кадра направили. Сам понимаешь, в связи с укрупнением районов идет сокращение управленческого аппарата. Так что с агрономами у нас полный ажур. А вот с завтехниками — прореха. . . Слушай, Корней, не, Родион, а почему б тебе завтехником у нас не побыть, пока суд да дело?

— Видно, Осип Тодосович, не, Тодос Осипович, вы сегодня еще не похмелялись.

— Не угадал, служба, — добродушно хохочет Тодос Осипович, — похмелялся, об этом я никогда не забываю. — Снова закуривает, угощает Родиона. — Я ведь серьезно, без этих самых. . . Ну и что, как ты агроном? Я вот строитель, а по долгу службы приходится быть и агрономом, и завтехником, и бухгалтером, и механиком, а прикажут, так и королевой английской буду. . . Месяц-другой подучусь — и дело пойдет. . . О! Постой. Тут же ж

наш колхоз закупил у Виннице духовую музыку... А ты ж, я слышал, пиликаешь на гармоне? Так, может, капель... капельмастером пойдешь? Га?

— Пустой разговор, Тодос Осипович.

— Жаль. Честно тебе скажу: жалко такую кадру терять. О, послушай, часом ты не коммунист? Ну? Так то ж расчудесно! — Тодос Осипович даже руками всплеснул. — Пойдешь ко мне парторгом.

— Ну вас к бесу, Тодос Осипович! Что за шутки?

— Какие шутки? — Кныш снова закуривает, угощая и Родиона, потом говорит: — Я серьезно, Корнеевич, без шуток. Мне парторг нужен — вот так вот! — проводит ребром ладони по кадыку.

— Так у вас же есть Яким Якимович Соловьев.

— Из Соловья такой парторг, как из меня... премьер-министр. Я так понимаю: голова колхоза и партийный секретарь — это две руки, правая и левая. И надо, чтобы левая знала, что делает правая, а не наоборот. Надо, чтоб они били в одну точку. Верно я говорю? Верно! А с Соловеем у нас не выходит. Я — одно, а он — другое. Мы с ним не сработаемся. Говорю это не только тебе. Так и хозяину, — кивает на телефон, — сказал: пускай Соловей знает свой сельский Совет и не путается у меня под ногами. А с тобой, с молодым, энергичным, у нас дело пошло б.

Возвращается Лаврин Земледух. Взглянув на него и о чем-то поразмыслив, Тодос Осипович живо приказывает:

— Запри-ка, комбриг, хорошенько дверь. — Повернувшись к Родиону, заговорщически подмигивает. — Не дрейфь, тузить не будем. — Приоткрывает дверцу правой тумбы стола, достает бутылку армянского коньяка. — Вот опрокинем по маленькой, веселее разговор пойдет, авось и столкнемся. Подай стаканы, комбриг.

— Апельсинчики тоже найдутся? — озорно прищуривается Родион.

— Какие такие пильсинчики? — озадаченно хлопает глазами Тодос Осипович.

— Марокканские. Я, знаете ли, привык коньяк с марокканскими апельсинами... Как в лучших домах Парижа и Конотопа.

— Уволь, служба, — хохочет Тодос Осипович. — Пильсинов нету. У нас тебе не Париж и даже не Конотоп.

— Тогда кина не будет. — Родион решительно встает

с дивана и, оттолкнув в дверях дядьку Лаврина, выходит. — Всего хорошего, Осип Тодосович, не, Тодос Осипович!..

5

...Отец вынимает из ящика плотницкий инструмент, аккуратно раскладывает на полке — все должно быть на виду, все под рукой. За ухом торчит огрызок красного карандаша, под чумацким усом — сигарка. Глаза довольно жмурятся.

Улыбчивое, открытое лицо словно озаряется изнутри, когда отец принимается мастерить. Кажется даже, что он мысленно беседует со своими рубанками, фуганками, долотами, молоточками, сверлами. Берет рубанок, легонько потюкивает деревянным молоточком по торцу, кончиком пальца проверяет лезвие и как бы успокаивает: «Потерпи, браток, сейчас поработаем с тобой на славу».

Зажимает в тисках доску, достает из-за голенища складной метр, из-за уха — огрызок карандаша, напевает:

Собрались, собрались все мы туточки,
Не простой народ, все ремесленнички.

— Окна будут, тато?

— Ставни, сынок. Тетка Христя заказала.

— Они что же — воров опасаются?

— Одни же в хате, вот и боязно ночами. Особенно, говорит, зимними... Понятно: женщины. Женился бы на Оленке, с тобой перестали бы опасаться.

— Сначала надо подрасти... Тато, а почему это наше село так чудно называется — Окна?

— Видишь ли, сын, наше село возникло на границе с Диким полем. Вон там оно, Дикое поле, за Бугом началось. Перейдешь в четвертый класс, историю изучать будешь. Сергей Галактионович вам расскажет, как оттуда, из Дикого поля, на Подолье не раз тучей орда набегала. О тех временах много песен сложено. Вот одна из них:

Зажурилась Украина,
Тяжко жить на свете.
Орда топчет, плачут, гибнут
Маленькие дети.

Каждый раз, — продолжает отец, — двигаясь на Подолье, орда прокатывалась через наше село. В те времена наше село было вроде окна, сквозь которое Подолье смотрело в Дикое поле. Безжалостно жгли, истребляли людоловы все живое, а село вновь подымалось из пепла и смотрело вновь веселыми окнами за Буг, в Дикое поле... Потому что народ — неистребим. Раньше — в Дикое поле, теперь — в белый свет. Село — в белый свет, а белый свет — в наши Окна засматривается.

— А я думал: название такое оттого, что в нашем селе делают самые лучшие в мире окна.

— Ну, это само собой...

«Первое и самое яркое воспоминание об отце, — думает Родион, разглядывая ящик с плотничьим инструментом. — Пожалуй, вспомню отца таким и в последний свой час».

Растревоженный, растроганный воспоминаниями, устало опускается на порожек повети.

На руку ему тотчас садится божья коровка. Медленно ползет от запястья к большому пальцу, легонько щекощет лапками. Родион осторожно поворачивает руку ладонью кверху, божья коровка выползает на ладонь и здесь, в ложбинке, замирает.

Первые обложные весенние дожди, не прекращавшиеся несколько дней, принесли тепло. И теперь земля полыхает прозрачным струящимся огнем. Когда вот так присядешь, и окоем словно приблизится, на фоне подсиненных дымкой облаков хорошо видно, как струится и не иссякает эта огненная наземная река.

Вчера, после обеда, когда мать прибежала со скотного двора, сажали кукурузу: Родион сапкой копал лунки, мать бросала в них семена и засыпала их. Мать тоже загляделась на весеннее марево, лицо ее вдруг помолодело, озарилось тихой улыбкой. «Вот и божьи овечки на пастбище вышли, — сказала о мареве. — Надо бы записать в «библию», когда этой весной потеплело. Кто будущей дождется — сравнит».

В этих струящихся волнах огненной реки сладко и тревожно томится все сущее на земле: томятся черешни и вишни, яблони и терн (он расцвел раньше всех, еще не опушившись листвой); томятся чеснок и лук на прикрытых сучьями грядках; томятся лебеда и крапива вдоль межевых тропинок и канав; томятся куры в малиннике, между боковой стеной хаты и плетнем; томится Мудрик

в конуре и Пенсионер на крыше; томятся мелкие, как вот эта божья коровка, которая не хочет улетать с ладони, букашки; даже хата, задумчиво щуря окна из-под стрехи, будто из-под обветшалой соломенной шляпы, тоже прислушивается к чему-то такому, что уже завтра или даже сегодня ночью все преобразит, все переиначит.

И плывут неторопливо и величаво облака над землей, наивно свежие и сказочно причудливые, — таких Родион не видывал даже там, над чужими далекими морями-океанами. И эту тишину, первозданную и благостную, время от времени нарушают (кажется, от грохота испуганно и незащитно прогибается земля) заоблачные сверхзвуковые самолеты.

Огород засажен, стреха на хлеве залатана — пора и к «зверинцу» приступать.

Утром, собираясь на работу, мать сказала: «Ты бы, сынок, соорудил кой-какой зверинец для этих кур, чтоб они сдохли. Я уж и ноги им связывала — до того непоседливые и прыткие, точно пошта. Вон кушевка и лук-севок всходят — одно загляденье, а эта саранча нагрывает — подчистую все истребит. А в зверинце запру — пусть сидят, черт их не возьмет. Носила деду Знатьку пироги, взяла тачку — прибегу со скотного, так поедем в Волчий лес за хворостом».

Съездил сам, нарубил и привез. А матери все нет.

Лишь забрезжит в окнах рассвет, мать надевает передник, растапливает печку, ставит горшки и чугунок; пока закипает вода, хватает сапку, бежит на грядки — еще что-нибудь посадить, бросить в землю, пусть себе растет.

В курятнике суматошно хлопает крыльями петух, хрипло со сна заорет, а мать, глядишь, уже и отстрепалась.

«Ты еще поспи, сынок, поспи... А проснешься — там варенички в макитре». — «А вы хоть завтракали?» — «Некогда мне завтракать. Надо бежать... Прибегу после дойки так заодно уж и пообедаю».

Подобьет под застиранный спянький платочек прядку седых волос, внакидку — ватник, и уже, слышно, окликает на улице Антося Гоцулячку, Аглаю и Маруню Соловьевых, Христю Заворитню: «Побежали, девчата!»

С огородов во двор натекает дым. Волнующе-горький запах пробуждает воспоминания, куда-то влечет, на душе становится беспокойно, не усидеть на месте.

А куда податься? Где и кто меня ждет? Нигде и никто.

...Сперва беспредельно далеким представлялся тот заветный день, когда в конце концов их выпишут из санатория. Таким далеким, точно оком, сколько к нему ни иди, а он все не приближается. Потом он все-таки замаячил вдаль, будто парус надежды, и, увеличиваясь на глазах, стал стремительно приближаться.

А сердце тем временем разрывалось: куда ехать? Дома ожидает мать. В каждом письме — отчаяние: уже и глаза выплакала, сынок, тебя ожидая, сверстники твои давно дома, почему ж ты не едешь, что это у тебя за служба за такая? Не мог, не то что не мог — права не имел написать матери правду. Утешал тем, что скоро придет. Знал, сердцем чувствовал, как ожидает мать, а между тем стремился прежде всего в Далекние Куты, к Юле.

Само собой, теперь уж нечего рассчитывать на такую встречу, которой грезил, которую выстрадал за эти годы.

Влажный перрон (в эту пору в Далекних Кутах дожди идут изо дня в день), размытые ореолы огней на фронтоне железнодорожного вокзала, бодряще упругий горный ветер с пресным запахом снега. А на перроне, под медным колоколом, — высокая, хрупкая фигурка Юли. Темно-малиновый платок сбился на плечи, ветер растрепал черные волосы, разделенные ровным пробором, тонкая в запястье правая рука закрывает уста. Сильно волнуясь, она всегда подносила руку к губам, словно подавляла рвущийся из груди крик. Приподнявшись на цыпочки и подавшись вперед, навстречу поезду, вглядывается в надвигающиеся вагоны вечернего поезда. «Я здесь, Юля!» — окликает Родион из тамбура, из-за спины кондуктора, и нетерпеливо отстраняя его, спрыгивает на ходу...

Хотя теперь такой встречи не будет — нагрянет внезапно, даже телеграммой не предупредив, — все же порывался туда, в Далекние Куты. Пожалуй, именно потому и порывался, чтобы нагрянуть будто снег на голову: сможет ли она откровенно взглянуть в глаза? Не сможет, конечно, не сможет. Опустит гордую голову, даже не шелохнется, будет напряженно искать оправдания. А он лгосько возьмет ее за подбородок, заставит поднять голову и, глядя в глаза, прямо в зрачки, спросит: «Вот так,

выходит, ждала?.. В письмах клялась, что... а на самом деле... Как же после этого назвать тебя?»

Друг закадычный утешал: «Послушай-ка, а может, это навет? Кто-то позавидовал, вот и состряпал такое письмо?» Но кто? Кто позавидовал? Кто состряпал? Эту анонимку уничтожил тотчас же, и теперь почерк, казавшийся подозрительно знакомым, ни рассмотреть, ни слить.

Почти полтора суток, до самой Винницы, лежал навзничь на верхней полке, смотрел в потолок и под успокоительное покачивание вагона думал, что дома, возле матери, все пройдет: душевное смятение, жгучая обида, безысходная тоска по утраченному. А в Виннице не выдержал: купил билет до Далеких Кутов. Вдруг твердо решил все простить, почувствовал: без Юли — не сможет. Убедил себя в том, что этой анонимки вовсе не было. Однако в Далеких Кутах Юли уже не застал — опоздал на две недели. Тетка Миндора сообщила: «Поехала, кажись, на шахты... Да, да, на шахты, туда теперь все бегут». Адреса Юлиного у нее нет, деда Генцара уже не было, а Василинка, младшая сестра, училась во Львове. Навестил могилку брата Владимира, постоял у обелиска, с тем и возвратился.

А дома в первый же вечер, когда разошлись гости, мать достала из старинной библии (между прочными, воском закапанными страницами она хранит еще со времен коллективизации разные справки, квитанции об уплате налогов, страховок, облигации, письма, а с внутренней стороны переплета записывает для памяти разные даты, к примеру: «7 июня 1954 г. случали корову», «24 ноября 1956 г. пахали огород», «29 сентября 1959 г. начали копать картошку», «1 декабря 1960 г. выпал большой снег», «26 января 1961 г. давали уколы курам против чумки») — мать достала из библии письмо от Юли. «Если Родион не напишет мне в самое ближайшее время, он меня больше не увидит».

В субботу приехала из Тульчина Марта. Хата сразу же наполнилась цветной метелью ее платьев, кос, рук, ног, веселым щебетом. «Ты только полюбуйся, сынок, своей младшей сестричкой! — говорила мать. — Истинная пчелка». Марта, и вправду, напоминала пчелку. Даже не ожидал, что сестра такая красивая и такая взрослая.

Сразу же почувствовал, как ему легко и непринуж-

денно с нею, и неожиданно для самого себя рассказал Марте про Юлю: как странно познакомился с ней на танцах, как полюбил ее, как они теряли друг друга и снова находили, как она провожала его на службу, обещая писать ежедневно, и действительно писала ежедневно, а потом он получил вдруг анонимку, из которой узнал, что она его... обманывала.

Рассказав чуть ли не обо всем (почему-то не решился упомянуть о том, как между ним и Юлей стал Иван), спросил совета, как ему теперь быть, что делать. Марта, слушая его рассказ, плакала, потом рассудительно сказала: «За счастье свое надо бороться до конца. Но здесь... здесь... Она просто предала тебя... Разве ты можешь быть уверен, что это не повторится, если ты все-таки разыщешь ее и вы поженитесь? Не лучше ли забыть обо всем и не искать ее?.. Уехала куда-то — ну и пусть едет!»

После этого разговора Родион почувствовал себя спокойнее и уверенней, будто обрел душевное равновесие.

Воскресным вечером взял гармонь, и они отправились к сельскому клубу на танцы. Дорогой Марта позвала Олену.

Сидя на выгнутой коромыслом лавочке под сиреневым кустом, Родион без устали наяривал на гармони то вальс, то фокстрот, то польку. Рядом с ним молча, угрюмо покуривал Максим Грузд. Олену то и дело приглашал Иван. В жестком шуршащем плаще-болонье, в новой-новехонькой зеленой велюровой шляпе, в которой он, наверно, и спит, как подтрунивает Марта. Но Олена все чаще ему отказывала, танцевала с Мартой.

Потом Марта отозвала Родиона в сторонку, горячо шепнула на ухо: «Знаешь что? Отдай мне гармонь, я уже умю играть, а ты потанцуй с Оленкой... Ну потанцуй, Родька, я тебя очень прошу». — «Куда уж мне тягаться с Иваном! — отшутился. — Еще осрамлюсь».

Так и не пригласил, хотя очень хотелось. Потому не пригласил, что знал наверняка: танцуя с Оленой, будет непременно думать о Юле, вспоминать странное их знакомство, а потом не выдержит, уйдет прочь и будет где-то бродить до полуночи в тягостном одиночестве.

После танцев, когда Иван куда-то укатил на мотоцикле, а Родион отнес гармонь домой, Марта предложила прогуляться к Бугу.

Он оказался посредине и взял обеих под руки. Марта

без устали щебетала, хохотала на всю околицу, подтрунивала над Максимом Груздом, который робко плелся за ними чуть поодаль. Олена сосредоточенно молчала. Веди ее под руку, Родион ощущал, как она мелко дрожит всем телом, — так когда-то дрожал в его руках пойманный на леваде перепелиный птенец. Когда же Родион рассказывал что-нибудь, Олена, слушая его, склоняла головку набок, то и дело бросая пытливые и застенчивые взгляды, и в темных ее глазах загорался какой-то огонек, освещавший всю ее как бы изнутри.

Дома, заглянув перед сном, Марта спросила: «Славная она, Оленка, правда?» — «Да, — согласился, — она славная». — «Так ходи с ней? — попросила тихо. — Ходи, Родя... С Оленкой ты обо всем забудешь».

Если бы... Питал надежду: устроюсь на работу, недосуг будет думать, вспоминать. Увы, с работой не вышло...

Благо, вечера теперь тихие, спокойные. Вот наступит пора каникул, летних отпусков, тогда распугают тишину, считай, до самой осени. Студенты, курсанты и те, кто уже в Виннице или Одессе на собственный хлеб перешли, соберутся вечером на выгоне, у «Рассвета», — нездешние песенки, брэнчанье гитары, хохот, галдеж. А сейчас некому тишину тревожить. Идешь по улице, и тягостно на душе становится: то одна, то другая усадьба приходит в запустение. Обсыпается белая штукатурка, стены будто лишаями желтыми покрываются, а давно немые окна напоминают мутные бельма, сухие стебли бурьянов вымахали чуть ли не выше крыш. Куда же они подевались, те, чьи голоса, бывало, не умолкали с утра до вечера, чьи руки каждую весну прихорашивали и хаты, и подворья? Мать говорит: «А кто куда: тот — до Винницы, тот — до Одесу... Перестала их земля держать возле себя».

Больше всего остерегался именно этого — неожиданного в тихом надвечерье зова гармонии, девичьей песни под вербами, среди левад. Разве ж не бывало, даже в тех далеких краях, куда забрасывала судьба: где-то взметнется задумчивая песня, сй откликнется гармонь — и уже не находишь себе места. Только там, в тех чужих краях, были воспоминания, была надежда, она и поддерживала, а здесь, дома, за что хвататься?..

— Э-гей, Настя-а! — вдруг раздается зычный голос дядька Лаврина где-то в противоположном конце улицы. — Где ты там?

— Тут я, в огороде. Что вам?

— Айда, девка, в поле! Там твой гвардеец ожидает — королеву надо сеять. Да побыстрее, не мешкай. Одна нога здесь, другая там!

— Гайда, не мешкай!.. Гляньте, какой вы, дядечка, верткий! А Василька с кем оставлю? К пряслам привяжу, как телка? Детские ясли где? Свинарники да коровники строите, а яслей до сих пор не открыли. Сколько еще будете нам очки втирать?

— Ты бы поменьше болтала! Отвечай как с пушки: пойдешь или нет?

— А ваша тетка пойдет?

— Ты, племянница, мою тетку не трожь!

— Ах так? Тогда поищите, дядечка, тех, кто поглубее.

— Ну смотри у меня, девка: вот загоню плуга — по самое никуда огород отрежу! И вся комиссия... Как тому Грузду.

— Вы уж лучше, дядечка, знаете что себе отрежете? Скорше бегать будете.

— Ой, Настя!.. Попридержи язычок...

— А вы что меня тут пугаете — огород отрежу? Кто вам такое право давал? Вы что, не знаете, где мой гвардеец работает, а? Может, он псов пасет? Или, может, это ваша тетка отстирывает его комбинезоны от семи потов и мазута? А себе чего огород не урежете? А свою бригадиру что не гоните на работу? Хворают? Ну как же, так ослабла, что задница в печь не влезет.

Настя продолжает честить дядька Лаврина, а он тем временем уже катит по улице, вихляя велосипедным рулем. Увидев у ворот Родиона, притормаживает, спешивается.

— Здорово, гвардия!

На нижней губе белеет бумажная заплатка с присохшим пятном сукровицы.

На пасху дядько Лаврин, изрядно подвыпив, пристал посреди улицы к Михайлу, схватил за пуговицу на опрятной вельветовой курточке, начал загадывать загадку: «Отчего заяц, когда бежит, задом взбрыкивает?» Пока загадывал, выкрутил пуговицу «с мясом». «Ты, факир, зачем пуговицу оторвал? — вскипел Михайло, молча рассматривавший до этого свои кулаки-гири. — Ты что — новый костюм мне справишь? А?» — не долго думая, двинул кулачищем Лаврину в зубы. Лаврин не стал ожи-

дать, пока Михайло расквасит ему еще и верхнюю губу, изловчился и сшиб Михайла с ног — спешил, как он говорит. Это случилось днем, а вечером они и помирились. Обнявшись, шатались по улице от Михайловых ворот к Лавриновым, от Лавриновых к Михайловым: Михайло — в майке и кальсонах, ибо укладывался спать, когда дядько Лаврин, пряча под полой бутылку, пришел мириться. Слонялись по улице почти до полуночи, все ублажали друг друга, без усталости горланили «Шумел камыш, деревья гнулись», а в промежутках навзрыд рыдали друг у друга на груди — видимо, от избытка чувств.

— Вот видишь, гвардия, такая у меня служба... — оглушительно — на всю околицу — чихнув, жалуется дядько Лаврин, закуривая вместе с Родионом. — Эх, был бы это хоть сорок девятый, они бы у меня иначе говорили. А тут крепкого слова ему не скажи — он все законы и все права знает.

— Тоскуете, значит, по прежним временам?

— Ты, будь ласка, не ехидничай. Ты вот стань на мое место, я погляжу, как запоешь...

— А уступите это свое место?

— Ты небось думаешь, я двумя руками за него держу? Да я хоть сегодня могу плюнуть на все, кнут в руки взять, как дед Знатько... И вся комиссия.

Напротив, у ворот деда Знатька, стоит подвода. Косматые, истощавшие за зиму лошади старчески трясущимися губами выбирают из торбы, подвешенной на дышле, сухую сечку.

Со двора выходит дед Знатько, босиком, в белой поскоинной рубахе и таких же портах, — апостол, да и только. На побуревшем от табачного дыма кончике уса что-то зеленеет, видно, дед Знатько завтракал борщом из молодого шавеля.

Увидев деда Знатька, Родион с улыбкой вспоминает: неделю назад, возвратившись со скотного двора, мать сказала: «Ну, теперь можно ждать тепла — дед Знатько забросил на чердак сапоги, надел летние портки. Да и зозуля куковала». Да, это и в самом деле верная примета: стоит только деду Знатьку, как он говорит, перейти на летнее обмундирование, как сразу же приходят теплые деньки.

— Знать, будет дождик, — говорит дед Знатько, ни к кому, собственно, не обращаясь; можно подумать, что, скорее всего, он обращается к своим гусыням. — Видел

с вечера обруч на луне, а ночью суставы ломило... Будет дождь.

— Эти дожди в печенках у меня сидят, — раздраженно, будто в этом виноват дед Знатько, сплевывает дядько Лаврин. — Так вы, это, Демьян Захарович, на мельницу не поедете.

— А это, знать, почему?

Чтобы взглянуть на того, кто стоит или сидит сбоку, дед Знатько вынужден поворачиваться всем корпусом.

Родион хорошо помнит тот день, когда дед Знатько свернул себе шею вот под этими воротами. Случилось это лет десять назад. Отец где-то раздобыл бензопилу «Дружба». Вся улица сбегалась поглазеть на чудо-технику. Только дед Знатько почему-то все мешкал. Он должен был явиться непременно и, как всегда, скептически изречь: «Вот это оно и есть? Эка невидаль! Я эти пилы знаю». Иначе не был бы он Знатьком. Но прежде ему нужно было взглянуть на пилу хоть краем глаза, издали. Как же ты это сделаешь, если живешь не по соседству — хата к хате, — а через улицу? Из-за угла не подкрадешься, в бурьянах на задворках или на меже не спрячешься. Дед долго размышлял, как исподтишка посмотреть пилу в работе, и придумал. Подкравшись к воротам с улицы, прилег в бурьяны, просунул голову в щель между нижней доской и спорышем, притаился. Отец как раз бревно пилил. Распилил одно бревно, принялся за другое. И тут вдруг у ворот, в бурьяне, кто-то дико заверещал. Все, кто был во дворе, бросились к воротам. А под ними, распластавшись, лежит дед Знатько, землю под собой роет. Просунув голову, дед, однако, не увидел, что происходит на подворье, попытался было продвинуться дальше, ворота сорвались с петель, и, будто ярмо, осели деду на шею.

— А потому, гвардия, — хмурится дядько Лаврин. — С помолом можно и обождать, а вот ежели королеву вовремя не посею, прокурор — как пить дать — спросит: «Как ваша фамилия, гражданин Земледух?» Так что гайда к амбару за семенами.

Дед Знатько разбирает вожжи, спрашивает Родиона:

— А ты, сынок, куда, знать, собрался?

— На кузню, Демьян Захарович. Надо отцовы инструменты направить,

— Так садись, подвезу.

Дядько Лаврин катит велосипед рядом с возом. Дед Знатько, свесив босые ноги, до самого выгона молчит, а потом неожиданно спрашивает:

— И когда уже ты, бригадир, знать, бросишь свои сержантские замашки? Ото у тебя только и на языке: гайда, собирайся, пошел. Будто и слов других нет. Бригада — это тебе что, эскадрон?

— А как же с вами говорить, если вы дисциплины не понимаете? Сеять надо — кровь из носа, а сеятелей — черт ма!

— Найти-то можно, — убежденно произносит дед Знатько. — Вон и Ничипор Грузд пошел бы, и Прокоп Неборенчик, и другой, и третий. Только подойди к ним по-людски, а вы, знать, тому не научены. Чуть что — сразу же огороды обрезать, штрафы накладывать, грозить из села выгнать. А чего ты меня пугать должен? Я тебе, знать, кто? Разве ж мы вас выбирали, чтоб вы нас страшали? Ты ко мне по-людски подойди, ты меня заинтересуй. Тогда я, знать, сам искать тебя буду, по пятам за тобою ходить да за милую душу просить буду: дай какую-нибудь работу. Так я думаю, сынок? — поворачивается к Родиону.

— Так, Демьян Захарович.

— А если так, — вскипает дядько Лаврин, — то становись на мое место да и командуй сам.

— Ишь, Лавруха, — мирно произносит дед Знатько, — как ты критику любишь. А ты не дуйся, слушай, знать, что тебе люди говорят, слушай и мотай на ус; потому что сегодня ты командир, а завтра и кнут тебе вручим — крути волам хвосты. При земле мы все, знать, равны, а если мы вас выбрали своими руководителями, то не забывайте, знать, что можем и перевыбрать.

— Перевыбирайте, — горланит дядько Лаврин, — плакать не стану. — Забрасывает ногу через седло, ложится на велосипед и что есть духу мчит к конторе.

С кладбища, где уже зацветают одуванчики, прилетает золотой шмель, ударяется в деловую голую грудь, испуганно улетает. Дед спокойно спрашивает:

— Хрущик или что?

— Шмель, — отвечает Родион.

— А-а-а, шмелик. — Дед Знатько задумчиво смотрит на свои босые ноги, будто вычитывает что-то из спешивающего сплетения жил, потом произносит: — Оно так: если в хате холоднее, чем на улице, — пора и хрущикам ле-

тать. — Помолчавши, спрашивает: — Так что, уже малость, знать, осмотрелся?

Едут шляхом мимо поля, густо усеянного кукурузными будыльями, будто пожелтевшими костями. В далеких загонах, под самой лесополосой, замер трактор — верно, дожидается семян да сеятелей. А за лесополосою, на терновских пагорбках, ходят несколько агрегатов. Дед тычет в их сторону кнутом, тоскливо произносит:

— С раннего утра сеют. А что из нашей королевы выйдет?.. Хана ей, знать, будет, вот что. Я тут неделю назад ходил в Житники на ярмарку. Шли вдоль Хитриковой озими. Такие всходы у них, что даже зайца скроют. А у нас еще и до сих пор воробью по колена. А почему? Опять же — сроки сева. Когда у нас сеяли, а когда — в Терновке? Болит у меня, старика, душа, сынок. Что-то в нашей «Красной ниве» плохо дела пошли. Вот так только и слышишь по селу: надо, мол, к Терновке присоединяться, не то с торбами пойдем, Тодос Йосипович доголозуются. А я себе так думаю. Не надо нам того объединения, нам хорошего хозяина, такого, знать, как Хитрик. Оно, знать, кругом трудности, еще не все раны после зойны залечили, мы в сорок четвертом начинали, можно сказать, на пустом месте, потому что оккупанты все уничтожили, все разграбили. А вот, скажи ж, люди в Терновке отчего-то веселее. И я тебе скажу отчего. Там же так: что люди, то и председатель. Я знаю, каждому не угодишь, потому что сам был на этом месте: там коней не дал вовремя дров подвезти, не дал, потому что не мог дать, так уже и плохой, но справедливым надо быть всегда, мы ведь все хлебобобы, и без нас, Тодос Йосипович, ты ничего не значишь. Твоя слава — это ж наша слава, мы будем работать, только руководи нами справедливо, не командуй и не приписывай себе того, чего не заслужил. Так оно раньше и было, а в последнее время — идет и уже тебе «день добрый» не скажет, будто я ему в кашу наплевал. Так это я себе и думаю: не пойти ли нам делегацией до Сергея Галактионовича Красножона и прямо сказать: так и так, мол, Сергей Галактионович, когда-то мы, знать, с твоим батьком первый колхоз создавали, хозяйничали вместе, добрый был голова Галактион Илькович, человечный, колхоз наш тогда гремел, даже на выставку в Москву наши ездили, бывал в нашем колхозе и сам Постышев Павло Петрович, а ты у нас до недавних пор директором школы был, тоже, знать, ничего директор,

весь в батька своего, люди тебя добрым словом вспоминают, так иди ж ты к нам головою да будем вместе хозяйновать. Вот так я, знать, сынок, давно себе думаю, а теперь и тебе откроюсь. Что ты на то скажешь?

— Красножон — секретарь райкома партии. Сегодня — второй, а завтра будет первым. Кто ж его отпустит?

— Тогда, знать, в область ударимся. Мы сложа руки сидеть не будем.

Над ними зазвенел жаворонок. Повис прямо над их головами, быстро-быстро трепещет крылышками, они становятся прозрачными, и звенит, звенит — весело, радостно, прямо захлебывается, так, будто в любви объясняется этой земле и этому миру. Обессилев, падает в черную пахоту.

— «Иду в поле горох молотить, иду в поле горох молотить. Цеп упал, цеп упал», — вот так он распевает, — говорит дед Знатько. — А тебя, сынок, как, не тянет к земельке? Должно тянуть, ты ж наш все-таки, наш. . .

6

— Узнаю Тодоса Осиповича, — устало улыбается Красножон. — Это его, так сказать, ход конем.

Выходит из-за стола, не спеша расхаживает по кабинету, время от времени стряхивает пепел с сигареты в пепельницу.

«Вот так же он, — вспоминает Родион, — не мог усидеть и на уроках. Все расхаживал между партами, заложив за спину руки с указкой. Ровным голосом неспешно рассказывал: «Край, в котором мы с вами живем, с незапамятных времен — хлеборобский. На гербе Житников — теперешнего нашего райцентра — были изображены три снопа. В те времена здесь была граница. И Житники, и наше село были крепостями. Со всех сторон их окружали земляные валы, высокий дубовый частокол. Когда подступал жестокий враг, все, кто мог держать в руках оружие, становились на защиту, а дети и старики прятались в подземелье. Эти хода и пещеры сохранились до наших дней. После уроков мы осмотрим их. . .»

Сергей Галактионович останавливается перед широким окном, какое-то мгновение наблюдает за утренним движением на улицах городка.

— Скажу тебе, Родион Корнеевич, откровенно: меня

самого все это беспокоит. Как будто бы и причин для тревоги пока что нет, хозяйство идет в гору, а все же...

Тогда, в школе, Красножон приходил в класс на уроки истории в поношенном кителе и синих галифе с красным лампасом. Теперь на нем пепельный костюм, который очень идет ему, чернявому, белая сорочка с темно-красным галстуком в полоску. В школе он вообще был воплощением истинного мужчины-интеллигента, от этого впечатления Родион не может освободиться и теперь.

— Ты видел перед райкомом доску Почета? Из председателей там — Хитрик и Кныш. Их портреты на Доске вывешены по заслугам. В прошлом году терновский и окнянский колхозы по всем показателям в передовые вышли. Но тут я тебе скажу парадоксальную фразу: Тодос Осипович хотя и передовой голова, однако передовик он нетипичный. Хитрик — да, Хитрик — типичный, он смотрит вперед, он, можно сказать, программирует все колхозное производство, он все считает с карандашом в руках. А Кныш живет нынешним днем, от кампании до кампании, в экономику не вникает. Вот пример: строят в Терновке, строят и в Окнах. Но в Терновке строят из своего кирпича, а Окнам приходится завозить ракушечниковые блоки из Джуринна. У Хитрика на счету миллионы, Хитрик перешел на гарантированную денежную оплату, а у Кныша растут долги и о гарантированной оплате пока что речи не ведется. И вполне может случиться, что этот передовой голова завтра будет плестись в хвосте. Эта бесперспективность в работе, кампанейщина Кнышева и тревожат меня. — Закурив новую сигарету, Сергей Галактионович продолжает: — Скажу без излишней скромности: Тодоса Осиповича я знаю, как, пожалуй, никто из райкомовских работников. Я знаю его позитивные качества, знаю и слабости. Это у него не отнимешь — быть на селе первым, стать даже над партийной организацией. Однако никому еще не удавалось стать над партийным органом, не удасться и Кнышу. На что он рассчитывал, когда сделал тебе такое предложение? Расчет простой: прибрать тебя, молодого, неопытного, к рукам, как прибрал он Лаврина Земледуха, и чувствовать себя полновластным хозяином, однако Якимовича сейчас менять никто и не собирается, его избрала коммунисты, они его и переизберут, если не оправдают их доверия. Между тем Соловьев хорошо начинает,

из него выйдет настоящий секретарь, он будет держать Тодоса Осиповича в партийных рамках, ставить на свое место, он и теперь уже пробует это делать, может, несколько несмело. А Тодосу Осиповичу это не по вкусу, вот он и плачется каждый раз нашему первому — мол, Соловьев авторитет его подрывает. Возможно, первый сейчас больше верит Кнышу, чем Соловьеву, ибо, вполне естественно, еще мало знает Якима Якимовича, но я всеми силами буду поддерживать партийного секретаря, помогать ему.

Остановившись против Родиона, Сергей Галактионович улыбается:

— Ты можешь спросить меня, и вполне резонно: почему мы терпим Кнышеву партизанщину, его прожекторство? Я отвечу на это так: мы не терпим. Мы пока что вынуждены терпеливо поправлять деятельность некоторых наших председателей колхозов. Мы их воспитываем. Это нелегкое дело — перевоспитывать таких, как Тодос Осипович. Легче всего — заменить. А кем? Такие, как Хитрик, на улице не валяются. В нашем районе кадровая проблема очень сложна. Да и не только в нашем. Сейчас нам нужны не просто руководители, нам нужны руководители-организаторы, руководители-специалисты. Все эти годы мы, по сути, восстанавливали сельское хозяйство, теперь начинаем переводить его на научную основу, а откуда брать специалистов? После войны сельскохозяйственные вузы сделали только два выпуска, молодых специалистов вмиг расхватили, а кое-кто из них не захотел возвращаться в село. Ясное дело, мы эту проблему разрешим, а сейчас надо работать с теми кадрами, какие у нас есть. Как говорится: на бесхлебье и кныш — паляница. Что касается твоего намерения, я двумя руками «за». Тебя учили управляться с землей, надо отдавать ей эти знания. Ну, в Окнах на самом деле нет места агроному. А вот в Терновке — есть, там твоего колхозу в армию призывают. Хочешь к Хитрику? Пройдешь отличную школу, мы ведь на таких, как ты, всегда надеемся, вы — наш резерв. И к дому близко, будешь навещать к матери почаще.

Родион некоторое время молчал, потом потрянул головой и твердо произнес:

— Знаете, Сергей Галактионович, мне кажется, что я еще хорошо помню, что такое трактор и как с ним уп-

равляться... Пойду к дядьку Гервасию в напарники, думаю, он возьмет. А там посмотрим.

Красножон бросил в свой блокнот несколько размашистых пометок:

— Ну, смотри...

Глава пятая. СОПЕРНИКИ

1

Зябко кутаясь в теплый шерстяной платок, Олена останавливается на берегу Буга, прислоняется к стволу вербы и смотрит на воду, начинающую успокаиваться после весеннего половодья, однако до сих пор еще пахнущую рыбой и илом.

«Самый простой выход... Выплыву далеко-далеко, у самого синего моря... Никто даже и не узнает, кто я и откуда... А можно бы и вообще не выплывать. Камень на шею и... Даже страшно представить. Видится другое: раздеваюсь, расплетаю косу и забредаю в речку. Ныряю, опускаюсь все глубже и глубже и уже — русалка. Вот бы и вправду стать русалкой. Лунными ночами выходить бы на берег и поджидать Родиона...

Пожалуй, это еще могу себе представить, а вот как... Нет, думать об этом и то нелегко... Ведь никогда больше не увижу его, не услышу... Господи, да что это со мной происходит? Абсолютно все, будто сговорились, прочат мне в женихи то Ивана, то Максима. Постепенно даже свыклась с мыслью о том, что рано или поздно придется выходить за кого-то из них. И вот возвратился со службы Родион — и в моем окне словно бы огонек зажегся. Никого бы не видеть больше, никого не слышать, только его, Родиона.

Стоит ему лишь взглянуть в мою сторону, как все во мне встрепенется. А сердце замирает, будто его и вовсе нет. А если задержит свой взгляд чуть подольше, начинает казаться, будто видит меня насквозь, знает обо мне абсолютно все. И тогда я едва сдерживаю себя, чтобы не закричать: «Не смотри на меня так, Родион! Не смотри. Я ж ни в чем не виновата. Меня не спрашивали, обобщились без меня...» Нет, в такую минуту хочется упасть перед ним на колени и вымаливать прощение. За что — и сама не знаю. У него такие честные глаза, такой откры-

тый взгляд, что нетрудно догадаться: он, как и его отец, что думает, то и говорит. И нет сил, глядя в такие глаза, лукавить, утаивать что-то в душе.

Но боже ж мой, что мне делать? Хотя он и не спрашивает ни о чем и, сказать по правде, вообще, может, не обращает на меня внимания (разве я ему пара), но уже само его возвращение все во мне разбередило, взволновало. И я, кажется, навсегда потеряла покой. На работе еще куда ни шло, как будто забываешь обо всем, там просто некогда думать, но стоит лишь остаться наедине с собой, сразу места себе не нахожу, с ума схожу от разных мыслей.

Так что остается только один выход».

Горестно вздохнув, словно бы попрощавшись с белым светом и собственной жизнью, Олена сбрасывает с плеч платок, подступает к воде и, испуганно вскрикнув, шархается назад: из темной глубины на нее смотрят Родionовы глаза и словно бы предостерегают: что ты делаешь, опомнись!

Видение исчезает. В глубокой, по-весеннему темной воде ярко мерцают искрящиеся звезды.

Зачерпнув ладонью воды, Олена умывает пылающее лицо и, утершись уголком платка, торопится на ферму. В ее группе начались весенние отелы, работы по горло, потому она днюет и ночует в коровнике.

Занятая невеселыми мыслями, углубившаяся в себя, она даже и не заметила, как догнал ее Иван Земледух на мотоцикле.

— Добрый вечер, Оленка! Куда это ты?

— Куда нало.

— На свидание или на трудовую вахту?

— Тебе-то какое дело?

— Садись — подвезу. С ветерком.

— Нам не по пути.

Заехав вперед, Иван ставит мотоцикл поперек тропки.

— Что с тобой, рыбонька? Отчего такая сердитая?

— Езжай куда ехал. Некогда мне с тобой...

Опустив голову, обходит Ивана с мотоциклом стороной.

Иван ловко выпрыгивает из седла, догоняет Олену, хватая в объятия, крепко прижимает к груди.

— Ну, ты! — отчаянно сопротивляется Олена. — Очень уж вы все рукастые...

— Оленочка... Рыбонька... Душа моя... — страстно

шепчет Иван, обнимая Олену еще крепче, тянется к ее губам.

— Отпустишь ты или нет?

— Нет, не отпущу... «Зацелую досмерти, унесу в кусты».

— Отстань, говорю, не то...

— Что — не то?.. С какого такого чуда ты стала такой недотрогой?

— Можно подумать, раньше я тебе много позволяла...

— Ну-ну... «Знает только ночь глубокая, как поландили они», — Иван пытается залезть ей за пазуху. — Душенька... Сердце мое... Ясочка...

— Ты!.. — С недевической силой оттолкнув Ивана, Олена что есть духу бросается к мосту.

По другую сторону реки Иван догоняет ее, на малой скорости катит рядом.

— Ну, хорошо, хорошо... Больше не буду... Буду теперь хорошим... Садись же, подвезу...

— Сказано тебе: нам не по пути...

2

— Чуешь, комбриг, как жабы выквакивают?

— Эге, — отвечает Лаврин Земледух от соседнего тополя, — оркестр!

— К дождю, что ли?

— Не-ет, дождя не будет.

— А ты откуда знаешь?

— Месяц рожками кверху. Вот если б книзу...

— Где ты его видишь, тот месяц? Темно, хоть в око стрель... Вон я и тебя в двух шагах не вижу, слышу только, как струей звенишь. Ну, ты долго там еще?

— Уже... С вечера видел. А теперь он спрятался где-то... «Темная ночь, только пули свистят...»

— Ну, ладно, свистун, поехали.

Пьяно покачиваясь, задевая друг друга плечами, как неуправляемые челны бортами, застегивая на ходу ширинки, движутся к «бобику», который едва слышно мурлычет на обочине дороги, под тополями.

— По хатам? — Удобно устроившись за рулем, спрашивает Кныш. — Или, может, еще на ферму?... Вдруг подкараулим кого-нибудь!

— Тс-сс! — насторожился вдруг Лаврин. — Кто-то чапает...

— Где? — тоже переходит на шепот и Кныш. — Ничего не...

— Впереди, у кладбища. — Припав к ветровому стеклу, Лаврин напряженно вглядывается в темноту. — К канаве жметя. Видать, неспроста... Ну-ка, фарами его, Тодос Осипович, фарами! Как зайца!

— Не учи батька детей делать!

Ослепленный внезапно сильным ярким светом, Евдоким Заворитный, который и в эту ночь отправился к Волчьему лесу за дровами, растерянно приседает над канавой.

Кныш, изо всех сил нажимая на стартер, рвет машину с места.

— Вот он, вот он! — возбужденно шепчет Лаврин. — Он или... она?

Затравленно оглядевшись вокруг, Заворитный отчаянно шастает в канаву, поросшую повилкой и шиповником.

Дав полный газ, Кныш не успевает вывернуть руль — вездеход врезается радиатором в ствол ближайшего тополя.

Скрежет железа, звон разбитого стекла подхлестывают Заворитного. Судорожно хватаясь за колючие кусты, загнанно сопя, на четвереньках карабкается по склоны канавы на кладбище.

— Тьфу! — сплюнув в сердцах на изувеченный радиатор, Кныш осатанело ткнул носком сапога в тополиный ствол.

— М-мм-да! — многозначительно произносит Лаврин. — Крепко поцеловались.

— Иди ты! — рывкает на него Кныш. — И без тебя тошно!

Хватает из машины дробовик, который всегда возит с собою, в сердцах стреляет в сторону погоста.

Заворитный, споткнувшись на бегу, кулем падает на землю. Вмиг покрывшись холодным потом, сторожко прислушивается: жив еще или уже богу душу отдал? Как будто живой.

— Ты хоть заметил, кого это мы вспугнули? — вглядывается Кныш в кладбищенский мрак.

— Да вроде бабу... Платок показался знакомым. Приглядевшись внимательней, Заворитный догады-

вается, что лежит рядом с могилой Корнея Земледуха. Всмотривается в потемневший крест, и сразу же под платком у него зашевелились волосы, встали дыбом. Крест срывается с места, вслед за ним сдвигается могила с калиной, растущей в изголовье, разверзается яма, в призрачном колеблющемся сиянии перед Заворитным предстает Корней Родионович Земледух — в белой вышитой сорочке, пышноусый, загорелый, с пылающим взором. «А-аа, это ты Явдошка? Вот мы и встретились!» Пристально глядя прямо в глаза, приближается к Заворитному.

— А-а-а! — цепenea от ужаса, вскрикивает Заворитный и не слышит собственного голоса.

3

С раннего утра Родион принялся обновлять старый плетень. После обеда ему — на смену, потому надеется успеть. Однако не торопится, не делает кое-как — косо, криво, лишь бы живо, — берет с тачки лещину за лещиной, гнет в руках дугой, некоторые выпрямляет на колене, а после уже городит. Это выходит у него так аккуратно, так ловко, будто он сызмальства только и делал, что из лещины плетни городил.

В фуфайке внакидку подходит мать.

— Подсобить, сынок? — остановившись у ворот, придирчиво осматривает Родионову работу. — Ничего, ничего!

— Отдыхайте, мама, — улыбается Родион в ответ на ее похвалу. — Слышал, минувшей ночью не спали...

— Так я ж, сынок, и не помню уже, когда спала по-людски. Вот так лежишь, все песни, которые только знаешь, перепоешь про себя, все молитвы прочитаешь, всю свою жизнь мысленно переберешь, а заснуть — ни-ни. Рученьки не дают. Как ни положишь, чем только ни натрешь — все равно будто не твои.

Голос у матери тихий, будничныи, по нему так и не поймешь, жалуетея ли на судьбу или просто высказывает свои боли.

Околица живет своей жизнью. В чьем-то открытом окне губнит радио, возле криницы позвякивает ведро, в малинниках кудахчут куры, на орехе погулькнвают голуби.

Громко трещит мотоцикл, лихо подкатывает к воро-

там. Рассеивается густая пыль, и на подворье вступает Иван Земледух — в запыленной велюровой шляпе, плаще из болоньи.

— Привет, служба! — взблескивает крепкими белыми зубами. — Кто, значит, сеет, а кто городьбу ставит?.. Отгораживаешься от нашего дружного коллектива? Или от Тодоса Осиповича?

— Скорее, Тодос Осипович — от меня, — отвечает Родион, не оставляя работы. — Ты откуда?

— Со станции. Минеральные удобрения прибывают. День и ночь топчусь вокруг них. Не доглядишь — растащат из-под носа... Закурим, что ли? А может, Варвара Омеляновна, найдете нам и по чарочке? Как-то так уж выходит, что мы до сих пор с Родионом и не вышли за встречу.

— Еще ж и кони воды не пили, а тебе уже подавай чарку. Ты ж, Иван, не твой батько.

Мать недолюбливает Ивана, как и дядька Лаврина.

— Не будьте такой скупой, тетка Варька, — улыбается Иван. — Все равно прокиснет. В конце концов обойдемся и без вашей калгановки — своя есть. — Расстегивает плащ, вытаскивает из кармана бутылку коньяка. — Приготовьте нам лишь какую-нибудь закусочку. Кончай, Родион, работа не волк...

— Тебе, Иван, все равно, а Родиону после обеда на смену. — Варвара Омеляновна враз настораживается, прислушивается к женскому крику и собачьему лаю, неожиданно возникшим в соседнем дворе. — Что это? Не пожар ли у Заворитных?

Родион одним духом перепрыгивает через недогороженный плетень на улицу, бежит на шум. Поколебавшись, Иван бросается следом. За ними и Варвара Омеляновна.

На огородах, откуда на улицу выливаются низкие дымы весенних костров, встревоженно распрямляются фигуры крестьян.

Лают собаки.

— Не пушу!

Растрепанная, до смерти напуганная, Христя Заворитня стоит на пороге, закрывает собой сениные двери, пальцами вцепившись в косяк. Из-за ее спины выглядывает побледневшая Олена.

У порога нерешительно переминается с ноги на ногу

участковый милиционер. В нескольких шагах от него покуривают Тодос Кныш и Лаврин Земледух.

— Ну что верещишь, оглашенная? — примирительно говорит Лаврин. — Коль не ела душа чеснока, так и смердеть не будет. Посторонись же.

— Так что, гражданочка, — деланно грозно супится милиционер, — лучше посторонитесь, не вынуждайте меня применять силу. Слышите или нет?

— Только попробуй! — Христя отпускает косяк, выставляет перед собою руки — пальцы ее то сжимаются, то разжимаются. На лице уже не ужас — холодная решимость. — Глаза выдарапаю!

— Делайте свое дело, лейтенант! — Шея у Кныша покрывается красноватой гусиной кожей. Поддернув локтями галифе, приободряет: — Ну-ну, служба, смелее!

Милиционер подступает к Христе.

— А ну-ка, гражданочка!..

— Не подходи!.. Не подходи, говорю!.. Ой, людоньки, защитите!

— Стойте!..

Задыхающийся, с пылающим лицом, Родион преграждает милиционеру дорогу.

— Что случилось, лейтенант?

— А вы, собственно, кто такой?

— Не имеет значения. Что случилось, тетка Христя?

— С обыском... С обыском пришли... В хлеву все обшарили, теперь еще и хату хотят догоры дном перевернуть...

— Что за обыск, товарищ лейтенант?

— Да вот говорят... — милиционер беспомощно озирается на Кныша и Лаврина Земледуха — мол, выручайте, что молчите.

— Прошлой ночью, — супится Кныш, — с фермы украл мешок комбикорма... Есть подозрение, что...

— Говорите, есть подозрение!.. И только на этом основании?..

— Есть, служба, и доказательства!.. Вот он, — Кныш кивает на Лаврина Земледуха, — платок узнал. Такой же пестрый, как вот на ней... — Внезапно Тодос Осипович взрывается: — И что ты, служба, суешь свой нос не в свое дело!.. Что стаешь мне поперек дороги? — Кныш озирается по сторонам, замечает, что у ворот уже собираются люди. Иван Земледух, пришедший вслед за Родионом, прячется в тени «бобика». — Счеты сводишь?

— Нечего мне с вами счеты сводить. Смотрите, как бы вам не пришлось сводить счеты с законом... А пока что вам тут нечего самоуправствовать! Вон отсюда!

4

Над селом, будто исполинская рыба-кит, дремлет туча, а на горизонте, за белыми яблонями и порыжевшими вишнями, беззвучно, как в немом кино, взблескивают молнии, высвечивая фосфорическим свечением далекие небесные гроты, в воздухе пахнет свежей травой и молодой листвой, гудят майские жуки-рогачи, беспрестанно, ворчливо, как далекие самолеты.

Иван замечает обоих еще издали. Родион с гармошкой на коленях сидит на камне под старой липой, а Грузд, перекинув ногу в надраенной сапоге, покачивается на велосипеде, позванивает.

— Привет, гвардия! Курим? А на пиво что не идете? Пошли — угощу. Я сегодня богат, как Ротшильд, — гоночар из газеты за стихи получил.

— Поздно ходишь, пехота, — дребезжит Грузд велосипедным звонком.

Не рады встрече, догадывается Иван. Надо сделать вид, что оказался здесь случайно. Скажем, пришел за сигаретами, все выкурил за день. Постоять для виду, перекинуться словцом-другим, сделать ручкой: «Бывайте, я пошел». Но вот-вот должна подойти с фермы Олена — провожать ее будут. А он, Иван, будет как привидение слоняться по улицам или слушать дома пьяный бред папаша и воображать, где они сейчас и что делают. А фиг вам! Никуда я от вас, женишки, не пойду. Куда вы, туда и я!

Однако чувствует в себе непреодолимое желание чем-то задобрить их, польстить, уплатить своеобразный выкуп, как того требует неписанный мужской закон.

— Так, может, заложим по сто пятьдесят?

С колхозного двора, от коровников, подходят Аглая и Олена.

— Глянь-ка, девка, тебя сегодня аж трое поджидают! — смешило удивляется Аглая. — Вот уж счастье тебе подвалило!.. Или оно так: кому — пироги и пышки, а кому — синяки и шишки?

Грузд усаживается на велосипеде поудобнее, будто уже собирается ехать. Родион закидывает гармошку за

спину, широко расставляет ноги, правую руку засовывает под матросский ремень с сияющей бляхой. Иван, махнув по башмакам лопушком, тоже поднимается. Все трое прикуривают от одной спички — кажется, будто их сплотила и объединила общая опасность.

Аглая придерживает подол сарафана — налетает вихрь, — насмешливо оглядывает всех троих, спрашивает:

— А не слишком ли густо вас на одну? Может, меня кто-нибудь проводит за село, туда, где травы полеглые, а?

— Можем пропить одного, — смеется Иван.

— Ой, Иван, Иван, смотри, кабы не было горького похмелья.

Аглая берет Олену под руку и ведет с выгона в Баранову улицу, подернутую сумерками. А они трое продолжают стоять под липой, покуривают, никто не решается пойти вслед первым.

— Так что же поотстали, женишочки? — оглядывается Аглая. — Мы одни боимся, а вас будто столбняк хватил. Догоняйте!

Родион бросает окурок под ноги, раздавливает ботинком и широко ступает в улицу. Бренча звонком (это бренчанье уже начинает раздражать Ивана, хотя считает Грузда сообщником, ему кажется, что этим позваниванием Максим придает себе отваги), Грузд катит велосипед серединой улицы, освещая дрожащим лучом Аглаю и Олену. Родион идет вдоль заборов, подметая широким клешем опавший вишневый цвет, на ходу ломает кисти сирени, обшипывает их. Иван держится своего правила: вперед не вырываться, но и в хвосте не плестись. Спотыкается вслед за Груздом, похлестывая лопухом по седлу велосипеда.

Аглая вновь оглядывается, щурится в свете фары.

— И что это вы плететесь сзади, как урки адесские? Говорите что-нибудь, пойте. Родион, ты что молчишь?

— А я, Аглая Якимовна, про себя говорю.

— Тоже мудро. Кто молчит, тот двоих научит.

Перед мостом на берегу Буга Аглая останавливается. Мимо них, таща за собой темный хвост пыли, проносится молоковоз.

— Тодос Осипович поехали, — насмешливо произносит Аглая. — Врезались на своем «бобике» где-то в пьяном виде, теперь на молоковоз пересели.

— Вот выберем тебя, Родион, вместо Кныша голо-

вой, — засмеялся Иван, — и загремят наши Окна, как сейчас Шляховая гремит. Я к тебе заместителем пойду, возьмешь?.. Грузду тракторную бригаду доверим. Аглас — телятник, Олене — коровник...

— Быстро же ты портфели распределил, — вставляет Аглая. — Такой же шустрый, как и твой отец... Ну, ладно... Хорошо мне с вами. Прошлась вот немного, будто помолодела. Дальше уж без меня идите. Да смотрите, женишки, не перемолчите девку. Всю ночь будет думать, что каждый из вас хотел сказать ей.

Идут берегом Буга под вербами, будто в зеленом туннеле. Лягушки одна за другой прыгают в реку, только плеск разносится; от противоположного берега, где в камышах Гусиного залива спят гуси и утки, белеющие опавшим цветом, доносится сочное и довольное кваканье. Над вербами беззвучно вспыхивают молнии, освещающие небо и речку до самого дна. Вспышки мгновенные — вербы не успевают даже отбросить тени, а в глазах рябит.

Олена останавливается против кладки, под знакомой старой вербой, корни которой так судорожно цепляются за берег, будто в предсмертной агонии, и сама верба смахивает на древнюю старуху.

— Знаете, что они говорят? «Кум, кума, дайте полотенца, дитя помирает, сорочки не мает»... Так от мамы я слыхала... А правда ли, Родион, будто их где-то... едят? — Глаза ее влажно замерцали — так на мгновение сверкнет на воде звезда и гаснет. Не успел Родион ничего ответить, как она вдруг вскрикивает испуганно и весело. Держась за вербовую ветку, ступила было с насыпи на кладку, ветка упруго выгнулась, Олена покачнулась и зависла над водой. — Ой, упаду! Держите!..

Родион рванулся к Олене, подхватил на руки.

В этот миг, думает Иван, завидую ему не только я, но и Грузд. Ну почему я не догадался сделать это? Вот лопух!

Это и в самом деле продолжается лишь миг. Однако Иван успевает заметить, как Олена обвиняет Родионову шею, прижимается к нему маленькими, наивно остренькими грудями. А может, это лишь кажется Ивану, потому что, вскрикнув испуганно и весело, а после оказавшись у Родиона на руках, она стоит уже на берегу, стыдливо одергивая юбку.

— Чуть не искупалась... Вот уж мать прочла бы отче наш...

— Ничего страшного, — говорит Иван, сдерживая дрожь в голосе. Его уже донимает ревность. Все выразительнее видит Олену на руках у Родиона. Видит, как прижимается к его широченной груди своими беззащитно наивными персями, откинув назад голову, крепко сжав колени. — Вода, наверное, уже теплая... Пора уж ей быть теплой...

— Сейчас проверим, — произносит Грузд хмуро, даже с угрозой. Прислоняет велосипед к вербе, ступает с берега на кладку.

— Ты что? — бросается к нему Родион. — Не сходи с ума!

— Тону! — заполошно верещит Грузд, приседает на мостках, отбрасывает назад руки и — бултых в воду.

Над рекой бухает, словно разорвалась бомба, катятся отзвуки, берег густо кропится водой, а когда белый водяной куст опадает, они замечают над взбудораженным плесом огромные сапоги. Сапоги шевельнулись, помотались, потом исчезли, а из воды выныривает Груздова голова. Над вербами полоснула молния, как запоздалая вспышка «бомбового разрыва», освещает речку и черную голову.

— Ох, не могу! — всплскивает руками Иван. — Водяной!

Свирепо отплеываясь, смывая с лица тину, черную и густую как мазут, Грузд медленно плывет к берегу.

— Думал, тут глубоко, а оно — воробью по колено...

— А ты что, в самом деле решил утопиться? — икает от смеха Иван. — Надо было пройти дальше, к мельнице.

— Что ж ты не сказал раньше?

— А ты спрашивал?

— Болваны! — сердито выкрикивает Олена. Порывисто крутнулась на месте и бросилась прочь по плотине.

Грузд раздевается, Иван принимается помогать ему выкручивать штаны. Родион садится на вербовый пенек, наблюдает за всем этим молча и хмуро, глубоко затягиваясь сигаретой.

— Скоро в море купаться буду, — хвалится Грузд. — В том самом, что «самое синее в мире»... Служил с одним одесситом, так вот — зовет к себе... Поеду... Досадно тут... Даже утопиться негде. — Деланию смеется.

Иван промолчал. В душе он даже рад — на одного соперника меньше. «С Родионом уж как-нибудь управлюсь».

— Ты, салага, — подает голос Родион, — поскорее катись к Гаманке, попроси первача, а то сам поспишь, как то море...

5

Возвращаются из клуба — смотрели новый кинофильм «На далеких берегах». На выгоне у кладбища оба закуривают, поэтому немного отстали. Олена уже подходит к своему двору.

Сейчас отворит калитку, представляет себе Иван, подойдет, пропустит обоих на посыпанную песком дорожку, поведет к саням, куда каждый вечер приходят после кино или танцев.

Вздыхает, напряженно обдумывая свое дальнейшее поведение.

Максим Грузд в самом деле заваялся в Одессу, Родион целыми днями в поле. Июль, как раз жнива в разгаре, домой приходит поздно, а он, Иван, видит Олену по нескольку раз на дню. Однако это ничего не меняет. Один, без Родиона, подойти не решается. А встречая по дороге на ферму, шутит не так с Оленой, как с Аглаей, вроде она его сообщница. Иногда, поразмыслив на досуге, спрашивает сам себя с удивлением: ну что я в этой Олене нашел? Разве ж мало хорошеньких девчат? Есть даже и более податливые. Скажем, та же Леся из Госбанка, с которой случайно познакомился в поезде по дороге в Винницу. Чем не пара? Тем не менее, стоит ему увидеть Олену вместе с Родионом, как тут же забывает всех своих знакомых, среди них и ее, Лесю из Госбанка. Давно замечено: любовь преобразует человека, делает его красивым. По красоте Олена не имеет на селе соперницы, но рядом с Родионом становится еще краше. Лицо ее освещается необыкновенным огнем, в ней словно бы просыпаются какие-то скрытые силы. Боязливая, тихая, она миг распрямляется, расковывается, становится гордой и величавой. Каждый раз, ревниво глядя на них, Иван открывает в Олене что-то новое. Какое-то плавное, до того, казалось бы, не свойственное ей движение, гибкую и грациозную походку, нежный овал лица, которым, говорят, славилась в молодости ее мать. Из-за такой девушки, думает Иван, стоит соперничать, стоит поставить на кон последний козырь.

Хотя он и смелся перед нею лишь в присутствии Ро-

диона, однако никогда не ходит к Олене вместе с Родионом. Поджидает их то на берегу реки, то в кино, то на танцах. Делает вид, что встретил случайно, тут же присоединяется к ним и уже не отходит ни на шаг. В кино садится рядом, так, чтобы Олена была посередине, без умолку комментирует все, что происходит на экране, и, когда Олена поворачивается к нему, смеется над его едкими шутками, он ощущает себя на седьмом небе. С Родионом держится смело и независимо, начинает даже подтрунивать над ним, выставляя напоказ неуклюжесть родича, неотесанность. На танцах старается опередить его с приглашением, сторожко улавливая тот момент, когда Родион может взорваться, и, безошибочно угадав этот момент, отходит в сторонку. Буря утихает, и они вместе идут домой. Заворачивают к Олениной хате, садятся в старые сани, и он, Иван, принимается пересказывать содержание романа, прочитанного в последнее время, выделяя те места, где пишется про любовь, читает свои стихи. Около полуночи из хаты выходит Оленина мать, останавливается на пороге, тихонько зовет: «Олена, спать пора». Они желают Олене, потом ее матери спокойной ночи, выходят на улицу, закуривают, неторопливо идут по домам...

Нынче, как и всегда, она отворяет калитку, но не дожидается их, сразу идет к саням. Родион же вдруг оттесняет Ивана плечом (вначале Ивану кажется, что это случайность), останавливается в проходе, кладет руки на столбцы, произносит насмешливо:

— Вот что, братишка: не кажется ли тебе, что кто-то из нас садится не в свои сани?

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что сказал. Могу и более понятно: шпарь отсюда! Не ходи за мною как тень.

Закрывает калитку и вразвалочку шагает по дорожке к саням. Иван все еще стоит перед воротами, бесильно стискивает кулаки, кусая пересохшие губы.

Над улицей среди верб, будто шаловливое пухлощекое дитя, улыбается месяц, улица пахнет сенокосом и пасекой. Иван шурится на месяц, который будто глумится над ним, ладонью вытирает злые слезы и сразу же вздрагивает, припомнив, какая она невероятно красивая, будто бы неземная, в призрачном сиянии луны, — заглядевшись на нее, теряешь дар речи и забываешь, кто ты и где ты, и так тянет к ней, и до сладчайшей муки

хочется взять ее личико в ладони, приблизить к себе, заглянуть в лучистые глаза.

На своем подворье Иван садится на забытую матерью скамеечку, к ногам Ивана клубочком подкатывается Бобик, лижет руку. Со злобой и отвращением пинает собаку носком башмака. Встает, подходит к бочке с водой. С ожесточенной силой, слышит доносящийся от Заворитных приглушенный смех...

...Согнувшись, сдерживая безумное биение сердца, вдоль кукурузы и жита, цепляясь за густые картофельные огудья, спотыкаясь о толстые кабаки, отплеываясь от пыльцы и паутины, прокрадывается Иван на подворье Знатковского Михайла.

Михайло надумал перекрывать хлев. Навез из Волчьего леса жердей, сложил у хаты — пусть сохнут. Между жердей до самой стрехи выгнались буйные зеленые венки, лобода.

Отсюда, из бурьянов, Ивану хорошо видно подворье Заворитных: будку с Монахом, крышу погреба, повесть, криницу, хату, перед хатой на плетне сушатся Христинины валенки, а ему кажется, будто это кто-то, зацепившись валенками за плетень, повис вниз головою, а на причелке хаты — сани... Сидят близко друг к другу, Родион ей что-то рассказывает... Иван поднимается — плахи играют под ним, гремят, — приседает испуганно, прислушивается. «Что он там рассказывает?... Бу-бу-бу, бу-бу-бу... Не разберешь... О, тихо стало... Уж не целуются ли?» Снова выглядывает из бурьянов. Жерди под ногами, сухо зашуршав, рассыпаются... «А горели б вы синим пламенем!.. Еще услышат».

Из хаты выходит Христя. Достает из криницы воды, напилась из ведра, спрашивает: «Ты тут, Оленка?» — и несет ведро в дом.

Вдруг Иван чувствует, как из-под него выдергивают жердь. Озирается — и замирает. Кто-то высокий, нескладный, весь в белом, будто привидение, замахивается жердью.

К Ивану возвращается речь. Дико заверещал, от собственного верещанья пугается еще больше, ревет, как осел, бросается из бурьянов в картофельные заросли, спотыкается, падает лицом вниз, мгновенно подхватывается и снова бежит.

На пороге своей хаты вскрикивает и выпускает ведро Христя Заворитная, из конуры выскакивает Монах, оша-

дело лает, рвет цепь, из-за причелка выбегает Олена: «Мама, что тут происходит?»

А Иван летит по картофельной ботве, высокой и густой, слышит за собою надсадное сопенье. Догадывается уже, кто его догоняет, и, повернув к Михайлу обезображенное страхом лицо, растерянно молит: «Ой, Миха... ой, не бей... это — я»... Жердь просвистела над головой, Иван со всего разгона падает плашмя.

...Утром Михайло приносит велюровую шляпу. Усаживается у стола против дядька Лаврина и Ивана, рассказывает:

— Лежу, чуешь, с бабой на той половине, что к огороду. Как вдруг за хатой, где жерди для хлева сложил, что-то гур-гур та гур-гур. Говорю своей бабе: «Чуешь, Настя, а клянусь богом, кто-то жерди тащит. Ну, шас я ему пощечочу трохн ребра».

Михайло выдерживает паузу, толкает дядька Лаврина под бок, чтоб слушал внимательней.

— А оно почуяло меня, ноги на плечи — и драла. Я — следом, уже догоняю, уже вот-вот перетяну жердью по чугунок. А оно, чуешь, как ревнет Ивасевым голосом, так я, значит, тогда и промахнулся.

Михайло опрокидывает положенный ему за «такое дело» граненый стакан, съедает полмакитры вареников с сыром, выходит из хаты, на пороге оборачивается, предупреждает Ивана:

— От что, родич дорогонький: как потеряешь свой чугунок, то уже на меня и не надейся — не принесу.

Глава шестая. ПАМЯТЬ

1

Стоят у ворот: Грузд — в запыленной соломенной шляпе, посконной рубахе, пропотевшей на груди и на спине, — по эту сторону, во дворе, заросшем курчавым спорышем; Варька — в белом застиранном платочке, кацавейке внакидку, под полою узелок припрятан, — по ту сторону, на улице, под вербой, смахивающей на нескладное помело.

— О чем-то хочу попросить тебя, Кифор.

— Так проси, паринь.

— Не привез бы ты мне, часом, глины?

— Чего, паринь?

Во дворе к их разговору прислушиваются гнедой, с белой звездочкой на лбу жеребец и палевый пес Сторож. Конь, отгоняя назойливых мух, постегивает себя по крупу длинным расчесанным хвостом, похрустывает отабой. Пес, сладко выгибая спину, став передними лапами на плетень, топчется на крыше конуры, недоверчиво косясь на гостью.

— Глины желтой... Стала хату мазать, то уже и не рада, а на плечах разве наносишь? Одно дело — далеко, а другое — тяжело. Просила своего Суфлера, рядила, а он: «Вас таких много. Одному — то, другому — се, а у меня коней свободных нету. Иди к Грузду, у него свое тягло есть, разжился, хо-зя-ин!..» Вот и прибежала. Может, и вправду привезешь, га, Кифор? Уж такой магарыч будет!..

— Не в магарыче дело. Ты ж знаешь, какой я верткий до чарки. Тут, как Тодос Кныш говорит, запятая в другом. Привез вот соломы, наломался, то придется, видать, в хату на карачках ползти.

— Ну, раз не можешь, что делать... Другого когонибудь придется просить под милую душу... Может, деда Знатька...

— На когда тебе надо?

— Рада б и сегодня. К вечеру где-нибудь, как на ферме управлюсь...

— Ну так жди нас...

— Ой, спасибо, Кифор! Чужло сердце, что выручишь: если ты не поможешь, так кто? — Варька развязывает узелок. — Пекла с утра подовые пироги. Уже с нового урожая. Так вот принесла... Когда-то, еще при Корнее, ты наведалься к нам, а я как раз пироги из печки вынимала, так хвалил. Говорил, такие еще Мария — пусть же и ей земля будет пухом! — пекла...

— Ну зачем было?..

— Бери, бери... От святого хлеба разве ж отказываются? Кто теперь испечет тебе?.. Глянь, еще тепленькие — в рушник завернула!.. Это уже из сынава хлеба... Постояла б с тобой чуток, поговорила, да бежать надо. Уже вечером, как привезешь глины...

Сторож, едва Варька сдвинулась с места, рвет цепь, захлебывается яростным лаем, прыгает на крышу конуры, расшатывая ветхий плетень.

— Ша, паринь! Сказано было — свои...

Держит пироги, завернутые в чистый белый рушник, будто младенца, и смотрит вслед, пока Варька, миновав его, а потом и Кнышеву усадьбы, не исчезает в леваде. Тогда, шлепая драными галошами, обутыми на босу ногу, возвращается к возу. Конь тянется к нему мягкими губами, ловит руку.

— Ну-ну, паринь, я тебе не поп. Вот со Сторожем полизись. — Разворачивает рушник, ломает пирог на три части. — Это тебе — за то, что хорошо вез; а это — за то, что двор бдительно сторожил, когда нас дома не было; а это мне, старому хрычу — за то, что, в роги мать, на возу паном ехал... Вот и обед... А ничего, ничего!.. Она правду сказала, Варька: еще вот так Мария умела печь, жена. С луком, укропчиком... Сам так не испеку, и не проси даже. Из меня такой пекарь, как и кухарь, сам видишь. Борщ еще так-сяк соображу, а чтоб вареники там, пироги — в роги мать!.. Ну, заморили, ребята, червяка — и за работу. А это — на ужин. Обжорство нам ни к чему.

Собрался все зверье
С разных концов света,
Посадили медведя
Головой совета, —

напевая про себя, ставит пироги на колодезный сруб, зачерпывает воды, жадно пьет из ведра, остатки выливает в старую немецкую каску — Сторожу и курам, поит из ведра коня, а затем уж принимается сваливать солому — едва приехали, как и Варька прибежала со своими хлопотами.

— Вот видишь, паринь, — обращается к коню, — до чего дошло! Уже нам и в пояс кланяются: привези того, привези сего. А верил ли кто, что мы с тобой вот так чумаковать будем? Ты ж слышал, как тогда Суфлер насмеялся: «Ты, говорят, молодец-гвардеец, обзавелся конем? Ишь, жеребище — землю под собой роет! За таких при старом режиме сотню золотых давали. Захочешь продать — так, смотри, не прогадай. Могу и купца подсказать, где моя не пропадала. Бо-га-тый купчик! Ищык с мыловарни, тот, что напевает:

Этот шкур — на барабан,
Шуры-буры, вербелы,
И под ети вербелы,
При горе, в долине — ба-ра-бан!

Га-га-га!..» Вот тебе, Суфлер, и «га-га-га»!.. Ты себе, паринь, хрупай. Слушай внимательно, о чем толкую, и хрупай, силу нагуливай. Оно, сказать по правде, ты уже не тот, что был весной, когда тебя цыгане предали... Ребрами не светишь, точно Кашей Бессмертный, одна-ко... Варьке надо привезти. Кому-нибудь другому, может, еще подумал бы, но Варьке — надо уважить... По-едем, паринь, под вечер.

Сваливает с воза солому и невольно вспоминает тот день, когда случайно нашел его, искалеченного, в Волчьем лесу, на Черноиваниковом кордоне.

... Вечерняя синева залегала меж дубов, постепенно сгущаясь, прибывала, словно паводок, подбиралась к верхушкам. Волчий лес шумел мощно, однако сдержанно. Отдыхая, покуривал на широком дубовом пне, у ног лежала вязанка лещины. Еще две-три таких вязанки, прикидывал про себя, и должно хватить на плетень... Сверху с шорохом посыпалась труха. Задрал голову — на ветке сидел большой пестрый дятел. Возможно, подумал Грузд, любуясь дятлом, это место, где сижу, — его «кузница». Дятел косо посмотрел и подпрыгнул повыше. Грузд огляделся, взвалил вязанку на плечи, не спеша направился к просеке, прихрамывая на искалеченную ногу. Под сапогами сухими винтовочными выстрелами ухал хворост. Вдруг сбоку от просеки, за кустами, что-то застонало, протяжно и тоскливо, будто молило Грузда о немедленной помощи...

Сторож, которого лижет конь, вдруг вскидывает голову,стораживает уши, потом стремительно срывается с места, вскакивает на крышу своей будки, становится передними лапами на плетень, люто рычит: не удержи-вай его цепь — повалил бы плетень на улицу.

— А кто там? — Грузд выпрямляется, приставляет ладонь к соломенной шляпе, смотрит на улицу. — А-а, это ты, паринь?

Сквозь щель между калиткой и воротами на подворье заглядывает Тарасик, внук Кныша, так же, как и Грузд, приложивши к глазам руку.

— Де-е!..

— Га? Чего тебе?

— Мона посмотреть вашего коника?

— Отчего бы и нет? Можешь даже погладить...

— А как его зовут?

- Жеребчика-то? Да как — паринь и все...
- Э-э, вы меня, дедусь, обманываете... Палинь — это вы всех так зовете...
- Всех, да не каждого... Паринь, он и есть паринь...
- А белочка ваша где?
- Белка? Видать, подалась в леваду за орешками. Зима не за горами — запасы делает.
- А где она живет?
- А вон в той скворешне, на груше.
- А скволцы? Она их плогнала?
- У скворцов тоже свой дом есть. Такой же, как и у белки. Тот, что на груше, я сделал для скворцов, они еще прилететь не успели, как откуда-то белка появилась и оккупировала домик. Ну так я для скворцов еще один смастерил, видал, на черешне? Да ты, паринь, заходи во двор, вблизи все и рассмотришь. У меня и ласточки есть. Вон там гнездо, под стрехой...
- Эге, заходи!.. Боюсь...
- Кого? Сторожа? Он своих не трогает.
- Не Столоза — вас... опасаюсь.
- Вот те раз! А меня чего опасаться? Разве ж я...
- Дед Тодос говолит: Кифол Глузд — бесеный!..
- Кому, тебе говорит?.. У него, паринь, клепки не хватает...

- Какой плепки?
- Самой главной... Иди же сюда — орешками угошу.
- Дед Тодос говолит, стоб я нисего от вас не блал... Ну, так я узе поехал. — Тарасик загудел, имитируя молоковоз, крутит перед собой воображаемую баранку, «едет» к своему двору.

Побежал. Только пыль столбом. Юркий парень. Словно белка. Иметь бы такого внучонка... Была б жива Марийка, дочка, уже и сам забавлялся бы с таким. Лежим на печке, тепло, уютно. Где-то сверчок стрекочет. «Кто это, де?» — «Сверчок». — «Расскажи мне, дедусь, сказку про сверчка». — «Добре, внучек. Счас расскажу. Вот слушай. Жил да был себе сверчок. И был у него, понимаешь, верный товарищ...»

— К-кыш, ребята! Не успеешь отвернуться — тут как тут. Всю солому разгребли. А чтоб вам в юшку не попасть!

Всюду нужен глаз да глаз. Пока с Тарасиком калякал, эта пернатая публика успела и напакостить... Да,

а соломка, паринь, ничего. Сноптики будут. Если бы до вечера навязать, завтра стреху подновил бы.

Давно не занимался этим делом, давненько. Забыл, поди, как это делается. Да нет, не забыл, отцова наука крепко помнится. «Вот так, Ничипор, смотри сюда. Берешь клок солбмы. Да не такой, эта на перевясла не годится — сухая, ломается. Выбирай которая повлажнее. Вот эта — как раз. Колосом внутрь, один конец — под мышку, другой — в руки, и вьешь сюда-туда. Теперь на перевясло — две одинаковых мерки. Одну зажал в коленях и скручивай концы перевясла. Подравнял срезы и гнешь книзу, пока колосья не сделают круг, и не сойдутся вместе хохлы. Теперь готово, можно браться за новый снопик».

Один, два, три, четыре... Мало снопиков, совсем мало. Когда ж навязу? Поясницу ломит — спасу нет. И поясницу, и раненую ногу. К дождю, что ли?..

А что это там поскрипывает? А-а, яблоня. Ранетовка. Ишь какая! Будто молодуха на сносях — тяжелая, в рыжих веснушках.

Обильно сад уродил. Урожайное лето. Только кому это все достанется? Сгниет — и вся прибыль. Конечно, сгниет. Разве я могу сам, без сторонней помощи, собрать этот урожай? Тут успеть бы, пока погода стоит, хоть хату покрыть, чтоб за вóрот не капало. А фрукты — хрен с ними, было б о чем печалиться.

Аж самому странно: было б о чем печалиться... Когда-то печалился. Чтобы у меня хоть одно яблочко испортилось — до такого, в роги мать, не доходило. Песочком их пересыпáл, сенцом перекладывал. Заботился — надежда была: может, все-таки Марийка, дочь, отыщется, а там и Максим подрастет. Войне давно капут, в мирное время живем, а про Марийку — ни слуху, ни духу. Видать, давно уж и на свете нет. А нет Марийки, так не для кого и заботиться. Пропали все пропадом. В могилу с собой не заберу, а сыну оно, как теперь говорят, — до лампочки. Как из армии пришел — нигде себе места не нагреет. Полсвета обшастал, теперь до Адесу подался, хоть море, говорит, увижу. Собрался и гайда. А ты, батюк, как знаешь. Протяну ноги — некому обрядить будет.

Марни, жене, меня упрекать не в чем: похоронил лебедушку, как у людей водится... А лучше бы мне было самому тогда в яму лечь... Кто же меня похоронит? Кто по мне?.. Ну-ну, хрупай себе, хрупай. Оба мы уже изъ-

ездились. Потому и бросили тебя цыгане. А когда-то ж был жеребчик хоть куда! Эге, в роги мать, когда-то и я ничего себе был! Веришь, за день мог кагат вырыть под буряки или там картошку. Красножон, голова наш тогдашний, бывало, все удивлялся: «И как это ты, Иванович, умудряешься?» А дело, паринь, и мудреное и немудреное. Батько мой с малых лет ко всякой работе приучал: «Смотри, сынок, пчела вон какая малая, а знает: работа ее на свете держит. В полете! А мы ж — люди...» Давали и премии, и грамоты, даже фотографировали. Был я тогда, паринь, человеком. А тут вдруг стал бешеным. Понимаешь?

Ох и ломит в пояснице, ох и ломит. Загнусь, паринь, не сегодня-завтра, и некому будет сенца тебе накосить. Хотел было взять в хату хозяйку. Одному — какая жизнь? Пока жила теща, Марини мать, обстирывала нас с Максимом, обихаживала. Потом говорит: «Бери кого-нибудь, Кифор. Я уж — ни в бой, ни в строй. Бери, зятек, Марийка, покойница, гневаться не будет...» Привел из Порогов Соломию. Пожила с нами год и назад ушла. Максим почему-то так и не признал за мать, а своих иметь не смогла — надорвалась, говорит, в молодости. Канителились вдвоем с Максимом. А после пошел к Монашке — женщина видная, с какой стороны ни глянь. Одно время мы даже любилась с нею, только не судилось нам. Ну а теперь говорит: «Куда уж нам, Кифор?.. Олена невестится. Вон, слышно, Максим твой ухаживает». Оно и правда. Ну а жить как-то надо... На днях, сам видел, навевывалась Фотина Гаманка, медку, мол, купить. Прихватила с собой бутылочку, сели мы, погуляли. Потом и говорю ей: «Выходи за меня, будем жить-поживать, как в той сказке про старика и старуху». Так она мне, знаешь, что ответила: «Может, и пошла б за тебя, Кифор, как-нибудь уже вдвоем эту лямку тянули бы, одинокой ведь не сладко, а только ж люди заключают. Не знала, скажут, Гаманка за кого пойти на старости лет, так пошла за бешеного...»

Слышь, паринь, — бешеный! Это — я... Рот — не огород, не загородишь... «Дед Тодос говолит: Кифол Глузд — бесеный...» Чем бочка наполнена, тем и смердит, или не так, паринь?.. А только, спрашивается, за что же такая напасть?..

... Он как раз ужинал, когда явились эти двое. Оста-

новились у порога, Кныш — впереди, а Суфлер — за его спиной.

Соломня, хозяйничавшая у печки, замерла с ухватом в руках. Максим возился на лавке с кларнетом.

«Проходите, люди добрые, — пригласила Соломня, испуганно поглядывая на неожиданных гостей. — Не стойте у порога. Садитесь, в ногах, говорят, правды нет. Угощать, правда, нечем. Разве что борщом... Чем богаты, тем и рады». «Ничего, — хмуро бросил Тодос Кныш и поддернул штаны, — мы постоим. Собственно, мы не надолго».

А Грузд между тем спокойно продолжал хлебать красивый борщ, до того постный, что видно было доньшко миски со славянской вязью: «Чем изба богата, тем и рада». Хлебал огромной, точно половник, расписной деревянной ложкой, подставляя под нее ломоть плохо выпеченного хлеба. Он только что пришел с работы, от сеялок, весь запыленный, еще не остывший, — у Звенигоры сеяли кукурузу с Корнеем Земледухом, а после ужина собирался на леваду — пни корчевать, уже приготовил тачку, топор и лопату.

«Ну, голубчик, — начал Кныш, — догадываешься, почему мы тут?» — «Скажете». — «Давай договоримся так, — Кныш, бросая взгляды по сторонам, снова поддернул локтями галифе, — ты по-хорошему возвращаешь семена, а мы...» — «Какие семена? — всполошилась Соломня. — Какие семена?» — «Те самые, что он украл...»

Груздова рука с ложкой-половником замерла над миской, борщ выплеснулся на дубовую, добела выскобленную Соломней, столешницу.

«Я украл?! Где? Когда? Кто видел?» — «Были такие, что видели!» — «А сами-то... видели?» — «Достаточно и того, что нам сообщили...»

Грузд отложил ложку, выпрямился. Черная взъерошенная голова, присыпанная пылью, точно пеплом, коснулась фотографии в вишневой рамке: Мария в гробу, над гробом он, Грузд, старая Явдоха, теща, с Максимком на руках, соседи.

«А вы и поверили? — контузийные судороги время от времени передергивали, искажали его лицо. — Га?» «А почему бы и нет? — Кныш снова — в третий раз! — поддернул галифе. — Теперь такое время, что и батьке родному нельзя верить... Так где ты их припрятал, се-

мена-то?» — «Нет за мною, приставители, никакого греха!»

Соломня бросилась к керосинке, висевшей на простенке меж двумя передними окнами, вывернула фитиль — жирная полоска копоти потянулась к белому потолку, но в хате стало светлее. Подвернув фитиль, уставилась на гостей, мол, глядите лучше, есть ли на нем какой-либо грех. Потом сказала: «Небось, сами знаете: на воре шапка горит». — «А хлеб из чего печешь?» — «Разве ж это хлеб? Кара божья, а не хлеб... Пеку, как и все, из желудка, немного подсыпаю кукуру...» — «А кукуруза — откуда? Что, нечем крыть?» — «Во всяком разе, не из колхоза... Выменяла в Гусятине на последние его сапоги, в которых с войны пришел». — «Ну, ты нам мозги не положи... Не вернете по-хорошему, произведем обыск». — «Обыск?! — вскипел Грузд. — Обыск?! У кого? У меня? Да какое ж вы, в роги мать, имеет право?.. В район пожалуюсь... в область... самому товарищу Сталину!» «Будь ласка, жалуйся, — ухмыльнулся Кныш на приунывшего Суфлера. — Это законное твое право. А пока что я для тебя Сталин. Понял, голубчик?» — «Трупом лягу, а обыска не дозволю!» — «Ой, не смей! Не таким рога обламывали...»

Грузд толкнул ногой стол. Звякнув, на пол скатился нож, длинный, блестящий, выкованный из австрийского штыка, — Грузд унаследовал его от своего отца.

Где-то за печкой шуршали мыши, в окна бились хрущи. Все, кто был в хате, будто замороженные, прикипели взглядами к ножу. Кныш снова поддернул галифе, Суфлер кашлянул.

«Обламывали, говоришь? — левой рукой Грузд рвал ворот пропотевшей рубахи, правой, падая набок, тянулся к ножу. — Ну, дак сейчас я вам обломаю!» «Бегите! — вскрикнула Соломня. — Зарежет! Спасайтесь!»

Грузд наступил тяжело бежавшего Кныша у ворот (Суфлер тем временем, не оглядываясь, бухал кирзачами уже в леваде вдоль Буга), сграбастал за грудки, притянул к себе, даже габардиновая сталинка затрещала по швам: «Слушай, ты, вша партизанская, слушай, Тодос! Я не для того еще два года назад пахал Европу локтями, красной юшкой умывался, чтобы такие, как ты, производили у меня обыск. В нашем роду воров не было! Догадываюсь, почему ты пожаловал именно ко мне, я знаю, отчего стал тебе поперек горла. Ты мне еще после того собрания гро-

зил: «Ой, смотри, голубок, попрдержжи язык! Он тебя не до Киева доведет, а заведет туда, где Макар телят не пас». Ты, гад, хорошо знаешь, кто семена украл. А скорее всего — пропил со своим Суфлером. А хочешь списать на Грузда. Синица вредит, а журавля к ответу, так?.. Жалко твоих детей... У меня тоже дети... сын, может, и дочь еще найдется. Ты меня понял?» — «Понял, Никифор Иванович... Даю слово: пока при власти, никто тебя и пальцем... Только отпусти». — «Ладно, катись!.. Но смотри мне!..»

К сеялкам он больше не пошел. А по селу — слух что дым: «Слыхали, говорят, Грузд взбесился? Подкараулит на леваде прохожего, связывает руки и ведет к себе. Запирает в чулане, а сам у окошка садится и нож точит у пленника на глазах... А потом... Если б не Соломия, не одного порешил бы. Теперь и Соломия не выдержала: собрала, говорят, пожитки, когда его дома не было, ноги на плечи — и гайда обратно в Пороги. И правильно сделала: какая с бешеным жизнь?.. Смотрите, не ходите левадой, не дай бог, подкараулит...»

2

Варька, помолодевшая, рада-радешенька, открывает настежь ворота — Грузд, держа коня за уздечку, въезжает во двор.

— Услышала еще с выгона, что едете... сюда, Кифор, сюда, к погребу заворачивай... так выбежала встречать... к погребу, Кифор, к погребу.

Солнце близится к закату; тени от воза, коня, Грузда и Варьки перекрывают двор, достигают улицы. Румяный вечер с полей накатывается в село.

— Тпру, стой, паринь... Здесь, у погреба, и разгружать?

— Да-да, чтоб недалеко носить.

— Дело хозяйское. Где прикажешь, там и скнем.

— А ничего себе нагрузил!.. Не тяжело ему было?

— Под гору плечом подталкивал.

— Не надо было столько брать.

— А мы порожняком не ездим.

— Помогла бы разгружать, так лопаты нету. Она-то есть, крепкая еще, только вот держак сломался, а сама ж я...

— Сделаю тебе новый.

— Да у меня есть, Кифор. Еще Корней покойный выстрогал... Когда заболел в последний-то раз, так и выстрогал: и для лопаты, и для мотыги, и для топора, и для косы. Сделаю, говорит, тебе, Варька, про запас, чтобы потом не бегала по соседям. Вот они, на шалаше, глянь: получше магазинных! Беда — насадить не умею. И то сказать: разве баба в мужской работе толк понимает? А Радивону напомнить забываю, да и недосуг ему: с утра до ночи в поле.

— Давай, паринь, насажу... С глиной и сам управлюсь, зачем тебе надрываться?.. Не так уж много этой глины, можно б и воз опрокинуть, кабы прежняя силенка. Ан нету — ушла, точно вода из пруда с разрушенной плотинной. Фронтные раны до сих пор ноют, а тут еще и радикулит... Что ты хочешь: все прошлые тяготы зараз боком выходят... Помню, стояли мы в Брашове — это румынский город, может, с нашу Винницу, а может, меньше, м-да... А тут внезапно команда: по танкам и на Мадьярщину! Облепили мы, десантники, танки — и вперед, за Родину! А дождь сечет, а дождь сечет... Потом, около полуночи, вдруг — мороз. Все на нас колом встало. Верись, паринь, даже белье обледенело! Разве ж не будут теперь корчи ломать?.. Вот тебе и лопата!..

— Как же, набедовался ты, Иванович, как и покойный Корней, за десятерых... Спасибо, что послушал меня, кто ж теперь бабе пособит за так? Дело идет к тому, что скоро без магарыча и «добрый день» не скажут... И конику твоему спасибо! Счас я ему сенца задам. Славный у тебя конек-горбунок!.. И как его только те цыгане бросили? Сердца у них нет, что ли?

— Стал калекой, вот и бросили. Не знаешь, паринь, как это делается, когда кто-то обузой стает?.. А конь и вправду хорош. Главное — как человек: все понимает! Этот, как говорится, в болото не завезет, а из болота вывезет. Погодь, счас что-то покажу. — Грузд достает из внутреннего кармана пиджака плотную фотографию. — Это мы с ним на свадьбе в Порогах снялись. Может, слышала, в позапрошлом воскресенье Твердоступ сына женил. Просил поиграть, так мы ездили. Приехал Янкель из Житников на мотоциклете, снимал гостей. Так и нас на память сфотографировал. Стали мы рядышком, обнялись, Янкель и шелкнул... А что, парни хоть куда, га?

— Еще бы!.. Не отбирают его у тебя?

— Куда? — Грузд прячет фотографию, застегивает

карман булавкой. — В колхоз? Говорил Суфлер: техкляч, что остались, кормить нечем... В колхозе теперь все на технику переходит — трактора, машины. Коня не в почете.

— Вот гляжу на тебя, Иванович, — ты вроде бы даже преобразился в последнее время... Да-да, преобразился, даже очень...

— Как это? Спаршивел или что?

— Еще весной, помню, был черный точно жук, а сейчас — посветлел...

— Такое скажешь... На солнце слинял... А ты что же это вздумала хату к осени мазать? Не к свадьбе ли?..

— Эге ж, Иванович, скоро пригласим тебя на свадьбу!

— Марта?

— Марте еще год учиться... Сперва пусть техникум окончит, там видно будет...

— Значит, Радивон... Уж не к Олене ли сватается?.. Вот и все с этой глиной...

— Так мой руки и заходи в хату.

— Не поспешай, паринь, дай нам перекурить.

Усаживается на пеньке под орехом, закуривает и задумчиво осматривается вокруг. И невольно вспоминает тот весенний день, когда сидел вот здесь же и в последний раз беседовал с Корнеем.

«Осенью, годок, я умру. Дальше, чувствую, не потяну. Умру осенью, когда уж не будет таких дней, такого солнца и такого неба. Смерть меня не страшит. Мы, годок, воевали, и потому о смерти думаю спокойно. Только я вот что тебе скажу. Даже осенью не хочется умирать. Даже осенью хочется жить. Жить! Для того мы и приходим в этот мир. Никто не сделает за тебя того, что суждено было сделать только тебе, никто не познает того, что судилось познать только тебе...»

Грузд с волнением озирается — ему почудилось, что Корней Земледух где-то здесь, рядом...

3

Лежит Кифор на возу навзничь, на мягком душистом сене, настланном Варькой, смотрит в небо. Высоко-высоко мерцают звезды, словно стряхивают на землю серебристый пепел.

Да-а, видать, мы не одни, думает, глядя в небо. Где-то она и на других планетах существует, жизнь... Мы на

вас смотрим, а вы — на нас... Может, именно в эту минуту там тоже кто-то едет себе на возу, в нашу сторону поглядывает и гадает: а где она еще есть, такая жизнь, как у нас?.. А что, все, в роги мать, может быть!.. А отчего они, звезды, падают? Оттого, паринь, что все падает: и люди, и звери, и деревья, и даже камни... Звезды — тоже. Состарился, спаршивел, стал ничем — уступи место молодому, здоровому... Да-а, жизнь...

Собралось всё зверье
С разных концов света.

Тихо тут, за сельской околицей. Ночные поля пахнут обмолоченными хлебами. Грузовики, возившие от комбайнов зерно, хорошо накатали дорогу — ни одной тебе ухабинки. Убаюкивающе покачивается воз, размеренно и глухо постукивают копыта. Ничто не мешает Грузду думать о жизни здесь, на земле, и там, на иных планетах, да напевать свое:

Посадили медведя
Головой совета.

Угощала меня Варька, будто бригадира. Все было. А салат чуть пересолила. Спросил: «Уж не чумак ли с мажарой у тебя во дворе кувыркнулся?»

Стали думать да решать,
За кого лису отдать?

Возвратился Радивон — и ожила Варька... На покрове — свадьба... Похолодало что-то... Ага, к леваде подъезжаем. Вот скатимся по склону Звенигоры — и, считай, дома. Надо бы вожжи в руки взять, темень — хоть в око стрель, а рядом глинища, такие провалы, точно там уже преисподняя, даже днем жутко.

— Тпру, стой, паринь!

Грузд отяжелело сползает с повозки, разбирает вожжи, натягивая до отказа, наматывает на упорку, прихрамывая на ноющую ногу, заходит наперед, берет коня за узду.

— Вот так-то будет надежнее... Двинулись, паринь...

Впереди, в левадах по-над Бугом, горят костры. Над землей роятся искры, точно огненные пчелы, — видать, жгут пересохший камыш; время от времени в небо, чуть ли не к звездам, взмывают сполохи, рожим цветом окра-

шивая вербы, реку, островерхие шатры, возы, людей и лошадей.

Уж не цыгане ли снова к нам пожаловали? Наверняка они. Те прежние или новые?..

С левады от цыганского табора доносится трепетное ржанье.

Конь замирает будто вкопанный.

— Чего ты, паринь?.. Ну, что остановился? Кобылы не слышал, что ли?.. Пошли, пошли... Пора домой... Ну, в ногу шагом — арш!.. Аты-баты, шли солдаты...

Не двигаясь с места, конь высоко вскидывает морду и ржет.

Это ржанье, звонкое, трепетное и зазывное, грохает над головой, точно выстрел из-за угла, оглушает Грузда.

Впереди, в ночной леваде, у цыганских костров снова раздастся ржанье кобылицы.

Конь, встрепенувшись сытым, нагулянным за лето телом, наклоняет голову. В этот миг Грузду чудится, будто правым копытом конь нетерпеливо сдвигает с холки хомут — сам себя распрягает и, освободившись от хомута, срывается с места, устремляется туда, к ярким цыганским кострам.

— Стой!.. Стой, паринь!.. Куда ты?.. А как же я?..

.. Грузд приходит в себя на дне глинища. Невыносимая боль разламывает все тело, перед глазами плывут разноцветные круги, пятна, неистово громяхают водовороты, в ушах назойливо — до тошноты — жужжат комары.

— Где ж это я?.. Никак, в преисподней, в роги мать!.. А он где?.. Эгей, паринь!

Свирепо матерясь, чтобы не охать от боли, хватаясь обеими руками за поясницу, Грузд приподымается. Сделав шаг-другой, натывается на что-то круглое... А-а, колесо... Еще вертисься?.. Пошатнувшись от боли в искаленной ноге, рухнул лицом в холодную глину.

Впереди, в нескольких шагах от него, что-то храпит, барахтается. Грузд встает на четвереньки, потом садится, прислушивается, вытирая с лица что-то мокрое и липкое.

— Это ты, паринь, голос подаешь?.. Жив еще, значит?.. Я тоже вроде жив, а вот цел ли — не скажу... А все ты... ты, предатель Родины!.. Вот как ты меня отблагодарил!.. Эх, паринь, паринь...

Где-то высоко над Груздовой головой взмывают в

небо тревожные всполохи цыганских костров, они заливают пропасть, на дне которой Грузд прокликает бывшего верного друга, красноватым мраком. Неведомое доселе безразличие охватывает Грузда, и, раскачиваясь взад-вперед, он сквозь зубы напевает:

Собрался все зверье
С разных концов света,
Посадили медведя
Головой совета.

Со стороны реки, от цыганских костров, вновь доносится ржание кобылицы — звонкое, клокочущее, призывное и вечное...

Глава седьмая. СВАТОВСТВО

1

— Ты уже слышал новость, Иванко, что Радивон посватался?.. Такие рушники красивые старостам — дядьку Гервасию и деду Знатьку — повязала... На покрыва — свадьба... Пойдешь старшим боярином... Больше братьев, даже троюродных, и нет. Поликарп дядька Гервасия — тот еще, как дед Знатько говорит, в три ряда зеленый, Петро наш — вернется ли к покрывам... Выпадает — тебе...

— А батька нашего не просили за старосту?

— Как же, попросят... Нашего папашку даже родичи всегда просят, как в той прибаутке: «Так просили, так не пускали! — А куда просили? — Из хаты! — А куда не пускали? — Так в хату ж!..» Не знаешь папашу: станет свою фанаберию показывать, чисто все и перекапустит. Ты его хоть крести, хоть святи, а он все в болото лезет... Скажи ему что-нибудь, Иванко, а то ж от всего села — страм, такой страм, аж очи ест. Как-никак, у всех на виду, бригадир же, и у тебя — служба такая... Когда-то батько мой, а твой дедусь, бывало, не раз говорил: «Хозяин должен пахнуть ветром, а хозяйка — дымом...» А наш батечка от сивухи никак не выветрится... Скажи ему что-нибудь, бо у меня уже язык болит...

— Ладно, скажу... А когда же оно было... сватовство это?

— Так, так — скажи... Погладь его против шерсти...

Та так, чтоб не знал, куда деваться... Ну когда же — на прошлой неделе... Варька так радуется, такая счастливая — хату мажет и поет... Так и Христя рада. Ге, еще бы — такой зять!.. Ото хорошо, сынок, что ты вернулся пораньше, наносишь мне воды, я ж думаю помнидоры квасить...

— В этом году помидоры у вас, мама, славные. И крупные, и мясистые, и пахучие... Так он примаком станет или как?

— Эге, славные. Доброй рассадой разжились у Варьки. А она легкая на руку: чем ни наделит — то родит как скаженное... Чего не знаю, того не знаю. Может, и в примаки идет. Вон же Марта на выданье — где ей жить? Не знаю, как они там решили...

— А бочки под помидоры у вас есть? Те уже старые, порассыхались, клепки менять надо... Свадьба с музыкантами будет?

— Говорила ж батечку: посмотри бочки, хоть в этом мне помоги. Эге, на него понадеешься, как ото кулаками на воду обопрешься. Пришлось деда Знатька просить, так он обручи подбил. А ты вот воды наносишь, малость замокнут, так, может, как-нибудь уж... Так, наверное ж, с музыкантами. Ныне ни одно событие без музыки не обходится — хоть свадьба, хоть проводы... Только вот, поговаривают, Ничипор Грузд побился — привозил Варьке глину, домой возвращался уже ночью, сорвался в обрыв, коня наутро дорезали и отволокли на курятник. А Грузд — цел, только побился сильно, так пока еще та свадьба — очухается и будет играть... А что это ты не вечеряешь? Не нравится? Так все ж свеженькое — и колбаска, и сметанка, и пироги!.. Может, тебе чарочку налить?

— Налейте, мама...

2

Иван лежит на толченом, комками слежавшемся сене, жует сорванный на меже щавель. Пахнет нагретыми за день овощами, а всего сильнее — укропом. И такая сладкая, такая непреодолимая истома одолевает, что не в силах даже пальцем шевельнуть... так и лежал бы вечность.

На покрова — свадьба... Уже выкопают огороды, снимут яблоки и поздние сливы, отлетят в теплые страны

ансты, но будет еще тепло, небо будет высокое, затканное паутинками «бабьего лета». На их подворье соберется все село. Под орех вынесут два стола, лавки, табуретки, застелят столы синенькою клеенкой, лавки — полосатыми веретами, батечко сюда музыкантов приведет, будет носить им графины и тарелки с едой, шумно угощать (и сам угощаться тоже), выливая остатки горилки за спину — кропить свадебных гостей. После третьей чарки вытаращится на Грузда: «А ну-ка, капельдудкин, ушкварь мне вот эту — «Гоп, мои гречаники, держи, кума, подштанники! Подштанники опадут — гречаники пропадут!» — и, широко расставляя руки, хватая ближайших молодцов, пойдет чертом, а дядько Гервасий, самый трезвый из всех, будет пощипывать ворошиловские усики, приглаживать свой чуб — блюсти свадебные обычаи и порядок, — ибо кто же уследит, кроме него? Старый Грузд, выгибая свое сухощавое тело коромыслом, дует в слепящий кларнет, так что глаза на рога лезут, кивает то одному, то другому музыканту: не паргачь, веди за мною! Из хаты на подворье выходят молодые. Родион — в сером коротковатом костюмчике, синенькой тенниске с «молнией», Олена — в венке с лентами, белой длинной фате...

Кровь приливает к голове, так что в глазах темнеет, Иван уже не видит над собою антоновку, небо сквозь поредевшую листву, — вместо них наплывают видения. Слишком много выпил, думает Иван. Садится и закуривает.

На селе постепенно утихают вечерние звуки. Где-то под Звенигорой тарахтит воз, с колеса, слышно, ссунулся обод, бьется об упорку; на Знатьковом подворье скрипит колодезный журавель, звякает ведро; в конце улицы Настя шпыняет своего Михайла, видать, пришел чуть тепленький...

Видал, пока ты мотался по всей стране, выколачивал для Тодоса Осиповича то одно, то другое, они и сосватались... Такие рушники красивые повязала... Ну, повязала, так что ж с того? Это еще не значит, что сделала окончательный выбор, окончательный и самостоятельный. Может, слово было не столько за нею, сколько за мамашей: «Нечего тебе, дочка, перебирать. Попался человек хороший, так выходи, пока не поздно. Сейчас ты молодая, красивая, а туда попозже кто на тебя посмотрит? Будут хватать ученых, с дипломами, а на доярок

даже и не плюнут. Любишь там, не любишь — лишь бы человек путевый, стерпится — слюбится». . . Ну а если и вправду — по любви? . . Иван вздрагивает от воспоминаний.

То воскресенье, в канун его отъезда, выдалось по-осеннему дождливым, туманным. Подался удить рыбу. И по дороге к Бугу сквозь густой туман, сквозь колючую изморось видел, как левадами и садками бродили две фигуры — высокая — мужская, и девичья — пониже. Брели куда-то, взявшись за руки, касаясь плечами, расходились, размахивали руками, опять сходились, возвращались назад, останавливаясь у заплаканной вербы или яблони, приникали один к другому в долгом поцелуе. Потом двинулись навстречу, прошли мимо него, как проходят мимо пня или куста, просто не заметили, как вообще ничего не замечали и не слышали. Пошли дальше, забрызганные по колена, вымокшие под дождем, просто-волосые, с распухшими губами и пылающими глазами. И было в их поведении и в том, как они выглядели, что-то такое на зависть высокое, красивое и в то же время — грешное, откровенно чувственное. . .

Где-то совсем рядом воркуют голуби. Пытаются имитировать кукушку: ку-ку, ку-ку, потом, сознавая неудачу, сердито туркают: турр-рр. Ивану кажется, что один из голубей все время бубнит, издеваясь над ним: при-дурррр-ррок, при-дурр-ррок. . .

Я тебе покажу «придурок»! . . А в самом деле — придурок. . . Ну где я был раньше? Разве не видел ее до него? Тыщу раз! Видел, да только не так, как увидел он. «Ты, братишка, смотришь густо, а видишь редко». Вот так всегда: стоит Родиону обратить на что-то внимание, как тут же и сам начинаю смотреть будто заново. Иногда даже глубже, чем он. Конечно, глубже. Слово его для меня становится импульсом к фантазированию, оно, как вспышка магния, высвечивает из темноты истинную красоту. Это, вероятно, недостаток моей природы, не знаю, откуда он происходит, однако это так: то, что нравится ему, начинает нравиться и мне. И даже больше, чем ему. Не боюсь перехвалить сам себя, я все-таки глубже постигаю красоту. Если бы, скажем, он чувствовал так же, как я, то непременно писал бы стихи, ибо творчество — это потребность отображать красоту, которую носишь в себе. Неспособен выразить то, что тебя поразило, взволновало, ошеломило, — значит, оно буднично, мелко,

обычно, ибо для необыкновенного всегда найдутся слова... Конечно, он порядочен, честен, общителен, потульный, как говорит мать... какой там еще?.. компанейский... однако — ограниченный, мужик мужиком... Красное, высокое, благородное наблюдает, но не боготворит. Этим мы и отличаемся друг от друга. Существенно.

А впрочем, какой же он порядочный, честный? Видел же: Грузд за Оленой ходит. Пусть бы и встречались себе, так нет же, засвербило, видишь ли, отбить девку. Вот какой ты однолюб! То по Юле сохнул, пытался даже руки на себя наложить от большой любви, еще бы... на меня и до сих пор дуешься, как сыч на мороз, хотя, правду сказать, не очень-то перед тобою виноват... Мне тоже нравилась Юля? Ну, нравилась. Однако ж не отбивал ее у тебя — сама мне на шею бросилась, сомлела в моих руках, в чем же тут моя вина?.. Так что ты не лучше меня, может, даже и похуже... Не пожалел Грузда, ну я и сказал себе: «Ах так? Ты считаешь, что в этом деле третий не лишний, тогда я буду четвертый. А она пусть сама выбирает. Только, чур, такой уговор: пусть выбирает сама, никто не смей заставлять, не смей перед нею ославливать соперника». Правда, такого уговора никто не придумывал. Так разве нужно было сговариваться? Это разумеется само собою. И ты, браток, должен был это понять еще до того вечера, когда впервые все втроем пошли провожать ее домой... Однако применил недозволенные методы. Применим и мы. «Не ходи за мною как тень!» А ты мне не указ!.. Вот пойду сейчас к Олене и спрошу: «А ты, голубка, хоть знаешь, что не первая у него?» Тогда и посмотрим, чья возьмет... Посмотрим, кто с кем посватается...

На околице тихо, как в Волчьем лесу. Студенты, отпускники разъехались в Винницу, Киев, Одессу. Бориска Гнип отнес гармошку домой, сельский клуб открывает только в воскресенье, когда из Житников кино привозят. Полноправным хозяином ночи опять стал громкоговоритель перед колхозной конторой.

Поросшие повилкой, бузиной и вениками, а понизу — любистком и мятой, тыны смахивают на крепостные валы. Иван на ощупь срывает листок мяты, растирает в пальцах, нюхает — это как будто бы успокаивает его немного.

По-над верхушками верб на Гремучем Куте качается

желтый призрачный свет — Карпо Гоцуляк повез Тодоса Осиповича домой. Перед кузницей сторож десять раз звонит в рельс, будто предостерегает кого-то: слушай, я здесь, на посту!

Из левады, налитой зыбким туманом (кажется, будто вовсе не туман это, а сивые кони сбились в тесный табун), — из левады ветряно пахнет влажным листопадом, безнадежною слякотью, дышит осенью. «На покрыва и свадьба»... Сжав зубы, с палкой в руке (на тот случай, если Монах не захочет признавать его) Иван заворачивает в Оленин двор. Он совсем уже отуманен сливовым первачом, который мать прятала от батька...

3

Христя устало убирает со стола посуду, перемывает ее над тазом, вытирает рушником и составляет в посудный шкаф. Евдоким сметает крошки в горсть, бросает в рот, потом расстегивает на груди синюю сатиновую рубаху (на троицу Христя набрала в лавке сатина, сшила себе кофту, а ему сорочку), запускает пальцы в жесткие седые волосы, лезущие из расстегнутого ворота под самый кадык, яростно скребется и наблюдает, как управляется Христя.

С улицы входит Олена, с распущенной перед сном косою, в коротеньком ситцевом платьишке, упругая, налитая силой и здоровьем, пахнущая молодостью. Не глядя на Евдокима, говорит:

— Наверное, дождь будет — так на пруду лягушки расквакались...

— А озимые уже посеяли? — живо спрашивает Евдоким не так Христю, как Олену. Смотрит на дочку и думает: такой же была когда-то и Христя. — Пора бы и отсеяться.

Олена молча принимается помогать матери. Сосредоточивается в себе, часто мигает длинными ресницами, будто вот-вот заплачет. Евдоким уже и не рад, что заговорил. Вот так всегда: обратится к ней — сразу же увядает, сворачивается, будто улитка уползает в свой домик.

— Отсеялись, — произносит Христя, немного погодя.

— Ну так дождя надо. — Евдоким усаживается за столом удобнше, по-хозяйски, вынимает кисет. — Очень даже надо...

— Конечно, надо, — подтверждает Христя, чтобы хоть как-то поддержать беседу. — Где-нибудь они идут, а к нам не заворачивают... Ото, говорят, под Горячковкой или Городковкой такой ливень прошел, что вода долинами как вал шла... В долине пасла дивчина корову, так унесло обеих.

За окнами, плотно завешенными шерстяными платками, рвется с цепи Монах, остервенело лает на кого-то, но вдруг внезапно замолкает, тянет цепь за собою к будке. С улицы доносятся чьи-то неуверенные шаги.

— Уж не Радивон ли? — Христя прекращает возню. — Так поздно?

— Не знаю... Он в ночной смене... Может...

Звякает клямка, скрипят двери.

— Двери! — испуганно вскидывается Евдоким. Поспешно, дрожащими пальцами гасит сигарку, рассыпая искры, обжигая пальцы. — Двери, спрашиваю, закрыли?

— Дверь? — Олена озирается по хате, будто ищет что-то, смотрит на Евдокима, потом наконец приходит в себя. — Нет, кажется, не задвинула засов... Забыла...

— Раззява! — жалко вякает Евдоким. Хочет выскользнуть из-за стола, хватается за лавку, но руки становятся чужими, не подчиняются. — Пропали...

Шаги бухают уже в сенях, снова звякает клямка, дверь в хату отворяется — в темном проеме возникает Иван.

— О-о, а это кто? — тяжелым пьяным взглядом уставился в лицо Евдокима, который уже и на мужчину не похож, скорее на серый мешок, кое-как натолканный тряпьем, изучает его, потом переводит взгляд на семейную фотографию, под которой сидит тот. — Ага, так вот это кто...

Олена пришла в себя первой. Бросается к Ивану, закрывая от него Евдокима узенькими плечами, складывает на груди руки словно для молитвы.

— Ни о чем не спрашивай, Иван... Ты ничего не видел... Пойдем лучше во двор, скажу тебе что-то.

Иван исподлобья смотрит на Евдокима, вытягивая шею над Оленой, потом — на Христю, застывшую над лоханью с помоями, потом вновь на Евдокима, понимающе усмехается.

— Выходит, дядько Заворитний, вы...

— Молчи, Иван! — вскрикивает Олена. — Молчи! Идем из хаты!

— Ладно, пойдем, — пьяно ухмыляется Олене.

Выходит первым; Олена — следом за ним. Христа остается в хате с Евдокимом. Он, тяжело отсапываясь, поднимает голову, бессмысленно устремляя глаза в дверь. Христа догадывается: собирается удрать из хаты, забраться в свою нору, пересидеть лихую годину. Опомнившись, она остро взглядывает на него: сиди, гад соленый, сиди и не рыпайся, пока не вернется Оленка, сиди, хоть примерзни к лавке! Толчется сама перед порогом, заламывает руки; тяжело вздыхая раз за разом. Наконец не выдерживает. Приказав Евдокиму взглядом: «Сиди тут!» — тихо, крадучись, выходит из хаты, останавливается.

Где они? О чем говорят? В санях — нету. Тихие голоса доносятся из сада. Стоит, сторожко вслушивается, но так ничего и не может услышать. Ага, вот и Олена возвращается. Останавливает ее, шепотом спрашивает:

— Где ж он?

— Пошел огородами...

— Больше не придет?

— Сегодня не придет... А завтра — не знаю...

— Что ты ему сказала?

— Пойдем в хату, — равнодушно произносит Олена. — Замерзла я...

Евдоким испуганно вздрагивает у стола, глазами, полными слез, смотрит на Олену. Олена долго не может прикрыть за собою дверь, звякает и звякает клямкой, потом останавливается на пороге.

— Не бойтесь... Никому ничего не расскажет... Выхожу за него... Через неделю — свадьба... Готовьтесь...

Евдоким подшморгивает носом, поднимается с лавки, губы у него мелко дрожат. Падает перед Оленой на колени, хватая за руки.

— Спа... спасибо, до... до-чень-ка-аа...

Олена словно бы пробуждается от сна, шарахается от Евдокима, сдавливает голову руками, бросается в кухню. Христа — следом за ней. Олена хлопает дверью и набрасывает с той стороны крючок. Глухо скрипит кровать, доносится стон. Что-то над собой учинила, — желтеет у Христа в глазах. Саданув плечом в дверь, срывает крючок.

Лицом вниз, обхватив подушку руками, уткнувшись в нее, Олена безутешно рыдает на своей кровати. Христа

садится рядом, кладет руку на плечо. Олена рыдает еще горше.

— Руки... руки на себя наложу, а... а за него не... пойду-у... я только Родиона... Ой, мама, зачем вы мою жизнь загубили? Зачем вы меня на этот свет народили? Лучше б меня совсем не было... ничего этого не знала б...

— Успокойся, дочка, тихо, не плачь... как-нибудь обойдется...

— Как обойдется? Я этого так не переживу. Лучше уж — петлю на шею, лучше — с моста да в воду...

— Побойся бога, доченька, что ты говоришь?

Вдруг Христя чувствует: что-то с нее спадает, она становится не такую, как была прежде. Вытирает слезы, поднимается с Олениной кровати, хватая с припечка увесистую качалку, вбегает в хату, останавливается перед Евдокимом.

— Видишь? Слышишь? — размахивает перед ним качалкой, приседает, упирает руки в бока, жмет зеленым взглядом. — А все из-за тебя, шелудивого!.. Это из-за тебя, страхополоха, мы вот так мучимся!.. Правильно когда-то тебя Корней Родионович назвал: Явдошка. Явдошка ты и есть! Замутил жизнь себе, замутил мне, теперь еще и дочке мутишь?.. Видал, заради жизни твоей молодость свою прахом пускает, за нелюба замуж идет. Лишь бы только ты жил. Лишь бы только там, на чердаке или в погребке, со сна пухнул и салом заплывал, а ночами бродил по селу как привидение... А дулю тебе! Отгуляется коту масленица! От я, дурная, терпела, молчала столько лет, все надеялась: а может, пересилит свой страх, выйдет на белый свет да явится к властям с повинной, а ты, вижу, и не думал про то. Тебе, видать, такое житье по вкусу. Ты б еще двадцать лет нудился в той норе. Но хватит — конец! Крышка! Марш в сельсовет! Если сам, по доброй воле не пойдешь, палкой, вот этой качалкою погоню! — Снова замахивается на него. — Глаза б мои на тебя не глядели! А чтоб тебя мама еще в зачатые на жгучую крапиву сбросила — сколько мы из-за тебя набедовались!

Лысеющая голова Евдокима, по-женски округлые плечи гнутся все ниже и ниже, и вот голова поникает на лежащую на уголке стола руку, правая свисает до самого пола — Евдоким замирает в равнодушно-безвольной позе: делайте со мною что хотите, бейте меня, режьте меня — мне все едино.

— У-у, гад! — Христя швыряет качалку, но попадает в их свадебную фотографию в резной вишневой рамочке, осколки разлетаются по хате, фотография срывается, падает на пол.

Христя рвет на себе платок, срывает его с головы, волосы рассыпаются по плечам и седеют на глазах у Евдокима. Тяжело подламывается в коленях, заходится истерическим плачем и оседает посреди хаты. Евдоким скрипит лавкой, далеко обходя Христю, топча лежащую на полу фотографию, выходит из хаты.

Олена поднимает мать, укладывает ее на кровати, понт водой. Христя долго всхлипывает, икает, наконец успокаивается. Олена сидит на лавке, смотрит прямо перед собой.

— Поеду я, мама...

— Куда, доченька моя?

— А хоть куда глаза глядят... Лишь бы не видеть всего этого... Иначе — не вынесу...

— Бедная моя головонька, где ж ты будешь?

— Не убивайтесь... Не маленькая — замуж собиралась.

— Никуда ты не поедешь! Я тебя, детонька моя, и за порог не выпущу!

— Пустите, мама... Вот сейчас соберусь и уеду... Рано или поздно это должно было случиться... Может, даже и хорошо, что именно сейчас... Как бы я Родиону в глаза смотрела?.. Все обманывала себя... целое лето обманывала: как-нибудь да будет... Как же, не обманешь... Ни себя, ни других... Вот и расплата... Буду собираться, поезд в полночь, успею...

— Ты — уедешь, его заберут, с кем же я останусь? Куда ты поедешь? Когда вернешься назад?

— Не знаю, мама... Ничего сейчас не знаю... Может, когда-нибудь и вернусь... Когда позор наш забудется...

КНИГА ВТОРАЯ

Нема ж цвіту білішого
Над ті полуниці,
Нема ж роду ріднішого,
Як брат та сестриці.
Нема ж цвіту білішого
Над хрін та над редьку,
Нема ж роду ріднішого
Над отця, над неньку.
Нема ж цвіту білішого
Та над ожиноньку,
Нема в світі вірнішого
Та над дружиноньку.

Из украинской народной песни

Глава первая. ПОСЕВ

1

Эту новость принес в хату Карпо Гоцуляк. Родион как раз пил чай, когда Карпо засигналил у ворот. Мать уже побежала на ферму, завтрак подавала Марта. Услышав сирену, припала к боковому окну, какое-то мгновенье всматривалась в ночную темь, потом сказала: «Желтеет перед воротами, будто куча рапса. Гоцуляк со своим молоковозом. Отныне, братец, это уже твое персональное авто».

«Ну, Гоцуляк! — с сердцем подумал Родион. — Никто ж не просил его приехать за мною, а он уже трубит. А может, нашлись такие, кто распорядился?..» Пока размышлял, отхлебывая горячий чай, Гоцуляк уже топал под окнами. Марта метнулась открывать. Поздоровавшись, Карпо сказал: «В полночь рска вскрылась. Лед тронулся... Там, Родион Корнеевич, такой веселый шелест по селу идет, аж душа оживает».

По селу, в густой утренней синеве и в самом деле ходят шелесты. Родион представляет, как Буг сдирает с себя льды, будто старую облезлую шкуру, ноздреватые, рыхлые. Хочется свернуть со шляха, раскисшего, с тяжким духом перепревшего навоза, податься на берег, дохнуть свежестью вскрывшейся реки.

— Теперь делайте свое дело, а я — на фермы, — Родион чувствует, что обидел Гоцуляка. Вынимает пачку сигарет, угощает водителя. — Не сердитесь, Карпо Пантелеймонович. Поймите: не могу появиться на людн... на молоковозе. К матери, к вашей сестре — ко всем, одним словом... Не надо заезжать за мною. Так вот...

Кивнув Гоцуляку, направляется к коровникам.

Вот уже больше двадцати лет, думает Родион, ну, конечно, с такой же вот весны сорок четвертого года, изо дня в день ходит мать этой дорогой на ферму. Не ходит — бегаёт. Ни разу еще не слышал, чтоб сказала: «Пошла на работу», только так: «Побежала...», будто она, работа, куда-то от нее убегает.

«О чем же вам думается, мама, когда вы месите вязкую грязь или хлюпаете по лужам, защищаясь от ветра согнутой в локте рукой, всматриваясь в густую тьму, не засветятся ли впереди огоньки?.. Когда примемся мостить улицы, прежде всего надо проложить булыжник на ферму. Проложим, обещаю вам...»

Вот как оно обернулось, думает Родион. Даже и предполагать не мог такого поворота.

Две недели назад приехал в Умань на сессию. Только защитил курсовую работу, сдал несколько экзаменов и зачетов, как вдруг вызвали к ректору. Шел гулкими институтскими коридорами и немного волновался в душе: зачем вызывают?.. «Хвостов» нет, учусь — за милую душу.

В ректорском кабинете застал Яким Якимовича. Встревожился еще больше: «Что-то с матерью!.. Уж не сердце ли?»

Соловьев сразу же понял душевное состояние Родиона, успокоил открытой улыбкой, потом сказал: «Я тут и посланец, и сват в одном лице... Пакуй, Корнеевич, чемодан — после домой... С ректором согласовано все». — «Да что, собственно, случилось?» — «Дали Кышу по загривку. На этом же собрании приняли решение: рекомендовать тебя головой колхоза. Гайда, собирайся скорее, нас ждет Красножонова машина».

Выехали из Умани, и Яким Якимович стал рассказывать Родиону о подробностях партийного собрания.

На собрании Тодос Осипович, как всегда, держался высокомерно, самоуверенно, бесцеремонно и нетерпеливо перебивал каждого, кто хоть в чем-то его упрекал, советовал прикусить язык, потом сорвался с места, стал гру-

бо обвинять всех в сговоре и угрожать, что этого никому не простит, всех поразгоняет. Прямо из-за стола президиума направился к выходу, изо всех сил трахнул дверьми.

Представитель райкома — заведующий организационным отделом — растерялся, порекомендовал перенести собрание на следующий день. На этот раз приехал сам Красножон. С тех пор как в Житниках был вновь создан райком, Сергей Галактионович — первый секретарь. Теперь уже Тодос Осипович чуть ли не на колени падал перед сельскими коммунистами, просил не исключать из партии. Пожалели. Дали возможность искупить свою вину. Пойдешь, сказали, на самый отстающий участок — в животноводство. Не поддержал Кныша даже дядько Лаврин, постоянный его Суфлер. «Никто тут не сговаривался, — сказал. — Просто лопнуло терпение. Все эти годы, товарищ Кныш, ты нас за г а в р и л считал, а я, например, был Земледухом, хочу им остаться до самой смерти».

Выслушав Соловьева, Родион откровенно сказал ему: «А не поспешили ли вы, Яким Якимович, рекомендую меня головой колхоза? Для меня это, разумеется, высокая честь, но боюсь, смогу ли оправдать ваше доверие». «Оправдаешь! — убежденно ответил Соловьев. — В нашем колхозе ты прошел хорошую школу — от тракториста до главного агронома. Набрался опыта, а через годик-другой станешь специалистом с высшим образованием, ученым агрономом. Сергей Галактионович тоже не имеет ни малейшего сомнения в том, что ты потянешь. Полностью нас поддержал. Сейчас мы и едем прямо к нему».

Беседа с Красножоном была короткой.

«Для райкома это всегда печальный случай, когда приходится освобождать от работы руководителя, — сказал Красножон, словно бы угадав Родионовы мысли. — Между тем в этой ситуации утешает тот факт, что партийная организация в Окнах оказалась на высоте. Помнишь наш тогдашний разговор про Якима Якимовича? Ну так вот: из него вырос боевой и принципиальный партийный вождь... Ну что же — поехали к людям...»

«Газик» Красножона мелко запрыгал на шпалах железнодорожного переезда. Сразу же за переездом начались поля окнянского колхоза. Вдоль дороги в про-

шлом году были плантации свеклы. С вывозкой замешкались до самых «белых мух», колеса и гусеницы вконец растолкли, разъездили, разрыли большак. Глубокие рваные колеи заливала тяжелая, вперемешку с ледяною шугой, мутная вода.

«Ну, держись, Родион, за Якима Якимыча, — сказал Красножон, прикипая к рулю. — Что шишки понабиваем — это точно. А можем и выпасть. Так что держись за Соловьева двумя руками...»

Будем держаться, думал теперь Родион, направляясь к фермам.

Перед первым коровником (его, как и конюшню, и магазин, строили еще при Галактионе Ильковиче Красножоне, строили из крепкого красного кирпича — надежно, на века, а уже при Кныше прицепили к нему два телятника из ракушечных блоков, и теперь коровник смахивает на букву «П») Родиона догоняет Яким Якимович. От крепкой его фигуры веет силой и спокойствием. Родион, пожавши Соловьеву руку, чувствует себя увереннее.

В тусклом свете электрических лампочек — два ряда коров. Одни стоят, другие жуют жвачку лежа. В яслях толкуются воробьи, разгребают сухую сечку в напрасном поиске зерна.

За дверью в углу склонилась над ведрами Антося Гоцулячка, что-то размешивает. Рукава серого халатника засучены до локтей, запястье правой руки, как и у матери, перевязано красной ниткой, чтобы «не расходились» руки.

— Уж не моляс ли подмешиваешь, Пантелеймоновна? — поздоровавшись, останавливается перед нею Родион.

— Эге ж, Корнеевич, немножко надуваю их. — Антося берет ведра, идет между рядов, кропит в яслях. Одна из коров хлещет хвостом — прямехонько в лицо Антося.

— Ну ты, Акула! — незлобиво замахивается на нее Антося. — Умывайся теперь лишний раз из-за тебя...

— Акула — кличка такая или что?.. Хорошо, видать, доится...

— Ну да, кличка... Давала и по тридцать четыре, а сейчас... — Антося смотрит на Родиона и вскрикивает испуганно: — Ой, Корнеевич! Эта Акула уже всю полу тебе сжевала! Ото забота...

Через ряд от нее хлопочет Аглая Соловьева. Услышала — оперлась на вилы, кричит Антося:

— Возьмешь премию — купишь голове новое пальто!..

Антося скручивает клок соломы, принимается вытирать изжеванную, обслюенную полу Родионова полу-пальто.

— А вы, Аглая Якимовна, чем дурите своих?

— Смотри-ка, Корнеевич, как ты нас славно величаешь! Мы так и не привыкли... Чем дурю? Обещаниями. Это ж Антося — моляс, а нам — сечку, Антося — слава, премии, а нам — дуля с маком. Вот такие тут у нас порядки.

— Да разве ж я, Аглая, виновата? — зло кричит Антося. — Разве я не годна работать, как все? Не я заводила эти порядки!

— Тодос Осипович завел, — произносит за спиной Родиона Соловьев. — Моляс выписывал только передовым из своего спецфонда... Разумеется, неправильно. Условия, они для всех должны быть одинаковыми.

— А разве ж я не говорила об этом? — в Антосином голосе звенят слезы. — На что мне такая слава — глаза выпекать?

— Успокойся, Антося, — говорит Соловьев, — разберемся с этим.

Мать вкатывает со двора подвесную вагонетку, принимается набрасывать в нее навоз. В разговор деликатно не вмешивается.

— Дайте-ка, мама, вилы.

— На что они тебе — выпачкаешься.

— Теперь уж все равно — полы нету. Хочу на себе почувствовать, каков он, ваш труд.

— Где-то этот навоз транспортеры вывозят, — говорит Аглая, — а у нас, видишь, вилами. Кныш говорил, будто этот наш коровник к механизации не приспособлен, надо его разрушить.

— Такой капитальный коровник разрушать? — выпрямляется Родион. — А разве не легче, Яким Якимович, вы ведь механик, так скажите: разве не легче приспособить механизацию к коровнику, чем коровник к механизации?!

— Яким Якимович, — опять подает голос Аглая, — еще когда брался за это дело, только ходу ему никто не давал...!

— Ну да, — не выдерживает мать, — вон доильные аппараты с каких пор ржавеют где-то в закутках. . . Вот ты, сынок, нагрузил одну вагонетку и уже, вижу, ухайдакался, а если три или четыре? А наноси, попробуй, этой корзинкой сечки на всех двадцать пять коров, выдои, помой вымя да хвосты вычисти скребком — вот тогда узнаешь, какой у нас, доярок, труд. . . Ой, делайте что-нибудь, хлопцы, думайте, бо у нас уже руки отваливаются. А в первую голову подумайте, чем их, акул, подкармливать. Еще ныне-завтра подкормим сечкой, а потом?

— На поле кукуруза гниет, — вздыхает Аглая, — а тут сечки не допросишься. . . Дела!

Из коровника Родион с Якимом Якимовичем отправляются на свинарник.

— Гляди, Корнеевич, под ноги, — предостерегает Соловьев. — Тут, за порогом, яма с навозом.

Из глубины свинарника от противоположных дверей слышится женский голос, нетерпеливый, сердитый:

— Ну ты, Явдошка, тащи! Чтоб тебя так за пупа тащило! . .

— Так тащу ж, — отвечает покорный мужской голос.

Серединою свинарника, между занавоженных стойл, тащит телегу Евдоким Заворитный. Увидав Родиона, растерянно останавливается. Открыв черный провал рта, мигает посседвшими ресницами. .

Родион до болезненного хруста сжимает зубы, двигает скулами, как и всякий раз, когда приходится встречаться с Евдокимом. За эти годы, состарившие Родиона душой, встречались не раз. Заворитный еще издали заискивающе кланяется. Ну что ты кланяешься, заячья твоя душа? Ты для меня — тень, ничто! Временами даже хочется палкой дотронуться: живая ли плоть или в самом деле привидение? А сильнее всего хочется вытрясти из тебя душу: «Что ты натворил, мерзкий человек? Почему твои грехи должны искупать еще и мы?» Так думает Родион, встречаясь с Евдокимом. А Заворитный, заискивающе поклонившись издали, сразу же отводит взгляд, блуждает им где-то по-над деревьями и хатами, Родион до сих пор так и не знает, какого цвета у него глаза, — наверное бесцветные, вылинявшие там, в подполе. Спертый дух погреба до сих пор не выветрился, дает о себе знать шагов за двадцать. Не напрасно же дед Знатько,

встречаясь с Евдокимом, зажимает нос пятерней или же сморкается.

Однако Родион понимает: сейчас Евдоким Заворитный для него прежде всего — колхозник, такой же, как и все. А потом уж — Оленин батько. Так что и обращаться с ним надо, как и со всеми.

Телегу, нагруженную навозом, подталкивали сзади Христа и Гаманка. Когда Евдоким останавливается перед Родионом и Якимом Якимовичем, Христа поднимает голову, видать, собираясь вновь подстегнуть своего мужика хлестким словцом, но, увидав Земледуха, не знает, как себя вести.

— Доброе утро, — здоровается Родион, делая вид, будто ничего не замечает. — Уже кормили? Чем же?

В свинарнике стон стоит от верещания, хрюканья, визга.

Задыхающийся, вспотевший, прибегает Тодос Осипович.

— О-оо, так вы тут, Корнеевич! А я думал, на «гайке». Я тут уже был, пусть вот они скажут, вас не застал, так — туда.

Тодос Осипович переступает с ноги на ногу, не знает, куда девать руки, первым поздороваться с Родионом не решается, а вдруг отвернется, так и пойдет по селу: новый голова даже руки Кнышу не подал. Родион на мгновение задерживает взгляд на лице Тодоса Осиповича, на всей его фигуре. Рыжеватая кожа, и волосики словно бы ржавчиной покрылись, на затылке жалко встопорщился вспотевший пушок, спина ссутулилась, горб стал еще заметнее.

Коротко пожав Кнышу руку, Родион кивает на телегу:

— А что, Тодос Осипович, за свинофермой не закреплена подвода — навоз вывозить?

— Закреплена, Корнеевич, закреплена. Видать, ездовый проспал. Немедленно приму девственные меры.

— Примите... Вozy для того, чтоб коней в них запрягать...

.. На крыльце конторы уже толпятся бригадиры, руководители отраслей, заведующие фермами. Жадно покуривают, лениво перебрасываясь словами. Кое-кто заслоняется воротником полушубка. Из толпы вытягивает голову дядько Лаврин, хрипло спрашивает:

— Наряд будешь давать, гвардия?

— Буду... Через пять минут — прошу заходить.

В кабинете голова снимает пожеванное полупальто, свернув подкладкой наружу, вешает в углу, поправляет галстук, садится сбоку стола. Закурив, смотрит на Соловьева.

— С чего же начинать будем? Не с этой ли королевы?

— Конечно, с нее, главное сейчас — передержать скотинку...

Под присадистыми, крепкими правленцами надсадно повизгивают, скрипят стулья. Дядько Лаврин усаживается на диване, застланном ковром, а Тодос Осипович устраивается в заднем ряду, под вешалкой. Главный бухгалтер подсовывается вместе со стулом к уголку стола, раскрывает книгу нарядов, макает перо в чернильницу, выжидательно смотрит на Родиона, мол, говорите — буду записывать. Не переходя в кресло председателя, Родион говорит:

— На сегодня и на ближайшие дни наряд будет один — всем на кукурузу под Волчий лес. Подчеркиваю: всем! В первую очередь — руководителям, кладовщикам, работникам бухгалтерии. Не уберем кукурузы — мы здесь вообще не нужны. Наряд закончен...

2

— Вот хочу спросить у вас, дядько Гервасий: с чего именно вы начинали свое председательство?

Двадцать лет назад, весной сорок пятого, дядька Гервасия выписали из московского госпиталя. С неделю он вылеживался дома, отъедался, а потом подался в Житники становиться на партийный учет. Вышел из дома пешком, а вернулся в село на райкомовском «додже» вместе с первым секретарем Добридем. Машинка подкатила прямехонько к кагатам, которые только что раскопали и принялись перебирать картошку. Созвали людей с фермы, с конюшни, из кузницы. Добридень тут же и собрание открыл — без трибуны, без президиума: так и так, мол, товарищи женщины и товарищи старики, вот от имени райпарткома рекомендую вам нового голову колхоза, вашего же земляка, фронтовика-танкиста, кавалера двух орденов солдатской Славы... Кто хочет высказаться?..

Вышел вперед дед Знатько, который председательствовал с весны прошлого года, и сказал: «Я б так вы-

сказался, напрямки: давайте, бабоньки, будем голосовать, пока Гервасий, знать, не передумал».

Семь лет председательствовал дядько Гервасий, пока осенью пятьдесят второго три окнянских колхоза не объединились в один. На том общем собрании люди стояли за дядьку Гервасия, однако он заартачился: «Отпустите меня, люди добрые. Шесть классов для головы — не грамота. Выбирайте Тодоса Осиповича, он грамотнее, строительный техникум закончил».

Рассказывать о своем председательстве не любит, как и вообще не очень охотно вспоминает обо всем, что случилось с ним в жизни. Раньше Родион никогда и не приставал к нему с расспросами. Однако сейчас вот, за полчаса до заседания правления, захотелось услышать, с чего же он, дядько Гервасий, все-таки начинал. Кто знает, возможно, как раз его опыт и окажется пригодным для этих первых, таких нелегких дней...

— Ну что тебе, сынок, сказать? — дядько Гервасий задумчиво пощипывает свои знаменитые усики. — Я так думаю: каждый начинает по-своему. — Кустистые брови сразу же размыкаются, дядько Гервасий улыбается как-кому-то воспоминанию. — Разве что такое тебе расскажу... Ну а ты слушай и, по ходу пьесы, мотай на ус... Времена тогда, сам знаешь, были тесные. Все легло на женские руки... Всей техники, что имели, — четыре пары быков. Там уж такие бычки — одни хвосты да рога, ну а все-таки тягло. Пашем. Мои пахарь больше тридцати пяти соток за день и не вспашут. Вижу, по ходу пьесы, с такими темпами нас и жнива враспloh застанут, а тут еще я не посеяно. От тогда и говорю своей головихе: «Бери-ка, Катруся, самых плохоньких бычков и, по ходу пьесы, подавай пахарям пример. Чтоб мне за день не меньше чем полгектара вспахала, кровь из носа!» Ну, спаровалась моя головиха с вашей Настею. Катря — за плугатаря, Настя — за погонщика. До вечера шестьдесят соток и отмахали. С тех пор моя Катруся стала для меня домашним Буденным: где какой прорыв, туда и она, как ото у гражданскую Буденного с фронта на фронт перебрасывали... Ну, было у меня право кого хочешь пристыдить... Вот так, сынок, и начинал...

Все это дядько Гервасий рассказывает так вымученно долго, что Родион успевает выкурить три сигареты, а в дверь уже заглядывают — можно ли заходить?

— Прошу, товарищи, прошу!

Входят — все в грязи, промерзшие, сердитые — прямо из-под Волчьего леса, с мартовской уборки кукурузы. Усаживаются кто где, вынимают папиросы, табак, насто-роженно и заинтересованно поглядывают на Родиона и на дядька Гервасия: о чем промеж них разговор был? Родион встает из-за стола.

— Все пришли? Ну тогда начнем. Прежде всего предлагаю обсудить поведение бригадира комплексной бригады товарища Земледуха... Лаврина Родионовича...

— Что-о? — подхватывается с дивана дядько Лаврин, так что папироса выпадает у него из рук. Непонимающе тарашится на Родиона, потом на Соловьева, сидящего справа от Родиона, потом — на правленцев, возмущенно выкрикивает: — Какое еще такое поведение? Что ты, гвардия, мелешь?

— Прошу не кричать, — спокойно останавливает его Родион. — Вы не на улице. Не забывайтесь. — Помолчав, продолжает, обращаясь к правленцам: — Дело, товарищи, такое. Мы ведь с вами решили на прошедшем заседании: всем, кто сейчас жнет кукурузу, возить в поле горячий обед, проще говоря, кулеш и чай. Какой-никакой обед, а душу согреть можно, ветер же в поле, слякоть. Но обед потому и называется обедом, что садятся за него в полдень, а не вечером. А вот в бригаде товарища Земледуха обед завезли сегодня под самый вечер, когда...

— Закрутился, сынок, вот и забыл послать подводу, — перебивает Родиона дядько Лаврин. — Больше такой промашки не будет.

— Закрутился — это не оправдание... За такие промашки будем наказывать. Какие, товарищи, будут предложения?

Наступает тишина. Правленцы опускают головы. Дядько Лаврин наклоняется, поднимает с пола окурки.

— Записать выговор, — предлагает Соловьев.

— На первый раз, — говорит главбух, — предупредим.

— Другие предложения есть? — спрашивает Родион. — Тогда у меня есть. Предлагаю лишить бригадира комплексной бригады товарища Земледуха... Лаврина Родионовича... двадцати процентов дополнительной оплаты.

— Ого! — гремит дядько Лаврин. — Круто берешь, гвардия!

— Может, Корнеевич, — негромко говорит главбух, — в самом деле слишком круто?

— Нет, не слишком, — твердо отвечает Родион. — Здесь о людях речь. А если дело касается людей, не можем мы прощать ни забывчивости, ни равнодушия. Виновных надо наказывать как можно суровее. Это хорошая наука для других.

— Дожились! — театрално всплескивает руками дядько Лаврин. — Уже яйца курей учат. — Вскрикивает с дивана, быстро выходит. Хлопает дверью так, что осыпается штукатурка.

Какое-то время все молчат. Потом главбух предлагает:

— Пойду верну его.

— Не надо, — останавливает его Родион. — Сам вернется. А не вернется, себе же хуже сделает. Итак, было три предложения. Давайте голосовать.

— Я свое предложение снимаю, — говорит Соловьев.

— Я — тоже, — кивает главный бухгалтер.

— Остается одно предложение... Ну, тогда... кто за это предложение? За то, чтобы лишить бригадира Земледуха за невыполнение решения правления колхоза двадцати процентов дополнительной оплаты? — Сосчитав руки, сообщает: — За исключением самого Земледуха...

Дверь приоткрывается, дядько Лаврин прокашливается с порога, долго и вымученно, потом непривычно тихо говорит:

— Извините, я погорячился...

— Мы так и подумали. — Родион кивает на диван, мол, садитесь и слушайте. — Итак, за исключением самого товарища Земледуха, — единогласно.

3

Родион открывает окно, ложится грудью на подоконник. На яблоне, растущей под окном, сухо потрескивает кора: луск, цок, луск, цок. «Начинают, — догадывается Родион, — играть весенние соки». На улице, под тыном, двое, подсвечивая фонариком, чинят велосипед. Переговариваются, хохочут. По голосам Родион узнает Груздова Максима и дядька Лавринова Петра.

«Вот как оно в жизни складывается, — думает Родион, — были с Груздом соперниками, а тут, видать, вскоре родичами станем — зачастил к Марте. Вернулся из Одессы в то же лето, когда Марта культпросветтехникум закончила, сельским клубом заведовать стала. Сперва от этого Грузда ей житья не было — баламут, забияка. Принесет его в клуб, — уже, глядишь, натворил что-нибудь. Кому по загревку стукнет, кого из девчат в охапку схватит, напугает до смерти, а то подножку подставит в танце. Бывало, и компанию соберет, на сцене в подкидного режутся. А иногда распнется в дверях, как на кресте, упрется в тебя взглядом, не мигнет. . . Потом другую моду взял — в провожатые набиваться. Всех отвадит, сам поджидает на улице, пока она не закроет клуб, и идет следом. Проводит до самых ворот, бывало, слова от него не услышишь, только смалит папиросы безбожно. А однажды вечером на берегу Буга спросил: «Тебе Родион, часом, не рассказывал, как я в этом лягушатнике топиться пробовал?» — «Нет, не рассказывал. А отчего ж ты, Максимка, топился?» — «Оттого, что дурак был». . . Так вот и стал первым помощником Марты, клубным активистом. Спектакль готовят по пьесе Тараса Шевченко «Назар Стодоля». Оба в главных ролях: Марта — Галя, Максим — Назар. Дома только и разговоров что о будущем спектакле. А больше ничего такого про Грузда и не рассказывает — у них уже свои тайны. Не сегодня завтра сестрица скажет: «Мама, братец, ожидайте на этой неделе сватов». Пускай приходят, сестричка, пора. Выходи за своего Максима и будь счастлива. . . А я подожду. . .»

Можно ждать, когда у тебя есть кто-то. А кто есть у тебя? Юля? Олена? . . . О первой вообще ничего не знаешь, а вторая, с которой надеялся забыть ту, первую, новую жизнь начать, где-то в Крыму на какой-то стройке. Время от времени, говорят, пишет матери. Христя малограмотная, читать почти не умеет, носит письма Оленины к соседям, чаще всего к Насте. Олена пишет, что жива-здоровая, работает, учится, а о том, думает ли вернуться когда-нибудь домой, — ни словечка.

Не возвращается в село, и в памяти не стирается ее образ. Напротив, чем больше времени проходит, тем живее и ярче воспоминания. Лишь изредка они смешиваются, образ накладывается на образ, событие на собы-

тне, и уже кажется иногда, будто в твоей жизни их и не было каждой в отдельности — ни Юли, ни Олены, а была какая-то одна с непривычным двойным именем Юля-Олена, и вот с нею-то одной и познал столько всего.

Однако это длится недолго. Минуту-другую спустя они разделяются вновь, одна отступает куда-то далеко-далеко, словно бы затягивается сизым туманом, а другая приближается вплотную, заслоняет собою весь мир. Так же и в жизни было. . .

— Можно, сынок? — в кабинет неслышно входит дядько Лаврин. — Вертаюсь вот с Гремучего Кута. Вижу: светится у тебя, думаю, дай зайду да расскажу, как оно дела оборачиваются.

— Хорошо, что зашли. Садитесь, прошу вас.

Дядько Лаврин садится напротив Роднона, устало вытягивает ноги в запыленных сапожищах. Светлые глаза под рыжими, как будто опаленными бровями покраснели, на ребристых скулах торчит щетина, серая от пыли и жесткая, как проволока. . . Не высыпается, думает Роднон, или опять причащается? Вечно небритый, насупленный, неопрятный.

Он опустил с тех пор, как напрочь рассорился с Иваном и прогнал его со двора.

Неожиданно исчезла Олена, зато как будто восстал из мертвых Евдоким, ее отец, которого все эти годы считали пропавшим без вести; село еще и опомниться не успело, вдруг еще одна новость: Суфлеров Иван привез из Житников невесту.

«Как раз из коровника верталась, — рассказывала Роднону мать. — Вдруг глядь — под кладбищем, в канаве, кто-то лежит. Ну, не лежит, а на карачках стоит. Подхожу поближе — дядько Лаврин. Остановилась над ним и ласково так спрашиваю: «А куда это вы, Лаврин Роднонович, идете?» — «Ой, Варька, голубка моя, — стонет дядько, — помоги встать, бо што-то меня пошатывает. Только выпрямлюсь, а оно опять гнет». Ну, подняла его, проводила домой. Умыла в бочке с дождевой водой, завожу в хату. А там уже сидят за столом Иван и дивчина или молодница. Иван и говорит: «Вот, тато, знакомьтесь — моя жена Леся. В Житниках работает, в Госбанке». Ну, уже и меня просят к столу. До третьей чарки дядько Лаврин угождал невесточке, допытывался: «А кто же, детка, твой тато-мама, на какой службе?», загадывал и загадки

разные, пел «Гречанников», а потом и расходился: «Эт-то как же понимать надо — «моя жена»? А свадьба где? А-а, вечеринку справили!.. А начхать мне на вашу вечеринку с бугра Заманишиного! Сам хочу свадьбу справить! Да такую, чтоб пыль столбом аж до небес, чтоб аж у Житниках видели, видели и говорили: «Лаврин Земледух старшего сына женит!» О! Может, я для этого только и живу... А ты, пшено, — «не надо свадьбы!» А как свадьбы не надо, то и вас не надо. Выметайтесь с хаты ко всем чертям, пока я не дуже расходился, бо как расхожусь совсем, то вам в дверях тесно станет!..» Ну, та Леся — в слезы, Иван свою молодницу за руку да на мотоцикл — только дым. А дядько Лаврин выбежал к воротам, кричит вслед: «Знать вас не знаю! Чтоб вашей ноги на моем подворье не было!»

Не оттого ли и опустился совсем дядько Лаврин, что Иван не оправдал его надежд?..

— Так расскажите, как они оборачиваются, дела...

— Много, сынок, рассказывать, мало слушать. Дай закурить твоих. — Несколько раз затянувшись, продолжает: — Дела оборачиваются со скрипом, как немазаное колесо. — Придвигает к себе счеты. — Кто в лес, — шелкает косточкой, — кто по дрова, — шелкает другой. — Вот такие дела...

— Что-то не пойму вашего эзоповского языка.

— Какого языка? — шурит глаз дядько Лаврин. — Говорю, как оно есть. Это ж обошел всю околицу, закрепленную за мной на тогдашнем заседании правления, от хаты к хате прошкандыбал, говорю: гайда, гвардия, на работу, а они уперлись — и крышка.

— Не идут, значит?

— Нет, бегут, аж падают! — Дядько Лаврин усаживается на стуле поудобнее, упирается кулаком в бок. Родионово спокойствие начинает его раздражать. Вытаращив глаза, дядько взрывается: — Только что от Кифора Грузда. Говорю ему: «Кифор, забудь то, что было, становись до колхозной работы, сейчас — к сеялкам, а там будешь хоть стельмахом... Иди на селяки к своему Максиму... Были когда-то трудные времена, обижали тебя, теперь это не повторится. Старому возврата нету. Настают другие времена». А он мне, знаешь, что отпаял на это? «Все вы, в роги мать, одного поля ягода... Весной — золотые горы, а осенью — дулю с маком. Так лучше, па-

ринь, ныне синица в руках, чем журавль в небе». И Грузд не один такой... Вот я и говорю: кто в лес, кто по дрова. А ты сразу — козоповский язык.

— Да вы не обижайтесь, дядько Лаврин. Эзоп — это такой писатель. В Греции жил. Еще до нашей эры. Басни сочинял.

— А я разве что? — дядько Лаврин сбивает картуз на самый затылок. — Я вот завернул к тебе посоветоваться, как быть.

— А сами что предлагаете?

— Что я могу предложить? Как говорится, клин клином вышибают... Огороды им пообрезать, чтоб не было за что держаться. Чего ты скалишься? Что-нибудь криво говорю?

— Да нет, говорите прямо, думаете криво.

— Хх-е, от тебе никак не угодишь!..

— А вы мне и не годите. Здесь не обо мне речь идет. Вот вы обошли всю околицу, ходили от хаты до хаты и, говорите, все напрасно. А почему — не задумывались? Почему они, как вы говорите, уперлись, не идут в колхоз?

— Что ж тут думать. Перестали верить — вот и вся закавыка.

— Правильно, перестали верить обещаниям. А мы опять их теми же завтраками кормим: «Трудные времена прошли, старому возврата нет». А потом, если агитация не помогает, — «огороды им пообрезать, чтоб не было за что держаться». А задание перед вами поставили вполне конкретное: обстоятельно выяснить, что у кого болит, какая у кого беда и можно ли как-то помочь каждому — помочь материально: вспахать огород, хату подправить. Так мы договаривались на правлении или нет? Так. — Помолчав, Родион спрашивает: — Это где ж, на Гремучем, что ли, Куте самые лучшие мастеровые люди живут? Грузд, Неборенчик, Чуприна, Керуй...

— Еще бы, на селе ни одной хаты без них не ставят. А при коллективизации строили магазин, конюшню, коровник — видишь, стоят и будут стоять до судного дня...

— Ну вот, — улыбается Родион, — сами на дорогу выходите. Нам без таких людей не обойтись. Принимаемся за строительство. Прежде всего — детские ясли поставим... Именно так: ясли! С них ведь начинаются и большой хлеб, и большое молоко, и большое мясо. Взгляните-ка вот на эти рисунки. Угадайте, что это такое?

Дядько Лаврин склоняется к столу, к белым листкам, которые Родион передвигает от себя к нему.

— Так вроде качели, а это — ракеты, а это — не знаю...

— В Винницу ездил за «газиком», пошел в парк Козницкого, где детишки развлекаются, вот это все и перерисовал — качели, карусели, ракеты, грибки, горки, песочницы. Теперь думаю: кто из наших плотников мог бы все это сделать, чтоб и наши дети могли развлекаться в колхозных яслях?

— Да кто ж? И Грузд смог бы, и Неборенчик, и Чуприна, и Керуй. Только покажи им, они и не такое смастерят.

— Выходит, незачем нам искать где-то всяких там шабашников, переплачивать им? Свои мастера есть.

— А то нет! Они еще и молодых научат...

— Вот и договорились: завтра идем на ваш Кут вместе... А теперь такое, Лаврин Родионович. Сначала закурим. Прошу.

Дядько Лаврин вытаскивает из пачки сигарету, руки у него дрожат. От «причастия», думает Родион, пристально разглядывая дядьку Лаврина.

— А теперь, дядько Лаврин, такое: пили? Только честно.

— Трошки причастился... Ты знаешь, сынок...

— Никаких оправданий!.. Сейчас передо мной не дядько Лаврин, а бригадир комплексной бригады, комбриг, как всех вас Тодос Осипович называл. Вы всегда среди людей, всегда у всех на виду. Какой же пример вы подаете как руководитель? Пока что — плохой. Кто вас уважать станет, если вы ежедневно вот так причащаться будете, ходить опухшим, небритым, грязным? Какое моральное право...

— Понимаю, сынок, — перебивает Родиона дядько Лаврин.

— Тем хуже... Вот что, Лаврин Родионович: не возьметесь за ум — дадим по загривку. Так дадим, что аж в ушах зазвенит. Может, сомневайтесь?

— Чего уж там сомневаться. Ты, Корнеевич, дашь. Даже и не посмотришь, что родной дядько.

— Именно потому, что родной, первому и дадим... Подумайте над этим и выбирайте одно из двух: или чарка, или бригадирство... Не думаю, что чарка сильнее вас...

— Сынок... Корнеевич... Крышка... Ты еще побачишь, кто такой дядько Лаврин... Ты еще побачишь, что и дядько Лаврин — земледуховского корня...

Опять — один. Дядьковы неторопливые шаги прозвучали под окнами конторы и затихают в ночной тиши.

Из-за деревьев выплывает полный месяц. Со сладким причмокиванием где-то в кустах сирени свистит какая-то птица. За селом прошумел ночной пассажирский. Далеко под Волчьим лесом мелькнула расплывчатая длинная цепочка огней.

Отчего они так волнуют, думает Родион, так манят за собою, эти расплывчатые огни ночного поезда?.. Манят не огни, манит дорога, ибо отвращает от привычного, будничного, обещает неизведанное. А разве наша жизнь не дорога? Разве завтрашний день — изведанное?

«Каждый начинает по-своему», — сказал дядько Гервасий. Это так, а все же чужой опыт тоже пригождается. Опыт старших, опыт отцов... «Кого мне сейчас очень недостает, так это вас, батя. Так хочется заглянуть в спокойные ваши глаза, обогреться в лучах вашей улыбки. Немного побыли мы с вами вместе: то вы болели, то я — учился, служил... Наверное, так и не успели сказать мне того самого существенного, что говорят отцы взрослым сынам. «Вот так живи, сынок: это — уважай, с этим — борись». А все же взял я от вас то, что всегда поддерживает меня. Часто вспоминаю послевоенные годы. Семья наша садится за ужин. Мать ставит на стол крапивный борщ, заправленный молоком, вы режете ножом черный, как сама святая земля (жито с желудями молоди), хлеб... Кто-то из нас тяжело вздыхает: «Вот бы скибочку белого, пусть хоть тонюсенькую». — «Будет, дети! Будет на этом столе белый хлеб!» — «Когда, тато?» — «Настанет время — будет. Верьте моему слову». Скажете так убежденно, что нам уже кажется, будто мы и вправду попробовали белого хлеба.

Эту вашу, батя, веру в лучшие времена, не растраченную на долгих и нелегких дорогах, не приглушенную самой черной бедой, светлую и чистую веру в жизнь и вынес я из отцовской науки, заповеданной детям. Когда случается, бессильно опускаются руки, когда взор туманит темная пелена, я говорю себе: «А отец ведь верил».

Отцы для детей не только наставники, они и судьи. «Так ли я поступаю, тато? — хочется спросить. — Так ли

теперь обошелся с дядьком Лаврином?» И в ответ хочется услышать утвердительное — «Да!», возражающее — «Нет!», рассудительно-мудрое — «Надо вот так!» Трудно еще полагаться на собственный опыт, на собственный разум. Прислушиваюсь к людям. А выбирать все равно мне. Из многих решений одно — то, что правильно. За умением выбрать — вера людей в своего руководителя.

Очень хочу, тато, чтобы мне поверили. Поверили в будущее наших Окон, по крайней мере такое, каким его вижу я сам. Наша «Красная нива» — крепкое хозяйство. На полях — новая мощная техника. Ферм как таковых — свинарников, коровников — нет, есть фабрики молока и мяса. Белые халаты, кнопки. Высокие заработки, выходные, отпуска, путевки к морю, в горы. А наши Окна — поселок городского типа. Асфальт, водопровод, газ. Детский сад, средняя и музыкальная школы, Дворец культуры, больница, бытовой комбинат, универмаг, гостиница, музей. Посреди села, на самом высоком холме, мемориал в память погибших воинов-односельчан.

Множество, тато, планов, замыслов. Каждое поколение, возмужав, стремится пойти дальше, сделать больше. Мне думается, оно пойдет дальше и сделает больше при одном условии: если будет заботиться о своей смене, беречь память отцов, если память эта будет звать их и вести дальше, будто знамя.

А пока что мы сеем, татко. Сеем и пересеем то, что вымерзло...

4

Покряхтывая, старый Грузд разгибает сомлевшую потную спину, долгим задумчивым взглядом окидывает огород.

«Ну и наработал — курам на смех. А солнце уже высоко-высоко. И в пояснице ломит, ото ломит, ото ноет, будто перед дождем. Когда ж ты, паринь, управишься со своим огородом? Вот так каждой весной. С утра до ночи — канитель. Ничего не вижу, только черные комья да блестящее лезвие заступа. Раньше хоть помоложе был, кое-какую спленку имел. Вышла сила, как пшено высыпалось из дырявого корца. Вышла сплюшка и по свету рассеялась.

То хоть на коня разжился было. Думалось, будет чем хоть огород вспахать. Эге, как пришло, так и ушло. Ко всему еще и ногу искалечил. Весь век у тебя, паринь, счастье выпархивает из рук, как воробей. Только расставил руки, чтобы рассмотреть получше, а он фыр-рр...

А в колхоз за конями не пойдешь. А хоть пойдешь, так не дадут. Ты, спросят, на работу ходишь? Да нет, не хожу. Когда-то ходил, а теперь — не хочу. Так какие могут быть кони?.. Сын же мой работает на тракторе, Максим. Сын сыном, а ты что дома сидишь? Сидишь — так нет тебе коней. Ото, паринь, и весь разговор. И никто ж не спросит, чего не хожу. Никто!

Оно, если приглядеться, поворачивает, пожалуй, к лучшему. Главное то, что многим посбивали спесь. Тодос Иосипович, говорят, перед партийцами на колени вставал. Не тот уже Тодосик. Вот и со мной на улице здороваются. Ага, повернули тебе рожу к людям, ссадили с молоковоза, направили на дорожку, по которой все мы ходим... Ну так будь уважительным!

М-да... Если присмотреться, так поворачивает к лучшему. То, бывало, только весна, так и обрезают огороды, а тут и пахарей на подмогу присылают. Вон и Максим рассказывает: собирали их, механизаторов, на стане, новый голова перед ними выступал, нотаций не читал, по-людски, говорит, беседовал. Берутся, слышно, ясли строить. Наконец-то!

А между тем кто его знает, как оно дальше повернется? То еще, паринь, ничего не значит, что головою теперь сынок Корнеев. Может и Радивон не знать, что у крестьянина на сердце и за душой. Новая метла по-новому и метет. Ну, поживем — увидим!»

Ничипор плюет на ладони, снова принимается копать. Над грядками устало качается длинная тень. От Гаражинской горы слышится тарахтенье воза. Грузд поднимает голову и насупливается. Подвода подъезжает к его воротам. Лошадьми правит Лаврин Земледух. А рядом — Родион. В задке воза — плуг. Сторож уже сатанеет на крыше конуры, прыгает на плетень, рвет цепь.

Про волка речь, а он навстречь. Да еще их, в роги мать, аж два. Вот и досиделся. Этот тоже приехал огород урезать. Что ж теперь будет?

— Гей, паринь! — горланит с воза Лаврин. — Открой-вай-ка ворота! Гостей встречай!

Добрые гости, да в середу попались. Грузд наполняется холодной решимостью. Не дам, в роги мать! Пусть хоть и плугом по мне, а не дам! Нет у них и права такого: сын — в колхозе, а я — фронтовик. Сжал в руках держак заступа, так что суставы побелели, идет к воротам туча тучей. Подходит и ложится грудью на ворота, смотрит исподлобья.

— Да открывай! — нетерпеливо горланит Лаврин. — И волкодава своего привяжи — кони пугаются. Ну, чего выставился?

— Завертай, парнинь, назад, пока... в роги мать!

— Ты что — шкуты сегодня хильнул? Тут к тебе гости, а ты сразу — в роги мать!

— Каков «день добрый», такое и «доброе здоровьечка».

— Вижу, тут нас не ждали. — Роднон легко спрыгивает с воза. Подходит к воротам, подает Грузду руку. — Хоть вы и не рады гостям, а между тем — день добрый вам, Ничипор Иванович. Ворота, в конце концов, можно и не открывать, воз на улице оставим.

— А я говорю: завертайте, парняги, оглобли, бо... бо я, в роги мать, не знаю, что будет!

Роднон высоко вскидывает густые брови, улыбается.

— Уж не думаете вы, Ничипор Иванович, что мы приехали огород урезать? А?

— А вы разве что?.. — Грузд смотрит исподлобья, недоверчиво.

— А мы тебе на помощь прибыли! — горланит Лаврин. — Пахать! Понял ты, турок загранишный?..

Глава вторая. КАНАВА

1

Узнав его издали, обрадованно подумала: вот хорошо!.. бежала к нему домой, а встретила на улице...

В неизменной гимнастерке с оплесневевшими медными пуговицами, Грузд не спеша катил на сыповом велосипеде от Буга. Педаль накручивал одной ногой — правой, а левая, искалеченная, неподвижно, точно деревяшка, обутая в галошу, свисала с седла. На руле болтался са-

док с карасями, за багажником упруго покачивались лещиновые удочки.

Ниципор Грузд не только сельский музыкант, без которого не обходятся ни одна свадьба, ни одни похороны, но и неизменный гробокопатель. Бывает, услышит, что где-то помер кто-то, без напоминаний зовет деда Знатька, берут оба заступы и отправляются на кладбище. Глядишь, до обеда и выкопают яму. Мерки Грузд не снимает, копает на глазок и никогда не ошибается. «Служил в дальнобойной артиллерии, так прицел у меня — в роги маты!» На поминках, «шарахнув по маненькой» (хрустальную, без ножки, чарку-наперсток, выкопанную как-то на кладбище, всегда носит с собой, как солдат — ложку), заводит песню:

А ни вей-те-ся, чайоч-ки, г-над мо-о-о-рем,
Ни-где-е вам, бедняжечкам, не сесть,
А ля-ти-те в рад-ной да край да-льо-о-о-кий,
Ни-ся-те пи-чаль-ную весть. . .

Те, что ревностно блюдут поминальный обычай, принимают его зашикивать: не на свадьбе, мол, а Грузд, расчувствовавшись до слез собственным пением, обнимает левой рукой деда Знатька, словно однополчанна-побратима, а правой успокаивает блюстителей поминального обычая:

— Стоп, парниш, цыц!.. Чего ты рот мне затыкаешь?.. Покойник — пусть ему земля пухом.. Царства небесного нету, правда ж, дедо? — и сам не дурак был выпить при okazji да хорошую песню завести. . . Помню, как-то однажды насмыкал я карасиков, может, с полсотни, по дороге завернул сюда, к вам, хорошенько зажарил на сковородке, правда, с чешуей: не хотел долго возиться — первач мог прокиснуть: ша-рах-нули по маненькой да как за-тя-нем нашенскую! — и, покрепче обняв деда Знатька за плечи, поет дальше:

Гой там, за лес-ком, г-да за ле-со-о-чком,
Наш полк, о-кру-жон-ный врагом,
Сна-ра-а-ды-ы у нас г-да на исхо-о-де,
Пат-ро-нов сов-сем уже нет. . .

— Остановись-ка, Кифор, — зашла наперед Христя, рукой держась за руль велосипеда. — Скажу тебе что-то. Грузд притормозил, неуклюже ссунулся с седла, при-

пал на искалеченную ногу и словно бы поклонился Христе.

— Не рыбки ли, часом, надо? — спросил, отводя глаза.

— Не до рыбки мне, Кифор... Слышал небось: у меня другие заботы...

— Кто-то вроде и говорил. — Грузд, не глядя на Христа, принялся сворачивать сигарку. — Только я не очень прислушивался... Не дед ли Знатько говорил?..

— Так это.. хочу просить тебя..

— Ну да, конечно же, Знатько... Нет, брешу, не Знатько. А кто ж?.. Видишь, не припомню... Шкнироз!..

— ...не пошел бы копать могилу?

— Оно и не удивительно — как говорится, не на ярмарку едем, а с ярмарки... Да-а, лета. — Грузд чиркнул спичкой, сложил ладони ковшиком, наклонился над огоньком. — Бывает, соберусь на работу, надену шапку, а после ищу по хате, сам с собой поскаandalю...

— Так что ж ты скажешь, Иванович, га?

— А что я тебе, парни, скажу? — закашлялся Грузд. — Знаю, что надо бы выкопать, а пойти — не могу...

— Вы ж когда-то дружили, Кифор...

Грузд, потеряв на миг равновесие, припал на искалеченную ногу, небритые скулы покрылись красными пятнами, бескровные губы сжались в тонкую упрямую полоску, светлые, словно подкрашенная синькой известка, глаза стали чужими и жесткими. Христя даже съежилась, почувствовала себя одинокой, беззащитной, никому не нужной.

— Мои друзья-товарищи знаешь где?.. О тамо! — указал прокуренным пальцем на восток и на запад. — На Днепре, на Волге, на Балатоне, на Эльбе... А кто, к примеру Корней Земледух, — тут, на нашем кладбище... Через это и не могу... Так что, парни, извини...

Угрюмо отвернувшись, Грузд оседлал велосипед и покати́л дальше. Христя смотрела ему всле́д, и фигура его расплывалась перед глазами смутным пятном... Потом повернулась и пошла домой, глядя себе под ноги.

Дед Знатько, думала по дороге. Единственная надежда.

Однако миновала его ворота, лишь посмотрела украд-

кой, дома ли, и безнадежно вздохнула, вспомнив о том, что было.

На следующий день после того, как его выпустили, сказав: «Ты сам себе, Заворитний, вынес приговор!», и он приплелся из Житников домой — двадцать пять километров пешком — осунувшийся, с мелко дрожащими руками, увиливающим взглядом, дед Знатько пришлепал к ним рано утром с неизменным кнутом в руках, шелкнул им по полу вместо обычного приветствия и, шуря на Евдокима вылинявшие глаза, спросил:

— Молоток и зубило, знать, у тебя найдутся?

— Сейчас, Демьян Захарович, — засуетился Евдоким, — сейчас поищу... Ага, вот они: и молоток, и зубило...

Дед Знатько брезгливо отстранил его мелко дрожащие руки, снова шелкнул кнутом:

— Пошли со мной...

Христя забеспокоилась, не могла найти для себя ни места, ни занятия, в конце концов не выдержала — побежала следом, держась на расстоянии, но не выпуская их из виду.

Они подошли к старому памятнику погибшим односельчанам, и дед Знатько сдержанно, однако гневно кивнул на одну из восьми плит, именно на ту, где были высечены фамилии шестерых его сыновей, а над ними — его, Евдокимова, фамилия, и что-то приказал. Евдоким сразу же сник, ссутулился, приблизился к плите вплотную и принялся ее долбить зубилом.

Христя догадалась: дед Знатько заставил Евдокима стереть на той плите фамилию — Заворитний...

Вот почему она целый день колебалась, идти к деду Знатьку или нет.

Однако иного выхода не было. Кроме того, она вдруг подумала: а может, дед Знатько на этом и успокоился?..

Пришла к нему поздним вечером.

Дед вдвоем с полоумным внуком Гориком лежали на деревянной кровати, накрывшись рядом и фуфайками. Христя растерянно остановилась посреди хаты, сказала едва внятно: «Добрый вечер». Торопливо развязала узелок, подала Горику кусок пирога. Горик прислонился спиной к ветхому коврику с двумя белыми лебедями, стал жадно есть, подставляя под крохи широкую, будто валец, ладонь и посматривал на Христю карими увлажненными глазами.

Стоять над ними было неловко, присела на лавку у забранного решеткой окна — стало еще сумрачнее, повела по хате сочувственным взглядом.

При бабке Соломин здесь было уютно и весело. На печном дымоходе кукарекали рисованные петушки; на рушниках, которыми занавешивались фотокарточки и образы, на оконных шторках цвели васильки и крученые панычи; на сундуке мягко белели накидки; от порога к столу стлались полосатые коврики... Не стало бабки Соломин, не стало уюта и веселья. На душе такое ощущение, будто в эту хату вселились после пожара или потопа. Было у деда семеро сынов, а на склоне лет остался в хате с помешанным внуком, которому уже за шестьдесят, а его до сих пор и стар и млад Гориком кличут, вместо того чтоб величать Игорем Ивановичем.

— А что, — истребив пирог, подал голос Горик, — нету уже твоего Явдошки? Не вареников, часом, с горобцами объелся? А ты зачем варила? Га-га-га!..

Дед Знатько наконец отбросил от себя фуфайку, потом рядом, сел на кровати прямо, свесив вниз босые ноги, положил тяжелые руки на колени.

— Вот видите, Демьян Захарович, — вздохнула Христя, — опять беда меня к вам пригнала... .

Дед Знатько поднял белую кудлатую голову, уставился на Христю. Смотрел, будто силился вспомнить, где же он видел ее, эту женщину, раньше, потом припомнил — и потерял к ней всякий интерес, ушел взглядом за окно, долго слушал, как на улице постанывает да подвывает ветер, уронил куда-то в пустоту: .

— Ач, как черноморец шурубурит!.. Дождя, знать, нарвет... .

Христя уже подумала было, что дед так и не ответит ей, а услышав глуховатый, спокойный голос, даже встрепенулась. И сразу же поймала себя на том, что в эту осиротевшую хату она никогда не навдывалась по доброй воле — вымести мусор, повытряхивать коврик, подмазать стены, выстирать бельишко; всегда какая-нибудь нужда приводила, как будто дед Знатько для того только и живет, чтобы кому-то помогать в трудную минуту. Неспokoйно заерзала на твердой лавке, мысленно клялась: «Еще хоть раз послушайтесь, дело, еще последний разок помогите мне, и я буду прибегать к вам

каждое утро, я вам буду варить, белье стирать — все, что скажете, сделаю...»

— Когда-то вы, Демьян Захарович, — спасибо вам большое! — и тата, и маму моих хоронили... Да и так сколько помогали... Если б не вы, так и не знаю...

Слушая Христа, дед Знатько убрал руки с колен, переложил на сундук, придвинутый вплотную к деревянной кровати, задумчиво разглядывал, поворачивая во все стороны, покашливал.

Христе на мгновение почудилось, будто дед читает по рукам своим, сколько же за долгий свой век перекопал да перекидал он земли, перерубил да переносил дров, переворочал навоза, соломы, сена — сколько добра сделал людям и ей, Христе Заворитней, тоже. Помощник он безотказный и на магарыч не падкий. Не одну зиму, в морозы, в метель, ездил для нее за дровами в Волчий лес, не одну весну чистил ей заилвшийся колодец, не одну осень перешивал ей хату, сараюшку. Сам же и наведывался, спрашивал, жива ли, здорова, не требуется ли какой-нибудь помощи. Наведывался, как и покойный Корней Земледух, даже не подозревая, что хозяин-то — жив, только прячется от глаз людских. Теперь, вероятно, жалеет.

— Так что же вы мне, Демьян Захарович, скажете?.. Надеяться на вас или как?

Дед Знатько сложил руки на груди, зажал в горсти белую патриаршую бороду, перебирал пряди, словно четки, тихо раскачивался на кровати — казалось, молча плакал.

— Молчите. Так я... пойду...

Христя поднялась с лавки, завязала темный платок, посмотрела в угол, где рядом с ухватом стоял дедов кнут, перевела взгляд на деда, ждала: может, скажет что-нибудь, не онемел же он, не оглох.

Дед Знатько встал с кровати, нетерпеливо прокашлялся, будто молвил: что ж ты стоишь?.. Собралась идти, так иди...

Всхлипывая, Христя шла впереди, а дед Знатько шаркал сзади. Проводил ее до самой калитки, она вышла на улицу, он остался во дворе и лишь после этого сказал:

— Может, соседка, я и пошел бы — сыны не пускают...

К другим мужчинам, моложе деда Знатька, ровесникам Евдокима, Христа просто не решалась идти. Каждый непременно спросил бы: «А почему дед Знатько с Груздом не идут?»

Ходила на почту телеграмму Олене отбить, попросила Кирилла, чтобы он позвонил в Пороги, пусть из сельсовета Евдокимовым родственникам сообщат — двум братьям и сестре. Надеялась, что приедут. Не приехали. Они еще тогда, как Евдоким нашелся, передавали: «Знать не знаем такого брата. Где он все эти годы был, когда мы отца и мать, немощных, обихаживали, потом и похоронили?»

Яму копать теперь приходится ей одной.

Сначала Христа подалась искать местечко в тот угол, где лежат ее отец и мать. Остановилась между могилками — они показались ей такими маленькими, почти детскими, что растерянно оглянулась вокруг, не ошнблась ли. Да нет же, именно сюда, к этим двум запавшим холмикам, приходит она каждое лето на троицу, когда зацветает белая акация и от ее сладкого будоражащего запаха кружится голова и почему-то вспоминаются годы молодые, шумные свадьбы, приходит и раскладывает на могильном барвинке крашенки, медовые пряники, краснобокне прошлогодние яблоки, отдающие погребом, угощает всех, кто встретится. Стоя между могилками, прикидывала и так, и сяк, но для ямы места не хватало. Искупавшись в росе, порвавши юбку о кусты шиповника, обошла все кладбище и лишь тогда присмотрела эту сравнительно просторную полянку, где хоронят большей частью покойников с их улицы.

Выползла под вишней мокрый, холодный барвинок, чтоб можно было обозначить межу, барвинок упруго тянулся за руками, словно чьи-то жилы, не выпалывался.

Потом стала копать. Первых два штыка прошла легко, под лезвием заступа смачно похрустывали корешки, отсыревшая земля резалась жирными ломтями. А вот достигла слоя глины, сухой и окаменевшей, будто на том току, где Катигорошек бился с трехглавым змеем, копать стало трудно. Все чаще отдыхает.

Отдыхая, задумчиво смотрит по сторонам.

В последнее время, отмечает для себя, на могилах начали ставить железные оградки. Поставили и Земле-

духи — оградку и обелиск. Оградку выкрасили в серебристый цвет, обелиск — в красный. Сочно зеленеет барвинок, золотисто искрится вокруг песочек, а на самой могилке все лето цветут чернобривы и маки. Чернобривы и маки Варька сеет каждой весной, а калину в головах посадила в годовщину Корнеевой смерти. Калина раскустилась, по осени красные гроздья свисают на обелиск. На самом обелиске в овале — фотокарточка, ниже — надпись: «Земледух Корней Родионович. 1903—1958. Ты всегда с нами, отец».

Рассматривая обелиск, Христя вспоминает Корнеевы похороны — многолюдные, торжественные, с духовым оркестром и красным знаменем. . .

Не очень-то и отдохнешь. Мелкий дождь цедится и цедится, будто там, на небе, вдруг заплакали все вдовы. Фуфайка на плечах промокла до последней нитки, оставишься дух перевести — холодный ветрище прохватывает насквозь. Копать трудно, а под кирзачами земля ползет.

Вблизи из бузиновых кустов ржаво-скрипуче застрекотала сорока, хищно уставившись на Христю.

Чего, шелудивая, чиркаешь? Тебя еще только и не хватало. Кыш отсюда, не то швырну лопатой!

Тут — Корней Земледух, тут — Знатьков Иван, там Юстим Гаман, все в одном ряду лежат. Знатька Ивана и Юстима Гамана тоже достойно похоронили — с музыкой, людей было много. . . Все трое — от ран. . . А сколько по госпиталям да по больницам, бедняги, натерпелись! Особенно Корней Родионович. . .

Откуда-то на сроку падает стая ворон, гонят прочь с кладбища, выдергивая перья.

Христя вновь налегает на заступ.

Выкопаю, чтоб можно было спрятаться, так сама и лягу. Зачем мне такая жизнь? На что мне такая напасть, такой позор? У людей как у людей: кто-то и отдаст богу душу, а таких хлопот не знают. Сойдутся свои, сойдутся и чужие — и яму выроют, и из хаты вынесут, и поплачут с тобой над могилой, и на поминках покойника добрым словом помянут. А тут — придет ли кто? Может, даже родная дочь не захочет приехать. . . Конечно же, не захочет, иначе бы не убежала из села от позора накануне свадьбы с Родионом. . . Если не придут его родичи из Порогов, так хоть сама на кладбище волоком тащи.

Лежишь там, в пустой хате, на лавке, глухая баба Начинка только и сидит над тобой, что-то беззубо шамкает, а я тут, под холодным надоедливym дождем, яму тебе копаю. Дожился, все отвернулись. Зачем же ж было и жить? Лучше б не вернулся совсем. Написали б твое имя и на том, новом, памятнике, что Родион надумал посреди села на самом высоком горбе, чтоб отовсюду было видно, поставить. Каждый год в мае, на День Победы, приходила б к тебе, цветы приносила б... Конечно, горько плакала б, как другие женщины плачут, вспоминая тот день, когда на войну вас провожали. Зато никто пальцем не тыкал бы, головы не отворачивал, за спиной не перешептывался.

Смотри, как славно этой весной поздравляли да поминали всех, кто воевал, кто не вернулся. Такого у нас еще и не видывали, разве что в сорок пятом, как война закончилась. Раньше, бывало, детки из школы придут к братской могиле с барабанчиком, цветочки положат — и все. А тут — все село собралось. Ты не ходил, как же мог пойти? Этот праздник — не для тебя. А я, хоть и стояла у всех за спинами, а чисто все видела и чисто все слышала. Господи, как славно было! Столько венков понесли! Музыка — Ничипор Грузд со своими хлопцами — играет, а венки все несут да несут. А после — митинг. Многие выступали. Первым — Родион Корнеев. Вспомнил тех, кто погиб, свободу нашу отстаивая, спасибо фронтовикам сказал за то, что они и на мирном фронте — впереди. Путево, по-людски говорил. А под конец сказал, что правление колхоза выносит на общее собрание предложение: соорудить в селе новый памятник погибшим воинам-землякам, отлить на нем из металла все четыреста имен.

Четыреста... Четыреста их не вернулось домой. Теперь имена не на камennых — на бронзовых плитах выбьют, чтоб уже — на веки вечные, чтоб и будущие поколения знали. Пусть бы среди них было и твое имя. Внуки находили бы его, про деда своего расспрашивали, и никто не произносил бы нашей фамилии с осуждением и презрением. Или пусть бы ты калекой вернулся — без рук, без ног, баюкала б тебя, как маленького ребенка, а все ж было б легче.

Уставши, Христа вновь отдыхает. Прячет намокшие волосы под платок, утирает с лица дождевые капли. Тя-

жело опершись на держак лопаты, думает о своей беде и спрашивает сама у себя, когда же она свалилась на нее, эта беда? Может, еще в ту далекую августовскую ночь накануне спаса, душную и тревожную, с тоскливым собачьим лаем, гнетущим гулом немецких самолетов (они все летели и летели на Умань), запахом малины, хотя малина давно перевелась, — в ту самую ночь, когда он нежданно-негаданно вернулся домой, обросший, пропахший речными плавнями, лесными чащами, соломой, молодой кукурузой, — не мужик, а так, одна тень, точнее, призрак. Вернулся ночью и на долгие годы ушел в ночь, ушел от солнца, от людей, жил точно кажан — летучая мышь... А может, в тот поздний осенний вечер, незадолго до Олениной свадьбы, когда его все-таки обнаружили и Олена, чувствуя, что не переживет этого позора, решила уехать из села, а она, Христя, потрясенная случившимся и обезумев от безысходного горя, набросилась на него с качалкой в руках и закричала: «Марш в сельсовет! Если сам по доброй воле не пойдешь, палкой, вот этой качалкой погоню!..»

Не стало в хате Олены, не стало его — сидела бы в потемках, пока не окаменела бы, пластом лежала бы в кровати, пока не заоченела, однако наступало утро, и надо было выходить на работу: сначала бежать на скотный двор, к свиньям, потом — на свеклу, туда даже всех служащих мобилизовали.

Как бы рано ни встала, а улица, кажется, только и ждет ее появления, с ночи еще ждет, чтоб забросать камнями, плюнуть в глаза. Однако, как ни странно, ни камнями не забрасывают, ни в глаза не плюют. Берут ли воду, выгоняют ли со двора скотину либо птицу, идут ли навстречу, заметят — отвернутся, умолкнут, а потом, чувствует это даже спиной, долго смотрят ей вслед. На работе — то же самое молчание, тяжелое, гнетущее, будто предгрозье, те же взгляды, от которых некуда деться.

Молчали, пока он не вернулся. Выпустили его где-то через неделю. «Ты сам себе, Заворитний, вынес приговор, — сказали в Житниках. — Возвращайся с богом домой — снова под бабью юбку...» Лучше бы не выпускали. Лучше бы застали подальше от людских глаз — на шахты, в тайгу, пусть свою вину искупает. Тут, в селе, без него, может, пошушукались бы немного, перемыли бы

ей косточки, и все улеглось бы. Вернулся — и языки у всех поразвязывались.

Два дня спустя после того, как дед Знатько заставил Евдокима срубить зубилом свою фамилию на памятнике погибшим односельчанам, такого наслушалась, что лучше бы ей на месте провалиться сквозь землю.

На свекле это было. Наносили после свеклоуборочного комбайна, набросали кучу, сели в кружок чистить — Варька, Антося, Аглая, Гаманка. Начала Гаманка. Тюкала ножом по ботве, тюкала, ругалась, после, лоя Христин взгляд, сказала:

— Это, девоньки, так: нет в хате мужика, так некому и нож наточить. Тупой, хоть по лезвию босиком ходи. А у тебя, Заворитня, вижу — точно бритва. Ну как же! Есть кому точить. Хотела было прибежать поутру, да боялась разбудить — после разлуки, хоть и недолгой, обниматься так сладко!

Гаманка начинала издали, словно бы подшучивая, однако Христя уже знала, куда повернет ее острый язык. При других обстоятельствах нашла бы, что ответить этой самой отъявленной сельской сплетнице, этой ведьме, что не только молоко отбирает у соседских коров. А сейчас должна была молчать. Не посмела на Гаманку и глаз поднять, обреченно ждала, чем кольнет еще, чем досадит, не зря ведь затеяла этот разговор.

— Мы уж думали себе, — продолжала Гаманка, — ты у нас — святая! За всех говорить не берусь, скажу за себя. Сколько ж это я во вдовах хожу? Юстима схоронила в пятьдесят втором, а ныне... Ого-го-го!.. А каждый год — что век, скажи, Варька. Кошек на ночь в хату пускаю, лишь бы одной не быть, лишь бы не онеметь. Не раз, бывало, думала: приму какого-нибудь мужика, пусть и потрепанного, а то сама перейду к нему, будет хоть с кем словом перемолвиться, иначе — с ума сойду. Сватов тоже засылали. Вот и Ницпор Грузд как-то говорил: «Может, сойдемся да и будем вместе горе мыкать?» Отчего бы и не сойтись? Эге, отказала. Еще и ни за что ни про что скаженным обозвала... Потому что думать думаю, а как дойдет до этого, так говорю себе: «Тебе что, старуха, невтерпех без мужика? А как же Христя, бедяга, терпит? Я хоть после войны немножко покохалась со своим Юстином, а она же, сердечная, еще

как в сорок первом проводила своего Евдокима, так до сих пор ждет. А еще ж и не старуха, и красивая, будто намалеванная. Она — может, а я — нет? Значит, для нее Евдокимова память дорога, а для меня Юстимова — ничто?..» Так вот подумаю себе да и выставяю сватов за три порога. А на деле-то вон как выходит!.. Выходит, ты всем нам все эти годы туману в глаза напускала? Вылеживалась, жировала со своим, а перед нами вдовой-праведницей прикидывалась.

— Не завидуйте ей, тетка Фотина, — сказала Аглая. — Нечему завидовать... Разве ж она с мужиком обнималась? Со страхом в штанах!..

Никто даже не рассмеялся. Аглая и не собиралась шутить — сказала то, что, видимо, каждая из них передумала за эти дни.

Христя уронила нож, упала на кучу ботвы, заскулила: «Какне же вы все жестокне, бессердечные! Готовы меня со свету сжить. А что я вам плохого сделала? В чем виновата перед вами? В чем?..»

— Ты, девонька, не скули! — строго сказала Гаманка. — Вытри слезы и молчи. Сердца наши не размягчай. Хотя и чуткие они у нас, однако, бывает, что и каменеют... Если и есть сейчас у нас жалость в сердцах, то к Олене, дочке твоей, которая не вынесла всего этого, сбежала...

Одна только Варька ничего не сказала, молчала, время от времени тяжело вздыхала. Христя украдкой поглядывала на нее и думала: почему же она отмачивается?.. Сочувствует ей, своей несостоявшейся свахе, понимая, как тяжело у нее на душе, или же держит свои чувства в узде до поры до времени?.. Варька, она добрая, чуть ли не самая добрая во всем селе, но она же и справедливая, все по совести делает, как и дед Знатько, Варька не может оставаться безучастной ко всему этому. Настанет время — выскажется и она, Варька Земледухова.

Кажись, она? Ну да, это Варька возвращается со скотного двора. Не идет — бежит. Таков уж характер: на работу — бежит, с работы — бежит. Всю жизнь куда-то торопится, будто наверстывает упущенное когда-то время...

— Копаешь, девонька?

Стоит над нею — высокая, прямая, как тополек (годы ее выбеливают, высушивают, но не гнут к земле), в длинном и тяжелом брезентовом дождевике с поднятым капюшоном (когда-то был Корнеев дождевик, после Корнеевой смерти года два висел в сенцах на гвоздике, будто дождался своего хозяина, а потом, когда Варька поняла, что хозяин не вернется, стала носить сама), в тяжелых кирзачах, с посошком в руке.

— Копаю, как видишь, а что ж делать?.. — Христя жалко сморкается, несмело поглядывает на Варьку, заискивающе спрашивает: — А ты, Милияновна, уже с работы?..

«Я так и думала, Варька, что придешь на помощь. Чувствовала. Знала. Хотя и не просила тебя. У кого ж еще такое доброе сердце?.. Грузд, дед Знатко отказали, а ты — пришла. Сама. Увидела, что копаю, и пришла на помощь. Ты самая человечная во всем нашем селе. Спасибо же тебе, Варька. Никогда этого не забуду...»

Варька взглядом измеряет яму (Христе она уже выше колен), сбивает назад капюшон, рукой утирает мокрое от дождинок лицо, ступает в сторону, к Корнеевой могиле, устало садится на лавочку, смахнув полою воду.

Отдохнет немножко, думает Христя, да и скажет: «А ну-ка, девонька, давай сюда заступ. Докопаю уж, а ты иди в хате хлопочи. Хлопот у тебя сейчас хватает. Сама хоронила Корнея, так знаю...» Отдохни, Варька, отдохни, а я тем временем вот это подберу, начнешь с нового штыка... А может, ты озябла? Так сбегая в хату, сколько ж тут — через шлях и дома, вынесу чекучечку, вместе и согреемся, а?..

— Чуешь? А чего это ты, девонька, присусежилась тут? — посошком указывает Варька на яму.

— Как ты сказала? — теряется Христя.

— Чего, спрашиваю, копаешь тут?

— А где же мне, Милияновна, копать? — Христя все еще не поймет, к чему клонит Варька. — На тех углах, — кивает в глубь кладбища, — уже и курице ступить негде, да и чужие там, а тут — с пашей улицы хоронят. Так оно издавна ведется...

— Ведется-то ведется, а только не для всех.

— Как это — не для всех? Что ты, Варька, тут придумываешь?

— Не кричи, — спокойно отвечает Варька. Помолчав, обводит посощком вокруг себя. — Ты только посмотри, кто тут лежит. Вот мой Корней, вот Иван Знатьков, там — Юстим Гаман, вон там...

— Зачем ты мне показываешь? Я уже и без тебя смотрела.

— Плохо, выходит, смотрела.

— И куда это ты, Варька, гнешь — не разберу?

— Не маленькая — должна разбираться... Кто они, эти хлопцы, что здесь почивают?.. Войны, фронтовики! — голос Варьки зазвенел, завибрировал на высокой ноте, Христя почувствовала, как по ногам будто мурашки забегали, а потом вновь становится ровным. — Они кровь свою пролили за нас с тобой, от ран и сгорели... А ты хочешь среди них своего Явдошку положить? Так они ж поперевертываются там, в могилах своих!..

— Э-э-э, говори, девка! Будто тебе или мне, когда протянем ноги, не все равно будет, кого похоронят рядом с нами?.. Так и им...

— Зло в тебе, соседка, говорит, а не мудрость... А злиться тебе на людей не за что. Себя и виновать... Если мертвым все равно, так мы, живые, — для чего?.. Мне совсем не все равно, кто около моего Корнея Родионовича, которого я дождалась с войны, а на теле его — места живого нет, одни рубцы... дождалась, но... Нет! — кричит Варька в слезах. — Мне совсем не безразлично, Заворитня, кто около моего мужа-воина лежать будет... Тем паче — твой!..

— А мой — что?! Или он полицаем был — нагайкой тебя полосовал? Иль, может, ишейкой немецкою, как поп Смержевский, — старого Красножона, других активистов немцам да румынам продавал? А то, может, власовцем — саблей тебя рубил, под пули ставил?.. Ни первым, ни вторым, ни третьим он не был... Вся его вина в том, что страх в нем сидел... Потому и прятался...

— Дезертир твой Явдоха!.. С поля боя сбежал... А если бы и мой Корней, и Юстим Гаман, и деды Знатьковы сыновья, и все те четыреста хлопцев, что не вернулись, все начисто сбежали, оружие побросав, — кем бы мы с тобой ныне были?.. Страх в нем сидел... Страшно ему было?.. А нашим разве не было страшно?

Но никто, видишь ли, из них с поля боя не драпал. Что-то держало их там. Может, скажешь — что? Молчишь? Так я тебе скажу. Там, на фронтах, они думали про всех нас и пересиливали свой страх. А твой думал только о себе, только свою шкуру и спасал. Прибежал к тебе, а ты и не спросила: а как же товарищи твои? Почему не отправила назад или к партизанам? А потому, что и ты тогда лишь о себе думала. Он — шкуру свою спасал, а ты — плоть свою ублажала... Страх в нем сидел... Из тех, в ком страх сидит, знаешь, кого вылепить можно? И полиция, и ищейку, и власовца, и какого хочешь гада... Нашли б его немцы либо румыны, стал бы прихвостнем их, куда б он девался, шкуру свою спасаая... А ты говоришь... Так что — не копай тут! И конец!..

— Но посмотри ж, Варька, сколько я уже выкопала!.. Что ж мне — назад засыпать?

Варька поднимается с лавки, подходит к яме, размышляет о чем-то, потом решает:

— Засыпать не надо — для меня будет... Вот тут меня и похоронят — рядом с Корнеем, рядом со всеми нашими...

— А где же мне его теперь хоронить?

— Вот там! — машет Варька посошком в сторону канавы.

— Где?.. В канаве, что ли?

— Тут — не позволим!.. Ни я, ни дед Знатько, ни Гаманка. Все село скажет тебе то же самое, что и я сказала...

— Так что же мне — в канаве его?.. Чтоб все, кто едет по шляху мимо кладбища, оглядывались, а чужие спрашивали: а кто это тут зарыт, как собака?..

— Пусть оглядываются, пусть спрашивают... Это лишь на пользу... Вот именно, на пользу.

Поднимает на Христю сонные глаза, и Христя читает в них приговор, который не подлежит никакому обжалованию.

А потом Варька поворачивается к ней спиной и медленно уходит с кладбища, похожая на своего Корнея Родионовича.

Христя смотрит ей вслед ошеломленно и растерянно, потом обессиленно сползает на дно недокопанной ямы.

Вот так, муженек, дожился... вот так... Вылез, наконец-то, из тьмы на свет божий и продолжал жить, точно

в пустоте. Никто тебе ни «здравствуй», ни «прощай» не сказал. Просто не замечали тебя либо обходили, как дерьмо... Больше не вынес. Только отпраздновали День Победы, тут же и лишил себя жизни... Думаешь, здесь, на кладбище, обретешь покой? Как бы не так!.. Будешь лежать в канаве у шляха... Годы пролетят, а люди, проезжая мимо кладбища, все будут оглядываться да спрашивать: «А кто это зарыт в канаве, как собака?..»

Глава третья. ДАРЫ

1

Материн сундук стоит между деревянной кроватью и длинным старинным столом, в углу, у окна — именно там, где в крестьянской хате и ставят эту необходимую вещь, которую постепенно вытесняют современные шкафы. Сундук сработан из липовых досок, чтоб был легким; дерево потемнело от масляных красок, которыми рисовались цветы, птицы и кони, и поблескивает по-старинному уютно и по-современному интригующе.

Мать отмыкает колодочку, заботливо сворачивает коврик, поднимает крышку, светло-золотистую изнутри, и, стоя на коленях, наклоняется над сундуком. В хате сразу же щекочуще запахло нафталином и слежавшимся полотном.

«Это мгновенье, когда мать открывает свой девический сундук, — думает Марта, — всегда волнует. Тогда мне кажется, что мама вот-вот извлечет на белый свет драгоценный клад». И она в самом деле вынимает: то вышитые вставки к сорочкам, то клубок цветных ниток, то бусы, то восковую свечку, то старую монету.

— Где-то тут они внизу должны быть, девичьи мои убранства, — говорит мать, и Марте видно, как сильные ее руки в рыжеватых пятнышках веснушек ловко перебирают одежду, добираясь до дна сундука. — Ага, вот они, держи.

Наверное, матери и самой давно не терпится полюбоваться своими девичьими нарядами, в которых когда-

то невестилась и на сцену выходила. Поднимается с пола, притрушенного татарским зельем, на вытянутых руках несет к окну белую сорочку. Марта идет следом за ней.

— Вот, доченька, моя сорочка... Полотно выбеливала два лета, а после целую зиму вставочки вышивала. Чуть глаз не лишилась...

— Зато уж вышивка — одно загляденье!.. Эх, мама, вам бы на фабрике художественно-промышленных изделий работать...

— Для себя старалась. Вышивка — это в мои молодые годы была девичья гордость. А как же... Ну, надевай.

Марта сбрасывает легонькое ситцевое платье, надевает материнскую сорочку. Мать отступает на два шага, наклоняет голову то в одну, то в другую сторону, а то назад отведет, оглядывая Марту.

— Смотри-ка, к лицу тебе как!.. Вот и я когда-то была такой же гибкой... Сейчас еще плахту найду, жилеточку.

Вновь склоняется над сундуком, громко чихает, верно от нафталина. Марта желает:

— На здоровье, мама...

— Спасибо, деточка... Вот тебе плахта, пояс, кацавейка. Постой, ты хоть знаешь, как плахтой заворачиваются? Это вот так вот делается, чтоб складка была сбоку, а одна пола немного выше, другая — ниже. А теперь туго-претуго поясом затянуть. Вот я буду держать один конец пояса, а ты закручивайся... ну конечно, как в танце, и навивай вокруг стана, и навивай. Так, дочка, так. Хорошо. Теперь эту кисточку пустим под пояс, тут, сбоку. Видишь, как славно. Ну, теперь надевай корсетку. Смотри, уже память у бабы как решето, это таки корсетка, я говорила — кацавейка... Да и то сказать: теперь все кацавейки да кацавейки, корсетки давно перевелись... О-о, дай-ка, голубка, я на тебя посмотрю. Ну истинная Назарова Галя. Со всех сторон — казачка. Вот на сцену в воскресенье выйдешь, так никто и не узнает... Когда-то и я вот так же на сцену выходила. А как же! Замужняя уже была, а на сцене еще долго выступала...

— Ой, мамочка, я так переживаю за этот спектакль! Почти четыре месяца готовили, а волнуясь...

— А я, думаешь, не переживала?.. Постой-ка, а про

коралы, видишь, я и забыла. Вот еще голова. У меня ж есть такая нитка коралов с дукатами, татко мой купил когда-то на ярмарке в Теплике. — Наклоняется над сундуком, снова перебирает все, что там лежит. — Кажется, в этом вот узелке.

В хате сразу же становится тихо, мать даже дышать перестает, слышно лишь, как оса жужжит с улицы на оконном стекле. Медленно, очень медленно мать поднимается над сундуком, держа в руках узелок.

— Ты смотри, я уже и забыла про этот узелок... Коралы у меня в ящиках, а это совсем другой узелочек...

— Что же это за узелок? — Марта начинает тоже тревожиться.

— Рукав от сорочки Микола Дмитриевича.

Садится на лавку, даже не сдвигая свернутого коврика, прямо на коврик садится, кладет узелок себе на колени, держит в руках, как держат письмо или гостинец, как держат землю из родного села, как держат младенца.

— Все напрочь баба забыла, — сокрушенно вздыхает. — И про этот рукав тоже забыла... Годы ж прошли...

— Микола Дмитриевич — это кто?

— Так это ж Леонтович наш...

— Композитор?.. А этот рукав он, что, подарил или как? — Марта подсаживается к матери поближе, кладет руку на плечо.

— Нет, доченька, это — не дарованное... Это рукав от той сорочки, в которой Леонтовича убили... Когда мы сбежались, Микола Дмитриевич лежал в кровати уже мертвый — в белой полотняной сорочке. А когда переодели его, чтоб хоронить, так девчата порвали сорочку на ленты. Зачем? В пору моего девчества было такое поверье: если раздобудешь с убитого клочочек сорочки или обрывок веревки висельника, будешь счастливой... Вот потому и порвали девчата... Ну, поверье поверьем, а памятку про Миколу Дмитриевича все иметь хотели. Сестры отдали его сорочку нам.

— Так вы видели Миколу Дмитриевича убитым?

— Конечно, видела, дочка. Все село сбежалось тогда...

Еще в первый год учебы в Тульчине Марта узнала, что все те песни, которые поет мать, записал когда-то Микола Дмитриевич Леонтович. Поступила в техни-

кумовский хор, с любовью пела со всеми вместе «Щедрик-ведрик», «Дударика», «Пряху», «Ой, устану я в понедельник», «Мала мати одну дочку», «Из-за гори снижок летить». А песню «Казака несут» петь не могла, что-то горло сжимало, на глаза слезы наворачивались. Виделась ей степь предвечерняя, а по той степи казаченьки из похода возвращаются, и четверо из них несут на плечах своего товарища, а позади двое ведут оседланного коня, белокопытого да белолобого, и конь низко голову клонит и плачет вместе с казаками по своему хозяину, а из села уже выбегает дивчинонька, заламывает белые руки...

В библиотеке, к сожалению, не так много книжек про Леонтовича нашлось, а все-таки кое-что узнала о жизни композитора.

Потом отыскала каменный домик на тихой улице. Здесь жил Микола Дмитриевич. Отсюда в начале 1921 года вышел он пешком на Стражгород. В то время он как раз работал над оперой «На русалочью пасху». В Стражгороде жила Надежда Васильевна Танащевич. Сочиняла либретто. Микола Дмитриевич и собрался к Надежде Васильевне, чтобы поторопить ее с написанием либретто. Дело было улажено, и по дороге назад Микола Дмитриевич завернул в Марковку, зашел к родне — отцу, сестре.

Пришел домой вечером, а под утро его уже убили... И вот твоя мать — свидетельница тех далеких событий.

— Как же это было, мамочка? Расскажите.

— Да уж расскажу, коль так вышло.

Задумчиво смотрит на кусок полотна, гладит его пальцами, вздыхает и начинает рассказывать:

— Ты ж знаешь, дочка, что родом я из Марковки. Родители мои с Леонтовичами были соседями. Наше окно смотрело как раз на их подворье. И мама, бывало, всегда рано поутру выглядывала в оконце — светится ли уже у батюшки Дмитра Феофановича. Выглянула и в то утро, припала к стеклу, а потом поворачивается к батюшке и говорит: «А посмотри-ка, старый, еще и ты, что это с батюшкой? Стоит посреди двора в одном белье, босиком, а руки у него как будто назад завернуты и связаны. Стоит и кричит. То ли мне кажется со сна, то ли батюшка разума лишился». Батюко выглянул, потом шапку на

голову — и из хаты. «Беда у них какая-то, вон люди сбегаются». Мы — за батьком следом.

Люди уже развязывали батушку, повели под руки в хату, а батушка вырывается, показывает на улицу и кричит: «Люди добрые!.. Догоните!.. Догоните того зверя, что сына моего... Он недалеко еще убежал...»

С подворья на улицу в самом деле пролегал свежий след саней. Так мужчины, похватавши кто вилы, кто топоры, а кто дрючки, бросились на улицу. А молодичи, девчата и пожилые мужчины набились в хату Леонтовичей. Двери пораскрывали настежь. На одной половине за пустым столом стоят сестры Миколы Дмитриевича, а на другой — на кровати лежит сам Микола Дмитриевич. Вижу, как сейчас. Лежит в белой сорочке, рукой закрывает сердце, под ладонью расплывается красное пятно, голова на подушке откинута далеко назад, чуб растрепан, а лоб белый — будто меловой, а глаза голубые такие, ласковые, смотрят в стену, будто живые, только удивленные... Батушка упал перед сыном на колени, обнимает тело непослушными руками, сквозь слезы спрашивает: «Что ж они сделали с тобою, сынок? За что тебя убили? За что?»

Люди поразвязывали сестер. Их в хате было две, третья, Виктория, говорят, в одной сорочке побежала в Теплик за лекарем... Стали расспрашивать, что здесь произошло. Так и узнали.

Марта слушает неторопливый печальный рассказ матери, представляет себе, как все это было.

...Микола Дмитриевич пришел домой веселый, румяный с мороза. Сели ужинать. За столом рассказывал о напряженной работе над оперой «На русалочью пашу», говорил, что собирается управиться с ней поскорее, музыка почти готова, до сих пор сдерживало лишь одно — то, что не было под рукою либретто, а теперь работа пойдет скорее, потому что Надежда Васильевна пообещала через неделю-другую закончить. Вот так сидели, беседовали за ужином, когда в хату вдруг вошли двое.

Один из них высокий, в смушковой шапке и коротком кожушке, назвался Грищенком, показал документы, по которым выходило, что он — большой начальник. «А это мой возчик. Едем в Теплик по неотложному делу, да вот в вашем селе ночь застала, дальше ехать в ночи

опасно, сами знаете, банды теперь повсюду шастают. Так нельзя ли заночевать в вашей хате?» — «Отчего же нельзя, — ответил Микола Дмитриевич. — Раздевайтесь да садитесь к столу, поужинаем».

Посадили их за стол, угощают, и даже мысли у них не было — кто что. Потому что с виду люди как люди. Этот Грищенко — хорошо одет, руки белые, холеные, панская кость. Видно, он и был из тех панских недобитков. Да еще, говорят, у того Грищенка взгляд был тяжелый. А так — человек как человек, поди знай, что у него в мыслях. За ужином все расспрашивал то об одном, то о другом. Допоздна сидели, потом Микола Дмитриевич повел гостей к себе.

Домашние еще долго слышали говор через сенные двери, пока наконец и на той половине стало тихо. А перед рассветом всех разбудил внезапный выстрел. В одном белье бросились в комнату Миколы Дмитриевича.

Микола Дмитриевич лежал на своей кровати, пытался подняться, заслонял рукою сердце, сквозь пальцы лилась кровь, а над кроватью стоял Грищенко, уже одетый, с обрезом в руке. «Что здесь творится? — простонал Микола Дмитриевич. — Почему так темно? Света!.. Зажгите свет!» Это были его последние слова.

Старик Леонтович бросился к нему: «Сынок, что с тобой?» — «Цыц, попяра! — прикрикнул Грищенко. — Ни слова, иначе всем то же будет!.. Прочь отсюда!.. В другую комнату!»

С улицы вошел возчик. Грищенко повернулся к нему. «Что-нибудь было слышно?» — «Да, немного. Вроде упало что-то». — «Заяряг?» — «Готово». — «Так делай, как сказано».

Потом Грищенко наставил обрез в грудь старику Леонтовичу. «А ну-ка, попяра, показывай, где золото?» — «Пустите меня к сыну... Там сын умирает... Побойтесь бога... Да нет у нас никакого золота». «А это мы сейчас посмотрим. — Грищенко стащил со стола скатерть, бросил возчику. — Жук, рви на полосы да свяжи это кодро. Чтоб никто не сбжал, пока искать будем».

Марта чувствует, как от холода деревенеют ноги, как на голове волосы зашевелились от ужаса. Господи, какой ужас!.. Там, в комнате через сени, в предсмертной агонии бьется Микола Дмитриевич, а тут, в светлице, бандюги вяжут старика отца и сестер...

— Перевернули весь дом вверх дном, — продолжает мать. — Ничего не нашли, потом Грищенко и говорит: «Пока не выедем на улицу, чтоб никто из хаты не смел выходить. Не то — всех порешу!»

— Поймали хоть тех оборотней? — спрашивает Марта.

— Мужчины догнали их уже за селом. Но тот лиходей стал стрелять. А потом спрыгнул с саней и подался в заросли верболоза...

— Сбежал?

— Эге ж... Он еще много беды натворил. В Теплике ранил начальника милиции, потом ограбил одну вдовушку, но и его, супостата, настигла справедливая кара. Один теплицкий дядько зарубил в своем подворье, под стожком, где тот прятался. Лопатую... Собаке — собачья смерть!

— А Микола Дмитриевич так и умер?

— Виктория, сестра его, привела из Теплика лекаря, но было уже поздно... Так и умер...

— За что же его убили?

— В те дни приезжал из Киева друг Миколы Дмитриевича, Гнат Васильевич Яструбецкий. Было ему поручено правительством расследовать это злодейское убийство, так он говорил нам, что это — провокация. Леонтовича убили с целью взбунтовать народ против Советской власти, ведь этот Грищенко выдавал себя за советского работника...

Краешком передника мать вытирает повлажневшие глаза, горестно вздыхает и продолжает:

— Хоронили его всем селом, Миколу Дмитриевича. И вся Марковка плакала. А Яструбецкий сказал на похоронах: «Звонкоголосого соловья потерял наш народ... Пройдут годы, и чем больше их будет проходить, тем горше будет оплакивать Украина своего гениального сына, как оплакивает она до сих пор Тараса Шевченко...»

Мать умолкает, долго смотрит на сверточек старого полотна, что был когда-то рукавом сорочки Миколы Дмитриевича Леонтовича, потом встает.

— Возьми, дочка, эту памятку себе... Да, смотри, береги ее, как мать твоя берегла...

Уже отпели Груздовы свахи, веселые, разрумянившиеся и на удивленье голосистые:

Дивчачочки-утяточки,
Подвиньтесь до запечья,
Пускай сядут веряночки
Вокруг своей паняночки;

уже, ойкая да ухая, кривляясь да руками церемонно отмахиваясь («Ой, то ж не горилка, а сущий огонь», «Ух, до смерти упилая, аж самой не верится!»), пригубили по чарочке, закусили холодцом да бигусом — поужинали или подужинали, потому что еще сядут после того, как обряд подношения даров закончится; хоть и не голодны свахи молодого, но надо ж молодой да хате сей честь и хвалу воздать по закону;

уже убраны тарелки, бокалы и чарочки;

уже потянулись все из-за стола, в красном углу, там, где еще накануне свадьбы висели темноликие иконы Георгия Победоносца и Варвары Великомученицы, а теперь красуются увеличенные фотографии Корнея Родионовича и Варвары Омельяновны — отца и матери невесты, — остаются лишь молодые, Марта и Максим, со свадебным старостой Михайлом (Роднону, неженатому еще, не к лицу старостой быть, каравай делить, всему роду дарить, назначили Михайла, как мужа старшей сестры молодой);

уже откружились-отвихрились в ритуальном танце с караваем да гильцем — елочкой свадебной, украшенной радугой лент;

уже каравай и гильце поставили на покутье перед свадебным старостой, на полотняную скатерть — белую, с голубыми мережками;

и поднимается из-за длинного стола по правую руку от молодой староста Михайло, трезвее дядька Гервасия, посаженного отца, трезвее даже кота Пенсионера, жмущегося под столом к его ногам, потому что Настя, тыча маленькому Михайлику соску (в апреле, как раз под сватовство к Марте, у них родился третий сын, Михайло настоял, чтобы троянчику дали такое же имя, как носит и он сам) — так вот, Настя, тыча маленькому Михайлику соску-пустышку, каждый раз неумолимо убирала стоящую перед большим Михайлом чарку, толкая ост-

рым кулачком под бок: «Не забывай: тебе каравай делить, чуешь?» — поднимается Михайло — в белой сорочке, с широкой, во всю грудь, манишкой, перевитый вышитым рушником с длинными кистями (не рушник, а что ни на есть президентская лента!), ржаной чуб, вымытый Настей в дождевой воде, спадает на глаза, и Михайло, растерянный и напуганный еще больше, чем вчера, когда житницкий фотограф, запечатлев всю свадьбу, снимал их с Настей и малым Михайликом на карточку, пятерней загребает чуб назад, откашливается в кулак, ибо сразу в горле будто комок стал (уж не бигусом ли икается?), шикает, успокаивая тех, кто расходился больше всех.

Таких — двое.

Под посудною полкой, за тем столом, за который усаживают всех запоздавших гостей, подпивший Тодос Осипович обнимает деда Знатька и Родиона за шеи и, подвывая, поет Груздову песню про чаек:

Г-ни вей-те-ся, чай-оч-ки, г-над мо-о-о-рем,
Нигде вам, бедня-жеч-кам, не сесть...

Взволнованный и растроганный своим собственным пением, мотает головою и плачет.

В сенях жарко шпарят гопака музыканты, и дядько Лаврин ходит по хате чертом, садит в пол каблуками, точно гвозди вбивает, хватает в охапку свашек, перекивая их и Кныша, вместе взятых:

Гоп, мой гречаники,
Держи, сваха, подштаники!
Подштаники опадут —
Гречаники пропадут.

— Та уймись ты, сатана! — хватает его за сорочку, вылезшую из штанов, тетка Палажка. — Брось свои фанабери!

— Не уймусь! Не брошу!.. Эх-х, раздайсь, море, дерьмо плывет!..

— Остановись, прошу! Зараз каравай будут резать.

— А я разве кому мешаю? Пусть себе режет.
С улицы в хату входит Фотина Гамайка. Она ойкала

всех громче, кривилась всех кислее, а упиалась всех сильнее, потому теперь аж позеленела. Заслышав Лавриново «режет», не к месту начинает подпевать:

Режет, староста, режет,
Золотой ножик держит...

Гервасьева Катерина, которая ревностно следит за соблюдением свадебного ритуала, дергает Гаманку за рукав, смеясь, останавливает:

— Не сбивай, Фотина, с пути истинного. Еще писаря не выбрали.

— О, смотри, — конфузится Гаманка, — а я и забыла. Как будто и не пила, а в голове что-то помутилось и шмели звенят.

Этот небольшой конфуз с Гаманкой словно бы придает свадебному старосте уверенность, он держится свободнее, говорит напористее:

— Прежде чем каравай разрезать, надо нам, гости дороге, из вас писаря избрать. Грамотея — не из жулья, чтоб дело свое добре знал, честно дары в реестр писал. Выдвигайте кандидатуры.

— Гервасия! Работила!

— Добрый был бы писарь, кабы не один изъян.

— А то какой же?

— Гервасий как станет писать — девка молодшей успеет статью. Такой не годится. Верткого надо!

— Гоцуляка!

— О! Это — парень спец, но хитрец! Крутит много.

— Так какой же он хитрец? Где крутит?

— А на «бобинке» Родионовом кто баранку крутит?

Одни баранки в реестр и запишет.

— Деда Знатька!

— Дед Знатько намудрует — вся ООН не расшифрует!

— Может, Суфлера?

— О-о, этот подходит: всю жизнь за трудодни нам палочки выводит!

— Одну пишет, вторую в голове держит.

— То при Книше было, теперь ему память подиравили.

— Пусть будет Суфлер!

Успокоив «собрание», Михайло церемонно подводит итог:

— Ну, значит, так: писарем единогласно избран Суфл... это... извиняюсь... избран Лаврин Родионович Земледух. Пусть посаженный отец пригласит писаря в хату.

Дядько Лаврин, как только его «кандидатуру» назвали, сразу же метнулся в сени (был уверен: изберут все-таки его!), и уже оттуда доносятся веселая возня, хохот.

Дядько Гервасий, пощипывая свои знаменитые усики и спотыкаясь о собственные сапоги (вчера, когда гуляла молодежь, даже к столу не присел, расхаживал за спинами, все приглашал: пейте-пейте, гостечки, ешьте-ешьте, а сегодня, когда воля старшим, его приглашали бесперебойно, оголодавший дядько Гервасий упился с первой же чарки, в саду зацепился за собственный сапог, упал в сушилку, обросшую первой летней травой, там же и выспался, а после обеда его уже опять заносит), дядько Гервасий идет в сени и через минуту торжественно возвращается. Держась за косяк, едва ворочая языком, делая невероятно длинные паузы (в паузах можно от начала до конца пропеть: «Ой, хмелю, мій хмелю»), возвещает с порога:

— Тут наши молодницы встретили какого-то писарчука на пути в столицу. Приглашают, по ходу пьесы, до хаты, а оно такое цобэ, что не хочет с коня слезать. Так как будем, честной народ, поступать: этого гордеца с седла снимать или верхом у хату пускать? Га?

— Впустим верхом. Посмотрим лишь, какой у него конь. Может, откупим нашему молодому.

— Так заезжайте, пане писарь!

В сенях слышится двойное хриплое ржание, потом, вытанцовывая, порог переступают пара хромовых сапог и пара рыжих башмаков под длинным полосатым рядом. На «коне» пыжится дядько Лаврин — в вывернутом кожухе, высокой шапке островерхой, на носу, наращенном подкрашенной картофелиной, — Знатьковы окуляры, в руках — писарские клейшоды: перо — обугленный ухват, печатка — макитра с пеплом, в ней — макогон, обернутый мокрой тряпкой.

— Тпру, вороной! — сжимает «коня» коленями. — Не балуй! — Потом, оттопырив нижнюю губу, пока еще не

расквашенную, таращится на свадебного старосту, горланит через головы: — А что тут, у вас, люди добрые, за оказия? Я, значит, еду до столицы, вдруг встречают меня на шляху прелестные молодницы, за уздечку хватают, сюда завертают. Уж не свадьба ли в этой хате, приветливой да богатой?

— Свадьба, пане писарь, свадьба, — степенно отвечает староста. — Вот собрались каравай разрезать, дары даровать, только некому реестр писать. Не поможете ли нашему роду в этой оказии?

— Реестр писать — не цепом махать. Тем паче, что для этого дела мы ученые и клейноды имеем освященные. Только я из долгой дороги, так хочу спать, аж замерзли ноги, если б кто-то мне чарку оковитой подаль, так я сразу и до дела стал бы.

Староста наливает чарку, через посаженного отца передает ее писарю:

— Так нате ж вам, окропитесь, рукавом утритеся — и за реестр беритесь.

Писарь с достоинством принимает чарку, хочет сказать что-то, но «конь» под ним становится дыбом, едва не сбрасывая седока, всадник пришпоривает его сапогом, укрощает:

— Стой, ты, турок загранишный! Ишь, уже почуял родной дух! Угостят и тебя, погоди чуть.

Отпив, выцеживает немного из чарки на пол — «Там, под нами в земле — тоже наши люди, пусть же и им что-нибудь перепадет!», остаток размашисто выплескивает на белый потолок — «Чтоб вы здоровы были!»

— А теперь, — отдает чарку посаженному отцу, — угостите еще и моего коня-молодца.

— А как же нам знать, откуда ему, по ходу пьесы, подавать?

— Откуда ни поднесете — в акурат попадете. У моего коня две морды. Посмотрите.

Перекинув ногу, слезает с «коня», отбрасывает ряднопопону — из-под рядна под всеобщий хохот появляются помятые, вспотевшие и красные от натуги Роднон и Карпо Гоцуляк.

— Ничего себе писарь, — смеется Роднон, утираясь платком. — Такой вмиг из тебя клячу сделает.

А свадебный староста уже отыскивает взглядом Варьку, найдя ее среди своих, торжественно просит:

— Так благословите же, мать, святой каравай разрезать.

— Благословляю! — в пояс кланяется Варька.

— И второй раз благословите.

— Благословляю!

— В третий раз благословите.

— Благословляю!

Свахи, Максимовы и Мартины, сгрудились перед столом, поскладывали на белых сорочках темные руки, ласково смотрят на каравай, такой же смуглый, как и их руки, дружно и протяжно запевают обрядовую песню:

Ой, дайте нам меру:
Мы честной все веры, —
Каравай разрезать.
Весь род наделять.

И уже староста берет нож, режет каравай.

А свахи, сбившись еще плотнее, поощряемые Гервасиевой Катрей, ведут песню дальше — раскачивают, выплескивают ее, будто сам каравай:

Режет староста, режет,
Золотой ножик держит.
Это Мартины сестры
Каравай такой пекли —
Четыре брата несли,
Четыре вола везли.
А волы те — рогатые.
А мы рдом богатые.
Замесили в решете,
Чтоб досталось всей родне.

И вот наступает тот щемяще-торжественный миг, когда на полуслове умолкают самые говорливые, выныривают из мутного сна самые пьяные, когда все становятся как бы чище, благороднее, чувствуют себя словно бы детьми одной матери, и это высокое чувство родового и человеческого единства исторгает на глазах у молодых и стариков слезы гордости и восхищения,

Староста кладет первый ломоть каравая на серебряную тарелку, а рядом — самую пышную веточку гильца, поднимает тарелку в руке и провозглашает:

— Есть у нашей молодой и у нашего молодого родная мать Варвара Миллиановна. Просят молодая и молодой и я прошу — принять этот добрый дар.

Печально-нежными голосами, будто высказывая сокровенное и давнее, свахи поют:

— Станьте, матушка, предо мною
Да пригубьте за мою долю.
— Что имею, чем богата —
Возьмешь, дошо, в свою хату.

И встает Варвара Омеляновна, в терновом платке, в синей шерстяной кофте, заплаканная и растревоженная до глубины души, счастливая и пригорюнившаяся, перед своими дочерью и зятем — перед Мартой и Максимом, и Марта видит, и Максим, и все гости свадебные видят, что их мать, их Варька, в этом терновом платочке, в этой синей шерстяной кофте (может, самой лучшей одежде, какая была у нее за всю жизнь) — не такая уж старая женщина, а средних лет молодлица, чернявая, с удивительно синими ласковыми глазами, с темной родинкой на разругавшейся щеке; молодая еще мать, молодая еще Варька, только — изгоревавшаяся, измощенная трудом, — и становится Варвара Омеляновна перед почетным столом, и кладет на покутье перед молодыми — заплаканной Мартой и посуровевшим Максимом — вышитый рушник.

— Дарю тебе, дочка, — смотрит и наглядеться не может в Мартины очи, которым передала и цвет, и тепло своих, — дарю тебе этот рушник. Ночами его вышивала, счастья-доли тебе желала. Пусть рушничок этот свяжет твою и Максиму судьбу в одну, пусть жизнь ваша будет такой же чистой, как это полотно, такой же радостной, как эта вышивка.

Берет из рук Марты чарку, пригубливает, выплескивает себе за спину, на потолок, целует Марту, целует Максима, берет из рук старосты дары, выходит на середину хаты (музыканты из сеней наяривают польку), высоко поднимает дары, показывает всем — ломоть каравая и веточку гильца — и пускается в пляс.

— Дам лиха закаблукам, закаблукам лиха дам! — Словно бы отплясывает на нынешней свадьбе дочери Варвара Омеляновна все то, что не доплясала на своей собственной.

— Достанется передам! — подохочивает дядько Лаврин, отложив в сторону писарские клейноды. — Давай, Милляновна, давай!

Не выдерживает, срывается с места, ходит вокруг

Варьки вприсядку, бьет себя по коленям, по полу; в сумасшедшем танце заносит его к посудной полке, треснувшись лицом об угол — и уже из губы сочится кровь.

— О! Уже Суфлер «поцеловался», — взрывается вокруг смех.

— А он не может не поцеловаться. Без этого для него и свадьба не свадьба. Как он только еще вчера, не ухитрился?

— Гоп-гоп! — в последний раз выкрикивает дядько Лаврин, зализывает губу, берется за писарские клейноды. — Запишем теперь дары в реестр: рушник.

Обугленным концом ухвата под хохот, прибаутки и советы вычерчивает на белом потолке черную кривую, начиная «реестр» от передней стены. Нацарапав «р», вновь взбирается на скамью, макает макогон в макитру с пеплом, лепит «печатку».

— Закодументировано, то есть задокументовано! — любовно разглядывает свою «работу», прицелкивает языком. — На вечные времена. Не вырубить и топором.

— Будет теперь у Варьки работа.

— На то ведь и писаря выбирают.

— Да, таков обычай. Хотя теперь его уже забывать стали.

— Марта прибежит — побелит.

А свадебный староста, свахи уже вызывают к почетному столу старого Грузда.

— Есть у нашей молодой да у нашего молодого родной отец Ничипор Иванович. Просят молодая да молодой и я прошу — принять этот добрый дар:

«Станьте, батюшка, предо мною
Да пригубьте за мою долю...»

Часто мигая, сдерживая нервные судороги на гладко выбритом лице, сурово и растерянно глядя поверх голов, выходит старый Грузд из мужского общества, останавливается перед столом, закусывает нижнюю губу, посыпает перед молодыми зерном.

— Дарую корец жита-пшеницы, абы в вашей хате не переводились хлеб-паляницы...

— Задокументуем! — со скамьи провозглашает писарь: — Корец жита-пшеницы.

Ой, род мой согласный,
Даришь не напрасно:
Богатою буду,
Я вас не забуду.

Старший брат Марты Родион дарит молодым холодильник, старшая сестра Настя с мужем — тахту, дядько Гервасий с теткой Катрей — шкаф, и вот уже свадебный староста весело говорит:

— Есть у нашей молодой и у нашего молодого родной дядько Лаврин Родионович и родная тетка Палажка Семеновна...

— Меня! — спохватывается дядько Лаврин. Слезает со скамьи и передает свои писарские клейноды дядьку Гервасию. — На, братуха, задокументуешь мои дары, я шас. — И споро выскакивает в сени.

— Просят молодая да молодой и я прошу...

С этими словами под общий хохот, под веселую «Катюшу», которую наяривают музыканты, в хату храбро впрыгивает пестрый петух на длинном поводу — конец повода дядько Лаврин крепко зажал в руке. Увидав людское сборище, петух растерянно останавливается в углу, потом шаркает шпорами по полу, будто делает кавалерский реверанс, надувается, закрывает глаза, вытягивает радужную шею и хрипло кукарекает. Хохот становится еще сильнее, петух от конфуза теряется вконец, пятится к сеням и попадает дядьку Лаврину в руки.

С петухом под мышкой дядько Лаврин подходит к столу, следом семенит тетка Палажка, неся на вытянутых руках покрывало и простыни.

— Не знаю, што там моя товарищ баба вам дарит, — горланит дядько Лаврин через стол. — То ее личное дело. Пусть хоть что-то даже диковинное. А я — петуха. Не так тебе, Марта, как тебе, Максим. Пускай напоминает тебе, што жинка, как и курица, любит, штоб ее клевали. А не будешь клевать, сам в синяках ходить будешь. По себе знаю... А теперь налейте мне чарку...

С этой минуты и началось:

— Дарую вам тарелку, чтоб за год была у вас девка!..

— Дарую вам рубашки, чтоб росли в вашем доме двойняшки!

— Дарую вам мнску маку, чтоб молодой молодую держал за... руку!..

— Га-га-га!.. О-хо-хо-хо!..

Уже «реестром» исписан весь потолок, а староста все выкликает да выкликает:

— Есть у нашей молодой да у нашего молодого...
А свахи подстрекают:

Вы, родичи, не чурайтесь
Да за двери не ховайтесь,
А идите даровать,
Счастья-доли желать...

На какое-то мгновенье шум утихает, гаснет, будто все устали. Но только на мгновенье. Ибо вновь уже гости сидят за длинными столами, и снова хата зашумела, загоготала, запела.

Из того угла, где сидит Тодос Осипович:

Д-гой там г-за леском, г-за лесочком,
Наш полк, окруженный врагом.
Сна-ра-ды г-у нас ды на ис-хо-о-де-е,
Патронов сов-сем г-уже нет...

— Корней Родивонович, не, Родивон Корнеевич, я на тебя зуба не имею. Заслужил — давай мне по заливку, слова против не скажу. Не все седые — мудрые. Бывает, што и яйца курей учат. Я правильно говорю? Пр-правильно!..

С этого крыла, где сидят свахи:

Тают аисты в синем просторе,
Прилетев из-за теплых морей,
Может, сядут на явор зеленый,
Что растет возле хаты моей...

Углубленные в себя и — мысленно — в небо, а может, еще выше и глубже, спокойные и мудрые, поют свахи, и над белыми их платочками, над загорелыми их лицами словно бы тихо загораются нимбы вечной святости, и уже они не просто женщины, а само воплощение жизни и рода человеческого, неистребимое и неумирающее.

На больших подносах в хату вносят жаркое.

Гервасиева Катря стучит вилкой о графин:

— Тихо, вы все! А ну-ка, свашечки, вот эту:

Не пойдет угощение впрок,
Пока молодой не повяжут платок...

И уже с того места, где сидел свадебный староста, поднимается свадебная сваха — старшая сестра Марты Настя, передав своего Михайлика Аглае.

— Благословите, мама, с молодой фату снимать, платок повязать.

— Благословляю.

— И во второй раз благословите.

— Благословляю.

— И в третий раз благословите.

— Благословляю.

На подрумянившемся хлебе вносит Варвара Омельяновна два платка — белый и темный, передает Насте.

Этот хлеб Марта унесет из материнской хаты в свою...

Глава четвертая. ПУТЕВКА

1

Сквозь приоткрытые двери в сенях и в хате Марта слышит, как на улице фырчит машина, останавливаясь у ворот. С любопытством выглядывает в окно, раздвинув белые занавески; приехали Родион с Максимом. Максим, веселый, загорелый, стоит под вербой, держа за калитку, а Родион осматривает скаты машины, пинает их носком башмака, что-то говорит Максиму. После свадьбы он наведывается к ним впервые. Да еще и среди бела дня, в полуденную пору. Марта невольно глянула в зеркало, поправляет кофточку на высокой груди, выходит из хаты.

— Здравствуй, сестричка, — приветствует ее Родион еще от калитки. — Ну что, не ждала сегодня гостей, а?

— Тебя, братчик мой, всегда ждем, — идет навстречу.

— Ну, спасибо на добром слове. — Родион останавливается посреди двора, поросшего жестким спорышем. — А я, значит, встречаю твоего Максима — и не узнаю. Спрашиваю: «Чем же тебя, зятяк, Марта кормит, что так окреп за месяц?» А он мне: «Да варениками ж!» И начинает расхваливать твои вареники. Так уж расхваливает, аж я не вытерпел: «А ну-ка, садись со мной да и поедим к вам на обед, посмотрим, какая там сестра кухарка».

— Эге, Максим уж как расхвалит, так хоть молись на меня. Но варенички таки есть. Мойте руки да буду угощать вас.

Родион сбрасывает серую куртку, вешает ее на вишню, засучивает рукава полотняной вышитой сорочки, идет к умывальнику. Марта выносит из хаты чистые рушники, спрашивает обонх:

— Где будем обедать — в хате или тут, под вишнею?

— Было бы что есть, можно и в огороде сесть, — смеется Максим, засучивая рукава и себе. — Сядем под вишней.

— Тогда выноси стулья.

Родион уже умылся, Марта подает ему рушник. Глядя, как брат утирает лицо, потом руки, сокрушенно вздыхает. Постарел Родион за эти годы, посуровел. Лоб прорезали две вертикальные бороздки, седина пробила даже в бровях. Постоянно в хлопотах, постоянно в работе, а больше, пожалуй, ничто его не касается. Когда-то делился с ней всеми своими радостями и горестями, теперь же замкнулся в себе. Ни она, Марта, ни мать — никто не решится заговорить с ним о том, что наболело у него за все эти годы. Пытались, но резко обрывал Родион эти разговоры. Марта размышляет: сказать ему про Оленну новость сейчас или попозже, после того, как пообедают. Скажу после, когда уезжать от нас соберется. Сейчас могу всю обедню испортить.

Утирая руки, Родион подмигивает, сдержанно улыбаясь:

— Ничего и ты расцвела, сестричка. Ничего.

— Такое скажешь, — стыдливо опускает глаза. — Будто не такой же была до замужества... Ты откуда это — не из Житников ли?

— Ага... С совещания... Возвращаюсь из Житников, а тут мне рассказывают, как дядько Лаврин цыган с самолета опрыскивал. Цирк!

— Как это — опрыскивал с самолета? Чем?

— А вот за обедом и расскажу, — возвращает Марте рушник, принимается расчесывать чуб. — На такое только дядько Лаврин и способен. Рассказывал на полевом стане, так все лежали...

Максим выносит из хаты стулья, Родион идет следом за ним, садится под вишней к столу, оставленному здесь после свадьбы.

— А батько не придет на обед?

— Не придет, работы много. На стане пообедает.

— Уж извиняйте, Родион Корнеевич, — улыбается Марта, подавая на стол, — что у нас все так за просто.

— Не волнуйтесь, Марта Корнеевна, — отвечает ей в тон, — я человек тоже простой: хлеба скибку, какую-нибудь рыбку, сала кусочек, соли щепотку, чарочку водки, — устану, чихну и снова начну.

— Так, может, вам и в самом деле по чарбчке дать, а?

— Под такие вареники не помешало б, но — жарница, подуреем, а тут — собрание вечером. В другой раз, после уборки. . . Так расскажу вам про выходку дядька Лаврина.

— Ты, братец, сперва пообедай.

— Одно другому не мешает. — Родион весело улыбается, вытирает губы рушником. — Было это, рассказывал дядько, так. Поехал за Волчий лес, под Шукайводу, конюшину посмотреть, не пора ли косить. Выехал из леса, смотрит, а по-над Бугом на конюшине — целый палаточный городок. Цыгане! Костры дымят, молоты вызванивают, а кони разбрелись по берегу. Как увидел все это дядько Лаврин, так за голову схватился: косить уже нечего будет, все вытопчут. А сколько же ее у нас, той конюшины? Клочок, который Тодос Осипович переплахать еще не успел. Ну, гвардия, сам себе говорит дядько Лаврин, сейчас я вас всех поспешиваю, сейчас вам всем в шатрах тесно станет! Вот подъезжает он к самому большому шатру, не слезая с двуколки, спрашивает: «А кто тут среди вас атаман?»

Поднимается от костра старый цыган, черный, взъерошенный. «Ну, я буду атаман, ром баро. А ты кто?» Скажи ему — бригадир, думает дядько, и разговаривать не станет. «Голова этого колхоза». — «Ты — голова?» — «Да, голова! А ты что, гвардия, не слышишь? Тугой на ухо? Контуженный?» — «Ов-ва! — говорит старый цыган. Потом оборачивается к своим, тычет в дядька черным пальцем. — Слышали, ромале? Он — голова! — Потом уперся руками в бока, подступает к двуколке. — А ты хоть видел настоящего голову? Голова на машине ездит, а у тебя — двуколка. Так какой же ты голова? Тут один голова — я. . . Так что не о чем нам разговаривать. . . Езжай своей дорогой, ром, пока цел. . .»

Видит дядько Лаврин — плохи дела. Цыгане обступают двуколку со всех сторон, глазами сверкают, кулаки у них, видно, свербят. Что ж делать? Тут как раз самолет, кукурузник, зафырчал, разворачиваясь над Шуйкайводою. Дядько Лаврин обрадовался. Говорит атаману: «Если не уберетесь с конюшины сию же минуту, так самолет на табор нашлю. Покропнит вас сверху отравой, вот и будет тебе ром баро!» Атаман вытаращился на дядька, как на сумасшедшего, а после в хохот: «Ха-ха-ха! Слышите, ромале, он самолет найдет на табор! А-ха-ха-ха!.. Будто у него свой собственный есть!» — «Щас посмотришь, есть или нет!»

Завернул дядько Лаврин двуколку и наметом к току, где кукурузник удобрениями загружался. Пересказал летчикам свой план, а они смеются: «Такого еще Аэрофлот не знал!» — «А что вам, хлопцы, стоит? Наберите воды из речки да покропите шатры, они там знают, чем вы их поливаете? Подумают: ядохимикаты. Поймите меня: иначе мы их с конюшины не спровадим, а на зиму скотина без сена останется. Магарыч поставлю. Вечером всех в Житники, в ресторан свезу. В тот самый, где скрипки пилюкают: «Чем будешь платить? Чем будешь платить?» А барабан отвечает: «Ко-жу-хом!.. Ко-жу-хом!..» Богом клянусь, повезу!»

Летчики согласились. Договорились, что через полчаса налетят на табор. Только дядько Лаврин доехал, как тут и кукурузник летит. А цыгане знай делают свое дело. Оставляет дядько Лаврин двуколку на бугре, пешком спускается к табору. «Гей, атаман! Так убираться ты или нет?» А кукурузник уже над головами лопочет. Цыгане повскакивали — кто от казанов, кто от кузни, позадирали бороды, ждут, что самолет делать будет.

Тут самолет развернулся, снизился и как укропит по табору, как укропит! Бог ты мой, что тут поднялось! Цыгане — врассыпную, казаны переворачивают, огонь шипит, дым валит, а атаман стоит посреди табора, смотрит в небо и крестится: «А господь бы тебя побил, где ты этот самолет взял?!»

Оба — Марта и Максим — бросают вилки, давятся от смеха. А Родион склоняется над тарелкой, принимается за вареники, посмеиваясь про себя. После выпивает стакан взвара из сушеных груш, обращает взгляд на Марту: — У меня к тебе, сестричка, просьба есть. Думаем

собрать комсомольцев, молодежь да и поговорить откровенно о тревожном положении на фермах. Если не выручат они, так нам совсем плохо будет. Да, совсем плохо — Тревожное? А что, собственно, случилось?

— Беда в том, что некому ухаживать за скотиной. — Родион сокрушенно вздыхает. — Ну кто сейчас возле коров, свиней? Да все такие, как Фотина Гаманка, Меланика Неборенчикова, Христя Заворитня, наша мать. Завтра им на отдых, кто заменит? ..

Слушая Родиона, Марта вспоминает. Накануне ее свадьбы Родион привез из Житников две увеличенные фотографии — отца и матери. Снял в красном углу давние иконы Георгия Победоносца и Варвары Великомученицы, на их место повесил фотографии в резных рамках. В это время вошла в хату мать и руками изумленно всплеснула: «Сынок, зачем же ты богов снял?» — «А зачем, мамо, что в этой хате лишь одни боги — тато и вы. . .»

— Да что там — завтра! — продолжает Родион. — Уже сегодня не можем Насте замену найти. Не идут молодые. . .

— Молодежь вообще в селе не держится. . . Надо, братец, новый клуб строить, культуру сюда поднимать.

— Надо. . . Сам знаю. . . Я уже вижу его посреди села, не клуб, а настоящий дворец. А рядом — две школы: десятилетка и музыкальная. . . Обе — новые!

— Музыкальная? В наших Окнах — музыкальная школа? Так ее же в самих Житниках нет, в районном центре!

— Будет со временем. И в Житниках, и у нас. Если уж строить Дворец культуры, так непременно надо и музыкальную школу. Там будем и кадры готовить. Музыкантов, певцов, преподавателей.

— Мечтатель ты, братец.

— Да, сестрица, твой братец о многом мечтает. И в первую очередь — о хороших дорогах, которые бы надежно связали наши Окна с большими городами. За кончил работу — поезжай в город и развлекайся в свое удовольствие. . . Да, я мечтатель, но в то же время и реалист. А существующая реальность такова: для того, чтобы все это строить — Дворец культуры, школы, комбинат бытового обслуживания, сельмаг, дороги и так далее, нужны средства, и немалые. А у нас их пока что не густо. Откуда же им взяться, большим деньгам, если наше жи-

вотноводство, ведущая отрасль колхозного производства, все еще убыточно?

— Как это — убыточно? Тодос Осипович по два годовых плана по мясопоставкам выполнял...

— Выполнял... Перекупал скот, где только мог, вот и выполнял... Этими-то рекордами он и посадил колхозную экономику на мель... — Выпив еще стакан взвару, Родион убежденно добавляет: — Не за горами техническая революция на фермах. Все здесь изменится коренным образом. Исчезнут сами понятия «доярка», «сви́нарка», будут — операторы... Сейчас мы ищем, кто пошел бы на фермы, а тогда станет трудно уволить человека с работы, даже за какую-нибудь провинность. Одними дворцами, музыкальными школами и дорогами молодежь к селу не привяжешь. Чего хлопцы и девчата ищут в городе — развлечений, культуры? Да, и этого тоже. Но прежде всего — интересной работы. Интересной и хорошо оплачиваемой. Будет такая работа и на селе, но не сейчас — со временем... Сейчас же нам нужны просто рабочие руки. Нужен энтузиазм. Возьмем, к примеру, целину. Разве там сразу все было? Многого самого элементарного не хватало. Но главное было — энтузиазм, самоотверженность. И целину освоили. У нас такая целина — фермы. Идите на этот участок, молодые, сильные, увлеченные, показывайте, на что вы способны! — Родион, пытливо взглянув Марте прямо в глаза, продолжает после небольшой паузы: — Вот об этом и будет речь на сегодняшнем собрании. Так прошу тебя, сестрица, возьми Максимов велосипед да объезди всех, попроси, чтоб к восьми вечера пришли в клуб.

— Ладно, сделаю, братец.

— Ну, так спасибо за вареники. Максим расхваливал их ненарасно, таких ты у матери не варила.

Марта провожает Родиона к машине. На улице говорит:

— Ты знаешь, Родя, Оленка твоя... Олена Заворитня замуж собирается. Письмо написала Христе. Возвращаюсь я из клуба, забежала к Насте, а Христя как раз письмо принесла прочитать... Один там все набивается и набивается. проходу не дает. Олена просит Христю приехать, посоветоваться...

Родион открывает дверцу, садится за руль, склоняет на руки голову, Марта, держась за дверцу, возбужденно продолжает

— Я это к тому, братец, веду, что... может, она — в отчаянии... Может, она думает, что потеряла тебя навсегда...

Роднон поднимает голову, хмуря густые брови, вопросительно смотрит на Марту:

— Так что посоветуешь, сестричка?

— Делай что-нибудь, братец... Езжай, лети к ней, забирай сюда! Разве ж мы слепые, не видим, как ты до сих пор мучишься? Так не будь же таким... таким гордым... Лети, чтоб потом не каяться...

— Ладно, сестрица... До вечера!..

— Ах, ну какой же ты, братец, турок загранишный! Ты ему одно, а он...

2

— Ну вот, это, Корнеевна, значит, и будет твоя группа, — говорит Тодос Осипович, остановившись у последней клетки и виновато потупив взгляд. — Двенадцать свиноматок и сорок восемь поросят. О-о!..

Клетка как раз против окна, залепленного ласточкиными гнездами, и Марте хорошо видно матку и четырех поросят. Свинья, грязная, истощавшая, раскорячилась посреди клетки в жидком навозе, длинным рылом подбрасывает пустое корыто, время от времени принимается остервенело грызть его края, поднимает голодные глаза на Кныша, будто упрекает: «Эх ты, хозяин!..» Такие же грязные поросята тычутся рыльцами под обвисшее брюхо, покусывают пустые соски, недовольно, как и свинья, похрюкивают и повизгивают.

— Кормить пора. — Едва уловимым движением Тодос Осипович привычно поддергивает штаны. — Так берись, Марта Корнеевна, за дело, раз уж ты решила до нас на прорыв прийти. Я правильно говорю? Правильно!..

Фотина Гаманка и Меланка Неборенчикова вносят с улицы свеклу. Сваливают за дверь в кучу, расстилают мешки, секут корни длинными ножами.

Принимается за работу и Марта, становясь рядом с Гаманкой. Гаманка сечет свеклу будто заводная, не поднимая головы, а Неборенчикова следит за каждым движением Марты, улыбается сама себе.

— Гляди ты, Марта, — все-таки не выдержала, заговорила, — столько лет рученьки отбеливала на интеллигентной работе, а почернели за один миг.

Ну и ладно, думает Марта, не так вам глаза мозолить будут.

— Насте или Христе на подмену? — вступает в разговор и Гаманка. — Поработаешь с нами немножко, это тебе на пользу пойдет.

— Вы правы, тетка Фотина, оно все — на пользу.

— Или ты к нам постоянно? — допытывается Неборенчикова.

— А вы как хотели б?

— Да как?.. Кому-то из молодых уже пора б и поменять нас, пожилых, бо мы, считай, свое отработали..

Гаманка, проследив, как Марта сечет, останавливает ее:

— Ты, молодница, так до полудня сечь будешь. Вот как надо...

— Спасибо за науку... А по сколько, тетки, даете своим?

— По ведру каждой свинье... Это ж такая прорва, что только успевай! Но приходится экономить — до нового еще гай-гай.

Значит, прикидывает Марта, надо нарезать двенадцать ведер. А еще и клетки чистить, навоз убирать... Ничего, втянусь...

Будто угадав ее мысли, Гаманка лукаво усмехается:

— Тебе, Марта, что: если запаришься, муженек молодой прибежит — поможет. А мне вот — некому.

— Чего ж ты, девка, ждешь? — подбрасывает словцо Неборенчикова. — Выходи за кого-нибудь, будет и тебе помощь. Еще в самом соку, можно выходить.

— Разве за мною дело стоит? — смеется Гаманка. — Рада бы хоть сейчас. Пусть даже и ворона, только бы мне — оборона...

3

После обеда Марта приносит из дома ведро известки, щетки.

Надо побелить клетки. Подумала об этом еще тогда, как выгребала навоз. Эта грязь прямо душу выворачивает. А побели и эти клетки, и стены, и потолок — сразу посветлеет. Веселее работать будет. Возьмемся вместе да и побелим. Сколько там того дела?!

С Гремучего Кута ей к ферме рукой подать. Приходит раньше всех. Еще с утра присмотрела в закуте старый казан, наносила воды, теперь разводит известку. За этим занятием и застают ее.

— Часом, не белить собираешься, молодка?

— Ага, приведем немножко в порядок.

— На один день? Для делегации?

— Для себя. Будем следить, чтоб не зараста грязью. Когда чисто, красиво, так вроде и на душе веселее.

— Выдумала! — фыркает Неборенчикова. — Нам и так весело — дальше некуда!

— Так я ж вас, тетеньки, и не принуждаю.

Поднимает ведро с известью, идет к своим клеткам. Макает щетку в раствор — и по доскам: раз, два, сверху — вниз, снизу — вверх, раз, два...

— Не партачь, белли хорошо! — насмешливо советует Гаманка. — Как потолок у матери после свадебных даров... Тю на тебя! Ты еще, молодуха, не наработалась тогда, как хату белила, тебе еще тут припекло?

Ладно, говорите что хотите. От своего — не отступлюсь! Не сегодня, так завтра все начисто по-своему переиначу... А потолок после дядьковых кривуль белить было куда легче. Потолок-то ровный, гладенький. Есть где размахнуться. А тут все время приходится соскребать ножом навоз да грязь, а после уже щеткой водить... Целна...

В свиарнике душно, и влажные серые полосы сразу же высыхают, клетки светлеют, в помещении как будто начинает рассветать. Белит и думает о своем.

...На комсомольском собрании Родион говорил о вещах ей уже знакомых. Разве что немного запальчивее, чем обычно. И, заканчивая свое выступление, сказал: «К месту хотел бы напомнить здесь слова Калининна, обращенные непосредственно к вам, молодым. Казалось бы, говорил Калинин, что может быть проще, грубее, чем ухаживать за свиньями. Однако... чтобы связать это дело с общегосударственной, с общесоциалистической работой, для этого, безусловно, надо обладать разумом и большой идейностью, надо быть патриотом социалистического строительства, внутренне ощущать, что эта нанипримитивнейшая работа является одним из кирпичей, из которых возводится здание нашего социалистического общества... Сказано, товарищи, не сегодня, а между тем звучит актуально. Не так ли?»

Сел между Якимом Якимовичем и Тодосом Осиповичем, выжидательно смотрел в зал, наполовину пустой и молчаливый. Тодос Осипович наклонился к Родиону, что-то озабоченно сказал ему, бессильно развел руками. Марта поняла это так: «А разве я вас не предупреждал, Родион Корнеевич, что это — напрасная затея? Где вы видывали, чтоб кто-то из них согласился перейти в коровник или свинарник? Не та пошла ныне молодежь. Я правильно говорю? Правильно!» Родион опустил глаза. А потом вдруг встрепенулся, будто в нем проснулась надежда, отыскал взглядом ее, Марту, прищурился, словно бы спрашивая укоризненно: «Ну а ты, сестрица, что в рот воды набрала? Выручай! Если уж ты не выручишь, тогда кто же?..»

Марта почувствовала, как пылает ее лицо. От стыда за себя, за всех. Подняла руку: «Прошу слова!» — «Поднимись на сцену, Марта, — позвал из президиума Соловьев, заметно оживляясь, — к трибуне». — «Скажу и отсюда. Собственно, много говорить не собираюсь. Согласна пойти на свинарник. По комсомольской путевке».

Дома Максим сказал: «Для нас, конечно, было бы лучше, если бы ты работала в клубе. Для семьи лучше. Но если уж так решила, что ж, я поперек дороги не стану. Тебе виднее. Наверное, ты не с бухты-баракты пошла на это». — «Конечно, Максим, не с бухты-баракты. Хорошо все взвесила. Надо ж было кому-то идти... Клубная работа никуда от меня не убежит. А сейчас я должна проверить себя. Вот именно, проверить, чего я стою на этой работе, где мать, сестра...»

Конечно, думает Марта, надо себя испытать. Должна все преодолеть. Пусть хоть что угодно! Каждый должен себя преодолеть — свои сомнения, колебания, лень, плохие привычки. Разве матери легко? Разве им вот легко? А они ведь не один десяток лет на ферме. Родион говорит: со временем все тут станет иначе, будут настоящие фабрики молока и мяса. Но ведь — со временем. А сейчас просто нужны руки...

Болит предплечье, пощипывает между пальцев. Известка разъедает кожу.левой рукой отбрасывает со лба прядь волос, утирает на переносице каплю пота, на мгновенье разгибается. Остается последняя клетка, двенадцатая.

За спиной перешептываются.

Побелю эту свою последнюю, за их клетки примусь. Упаду, но выбелю все подряд... Не останавливаясь, темпа не сбавляя, подходит с кистью к их клеткам. Сверху — вниз. Снизу — вверх... Надо водить щеткой свободно, легко, без напряжения, тогда не так устает запястье.

— Э-гей, молодуха! — слышит позади себя голос Неборенчиковой, удивленный и растерянный. — Ты, случайно, не перепутала клетки?

Словно бы и не слышит. Водит кистью и водит. Широко, свободно, легко. Белит их клетки. Вот уже и привыкла. Это ведь только глазам страшно, а руки все делают.

— Так что ж это такое, Меланка? — восклицает Гаманка. — Марта надсаживается, а мы — смотрим себе? А ну-ка, бери кисть!

Подходит, отнимает ведро у Марты.

— Отдохни... Свои уж мы сами... Разве мы не люди?..

Минуту спустя, уже вода кистью по клетке, говорит:

— Думаешь, Марта, сами мы чистоты не любим? Просто — привыкли, будто так оно и должно быть на свинарнике... Можно ведь и по-другому...

— Но ты ж, молодуха, — смеется Неборенчикова, выбеливая свои клетки, — и упрямая...

— Не упрямая, — поправляет ее Гаманка, — а с характером. Еще бы, как и все они, Земледухи.

Глава пятая. КРАСНЫЕ МАКИ

— А правда, — говорит Родион, — здесь здорово?

— Очень! — Олена перестает плести венок из красных маков, с благодарностью смотрит на Родиона. — Очень хорошо здесь!

Перед ними, за седым, почти серебристым ковылем, за невероятно красными маками, за бодряще зелеными кустами можжевельника, далеко и широко расстилается море. На горизонте, на самой границе моря и неба, медленно движется из Феодосии в Ялту призрачный сиренево-белый пароходик, оставляя за собою гладкую спящую борозду.

Там, далеко-далеко, море все время изменяется, так

что даже невозможно определить, какого оно цвета, а поближе, в этой мягко округлой бухте, вода постоянно зеленая. В ней отражаются сосновые рощицы, полого спускающиеся к бухте с окрестных гор.

— Когда-то давным-давно, — рассказывает Родион, — эту бухту открыли генуэзцы и назвали ее Зеленой.

На желтой прибрежной полосе одиноко сохнет старый рыбацкий сейнер, а чуть подальше на легких волнах покачиваются новенькие, яркие лодочки, привязанные к красноватым буям, а еще дальше белеют невода-переметы — там время от времени над водой вскидываются дельфины.

Узкой тропинкой, прорубленной со стороны моря в подножье горы Орел (гора и в самом деле смахивает на орла, который, побежденный в поединке с соколом, упал у берега, по самую грудь зарывшись в волны), узкой тропой, названной Царской, цепочкой тянутся курортники, направляющиеся к гроту Шаляпина — громадной пещере, вымытой, пожалуй, еще в те времена, когда эти горы были морским дном, — те самые курортники, которые обогнали их под горою Сокол.

Родион с Оленой тоже направляются туда, к этому гроту, однако им спешить незачем.

С утра в Приморске в тени платанов и лип крикливые молодичи бойко торговали земляникой «Виктория», черешнями «Воловий глаз», гидропонными огурцами, длинными и кривыми, как турецкие ятаганы, и улицы городка густо и раздражающе пахли овощами и фруктами, а после, когда солнце перекатилось с меняющего краски моря на зеленовато-серые горы и словно бы зацепилось за вершину горы Орел, прохладные пресные запахи, переносившие силой воображения в бог знает какие времена и края, подавил гнетущий дух разогретого асфальта.

Вместе с полуденной жарой пришло тоскливое ощущение безысходности. Оно как бы вернулось к Родиону из тех дней, когда, узнав от Марты об Оленных новостях, напряженно, болезненно думал, как ему быть, что делать. Из хаты перебирался по ночам под ореховую крону. Однако уснуть не мог и под орехом. До самого утра вслушивался в ночь, и каждый шорох из налитых покоем и тишиной садов возвращал его в те ночи, когда был он с Оленой. . . Вставал вместе с солнцем — в угнетенном настроении, разбитый, с тупой болью в голове,

с горьким привкусом табака во рту. Не завтракая, направлялся в колхоз, но даже работа, каждодневная суета не могли вывести его из прострации. Сталонился все более равнодушным, утрачивал вкус ко всему. Знал: только дорога может вернуть его к жизни, она уже звала его, манила в неведомую даль. И когда Сергей Галактионович отпустил, не расспрашивая, какие именно личные дела ему надо уладить, отпустил даже на больше, чем просил, тоскливое ощущение безысходности исчезло. А сегодня утром оно словно бы вернулось, Родион вновь ощутил потребность в дороге, в движении, и в полуденное время вдвоем они вышли из Приморска к гроту Шаляпина.

Шли пыльной горячей дорогой между виноградными, розовыми и лавандовыми плантациями, потом — такой же разогретой тропой, извилистой, каменной, словно бы нависшей над морем; под горой Сокол их обогнала пестрая и шумливая толпа курортников, а им торопиться некуда, шли и все время собирали на обочине горные цветы, Родион говорил Олене, как называется каждый цветок. А потом обоих поманил островок невероятно красных маков, растущих на склоне среди седого, почти серебристого ковыля. Стали взбираться туда.

Из-под ног предательски выскальзывали камни, катились с нарастающим грохотом вниз, к морю. Родион карабкался впереди, тащил Олену за руку, в траве шуршали ящерицы, Олена то и дело ойкала, испуганно вскидывалась, а когда из-под куста грабниинка очумело выскочил заяц, она и вовсе испугалась.

Наконец-то добрались до этого манящего островка, нарвали маков (Родион сказал, что эти маки, наверное, поздние), и теперь Олена плетет вепок, а Родион смачно покуривает.

Далеко впереди, где-то там, над вырисовывающейся Ай-Петринской яйлой, толкутся тучи. Исполинскими заревами поднимаются как бы из невидимых отсюда кратеров вулканов, встают и медленно, но неудержимо охватывают плотным кольцом окраины Ялты. Обессилен, они перестраиваются перед новым наступлением, высылают вперед разведчиков-пластунов. Маленькие тучки, оторвавшись от грозной массы и словно бы выброшенные из пращи, движутся навстречу друг другу, смыкаются, на глазах светлеют, из густо-фиолетовых становятся мышистыми, закрывают Ай-Петри летучей пеленой, обрушивая на Ялту густой дымчатый дождь.

— А там, у нас, идут дожди?

— Выпадают... Перед самым моим отъездом даже ливень с градом выпал...

— Представляю себе такой ливень в наших Окнах. Мать бросает крест-накрест кочегру и ухват у порога. Так всегда делает, когда пускается град. А еще учила меня ловить градины и перекусывать их, сразу, мол, перестанет. А про волшебную палочку Знатьковой Соломни ты слышал? Мать говорила, будто баба Соломня имела такую палочку, что тучи разгоняла. Встанет градовая туча над Звенигорою или над Волчьим лесом, баба Соломня выходит на порог, погрозит волшебной палочкой и разгонит градовую тучу. Сколько жила, говорят, баба Соломня (ее еще и Знахаркой называли), ни одна градина не упала на село. Предрассудки, конечно. Никакой волшебной палочки не было. Так люди говорят, потому что им нравятся легенды. А вот вспомнила бабу Соломню — и как будто дома побывала...

— Во время последнего ливня страшно околдовался дядько Лаврин. Перед самой грозой приехал на Буг выкупать своего жеребчика. Ну, расседлал, растелешился сам, сел на коня верхом и погнал на глубокое место. Вдруг налетела туча, как шарахнет гром, как ударит град, жеребец испугался — и к берегу. А потом — в колхозную конюшню.

— Вместе с дядьком?

— Дядько славливает жеребчика пятками, садит кулаком между ушей, кричит: «Стой, дурак! Стой, турок загранишный!» Эге, жеребец пугается еще больше и несет дядька в чем мать родила — ну, чисто Адам! — через все село прямо к конюшне. Мы на колхозном дворе как увидели это диво — со смеху попадали. А дядько мигом в конюшню да в сено!.. Там и пережидал, пока пастушата не принесли ему с Буга одежду.

— Вот это цирк! — весело смеется Олена.

— О-оо, это надо было видеть!

Родион подает Олене маки, показывает в сторону моря рукой.

— Вон там он стоял тогда, наш «Адмирал Нахимов». Я этих мест, может, и не знал бы никогда, если б не острый приступ аппендицита. Море как раз штормило, крейсера качало, и наш корабельный хирург не решился оперировать. Пришлось высаживать меня на берег. «Адмирал Нахимов» бросил якорь против горы Орел, на воду

спустили шлюпку. Было баллов семь, и оказалось — не просто высадиться на берег. Но на весла сели настоящие «морские волки» и доставили благополучно. А когда вернулся за мною, я успел уже все здесь обойти, осмотреть и полюбить. Этот уголок, к счастью, еще не очень обжитый курортниками, временами даже снится мне. По дороге к тебе думал: что бы там ни было, а повезу тебя сюда, покажу Зеленую бухту, сосновые рощи, сосна здесь необычная, раскидистая, только в Крыму растет (такая встречается еще в Югославии и Греции), горы Сокол, Орел, грот Шаляпина. . . И вот мы здесь. . .

— Здесь. . . Даже и не верится. . . А может, это всего лишь сон? От Белогорска не такой уж и дальний свет, а я здесь ни разу не была. И вообще — не часто решаюсь ехать к морю. Бывало, соберусь уже, а потом передумаю. Страх охватывает. Стыдно говорить, но я боюсь моря, боюсь больших городов. . . Боюсь, да и все. . .

Родион, выбросив окурок, ложится лицом к небу (голова сладко дурманится от пьянящего, острого духа нагретого полуденным солнцем горного разнотравья), кладет руку на Оленино плечо и легонько привлекает ее к себе. Глянула настороженно и выжидательно, как смотрела вчера в Белогорске в первые минуты встречи, откладывает венок, ложится рядом, тоже лицом к небу, на его руку, косой накрывает грудь.

Голова Родиона лежит ниже, в выемке, — и красные маки, и седой ковыль видятся ему словно бы сквозь еще одно лицо Олены, призрачно-просветленное, отклонившееся или наложенное на истинное. Какой-то оптический фокус, смещение зрения или что там еще, а между тем Родиону кажется, что он и в самом деле видит двух Олен.

— Не надо, — говорит ласково, переливая сквозь пальцы невесомый и горячий шелк ее волос, лаская лоб, брови, глаза, нос, уста, подбородок, осторожно, чуть касаясь кончиками пальцев щекочущие гладкой кожи. — Ничего уже не надо бояться.

Олена сразу же сжимается в клубок, потом резко переворачивается лицом к земле, по-детски доверчиво и в то же время отчаянно прячет голову под мышку Родиона, закрывает лицо руками и начинает рыдать.

Наступает момент, когда необходимо сказать Олене все то, ради чего приехал, наступает то мгновенье, которое все может поставить на свои места. Родион чувствует

это и горько сожалеет, что этот миг не наступил раньше, еще вчера, сразу же по его приезде. Теперь Олена не плакала бы.

Собственно, Родион так и решил для себя: объясниться сразу же, однако этого не могло произойти. Предупрежденная телеграммой, Олена встречала в Белогорске все послеобеденные автобусы из Симферополя. Родион еще издали заметил, как она ищет его в окнах, не находит и оттого еще больше волнуется.

Когда же он, не замеченный или не узнанный ею, вышел из автобуса, шагнул к ней, подал руку, она совсем растерялась. Во всей фигуре, уже как будто бы и не девичьей, а женской, в движениях, взгляде, интонациях чувствовалась вина. Это ощущение передалось и ему, он также почувствовал себя виноватым перед нею, да и перед самим собой. И нечего было думать о том, чтобы преодолеть эту неуверенность, растерянность, чувство вины.

Где-то ужинали. В том ресторане за соседними столиками, сдвинутыми вплотную, веселилась женская компания, наверное, отмечали какой-нибудь юбилей или событие; время от времени Родион перехватывал завистливые взгляды, обращенные к Олене, необычайно бледной (бледность ей придавали черные волосы, распущенные по плечам, и темное платье) и в этой щемящей, даже несколько трагичной, бледности необыкновенно красивой. Не одна из женщин завидовала Олене, ибо считала, вероятно, счастливой; однако даже шампанское не придало им ощущения раскованности, чувствовали себя так же неуверенно, растерянно и виновато, как и в первые минуты встречи на автостанции.

Родиону упорно приходила в голову сценка, которую наблюдал он года два назад на вокзале в Риге.

Двое, парень и девушка, а возможно, мужчина и женщина, сидели на полосатом, сваренном из труб барьере, отгораживавшем перрон от путей, сидели перед четвертым вагоном экспресса Рига — Киев; он — чернявый, коротко стриженный, в рыжевато-вишневой кожанке, ярком кашне; она — с тонким нервным лицом, длинными пепельными волосами, прямо спадавшими на воротник кремового плаща; они сидели и молчали, даже не смотрели друг на друга, а словно бы куда-то в себя и в свою разлуку; она сложила на коленях руки, забавлялась перстеньком, а он держал в руке красную гвоздику; по всему

видно, что они по-настоящему влюблены, значит, им было что сказать друг другу, однако молчали оба; возможно, этот миг разлуки возбудил в их душах такие страсти, что, стоило кому-то из них произнести хотя бы слово, как оба разрыдались бы. . .

Что-то подобное происходит и с нами, думал Родион, поглядывая на бледное, будто из тонированного гипса отлитое лицо Олены, хотя это и не разлука, а встреча.

Говорили о всяких мелочах, упорно, будто сговорились, обходили молчаньем главное, и сегодня из вчерашнего разговора вспоминаются лишь интонации, жесты, взгляды. И Родион, и Олена откладывали это главное на сегодня. И вот наступает миг, когда это главное необходимо сказать. Однако Родиона опережает Олена.

Не поднимая головы, все еще всхлипывая, заговорила поспешно, возбужденно, нервно, словно боится, что Родион не позволит ей выговориться до конца.

— Как хочешь, так и суди меня. . . Он — пристойный, порядочный человек. . . Во многом помог мне. И с работой, и с учебой. Вообще я попала меж добрых людей. Если бы не они. . . Но. . . Чем больше мне уделяет внимания, тем ненавистнее. . . Глаза бы мои на него не глядели. . . Подарки возвращаю, цветы — выбрасываю. . . А со временем стала привыкать к нему. . . Мысли, мысли. . . Мне ли еще, думаю, перебирать! На что надеяться? К тому, что было, возврата нет. Не нужна ему, то есть — тебе. Забыл, двух слов не напишет. Плачу — глаза опухают. . . А потом начинаю думать иначе: а что ему писать? Не он от меня, а я от него сбежала. Должна сама написать, извиниться, сказать, что не забыла, что помню все, что. . . А сбежала, потому что иного выхода не видела. Казалось, земля подо мной горит. . . Уже, бывало, и к столу сяду, напишу: «Добрый вечер или день, Родион Корнеевич!» А дальше — не могу. Бьюсь как рыба об лед. Ну, а тут на майские праздники он мне говорит: «Давай поженимся». Ответила — подумаю. А хозяйка моя (поверишь ли, она мне второй матерью стала) свое советует: «А может, это твое счастье. Выпустишь из рук, локти грызть будешь». Ночами не сплю, думаю. Представляю себе свою с ним свадьбу. И почему-то лишь так. Едем в ЗАГС. Все веселые, а у меня на сердце — камень. Ведет меня под руку, что-то говорит, а я все оглядываюсь, и

едешь ли ты? До самого порога оглядываюсь. Вот уже и порог. Оглядываюсь в последний раз, смотрю вдоль улицы. Мчится такси, подруливает к крыльцу, открывается дверца — ты. Бросаю под ноги цветы и бегу к тебе... Вот так мне представлялась эта свадьба, когда начинала думать о ней... Если б ты даже и не приехал ко мне, я все равно так поступила бы — убежала бы даже от стола, где расписывают... «Может, это твое счастье...» Если б я не знала, что такое счастье, может, и послушалась бы ее совета. Но — знаю ведь... Стоит лишь закрыть глаза — и сверкают над Бугом молнии, и ты поднял меня на руках высоко-высоко, выше верб, и пахнет холодная мята на причелке нашей хаты, где стоят старые сани, и соловьи в левадах выщелкивают, и... С ума сойти можно... И такое отчаяние охватывает, а посоветоваться не с кем... Вот и написала матери: так, мол, и так, сватаются тут ко мне, приезжайте, посмотрите, да посоветуемся... Пишу матери, а в душе надеюсь: узнаешь, что замуж собираюсь, может... может, скажешь что-нибудь... Как хочешь, так и суди меня, Родион. Домой приехать не решалась. Видал, аж куда забралась...

— Вот что, Олена... Не думай о том, что было... Твоей вины в этом нет. Дети за родителей не отвечают. Будем сами отвечать за своих детей... Винават я перед тобою. Можно и нужно было разыскать тебя раньше, но... Но, честно говоря, мы не всегда можем себя преодолеть, то есть — преодолеть те преграды, которые мешают людям быть людьми, быть счастливыми. На это необходимо время... Сейчас уверен в одном: порознь нам быть нельзя, надо быть вместе. Именно об этом и приехал сказать тебе...

Почти одновременно поворачиваются друг к другу лица — глаза и губы сближаются на расстояние дыхания, и Родион ощущает, как у него останавливается сердце.

В широко раскрытых глазах Олены словно бы разверзаются темные материк, потом они задегиваются пеленою легкого летучего тумана, и оттуда, из невообразимых, умопомрачительных глубин, — вырывается сияние. И в этом освобождающем, неудержимом потоке янтарного сияния, освещающего каждую клетку, наливающегося звонкой и волнующей силой, Родион как бы постигает истоки и таинство бытия. От этого сознания, от этого приобщения к вечности и первозданности хочется рыдать,

смеяться, обнимать и прижимать к себе седой ковыль, красные маки, зелено-рыжие сосны, белые тучи и синее море, обнимать и любить весь необъятный мир, а в нем — ее, Оленку.

Он желает ее, как желал все эти годы, желает бурно и ласково перелиться в ее красоту, смуглую и чистую, стыдливо-таинственную, стать хотя бы на миг ее печально-сияющими глазами, усталыми и ласковыми устами, лебедино легкими руками, отдать ей всю свою нежность, гереболевшую, но не пригасшую, а между тем чувствует, что это новое сближение с ошеломляющим восторгом, насыщенным стремлением к невозможному, болезненным и обновляющим изнеможением — просто мираж в сравнении с этим торжественным мгновением осознания своей потребности в жизни, с этой трепетной волной постижения полноты человеческого счастья. Расчувствовавшийся, взволнованный и словно бы заново рожденный, Родион привлекает к себе Олену и тихо целует ее в глаза.

— Надевай, Оленка, свой веночек из красных маков и пойдем. . .

— Я еще не все сказала тебе, Родион. Самого главного не сказала. . . Сейчас скажу. . . Дай только передохнуть, сердце так колотится, остановиться готово. — Припав к его плечу, охватив его шею горячими руками, Олена шепчет: — Ты уже отец, мой любимый. . . Пять лет, как отец. . . Сын у тебя. . . Родион. . .

Глава шестая. ОКНА

Улыбаясь в пышные черные усы, с двумя большими, как школьные глобусы, арбузами Родион подходит к яме с замесом.

— А нужны ли здесь помощники?

— Как раз вовремя, братец, — подает голос Марта из стайки молодых женщин, выше колен утопающих в рыжей глине, притрушенной пшеничной половой. — Воп кухарки уже голубцы салом заправляют, так поможете наворачивать, сами не управимся.

— Из-за твоих, Корнеевна, голубцов мы и летели сломая головы, боялись опоздать. — От «бобника», поставленного у ворот, где привязаны и Знатьковы кони, подходит Карпо Гоцуляк, неся впереди себя ящик брацлавского

пива. — Возвращаемся из Житников, остановились возле Буга, как раз радиатор закипел, только из машины — а оно, что-то такое запахущее, что-то такое вкусное, как защекочет в носу, так Родион Корнеевич и говорит: «А клянусь богом, голубцами с Гремучего Кута пахнет. Видать, у Марты на толоке уже руки моют и к столу садятся. Заливай поскорее радиатор, не то приедем и лишь облизнемся».

Карпо ставит ящик с пивом в тени развесистой, облепленной скворешнями груши на штабель красного обожженного кирпича.

— Эге-е, — протяжно произносит Настя, — вас много таких, любителей поесть на дармовщинку. Приходите на толоку, когда уже за столы садятся.

— А у нас совещание было в районе, — оправдывается Карпо. — Да мы с Корнеевичем отработаем свое.

— Ну так айда, впрягайтесь в носилки — до обеда еще несколько ходок сделаете, может, что-нибудь и вам перепадет.

— Согласны, — весело кивает Родион. — Возьми-ка, сестричка, арбузы да вынеси нам старые штаны, какие найдешь.

— Так мы ж шутим, братец, отдыхай, оно тебе надо!

— Надо, надо, — голосисто отзывается Антося. — Пусть привыкает. Скоро, может, и у себя толоку созовет, так кто раствор носить будет? Хозяин должен пример подавать.

— Ой, не скоро это будет, Антося, — говорит мать, стоя у летней кухни. — Наш Родион — как и тато его. Тот, бывало, похвалялся: «Вот поставлю людям окна, потом, Варька, и себе обновим». А Родион, этот так успокаивает: «Вот когда не станет в селе ни одной глиняной хаты, тогда и мы каменную поставим. А до тех пор даже и не напоминайте». Как же, не хочет, чтоб люди глаза кололи.

— А Тодос Осипович очень этого боялся. Год прошел — и домище на подворье вырос, другой прошел — еще один, в Житниках. Потом, когда прикрутило, один дом продал, теперь в чулке держит...

— Не у всех же, Антося, глаза бесстыжие. Да мы, люди добрые, не сильно убиваемся — не под открытым же небом живем. С тех пор, как в колхозе свой кирпичный завод, полсела уже, да где там полсела — больше! —

новоселье справили. Справим и мы когда-нибудь, правда ж, сынок?

— Справим, мама, а как же! Да неси ж ты нам штаны, Марта!

Родион нетерпеливо закуривает.

Из дверей новой хаты-каменки, таща за собою носилки, залепленные глиной, медленно выходит дядько Лаврин — вельветовые штаны закатапы до колен, пестрая ковбойка, застегнутая лишь на одну — нижнюю — пуговицу, разлезается на дебелих его плечах, соломенная шляпа, густо залитая известкой, лихо сбита на затылок, будто кубанка. Бросает носилки перед ямой с раствором, берет у Родиона сигарету, отрывает фильтр, будто голову петуху — «с этим фильтром не продирает», — прикуривает от зажигалки, щуря правый глаз.

— Хочешь, гвардия, найду тебе работу?

Молодицы, держа пальцами подолы широких складчатых юбок, дразня глаза мужчин стыдливой белизной исподних рубашек (у многих — с тонкими, нежными кружевами), останавливаются посреди замеса, сдерживая на устах выжидательные усмешки, поглядывают на дядька Лаврина — ну, сейчас что-нибудь отмочит.

— Какую же, дядько Лаврин?

— А такую, гвардия. Ты, Марта, вместо штанов вынеси им тестев кларнет.

— Зачем это? — останавливается Марта на полдороге.

— Ушкварят вам «Гречаников» — шустрее раствор месить будете. А то, вижу, у вас, как у Книшевой Харитины с невесткой: целый день копали картошку, копали, вечером сварили, поужинали, так нечего уже было в погреб засыпать.

— Музыка, дядько Лаврин, дело хорошее. Вот только без барабана никак не обойтись, не ушкварим «Гречаников». Так, может, пусть Марта заодно и заслонку с макогонном выносит?

Напуганные хохотом, из-под стрехи старой хаты выпархивают ласточки, а дядько Лаврин даже и усом не ведет.

— Пусть выносит. Вы думаете, я уже забыл свое старое ремесло? Ого! Щас как ушкварим — на кладбище мертвые встанут:

Гоп, моп гречаники,
Держи, кума, подштанишки. . .

Пританцовывает перед замесом, сгибая ноги в коленях, молотит руками, будто и вправду на барабанах играет.

— Танцуй, гвардия! Гоц-ца-дрил-ля, го-ца-ца!

Молодницы, враз заухав, заохав, тут же хватаются за руки, выталкивают самую молодую из них Антосю в середину замеса, в круг, — и уже мелькают подола юбок, кружевные сорочки, смуглые сильные икры, к которым прилипла рыжая глина и золотистые остья, колышутся пышные бюсты.

— Ух, ух! Ох, ох!

Дядько Лаврин не выдерживает, выше поддегивает штаны, лихо ныряет между женщин и уже выделяет посреди замеса гопака, вскидывая ножницами незагорелые, бесстыдно белые икры — глина от такого дикого надругательства должна была бы вопить, стонать, а она лишь довольна, сыто чавкает под Лавриновыми ногами, выворачиваясь в стороны тугими жирными пластинами.

— От артист, от артист, — смеется из кухни мать. — Истинный Штепсель и Тарапунька!

— Варька, не делай из меня кумира! — горланит дядько Лаврин.

На крыше, привязавшись к трубе веревкой, дядько Гервасий с Максимом проволочными скребками очищают от ржавчины жель. Оставив свое занятие, засмотрелись на суету.

Марта выносит старые штаны, но предлагает:

— А может, хлопцы, это... может, заморите червячка, пока мама обед приготовит? Присоединяйтесь к деду Знатьку и детям, сейчас и вам что-нибудь подам.

Дед Знатько сидит у длинного стола, сколоченного из нестроганных досок-сороковок и вкопанного у старой хаты, возле плетеного тына, за которым старый Грузд уже выкосил землянику, и штабелем красного кирпича. А напротив деда расселись мальчишки: двенадцатилетний Василько, десятилетний Родион, пятилетний Михайлик. На столе — три тарелки: с холодцом, селедкой и салатом, пузатенький графин с вишнежкой. Дед, прислушиваясь к шумной суете, сосредоточенно вылавливает вилок огненные дольки помидоров, макает в юшку хлеб, не спеша обедает. Мальчишки, особенно замузанный Михайлик, во всем подражают деду. Под столом, лениво переваливаясь с боку на бок, снуют сытые белые утки, что-то вылевывают из босых дедовых и мальчишеских ног, дру-

гне, разомлев, дремлют на крыше погреба. Над деловой и мальчишечьими головами роятся пчелы, юрко выютя ласточки.

Наклоняясь под веревками, отводя в сторону висящие на них детские рубашечки, ползунки, пеленки, Родион с Карпом идут в клюню переодеваться. Под кустом сирени, на причелке старой хаты стоит детская коляска. Родион, а за ним и Карпо останавливаются, Родион отбрасывает тюлевое покрывало — заглядывают оба в коляску. Там, на белой подушечке, почмокивая во сне соской, лежит самый младший Грузд.

— Спит? — спрашивает мать из кухоньки.

— Спят, — кивает Родион. — Максим Максимович спят.

Минуту спустя, переодетые в старые штаны, голые по пояс, понгрывая упругими мышцами, оба возвращаются. Дядько Лаврин, надувая щеки, вилами отрывает от вязкой массы туго замешанную глину, кладет на носилки:

— Побольше им, дядько, накладывайте, — лукаво советует Настя, — пусть наверстывают.

— Я так и делаю. Задние мосты ничего — выдержат, Га-га!

Увидела сон, как месяц взошел,
Приснился другой, как милый пришел...

Задумчиво, будто челн из предрассветного тумана, выплывает из хаты на подворье песня. Запела Олена. Разговоры, шутки, насмешки умолкают, все невольно заслушались. Олена как будто и не поет там, в хате, где вместе с другими женщинами, старше ее возрастом, белит стены и потолок, а исповедуется в самом заветном, самом тайном, будто в хате нет никого, только она, наедине сама с собой, так почему бы и не помечтать вслух?

Милая, ты спишь? Или так лежишь,
Что же ты со мной не заговоришь?

Так белые вышитые рушники стелют под святой хлеб, как сейчас вот выстилают свои голоса под песню-думу Карпова Аглая, тетка Катря, Фотина Гаманка, Неборенчикова Меланка, Христя Заворитня, тетка Палажка. Не рвутся одна впереди другой, ни единой фальшивой ноты, ни одного неискреннего слова — сама душа, сама жизнь, сама доля женская, прежняя, нынешняя и будущая, льст-

ся в мелодии, слышится в словах. Кажется, не хор поет, думает Родион, а многоголосое женское сердце. Это одна из тех окнянских песен, которые с детства перехватывают дыхание, вздымают в душе неведомо откуда накатившие волны и бури, заставляют беспричинно молча рыдать и возноситься душою до самых небес, возвращаться в седую старину, в те времена, в которые эта песня-дума взлелеяна, стремиться к неизведанному, о котором мечтаешь. На слаженном, искреннем женском многоголосии все-таки выразительно выделяется глубокое сопрано Олены:

Милый, я не сплю, просто так лежу,
Про житье-бытье думу думаю...

Дед Знатько и его добровольные помощники уже ото-бедали, подошли к замесу.

— Спасибо хозяйшкe за обед. Так что, Марта, еще половы привезти или уже, знать, довольно?

— Не знаю, дедусь, что и сказать.

— То, знать, еще раз обернемся. Поехали, казаки.

В мальчишеском гурте дед Знатько идет к подводе. Дядько Лаврин бросает на носилки еще один навильник, пришлепывает сверху.

— Газуй, гвардия!

Родион с Карпом переступают порог — и песня смолкает. Карпова Аглая, заметившая их первой, упирается руками в бока, весело смотрит с дощатого помоста, из-под самого потолка.

— О-о, у нас новые носильщики! Смотри-ка, какие пухленькие, даже и пупков не видать. Эти глины наносят — запаримся...

Четверо их — Аглая, Олена, Фотина Гаманка и тетка Катря — стоят на помосте, белят потолок и стены. Фотина с Катрей, изгибаясь дородными станами, коротким и красивым движением правой бросают — глина, оторвавшись от руки, будто врастает в стену или в потолок. — потом расплескивают ее ладонью, Олена с Аглаей после них заглаживают терками и полутерками, длинными линейками. Христя Заворитня, тетка Палажка и Неборенчикова белят внизу.

Пожилые уже женщины, только Олена с Аглаей — молодые, однако столько красоты в их движениях, столько женственности, что Родион невольно любителю, как и там, на улице, когда молодницы, раззадоренные дядьком Лав-

рином, пустились посреди замеса в танец. Ибо и в самом деле нет на этом свете ничего прекраснее женщины и труда ее, особенно тогда, когда соберутся женщины на толоку — обмазывать новую хату пли на току — веют, перелопачивают, сушат хлеб. Тогда в их шумливой толпе трудно разобрать, где молодая, где пожилая, где писаная красавица, а где дурнушка. Раздобревшие, переполненные чувствами, помолодевшие, начнут песню, в лад и к месту, и уже кажется, что они и родились с ней. С песней на устах родились, думается в такую минуту, с ней же и покинут этот удивительный мир, так и не налюбовавшись, не наработавшись и не напевшись всласть. Этот общий труд, эта песня, это радостное ощущение своей принадлежности к обществу духовно облагораживают наших женщин — матерей, жен и сестер, не только облагораживают, омолаживают, но и возвеличивают их до уровня богинь и цариц. Целую ваши руки и благословляю вашу песню!

— Принимайте, мастерицы, раствор, — весело говорит Роднон.

— Ой, смотрите, хлопцы, не надрывайтесь так, — лукаво и сочувственно советует Фотина Гаманка. — У вас же и жены молодые, пожалейте их, если сами себя не жалеете. — Кашлянув многозначительно, довольная тем, что оба покраснели, просит заискивающе: — А подайте-ка кто-нибудь из вас холодненькой водички, что-то и мой радиатор закипает. . .

— Язычок у вас, тетка, — смеется Олена, соскребая с линейки глину. — Хлопцев в краску вогнали.

— Как же, их вгонишь. . . А может, неправду сказала? Очень тебе Радивои нужен будет, если не сможет ни в бой, ни в строй! . . Так же, как и тебе, Аглая, Карпо.

Роднон берет с окна ведро с водой, поднимает на помост, наклоняет к Гаманке. Гаманка жадно пьет, потом деланно пугается и возмущенно вскрикивает:

— А цур тебе, Корнеевич, — куда ты за пазуху льсишь?

— Есть куда, — ровным голосом добавляет Неборенчикова. — Там у тебя где-то пуда три. . .

— А что, может, меньше тебя работаю? — Гаманка выпрямляется, утираясь рукавом ситцевой кофты. — Только я ж, Меланка, одна сплю, а ты одна не можешь, к своему Прокопу жмешься, так и хочется на муженька руку положить. . .

— Эге, если б только руку.

— Глашка, бесстыдница, прикуси язычок!
— Во так на́, тетушки! Вам, видишь, шутить можно, а нам — нет?

Со двора, вытирая фартушком руки, входит Марта.

— Закрой, Марта, двери! Закрой скоренько!

— А это зачем, тетка Катря?

— Чтоб смех да веселье из этой хаты не убежали. Распрямившись перед окном, Неборенчикова Меланка обращается к Роднону:

— Просьбу к тебе имею, Корнеевич: не отвез бы ты своим «бобиком» моего Прокопа в Винницу?

— Если надо, так отчего б не отвезти?

— Надо, голубчик мой, надо... Что-то у него в легких хрипит, аж булькает, так хочу в Пироговке просветить на рентгене, а заодно и себе зубы забомбировать.

— Сама не можешь просветить? — спрашивает Гаманка. — Да возьми только две лампы, одну поставь спереди, другую...

— Где ж они теперь, те лампы! Уже давно на свалке...

— Ладно, Меланья Харитоновна, когда скажете, Карпо и отвезет вас обох.

— Вот спасибо, Корнеевич... Слышишь, Марта, а хорошо тебе стены мажем? Изьяна не видать?... Эге, не найдешь. У нас Олена Роднонова за прораба. Ничего будет у тебя хатка. Когда-то и у попа такой не было или там у старшины волостного.

— А это ей Максим, когда еще встречались, поклялся поставить такую.

— А ты что, Катря, была при том, как он клялся?

— Все мы были. Забыла, как в «Назаре Стодоле» выступали? Там у Назара есть такие слова: «Поставлю тебе хату, светлую да высокую, распишу ее красками — и черными, и голубыми, и зелеными, всякими-превсякими». Вот и выполняет свое обещание.

— Вскоре, бабоньки, и я вас на толоку позову.

— А я тебе, Меланя, так вот напрямую скажу: на что она тебе, новая хата, если твоего Прошку уже светить надо?

— Так светить же ж ему, Фотина, только легкие надо, может, там ничего и нет, смалит безбожно, вот и кашляет. А так он еще ничего, хоть и на ногу налегает.

— А я у тебя, Корнеевич, вот о чем хочу спросить: когда ж это в нашем сельмаге будут импортные кресла?

Мягонькие такие. Купила б себе пару, а те табуретки спалила б уже к дьяволу. А что мы — хуже людей? Хоть под старость поблаженствовать.

— Вон вам чего, тетка Фотина, захотелось уже, — говорит Карпо. — А припомните лишь, как на свинарнике материли Корнеевича за то, что в кооперации хлеба нет?

— Когда ж то было, Карпо! Нынче — другие времена, о хлебе и речи нет. Щас будем трясти Родиона за душу — пускай нам кресла импортные раздобудет. Вот будешь, Корнеевич, для Дворца культуры и школы музыкальной новую мебель во Львове заказывать, так уж и для нас, колхозников, заказывай, в момент разберем.

Со двора сквозь окна и двери доносится перезвон курантов. словно бы щедрыми пригоршнями рассыпая хрустальные шарики, куранты бьют двенадцать раз, и вслед за последним ударом над селом, над всеми его холмами и ловадами, звучит песня:

Степью, степью шли на бой солдаты...

Этой весной в День Победы открыли на Гаражинской горе, самом высоком в Окнах месте, мемориал погибшим воинам-односельчанам. Восемь стел из красноватого бужского гранита, на каждой из которых выбито полсотни имен, будто восемь знамен, обожженных и задымленных пожарницами войны, склонились в суровом прощальном молчании вокруг белой фигуры Матери-Отчизны. И теперь ежедневно в полдень на холме Славы звонко и торжественно бьют куранты, и вслед за последним ударом, словно бы из лепестков Вечного огня рожденная, начинает звучать величавая, печальная и мужественная песня. Слышно ее в самом дальнем уголке села, и, услышав ее, люди оставляют все дела, замолкают и задумываются.

Замолкают, задумываются на мгновение и здесь, в новой хате Марты. Когда песня отзвучала, Фотина Гаманка говорит:

— Вот уже и полдень. Скоро, бабоньки, и на ферму. Гайда, возьмемся дружнее, чтоб через час эту комнату и закончить.

С улицы входит дядько Лаврин, трогает Родиона за локоть:

— Окна привезли. Требуется грузчики.

Синий трактор Михайла, перекособочившись над ка-

навой, удовлетворенно пофыркивает, будто нашептывает что-то Карпову «бобику». С крыши задом наперед спускаются дядько Гервасий и Максим. Старый Грузд, в белой полотняной сорочке с расшитым воротом (гимнастерок с тех пор, как пришла в его дом Марта, уже не носит), соломенной шляпе с широкими полями, возится с Михайлом (Михайло в одной застиранной майке) над оконными рамами и переплетами, сложенными на прицепе, светло-желтыми, словно бы из ярого воска отлитыми, снимают через металлический борт. Снизу Родион с Карпом и дядько Гервасий с Максимом подхватывают рамы и переплеты на руки. Старый Грузд, степенно покашливая, предупреждает:

— Не торопись, паринь, не торопись! Легонько снимай. Это тебе не бревна, а окна!

Окна носят к хате мимо замеса.

— О-о! — прищелкивают языками молодицы. — Славные окна!

— Эге! Такие же и Корней Родионович делал.

— Раньше Корней Родионович, а теперь Ничипор Иванович всему селу окна мастерит. . . Такое ремесло не умирает. . .

Снесли, сложили рамы и переплеты к новой хате, закуривают, разглядывают вблизи, щупают руками.

— Добрячий материал, и работа добрячая.

Старый Грузд окликает Максима с прицепа:

— Гей, паринь! Иди-ка сюда, не все еще забрали.

Подает сыну какие-то металлические прутья, кольца.

— Эти железяки, батько, зачем?

— А это, паринь, — весело скалится Михайло, — кузнец выковал, чтоб твою молодницу случайно цыгане из новой хаты не выкрали. Усек?

— Так это. . . решетки? На окна? Да вы что, батько?

— Бери, бери, — язвит Михайло. — Пригодится. В хозяйстве, как говорит Тодос Иосипович, все пригодится, даже гадюка: повесишь на ворота — соседи не станут надоедать.

— Иди ты, свояк, знаешь куда со своими советами!

С железными прутьями, короткими и длинными, пепельно-сизыми (недавно, видать, в кузнице закаляли) в охалке, вновь поворачивается к отцу, сузив горячие цыгановатые глаза.

— Вы что, батько, хотите, чтоб над нами люди смеялись?

Под его взглядом старый Грузд теряет совсем, смущенно чешет в затылке, хмурит брови.

— Так ведь оно, паринь, когда-то такая заведение была: ставили новую хату, ну и окна — в решетки... Чтоб спокойнее было... Вот и я подумал себе...

— Теперь, батя, другое время. Нам и так спокойно. Мы, как Родион Корнеевич говорит, свой страх в канаве похоронили... Там ему как раз и место, этому железу.

Старый Грузд зыркает на прицелок, откуда за ними с интересом наблюдают, облегченно вздыхает, молча слезает с прицепа, неторопливо закуривает.

— Да я разве ж против? Я за то, чтоо...

Обходя растерянного отца, Максим шагает к канаве, густо поросшей крапивой и лопухами, сильно размахивается — железо, жалобно звякнув, летит на дно канавы.

Максим возвращается во двор, долго моет руки в кадке с чистой дождевой водой.

В хате вновь зазвучала песня:

Милый, я не сплю, просто так лежу,
Про житье-бытье думу думаю...

Глава седьмая. ЖАТВА

Возможно, не так часто, как прежде, однако и в это лето случаются обманчиво-причудливые, загадочно-волнующие дни, когда нечего даже пытаться определить, август сейчас или уже сентябрь.

Выйдешь в предрассветный час на порог, ступишь, весь внутренне сжавшись от щемотки, на влажно-серебристую от густой росы лужайку, там и сям поросшую кустиками ушастых калачиков, — и сладко зашмуришься от невероятно свежих, густо насыщенных красок неба. На мгновенье даже покажется: где-то там, на дымчатых, солнечных полянах Волчьего леса еще и до сих пор пылают фиалковые костры, и августовское небо, будто исполнинский рефлектор, отражает буйно-неудержимое сияние этих костров.

Эта густо насыщенная фиалковость августовских высей станет еще более невероятной, когда с северо-запада через Звенигору нескончаемой вереницей потянутся к юго-востоку редкие облачка, белые и невесомые, словно вылепленные, округленные в чьих-то ласковых руках из гусиного, осотового или одуванчикового пуха, обронен-

ного над обмелевшим Бугом, потянутся величаво и неторопливо, сверху совсем белые, а снизу немного подкопченные дымами селений, над которыми они уже проплыли.

Щурясь на торжественные и свежие краски неба, угадывая, какую же погоду обещают они на нынешний день, сразу ощутишь, всем естеством своим ощутишь бодрящую и печальную соленость далеких морских бризов. Неведомо из каких краев прилетев, неведомо как проломившись сквозь непролазно буйные чащи летних запахов, в которых уже иссякает бродящий хмель переспелых вишен, росисто-сладковатая духота огурцов, а вместо них берет верх терпкий винный дух яблочка — антоновки и ронета, свежий пресный аромат хлебов, эта бодрящая и печальная соленость далеких морских бризов испугает тебя дыханием заморозков, неожиданно даже в дрожь тебя бросит, и ты беспокойно, с сожалением подумаешь: да, лето уже позади — отцвело, отбуйствовало, отщебетало, отмолчало, отлюбило, отродило, отжило. . .

В полуденную же пору, когда солнце поднимется почти в зенит, неподвижно зависнет там и, кажется, будет жарить землю до тех пор, пока не выжжет, не испепелит ее, не опустошит; когда с северо-запада через Звенигору на юго-восток сытыми птичьими стаями неторопливо перевалят белые облачка, когда сотрут они неповторимую фиалковость августовского неба, до слюдяной бесцветности отполируют его и сами сгрудятся на далеких горизонтах усталыми, разомлевшими ярмарками; когда даже твоя собственная тень испугается жары и захочет спрятаться у тебя под ногами в землю; когда иссякнут не только звуки, но и запахи, — в такую полуденную пору точно так же внезапно вспорхнет степной ветерок, и ты до одури захлебнешься горячим, горьковатым напитком полыни и тысячелистника, что только-только начинают выбрасывать сизые кисточки и желтоватые лепестки цвета на чабрецовых выгонах, лещиновых левадах; а когда ты переведешь дух, вдруг с радостным изумлением отметишь, что лето, собственно, еще не отлетовало и до заморозков еще далеко. Вот именно, до заморозков еще далеко-далеко, потому что еще не пошербились серпы, еще и обжинки не праздновали.

Последние два дня, думает Марта, сидя в раскалившемся «бобике» рядом с Карпом, выпали именно такими: хотя и погожие, однако обманчиво-причудливые, загадочно волнующие. С утра душу охватывает гнетущее бес-

покойство: выдержим ли, успеем? После полудня душа, как говорит мать, становится на место: выдержим, успеем!

Проселок тулится к подсолнухову полю. Как и прежде когда-то, подсолнухи напоминают Марте тесные ряды желтоголового воинства, которое, утомленное долгим, изнурительным переходом под палящим солнцем, уснуло прямо на марше, — шли воины, шли да и уснули на ходу, склонив друг другу на плечо светло-русые головы, завернувшись в прохладные зеленые плащи. Затрубит труба — и воинство, пробудившись ото сна, пересечет раскисший проселок и двинется по стерне напрямик — туда, к рыжеющей гречке, к наивно зеленой кукурузе, сиреневой конюшине, а дальше вброд через Буг — к Волчьему лесу.

Третий день дожди обходят поля дальними окрестностями. А между тем после недавнего дождя, залившего поле «мироновки», проселок до сих пор не просох, не затвердел. Прошли комбайны, а кажется — танковая армия размесила, разбила, превратила в грязь этот неширокий шлях вдоль подсолнечника.

Карпо, сердито зажав в зубах погасшую папиросу, ястребом навис над баранкой, крутит ее то туда, то сюда, бросая машину то вправо, то влево, гонит по лужам, залитым мутью, разбрызгивает жирную грязь по сторонам. Марта, падая на твердое Карпово плечо, слышит, как испуганно лопочут подсолнухи, а когда Карпо угадывает, что вон в той луже они могут «засесть», и вырывает на стерню, они едут в сплошном шорохе, сухом и трескучем.

Вчера в такую же полуденную пору Марта ехала этой дорогой вместе с Красножоном. Теперь Сергей Галактинович чуть не ежедневно навещает Окна. На то есть причины. Еще весной, когда сеяли, неожиданно слег Родион. Сердце. Пришлось везти его в Винницу.

Никто еще не ведает, какой будет осень, думает Марта, о весне же и лете дед Знатько сказал: «На моей памяти такого лиха, знать, еще не было». А дед Знатько — самый древний в Окнах человек.

Весною бросали семена в грунт, будто в пепел. Сялки вздымали за собой адскую пыль. Клубясь за агрегатами, пылица поднималась выше тополей, растущих над шляхом, набухала, расплзалась, как атомный гриб; палящий таврический ветер гнал его на село, гриб цеплялся за почерневшие верхушки голых деревьев, висел над селом

с раннего утра до позднего вечера — Окна задыхались и слепли в давящем сумраке. Над засеянными и перезасеянными полями, над укатанными до хрустального звона щелями непрерывно двигались столбы черных смерчей, над Волчьим лесом и Звенигорой неведомо откуда возникали миражи далеких цветущих оазисов, а утки и гуси пугались пересохшего русла Буга.

Все, что взошло, зазеленело осенью и перезимовало, теперь, опаленное невидимым огнем, блекло, высыхало, немощно сворачивалось в желтые трубки, клонилось к земле, а то, что посеяли весной, упорно сидело в земле. Марте казалось, что земля страдает так, как страдает роженица, которая ждет не дождется родов.

Перед майскими праздниками суховей как будто бы обессилел.

Ветры повернули с Карпат и в ночь на второе мая, когда зашвели черешни, принесли долгожданный дождь. В беспокойной душе проснулась надежда: теперь земля утолит жгучую жажду, напьется целящей влаги, двинет житнетворные соки в хлеба, свеклу, травы, все живое пойдет в силу и в рост.

Однако вскоре эта надежда вновь перелилась в беспокойство. Дожди зарядили надолго. Солнце даже не успевало выпить росу, подсушить раскисшие дороги, а над Звенигорой вновь собирались белые тучи, свинцово провисали, наливаясь снизу зловещей чернотой, внезапно, как всегда, ударял гром, распарывал небо — в широкие проломы врвался ливень, град, как картечь, сек все живое.

И вот в такое небывалое за целое столетие лето остались без Родиона.

В тот день, когда Родиона увезли в Винницу, вечером приехал Красножон. Созвали внеочередное партийное собрание. Сергей Галактионович предложил: голову колхоза на время лечения Родиона будет замещать Яким Якимович, а его, секретаря парткома, — она, Марта.

Прощаясь, Сергей Галактионович сказал:

— Теперь я частенько буду наведываться к вам.

С тех пор, как наступили жнива, наведывается чуть ли не ежедневно.

Вчера разыскал Марту на току.

Женщины как раз пришли с фермы, управившись кто с коровами, кто — со свиньями. Принялись сушить — уже в третий раз! — зерно. Поздно вечером, когда на хлеба

упадут росы, вернутся от комбайнов водители, передремлют какое-то время и повезут хлеб на элеватор. А если выдастся безросная ночь, домой вообще никто не пойдет.

Вначале работали молча.

Минувшей ночью, когда на току остался только сторож, замелькали, засветились над селом молнии, свежо запахло грозой. Сторож заполошно ударил в рельс, как на пожар, Марте показалось, что этот тревожный сигнал услышала лишь она одна, кинулась по домам собирать девчат, всех разбудила — сбежались спасать хлеб, переносить с тока в кладовые. Если кто-то из них и задремал, то уже где-то перед рассветом, когда на работу будят не только петухи, но и жаворонки, когда уже и на ферму было пора.

Теперь усталость давала себя знать.

Не слышно было ни смеха, ни шуток, ни песен, как это бывает обычно на току, где уже сами золотистые сыпучие горы наливного зерна, густой и теплый дух хлеба настраиивает душу и все существо на особый подъем, раскованность. Просторный двор тока наполняли другие звуки — звон поточной линии, водопадный шум зерна, сухой шорох деревянных лопат, удовлетворенное поскрипывание веялок.

Марта, — она крутила веялку на пару с Настей, — подумала, что давно не помнит такой утомительной и нервной жатвы. С первого же дня механизаторы были хмурыми. Как и каждым летом, провожали их на жнива всем селом, с музыкой и цветами. Вышли на гороховое поле. Не устали и четверть его длинными покосами, как обрушился ливень с градом — переколотил, вытолок, залил и валки, и некошеное. В грязь техника не пошла — механизаторам пришлось взяться за косы. Управилсь с горохом, пришло время спасать «мироновку», растущую по-над Бугом — жали серпами и вязали в снопы, складывали в копны. Уже несколько дней как распогодилось, и на душе стало легче.

— А давай-ка, сестра, — кивнула Марта Насте, — начинай хорошую песню. Разве ж мы на чужом току работаем, что будто в рот воды набрали?

— Может, эту вот? — Настя на мгновение остановилась, взглянула на девчат, крикнула: — Айда, девоньки, помогайте. — И начала:

Чья ж это долина,
Чья ж это покосы?

Марта подхватила вслед за ней:

Чья ж это дивчина
Распустила косы? . .

Потом песню подхватил весь ток. Показалось, будто и зерно полилось буйным водопадом, и сильнее запахло хлебным духом, и ярче засветились платочки, и сноровистее, согласнее замелькали женские руки. И белой лебедушкой опустился на душу тот высокий, тот особый подъем, та широкая раскованность, благодаря которым ощущаешь себя не просто человеком, а человеком-творцом.

— О-о! Сразу видно, что тут работает ударная бригада, — весело заметил Красножон. — Примете ли, ударницы, в свою веселую компанию? Или вступной нужен?

— Примем, Сергей Галактионович! — ответила за всех Настя. — И даже без вступного. Сейчас каждая пара рук — на вес золота.

— Тогда давайте лопату.

Красножон сбросил белый полотняный пиджак, остался в одной тенниске, сбил на затылок соломенную шляпу, взял лопату и встал рядом с Настей.

— Хорошая песня. Такой еще и не слышал. Ну-ка, начинайте заново — научусь сам, передам кому-нибудь.

Когда допели, Красножон еще раз похвалил песню, потом сказал:

— Привез я вам, девчата, приятную новость. Даже не одну, а две. Первая: сегодня утром у райкома партии поднят флаг в честь вашего колхоза, который убирает лучше всех. Это, как вы понимаете, и в вашу честь — хорошо помогаете колхозу!

— Да как же не помочь, Сергей Галактионович, — сказала Настя, — когда жнива? . . Мы так понимаем: жнива, они для всех жнива. Исключения нет ни для кого. . .

— Правильно понимаете!

— А то как же, товарищ секретарь райпарткома, — ответила из-за соседней веялки Христя Заворитня. — Столько труда вложили, такой урожаем вырастили, так что ж — пусть все под дождем этим (будь он трижды несладный!) сгниет, пропадет пропадом? Нет! Да мы лучше с ног валиться будем, а такого не допустим.

— Спасибо, женщины. От всего сердца — спасибо. — Красножон поклонился всем, потом обернулся к Насте. —

Ну, а другая новость, наверное, прежде всего тебя порадует, Настя Корнеевна. По решению бюро райкома партия твоему мужу Михайлу Ивановичу присужден переходящий районный приз «Золотой колос» — как лучшему комбайнеру. Вот я и приехал вручить его.

Минут через десять выехали на поле.

В машине Красножон закурил, без вкуса затаился и бросил сигарету в пепельницу.

— Статью Гиталова «Дума про хлеб» читала? Обсудили?

— Вчера же, Сергей Галактионович, как только газету принесли. Сначала прочла механизаторам в поле, потом — на току. Правильно, говорят, Гиталов думает, как будто наши мысли высказывает. Да вы и сами, Сергей Галактионович, видите отношение наших людей к хлебу. Все село на жатве. Если не на току, так в поле. Но статья «Дума про хлеб» заставляет задуматься над многими вопросами. Я вот что вспомнила, когда прочтала ее. В прошлом году мимо нашей фермы возили кукурузу. С машины упал кочан. Двое мальчишек стали играть им в футбол. Я растерялась: неужели и мои Виталка и Максим могут позволить себе такое? Что сказать этим мальчишкам? Накричать на них? Пристыдить? Вдруг откуда ни возьмись — тетка Христя, наша сваха. Молча подняла с земли кочан, вытерла о подол и... поцеловала. Мальчишек будто ветром сдуло. И я подумала: мои слова, какими бы они ни были б осуждающими, не так подействовали бы на этих мальчишек, как подействовал этот молчаливый поступок тетки Христи... Для того, чтоб привить любовь и уважение к самому святому, очевидно, одних лишь слов мало — нужен личный пример.

— Хорошо сказано, Марта Корнеевна.

Красножон улыбнулся, и лишь здесь, в машине, Марта заметила следы переутомления на его тщательно выбритом лице.

— Не бережете себя, Сергей Галактионович.

— Как это — не берегу?

— Мало спите. Так недолго и с ног свалиться.

— Это, Марта, дорогая моя, было бы не такой уж дорогой платой за выигранный поединок с природой... А тебе разве легче? Через час-другой — на ферму свиней кормить, ночью — на ток, утром — опять ферма, потом — вновь ток, поле...

— Потому она и называется горячей, эта пора жатвы.
— Да еще такая, как в нынешнем году.

Над Бугом комбайны докашивали последние гектары «кубанской». Они шли друг за другом, зменсто поблескивали подборщиками, надсадно, но смачно, словно бы с каким-то глубоким внутренним удовлетворением рокотали; на загорелых руках комбайнеров, лежащих на руле, слепяще вспыхивали часы. Старшие из комбайнеров были в черных кожаных «капитанках», младшие — в белых кепках с длинными слюдяными козырьками.

Рядом с загонкой у бочки с водой поджидали грузовики. Стоял здесь и мотоцикл Максима. В феврале Максим принял от дядька Гервасия, который вышел на пенсию, тракторную бригаду. С тех пор как началась жатва, Максим почти не ночует дома. Днем — возле комбайнов, ночью — возит зерно на элеватор. Исхудал лицом, голос его сел.

Красножон собрался было о чем-то спросить Максима и сразу же умолк, услышав, как он сипит.

Комбайны поравнялись с грузовиками, Марта взмахнула рукой, и они остановились. Красножон взял из своей машины сверток, легко пошел по стерне. Комбайнеры смущенно подавали ему руки, густо припорошенные хлебной пылью, а после довольно улыбались: видал, секретарь райкома не побрезговал, поздоровался с каждым.

Красножон развернул сверток, вынул ящичек из прозрачного плексигласа, открыл его, показал всем позолоченный колос на малиновой бархатной подушечке, шагнул к Михайлу:

— Поздравляю, Михайло Иванович. Желаю, чтоб этот приз навсегда остался у вас.

Михайло, не привыкший еще к такому вниманию, в первое мгновенье лишь растерянно мигал, облизывал пересохшие от волнения губы, держал ящичек впереди себя, как младенца, потом судорожно вздохнул, произнес:

— Спасибо, Сергей Галактионович, партии нашей и Советскому правительству... и вам. Будем стараться дальше, было б только спокойно во всем мире. Вот... Большого не скажу, потому что не умею...

— Вы хорошо сказали, Михайло Иванович. Новых вам трудовых успехов! Всем вам успехов, товарищи!

Комбайны выгрузили из бункеров зерно, двинулись

в новые загонки. Красножон выдернул из бочки чоп, всласть напился воды, ополоснул лицо, оглядел поле.

— Убираете вы ударно, а вот со скирдованнем, вижу, отстаете. А пора бы уже стерню лущить, пахать под новый урожай.

— Запарились немножко, — надсаживая голос, ответил Максим. — Стеблестой густоват, соломы — гибель, вот и не управляют скирдовальщики.

— Так каков же выход, товарищ парторг? — повернулся Красножон к Марте.

— Выход, Сергей Галактионович, мы уже, как будто, нашли. Обратились к старшеклассникам. Малый Родион собирает ударную комсомольскую бригаду скирдовальщиков. Сегодня они еще возят зерно на элеватор, а завтра уже выйдут на это поле скирдовать. В эту ударную бригаду Максим посылает лучших трактористов.

— Вот это правильно! — обрадовался Красножон. — Подумайте, как поощрить ребят. Ничего для них не жалейте. И вообще для людей ничего не жалейте. Лучшие продукты, лучшие товары — сюда, на поле, на ток.

Сегодня утром Родионова бригада приступила к работе. На поле их вывез Яким Якимович.

— Значит, так, хлопцы и дивчата: больше двух дней на это поле дать не можем. Пахать надо. Управитесь — честь вам и хвала, а в награду — премия правления и парткома колхоза.

А час назад Яким Якимович приехал на ферму, с порога возбужденно выкрикнул:

— Э-гей, Корнеевна, ты слышала, что творится? Они будто сызмальства только и занимались тем, что скирдовали. Всех наших прославленных скирдоправов за пояс заткнули — и деда Знатька, и твоего свекра. Видела б ты, какую скирду вывершили! Так вот что, Корнеевна: управляйся поскорее со своими Машками и Парасями и вези ударной бригаде премию. Заработали!

Вот и везет. Еще вчера, когда ехала этим полем вместе с Сергеем Галактионовичем, тут густо торчали копейки, сегодня же золотисто поблескивает стерня, расчерченная колесами тракторов.

Через день-другой эта нива и вовсе опустеет, думает Марта, и станет тогда похожей на усталую, но раздобревшую женщину-труженицу. Она на минутку присела на холме, откуда так далеко видать, что даже взгляд утомляется, подставила плечи теплому солнцу, низко, на

самые брови, надвинула белый платочек, сложила в по-
доле широкой юбки загорелые руки (они гудят от слад-
кой усталости), из-под козырька белого платка присталь-
но и ласково щурится вокруг и сама удивляется: бог ты
мой! — сколько же всего переделано, наработано за лето!

Сидит Марта в разогретом «газике» рядом с Карпом,
смотрит впереди себя на сжатую ниву — и что-то давнее,
что-то щемяще радостное оживает в памяти. . . Такое же
поле жатвы. Сухая, выбеленная до мелового блеска стер-
ня. Синяя лента Буга в долине. Подсолнухи на бугре —
будто усталые воины. Скирдуют солому. Прямо на Мар-
ту движется огромная копна. Из кабины трактора бело-
зубо улыбается парень, отчаянно играет цыгановатыми
глазами: «Садись, подвезу!»

Было ли это? Да ведь было же, не приснилось. Толь-
ко — давным-давно. . . Это лишь кажется, что давным-
давно, хотя на самом деле. . . Не успеешь оглянуться, как
вырастут сыновья и тоже позовут кого-то: «Садись, под-
везу!» Входят в жизнь новые поколения, приходя на сме-
ну нам. Вечное движение, вечный круг, и в этом — не-
истребимость, бессмертие наше.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Запрягайте коні в шори,
Коні вороні,
Та й поїдем догопяти
Літа молоді.

Из украинской народной песни

Глава первая. ДОРОГА

1

Отсюда, со второго этажа, самолеты похожи на крылатых акул, выброшенных штормом на сушу. Небо над ними по-летнему недосыгаемо высокое, и под его звонкими сводами стремительно движутся облака, хаотично смешиваясь, отчаянно сшибаясь лбами, такие алюминево-ясные, что белые голуби на их фоне становятся угольно-черными. Над акварелью нежными очертаниями далеких гор тревожно горит зеленовато-фиалковая полоса, и рейсы все откладывают и откладывают, сначала — на полтора, потом — на два часа, теперь — вообще неизвестно на какое время.

Мысленно Родион уже давно там, в горах. Наведаться в Далекие Куты, поклониться могиле брата решил для себя еще в санатории. Время на поезд или на автобус тратить не хотелось, туда летают «кукурузники», Родион загодя купил билет, надеясь сэкономить несколько часов, прилететь в Далекие Куты еще засветло. А сейчас уже жалеет, что не воспользовался другим, более надежным видом транспорта.

— Дожди, — разводит руками дежурный диспетчер. — Ничего не попишешь. Придется пережидать...

— Где же они, эти дожди? Взгляните на небо.

— Над горами дожди. Грозовые...

Родион сидит у квадратного столика, застланного очень свежей льняной скатертью, и отсюда, со второго этажа, сквозь широкое — во всю ступу — окно, ему хорошо видно, как на пепельно-сером от пыли аэропортовском асфальте ослепительно белеют лайнеры, так похожие на крылатых акул, выброшенных штормом на сушу;

как над самолетами стремительно движутся алюминиево-серебристые облака, хаотично смешиваясь, сшибаясь, и в этом нескончаемом, умопомрачительном движении, в этой непрерывной сшибке возникают и рушатся суровые кряжи, цветущие оазисы и мертвые пустыни, веселые соборы и мрачные крепости.

Он потерял чувство вкуса еще в санатории, и теперь ресторанные блюда кажутся ему пресными, как трава, равнодушно отхлебывает пиво, смотрит в окно. Пока что не очень его раздражает чрезмерно веселая беседа за соседним столом, Родион думает, что это небесное движение словно бы переносит его в другие времена, возобновляет в памяти давно забытые события со всеми, даже самыми незначительными подробностями — и далекие события вдруг становятся близкими настолько, что трудно избавиться от впечатления, будто они происходят не теперь, не сию же минуту.

Мысли эти утомляют, Родион успокаивающе трет лоб пальцами, пытается ни о чем не думать, однако это ему не удается — он думает о том, что там, над горами, идут грозные дожди, и приходится попусту тратить время в этом аэропортовском современном аквариуме, где твою волю с первого же мгновения парализует, а потом и вовсе угнетает казенный дух тоски.

...Год назад глубокой осенью Родион вновь попал в больницу.

В соседней палате умирал старый полковник. Умирал пятые сутки и никак не мог умереть. Уже не узнавал никого, ничего не говорил, только стонал в предсмертной агонии.

Родиону казалось: старый полковник стонет всеми клетками своего изболевшегося тела. Стон беспрестанно катился по гулкому коридору — было тяжело и страшно.

Над Родионом по очереди сидели то Олена, то Марта, то Настя, то мать, то дядько Гервасий, то дядько Лаврин, то кто-нибудь другой, рассказывали о сельских новостях. Он слушал и неотступно думал о своем: уже никогда не покинуть ему эти стерильно белые стены, а из всего того, что раньше окружало его ежечасно, что было его жизнью, теперь только и осталось — кусочек неба в окне, переменчивая игра облаков, синичка в приоткрытой форточке.

Раньше, думал Родион, я не умел по-настоящему ценить жизнь. Истинную цену жизни постигаешь лишь

тут, в больничной палате, где пролегает такая зыбкая черта между бытием и небытием, где ежеминутно ощущаешь на своем челе ледяное дыхание смерти. Обидно так просто уйти из этой жизни, не наглядевшись на нее, не насладившись ею.

И тогда давал себе твердое обещание: коль скоро он и вправду рожден в сорочке (уже столько раз ускользал от ее цепких объятий, хотя они смыкались на горле мертвой хваткой), коль ему и на сей раз удастся вырваться отсюда, — там, на свободе, будет ценить каждую минуту: не станет окунаться с головой в эту обманчиво необходимую суету, не будет напрасно тратить время в прокуренных стенах, не станет переключать на свои плечи чужие обязанности, чаще, при малейшей возможности будет убегать на природу.

Только здесь, в больничной палате, наедине с самим собой, с запоздалой печалью и раскаянием осознал: в жизни его самыми счастливыми были как раз те дни, когда вместе с сыном выходил в лес или к реке, удил рыбу или собирал грибы и называл Родиону-младшему поэтические и меткие названия лесных и луговых трав: сон широколистый, нечуй-ветер мохнатый, горлицев, молодило русское, ломинос прямой, а сын мог неожиданно спросить, растут ли эти травы в Сураме — с четвертого класса переписывался с сурамским мальчиком Зурабом.

Именно так, думал Родион, это были несчастливейшие дни моей жизни, когда мы ходили в Волчий лес или выезжали на Буг, к самому Ладыженскому водохранилищу, собирали грибы, удили рыбу, встречали утренние и вечерние зори, варили уху, а по вечерам лежали на душистом сенце, смотрели в небо, прикидывали: какая же погода будет завтра? «Посмотри-ка, тато: вокруг луны — желтый обруч. Это — к чему?» — «К дождю, сынок».

Разговоров про всякие наши приключения хватало на целую неделю, до следующего выезда. Так приятно, так любо было слушать по вечерам рассказы сына.

«Слышите, бабуся, слышите, мамо (к Олене Родя обращался на «ты»), это ж поехал с нами и дед Лаврин. Сидим удим. Солнце припекает. Каждый из нас уже немало наловил. Тато и говорит: «Отнеси-ка, Родя, улов под тын, в крапиву, чтоб рыба не протухла». Дед Лаврин и себе просит: «Отнеси, гвардия, и мою тоже». Ну, спрятав я рыбку в крапиву, удим дальше, клев — такого еще

не бывало! Как вдруг слышу: сбоку что-то хрюкает. Смотрю — свинья. Та самая черно-рябая свинья, которая недавно паслась на выгоне, сейчас стоит посреди крапивы и нашу рыбку потрошит, да так, что за ушами трещит. «Тато! — кричу. — Вон свинья нашу рыбу жрет!»

Тато оглянулись — и, понимаете, бабуся, понимаешь, мам, так и покатались со смеху. А дед Лаврин хватается за нож — и к свинье. «Брось! — орет на бегу. — Брось, воровка ушастая, садок!» А неподалеку на огороде тетка окучивает картошку, ну, хозяйка этой свиньи. Услышала дедов крик, потом увидела, как дед Лаврин летит к свинье с ножом, — и с тяпкой в руках наперерез. «Караул! А ты куда, разбойник, до моей лешки с ножом!»

Свинья испугалась их крика, с рыбиной в зубах драпанула на выгон. Дед Лаврин подобрал садок, собирает среди крапивы рыбу, вскрикивает, потому что крапива жалит. Потом вернулся к нам и говорит: «Вот еще ни разу в жизни не видал такого, чтоб свинья рыбу живую ела». — «Отчего же, — говорят тато серьезно, — бешеная свинья не только живую рыбу ест». — «А разве эта свинья — бешеная?» — «А то какая? Разве вы не видели, как у нее пена из пасти летела? .. Вы, дядько Лаврин, поосторожнее с этими карасями». Дед Лаврин постоял, подумал, а потом как швырнет садок в огород, как закричит на тетку: «На, взбесись еще и ты, как твоя свинья! ..»

Все эти пять суток, когда помирал и никак не мог помереть старый полковник, Родион почти не спал. Уже перед самым рассветом погружался в тревожное и гнетущее полузабытье. В девятом часу приходил Григорий Эразмович, рыжий, будто кирпичной пылью присыпанный, с лицом состарившегося ребенка, брал руку, слушал пульс. Из рукавов халата, накрахмаленного до раздражающей скрипучести, высывались красные манжеты, собранные позолоченными запонками, которые формой и размером смахивали на часы с браслетом. Слушая пульс, Григорий Эразмович загадочно молчал, лишь изредка кивал многозначительно: «М-так. . . й-ясно. . . Понятно. . .» И молча выходил из палаты.

Сосед Родиона, побитый оспой бухгалтер с мяскокомбината, говорил ему вслед: «Одно из двух: то ли наш Эразмович много знает, то ли не знает и на полмизища. Потому и молчит».

Иногда хотелось Родиону возразить: молчанье бывает куда более мудрым, чем разглагольствования.

Эразмович, когда случалось ему дежурить в отделении, приходил к ним в палату — срезаться с бухгалтером в шахматы. Садились к столу у окна, оттуда время от времени доносилось:

«А мы, Эразмович, вот так пойдем — конем». — «Сейчас все так ходят — конем». — «Припираете меня, Эразмович». — «Сейчас всех припирают». — «Ой, мне теперь совсем труба дело». — «Сейчас всем труба дело».

На пятое утро в коридоре воцарилась оглушительно звонкая тишина. Даже сквозь сон Родион понял: старый полковник умер.

Открыл глаза — в палате было необычайно бело.

Бухгалтер кормил крошками синичек, просовывая руку в открытую форточку, а Эразмович сидел у кровати.

«Снег выпал?» — «Выпал, — радостно произнес Эразмович. — К этому дело шло еще с вечера». — «Как именно?» — «Ну, листва осыпалась, улицу припорошило, будто обоз прошел с мукой или солью, а керамика на домах отсвечивала каким-то особенным светом... С полудня тучи пошли низко, вот я и догадался, что декабрь выедет на белом коне. Как видите, не ошибся. Зима будет снежная». — «Вы охотник, Эразмович?» — «И да и нет, Родион Корнеевич... Вернее сказать — любитель природы». — «Не принесете ли мне что-нибудь почитать? О природе». — «О природе? — улыбнулся Эразмович, внимательно взглядываясь в лицо Родиона. — Природа будет влиять на нас со всей своей силой тогда лишь, когда мы внесем в восприятие ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в полное соответствие с нею и невозможно уже будет отделить свежесть утра от сияния глаз любимой и размеренный гомон леса — от раздумий о прожитой жизни... Это — Паустовский... Любите этого писателя?.. Хорошо, тогда я принесу вам «Повесть о лесах»».

Так неожиданно они подружились, и тогда Эразмович рассказал, что с ним, Родионом, случилось, почему оказался он в областной больнице. Как это начиналось, Родион и сам немного помнил, однако — смутно.

В тот день он возвращался с Полесья.

Уже проехали Винницу, и перед Немировом Родион

стал торопливо расстегивать ворот рубашки — от ног накатилась волна удушья, спина и грудь вмиг стали мокрыми, майка неприятно липла к телу. Опустив боковое стекло, высунул голову из машины — обдуло встречным ветром, горячая волна опала, как опадает обессилевший фонтан, потом накатилась вновь, еще томительнее, даже в глазах потемнело. Тихо забился в уголок, удивляясь, откуда она свалилась на него, эта неожиданная парализующая слабость, пытался задремать, чтоб не тревожить Карпа, но стоило лишь сомкнуть веки, как начинали бить тревогу колокола. Перед глазами, словно наяву, зловеще полыхал пожар в лесах за Камнем-Каширским: Родион не успел даже наполовину уладить дела с директором местного леспромхоза Опанасом Сватком, прежним своим товарищем по техникуму, как где-то вблизи испуганно ударили в колокола, за окнами на улице поднялась суматоха, и они отправились вдвоем на пожар.

Огонь надвигался на осенний лес неумолимым валом.

Пересохший конский батог, толстым слоем покрывавший землю, вспыхивал как порох; огненные змеи в один миг обвивали деревья — зеленые ели и сосны взрывались, точно белые текущие факелы, и сразу же обугливались.

На широкой просеке лесники и неуклюжие пожарники спешно готовили завал и уже поджигали его — Опанас Сватко сказал, что только встречный огонь сможет остановить наступление пожара, и сюда, на широкую просеку, прямо к людям, выскакивало очумевшее от страха зверье — олени, косули, вепри, лисицы, зайцы. . .

Наверное, не следовало ехать с Опанасом Сватком на пожар, это всколыхнуло воспоминания, разволновало воображение. Только отбуйствует перед глазами этот пожар в лесах под Камнем-Каширским, как представляется охваченная пламенем Кнышева хата: скручивается в фантастические трубки железо на крыше, с треском падают горящие стропила, плавится стекло в окнах, а через окно Родион-младший подает из хаты Мартиному Виталику сомлевших детей, Кнышевых внуков (он пришел позвать Виталика на речку и тут почуял, а потом и увидел дым из соседнего двора). Обрушивается крыша и погребает его под собою. . .

А вслед за этим стало грезиться убранное поле.

Идет по тропинке среди золотистых копешек, подходит к копне поближе, а это не копна — валуи, очень по-

хожий на голову сфинкса; с каменной сфинксовой головы взлетают чайки, пронзительно крича, будто воронье.

Знает: эта тропинка должна вывести на широкий шлях, обсаженный осокорями, идет и идет, вдруг тропа исчезает куда-то. . .

Ехали как раз через лес, и Родион попросил Карпа остановить «Волгу». Пошел вперед между дубов и грабов, вдохнул лесного духа, насыщенного грибной терпкостью, прислушался к глубокой осенней тишине — как будто отпустило немного.

В село приехал под вечер.

Родион к себе не пошел, завернул к Якиму Якимовичу. Хотелось рассказать Соловьеву об улаженном деле. «Ну, все в порядке, Яким Якимович. О саженцах договорился. Засадим теперь все холмы и бугры над Бугом, остановим наступление эрозии».

Соловьев, заложив руки за спину, стоял перед широким окном, затененным пушистыми светло-зелеными ростками аспарагуса. В новой конторе все еще остро пахло известкой, красками, клеем, а в просторном кабинете парткома застоялся тяжелый запах табака, дым клубился под высоким потолком, пепельница была битком набита окурками. Родион подумал, что здесь, наверное, только что заседали, спорили и нещадно курили.

Яким Якимович обернулся на скрип двери, необычайно посуровевший, даже исхудавший.

«Что случилось, Яким Якимович? — ветревоженно спросил Родион, устало садясь к столу. — Лица на вас нет. . .»

«Дед Знатько. . . умер. . .»

«Когда?»

«Два часа назад — схоронили. . .»

«Как же это он? . . .»

«А так вот. . . С утра привез на коровник сена, потом поехал домой на обед. Варвара Милляновна, мать твоя, рассказывает, потому что как раз все видела: «Подъехали кони под ворота, остановились, а дед с воза не слезает, лежит навзничь на сенце. Подумала было: где-то выпил старик чарочку да и задремал дорогой, надо разбудить, домой же приехал. . . Подхожу к возу — дед еще теплый, но уже. . .» Вот так и помер наш дед Знатько. . . Верись, Корнеевич: хоронили — все село шло за гробом, а на кладбище не стыдась рыдали. . . Словно отца большого семейства хоронили. . . Жил дед Знатько — каждому, как только мог, полезен был и помер так, чтоб шко-

му лишних хлопот не доставить: сам о себе позаботился... Твоя же мать и припомнила: год или два назад дед ей сказал: «Помру, соседка, так гроб, знать, делать никому не придется, сам себе смастерил, там, на чердаке, найдете». И что ты себе, Корнеевич, думаешь? В самом деле нашли на чердаке гроб, а с места сдвинуть не можем. Что бы это значило? — удивились страшно. — Почему такой тяжелый? Ну, поднимаем крышку — гроб устлан сеном, а в сене — два бочонка с вином и записка из школьной тетрадки: «Выпейте, люди добрые, за свое здорье и мою память. . .»

Слезы навернулись Родиону на глаза, стены сдвинулись с мест, стали падать, переворачиваться. Родион судорожно ухватился за угол стола. . . Что было дальше, не помнит. . .

«Считайте, Родион Корнеевич, — сказал Эразмович, — вернулись вы оттуда, откуда уже редко кто возвращается. Скажу вам откровенно: я был в отчаянии, чувствовал собственное бессилие, как никогда прежде. Вас надо было немедленно забирать из вашей сельской больницы, я прекрасно понимал это, на том же настаивали Яким Якимович, Сергей Галактионович, ваши родные, колхозники, а вы были абсолютно нетранспортабельны. Я чуть не поседел за эти часы. Выйду на улицу покурить — сотни глаз спрашивают меня: ну как, доктор? Ну что мне сказать им, людям вашим, которые, наверное, чуть не всем селом пришли к больнице? . . . Возвращаюсь назад, а в палате — умоляющие глаза вашей матери, жены, сестер. Особенно мать: посмотрит на меня — душа переворачивается. А после тихонько так попросила: «Голубчик, сыночек, спаси нашего Родиона. . .» Знаете, я хоть и молод, однако в практике своей немало всего насмотрелся и наслышался, но таких глаз и такого голоса еще не видал и не слыхал. . . И я решился. Положили вас в машину и повезли. Со мною ваша жена. Она знала, как мне помогать, если произойдет самое страшное, — научил. . . Оставалось километров с десять, уже видны были огни города, и вдруг жена ваша закричала: «Пульс! . . .» Да, случилось то, чего я больше всего боялся: остановилось сердце. Теперь надежда была лишь на одно — укол адреналина. . . прямо в сердце. Я сделал его, принялся за массаж. М-да. Привезли вас в наше отделение в двадцать три ноль-ноль. Дежурный удивился, покачал головой, а я ему говорю: «Не покачивайте, коллега, так без-

надежно головой, теперь он будет жить. Да, будет жить! В этом я уже не сомневаюсь, а еще четверть часа назад сомневался... Вот откуда вы, дорогой мой, возвратились... Ну, а сейчас вообще молодец молодцом... Если уж к чтению потянуло, то... будете жить до ста лет; гарантирую!»

После смерти старого полковника ничто уже не нарушало настороженной тишины, а между тем Эразмович каждое утро говорил Родиону: рано еще, рано, и не разжало Родиона раньше, что составляло его жизнь, долгое время у него только и было: клочок неба в широком окне, переменчивая игра туч, синичка в открытой форточке...

Если бы мне только оказаться вновь там, на воле, думал Родион, теперь бы я по-настоящему ценил каждое мгновение, бродил бы над Бугом, наблюдая, как он освобождается ото льда или покрывается первым тонким ледком — даже на вид хрупким, в мелких трещинках, ходил бы по лесу, радостно гомонливому или печально опустевшему, когда останавливается время и кажется, что нет на свете ничего больше, кроме леса, а эта полянка, на которую вышел, — словно бы челн в безграничном зеленом море, куда-то несет и несет, неизвестно куда; когда в одну ночь лес, еще накануне черный, подергивается туманно-зеленым дымом и в одну же почь седеет — седеют травы, деревья, листья осыпаются до последнего, лишь на дубках держатся, пожухлые, немощные, и на просеках стоит туман, густой и стойкий; уходил бы в далекие поля, где скирды выплывают из осенней мглы, будто океанские айсберги; вот так в свободное время буду бродить в одиночестве берегом реки, лесом или полем — буду набираться у природы мудрости и уравновешенности, познавать извечную тайну единства противоположностей.

И вот сейчас, тратя попусту время в аэропортовском аквариуме, Родион думает о том, что из этого его обета толку нет совсем. Выписался из больницы и вновь погружился в неуправляемый и бесконечный поток буден, тех буден, когда за общественными делами и хлопотами некогда думать о собственных развлечениях и утехах. Так уж мы воспитаны, так понимаем свои обязанности, что прежде всего отдаем себя делу нашей жизни, а уже потом — обыкновенным человеческим радостям.

Несколько лет назад был в этом городе, как и теперь,

проездом. Ночевал в гостинице «Верховина». Уже собирался спать, потому что за окном журчал дождь, и тут услышал с улицы песню. Открыл окно, свесился через широкую мраморную плиту подоконника — там, внизу, серединой улицы, в желтоватом размытом свете вечерних фонарей, под густым летним дождем, обнявшись, шли двое парней, высоких, стройных, в белых нейлоновых сорочках, на удивление красиво они пели:

Файна была, файна,
Не было мне пары...

Именно таким и запомнился этот прикарпатский город, и теперь не хотелось шляться по его улицам и площадям, тарашиться на всякие дива, потому что первое впечатление может полинять, а я этого не хочу. А потом, думает Родион, я уже, вероятно, в таком возрасте, когда большие города и раздражают, и утомляют, стоит лишь ступить на их камни.

Так что город отпадает, остаются газеты и журналы. Хотя наперед знаю, что читать не смогу...

Был бы номер, можно бы позвонить... Алло, это квартира Ивана Лавриновича Земледуха?.. Здравствуйте, Иван Лавринович!.. Не узнаете голос? Что ж, это не удивительно — столько лет... Это Родион... Какой Родион? Да тот самый — Родион Корнеевич, друг детства, юности, брат двоюродный и прочая и прочая... Да, да, столько лет!.. Ты прав: се ля ви!.. Или же — в роги мать, как сказал бы старый Грузд... Нет, проездом... Ну, вспомнил, что ты тут, дай, думаю, позвоню, расспрошу про житье-бытье... Как ты живешь, Ива... как вы живете, Иван Лавринович?

Неужто и вправду прошло столько лет, думает Родион, и мы с тех пор не виделись?.. Да нет, как-то случайно в Киеве на Крещатике встретились, оба куда-то торопились, перебросились несколькими фразами, на прощание Иван сказал: «Ну, будешь в тех краях — звони, заходи!.. Милости просим!»

Может, в самом деле позвонить?.. Уже должен быть дома. Собирается, пожалуй, в дорогу, завтра ведь выходной — на охоту куда-нибудь или на рыбалку, когда-то увлекался... А мне и вправду хочется увидеть его?.. Все-таки — односельчане... Вернусь домой, скажу дядьку Лаврину: «Видел вашего Ивана, низко кланяется, обещает наведаться...»

Иван упорно не навещает село с тех пор, как наконец разругался с отцом.

Родион рассчитывается с официанткой, просит у диспетчера телефонный справочник.

Забарный, Забережный, Заброда... Зем... Земледух... Есть!.. Земледух И. Л.

Что это вдруг рука задрожала? Волнуюсь, что ли? Вот еще монетой в щель попасть не попаду... Попал... Дома или нет?

— Алло! Это квартира Земледуха?

— Да, это квартира Земледуха. А в чем дело?

— Здорово, Ива...

— Кто это?

— Здравствуйте, Иван Лавринович!.. Это — Родион...

— Какой еще Родион?

Точнехонько так, как и предвидел.

— А тот самый... Твой, так сказать, родственник...

— Мой родич? — В голосе удивление. — А ты откуда звонишь мне? — Теперь выжидание. — Ты здесь, в наших краях? — Выжидание перерастает в досаду.

— Пропави ты пропадом!.. Напрасно ему позвонил... Мой голос, судя по всему, просто испугал его... Это «звони, заходи» — дань холодной вежливости, не больше.

— Да, я в ваших краях...

— Каким же ветром? — На том конце провода, чувствуется, лихорадочно обдумывают способ избавиться от неожиданного гостя.

— Проездом... Загораю в аэропорту... Вот и думаю...

Какого черта перед ним унижаюсь? Да пошел ты!.. С этими земляками-родичами вечные осложнения, вечная канитель...

— Еще миг — и твой звонок меня уже не застал бы... Почти с порога вернулся, думаю, кто это так настырно дозванивается...

— Прошу прощения за то, что вернул вас, Иван Лавринович, аж с порога... Бывайте здоровы!.. Будете в наших краях...

— Да постой ты, чудак, не горячись! Я и в самом деле тороплюсь. На охоту. Но если уж позвонил, так надо ж встретиться. Как-никак, родичи!.. Через четверть часа буду в аэропорту... У меня машина!..

Через четверть часа к подъезду аэровокзала подруливает новенький, будто вчера только с конвейера заводского сошел, ГАЗ-69. Пронзительно скрипят, даже взвизгивают тормоза, и одновременно, почти синхронно, отворяется передняя дверца — на землю соскакивает Иван, высокий, статный, снаряженный, как профессиональный охотник; вслед за Иваном выпрыгивает рябая лайка.

Потом открывается задняя дверца — из машины выбирается мужчина, рыжебородый, толстенький, в таком же охотничьем одеянии. Иван, наклонившись к рыжебородому, что-то весело говорит ему, рыжебородый бесцветно смеется, как смеются актеры и президенты; кивает головой, и они трое — двое охотников и собака — идут к Родиону.

Иван немного опережает рыжебородого и пса, идет вперевалочку, на них оглядываются, Иван это чувствует; видать по всему, ему приятно похвастать перед этой тоскующей от безделья публикой охотничьим снаряжением; тихо свистит, лайка догоняет его, бежит рядом, то и дело поглядывая на него, принюхивается к следам.

Родиона Иван замечает еще издали, от машины, теперь идет, широко разводя руки, шерит крепкие белые зубы, улыбается, будто конь. Не доходя шаг до Родиона, оглядывается на рыжебородого, тыльной стороной руки утирает губы, потом, подойдя вплотную, берет Родионову голову в ладони, еще раз оглядывается на рыжебородого, после чего трижды чмокает Родиона в лицо холодными твердыми губами. Потом перекладывает руки ему на плечи, отстраняет от себя, тормозит Родиона.

— Гей, вуйко Родион, в самом деле вы передо мною или мне только кажется? А клянусь богом, это все-таки вы, вуйко Родион! Ну так давайте обнимемся еще раз. И они обнимаются еще раз.

Родион вмиг забывает недавний телефонный разговор, настороженный и досадный, этот Иванов шутовской жест с утирианием рта, забывает все то давнее, что делало их чужими, — давящий клубок подкатывает к горлу, Родион даже расканвается, что мог подумать и отнестись к Ивану так; Родиону кажется, будто не Иван ему, а он Ивану причинил столько неприятностей, и вот, не смотря ни на что, Иван уже все ему простил — старое позабыто, друзья всегда остаются друзьями. Прижимает

Ивана к себе, тычется ему в грудь лицом, похлопывает по плечу, говорит что-то растроганно, а тем временем Иван нетерпеливо освобождается из его объятий, спрашивает:

— Ты уже где-нибудь перекусил? («Да, Иван, перекусил, не беспокойся, давай-ка присядем да поговорим»). О-о, познакомясь, Родион, с моим лучшим другом! — Поворачивается к рыжебородому, берет его под руку. — Яков Юхимович, врач-психиатр, восходящее светило в медицине. («Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»). А это, Яков Юхимович, мой землячок и когда-тошний однокашник. («И все, Иван?») Сейчас, крайний, мы тебя чем-нибудь покормим. («А, чтоб тебе! До чего же неприятное слово, по крайней мере в твоих устах, Иван, оно прозвучало как пощечина. И чем же вы, братцы, собираетесь меня кормить? Уж не манной ли кашкой?») Где тут, Юхимович, можно перекусить на скорую руку? Кафе «Встреча»? Чудесно!.. Ну, двинулись, обмоем эту встречу!.. Ты надолго, старик? («Проездом, говорил же по телефону»). В командировке тут? («Да нет, какая там командировка! Из санатория возвращаюсь... Такой уж возраст, Иван, когда сердце... У тебя-то как — не пошаливает?.. Удрал вот пораньше, думаю в Далекне Куты навещаться, к Владимиру»). Молодчага, что позвонил. Сколько ж это мы не виделись?.. Эй, красавица! Три коньяка, три бутерброда, три кофейка! Мигом! Время — деньги!.. Да, старик, еще бы минутой позже — не застал бы, с порога пришлось вернуться... Данке шён, красавица! Дай бог тебе хорошего муженька!.. Ну, братья славяне, будем! За нашу встречу, Родион! («За встречу, Иван! Очень рад, что мы встретились! Где бы нам тут присесть да хотя бы с полчасика потолковать?») И за нашу, Юхимович, охотничью фортуну, за оленьи королевские рога!.. Вйо, бо дождь и кони мокнут!.. О-о, идся! Слушай, Юхимович, а может, землячка моего прихватим с собой? Идет? Вот что, вуйко, тебе когда на работу? А-а, успеешь! А не успеешь — ничего страшного: работа не волк, в лес не убежит... Поедешь с нами! У меня лицензия на оленя, раздобыл через друзей-приятелей. Дважды уже выезжали и возвращались с пустыми руками. Если и на сей раз неудача — лицензией можно будет подтереться, она ведь выдается на три выхода, ты, наверное, это знаешь. Или ты не охотник? Иногда выходишь? Так это ж расчудесно! Ты, старик, легок на

руку, вы, Политики, все легче на руку, моя мать не раз это говорила, так что поедешь с нами!..

Не давая Родиону даже опомниться, Иван подхватывает его вещи, втискивает в машину, на переднее сиденье («Ты — наш гость, в этих краях впервые, любуйся природой, это тебе не Подолия!»), вещи забрасывает в багажник, сам с Яковом Юхимовичем усаживается сзади, командует: «Газу!», и шофер круто рвет машину с места.

Примирившись со всем, Родион достает сигареты («Когда думаешь, Иван, в наши Окна наведаться? Твой старик — уже...»), Иван сзади шелкает зажигалкой, дает прикурить, предупреждает Родионов вопрос своим:

— Как тебе мой Динар? Это у меня уже — постой-ка, сейчас припомню... — это у меня уже восьмая собачка... Сначала был тибетский терьер. Такой кудлатый, как современный хиппи, глаз не видать... После завел московского той-терьера, ну, истинная Пеппи Длинный Чулок... Дальше была южноевропейская овчарка: глаза умные, пытливые, а улыбка — что у Джоконды... Ну а когда я, по примеру своего друга Якова Юхимовича, свихнулся на охоте, приобрел себе этого Динара. Из всех охотничьих собак лайка — самая практичная. Вот пусть и Яков Юхимович расскажет, как начиналась моя охотничья карьера, не так моя, как Динарова. Выезжаем, к примеру, на уток. Берем лодку, гребем в камыши. Утки летят низко, так низко, что чуть шляпу не собьют, а из меня стрелок еще никудышный, на лету бить уток не научился. Вот тогда Динар и выручает... Бабахнет кто-то из камышей — утка падает вниз. Динар проследит, где упадет, плюх в воду с лодки и, глядишь, уже несет уточку в зубах... Бывало, так вот с добрых полсотни натаскает. Другие охотники, не охотники — профессора в этом деле, возвращаются из камышей с пустыми руками, а я, начинающий, — с самыми богатыми трофеями... Лайка, она все берет — и птицу, и зверя. Незаменимая собака на охоте...

Навстречу, как нескончаемая лента конвейера, тянется дорога, отчаянно ныряет под колеса (дороги тут отличные, современные), неудержимо меняются осенние пейзажи, пока что навстречу бежит равнина, кое-где в спокойное зеленое пространство вкрапливаются горячие пятна рощ, перелесков, детали современной индустриализации: заводские трубы, ажурные мачты электролинии, лоснящиеся трубы нефтепровода, они то ныряют

под землю, то вновь выныривают из-под нее («Нефтепровод «Дружба»! — успевает комментировать Иван, болтающий за спиной с Яковом Юхимовичем), потом по сторонам дороги стали чаще встречаться красочные села и городки, равнина переходит в холмы, чувствуется, что скоро уже и горы.

— Прости, Яков Юхимович, но вынужден перебить тебя. Символизм — главное направление сюрреалистического искусства. Это, на первый взгляд, бессмысленное, хаотическое нагромождение всякой всячины во многих картинах Джорджо де Корино, Пикассо, Пауля Нэша, Сальвадора Дали и других — коллекция символов, выражающих глубокие реалии. Вы, психологи, обязаны их прочитать. Таким образом, символы служат для нас и психологическим документом. Или же возьмем теорию сновидения... Для понимания психоаналитического учения о художественном творчестве она, эта теория, даст невероятно много...

Сначала — собаки, теперь — символизм и теория сновидений, а мне — ноль внимания. Хотя б для вида чем-нибудь заинтересовался... Для кого эта ученая болтовня? Для меня? Конечно же, для меня. Мол, слушай, сельпо, да на ус мотай, ибо что ты там в селе услышишь... А может, жизнь сделала его чрезмерно болтливым?

Наверное, последнее, думает Родион, не отрывая взгляда от дороги... Давно мне хочется понять тебя, Иван, однако каждый раз ты кутаешься в слова, как еж в колючки, — переворачивай во все стороны, а до нутра не доберешься. Остриги ежа, он станет безобразным, а каким станешь ты, если заткнуть тебе рот? Подавляющее число болтунов, попадавших мне на пути, — трусливые и пустые людшники. Не хотелось бы мне и о тебе так же думать. Пусть когда-то ты был, мягко говоря, легкомысленным, с тех пор прошло немало лет — и каких лет! — неужто жизнь не сделала тебя лучше, не научила мужеству, не воспитала в тебе твердых принципов? Мне хотелось увидеть тебя, Иван, другим, но пока что ты производишь плохое впечатление.

Напрасно я с ними поехал... Ну что я там буду делать? Только время убью.

Ладно, сам себе говорит Родион, посмотрим на это с другой стороны. Чего я жду от него? Уж не застит ли мне глаза давнее предубеждение, не бунтует ли мое самозабвение? Холодно встретил, не проявляет ко мне инте-

реса? Что же тут странного? Это ты привык так: потянутся к тебе — последнюю рубашку готов отдать, другие так не привыкли. Все одинаковыми быть не могут... Все это так, однако немало есть такого, что должно объединять нас, привлекать друг к другу. Скажем, память. Память той земли, силу тяготения которой чувствуем уже в материнской утробе. Память тех людей, чью мудрость берем с собой в дорогу, как берем хлеб насущный.

А между тем опять ломлюсь в чащи непролазного мудрствования. Почему бы и в самом деле не взглянуть на вещи проще: впереди у нас еще немало времени, еще успеем наговориться, Иван понимает это лучше меня, потому ни о чем и не допытывается... Еще выпадет такой удобный случай, такая возможность, когда останемся наедине: тогда, наверное, он и начнет первым: «Ну так рассказывай, Родной, как оно там, в наших Окнах». Так что — прочь хмурое настроение! Вон и горы впереди уже сияют.

Дорога выгибается, будто перед прыжком, предвечернее марево течет над фиолетовым лоснящимся асфальтом, встречные машины, кажется, плывут по воде.

Иван наклоняется к водителю, похлопывает снисходительно и поощряюще по плечу, не то просит, не то приказывает:

— Парнишка, воткни-ка свою шарманку. К этим картинкам недостает лишь музыки. Найди там хорошую песню. Таковую, знаешь, чтоб с настроем души согласовывалась. — Не дождавшись песни, тихонько мурлычет сам:

Давай, дружище, маханем в Карпаты,
Увидим сказку наяву, а не во снах:
Из чаш олени выбегут рогатые,
Ромёна цвет поднявши на рогах...

Дорога взбирается к перевалу, затянутому кудлатыми тучами...

Глава вторая. ГОРЫ

1

Ужинают у дедова куреня, под слкой-смерекой. В стороне от тропки, сбегаящей к Черемошу, на грядках дотлевают под треножником огонек, в конце огорода,

за бугорком с могилкой, беспрерывно грохочет на перекатах Черемош; загадочно и призывно гудят смереки, и гул их смахивает на вздохи сонных гор; они, горы, темнеют со всех сторон. Те самые горы, думает Роднон, что начинаются где-то под Моравой и заканчиваются у Железных Ворот, перегородив Среднюю Европу полутора-тысячекилометровой каменной стеной, о которую разбились мутные волны татаро-монгольского нашествия; а над ними мерцают осенние звезды, необычайно большие и яркие, будто вымытые недавними грозowymi дождями.

Старые люди, думает Роднон, слушая деда Папушу, как и малые дети, похожи между собой. Дети — непосредственностью поступков, стремлением познать окружающий их мир, старики — душевным равновесием, мудрой уверенностью в жизни и в самих себе. Где-то на том участке жизненного пути, который уже обрывается пропастью, человек отряхивает с себя прах исхоженных дорог, шелуху будничных хлопот, освещается внутренним светом и, как никогда прежде, ощущает себя частицей матери-природы.

Трудно сказать, думает Роднон, когда именно я стал замечать это. Может, с тех пор, когда и сам осознал, что и вторая молодость где-то далеко позади и уже на самых прытких конях не догнать ее на кленовом мосту.

... Сидит мать на пороге летней кухоньки, руки в подоле сложила, а я — напротив, на пороге хаты. Говорим о том о сем... Шумит ветер, кудлатит вишню под окном, накрапывает дождь, попискивают цыплята в курятнике. И мать слушает не только меня и говорит не только со мною. Сейчас у нее несколько собеседников — вишня, дождь, ветер, цыплята... «Я тебе, сынок, вот так вот напрямую скажу: ты сам за все не хватайся, с твоим сердцем тебя одного на все не хватит... Идешь, дождик?.. Ну, иди, иди, тебя как раз и надо... И ты, ветер, не очень-то задирай вишенку, ей же еще родить да родить... И что вы там цокочете, мои маленькне? На солнышко вам захотелось?..» — И на какое-то мгновение охватывает странное ощущение того, что и ветер, и дождь, и вишенка, и цыплята — намного ближе и дороже для матери, чем ты, они словно бы заменили собою тех, кто выбыл из нашей семьи.

А потом мать дивно светлеет лицом, надолго умолкает, заглядевшись куда-то в самое себя. И мне начинает казаться, что напротив на порожке летней кухни сидит

вовсе и не мать, которую знаю сызмальства, передо мною сидит женщина, которая пришла из вечности, пришла из тех времен, когда умели говорить с деревьями, востром, солнцем.

Вот так же, бывало, вспоминает Родион, беседовал со мною в последние годы и дед Знатько. Невозможно примириться с мыслью, что деда Знатька уже нет. В детстве искренне веришь: твоя мать всегда будет молодой и красивой, твоя мать будет жить вечно. А наши Окна привыкли к тому, что дед Знатько — бессмертен. Он был до тебя, будет и после тебя. Как всегда было, так и пребудет добро. Слушая деда Знатька, я все порывался спросить его: «Демьян Захарович, вот вы прожили большую жизнь, а какую же наивысшую мудрость осознали?» Порывался, но не спросил — не решился. Ждал удобного случая, ждал, что дед Знатько сам скажет. И он все-таки ответил на этот мой вопрос — самой своей смертью ответил: «Наивысшая мудрость, знать, вот в чем: надо изо всех сил стремиться жить так, чтобы как можно меньше доставлять хлопот и неприятностей другим, а самому всегда быть нужным всем. Живи в движении и умри в движении. И даже в смертный свой час не забывай о порядочности...»

Вот так же, думает Родион, беседует сейчас с нами и дед Папуша, внешне очень напоминающий деда Знатька.

Костерок под треножником уже дотлел, покрылся сизым пеплом, однако дух сожженной живицы еще витает в свежем воздухе.

Иван угощает деда Папушу чешским пивом, подливая из бутылки в глиняный жбан; дед Папуша смакует маленькими глотками, долго держа наклоненный жбан у рта. Посмаковав вволю, дед Папуша ставит жбан на угол невысокого табурета, служащего столом, ладонью сгребает белую пену с тонких скорбных уст, втыкает в зубы черешневую трубку-файку, попыхивает ею, щурясь в свете фар, продолжает беседу:

— Ай-я, правду сказать, гости не переводятся. Только одни за ворота, глядь — другие уже в ворота... Вот перед вами тоже двое на вепря присажали. Видать, как и вы, большие люди, чиновные, а охотники — никудышные... Играешь, Черемоше?... Ай-я, радуйся, что вода большая... Играй себе, играй, только смотри — не подмывай мне бугорка с могилкою... Ну, спорядились на вепря, как на тигра, а вернулись на кордон зеленые со

страху да и, видать, по уши в дерьме, бо долго мылись в Черемоше... За ужином, когда опрокинули по доброй чарке, и рассказывают, что там за придибенция с ними случилась. Прибыли, значит, они на место, договариваются: один идет этим плаем, другой — тем. Вот так условились и пошли вперед, ружья наставивши. Идут они да идут, как вдруг (это младший рассказывает) за кустом ворохнулось что-то, хрюкнуло, а потом оттуда выскакивает здоровенный вепрь... Ну, так как, звездочка, живу?.. Вот так и живу: хожу, смотрю, слушаю... А ты як ся маешь? Ничего? Ну и слава богу!..

— Что-то вы, дед Папуша, все время забываетесь, — укоряет старика Иван. — Память подводит, что ли?

— Почему забываюсь? Нет, охотничек, память меня еще не подводит, она у меня ясная, как стекло... Звездочка вон та меня спросила, как живу, вот и ответил ей... Шас доскажу про тех горе-охотников... Выскакивает, значит, из кустов здоровенный вепрь, один из охотников бахнул из ружья, а вепрю — хоть бы хны. Попер на него, точно танк. Что же тут делать неудачному стрелку? Ясное дело: бросать ружье и пяты салом мазать. Так он и делает. Бежит, мало не лопнет, уже сердце, сдается, в самом горле, а вепрь не отстаёт, топотит, сопит сзади. На бегу скидает куфайку, чтоб легче было, надевает ходу. Оглянулся через плечо, далеко ли вепрь, и тут увидел ружье... Ну, думает; капут мне. Это он, вепрь, подхватил мое ружье, шас бабахнет в спину... Как завопит не своим голосом: «Веприк, не стреляй!.. Не стреляй, голубчик, я больше не буду!..» — и покатился в канаву. Прижался к земле, а вепрь сверху — на него... Ну, думает, теперь-то пропал совсем... Не выстрелил из ружья, так изорвет клыками, истопчет копытами... Забарахтался, пытается столкнуть вепря с себя, когда чувствует: топчутся-то по нему не копытами, а... сапогами... Вывернулся, смотрит, а над ним — товарищ... Ну, отдышались трошки, потом, когда речь вернулась, спрашивают один другого: «Ты чего драпал?» — «А ты?» — «Ну, я от вепря, а ты от кого?» — «А я... а я не знаю, от кого... Услыхал выстрел, потом увидел, как ты тикаешь, то ж и себе следом». — «Так это ты меня с ружьем догонял? А я думал...» — «Ай-я, тебя догоняешь! Кабы не эта канава... Ничего себе ноги имешь!..»

Все хохочут, а дед Папуша только щурится на свет фар, смотрит куда-то в глубь себя.

— Дедусь, а не тянет вас домой, на родину? — спрашивает Родион. Вскоре по приезде на кордон Иван сказал Родиону, что дед Папуша — их земляк, из Барских Чемерис. — Или привыкли уже?

— Где там не тянет... Даже зверя под старость тянет к родному логову... Бывает, даже заплачу, как вспомню свои Барские Чемерисы... Облягу, уже и спать пора, а я все думаю... Вспоминаю улицы, сады, речку Ров... Тот край, где народился, всегда кличет. А под старость — и подавно...

— Так почему ж не возвращаетесь? Может, не к кому?

— Почему не к кому?.. Есть до кого... Родичей — точно маку: братья, сестры, племянники... Каждый раз, как наведаюсь в гости, переманывают... Зовут и дети — в Киев, во Львов...

— Так что же вас держит тут, среди гор, среди лесов?

— Э-э, что держит... Так сразу, мил человек, и не скажешь...

— Не эта ли могилка?

— Она — так больше всего... Точно корни — дерево...

— Жена?..

— Да, Романка...

Вздыхнув, дед Папуша сосредоточенно набивает табаком свою черешневую трубку-файку, прикуривает от уголька, держа его пальцами, будто это и не огонь вовсе, продолжает, обращаясь к Родиону, самому внимательному своему слушателю:

— Иногда, мил человек, и сам перестаю верить, что так было. А только ж именно так оно и было. Чего в этой жизни не бывает! Да-а... Когда-то, еще парубком, увидел во сне дивчину. Наснилось мне, будто встретились мы с нею с вечера и миловались да любились до утра... Проходят годы, пора и жениться, а я — не женюсь: она не идет из памяти. Не идет из памяти — и край!.. И в жизни нигде не встречается. А все же встретил я свою суженую в этих краях в сентябре тридцать девятого. Хотите — верьте, не хотите — не верьте, а только ж было промеж нас точнехонько все так, как и наснилось мне тогда... Моложе меня была, а, видите, пережил: смолоду набедовалась тяжко... Барские Чемерисы... Ай-я, кличут к себе, каждую ночь хожу по их улицам... Можно б и переехать, это хозяйство меня ниц не

держит... А не еду, бо Романка тоже каждую ночь приходит... То как же покину ее тутка одну?..

Надолго умолкает, будто смотрит в себя.

Эта углубленность в себя, это вслушивание в себя, — что оно такое? Покорное, равнодушное ожидание конца? Нет, говорит сам себе Родион, это напряженная работа мысли над обобщением пережитого. В детстве мы стремимся открыть и познать мир, чтобы утвердиться в нем наравне со взрослыми, на склоне лет — стремимся осмыслить ту высшую истину, которую должны заповедать потомкам... .

Докурив фэйку, дед Папуша выколачивает из нее пепел о треножник, заканчивает:

— То, что было у нас с Романкою, будто рана — на всю жизнь рубец оставило на сердце... .

Родион уже не жалеет, что согласился поехать с Иваном, напротив, даже благодарен ему, хотя они до сих пор так и не перемолвились ни словечком о том, чего Родион ожидает.

Эта встреча с дедом Папушей, о существовании которого еще несколько часов назад даже не догадывался, думает он, чем-то меня обогатила, утвердила в чем-то. Никогда не следует бояться новых дорог, надо смелее входить в неизведанное, дорога никогда не обкрадывает... .

На ночь укладываются на сене. Родиону выпадает лежать рядом с молчаливым егерем Василечком, который весь вечер почему-то пристально приглядывался к нему, словно хотел узнать в нем кого-то. Родион лежит навзничь и думает про Юлю. Эти мысли и воспоминания, догадывается он, возбудил дедов рассказ. Он думает про Юлю и чувствует, что они непременно должны встретиться, как только приедет в Далекне Куты... .

2

— То была писаная краля. А что уже скупая — на все горы скупее не было. Даже нищим вместо хлеба подавала камни. Ну, подкараулили опрышки ту богачку, привели к Олексе. Стали совет держать, какую же ей кару вынести. Тут встает Довбуш с пенька смереки да и говорит... .

В рассказ Василечка все время вплетается взволно-

ванный гомон Черемоша, шум раскачивающихся смерек, щебет пташек.

Черемош буйствует в глубоком ущелье. Непокорный, гордый, готовый в любой миг поломать, разметать мосты, плотины, прибрежные древесно-каменные укрепления — кошпцы, в эту осеннюю пору, когда в горах почти ежедневно выпадают дожди, он стал особенно опасным.

— Встает Олекса да и говорит: «Я так себе думаю, братчики: коль скоро та богачка имела совесть людей камнями дурить, то пусть и сама каменной станет...» Махнул своим топорцем в сторону скупой богачки — на глазах опрышков она в тот же миг окаменела. С тех пор и высится над Черемошем, привлекая внимание каждого, кто впервые попадает в эти края. Так слышал я от людей...

Юрко Василечко закуривает и вновь принимается чистить криничку — охотничьим ножом и руками.

Иван, совсем обессиленный за несколько часов странствий, уже давно предлагал остановиться на отдых. А Василечко упорно вел дальше. «Вот будет источник, — сказал, — там и передохнем». Вскоре они и в самом деле набрали на источник.

Родион удивился острому зрению и цепкой памяти егеря, ибо заметить его, этот источник, спрятавшийся в буйных зарослях папоротников, было почти невозможно.

Василечко ловко смастерил из коры черпачок, зачерпнул им сначала Ивану, потом — Якову Юхимовичу, потом — Родиону, после всех напился и сам. Пил жадно, — тоненькая струйка прозрачно лилась на аккуратно выбритый подбородок, раздвоенный желобком. Напившись до отвала, повесил черпачок на ветку ближайшего лещинового куста, стал чистить источник — широким охотничьим ножом и руками.

Сперва Родион ни за что не поверил бы, что здесь, на самой верховине, можно напиться из источника. Юрко объяснил: верховинские источники — особенность Карпат.

Юрко загорелся — чистил и чистил источник, став перед ним на колени.

— Юрий Васильевич, — позвал Яков Юхимович, — уж не собираетесь ли вы, случайно, криницу выкопать?

— Эге, — усмехнулся в пышные усы, — был бы заступ. Криничка тут не помешает — сюда много народу пить ходит — пастухи, лесорубы, геблоги...

Родион не дал ему завершить эту работу — спросил, не знает ли он, почему вон тот утес над Черемошем Скупой богачкой называют. Теперь, рассказав легенду, Юрко вновь принялся за дело.

Молчание, запавшее после его рассказа, нарушает Иван — он, бессильно раскинув руки и ноги, лежит посреди кустов папоротника у источника.

— Байка, так сказать, не без морали... Трепач ты, Юрко, видать, ловкий, а вот егеря — никудышный: водишь, водишь по этим горам, а мы даже оленьего следа не видели.

— Сейчас у них гон, прячутся как можно дальше от стороннего глаза, потому и не встречаем.

— А это меня вовсе не касается! Ты обязан вывести нас на оленя — такую уж службу себе выбрал!.. Ох-хо-хо, — сладко и блаженно потягивается Иван, хрустя пальцами, потом срывает перезревшую ягоду ежевики, лениво бросает в рот. — Вижу, плакали мои королевские рожки. А я так мечтаю о них!.. Лежу, бывает, на кушетке и так выразительно вижу их над собой: ветвистые, будто экзотическое дерево, двенадцать отростков, метра два размахом, пуда на полтора весом. Королевские рога! С них свисают ружье, патронташ, нож. Приходят знакомые, завистливо тарашатся: Иван Лавринович, скажите, пожалуйста, где вы раздобыли такую роскошь? По какому благу?.. Эй, Родион, ты хотел бы иметь королевские рога?

— Не отказался бы... если они — с оленя, а не со шведского короля...

— Ха-ха!.. Значит, не я один... Собственно, если серьезно задуматься, жизнь — это та же охота. Охота за удачей, успехом, любовью, положением в обществе... Не так ли, Родион?

— Пожалуй, ты прав. В том случае, если сам превращаешь ее, свою жизнь, в эту самую охоту...

— Представь себе, вуйко, меня всегда привлекала острота ощущений. А это можно испытать только на охоте... Говорят, главное в удовлетворении желания не в том, что ты его уже удовлетворил, уже смакуешь его, нет! После, как правило, наступает разочарование. Вся привлекательность — в самом процессе достижения цели. Чем он продолжительнее, этот процесс, тем слаще удовольствие. Пусть так, не будем придирчивыми. Тем не менее все это начинает мне уже надоедать. Вот именно,

уже начинает сильно надоедать, слышишь, приятель? — бросает в егеря ягодой. — Дайте мне рога! Не через неделю, не завтра, даже не сегодня вечером, дайте немедленно, сию же минуту! Слышишь или нет, ты, рассказчик поучительных баек? — Помолчав, Иван продолжает, словно бы кому-то возражая: — Что же в этом предсудительного? Раз уж мы мечтаем о рогах королевского оленя, значит, не так уж бедно живем на этом свете. Рога, если хотите, — символ наших возросших духовных потребностей... Я правильно говорю? Правильно!

— Духотища-то какая! — жалуется Яков Юхимович, брезгливо вытирая платком вспотевший загривок. — Пожалуй, нас тут захватит дождь... И когда же наконец нормализуется климат?

— Сложная проблема, — вздыхает Василечко. — Как-то вычитал в ежегоднике «Лес и человек»: ученые предостерегают, что к двухтысячному году может растаять Северный Ледовитый океан... Достаточно температуре на нашей планете подняться на четыре градуса против нынешней — и на Европу двинется ледник...

— Да-а, — задумчиво чешет в затылке Яков Юхимович, — невеселая перспектива...

— К двухтысячному году? — Иван поднимается на локте, вопросительно смотрит на Василечка. — Сколько же нам тогда будет? Ого, за семьдесят!.. Э-э-э, вряд ли дотянем. — Безднадежно махнув рукой, снова ложится навзничь и закуривает.

— Уж не хочешь ли ты сказать: после нас — хоть потоп?

— Нет, я так не сказал, не провоцирую, вуйко... Я хотел сказать лишь одно: когда мне будет за семьдесят, рога благородного оленя вряд ли будут меня радовать. Все жизненные интересы сведутся к зефиру, кефиру и теплему сортиру...

— Интересная, между прочим, штука, — лукаво замечает Яков Юхимович. — Стоит только нам, простым смертным, очутиться на природе, как нас начинают беспокоить актуальные проблемы охраны и сбережения окружающей среды. В повседневной жизни мы почти над этим не задумываемся — некогда...

— К сожалению, — поддерживает его Василечко, — над этим почти не задумываются даже те, кто по долгу службы обязан задумываться... Не только задумывать-

ся, но и что-то делать... Живут одним днем... Вот именно: после нас — хоть потоп!..

— Ладно! — обрывает Василечка Иван. — Оставим эти пустые разговоры. Все равно мы этой проблемы не разрешим, как бы ни философствовали...

— Хоть языки почешем, — усмехается Яков Юхимович, — все же легче...

— А ты что предлагаешь? — спрашивает Ивана Родион. — Перейти от разговоров к делу?

— Ты угадал, земляче. Тут собрались одни охотники. Однако сегодня мы еще ни единого выстрела не сделали, так вот и вернемся с неизрасходованными патронами?.. Предлагаю устроить соревнования в стрельбе по летающим мишеням...

— По каким? — заинтересовался Яков Юхимович.

— Уж не по птицам ли? — Василечко даже привстает с места, хватается рукою за ружье. — Это попахивает браконьерством, а браконьерства я не допущу!

— Не горячись, приятель! — обрывает его Иван. — Никто не собирается бить твоих птиц, мы не браконьеры... Летающими мишенями будут наши шляпы. Как вам моя идея? Может, кто-то боится за свою шляпу, так пачнем с моей. Ты, Юрко, подбрасываешь шляпу как можно выше, мы по очереди бьем. Каждый делает по три выстрела. Кто попадет больше всех, тому вечером, как возвратимся, приз — бутылка «Охотничьей». Поташим жребий, кому стрелять первому. Если уж соревноваться, так по всем правилам.

Первому выпадает стрелять Родиону.

— А если испорчу тебе шляпу? — улыбается Родион, поднимая с земли «бельгийку» деда Папуши. — Не будешь иметь на меня зуб?

— Скажешь «гоп», когда перескочишь, — подкалывает Иван. — А если сделаешь маленькую дырочку, еще и спасибо скажу — не каждый же раз возвращаешься с охоты в шляпе, простреленной старым другом-приятелем. Подкидывай, Юрко, посмотрим, какой из вуйка Родиона стрелок.

Юрко пристально, словно бы подбадривая, зыркает на Родиона, усмехается и швыряет «летающую мишень» вверх.

Шляпа летит в небо, быстро-быстро вращаясь, будто диск, потом на какое-то мгновение замирает в полете,

переворачивается полями книзу и медленно начинает падать.

В этот момент Родион и стреляет — вначале одним стволом, потом — другим.

Шляпу подбрасывает раз и другой раз, кажется, что из нее выпорхнули воробьи — это полетели ключья.

Раздается хохот.

Яков Юхимович катается по земле, подминая кусты папоротника, широко растопыривая куцые пальчики, рвет стрелчатые листья и уже не смеется, а бессильно сипит. Когда же Юрко, тоже заплаканный от смеха, приносит шляпу и со словами: «Одна обичайка» — бросает перед Иваном, на Якова Юхимовича нападает такой приступ смеха, что кажется, он умрет от него.

Иван смеется вместе со всеми, но не так весело, только скалит зубы — по всему видно, он совсем растерялся от неожиданности.

— А ты, вуйко, стрелок — будь здоров! — снисходительно похлопывает Родиона по плечу. Склонившись над Яковом Юхимовичем, слегка толкает его сапогом под зад. — Хватит вам кататься, пуп развяжется. Соревнования продолжают. Давай-ка сюда свою шляпу.

— Э-ээ, не-ее-ет... дурных нету, — едва выговаривает Яков Юхимович сквозь икоту. — Хо... хочу до... до дому в шляпе вернуться, а не в би... оби...-хах-хах! — обичайке!..

— Ну ладно, — говорит Иван, — развлеклись немного, побесились, двинулись дальше...

3

Вперед светлеет, деревья расступаются, и они выходят на полонину.

Искупанная недавним дождем, полонина не по-осеннему зеленеет, в дымчатом рассеянном солнечном свете приобретает округлые формы, а на вершине выразительно чеканится каменный крест.

— Вон там вот, — показывает егерь на крест, — когда-то в такую же грозу, какая нас захватила, убило молнией ватага из Перкалабы, потому эта полонина и называется Ватаговой.

— Смотрите, смотрите! — возбужденно восклицает Яков Юхимович. — Радуга, радуга!

Радуга трепетно мерцает над Ватаговой полониной.

плет воду из горных потоков, игривый их шум доносится даже сюда. Охотники стоят под коромыслом радуги, будто под семицветной исполинской аркой. Дугообразные столбы этой арки так близко, что, кажется, протяни руку — и тебя обожжет огонь семи цветов. Даже Динар залюбовался невероятно красивым видением. До жалости мокрый, стоит впереди, задрав морду, смотрит на радугу.

— Где это, мы, Юрий Васильевич? — обращается к егерю Родион.

— Где? А можно сказать, в самом сердце Карпат. Там — на север — Горганы, на запад — Водораздельный хребет, а прямо перед нами — Черногора.

— Пошли, мальчики, пошли, — подгоняет Иван. — Уже кишки марш играют.

Юрко смотрит на часы, успокаивает:

— Еще и солнце не зайдет, как будем на дедовом кордоне.

Они бредут по склону дальше. Наконец и совсем выходят из сумеречного и прохладного леса, попадают на плай, и Юрко приказывает поворачивать влево.

Над далекими ущельями клубятся туманы, затягивают горы белыми прядями — и округлые холмы лесов и полонин высятся над этим белым мраком уютными островами.

Где-то за этими туманами, думает Родион, кажется, на самом краю света, — кордон деда Папуши. Этот плай, наверное, и приведет к нему. На кордоне дед Папуша дожидается оленины. Утром, провожая их на охоту, уже за воротами поднял кверху заплаканные от бессонницы глаза, долго всматривался в небо, будто что-то вычитывал на нем, потом сказал, что сегодня уж им пофортунит, потому что слышал, как среди ночи трубили где-то там, в стороне Ватаговой полонины, а после сошлись — билась, аж горы стонали. Однако не везет им и в этот последний день. Такие уж глухие и хмурые чащи (здесь застоялся тяжкий дух лесных кладбищ) исходили, набрали даже на тисовую рощицу — выбились из сил, оборвались, вымокли ко всему еще под ливнем (не спасали и густые кроны деревьев), а даже оленьего следа не видели, не то что живого оленя. Все их тропинки как будто бы кто-то заколдовал.

Узкий плай, обогнув Ватагову полонину с востока, вновь втягивается в прохладный сумрачный лес, откуда бьет густым грибным духом. Василечко петляет между

деревьев, собирает грибы, складывая их в шляпу. Так он делает все время: выйдет на грибное место, наберет полную шляпу, возвращается на плай — идет и накальвает грибы на веточки ближайших кустов.

— Что это вы делаете, Юрий Васильевич? — удивился вначале Родион. — То собирали, а теперь на ветки нанизываете — для чего?

— Высохнут — белка в свое дупло перенесет, будет пища на зиму.

На опушке леса Родион в последний раз оглядывается на Ватагову полонину, на семицветную радугу, на каменный крест. Оглядывается и немеет от удивления.

Над зеленой, омытой дождем полониной, над фиолетовыми лесами, над белыми туманами, наплывающими из глубоких ущелий, круто нависают горы, такие горы, каких Родиону еще не приходилось видеть.

Почему ж я не заметил их раньше, думает он, пораженный, ведь четверть часа назад они были еще ближе? Да нет, я все-таки заметил их, но тогда принял за серые тучи, подкрашенные вечерним солнцем. Обман зрения. Теперь же ясно вижу, что это — горы. Такое впечатление, будто недавно здесь произошла катастрофа — взорвалась атомная бомба или упал метеорит: все абсолютно поломано, уничтожено, перемолото, разбросано, перепахано.

Каменное кладбище — иначе не назовешь.

Мне уже приходилось видеть каменные химеры, созданные ветром, морозом и водой, приходилось видеть жуткие прорвы в земных недрах — следы землетрясений. А такие утесы, кряжи, ущелья, валуны вижу впервые.

Что-то слишком тяжелое, слишком мощное сползло вон оттуда, из-за тех туч, как будто бы с самого неба, и, сползая медленно, но неудержимо утюжило, слизывало, соскребало на своем пути мелкие горы, крошило их в булыжник, а на склонах более мощных гор пропахивало глубокие борозды-желоба — так, пожалуй, и создавались эти утесы и бездны, среди которых сейчас слепо и бессмысленно бродят туманы, текут все выше и выше, туда, за мрачные тучи.

Постой-ка, говорит Родион сам себе, пожалуй, я догадываюсь, чья это работа. Ледника! Конечно же, это след скандинавского ледника. Того самого, который опять может, как сказал на привале Василечко, надвинуться

на Европу, если уничтожить леса, реки, горы и все живое в них.

И Роднон, стоя на опушке леса у подножья Ватаговой полонины, очень четко представил себе Великую Зиму нашей планеты.

Сначала было Великое Лето, и здесь росли такие же папоротниковые деревья, как эти ели и буки. А после наступила Великая Зима.

Из Страны Белого Безмолвия — с полуострова Скандинавского грозно двинулся на шумную Европу гигантский ледник. Пересек Балтийское море и, вздыбившись над материком на трехкилометровую высоту, двинулся на юг, превращая цветущую землю в жуткую пустыню. От лютого холода все живое бросилось спасаться куда глаза глядят.

Отчего же она тогда наступила, та Великая Зима нашей планеты? Зима, чей след будет давать себя знать еще и через миллионы лет? Нарушилось равновесие? А не приложили ли к этому руки и тогдашние земляне?..

Из леса доносится едва слышное ворчанье Динара — возбужденное, нетерпеливое, порывистое. Неужто олень?.. Встретили все же... У Ивана, верно, руки чешутся — наконец-то будут у него рога!

В последний раз бросив взгляд на хмурое каменное кладбище, не ожившее и через миллионы лет, Роднон бежит пологим плаем и на гребне, поросшем буком и лещиной, догоняет компанию.

— Тише ты! — вскинувшись над кустом, люто вырывается на него Иван, он уже держит ружье нанзготовку. — Топзешь как медведь... Испугасьш...

— Олень?! Где?..

— Тс-с, — прикладывает Иван палец к губам, уже миролюбивее, кивает разлохмаченной головой — мол, он, шепчет увлеченно: — Рога — упадешь... Вон они, — показывает за кусты в сторону долины, откуда доносится неумолчный шум горного потока, наверное, это из него радуга воду пила. — Пара: олень и олениха... Тише, тише... Хоть ветер и с их стороны, и поток шумит, но они страшно чуткие...

— На свою беду, — подает голос егерь, — во время гона они становятся глупыми, утрачивают чуткость...

Василечко держит ружье в правой руке, стоит под буком, прислонившись плечом к гладкому сизому стволу,

и во всей фигуре его и в выражении лица угадывается усталое бессилие и беспомощность. Похоже на то, думает Родион, удивленно поглядывая на егеря, что сейчас бабахнут не по оленю, а по тебе, Юрко...

Какне-то противоречивые страсти борются в душе егеря, и вспышки этой борьбы отсвечивают в его глазах. На что-то он, Василечко, пытается и не может решиться, что-то собирается предпринять и не может.

Яков Юхимович, потирая ребром ладони глаза, которые так некстати заслезнились, вытягивает длинную шею из-за Иванова плеча, тихо спрашивает:

— А где они? Где? Еще пьют?

Олени, наверное, только что вышли к этому потоку. Целый день бродили самыми потаенными тропками, любовь увела их подальше от стороннего глаза, любопытного и лихого, заводила туда, где могли они чувствовать себя так, как чувствовали их далекие предки, — вольными детьми природы; где могли не бояться того, что кто-то подсмотрит их тайну и криком или пулей оборвет миг безумного и сладкого нествования, миг слияния двух красивых и сильных существ, миг, когда начинается еще одна, третья жизнь. Наверное, им было очень славно сегодня, они нашли друг в друге того, кого искали на запутанных и опасных тропах жаркой любви, которая почему-то выпадает на эту осеннюю пору, и самые угрюмые лесные чащи, где застоялся тяжелый кладбищенский дух, были для них самым светлым храмом любви. А может, размышляет Родион, увлеченно разглядывая оленью пару, именно в этом и смысл: любовь их отбезумствует в эту осеннюю пору, когда все в природе охвачено печалью отмирания, а плод этой любви — маленький олененок — придет в жизнь весной, когда оживает все вновь, обновляется — и тем дольше продлится радость бытия.

Конечно же, сегодня им было, по всему видать, очень славно; им никто не мешал — сегодня любовь водила их безопасными тропками; но она, эта пылкая любовь, изнурила их вконец — и нестерпимая жажда заставила обоих забыть об осторожности, погнала к потоку, и вот уже один из них на прицеле охотничьего ружья.

Олениха уже напилась — жажда донимала ее меньше, теперь стоит на берегу потока, стыдливо поджав круто спадающий зад, нетерпеливо перебирает стройными ножками, время от времени поводя головкой на длинной шее, стрижет ушами — прислушивается к звукам, к за-

пахам, смотрит, как он пьет воду, и словно бы торопит его.

А олень не торопится, не торопится потому, что никак не может утолить большую жажду. Забрел в поток по колону и жадно пьет.

— Настоящий красавец! — возбужденно шепчет Яков Юхимович. — Пьет, будто косарь.

— А рога! А рога! — прямо дрожит от нетерпения Иван. — Как раз о таких я и мечтал... Ну-ну, пей, дружище мой, и выходи на берег.

Издалека кажется, что мощное широкогрудое туловище, опирающееся на сухие, но сильные ноги, утолщенные в коленях, покрыто кожухом, вывернутым сверху рыжей шерстью; на боках часто вздымаются и опадают пашины, олень до сих пор еще возбужден; с крутого лба между беспокойными стрельчатыми ушами, будто экзотическое дерево из горшка, раскидисто, ветвисто растут рога, светлые к концам.

Сколько человеческого в поведении, фигурах и облике у них, думает Родион. Как же стрелять в оленя — убить его, а его оставить одну? Как же можно посягать на такое чудо?

Родион смотрит на Ивана, в эту минуту ему кажется, что и Иван думает точно так же и потому не поднимает ружья, но сразу же догадывается, что Иван думает совсем о другом.

... Нам уже хочется рогов благородного оленя, нам не терпится полакомиться оленьей. А не слишком ли дорого обходится удовлетворение наших причуд? Среди лесных жителей оленю — чудо природы, совершеннейшее произведение красоты. Уже сама величавая поступь, гордый вид возвращают нас в детство, самую счастливую пору нашей жизни, — что иное способно заменить радость познания и ощущение истинной красоты?!

Скажут: на оленей охотятся с древнейших времен. Охотились князья, воеводы, цари, помещики — простому человеку эти привилегированные развлечения власть имущих были недоступны. Теперь все это: заповедники, уголья — наше, народное, теперь — и нам доступно. Почему бы и нам не познать радость охотничьих утех, не пережить несколько острых минут, когда взводишь курок, поднимаешь ружье, берешь его на мушку, нажимаешь спусковой крючок — и видишь, как благородный олень, пораженный под лопатку, резко забрасывает назад

голову, делает отчаянный прыжок в сторону и через несколько скачков замертво валится на землю?.. Почему бы и нам не повесить над кушеткой королевские рога, чтобы, лежа с газетой в руках, время от времени поглядывать на трофей, вспоминая счастливую охоту?.. А что — разве нельзя? Разрешено ведь, лицензии выдают — все законно... Конечно, охотились князья, воеводы, цари, помещики и прочая вельможная сволочь, а до чего доохотились? Разве не мы вынуждены были издавать декреты об охране многих и многих видов диких животных, среди них — и благородного оленя? Вон какое наследство досталось нам — безжалостно истребленный мир животных. Хорошо, теперь все нормировано: одна лицензия — один олень. Однако где сказано: охотиться имеешь право не на всякого оленя, разрешается убить слабого, найди такого среди прочих и убей, не жалко. Нигде об этом не сказано. Владелец лицензии изо всех сил стремится добыть экземпляр как можно лучший. На другой и смотреть не хочет. А много ли в Карпатах таких красавцев, как этот, стоящий перед нами?! Пусть там говорят что угодно, а я убежден в одном: поднять ружье на такого оленя — это равнозначно покушению на самое природу.

Олень пьет уже неохотно, вяло, видать, утолил свою жажду. Все чаще поворачивает голову к оленихе, кивает ей, будто хочет сказать: «Еще один, последний глоточек — и уйдем отсюда прочь».

Утолив свою большую жажду, олень двинется из потока на берег; будет идти медленно, устало и удовлетворенно, высоко вздымая сухие ноги, взбивая копытами фонтанчики брызг; будет раскачивать тяжелыми раскидистыми рогами: у самого берега, наверное, зацепится ими за вербовую ветку, нависшую над потоком, сердито боднет ее, «скажет» своей подруге: вот теперь пошли, любимая, опять в наши горы.

Этого мига, когда олень будет выходить из потока и повернется боком, как раз и дожидается Иван, чтобы нажать спусковой крючок взведенного ружья.

— Стреляю я... Только я и никто другой!.. Это — мой олень!.. Я сам положу его... Я сам добуду свои рога!..

От возбуждения Иванов голос то падает до хриплого шепота, то поднимается до высоких властных ноток.

Олень в потоке высоко задирает голову, вода про-

зрачно цедится у него с мордочки; двигая мягкими губами, олень тянется к вербовой ветви, хочет, наверное, сорвать листок.

Решившись, Родион уже ощущает в теле радостный трепет. Быстрым движением вскидывает дедову «бельгийку», краем глаза ловит удивленный взгляд егеря и в тот миг, когда олень потянулся к вербовой ветви, чтобы сорвать листок, нажимает спусковые крючки, сначала — правый, потом левый.

Выстрелы гремят почти одновременно — перебитая ветка падает перед оленем в поток. Под шкурой оленя по всему телу словно бы прокатилась волна, одно лишь краткое мгновение олень слушает гром выстрелов, затихающий над долиной, а потом, будто подброшенный трамплином, мощно прыгает в сторону и назад — вдоль берега трещат кусты, среди них мелькает изредка что-то рыжее.

«Живи, олень», — мысленно произносит Родион, опуская стволы дедовой «бельгийки» и не замечая еще разъяренного Иванова лица.

Глава третья. МОСТ

1

Перед каменным мостом, там, где широкая асфальтированная дорога, стремительно сбежав с горы и словно испугавшись шумливой реки, распадается на несколько улиц, Василечко сбавляет шаг.

— Мне сюда, — показывает направо, — на Почтовую.

— Что ж, — останавливается Родион, — к сожалению, всему приходит конец, даже таким путешествиям. Между тем, Юрий Васильевич, я искренне рад, что познакомился с вами.

— Я тоже, Родион Корнеевич.

Коротким и энергичным жестом, принятым преимущественно в среде добрых знакомых, крепко пожимают друг другу руки, вкладывая в это нечто большее, чем сказано словами.

— До встречи, Родион Корнеевич.

— О-о, это было бы очень здорово — еще раз встретиться на кордоне старого Папуши, однако боюсь, что такого случая больше уже не выпадет.

— А я говорю: до встречи, Родион Корнеевич...

Родион бросает на Василечку быстрый и пристальный взгляд, выработанный за годы. Может, он, этот симпатичный человек с не менее симпатичной фамилией, в самом деле на что-то намекает, вкладывая в свои слова тайный смысл, или мне это лишь кажется? Как знать...

На Василечковом добродушном и мужественном усатом лице, кроме искренней приязни, ничего не прочитать, не выведать больше. Правда, Родиону показалось, будто светло-карие Василечковы глаза на миг заговорщически прищурились, в зрачках даже мелькнул насмешливо-задорный огонек, но это длилось лишь краткий миг.

Утомленному двухдневным путешествием, грубой стычкой с Иваном, ожиданием попутного транспорта под пронизывающим резким ветром, наконец, убаюкивающей, сладостной, с частым, однако, пробуждением, дремотой в уютном и удобном кресле скоростного «Икаруса», Родиону уже хочется поскорее уединиться, окунуться в покой — не столько телом, сколько душой. Еще раз пожав Василечку пятерню, такую твердую, будто Василечко еще в молодости толкал ею кирпичи или рубил угол стола, как делал это старый Родионов приятель, однокурсник Сватко, Родион кивает головой, и они расходятся — каждый в свою сторону.

Старею, наверное, не то печалится, не то упрекает себя Родион, направляясь к мосту. Дорвусь до тепла или тишины — и уже засыпаю, как степная черепаха. Проворонил все напрочь: и как с перевала спускались, и как в Далекие Куты въезжали. И так хотелось вновь ощутить, пережить тот миг, когда широкая дорога, вырвавшись из елового леса, всегда, вероятно, туманного и влажного, начинает стремительно опускаться словно в пропасть, а на тебя мчатся горы: ближние — густо-синие и редколесые (эти еловые рожицы на склонах — точно гурьба гуцулов, спускающихся в долину на ярмарку или на гульбище), отдаленные — тусклые, с водянисто-зелеными пятнами полонин, и совсем далекие — затянутые кудлатыми облаками.

Горы круто восстанут над влажными, увядшей листвою присыпанными крышами Далеких Кут, над белой зубчатой башней ратуши, над площадями и улицами, рекой и мостами. Собственно, ничего этого еще не будет видно, все это: и крыши, и башня ратуши, и площади, и улицы, и река, и мосты — будет лишь едва угадываться

или же оживать в памяти в тот первый миг, когда дорога стремительно станет опускаться в пропасть, а на тебя помчатся горы, те самые, из которых ты приехал, потому что здесь, в предместье, дорога делает крутой поворот, будто стремится убежать назад.

А может, в конце концов, это как раз и хорошо, что я продремал этот участок дороги и не видел, как мы въезжали в Далекне Куты. К тому, что отразилось в твоей памяти, новые впечатления уже ничего не добавят существенного, могут лишь испортить, как, бывает, один мазок кисти иногда портит законченный пейзаж.

Какая-то необъяснимая загадка. Если мы боимся новых впечатлений в краях нашей юности, почему же так стремимся к встрече с ними? Чтобы потешить свое честолюбивое сердце тем, что и они изменились вместе с нами — состарились? Или соблазняет странное искушение войти туда, где прошла наша молодость, как в легендарную целебную воду, и выйти оттуда вновь молодыми, красивыми и здоровыми?

Любая мысль требует основательного подтверждения собственным опытом, а между тем я твердо убежден пока что лишь в одном: не много найдется у каждого из нас друзей, при встрече с которыми, глядя в постаревшие лица, заглядывая в усталые, потухшие глаза, мы, однако, продолжаем видеть их такими же, какими запомнили когда-то. Среди этих немногих друзей, которым готовы простить самые тяжкие обиды, — и места нашей юности.

Не Киеву, не Львову, не Одессе, которыми я бредил уже с четвертого класса, наслушавшись рассказов старших, даже не родной Виннице, о которой хоть и редко, а все же думал, судилось стать местом моей молодости, а именно этим Далеким Кутам. Возможно, я никогда бы даже и не догадался о существовании этого верховинского городка, если бы в первые послевоенные годы судьба не забросила сюда Владимира. За открытие Далеких Кут и за все то, что выпало мне познать и пережить здесь, я должен благодарить своего старшего брата...

Прежде всего — гостиница, решает Роднон. Помыться, выбриться — в таком виде не могу идти к Владимиру, — немного поспать, а после — на свежую голову — облупить последующие действия.

Река выдыхает туман. Кудлатые подвижные колтуны тянутся кверху, зализывают прибрежные бугры, стапо-

вятся реже и нежно розовеют по краям — видать, там, в горах, уже восходит солнце. В предместье, на обоих берегах, где-то в тумане голосисто и задорно поют петухи.

Нет, я все-таки помню кое-что, размышляет Родион, всматриваясь в фигуры редких прохожих, возникающих из тумана, будто привидения. Помню, как спускались с перевала, исхлестанного четырьмя ветрами, в туманную и уютную долину. Помню, как в мерцающем сиянии молодого месяца (на нижнем его роге висела слепящая звездочка) остро и таинственно поблескивало на умопомрачительных поворотах горное шоссе, как в долине зеленовато светился туман.

А когда начинал дремать, мне снился тот олень. Точнее, виделся. Мне все время виделось, как выходит олень из предрассветных сумерек леса, вынося на ветвистых рогах росяной жгут папоротниковых ветвей.

Что со мной происходит? Отчего вдруг так сразу захотелось домой? Остановить какую-нибудь попутную машину и как можно быстрее бежать отсюда. Вернуться в привычный, устоявшийся мир. Зажмурю глаза, и уже улыбаются мне знакомые и родные лица, слышатся знакомые и родные голоса. Как хочется в этот миг оказаться дома, среди своих! Я знаю, почему так хочется этого: сегодня, чувствую, что-то должно произойти, а я боюсь этого.

Для воспоминаний многого не надо, думает Родион, подходя к мосту, довольно какой-нибудь мелочи. Бывает, услышишь где-то полузабытое имя, и весь содрогнешься, и тоскливо защемит сердце, и ты вновь переживешь то, что когда-то переживал, только болезненнее, — болезненнее потому, что все мелочное отсеялось, осталось лишь самое значительное, болезненнее потому, что уже приобрел жизненный опыт и можешь дать всему пережитому истинную оценку.

Когда же спустя много лет приезжаешь в город своей юности, уже первые твои шаги по его улицам — это шаги в прошлое, и путешествия этого не избежать...

2

То было просторное и неуютное помещение, выстроенное как бы посреди леса, — вот так взяли, отгородили его квадратом стен из нестроганых досок, отрубили елям верхушки, ободрали кору, побелили известкой — еловым

стволы стали колоннами, на колонны настлали крышу, между колонн — полы, — вот вам спортивный и танцевальный зал.

Каждую субботу здесь собиравлись на танцы. Собственно, в объявлениях, которые вывешивали на улице по обе стороны дверей, это называлось «вечера молодежи». Кто не умел или стеснялся танцевать, приходил сюда сыграть в шахматы или шашки — столики с шахматами выставлялись за первым рядом колонн, у раздевалки.

Танцевали под гармошку и бубен с литаврами: на гармошке играл Гарматий, преподаватель физкультуры, еще молодой, но уже лысый, на бубне — гардеробщица Нонна, неопределенного возраста молодница, всегда молчаливая и улыбчивая, будто большая кукла. Эта непривычная музыкальная пара вначале вызывала шуточки, после к ней привыкли, других музыкантов на вечерах и представить было трудно, потому что выходило у них и в самом деле хорошо.

Начинала Нонна, словно бы задавала Гарматию необходимый ритм и темп. Игралн большей частью вещи тихие и печальные, задумчивые, порождавшие в моем воображении цветные видения. Нонна брала в левую руку свой бубен — он мог бы служить и полонинской лулою в самодеятельном спектакле, поднимала на уровень груди, длинными и темными пальцами правой едва слышно касалась натянутой на обруч кожи, желтой, совсем прозрачной. Гарматий прижимался лысой своей головкой к гармошке — и с первыми же аккордами перед монми глазами вставали цветные видения.

Я жалел, что не выучился танцевать. В мечтах вел дивчину на танец, клал правую руку на гибкий стан, привлекал к себе, смотрел в глубь увлекающих глаз, на раскрытые уста, млея от сладкого счастья, а на самом деле, глядя, как танцуют другие, среди них и Иван, чувствовал себя несчастным и неполноценным.

В тот вечер, когда это началось, все было так же, как и раньше. Иван кружился в танце, а я играл в шахматы с нашим старостой Сватком. На душе почему-то было тоскливо и беспокойно. Все меня раздражало. Раздражало то, что проигрываю Сватку, что он безостановочно стучит ребром ладони об угол столешницы — чтоб тверже была, раздражало и то, что всем сегодня особенно весело.

Сватко объявил гарде моей королеве и еще чаще, словно торжествуя близкую победу, замолотил ладонями по столу. Я склонился над шахматной доской — мне не хотелось проигрывать ему еще одну партию.

— Вы тут играете и ничего не видите и не слышите.

К нашему столу приблизился Иван.

— А что именно надо слышать и видеть?

— О-о, тут к нам залетела одна пташка. Ну, писаная красавица! Мы все попадали, как только она вошла. Один перед другим бросились приглашать на танец, а она с нашим братом не идет. Такая, видишь ли, разборчивая и гордая. Стоит вон там, под стеной, отдельно от других городских девчат, стрижет глазами, будто олениха. Хлопцы сговорились было вывести ее, а после сдрейфили. Так, может... вдвоем выведем, а, Родион?

— Она и тебе отказала?

У Ивана были невероятно красивые зубы, он знал об этом, потому-то время от времени их «продавал» — вот так оскалит их и потирает верхней губой, будто гляцует. Мне это всегда напоминало лошадиную улыбку.

— А с тобой, думаешь, пошла бы?

«Женихаться» он стал уже с шестого класса. Пугливый в другом, с девочками, однако, чувствовал себя довольно уверенно. На уроках царापал им записки, грубовато объяснялся в любви, назначал свидания, на переменах ухитрялся если не одну, так другую зажать в уголке, за печкой; субботними вечерами зачастил на танцы, кружил во все стороны не только одноклассниц, но и тех, кто постарше; провожал домой целый выводок, потом оставался с одною, самой податливой — утром прибегал хвастать, как «цюлювались».

В школе называли нас старичками, для своего класса мы были переростками, под носом уже густо проросли усы, однако девочки привлекали меня меньше, чем Ивана, я больше тянулся к книгам. А когда потянуло и меня к девочкам, было уже поздно. Я понял, что проворонил что-то очень важное, чем-то жестоко обидел одноклассниц. В классе вились вокруг меня ласточками, называли Родиком-любчиком, угождали, как только могли, чтоб дал списать домашнее задание, а за пределами школы я был для них задавакой, выскочкой. Женщины не прощают равнодушия, невнимания к себе — жестоко карают

мужчин за холодное превосходство. Эту истину я вынес с выпускного вечера, когда даже Неборенчикова Дуня, самая некрасивая в классе, не пошла со мной танцевать.

Однако вот уж два года, как стали они для меня другими, эти опасные, загадочные и влекущие создания. В детстве бегали мы, бывало, на Чумацкий шлях за село слушать, как гудят телеграфные столбы. Приложишь ухо к сухому, потрескавшемуся от солнца и дождей дереву, а изнутри — загадочный гул. Ночами не спишь, разгадываешь, что оно там играет. Нечто подобное — и теперь: улыбнется, случается, тебе какая-то из них не так, как другие, дольше, чем надлежит, взгляд на тебе задержит, — все звучит в тебе, будто в том телеграфном столбе, ты прислушиваешься сам к себе, удивляешься: с чего бы и что это такое?

Тем не менее стоило вспомнить выпускной вечер, как в жилах невольно взбунтуется кровь, застучит в висках, замутит и без того туманный разум — ненавидел тогда всех женщин, какие только есть на свете, кроме матери и сестер, зажигался жаждой мести. Защитить мужскую честь, не дать наплевать себе в кашу или поиграть на носу (так говорили у нас) — стало первой заповедью в отношении к женщинам.

— Где она, эта краля? — спросил Ивана, решительно вставая из-за стола.

— Не надо, хлопцы, — шевельнул Сватко порозовевшими ушами. — Завтра весь городок болтать будет.

— А нам именно этого и надо, — ответил Иван. — Пусть в городе знают, что наши хлопцы не лыком шты. . . Вон она, за колонной, в углу — видишь?

— Эге ж, вижу. . . Пошли!

Как будто чарку добрую хватанул — наполнился селою отвагой: что там для меня одна, всех чужих напроць могу вывести отсюда. Позвольте, Маричка, взять вас под руки, проводить за порог, пора уже вам спатеньки. . . Вот они, двери, бывайте здоровенькие, приходите еще, всегда вам рады. . . Слишком церемонно, а церемониться с гордыми нечего. . . Ты, как там тебя! Ты чего пришла сюда — вытришки продавать, позорить наших парней или танцевать? Ну-ка, выметайся отсюда! . . . Это уж слишком грубо. . . Э, да что там голову морочить, как уж там выйдет, только бы проучить.

Так я думал, пока через весь зал направлялся к ней, пока не увидел ее вблизи.

Нонна с Гарматием заиграли вальс.

— Как раз кстати, — горячо зашептал мне Иван из-за спины, — под музыку и выведем.

Этого вальса ждали, однако танцевать пошли не все, многие, предупрежденные Иваном, остались на местах — даже затылком почувствовал я их заинтересованно-посщрительные взгляды, наполнился еще большей отвагой. И тут увидел ее.

Она стояла отдельно от всех городских девчат, которые ходят сюда каждую субботу, в малиновом платочке, желтом жилете-киптарики, пестрой юбке, красных чеботках, высокая и тонкая, на фоне белой стены походила на фреску. Блуждала взглядом от пары к паре, потом наши глаза встретились.

До нее оставалось шагов пять.

Нонна с Гарматием играли вальс: легко и сноровисто журчал по корням ручеек; выбегали к нему олени и косули, забредали в воду по колени, янтарные струйки стекали с нежных мордочек; над полевой в косых солнечных лучах роились пчелы, стряхивали с крылышек золотистую пыльцу на белые ромашки; ребенок улыбался из колыбельки птице, сидящей на ветке, солнцу, матери; над опустевшими августовскими полями вставали полуденные миражи... — до нее оставалось, наверное, шагов пять (продолею ли когда-нибудь это расстояние? и зачем мне это?); под языком ощутил терпкую горечь, словно бы наглотался чернильных испарений, ноги до колен похолодели и отнялись, беспомощно оглянулся на Ивана, но Иван и сам растерялся (пусть там думают обо мне что угодно, пусть называют трусом, пусть после этого стану противен сам себе, только это выше моих сил — вывести ее отсюда; собственно, я и не собирался это делать, почему вы все думаете, будто иду к ней, чтобы вывести отсюда, вытолкать за дверь?.. Я вообще иду себе прочь, мне тут осточертело, вот мимо этой колонны — и в дверь); до нее оставалось, наверное, шагов пять, я уже молил, чтоб подо мною разверзлась земля или вообще меня не стало, и тут она оттолкнулась от стены и пошла мне навстречу.

Я остановился.

Ой леле, что она делает?

Улыбаясь глазами и губами, чуть изогнутыми левым уголком кверху, подошла ко мне, поклонилась — через минуту я уже почувствовал ее левую руку на своем плече,

а пальцы правой — в своей левой руке, поднятой и раскрытой невольно, потом я положил правую руку на ее талию, мы качнулись на месте вправо-влево, пол выскользнул из-под моих ног, стены и колонны сдвинулись с места, закручиваясь в водовороте, центром которого стали мы с нею, закачались в легком размеренно-умопомрачительном ритме, и где-то далеко позади остались Иван и все, кто был в этом зале.

Где-то за пределами сознания, за пределами реального бытия ритмично гремел барабан, густо звякали литавры, захлебывалась то светлой печалью, то буйной радостью гармошка — и бодро журчал в долине ручей, омывая корни стройным елкам-смерекам, расчесывая склоненные к воде травы, и над этим ручьем были мы...

Какая чудесная сила внезапно сообщила всему плавный волнообразный ритм — нашим движениям и нашим словам, сказанным вслух и мысленно, окрасила в один цвет — золотисто-теплый, а меня самого сделала легким, ловким, смелым?

Казалось, это будет продолжаться сегодня, завтра и послезавтра, будет длиться вечно. И я уже желал, чтобы и в самом деле это длилось вечно — влажный и таинственный блеск серых глаз, выжидательно-радостная улыбка на раскрытых, чуть изогнутых кверху устах, мелкие капельки пота на высоком челе, запах вымытых дождевой водою волос и молодого тела, движение гибкого и горячего стана под моей рукой, прикосновение маленьких твердых грудей, глубокий, немного хрипловатый голос — кажется: вот она, эта краса, передо мной, а через мгновение исчезнет и больше не будет ее — просто невероятно, чтобы она была вечной или же существовала вообще.

Ее лицо было так близко от моих глаз, что я отчетливо видел темный пушок на верхней, изломанной в левом уголке губой, — это было и страшно, и в то же время соблазнительно. А между тем ее красота, ее чары словно бы передались и мне, и я почувствовал себя тоже красивым, равным ей — оттого, наверное, и стал смелым и разговорчивым.

— Вы у нас впервые?

Наклонила голову, взглянула из-под бровей, улыбнулась и опустила ресницы.

— Впервые.

- Вам здесь нравится?
- А куда же деваться по вечерам?
- Вы местная?
- Местная.
- Почему же я до сих пор не встречал вас нигде?
- А вы искали меня где-нибудь?
- Далекие Куты — не Львов и даже не Дрогобыч, тут каждый на виду.
- Я жила в Дрогобыче, у брата, теперь вот вернулась.
- Вы не рассердитесь, если я вам что-то скажу?
- Смотря что именно...
- Вам еще никто не говорил, что вы — самая красивая дивчина на свете?
- Уже говорили.
- Жаль. А я думал, что вы услышите это от меня.
- А вы уже многим это говорили?
- Вам — первой.
- Ай-я, так вам и поверила.
- А вы поверьте. Я говорю это искренне — на искренность вызвали меня вы сами... Для меня вы — та дивчина, которой хочется говорить самые лучшие в мире слова, пусть будет приятно. А если будет приятно вам, приятно будет и мне, а больше мне ничего и не надо...
- Она снова наклонила головку, взглянула из-под черных бровей внимательно и пытливо, потом доверчиво улыбнулась — вспыхнули и опустились глаза, через минуту она вновь их подняла на меня.
- Как вас зовут?
- Юля... А вас?..

3

Туман наплывает из-под моста, летучей пеленой закрывает прогоны — Родиону кажется, будто посреди реки мост обрывается и нечего думать добраться до противоположного берега: дойдешь до середины, ступишь еще шаг — и сорвешься в пугающую бездну.

Мост под ногами упруго и пугливо вибрирует, словно предостерегает: дальше не ходи — опасно!

Посреди моста Родион останавливается, наклоняется через перила, смотрит вниз. Вода дымится, точно кипяток, невозможно определить, какая она сейчас — прозрачная или мутная...

Посреди моста мы остановились, оперлись, друг друга касаясь плечами, на перила, заглянули вниз.

Внизу, между каменных быков, вода морщилась жирными нефтяными пятнами, на воду садились лапчатые снежинки, садились с отчаянной веселой обреченностью, а вербы на другом берегу под тихим и густым снегопадом стали удивительно нежными, походили на пушистых зверюшек, доверчиво сжавшихся в ожидании ласки.

— Ты знаешь, Роднон, — сказала Юля, подставив ладонь под снежинки, — когда наступает зима, когда земля и все, что на ней, одевается в белое, мне начинает казаться, будто я уже когда-то приходила в этот мир... Почему так?

— Такая, наверное, чудесная особенность белого цвета. Сейчас и мне, Юля, так кажется... Тебе не холодно? Можешь погреть руки в моих рукавах — давай их сюда.

— Как тут у тебя тепло! — Она благодарно улыбнулась, потом вытащила пальцы из моих рукавов, оперлась на перила. — Чудно как бывает в жизни... Еще полтора месяца назад даже не догадывалась, что ты живешь на земле, а сегодня встречаю с тобою зиму...

— А начиналось все с того, что мы собирались тебя вытолкать за дверь... Ты разве ни о чем не догадывалась, когда увидела нас?

— Думала, что ты идешь приглашать меня на танец.

— Но я ведь шел не один — с Иваном, а вдвоем одну не приглашают...

— Твоего Ивана я даже не заметила... Только тебя и видела...

— Почему ж ты другим отказывала, а со мною пошла?

— Другие не умеют приглашать. Даже подойти не умеют. Откуда-то сбоку смыкнет тебя за рукав, буркнет: пошли, что ли? — а сам смотрит куда-то мимо тебя. А ты шел через весь зал, у всех на виду, легко и смело, смотрел мне в глаза и улыбался.

— Улыбался?

— Конечно же, улыбался, и я сказала себе: с этим парнем я пойду...

Помолчав, она добавила:

— А вывести меня вам не удалось бы... Только попробовали бы, десятому заказали б. Мой старший брат, он

танкист, служит сейчас на Дальнем Востоке, сказал мне как-то: «Юлька, из тебя вырастет настоящая красавица, от кавалеров отбоя не будет, тебе надо уметь защищать свою девичью честь». Брат был спортсменом, а после и я тоже полюбила спорт, даже с парашютом прыгала. Это уже после того, как мама умерла, а бабка взял другую и перешел к ней, а мы с Василишкой, младшей сестричкой, остались с дедусем, я перестала заниматься спортом по-настоящему. Но гантели маленькие всегда ношу с собой в сумке. Однажды они мне оченьгодились. Темным вечером над рекой — я возвращалась с лесопилки — встретили меня двое. Я их предупредила: не подходите, бо покалечу. Они засмеялись и двинулись ко мне. Я раскрутила сумку с гантелями над головой, ударила переднего ниже пояса, другого — ниже спины, бо вывернулся, передний сразу же упал, стал корчиться, вопить, другой на карачках уполз. . .

— Так это нас с Иваном такое ждало?

— Может, и не такое, но рук больше не протягивали бы.

— А ты знаешь, Юля, что я совсем не умею танцевать?

— Я этого не сказала бы. . .

— До сих пор не могу понять, как это у меня вышло. Были такие мгновенья, когда мне казалось: вот сейчас собьюсь с ритма, оттопчу тебе ноги — стану для всех посмешищем. Думал об этом со страхом.

— Не знаю, о чем ты там думал, скажу о себе: так легко я еще никогда не танцевала. Не чувствовала под собою пола, летела куда-то с тобою и летела и слушала твой голос — ты говорил мне и говорил, а я хотела, чтоб ты говорил еще больше. . .

— А ты помнишь, что именно я сказал тебе?

— Конечно, до смерти не забуду. Таких слов мне еще никто не говорил.

— Правда, не говорили?

— В самом деле, не говорили. . .

— Юля. . .

— Ч-что?

Чуть не до слез меня волновало, как она гордо и резко забрасывает назад маленькую головку, смотрит полуприщуренными глазами и с особым нажимом (одновременно округляя и растягивая звуки) произносит это «ч-что?».

Осторожно взял ее личико в свои ладони, приблизил к себе, заглянул во влажные и таинственные глаза. Она вздрогнула, будто обожглась или укололась, потом всем своим телом, не по-девичьи решительно, даже отчаянно прижалась ко мне...

Глава четвертая. ТИШИНА

1

Никто не знает, думает Родион, проходя мост, когда она тебя настигнет — весной или осенью, летом или зимой, она не имеет определенной поры... И когда приходит зимой и всего тебя обогреет неизвестным дотоле теплом, даже снега ты воспринимаешь как цветущие сады, ибо такую чудесную силу имеет она, любовь...

Клубится туман, наползает с реки в улицу, разливается по площадям и в бежевой его паутине фигуры дворников кажутся косарями.

Плиты тротуаров, густо окропленные росой с каштанов, будто ускользают из-под ног.

Серединой Подгорной улицы ветерок гонит опавшие листья каштанов. Будто рыжие мыши, отмечает про себя Родион, и сразу ощущает, что держится он здесь очень неуверенно.

Что-то творится со слухом, я словно бы оглох.

Это — давление, уверяет сам себя, надо погромче кашлянуть или широко зевнуть — и слух вернется... Эге, не возвращается... Что же со слухом?

Приглядываясь к Подгорной, Родион вспоминает, что на его памяти по обе стороны улицы жались приземистые серые срубы под зеленоватым созревшим лемехом; в одних домах жили, другие служили магазинами, чебуречными и винными лавками — здесь всегда было влажно, накурено и шумно, пахло винными бочками. Из прежних срубов уцелели лишь единицы, самые новые и самые крепкие, остальные уступили место каменным домам. Выстроены они лет пять, а может, и десять назад — плющ успел не только густо оплести балконы, закрытые кусками цветного шифера, но и цепко присосаться к бледно-розовой штукатурке.

Впереди, шагах в полуста, из подворотни трехэтажного дома выходит женщина и движется ему навстречу. Родион даже издали замечает, что женщина — молодая

и краснела, и незольно бросает взгляд на свои одежды и обувь.

Стрелки слегка пузырятся на коленях, на башмаках серый грязь половики. Родиону даже становится стыдно, думает, не перейти ли ему на другую сторону улицы, ведь у него, завверное, еще и лицо помято, и мешки под глазами.

Женщина заинтересованно взглянула ему в лицо, задержала взгляд на волосах.

Говорят, усмехается Родион про себя, будто лицом еще могу сойти за юношу, хотя и потрепанного, а вот волосы... сразу выдают мои истинные годы. Потому молодичка и посмотрела так на мою голову. А сама — из тех, вслед кому невозможно не оглянуться.

Оглянулся: эге ж, ничего!

Видит, как женщина красиво и твердо ставит ногу, потом слышит, как постукивают каблучки по тротуару...

Тишина, догадывается наконец. Всему виной тишина. Это от нее я оглох.

Дворники в ярко-желтых жилетах сметают в кучи опавшие листья, сжигают их на тротуарах — по улицам разносится знакомый запах горького дыма...

2

Ранней осенью, когда в садах начинали вялить сливы, дымы просачивались в центр города, и запах сушен не выветривался в Далеких Кутах уже до первых заморозков.

Мы проводили последнюю ее гостью, немного постояли в воротах, потом она взяла меня за руку и быстро провела в сад.

Под развесистой яблоней курилась сушильня. К стволу была приставлена старая деревянная кровать, застланная сеном, — здесь ночевал дед Генцар. Мы сели на кровать, крепко обнялись — наступила звонкая тишина, от которой можно было помереть.

— Ты ляг, — прошептала она возбужденно, горячо. — Ляг...

Опрокинулось небо, запахло пересохшим сеном, она встала перед кроватью на колени, склонилась надо мною (тс-с-с, — произнес ветер где-то в бурьянах, звезды куда-то пропали), расстегнула сорочку, от сушильни повеяло горьким дымом вишневого пенька, прохладные и не-

множко шершавые пальцы и горячие губы коснулись моей груди, шеи...

— Милый мой, любимый...

Распускаются почки, и сквозь прошлогодние листья пробивается молодая трава, текут реки, и рушатся горы, идут тихие снега, и распарывают небо грозовые молнии, рождаются дети, и умирают солдаты. Весь неоглядный и необъятный мир, волнующий тебя своей необъятностью и сложностью, становится понятным и осмысленным, он словно бы переливается в тебя, когда ты слышишь этот немного гортанный, исполненный глубинной силы и испепеляющей страсти шепот: «Милый мой, любимый...»

Кровать покачнулась, как лодка, отправляющаяся в плавание, и я ощутил ее рядом. Почувствовал длинные упругие ноги, маленькие твердые, будто кулачки, груди, горячее лицо, мягкие волосы.

Сдерживая дыхание, она ждала, потом повернула ко мне голову и зашептала над ухом:

— Дедусь не скоро придет... я сказала ему, куда мы идем. Ты не бойся...

Это всегда меня волновало, даже пугало. Стоило только мне взять ее за руку, как тотчас она вздрагивала, будто ее пронизывал ток, потом всем телом прижималась ко мне, не по-девичьи решительно, даже отчаянно, тяжелела в моих руках, сползала вниз, откидывала назад маленькую головку с тяжелой косой, и глухой, сдвигая стон вырывался из ее груди; когда я спрашивал, что с нею, она резко отталкивала меня, потом как будто бы приходила в себя, снова припадала ко мне, брала мою голову в ладони, долго вглядывалась в мое лицо, миражно-серые ее глаза в темноте становились черными и влажно блестели, вглядывалась и говорила: «Неужели ты и вправду такой... недогадливый?.. Это хорошо... так хорошо, что ты такой... еще чистый... еще мальчик...»

Она вновь упруго выпрямилась и выжидательно притихла.

— Что с тобой?

— Я не могу, Юля...

— Ты опьянел?

На нынешних именинах она следила, чтобы меня ни одна чарка не обошла, пила сама и меня поощряла, однако я не пьянел.

— Нет, я трезв...

— У тебя было много любовниц?

— Ни одной, Юля... Я хочу, чтоб ты стала моею, только не так, так я не могу...

Я не знал еще ни одной женщины — первой женщиной должна была стать она, Юля... Я думал об этом не раз, только представлялось все мне не так, как она хотела... Желая ее, я, однако, не мог пересилить в себе страха перед неизвестностью, перед познанием извечного таинства, она же своей недевической решимостью пугала меня еще больше и, перегорая от желания, от стремления наконец овладеть ею, млея от горячих и решительных ласк, я, однако, не мог решиться на это...

Я повернулся к ней лицом, обнял за плечи, зашептал в ее шершавые губы:

— Ты моя, Юлька, моя... ты станешь моею... но не теперь и не так... ты станешь моей, когда мы поженимся, вот закончу агрономический, и мы поженимся... А сейчас...

Не дала договорить, с силой оттолкнула меня от себя, чуть не свалив на землю, гневно, скорее даже презрительно бросила:

— Ты — дурень набитый!.. Видеть тебя не могу!..

Я внимательно взглянул на ее искаженное какой-то большой внутренней мукой и оттого еще более прекрасное лицо, застегнул сорочку и подался огородами к реке.

Мир вновь был огромным и необъятным, а я в нем — мизерным и никчемным.

На канаве услышал позади себя торопливые шаги — она, задыхающаяся и жаркая, упала мне на грудь.

— Ой, прости меня, Родион... это я — дура... не бросай меня, пусть будет так, как есть, только не бросай меня, слышишь?.. Без тебя мне жизни не будет...

3

С Подгорной Родион направляется на Садовую — это наикратчайший путь к гостинице.

Если гостиница на старом месте, то сейчас я поклонюсь нашей альма матер.

Ближе к центру города навстречу все чаще попадают женщины с хозяйственными сумками. Родион догадывается, что они спешат на рынок, и ему вспоминается жена — с удивлением и горечью отмечает, что за эти дни впервые подумал про Олену.

Обходит костры на тротуарах, обходит дворников с метлами, вдыхает запахи влажных листьев, запахи тумана и дыма — и в груди усиливается тревожно-щемящее ощущение встречи с чем-то давним, но незабываемым.

Над засыпанными листвою крышами за площадью Семнадцатого сентября в первых утренних лучах акварельно синеют верхушки старых елей; на еловых верхушках знакомо толкутся галки, и Родион вспоминает, как последней весной вороны налепили столько гнезд, основали такую колонию, что за их вознею и гамом в аудиториях ничего не было слышно, тогда директор обратился за помощью к пожарникам — приехали две красные машины, и пожарники, полусонные и неуклюжие в своих брезентовых робах, принялись сбивать вороны гнезда из брандспойтов.

Вот сейчас, нетерпеливо думает Родион, вот сейчас выйду на угол площади Семнадцатого сентября и уже от универмага смогу разглядеть между сизыми стволами смерек янтарную чистоту главного корпуса — двухэтажного рубленого дома с резными верандами, балкончиками и башенками, который, как мне теперь кажется, очень походит на храм Тодайдзы в бывшей японской столице Наре, где выставлена самая большая статуя Будды. Скажу: доброе утро, альма матер! Как живешь?

Родион подходит к развилке, к тому месту, где Садовая, словно река в озеро, вливается в площадь Семнадцатого сентября, откуда уже можно разглядеть между елями рубленый дом.

Медленно и раздумчиво, как и много-много лет назад, раскачиваются ели, над синими верхушками толкутся крикливые галки, среди ветвей густо лепятся гнезда, похожие на шапки, только внизу, среди сизых стволов, Родион не видит знакомого рубленого дома. За жесткой и курчавой изгородью грабниника буднично белеет каменный трехэтажный корпус.

По ту сторону улицы перед закрытым в эту пору кинотеатром пожилой дворник сметает в кучу окурки, надорванные входные билеты, прелую листву. Родион подходит к нему.

— Доброе утро, вуйко. Скажите, пожалуйста, когда разобрали тот рубленый дом под смереками, на месте которого каменный?

— Когда?.. А уже давно... Дай боже памяти, ко-

гда ж это было... Ну да! С тех пор как снова в Далеких Кутах район возобновился... Тогда и стали все переделывать...

— А что теперь в этом доме? Когда-то в том, рублевом, был агрономический техникум...

— И теперь техникум, только другой — автодорожный...

Родион совсем растерялся.

В который уж раз со мной случается: куда-то спешишь, торопишься, летишь стремглав, прибываешь на место — и тогда выясняется, что ты опоздал... А может, и сквера Свободы нет? Где мне искать Владимира?

— Будьте добры, дяденька, скажите: а сквер Свободы никуда не перенесли?

— А куда его должны переносить? То такое место, что трогать никто не посмеет.

Слава богу, облегченно вздыхает Родион. Однако где-нибудь надо передохнуть, хотя бы с четверть часа посидеть на лавочке, собраться с мыслями — такое ощущение, что уже пережил все это когда-то давным-давно, в один мартовский вечер.

За жестким грабинником Родион находит удобную лавочку, устало вытягивает ноги и закрывает глаза.

Вероятно, каждому из нас, думает он, приходится познать на своем веку — рано или поздно — такие душевные потрясения, когда нет сил даже подумать о дне грядущем. Все летит вверх тормашками, все переворачивается вверх дном, выскальзывают подпорки и рвутся связи, которые держат тебя на этом свете, и ты не знаешь, как жить тебе дальше.

Такие события наша память держит крепко и постоянно, однако нам не всегда хочется возвращаться к ним в воспоминаниях.

Сознание сопротивляется этим воспоминаниям не потому, что видим в них себя такими, за каких теперь нам уже стыдно, а потому, вероятно, что первейшее человеческое свойство — это способность прощать.

Тот далекий мартовский вечер, когда между нами с Юлей встал Иван, перевернул всю мою жизнь. Помню все до мельчайших подробностей, а вспоминать, как все это было, превыше моих сил. По крайней мере сегодня. А может, и вправду это было не со мной?

Нет, все же со мною. Только, наверное, этот вечер заступили другие события...

Возможно, после того, как я отдохну немного, еще сегодня пойму, почему именно на этом мартовском вечере в моих воспоминаниях словно бы срабатывает тормозная система и появляется пустынная тишина.

Пора, говорит Родион сам себе и встает с лавочки.

Глава пятая. АСТРЫ

1

Закурив сигарету, Родион, уже вымывшийся, выбритый и наутюженный, останавливается на ступеньках гостиничного крыльца, размышляя, как лучше добраться до сквера Свободы — улицей или напрямик, через городской парк.

От утреннего тумана не осталось и следа, солнечно и душно, пожалуй, после обеда следует ожидать дождя.

Не спеша спускается пологим холмом, проходит модерный дом-аквариум автобусной станции, переходит через арочный мостик с дощатым настилом и оказывается в городском парке.

Аллею обступают белокорые осины.

Шумно чирикают воробьи, время от времени покаркивают вороны.

Эхом отдаются шаги в асфальте. Тук-тук, цок-цок — часто: с независимым видом проходит девушка; ш-шш — тяжело: пожилая женщина с корзинкой.

На ближайшей лавочке белоголовый дедусь в очках углубился в сегодняшнюю газету, дальше две кумушки встретились, возбужденно толкуют, тыча друг дружку пальцами в грудь. Стайка малышей из детского сада по дороге к площадке для игр остановилась перед фонтаном, рассматривает всадника — опрышек, вздыбив лихого коня, саблей рубит голову змею. В киоске за танцевальной площадкой уже торгуют пивом и вином. Где-то вопит радиола, со стороны спортивной площадки доносятся частые удары мяча, возбужденные выкрики — играют в волейбол.

2

Тогда тоже играли в волейбол. Наша техникумовская команда проигрывала городской сборной. Я следил за игрой, болел за парней, а тем временем чувствовал, что

на меня все время кто-то смотрит — смотрит упорно и пристально.

Не выдержав этого взгляда, я обернулся.

Юля решительно поднялась и, упорно глядя мне прямо в глаза, легко переступая через длинные дощатые лавочки спортивной трибуны, подошла и села сзади.

Наши парни проиграли еще одну подачу.

Я следил за игрой, а краем глаза замечал, что на нас уже поглядывают с интересом. На противоположных трибунах среди болельщиков по-лошадиному улыбался Иван. Я порывался встать и уйти из городского парка прочь, но это, по всей вероятности, было бы еще хуже. А зачем мне, собственно говоря, убежать? Однако в этом было слабое утешение, я чувствовал себя так, будто попал в западню.

Пальцы ее неуверенно коснулись моего плеча.

— Родион...

Я весь дернулся, однако лишь... мысленно.

— Что тебе?

— Нам надо поговорить...

— Не о чем...

— Нет, есть... Сейчас я все тебе расскажу.

— Не надо...

— Нет, ты выслушай... Я тогда пришла к вам, а в комнате — только он. Спрашиваю: где Родион? Куда-то, говорит, вышел. А когда вернется? Не знаю. Подожди, может, скоро вернется. Садись вот на его кровать. Сам сел напротив, на свою. Стал о чем-то расспрашивать, что-то говорить мне. Так мы беседовали, а в комнате тем временем стемнело. Я попросила его включить свет. Он поднялся, но свет не включил. Постоял и пересел ко мне. Посидим в потемках, говорит, так приятнее... А потом...

— Не надо!.. Перестань!..

— Ты — жестокий... А я... А я — не виновата... Ты не хочешь понять меня... Ты не способен меня понять...

Я отвернулся.

— Еще бы! Где нам, дуракам, чай пить!

Она, наверное, почувствовала в моем голосе намек на примирение, зашла наперед, села передо мной, заслонив спиной противоположные трибуны и Ивана среди болельщиков, который украдкой следил за нами. Свои длинные пальцы, несколько крупноватые, но красивые, она переплела, сложила в подол и крепко сжала руки коленями.

И в фигуре, и во взгляде, и в голосе ее было столько страдания, унижения и мольбы, что, внутренне содрогнувшись, я подумал: наверное, я и в самом деле каменный, если даже не пошевелился, вместо того чтобы упасть головой ей в колени и выплакать все то, что когда-то сблизало нас, а теперь сделало чужими. Слушая ее голос, стремился не думать о ней, а между тем — думал. Хотелось, чтоб она ушла от меня, ушла совсем, навсегда, и вместе с тем я был в ужасе от одной мысли, что потеряю ее. Казалось, меня подбивают на какой-то подлый сговор, хотят опутать тенетами, сделать соучастником преступления, и я восставал, бунтовал против этого, но в то же время хватался за ее слова, ища в них спасения.

— Почему же ты молчишь, Родион?

— Я не могу понять этого... Не способен найти этому оправдания. И вообще — оставим этот разговор!

— Я вижу: ты меня люто ненавидишь... А я тебя... а я тебя... Я не могу без тебя!.. Если ты не простишь меня, не захочешь вернуться ко мне, тогда я... Я на все способна!

— Это я знаю — ты и в самом деле на все способна... Жаль, что я раньше этого не знал...

— Хорошо, оскорбляй меня, я заслужила... Можешь называть меня как тебе угодно — у тебя есть основания... Но знай одно: может, это наш последний разговор, я и в самом деле на все способна, ты в этом убедишься...

Она осунулась, под вымученными мраморно-серыми глазами залегли синеватые тени усталости, губы изогнулись не вверх, как прежде, а книзу.

— Вернись, Родион, ты слышишь? Вернись, — произнесла с мольбой, и длинные ресницы мелко задрожали, губы крепко сжались в тонкую полоску.

Опустила голову, долго рассматривала узор на юбке, потом гордо откинула голову назад, трянула расплетенной косой и быстро поднялась.

— Прощай...

— Ходи здоровой...

Когда она исчезла за деревьями, меня охватило тревожное предчувствие, я порывался было броситься следом за ней, но пересилил себя — не побежал.

Вечером в общежитие прибежала Василинка, напуганная, в слезах, и сказала: Юля отравилась...

На подворье у них я застал машину неотложной медицинской помощи.

Время идти к Владимиру. Надо только где-нибудь раздобыть цветов. Самое верное место — колхозный рынок.

Направляясь к Центральному колхозному рынку, Родион вспоминает, как мчались сюда в каждый перерыв за ливерными пирожками и газированной водой. Брели у черноусого дядька штук пять-шесть, но через лекцию вновь сосало под ложечкой, опять хотелось пирожков.

За лотком пирожника на грязных, замусоренных рундуках с раннего утра сидели и лежали в независимых позах городские старцы, рыночные сторожа, грузчики и уборщицы, пьяные до синевы, попыхивали трубками-файками, сигарками и сигаретами, выпрошенными у зажиточных покупателей, заговорщицки шурили посоловешшие глаза, лениво обменивались новостями на экономном и энергичном жаргоне: труба дело, гроб-могила...

Нет... Нет уже ни лотка с ливерными пирожками, ни тех грязных рундуков, ни постоянных их завсегдатаев.

Сразу же за воротами начинается длинный ряд невысоких нарядных каменных домиков, на фронтонах которых режут глаза вывески: «Мясо», «Молоко», «Хлеб», «Сыпучие товары», «Вино», «Лекарственные травы», «Детский мир», «Мебель», «Посуда».

От привозной площади в глубину рынка стелется широкая аллея, густо засаженная липами и каштанами, которые ростом уже давно обогнали домики.

Хоть сегодня и будний день, рынок, как всегда, бурлит, клокочет, толчется, снует. Среди местных горожан, верховинцев, спустившихся в долину, немало туристов и курортников — узнаешь их по ленивой, вразвалочку, походке, по той бесцеремонности, с которой ощупывают товар, продукты. Над многоголосым клеткотом сочно звучит баритон диктора рыночного радиоузла.

Крытые рундуки начинаются с тех рядов, где выставлены для продажи фрукты и овощи. Сладковато-пряный запах укропа на мгновение возвращает Родиона в его родные Окна, а грибной дух — на кордон деда Папуши, на Ватагову полонину — ко всем тем уголкам и тропам.

Когда-то, слоняясь от нечего делать по этому шумливому рынку, Родион дольше всего задерживался перед рундуками с грибами. «Купите, паночку, грибочки, гляньте, какие свеженькие, моя хата около леса, то се — ут-

решние...» И хотя далеко было еще до того дня, когда выплачивают стипендию, на последние деньги покупал маслят или опенков, нес к брату — Владимирова Валентина отваривала их в кастрюльке, потом жарила на сковороде в сметане.

За этими тремя рядами с овощами и фруктами под такими же двускатными крышами из цветного шифера вытянулся поперек рынка цветочный ряд. Направляясь к нему, Родион стремится припомнить, какие именно цветы больше всего любил Владимир, но вспомнить не может, и ему становится стыдно...

— Купите букетик, — перехватывают Родиона цветочницы, большей частью пожилые уже теткли, заискивая добавляют вслед: — Недорого прошу, вот теперь только взял у меня букетик один такой файный мужчина, как и вы...

Сколько бы ни запросили, мне все равно, лишь бы букет был хороший... Что же выбрать? Вот эти пламенеющие розы или те белые астры?

Коллебаясь, не зная, какие именно цветы выбрать — эти хороши и те ничего, — Родион доходит до конца длинного ряда, заставленного ведрами, бидончиками, глечиками, и возвращается назад. Теперь идет медленнее, задерживаясь перед букетами подольше, рассматривает внимательней, придиричивее... Каких-нибудь мне не надо, нужен такой букет, который понравился бы Владимиру. Белый чистый цвет — цвет памяти... Возьму астры, астры нравились Владимиру...

— Тетушка...

— Вы ко мне? — оборачивается цветочница. — Берете астры?

— Беру.

— Сколько вам?

— Все, что есть у вас.

Цветочница ловко подхватывается с лавки, в мужской рубашке из серой шерсти, ярко-желтой косынке, недоверчиво смотрит на Родиона, серые глаза под черными бровями удивленно округляются, плечи вздрагивают — цветочница прикладывает палец к губам, тихо, едва слышно спрашивает:

— Это — вы?

— Конечно, — улыбается Родион.

— У-ой, какая встреча! А меня вы узнаете?

— Узнаю, вуйна Мидора...

Весенним полднем, когда так слепяще белеет песок на берегах Черемоша, шел я к Владимиру.

За Мидориными воротами стоял Юлин батько. Опершись локтями на верхнюю доску, а тяжелым подбородком — на сплетенные в кулак руки, он, казалось, и не стоял вовсе, а висел на воротах.

...Однажды, еще в первое наше с Юлей лето, возвращались мы с гор и уже перед самым городком сели над источником отдохнуть. Напившись всласть, я зачерпнул воды пригоршней, зажмурясь, плеснул себе в лицо, вода потекла за ворот — показалось, шею мою обвили прохладные Юлины руки, я возбужденно фыркнул, вода капала с лица в источник. Сидя на корточках, мы взглянули друг на друга и стали беззаботно брызгаться водой. Неожиданно из долины донеслась песня. Неожиданно настолько, что мы притихли и заворожено слушали, пытаясь определить, откуда она доносится:

Гей, Яничку, гей, Яничку, оженись,
За чужими любушками не гонись.

Пели на противоположном берегу Черемоша, у деревянного моста, подвешенного на тросах. За вербами не было видно, сколько их там, однако было слышно — не меньше трех женщин и двух мужчин. Один из мужских голосов все время вырывался из хора, как глупый теленок из стада, поэтому песня разлаживалась, по берегу разносился хохот, непослушного певца принимались стыдить, но не очень-то он им поддавался, дразня компанию, заполошно вопил:

Еще овес за Токасм зеленый,
Не буду я в этом годе жевеный!

- Ото еще варьят! — сказала Юля.
- Кто?
- А батько наш бывший.
- Так, значит, это твой батько так выводит? А почему бывший? Он и теперь твой батько, раз жив.
- Кой он теперь нам батько, если открестился от нас, променял на ту ведьму Мидору да и пьет-гуляет до сих пор!
- На то и воскресенье.
- А для него одного воскресенья мало... Мидоркины

гости уже, видал, расходятся. Ишь как обнимаются да целуются!

Гостей было трое — мужчина и две женщины. Перешли шаткий мост (по мосту женщины вели качающегося мужчину под руки) и стали подниматься паверх. Мужчина, высокий, неуклюжий, тяжело ступал впереди, через шаг-другой тропка заставляла его петлять, он беспомощно хватался за пустоту, что-то бубнил, наверное, подпевал, а женщины топали сзади плечом к плечу, что-то громко и весело рассказывая друг дружке, младшая несла на плечах полосатую сумку. На другом берегу, за мостом не расходились, чего-то дожидались. Выбравшись на холм, к старой елке-смереке, женщины обернулись к Черемошу, младшая крикнула в долину:

— Тетка Мидора-а! Бывайте здоровеньки-и-и! Приходите к на-а-ам!

— Э-ге-ге-ге! — раздался басовитый мужской, вслед за ним потоньше — женский голос: — Бывайте и вы... Придем...

Я вынул сигарету и закурил. На бугре у елки мужчина начал, а женщины подхватили:

Гей ты, цыган, гей ты, цыган смалений,
Меняемся, меняемся на жены.
Дам те стару, дам те стару за младу,
И капуста, и капуста в награду.

— А хорошо поют, — сказал я Юле. — Эти гости — кто?

Юля не успела ответить. С горы вновь покатилося над нашими головами, будто обруч:

— Тетка Мидора!

— Э-гей! — весело ответил с моста мужской голос, а вслед за ним и женский: — А что случилось, Стася?

— А случилось что-то... Скажите своему дядьке, что мы ему чуб выдерем по одной волосинке, мы ему...

Дальше шло такое, что я не удержался и захохотал, а Юля покраснела, опустила глаза. Гости уже стояли на самой вершине, мужчина, будто невкопанный столб, раскачивался из стороны в сторону, а женщины, наклоняясь, что-то вынимали из сумки, швыряли в долину — оно катилось с грохотом и с плеском падало в воду.

— На, забери назад, ты, варьят нечистый, а чтоб тебе кутные зубы повыщербились, чтоб тебе...

— Го-го-го! — донеслось от моста, потом мужской голос спросил: — А что там такое?

Младшая из женщин, видать, уже не в силах была подняться на ноги, она упала на тропку лицом к небу, заломила над собой руки.

— Ой-йо-йо-йо, не выдержу, лю-до-ньки... Ой, отлейте меня!.. А чтоб тебе с этим дядьком Замооруком!.. Вечно он какую-нибудь штуку выкинет... А я ж думала себе: это ж тетка гостинцев напаковала, бо чего ж сумка тяжелая? А он, варьят нечистый, камней по самую завязку наложил, еще и на плечи подал... А чтоб вас, дядько Замоорук, лихоманка затрясла!

— Вот видишь, — сказала Юля, — какой у меня был отец. Из всех варьят варьят.

После Илько Замоорук встретил нас с Юлей как-то на улице и с тех пор, встречаясь со мною, низко кланялся, касаясь пальцами обвисших полей крисани, в одно мгновение успевая при этом ощупать взглядом с головы до ног. Но в разговоры никогда не вступал.

Я надеялся, что не остановит и на сей раз, однако ошибся.

— А-а, зетек! — крикнул мне из-за ворот, и я понял, что дядько Замоорук пьян. — Христос воскрес! Зайдите к старому Замооруку, похристосуемся, ныне пан бог дал нам пасху, так...

Распахнул ворота, будто собирался впустить воз, вышел на улицу и остановился предо мной — в полотняной вышитой сорочке под расстегнутой жилеткой, в черных штанах из добротного сукна, штанины заправлены в белые шерстяные носки, — такой себе добрый газда, который наконец-то дождался, выстоял-таки на воротах, поджидая гостя дорогого.

— Красно прошу пана товарища. Сделайте такую ласку старому Замооруку и моей Мидорке. Нам давно годилось бы познакомиться ближе. Й-ой, как моя Мидорка обрадуется, поверьте мне. Заходите, пане товарищ, заходите.

Юля рассказывала, что Мидорка — самая красивая в Далеких Кутах женщина. В войну овдовела, многие к ней сватались, были и помоложе и получше Илька Замоорука, однако Мидорка повязала рушники именно ему, Замооруку.

Каждый раз, когда случалось идти мимо их подворья, даже на цыпочки вставал — может, наконец, увижу за

высоким дощатым забором эту ведьму Мидорку. Но так и не случилось увидеть ее, будто она никогда не выходила из хаты. И вот теперь лишь потому и согласился зайти к ним, чтобы увидеть ее, — почему-то эта женщина интриговала меня.

Заморук сразу же повел меня в хату, уверенно и твердо шел впереди, время от времени оглядываясь, широко разводил руками — красно прошу пана товарища, красно прошу, — однако я все-таки успел разглядеть, что подворье, сейчас чисто выметенное и посыпанное песком, со всех сторон обступали добротные, сложенные в сруб, постройки под лемехом, кое-где надежно подновленные, — по всему видать, что этот Заморук — крепкий хозяин.

Поднялись по ступенькам на резное крыльцо, нырнули в прохладный полумрак сеней, здесь пахло пасхальными блюдами, потом Заморук распахнул еще одну дверь — у меня в глазах зарябило от ярких гуцульских ковров и покрывал.

— Красно прошу пана товарища садиться. Судá, судá — на покутье.

Усадив меня, Заморук сел и сам — упал в кресло, откинулся на спинку, вытянул длинные ноги чуть не до середины хаты, крикнул в боковую дверь, ведущую, наверное, в смежную комнату, точнее не крикнул, а пропел медовым голосом:

— Мидорка, где ты там? У нас — люди...

Из-за двери, завешенной двумя узкими полосатыми ковриками, послышался глубокий вздох, будто кто-то пробудился ото сна, потом что-то скрипнуло, зазвучали неторопливые шаги, смуглая рука, несколько великоватая для женщины, отвела коврик — и в светлицу вошла Мидорка.

Она еще только направлялась к нам, а я весь напрягся, подобрался, даже дыханье затаил — сейчас войдет ведьма. Но только увидел ее, сразу же успокоился: ничего ведьмовского в ней не было. Средних лет женщина, с благородной осанкой, уверенным взглядом. Сложив смуглые руки на высокой груди, Мидора поклонилась мне с порога, на спокойном смуглом лице не шевельнулся ни один мускул, лишь полуприкрыла серые глаза синеватыми веками, перевела взгляд на Заморука.

Заморук, как только она вошла, тотчас же переменил позу — сел прямо, подобрав под себя ноги, убрал со стола руку — из хозяина превратился сразу же в пайми-

та. В этой хате, понял я, он и в самом деле не хозяин, а любит ее безумно, готов исполнить любую ее волю.

— Мидорка, угости нас чем ныне пан бог послал, посидим да побеседуем с этим человеком. Это — Юлин ка-валер...

Мидора вновь молча поклонилась, повела покатым плечом под ослепительно белой сорочкой, вышитой красными и черными цветами, повернулась и пошла к сеним, покачивая станом.

Через какое-то время на столе было тесно от напитков и закусок. Все это Мидора вносила из сеней и смежной комнаты молча и так же молча ставила перед нами на стол. Молчали и мы. Заморук влюбленно и ревниво следил за каждым ее движением, а мне казалось, что эта женщина как будто и не движется, стоит на месте, а пол сам переносит ее туда и сюда, только задумает она, куда ей надо, пол тут же понес ее и вернул обратно, — настолько эти движения были плавными, незаметными для глаза.

Накрыв стол, Мидора вновь молча поклонилась, Заморук поспешно сказал: «Красно благодарим, Мидорка», — и она исчезла за боковой дверью, из комнаты вновь донесся вздох, будто Мидора погрузилась в успокоительный сон.

— Ну, зятек, — Заморук держался хозяином, — выпьем моей паленки... Христос воскрес! Чтобы нам эту пасху славно отпраздновать да новой дожждаться... Как тебе моя паленка?

— Ничего. — Я принялся за холодец, потому что под черепом, казалось, проклюнулись косточки слив, ветки быстро пошли в рост, вот-вот пробьются наружу и зашумят над головой.

— А теперь выпьем моей наливки, — вновь наполнил оба бокала. — За твое, зятек, чтоб был нам здоровый и крепкий как... как советская власть!.. Чтоб мы жили, а они пусть поиздыхают до одного! — Он хекнул, нюхнул хлебную корочку, отломал руками кусок колбасы, макнул в хрен, стал жадно есть. — А как тебе моя наливка? Ты, зятек, закусывай, бо нам еще пить да пить, на то пан бог дал пасху. А у вас, у советов, справляют пасху?

Мне нравилась его речь — то чистая, то вся из диалектизмов, неволью я и сам переходил на гуцульский диалект.

— Справляют.

— Вот это уже ты бре!.. В вашей семье, верно, все коммунисты? Вон брат какой великий начальник, й-ой!

— В нашей семье только один коммунист — Владимир, а батько и мама — беспартийные.

— А ты?

— А я — комсомолец.

— Но будешь коммунистом?

— Если примут.

— Ну, то гайда выпьем за то, чтоб и ты скоро стал коммунистом! Й-ой, как файно, когда такие молодые идут у коммунисты!.. Вот так они и весь мир завоюют...

— Кто?

— Так кто ж — твои коммунисты, чи то — наши... Выпьем же за победу. Абы мы были, а они, враженьки наши, дотла!.. Вйо, бо дождь и кони мокнут! Запивай моим пивом, запивай!

— Я уже пьян...

— Где-е!.. По тебе не видать... Ото как все это высосем, тогда скажешь, что пья... тогда, может, поверю, а сейчас геть и не нявкой... А как тебе, слухай, моя Мидорка?

Моя палинка, моя наливка, мой хлеб, моя колбаса. Произносил Заморук это «мой», «моя», «мое» и нажимал, подчеркивал: все, что в этой хате, принадлежит только ему, он тут — газда, а я — только гость, и угощает он меня по своей доброй воле, сейчас угощает, а через минуту может и за дверь спровадить; я смотрел на него, видел, как круто ходят его скулы под синеватой, с красноватыми прожилками кожей, ловил острый, временами откровенно враждебный взгляд из-под тяжелых бровей и не имел ни малейшего сомнения в том, что он и в самом деле может грубо вытолкать меня за порог, даже и носком под зад надаст. Но вот «моя Мидорка» произнес он совсем иначе, сначала взглянул на дверь, а уже после спросил: «А как тебе, слухай, моя Мидорка?» — будто споткнулся на своем любимом слове.

Я лишь плечом пожал в ответ на его вопрос.

— Эге ж, файна любушка! Сам видел: пройдет туда-сюда, качнет станом — и полна хата ветра... Когда-нибудь такой будет и она, твоя Юлька... Пусть меня гром поразит — будет!.. Га?

Мне надо было уже хвататься за шапку, благодарить за угощение и идти прочь — разговор переходил на скользкие темы. Но остался еще — опасность волновала и

влекла одновременно. Первая горячая волна словно бы куда-то откатилась и смыла скованность и растерянность, тело расслабилось, я с нетерпением ожидал стычки, которой уже не миновать.

— Гайда, выпьем за мою Мидорку, а они все пусть поиздыхают, бо не достойны и следа ее целовать!.. Мидорка, Христос воскрес!..

Он уже не закусывал, вынул пачку «Верховины», поддал снизу большим пальцем с черным ногтем — из пачки вылетели две сигареты; мы закурили, потом Заморук растолкал локтями тарелки и бутылки, налег на стол грудью и глянул на меня в упор.

— Ну, зятек, когда же свадьба?

— Какая свадьба?

— А твоя с Юлькой.

— Свадьбы не будет.

— И-ой, а то ж как — не будет?

— А так... Вы свою дочку знаете...

— Я нет, ты должен знать лучше... Ты лишил ее...

— Я даже пальцем...

— И-ой, брешешь... А чего она стала такая — будто свихнулась?

— Не знаю...

— Но ты ж с нею гулял?

— Встречался...

— Обнимал, целовал?

— А большего между нами и не было...

— Ай-я, рассказывай... А чего она травилась?

— Отчего травилась? По глупому разуму...

— Ты мне тут не шути, я таких шуток не люблю! Ты обещался жениться на ней, скажешь — нет? То чо теперь крутишь, как цыган солнцем? Все видели: ты был ее любовником... Должен сам и взять ее!

— Вы на меня, вуйко Заморук, не вызверяйтесь, я не из пугливых... Давайте побеседуем тихо-мирно.

Глаза его под тяжелыми бровями сделались маленькими и красновато-коралловыми, как у голубя.

— Давай... Ты знаешь, для чего человеку хребет?.. — Не дожидаясь ответа, добавил: — Для того, чтоб голова в штаны не упала... Так вот я могу тебе этот хребет...

Грохнул кулаком об стол так, что тарелки зазвенели.

— Ты, варьят! — спокойно сказала Мидора, неслышно входя в комнату, и встала над Заморуком, будто судья

ба. — Ты что раскричался? Если сам не можешь своих девок на путь вывести, так что ж до людей цепляешься? Гайда спать, может, проспишься немного.

— Хорошо, моя Мидорка, хорошо... Уже иду спать. Трошки, видишь, перебрал... Красно прошу прщения у пана товарища. Знаете, паленка, она из чело века варьята делает...

5

— Года, года, — сокрушенно вздыхает тетка Мидора. — Помню вас молоденьким пареньком, а теперь вон вы какой уважаемый да солидный... Не в столице ли, часом, служите?

— Не совсем, тетка Мидора.

— И, наверное, большой начальник?

— Да как вам сказать...

— Э-э, я хоть и темная, неграмотная, а вижу-таки, что большой... А в наших краях каким чудом? Не братчику ли приехали поклониться, Владимиру?

— Да, приехал проведать Владимира...

После того, как тетка Мидора выпытала у Родиона все, что хотела знать, как рассказала и о себе все, что считала нужным рассказать, подняла на него выжидающий взгляд. Родион догадывается: сейчас тетка Мидора переведет разговор на Юлю. И не ошибается.

— А что ж вы ничего про Юлю не спрашиваете? Вы знаете, она уже тут, в Далских Кутах?..

— Слышал... Прошлой осенью товарища встречал, рассказывал, что видел... И давно уже тут?

— А года с три, как вернулся с мужем с Донбасса... Хату новую поставили. Файно живут... Муж ее...

— Мне пора, тетка Мидора...

6

В головах — гранитный обелиск, на обелиске надпись:

ЗЕМЛЕДУХ ВЛАДИМИР КОРНЕЕВИЧ
1929—1953

Видишь, Володька, насколько я уже старше тебя, однако, как и раньше, чувствую себя перед тобой младшим

братом... Мне и сейчас кажется, что ты больше меня прожил, а значит — больше видел, больше сделал.

Свою жизнь до сих пор сверяю с вашими жизнями — отцовской и твоей. В каждой сложной ситуации думаю: а как бы на моем месте поступил отец, брат Владимир? И так будет, Володька, до конца моих дней. Я один здесь, брат мой, никто не подслушивает, что мне стыдиться того, о чем думаю в глубине души, с чем пришел к тебе, с какой исповедью.

Как тут тебе — я уж вижу. Хотя и далеко от нас, но не забыт... Помнят люди: ты свою жизнь отдал за то, чтоб им лучше жилось.

Теперь — что же рассказать тебе, Володька, про нас всех?

Мать наша уже на пенсии, живет с нами. Хату новую поставили. Вот если б ты приехал домой, так и не узнал бы наших Окон. Ни одной старой хаты — все новые.

Живы-здоровы и наши сестры — Настя и Марта. Работают на свиноферме, у обеих добрые дома каменные, а в домах — и хлеб, и к хлебу тоже... У Насти — трое хлопцев, не сыны — орлы. Муж ее Михайло за ум взялся, уже не пьет, живут в ладу. А Марта вышла за Груздова Максима, ты знал его. У них двое сыновей. О нашей младшей сестре скажу больше. Знатным человеком стала Марта — Герой Социалистического Труда, депутат. А как же! Кое-кто говорит: такое счастье судилось Марте. А я скажу так, и, думаю, ты, брат, с этим согласился бы: она, младшая наша сестра, боролась за свое счастье и заслужила его.

Дядьки наши — Гервасий и Лаврин — еще работают, но уже не бригадирами, сами ушли — мол, годы уже не те, грамоты не хватает, оно и вправду так.

А сосед — дед Знатько — помер.

Ну, что про себя сказать? После того как закончил агрономический, был на целине, создавал совхоз имени Николая Островского. Оттуда взял служить на флот. Сначала учился в Ленинграде, после в Севастополь перевели на крейсер. За годы службы довелось поплавать и на эсминцах, на катерах... Побывал в Египте... После службы вернулся домой. Работал механизатором, потом — агрономом... А вскоре избрали меня головой колхоза нашего окнянского. Второй десяток лет уже председательствую... Немного, было, мотор подвел... Ну да это вроде позади... Врачи заверяют: до ста, мол, дотяну...

Еще годик-другой по санаториям надо подлечиться, тогда уж подводить не будет... Ну, врачи врачамп, а сам чувствую: проживу не меньше деда Знатька. Обязан. Не все еще сделал, что задумал. Правда, закончил сельхозинститут, сейчас уже и аспирантуру заканчиваю. Олена моя тоже институт закончила — строительный... Вот так и живем, брат. Как говорится, не хуже людей. Прости, конечно, что за столько лет впервые навещаюсь. Что тут теперь оправдываться... Мог бы сказать и такое: «Прости меня, брат, что не приезжал раньше, ты ж знаешь, какова она, жизнь головы колхоза — некогда и глаз поднять». Но не скажу. Язык не повернется. Если б хотел, всегда выкроил бы время, заскочил бы.

Могила твоя, брат, ухожена, цветы на ней посажены, издали кажется — будто ковром покрыта. Это меня и расстроило, что не мы, родные твои, а чужие люди ухаживают за могилой... Не знаю, кто они, может, никогда и не увижу их, но говорю им: спасибо, добрые люди, за то, что храните братову память!

Ну, не будем об этом. Помолчим, как мужчины...

Вот и облегчил душу перед тобой, Володька, вроде все тебе рассказал... Теперь — знаешь что? Тут, на колхозном рынке, бутылочку доброго вина прихватил, так давай за эту нашу встречу?.. Вот по дороге и стакан взыл...

Родион встает с лавочки у могилы Владимира, открывает бутылку, наливает вина в стакан, поднимает его на уровень груди, будто чокается с братом, выпивает, после наполняет снова и медленно выливает на могилу, рядом с белыми астрами.

Глава шестая. ЛИВЕНЬ

1

Проснувшись, Родион сразу же соображает, что разбудил его шум дождя.

Когда вернулся от Владимира в гостиницу, лег отдохнуть, однако долго не мог уснуть.

Комната, узкая и высокая, напоминала пенал, поставленный торчком, кровать скрипела, пахло слежавшимися одеялами, и все это раздражало. Лежал, прислушивался, как где-то под пальцами ног зарождается сладкая

усталость, снимает напряженне мышц. Ногам и рукам хотелось, чтобы их положили как можно удобнее, а голова была ясной, и сон долго не приходил. Потом уснул все-таки и вот сейчас проснулся, сразу же догадавшись, что разбудил его дождь.

Значит, не ошибся в прогнозе.

Откинув одеяло, подходит к окну. Не дождь, а настоящий ливень. Потоки воды с шумом падают на асфальт, разбиваются на мелкие брызги, понизу стелется морось, а вдоль бордюров пенятся ручьи.

Абсолютно все, думает Роднон, возвращает меня сегодня к прошлому, даже этот ливень.

2

...Гора в конце совхозных виноградников походила на перевернутый вверх дном казан, и над казаном чуть ли не ежедневно клубились белые облака, медленно подсинивающиеся, наливающиеся тяжелой чернотой, чтобы наконец развесить над виноградниками дымчатые космы дождя.

Запыхавшаяся тетка Домна, моя хозяйка, разыскала меня под горою среди виноградников — сегодня их опрыскивали раствором медного купороса — и сказала:

— Товарищ пан агроном, там до вас жена приехала. Такая уж файна, вся улица оглядывалась, как она шла к моей хате, ай-я...

Смотрел на свою хозяйку, не понимая, о чем идет речь. «Шутите, тетка Домна, какая жена? Я еще не женат». Однако вовремя спохватился. Провожая меня на практику, Юля пообещала: «Приеду к тебе на день-другой, у меня скоро отпуск. Напишешь, как устроишься, и я приеду». Написал ей, как тут, в закарпатском виноградском совхозе, началась моя преддипломная практика, однако к себе не звал, считал: тогда она сказала мне все это, чтобы как-то разлуку нашу облегчить. А выходит, она твердо решила для себя приехать ко мне и вот приехала, назвавшись женою. Молчание могло показаться хозяйке подозрительным, я улыбнулся и ответил как можно спокойнее:

— Спасибо, тетка Домна, за добрую новость. Передайте Юле, что сейчас приду.

Полетел бы к ней сию же минуту — думал о Юле все эти дни, с тех пор как уехал из Далеких Кутов, тосковал

без ее глаз, голоса, рук. Однако сейчас надо было побыть в одиночестве, обмозговать неожиданную ситуацию. В конце концов ничего страшного не случилось. Пусть для тетки Домны мы — семья, а на самом деле... А на самом деле все между нами останется так, как было до сих пор. Не на все же время она приехала, передремлю несколько этих ночей и на лавке.

...Мы сошлись так же точно неожиданно, как и разошлись было.

Поздним осенним вечером возвращались с Владимиром из верховинского села Потоки. Здесь, в Потоках, была одна из лучших комсомольских ячеек. Возглавлял ее наш земляк Петро Борозенец, недавний выпускник Немировского педучилища. Собираясь в Потоки, Владимир иногда брал с собою и меня.

В тот вечер мы возвращались с комсомольского собрания. Владимир всю дорогу шутил, мурлыкал под нос, даже не подозревая, что это последняя его дорога.

На крутом горном повороте нас ослепили фары, и в эту же минуту на шоссе перед райкомовской «Победой» рухнула высокая ель...

Когда я пришел в себя в больнице, сразу же увидел над собою Юлю. И потом видел ее изо дня в день. Через три месяца выздоровел.

К вечеру тучи все-таки перевалили через гору-казан, резные листья винограда задопотали под густыми каплями, я подумал, что виноградники придется опрыскивать вновь, но подумал об этом без сожаления.

Домой вернулся в ливень. В хате была только Юля. Тетка Домна приготовила праздничный ужин, но нам нравилась лишь брынза, немного пересоленная, запивали ее чудесным домашним вином, молча чокались и улыбались одними глазами.

Я смотрел на Юлю, и было такое ощущение, будто все то, что делало нас чужими, приснилось мне в дурном сне. Я ждал ее приезда и был счастлив оттого, что она рядом, что вижу ее.

Однако оба молчали, ибо за клекотом дождя и раскатами грома все равно не слышали бы друг друга.

Грохотало так, будто кто-то в тяжелых сапожниках ходил по железной крыше, мгновенные вспышки молний наводили на мысль: там где-то, за горою, электросварщики сваривают что-то огромное; первые огни на совхозном дворе обросли светлыми ежами, а стекла против неба

стали бело-голубыми, какими-то неестественными; в густом ливне весело носились ласточки, посвечивая белыми брюшками.

Казалось, ливень бушевал не только на улице, но и в моей душе.

Юля при каждом ударе грома вздрагивала, при каждой вспышке молнии закрывала в страхе глаза, я пересел к ней, обнял за узкие плечики, потом повернул к себе, улыбнулся: не бойся, родная, я с тобой.

Прижалась ко мне, как всегда, всем телом, не девичьи решительно, будто в растерянности, и, как всегда, вновь испугала этим резким нетерпеливым движением, забилась в моих руках, а из груди сквозь сжатые зубы вырвался глубокий, придушенный стон, потом выскользнула из объятий, легко подбежала к выключателю, я услышал сухой щелчок, будто расколосся орех, а через мгновение — в свете вспыхнувшей молнии — увидел Юлю у окна, — она решительно сбрасывала платье, и в сумраке, вновь залившем мою комнату, засветилась большою прекрасной птицей — вот-вот взлетит...

... Потом она сидела надо мною, склонившись низко-низко, держала мои пальцы в своих ладонях.

— Может, и не приехала бы, но приснился странный сон. Снилось, будто оказалась в большой хате-колыбе, где одни мужчины, понимаешь? Чувствую, всем телом своим ощущаю, как они смотрят на меня и подходят, все ближе, все ближе. «Что вам надо от меня?» — кричу в ужасе. Молчат. И круг сужается, сужается. И вдруг кто-то положил мне на плечи руки, понимаешь? Я не вижу — кто, потому что сзади подошел, но руки эти, сильные, ласковые, успокаивают меня, заслоняют от тех жутких взглядов, ведут куда-то и выводят на свет... Проснулась и вдруг сразу подумала: мне твои руки приснились... Ох, эти руки... Больше заснуть не могла, а утром собралась и поехала к тебе...

Говорила чуть слышно, однако я слышал каждое ее слово, такое же страстное, как и ласки.

Она сидела надо мной, склонившись низко-низко, на фоне окна узкие ее покатые плечи светились, словно бы излучали тихое сияние, в глазах время от времени вспыхивали огоньки, лица не было видно, однако я чувствовал, как дивно помолодело оно, стало совсем юным, прекрасным до сладкого и тревожного щемления. Прижал ее к себе, сказал:

— Ты знаешь, Юля, даже во сне вижу твой взгляд. С того первого вечера, когда мы познакомились, вижу. Это характерное движение головы, когда ты оглядываешься, не подслушивает ли кто нас, и этот быстрый, будто молния, взгляд, от которого хочется умереть, — не могу только передать всего...

— Говори, говори мне такие слова, мне так нравится слушать их, — шептала счастливо и благодарно, потом испуганно спрашивала: — Тебе было хорошо со мной?

— Очень хорошо!..

Познав ошеломляющее счастье обладания женщиной, познав бурную радость мужской зрелости и уверенности в себе, благодарно и жарко припадал к ее пересохшим, шершавым устам, пил из них обновляющее изнеможение и знал: никогда не утолю желания припадать к ним и пить; засыпая на ее руке, думал: многое из того, что было у нас до сих пор и будет после, может когда-нибудь и позабыться, но этот ливень не забудется никогда, запомню его на всю жизнь...

Глава седьмая. ОЧАГ

1

В нескольких шагах от моста, там, где спускаются к реке каменные ступени, куда из городской электростанции впадает теплая вода, купается мужчина, а на ступенях, под вербой, стоит женщина в розовом, наверное, цветастом платье. Мужчина подбадривает сам себя, дурачится в реке, ухает. Женщина весело хохочет, потом тоже раздевается, боязливо входит в воду, но не купается — наклонив красивое смуглое тело, моет плечи, руки.

Люди, улыбается Роднон, глядя на них, а почему-то напоминают мне ту оленью пару.

А дальше стелется широкий луг, на который садятся «кукурузники». Ближе к реке пасутся коровы, а там, за аэродромом, далеко-далеко, у леса, горит огонь. Это не близко, однако даже здесь, на открытой веранде кафе «Червона рута», чувствуется терпкость и горечь дымка. Из городского парка с летней эстрады доносится чрезмерно веселая песенка про снег-снежок. Потом песенка неожиданно обрывается, и наступает такая тишина, что

кажется невероятным, будто на земле вообще может быть так тихо.

Вот это же самое впечатление, думает Родион, лениво отхлебывая пиво, было и утром, когда приехал.

Родион пришел сюда, в «Червону ругу», вскоре после того, как умытый ливнем город вновь засверкал под солнцем.

Ливень буйствовал с добрый час, Родион отворил настежь балконную дверь, курил сигарету за сигаретой и вспоминал все, что было с ним здесь, в Далекых Кутах, когда-то давно, свыше двадцати лет назад; заново переживал и все то, что пережил за эти дни там, в горах; думал и о том, что ждет его сегодня.

Можно было прощаться с Далекими Кутами и отправляться домой — братовой могиле поклонился, альма матер не застал, что еще его тут держит? Однако медлил, хотя и не знал наверное, пойдет после шести к Юле или не решится.

Когда ливень отшумел, он оделся, вышел из гостиницы, опять направился в город — бродил улицами, площадями, парками и скверами, не узнавая их; обошел чуть ли не все Далекие Куты, не решившись, однако, свернуть на те тропинки, по которым бродили когда-то вдвоем с Юлей.

После почувствовал голод и пришел сюда, в «Червону ругу».

Сидел за маленьким столиком на открытой веранде и смотрел на Черемош, парующий после ливня. Здесь он неширок, наверное метров десять, а за прибрежными кустами уже начинаются огороды.

С этой стороны кустов верболоза двое удили рыбу — мальчик и мужчина.

Наблюдая, как отец с сыном удят рыбу, вспоминал Родиона-младшего, вспоминал те часы, когда и они вот так же сидели после дождя над рекой, сосредоточенно глядя на поплавки.

Родион подумал о том, что так ничего и не сказал Владимиру про сына... Собственно, собирался рассказать абсолютно все, ничего не скрыть, даже пожаловаться брату: «Все у меня хорошо, вот только сына нет. У Олены были тяжелые роды, врач сказал ей: «Хорошенько подумайте, хорошо все взвесьте, прежде чем захотите иметь еще одного ребенка». Малого Родиона уже нет в живых, а так хочется иметь сына. Без сына чув-

ствую себя деревом без ветвей». Однако ши словом не обмолвился. Зачем тревожить — подумал о мертвом брате, как о живом.

Смотреть на реку уже неинтересно — мир представлен в ней, как на черно-белой фотокарточке, однако Родион все смотрит и смотрит, колеблясь: идти или нет? На память вновь приходят слова тетки Мидоры про Юлю, ее мужа и дочку, сказанные уже вслед, когда купил букет цветов и заторопился уйти с рышка.

Те двое — мужчина и женщина — искупались, помылись, и теперь стоят посреди моста, опершись на перила, смотрят вниз, он что-то рассказывает ей. Родион рассматривал, что это — юноша и девушка.

Так же было и у нас с Юлей, думает Родион, независимо, что тогда была зима... Никто не знает, размышляет далее, наблюдая за парой на мосту, когда она к тебе придет — весной или осенью, летом или зимой, у нее нет определенной поры. Но если любовь приходит зимою и осветит тебя чудесным сиянием, даже снега ты воспринимаешь как цветение садов, ибо такова она — любовь!

Однако было не только это, было в нашей любви и другое. Почему же сейчас я не хочу вспоминать другого, думать даже не хочу? Вероятно потому, что все это было впервые. А если ты любишь впервые, и любовь не сделает тебя лучше, и ты не сможешь даже через много лет забыть то, что доставляло тебе огорчение и боль, значит, была она ненастоящей, эта твоя первая любовь. Потому что настоящая любовь умеет прощать...

2

Тетка Мидора сказала, что новую хату Юля поставила на месте дедовой, на том самом. Родиону показалось, что он хорошо знает Почтовую, Юлину улицу, — ведь сколько по ней хожено, помнит подворье старого Генцара — много раз бывал там, однако, очутившись на Почтовой, теряется. Все тут изменилось: по обе стороны улицы выросли новые каменные дома, расписанные снаружи так, как расписывают жилье только в этих краях, выросли новые сады, пролегали асфальтовые тротуары.

Не заблужусь, думает Родион, если даже от тех времен не осталось ни единой приметы, все равно узнаю их хату.

Беспокоит его другое. Как только оказался на Почто-

вой, тут же стало ему казаться, будто решился на преступление, будто в чем-то обидит или оскорбит Олену. «Зачем я иду? Что даст это посещение? Не стану же я отбивать ее? Если она счастлива в своем замужестве, зачем же напоминать о себе? А несчастлива — так чем, я помогу?»

Не надо идти, отговаривает сам себя. Может, она все уже забыла, не хочет даже вспоминать того, что было, так зачем же волновать? Зачем бросать камень в тихий плес семейного покоя и согласия?..

Вон то, наверное, и оно, Юлино подворье. Увидев белый дом под старой грушей, Родион замедляет шаг. Да, это ее дом. Бросив взгляд на подворье, идет дальше, опустивши голову.

Ну, переступлю порог этой хаты, где меня никто не ждет, что скажу им? А как встретят они? Не буду ли после горько раскапываться за этот безрассудный поступок? Не осквернит ли эта встреча память о нашем прошлом?

Доходит до угла улицы и поворачивает назад, твердо постановив себе, что на сей раз уже не пройдет мимо Юлиных ворот.

Сомнения, колебания — все это мальчишество. Конечно же, и мое поведение — то же самое мальчишество. Я взрослый человек, и надо поступать по-взрослому. Зачем мудрствовать? Что-то меня влечет сюда, что-то ведет — зачем доискиваться и докапываться, что именно?.. Олена? Что же Олена? Олена все поймет. Если я хочу увидаться с Юлей, это никак не означает измену Олене. Возможно, эта встреча будет тем перевалом, с которого оглядываются назад и смотрят вперед.

И все же трудно справиться с тем, что творится сейчас в душе. Наверное, и сейчас прошел бы мимо знакомого подворья, если бы еще издали не заметил в воротах Юлю... Ноги холодеют, и в груди становится тесно, и взор заволочка пелена... Оно не часто приходит к нам, это странное ощущение, будто долгое время мы были где-то в отсутствии. Родиону кажется, будто возвращается он оттуда, где не успел ни посидеть, ни устать... Черно-волосый, до беспамятства влюбленный, исполненный пылких надежд, идет на свидание к своей суженой, она знала, что сегодня он должен непременно прийти, и вот встречает в воротах — красивая и юная. И Родион, сдерживая радостное биение сердца, охватывая взором красоту осеннего предвечерья, пропахшего маттолами и не-

давним дождем, чтоб запомнить это предвечерье, а в нем свою Юлю, подходит к воротам и, остановившись перед ними, говорит:

— Добрый вечер, Юля...

— Добрый вечер, — отвечает она, улыбаясь знакомыми глазами, — добрый вам вечер... Только... я не Юля. Это мама моя — Юля, а я — Романка... Вам нужна мама?

— Да, Романка, — говорит Родион, возвращаясь из сказки в действительность. — Мне хотелось бы увидеть вашу маму. Она дома?

— Дома... Ужинает с татом... Прошу, я провожу вас.

И он идет следом за ней, за Романкой, в их хату, идет и даже и не думает о том, что ждет его там, в доме, словно бы наперед уже знает все.

Так уж оно временами бывает в жизни, думает Родион. Казнишься неизвестностью: что с тобою случится через какое-то мгновение? Казнишься неотступно, болезненно, а после, уже на черте неведомого, сразу наступает странное спокойствие, и уже не только предвидишь, а наверняка знаешь, что именно ждет тебя за этой чертой. Оттого-то Родион и не удивляется, когда, вслед за Романкой переступив порог светлицы, встречается взглядом с Василечком.

Там, на колхозном рынке, тетка Мидора еще успела сказать: «О-о, у Юльки добрый муж!..» Родион не стал допытываться, кто он и что он, довольно было того что — добрый... Еще не зная, кто же он — Василечко или другой, — почему-то подумал, что Юлин муж, наверное, такой, как и Василечко, за другого просто не могла она выйти. И сейчас, когда встретил Василечка здесь, в Юлиной хате, не удивляется, а даже радуется: вот то-то, я не ошибся, Юля, в твоём выборе.

— Добрый вечер, Юрий Васильевич.

— Вечер добрый, Родион Корнеевич.

— Вот и снова, как видите, встретились, — говорит Родион, пристально глядя Василечку в глаза. — Кто б мог подумать...

— А я ж вам еще утром сказал: до встречи, Родион Корнеевич. — Василечко, не отводя взгляда, приветливо улыбается. — Я знал... догадывался, что вы не пройдете мимо нашей хаты, и ждал вас весь день, никуда не отлучаясь... Прошу садиться, будете дорогим гостем.

Василечко подвигает Родиону стул, а из кухни, через открытую дверь, слышится Юлин голос:

— А кто там, татусь, к нам заглянул?

— А ты выйди — сама увидишь, — говорит Василечко, вынимая папиросы.

— Кто ж там такой, что и сказать не хочешь? Сейчас выйду к вам, вот только руки ополосну.

Родион, разглядывая узор на скатерти, слышит, как Юля ставит что-то на стол, моет руки, потом направляется из кухни в светлицу, шаркая домашними шлепанцами. Поднимает от скатерти глаза. Юля останавливается в дверях. Красная юбка, белая вышитая блузка, через плечо переброшено полотенце, свисающим концом она утирает руки.

Останавливается в дверном проеме, за порогом, — статная, как и прежде, много-много лет назад, такая же статная, как и ее Романка, однако уже не девушка, а женщина — зрелая, расцветшая, счастливая в своем замужестве, осиянная своим женским счастьем. Длинные ресницы встрепнулись испуганно и радостно, и вся она становится словно бы выше, поднимаясь над всеми домашними вещами.

Родион смотрит на Юлю, в одно мгновение пережив то, что переживал годами, и уже знает, что будет дальше: она, не стыдась, не стесняясь ни мужа, ни взрослой дочери, отчаянно вскрикнет, отчаянно и нежно, и бросится к нему.

— Родион! — вскрикивает Юля за порогом и бросается к нему, и он шагает ей навстречу — и вновь они вместе, как и когда-то давно. — Родион... — едва слышно шепчут ее губы.

И Родиону уже кажется: нет в этой хате никого постороннего, есть только они — он и она. И они снова вместе, теперь уже — навсегда...

Однако в хате они не одни. В хате кроме них есть еще Юрий Васильевич и Романка. Юрий Васильевич стоит у окна спиной к ним, спокойно курит, а Романка смотрит с порога растерянно и испуганно.

Через какое-то мгновение, когда Юлины руки обласкали Родионову голову и плечи, когда глаза ее выпили его глаза, она первой справляется с собой, высвобождается из его объятий, отступает на середину светлицы, часто мигая, покусывая губы, улыбаясь сквозь слезы.

— Татусь, это тот самый Родион...

— Я знаю, — отвечает Василечко ровным голосом, оборачиваясь к ним, спокойно смотрит на Родиона. — Я знаю, Юля, что это тот самый Родион... Так надо ж принимать гостя, как это водится среди добрых людей... Присаживайтесь, Родион Корнеевич, к столу, сейчас наши хозяйшкн чем-нибудь нас угостят...

— Садись, Родион, садись, — говорит Юля. — Пусть ноги для дороги... Сейчас мы с Романкою, сейчас... Уж ты извини, если что-то не так... Мы — быстренько... Пойдем, Романка, поможешь мне, а вы тем временем перекурите...

Уходят с дочерью, плотно закрывают за собою дверь — оставляют их с глазу на глаз.

Василечко садится против Родиона, придвигает к нему початую пачку «Шахтерских».

— Курите, Родион Корнеевич.

— Спасибо, Юрий Васильевич, я — сигареты.

— А я привык к этим еще там, на шахте. И никак не могу отвыкнуть...

— Говорят, привычка — вторая натура...

— Еще бы. — Василечко дает Родиону прикурить, подбадривающе улыбается ему. — Вот что, Родион Корнеевич: чувствуйте себя как дома. — Помолчав, доверительно добавляет: — Я знаю о вас абсолютно все... От Юли... Мы встретились двадцать с лишним лет назад. Она у нас на шахте газомерщицей работала... Ну, полюбил я ее... Сразу и на всю жизнь... Не мне вам говорить, какой она человек... Предлагаю ей: «Выходи за меня, Юля...» В тот же вечер она и рассказала мне все про тебя... про вас, Родион Корнеевич. Про все, что было между вами, рассказала... Видать, очень болело в ней все это, должна была открыть кому-то душу... Выслушал я ее, потом говорю: «То, что меж вами было, пусть останется в твоём сердце. Никогда не упрекну тебя этим. Только бы мне верной женою была...» Юля подумала и ответила: «Хорошо, Юрку, я буду тебе верной женой». Вот так мы поженились и живем уже двадцать с лишним лет. Вначале, говорю, я на шахте работал проходчиком первой руки, после открылся силикоз — врачи посоветовали сменить работу, климат, ну и переехали сюда, на Юлину рощину. Поставили эту хату. Знаете, если добрую половину жизни отбудешь там, под землею, где по нескольку часов не видишь ни солнца, ни травы, тогда по-настоящему начинаешь любить и ценить при-

роду. Ну вот и подался в егеря, немного подучившись этому делу, а Юля с Романкой на ковровой фабрике устроились. Романка заочно в институте учится, технологом будет. Вот так, как видите, Родион Корнеевич, и живем, дочку растим... Скажу откровенно, мне перед вами крыться нечего, Родион Корнеевич, счастливый я человек, потому что нашел в Юле подругу жизни, а это для меня главное... Может, она и до сих пор вас любит... не может, а в самом деле любит, сами видите. Пусть! Мы — люди, должны понимать, что сердцу любить не запретишь. Я понимаю это, потому и сижу с вами, беседую. Я спокоен, потому что верю Юле, верю в ее преданность. А что в нашей жизни, Родион Корнеевич, ценится дороже?..

Только Василечко заговорил о Юле, как Родион стал думать об Олене. Олена предстает перед его внутренним взором так выразительно, что он различает каждую сединку в ее волосах, каждую морщинку вокруг глаз и в уголках привядших губ, и уже ему хочется ласково коснуться рукой воображаемой Олены. И чем больше гордости, хотя и деликатно сдерживаемой, чувствует Родион в Василечковом рассказе про Юлю, тем все упорнее — и тоже с неожиданным душевным трепетом — думает Родион о своей Олене. Это словно бы какой-то защитный рефлекс, отмечает он про себя, закуривая еще одну сигарету.

Слушая Василечко, Родион вспоминает те дни, когда он казнил себя потерей Юли, обвиняя во всем не только тот злосчастный анонимный листок о Юле в канун его демобилизации, но и себя за то, что вначале безоглядно поверил написанному, перестал отвечать на ежедневные Юлины письма, а после заколебался: ехать к ней или нет, а когда решился, было уже поздно — в те дни вошла уже в его сердце Олена, собственно, он сам потянулся к ней, как неожиданными заморозками прибитый росток тянется к спасительному теплу; вспоминает их трудную любовь и всю дальнейшую жизнь, в которой судилось им познать и настоящее счастье, и горечь утраты сына. После трагической гибели сына Олена стала седеть и увядать. Но чем больше появлялось седины в ее волосах, а на лице — морщин, тем роднее становится она для Родиона. И это чувство, уверен он, — взаимно. Они оберегают и поддерживают друг друга, как никогда прежде. И пусть молодость их возвращается к ним лишь в воспоминаниях, они,

как и в молодости когда-то, ежедневно открывают для себя друг друга по-новому, и нынешняя любовь их наполняет будни тем смыслом и целью, без которых и жизнь — не жизнь.

Василечко долго раздавливает в пепельнице папиросу, будто ставит на чем-то точку. Родион догадывается, что к этой теме Василечко больше не возвратится.

— Да, Юрий Васильевич, — соглашается он, — дороже этого и в самом деле ничего нет...

Вдруг неожиданно Родиону вспоминаются слова деда Папуши: «То, что было у нас с Романкою, будто рана — на всю жизнь след оставило...» Правду, дедусь, сказали: это и в самом деле как рана. Уже и зарубцуется, не болит, но все-таки в непогоду дает о себе знать. И, наверное, это от нас самих зависит, чего в нашей жизни больше: погожих или ненастных дней... Она была, только ее уже никогда не вернуть, ибо первая наша любовь не только первая, но и единственная в своем еще ничем не приглушенном самовыражении. И если мы стремимся возвратиться к ней хотя бы в воспоминаниях, так, вероятно, лишь для того, чтобы сравнить то, что имели, что утратили, с тем, что приобрели...

Отворяется дверь, в светлицу входят Юля и Романка, несут угощение.

— Мы не долго возились? — спрашивает Юля.

— Как раз по сигарке выкурили, — отвечает Родион.

— Ну, тогда мойте руки да будем садиться к столу...

3

Василечко, рассказав Юле и Романке о недавней охоте на оленя, снова наполняет бокалы вином.

— Можно один вопрос, Юрий Васильевич?

— Прошу, Родион Корнеевич.

— Сколько в Карпатах оленей?

— Теперь уже — несколько тысяч.

— Значит, встретить оленя в горах — не такое уж диво?

— Конечно.

— Итак, выходит, Юрий Васильевич?..

— Что же, Родион Корнеевич, выходит? — лукаво прищуривается Василечко. — Вы будто бы на что-то намекаете?

— Почему-то мне так сдается, Юрий Васильевич, что нам в эти два дня не просто не везло?

— Так вам кажется?

— Да, мне так кажется.

— Но мы их все-таки встретили?..

— Ну, это чистая случайность... Вы даже сами рас-
терялись, когда мы их встретили.

— А вы наблюдательны, Родион Корнеевич... Конечно, это была случайная встреча. Знали бы вы, как я в душе проклинал эту влюбленную оленью пару, потерявшую осторожность. Два дня, говорил им мысленно, водил эту банду (простите, это слово теперь к вам не относится), подальше от ваших местечек, смерть от тебя, рогатого, отводил, а сейчас ты сам на пулю напрашиваешься? Эх, ты, дурень-дурень... Знаете, Родион Корнеевич, егеря не имеет права мешать охоте, напротив... Но...

— Такой уж, Родион, — вмешивается в разговор Юля, — наш татусь по натуре. Не может допустить, чтоб на его глазах кто-то себе на утеху убил оленя или другую какую-нибудь дичь. Пусть, говорит, у того охотника будет разрешение не только от облисполкома, но даже и от Совета Министров, все равно не допущу убийства...

В самом деле, Юля, хороший у тебя муж, думает Родион, слушая ее, я рад за тебя...

— Что же делать, если натура такая, — немного смущенно улыбается Василечко. — А иначе для чего мы здесь, в лесу?.. Сознаюсь вам, Родион Корнеевич: если б не вы, я сам испугал бы того оленя, предупредив выстрел Ивана Лавриновича — не знаю и знать не желаю, кто он такой... Как он набросился на вас, смотреть было противно!.. Ну, вы дали ему достойный отпор... Там, в лесу, тоже ведь узнаешь людей. Походишь вот так с ними день-другой и уже видишь, кто человек, а кто — иждивенец... рогатый... Пакостник, он и в лесу пакостник...

— Предлагаю тост, — говорит Родион. — Давайте выпьем за того неубитого оленя и за того, кто этих оленей в горах оберегает! Ваше здоровье, Юрий Васильевич!

...И вот он уже собирается уходить.

— Татусь, — Юля встает из-за стола вслед за Родионом. легонько касается длинными пальцами Василечкова плеча, — я провожу Родиона... нашего гостя провожу.

— Разумеется, — Василечко поднимает на жену спокойный взгляд, согласно кивает русой головой. — Конечно же, мать, проводи Родиона Корнеевича.

Василечко отодвигает кресло, встает перед Родионом, высокий, широкоплечий крепыш, дружески улыбается.

— Ну, Юрий Васильевич, — Родион крепко пожимает ему руку, — скажу вам еще раз: очень рад, что познакомился с вами, очень рад... Спасибо за все, до свидания!

— Всего хорошего, Родион Корнеевич! Рад и я, что через много лет все-таки встретил вас. Теперь уж буду и сам знать, какой вы в жизни, — Родион Корнеевич Земледух...

— Спасибо на добром слове!.. Ну, Романка, — обращившись Родион к их дочери, стоящей рядом с матерью, — давай-ка и с тобой попрощаемся.

— Бывайте здоровы, Родион Корнеевич! — Романка легко подходит к нему, подает свою горячую ладошку, улыбается ему Юлиными глазами (Родион снова думает: дети — это словно бы зеркало, в котором нам дано увидеть собственное детство, свою юность). — Приезжайте к нам еще когда-нибудь.

— Приеду на твою свадьбу. — Родион, поддавшись нахлынувшим чувствам, обнимает Романку, дивчина доверчиво прижимается к нему, как прижималась при встрече Юля, на мгновение Родиону кажется, что Романка — его дочь, целует ее в лоб: — Будь счастлива, Романка!..

Наступила та пора, когда уже не вечер, но еще и не ночь, все вокруг окутано тихими и спокойными сумерками.

За воротами Родион, волнуясь, как в далекой молодости, закуривает; какое-то время оба идут молча, касаясь друг друга плечами, потом он, вдруг решившись, берет Юлю под руку, ощущает пылающее тепло ее тела, волнуется еще больше, склоняется к Юлиному лицу, хотя и затененному сумерками, но словно бы помолодевшему.

— Знаешь, Юля, — голос его вдруг осип, Родион с трудом выговаривает слова, — знаешь, Юля, мне все время кажется, будто все это только снится...

— Мне тоже, — говорит Юля дрогнувшим голосом. — Хотя я чувствовала: рано или поздно это должно было случиться... То, что было между нами, говорила сама себе, когда-нибудь снова сведет нас... Есть, наверное, известная закономерность в человеческих взаимоотношениях...

— Да, пожалуй...

Выходят на мост, посреди моста Юля останавливается.

— Дальше не пойду... Здесь, Родион, я попрощаемся...

Касаются друг друга плечами, наклоняются к перилам, смотрят в черную воду, которая сейчас не отражает ничего.

— Помнишь, Юля?..

— А ты как думаешь?..

Юля выпрямляется, поворачивается к нему, берет его руки в свои, смотрит пристально в глаза.

— Там, в нашей хате, ты много говорил, но — странное дело! — почти ничего не рассказал о себе... А ведь мне страшно хочется знать, как ты живешь... .

— Да что о себе рассказывать... Живу вроде не хуже людей. Хорошо!.. Спасибо, Юля, живу я хорошо!..

— А ты... ты счастлив, Родион?

Может, сказать ей про сына?.. Мог бы быть счастливым, Юля, если бы жил сын... Зачем, однако, ей знать о моем горе?.. Мое горе, оно при мне. И тут лишь единственное утешение — отцовская гордость: мой сын не струсил!.. От того же, что расскажу Юле, пожалуй, ей, легче не станет. А потом, возможно, не все еще мои окна потухли, не все еще потеряно. Разве врачи не ошибаются? Не о них ли сказано: «Врачу — исцелился сам!»

— Разумеется, Юля... .

— Какой-то необыкновенный ты сейчас, Родион, словно бы светишься изнутри, что ли... .

— Ты осталась все той же выдумщицей... .

— Помню, таким ты был в тот вечер, когда впервые сказал мне: «Я люблю тебя...» — Голос ее срывается, в глазах закипают слезы. — Хочу сказать тебе, Родион, чтоб ты знал, — говорит сквозь слезы, по-девчоночьи шмыгнув носом и крепко руки его стискивая. — Хочу, чтоб ты знал: я тебя до сих пор люблю... Любила все эти годы, люблю сейчас и буду любить, сколько жить буду. — Не выдержав, припадает к его груди в безутешном отчаянии, тесно прижимается, будто защиты ищет. — Только ничего уже не изменить... Да и необходимости в этом нет... Ведь правда же, нет?.. Да-а, если бы человек жил только одним сердцем... Ну что же, прощай... Прощай, мой Родион, прощай и будь счастлив!..

За темной уснувшей рекою, за темным уснувшим лугом кто-то жжет костер. Это очень далеко отсюда, чуть

ли не там, у горного перевала; пламя мерцает, точно огонек в чьем-то приветливом и зовущем окошке; однако даже здесь, посреди моста, где Родион прощается с Юлей, теперь уже навсегда, явственно ощущается пронзительно щемящая терпкость приносимого ветром дыма...

1974

Дубулты — Винница — Заболотное

СОДЕРЖАНИЕ

БЕРЕГ	3
ОКНА	235

Микола Александрович Рябый

ДВА РОМАНА О ЛЮБВИ

М., «Советский писатель», 1981 г. 512 стр.

План выпуска 1982 г. № 280.

Редактор И. В. Кириенко

Худож. редактор Г. В. Алимов

Техн. редакторы М. А. Ульянова

и Е. Ф. Шараева

Корректоры Н. Г. Клейнер и Е. А. Омеляненко

ИБ № 2918

Сдано в набор 24.06.81. Подписано к печати 17.11.81. А 12515.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага тип. № 3. Литературная гарнитура.
Высокая печать. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 27,66. Тираж
30 000 экз. Заказ № 546. Цена 1 р. 80 к. Издательство «Со-
ветский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена
Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000,
центр, Красная ул., 1/3.

1p.80к.

